ЭСА

ДЕ КЕЙРОШ

Библиотека
всемирной литературы

Серия вторая **

Литература XIX века

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
БИБЛИОТЕКИ
ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Абашидзе И. В.
Айтматов Ч.
Алексеев М. П.
Бажан М. П.
Благой Д. Д.
Брагинский И. С.
Бровка П. У.
Бурсов Б. И.
Ванаг Ю. П.
Гамзатов Р.
Грабарь-Пассек М. Е.
Грибанов Б. Т.
Егоров А. Г.
Елистратова А. А.
Емельяников С. П.
Жирмунский В. М.
Ибрагимов М.
Кербабаев Б. М.
Конрад Н. И.
Косолапов В. А.
Лупан А. П.
Любимов Н. М.
Марков Г. М.
Межелайтис Э. Б.
Неупокоева И. Г.
Нечкина М. В.
Новиченко Л. Н.
Нурпеисов А. К.
Пузиков А. И.
Рашидов Ш. Р.
Реизов Б. Г.
Самарин Р. М.
Семпер И. Х.
Сучков Б. Л.
Тихонов Н. С.
Турсун-заде М.
Федин К. А.
Федосеев П. Н.
Ханзадян С. Н.
Храпченко М. Б.
Черноуцан И. С.
Шамота Н. З.

ЭСА ДЕ КЕЙРОШ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПАДРЕ АМАРО

●

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

ПЕРЕВОД С ПОРТУГАЛЬСКОГО

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
МОСКВА · 1970

Вступительная статья
М. Кораллова

И (Порт.)
К 33

Иллюстрации
Г. Филипповского

7-3-4
Подп. изд.

ЭСА ДЕ КЕЙРОШ

Уже на склоне лет, отвечая на выпад «Утреннего курьера», Эса де Кейрош пробовал урезонить слишком шустрого газетчика:

«...Одиннадцать друзей, собирающиеся каждую неделю в отеле «Браганса»,— весьма скромные люди. Им неприятен тот скандальный шум, который пресса подымает вокруг встреч в кабинете ресторана, и им было крайне огорчительно прослыть в столь богоспасаемом государстве за какой-нибудь синдикат или, чего доброго, за новую политическую партию. Они ни разу не подрались и не разбились на лагерь «левых» и «правых». Не выбрали себе председателя. Не сочинили гимна и не завели знамени. ...Если же дорогого коллегу из «Утреннего курьера» особенно раздражает, что сотрапезники называют себя «побежденными жизнью»,— хотя, на общий взгляд, больше похожи на победителей,— то пусть коллега сообразит: ощущение победы или поражения зависит от цели, которую ставит перед собой человек, а вовсе не от реально достигнутого...»

Откуда же это сознание поражения? Особенно у того, кто принадлежал, и превосходно знал, что принадлежит, к общественно-интеллектуальной элите страны, кто, по отзывам наиболее проницательных умов, был вторым — после великого Камоэнса — писателем на протяжении всей истории португальской литературы и, бесспорно, первым — среди своих современников. Каким же Эса де Кейрош предстает сегодня перед нами, победителем или побежденным?

I

Наиболее верный ключ к биографии Эсы (1845—1900) — художника искренней, по самой природе таланта, открытой исповеди — в его творениях. Роман «Семейство Майя» содержит сценку, бросающую свет на детские годы и автора и героя. У маленького Педриньо есть воспита-

тель — падре Васкес. Толстый и неопрятный, икающий из глубины кресла, падре экзаменует Педриньо:

— Сколько у души врагов?

— Три: мир, дьявол и плоть.

Той же рутине подчинялось воспитание в коллежах Порто и в Коимбре — старейшем университете страны.

«Над напоенной чистым и нежным воздухом Коимброй,— вспоминал Эса,— университет возвышался во всеоружии своего искусства подавлять и помрачать души с властностью, уничтожавшей внутреннюю силу сопротивления, фаворитизмом, приучавшим человека лицемерить и гнуть спину; с требованием дословности в передаче знаний; с устаревшим уставом, с перекличками, вселявшими казарменный ужас; с профессорами, в глазах которых всякое творчество пагубно... Университет, эта мать-воспитательница, alma mater, к которой до конца жизни обычно сохраняется студенческая сыновняя любовь, был для нас,— продолжал Эса,— мрачно насупившейся и ворчливой мачехой, от чьей опеки всякий независимый ум старался освободиться как можно скорее... В таком университете поколение, подобное нашему, могло находиться только в одном состоянии — в состоянии постоянного возмущения».

Чтобы такого рода университет стал для Эсы и его однокашников «школою политической революции», чтобы, испытывая гнет тирании, они научились «ненавидеть всех тиранов и брататься со всеми рабами», «чистый и нежный» воздух Коимбры должны были сотрясти грозовые раскаты эпохи.

Словно по железным дорогам, из стран Европы в Португалию вливался поток идей, систем, эстетических построений. «Каждое утро приносило свое откровение, как новое солнце. То появлялся Мишле, то Гегель, Вико, Прудон, то Гюго, ставший пророком и судьей над царями». Бальзак и Гете, Гейне и Дарвин производили, пишет Эса, действие факелов, брошенных в костер. Долетавшее из-за Пиренеев эхо европейского энтузиазма тотчас же находило отзвук в культе Гарибальди и освобожденной Италии, в сострадании к истерзанной Польше, в любви к Ирландии, матери бардов и святых, попираемой сапогом англосакса...

Если Эса вышел из средневеково-отсталой Коимбры, обретя бунтарскую отвагу мысли, значит, ему удалось одержать победу в одной из важных схваток. Но главным сражением, лишь исход которого определял победу или проигрыш в остальных битвах, была все-таки не Коимбра.

Конечно, совсем нетрудно представить первые опыты Эсы на поле жизни как серию непрерывных успехов. «Португальская газета» печатает его статьи и рассказы; в конце 1866 года недавно окончившего университет юношу приглашают редактором оппозиционной газеты «Оворский округ»; и там он пишет все, начиная с международного обозрения и кончая местной хроникой. Летом 1869 года вместе с братом своей

будущей жены — графом де Резенде — Эса отправляется в путешествие по маршруту Кадис — Мальта — Египет — Аравия — Иерусалим. В ноябре 1869 присутствует на открытии Суэцкого канала. Летом 1870 едет в Лейрию на должность председателя муниципальной палаты. И при этом, ведя во всех отношениях полнокровную жизнь, не прекращает писать.

Вместе с Рамальо Ортиганом Эса публикует сатирические фельетоны «Колючки», печатает стихи, тратит избыток задора на «оглушительный» сенсационно-полицейский роман «Тайна Синтрской дороги», задача которого — «разбудить Лиссабон громкими воплями». «Тайна» имеет успех и в 1902 году выходит четвертым изданием, хотя задолго до того Эса напишет в предисловии к ней, что импровизировал вместе с приятелем эту книгу, не имея ни плана, ни метода, ни школы, ни материалов, ни стиля: «...ни один из нас — в качестве романиста или в качестве критика — не пожелает такой книги даже злейшему врагу. В ней понемногу от всего, что романист не должен был бы вносить в нее, и почти все, что критик должен был бы из нее изъять».

Можно ли в таком случае оценить первые литературно-практические опыты Эсы как удачи?

Рассказы в «Португальской газете» вызывали скорее раздражение и насмешку, чем интерес публики. Позднее и сам Эса назовет свои чересчур крикливые первенцы «Варварскими рассказами». Сомнителен и успех Эсы на посту редактора «Эворского округа». Газетенка ему смертельно надоела, так же, впрочем, как провинция и скудная адвокатская практика, оборвавшаяся проигрышем крупного дела. Нет, успешным этот дебют не назовешь.

Правда, из множества открывшихся и на ощупь испробованных Эсою направлений, как раз благодаря первым опытам, прояснялось то верное, по которому следовало идти. Эса останавливает свой выбор на дипломатическом поприще — оно нередко манит поэтов, надеющихся, что профессия дипломата позволит, не порывая связи с родиной, освободиться от ее удушающих объятий.

На первый взгляд, Эса здесь добивается победы.

По традиции, место консула предоставлялось по конкурсу. Осенью 1870 года Эса выдержал его превосходно, опередив остальных соискателей. Но когда открылась вакансия, предпочтение было оказано другому кандидату. Эса ломал голову, откуда такая немилость; причины ее раскрылись позднее.

Дипломатическая карьера началась в 1872 году: Эсу посылают консулом первого класса на Антильские острова. Пользуясь близостью к Новому Свету, Эса посещает Соединенные Штаты Америки. В 1874 году получает назначение в Нью-Кестль. В 1876 — в Бристоль. С 1888 года и до конца жизни, до 16 апреля 1900 года, Эса де Кейрош — генеральный

консул в единственном городе, который, как сказано в «Семействе Майя», давал дышать свободно, в столице страны, издавна привлекавшей Эсу и, по сути, превратившейся в его духовную родину,— в Париже.

Распахнув врата в мировую культуру, профессия дипломата, очевидно, дала Эсе де Кейрошу позицию для наблюдений над современным миром, завоеванную умом и упорством духовную независимость, трезвость и широту кругозора. Но, говоря о спасительности дипломатической карьеры Эсы для его политико-социальной и художественной мысли, не следует забывать о разочарованиях, связанных с этой профессией. В главах «Семейства Майя» есть горькие строки о португальской дипломатии, суть которой в безделье и постоянном сознании собственного ничтожества.

Может быть, именно профессия дипломата заставляла резче, чем иная, ощущать пределы, которые немощная Португалия ставила перед своими творчески одаренными сынами. И, пожалуй, как раз генеральный консул страны, внимательно слушавший парижский пульс современности, должен был с болезненной остротой воспринимать унизительное положение отечества, так отличавшееся от великого прошлого.

Блестящие страницы истории, на которых были записаны подвиги Колумба и Васко да Гама, страницы, рассказывающие, как окраинная держава, далекая периферия Европы, вышла на магистраль морских путей, соединивших Старый и Новый Свет, читались теперь с восхищением, отравленным скорбью...

Каждый практический шаг доказывал Эсе, что единственной формой деятельности, где талант и личность обретут простор, остается литература. Увы, только литература — потому что целью была не одна лишь свобода личности и таланта. Вопросом вопросов была судьба Португалии, чей дух и плоть, словно раковой болезнью, уничтожался впавшей в маразм монархией. Литература казалась единственной общественной трибуной,— с нее и повел сражение Эса де Кейрош.

II

Сражение началось на ступеньках к трибуне. Чтобы подняться на нее, надо было сначала согнать предыдущего, грубо нарушившего регламент оратора: романтизм. Он давно уже бесстыдно повторялся, прикрывая отсутствие новых мыслей взвинченностью пафоса. Романтизм выглядел немощным, как сама Португалия, особенно на фоне литератур европейских. Но, при всей своей немощи, этот рутинный романтизм был вреден и живуч, как португальская монархия. Он стал охранительным, настороженным. Романтики шли друг другу на выручку, заслужив

прозвище: «Школа взаимного славословия». Победу предстояло завоевывать в бою нелегком, требовавшем сил, таланта, отваги.

Талант и смелость нашлись у молодых людей, составивших кружок, названный в подражание французским поэтам «Сенакль». Собирались молодые люди на квартире Ж. Баталья Рейса [1]. Вождем их стал Антеро де Кинтал. О том, как под влиянием Антеро формировались политико-социальные, эстетические идеи «Сенакля», Эса рассказывал:

«...Когда Антеро встретился с нашим дорогим, абсурдным «Сенаклем», собиравшимся в переулке Гуарда-Мор, здесь ревело и бесновалось адское пламя наших идей: смесь метафизики, революции, сатанизма, анархии, необузданной богемы... Антеро явился в Лиссабон как апостол социализма, принесший божье слово язычникам. Он обратил наши помыслы к предметам более высоким и плодотворным. ...Под влиянием Антеро де Кинтала вскоре двое из нас, собравшиеся было сочинять оперу-буфф на тему о переустройстве мироздания... бросили это пустое дело и засели за Прудона. Из «Сенакля» до появления Антеро не могло бы выйти ничего, кроме зубоскальства, сатанических стихов, ночных попоек и обрывков дешевой философии...» — Теперь члены «Сенакля» стали исповедовать Революцию, которая должна была наступить Завтра. Эстетическую революцию — во всяком случае. Их манифестом и боевым кличем стал памфлет Антеро, направленный против вождя романтиков Кастильо и провозгласивший «Здравый смысл и хороший вкус». За этим названием уже скрывалась программа «Демократических лекций в Казино», задуманных вроде бы с чисто просветительской целью — приобщить Португалию к происходящим в Европе событиям, ознакомить с проблемами современной философии и науки. На самом же деле смысл лекций был куда шире просветительских рамок:

«...Вокруг нас происходит процесс политического перерождения, и у всех есть предчувствие, что теперь резче, чем когда-либо, стоит на очереди вопрос, *как должен быть* преобразован общественный строй. Нам показалось необходимым, пока другие народы ведут революционную борьбу и прежде чем мы сами займем в ней принадлежащее нам место — с беспристрастием изучить смысл идей и законность интересов, на которые опирается каждая европейская *партия* и общественная группа».

Важна была не только программа лекций. Может быть, еще важнее было время, когда они задумывались,— весна 1871 года. Весна Парижской коммуны!

---

[1] С 1913 по 1918 год Ж. Баталья Рейс занимал пост португальского посланника в Петербурге и помог Г. Л. Лозинскому в составлении биографии, остающейся единственной значительной работой об Эсе на русском языке (см.: Эса де Кейрош, Собр. соч., т. I, изд. «Всемирная литература», М.— П. 1923).

Первые две лекции — 22 и 27 мая — прочел сам Антеро, говоривший о причинах упадка Пиренейского полуострова, о католицизме, абсолютизме, колониях. 6 июня Аугусто Сороменьо читает лекцию о португальской литературе и 12 июня Эса — о реализме.

Поскольку романтики носили ниспадавшие на плечи волосы, скорбно висящие усы и темный костюм, отвечающий меланхоличному настрою души, длинный и тощий Эса предстал перед аудиторией в полемически строгом, застегнутом на все пуговицы фраке, в белом жилете, лакированных башмаках, перчатках свинцового цвета. В подчеркнуто строгую форму Эса облек и свою взрывную концепцию.

Революция — душа XIX столетия. Она все преобразует своим напором, никто не в состоянии уйти от ее воздействия. «Дух времени — революция, а нынешнее искусство продолжает дело реакции». Французская революция 1789 года была делом рук литературы: армия писателей — от Рабле до Бомарше — сомкнутым строем отважно выходила на бой против мистицизма и аскетизма, пока не добилась победы, чтобы потом отречься от своего собственного творения... Вторую империю, возникшую на развалинах 1848 года, Эса расценивал как эпоху развращенных скептиков и низменных материалистов. «Роскошь задушила достоинство», родился отвратительный мир кокоток. И под стать ему — распутная бульварная литература.

Но нарастает протест против фальши, раздаются требования, чтобы искусство вернулось к действительности.

Реализм, именно реализм, настаивал Эса, искусство сегодняшнего и, наверное, завтрашнего дня. Реализм — это отказ от всего лживого, пустого, нелепого, это изгнание всякого рода риторики. Переход на позиции реализма — вот единственное спасение для португальского искусства. В противном случае, изменив революции и губя нравы, оно неизбежно погибнет, как только пробудится совесть народа...

Разумеется, лекции были запрещены правительством. Властям казалось, что восставший пролетарий уже выглядывает из-за спины Антеро, к тому времени — члена I Интернационала. Разумеется, не помог и протест против запрета лекций, опубликованный в лиссабонских газетах за тремястами подписей,— среди них была также подпись Эсы де Кейроша. Кстати сказать, именно из-за лекций должность консула, на которую рассчитывал Эса, была отдана другому. Эса пошел в атаку, напечатав в очередном выпуске «Колючек» дерзкое размышление о причинах, по которым не получил должности консула:

«...Я стал наводить справки и узнал, что правительство, действительно, считает меня: 1) главой республиканцев, 2) клубным оратором, 3) организатором забастовок, 4) агентом Интернационала, 5) эмиссаром Карла Маркса, 6) представителем рабочих ассоциаций, 7) сообщником парижских поджигателей, 8) убийцей господина Дарбуа, 9) тайным ав-

тором прокламаций, 10) содержателем склада бензина, 11) бывшим каторжником, и наконец — 12) за мной всегда ходит по пятам агент полиции.

Нет, господа министры, нет! — восклицает Эса.— Если вы хотите задушить Интернационал, то обратите свои взоры на кого-нибудь другого, я не подхожу для роли вешалки, на которую наденут красный колпак, чтобы доставить картинную победу кабинету министров.

Может быть, шептали мне с таинственным видом, виновата лекция, в которой я порицал искусство для искусства, романтизм, беспочвенный идеализм, погоню за красивостью? Неужели господа министры думают, что цель реализма — устроить забастовку в Осйрас? Неужели они полагают, что любимейшее занятие литературного критика — поджигать здание парламента? Или они считают, что Генриха IV убил Буало? Или что главнейшая цель Интернационала — искоренить романтизм? Неужто они пребывают в убеждении, что задача семнадцати миллионов рабочих, вошедших в Интернационал,— причинить неприятность Ламартину?.. Нет, о родина, нет! Если я могу удостоиться чести служить тебе только при условии, что буду читать и любить оды господина Видаля... Нет, о родина, нет! Благодарю, но это выше моих сил».

Таковы уж парадоксы капризной португальской жизни, что памфлет возымел действие. Именно в это время сменился кабинет, и новый министр иностранных дел, эффектно демонстрируя либерализм, предоставил Эсе консульскую должность на Кубе.

Переход на позиции реализма предполагал, конечно, и пересмотр эстетических ценностей, и смену авторитетов, и новую национальную ориентацию в искусстве Европы. Переход к реализму требовал независимости в сфере идей и вкусов, достичь которой было не легче, чем независимости в практической жизни. Свобода мысли могла быть добыта тоже лишь в неустанном преодолении рутины.

В написанной около 1890 года и для парижского дипломата чересчур откровенной, а потому напечатанной лишь посмертно статье «О французском засилии» Эса с иронией и горечью вспоминал, что, когда он начал делать первые шаги, вокруг него возникала одна лишь Франция. Младенца принялись учить грамоте, и озабоченное этим государство вложило ему в руки книжку — но это была повесть, переведенная с французского. Потом юноше пришлось подыматься на голгофу экзаменов, но главное, что интересовало профессоров в Коимбре,— говорит ли он по-французски. Столица — и та словно стремилась доказать, что нет в ней ничего национального. В театрах — только французские комедии, в магазинах — французское платье, в отелях — французская кухня. Для читающей публики — французская литература.

Повторяя в ученическую пору уроки мэтров, молодой писатель, как водится, переболел детской болезнью, но переболел довольно быстро.

уже на первых порах и даже в подражаниях он проявлял самостоятельность. В отличие от доморощенных наставников, Эса вторил не водянистым стихам Ламартина, а первому среди романтических мастеров социальной иронии — Генриху Гейне. Ориентация на лирико-фантастическую и философскую новеллу немецких романтиков была в какой-то мере тоже формой проявления независимости таланта: бунтуя против рабского равнения на Францию, Эса искал новые пути в сфере немецкой мысли.

Поиски продолжались и на Британских островах. Четырнадцать лет, проведенные в Нью-Кестле и Бристоле, дали возможность органично усвоить завоевания английского реалистического романа, из школы которого Эсе ближе всего был Диккенс. Впоследствии Эса назовет литературу Англии «несравненно более богатой, более живой и оригинальной, чем литература французская».

Но, бунтуя против французского засилия, Эса все же никогда не порвет узы, связавшие его с Францией. И дело здесь не столько в том, что воспитание, данное в детстве, придавало им особую прочность. Не только в том, что историк Мишле и социолог Прудон, поэты Бодлер и Леконт де Лиль были восприняты Эсой в молодости как откровение. Что Эсу покорили универсальный гений Гюго и проза Флобера. Верность Франции была продиктована всей логикой художественного развития Португалии и европейских литератур.

Насколько мощным был взлет немецкого гения в эпоху «классическую», когда творили Гете и Шиллер, Гегель и плеяда романтиков, настолько же резким оказался упадок литературы в Германии после революции 1848 года. Вплоть до конца столетия немецкая проза не дала великого романа, который мог бы соперничать с творениями, появлявшимися по ту сторону Рейна или на берегах Темзы. Между тем все более властной политико-социальной потребностью, все более осознанной эстетической необходимостью становился для Португалии тот сурово-критический, жаждущий сути, а не иллюзий реализм, который провозглашали своим девизом Бальзак, Флобер, Золя.

Именно французская литература осталась поэтому первой и главной наставницей Эсы. Надо лишь помнить, что отношение к ней эпигонов португальского романтизма и основателя реалистической школы в корне различно. Первые смотрели на Францию снизу вверх, подобострастно,— Эса берет у нее уроки, не теряя независимости и достоинства, подчиняя благоприобретенный чужестранный опыт отечественной цели. И бесспорное свидетельство тому — роман, подготовленный идеями, выношенными в «Сенакле», высказанными на лекциях в «Казино», выстраданный на протяжении почти пятнадцати лет, отделивших начало литературного ученичества от зрелости.*

III

Слова Вольтера о религии — «Раздавите гадину!» — могли бы стать эпиграфом к «Преступлению падре Амаро». Трижды возвращаясь к сюжету, не отпускавшему мысль и сердце со студенческих лет, Эса в каждой новой редакции критичней, жестче, яростней относился к главному герою и окружавшим его святошам. Эса уверен, что слуги отца небесного вреднее для страны, чем ее земные владыки. И что сегодня, как века назад, католицизм остается для Португалии главной опасностью. Эса выходит ей навстречу.

...На рассвете Лейрия узнала, что известный своим обжорством соборный настоятель скончался: удав не переварил рыбы, которую заглотал за ужином. Его не жалели: рыгавший в исповедальне падре Жозе Мигейс был мужланом с повадками землекопа и хриплым голосом, с грубыми ручищами и торчащими из ушей жесткими волосами... Таков облик первого церковника и одновременно первого персонажа, с которым Эса знакомит читателя. Многим ли лучше второй?

Декан кафедрального капитула Валадарес, в отличие от Жозе Мигейса, сухопар, длинноног, близорук. Настолько близорук, что не видит преступлений, совершаемых под его носом.

На третьего священника стоит взглянуть внимательней, он играет в романе немалую роль. Сутана, обтягивающая большой живот, набрякшие под глазами мешки, жирные губы... Портрет каноника Диаса будто списан «из старинных историй про сластолюбивых и прожорливых монахов». Между внешностью каноника и его внутренней сутью полное единство формы и содержания. Настолько же полное, насколько очевиден разлад между словами его и делами. Дружок пышногрудой Сан-Жоанейры — содержательницы пансиона для холостяков — еще в семинарии преподавал юному Амаро Виейре христианскую нравственность.

В книге создана воистину галерея священнических портретов, среди которых выделяется своей живописностью портрет групповой. Его можно озаглавить: «Званый обед у аббата из Кортегасы». Кажется, что распятый медный Христос, стоящий на комоде, должен страдать не столько от ран, сколько от вида сидящего перед ним «Христова воинства». Во всей своей красе оно предстало, однако, не в час утешения плоти, а в мгновение опасности.

Тут уж напрасно увещевать, что долг христианина прощать обиды. «Кости переломаю! Измордую! Дух вышибу!» — рычит самый глупый в епархии падре Брито, услышав намек на его шашни со старостихой. Бесполезно взывать и к милосердию злющего хорька Натарио, выследившего, какой это «Либерал» настрочил заметку в «Голос округа»: «Для нечестивцев нет милосердия! Инквизиция выжигала их огнем, а я буду

вымаривать голодом. Все позволено тому, кто борется за святое дело». «Святое дело» же сводится для падре Натарио к не менее священному принципу: «Не надо было трогать меня».

Перед нами не духовные пастыри, а члены шайки. И они вдвойне опасны, даже грозны, ибо все-таки ведут за собою, как пастыри, стадо фанатиков и фанатичек, способное затоптать каждого, кто попадет ему под копыта.

Эсе почти физически отвратительны злобные кумушки, на которых в Лейрии держатся небеса и земля.

Дону Марию де Ассунсан он награждает хроническим насморком, костлявыми руками, бородавкой на шее с торчащим из нее пуком волос, привычкою дергать головой и, улыбаясь, приоткрывать огромные зубы, которые сидят в деснах, «как вбитые в дерево железные клинья». Эса не пожалеет доне Марии драгоценных перстней, золотых очков, броши на массивной золотой цепи, свисающей от шеи до пояса, лишь бы на этом золотом фоне уродство выглядело еще отвратнее. Эса превратит гостиную доны Марии в какой-то склад святынь, где пресвятые девы в одеждах из голубого шелка теснятся на комодах рядом с толстенькими младенцами Христами и святыми Себастьянами, утыканными со всех сторон стрелами; где громоздятся четки из металла, из цветных бусин, из маслинных косточек; где хранится подлинная щепка от креста господня и реликвия из реликвий — обрывок пеленки младенца Христа, чтобы, завершая портрет, невзначай обронить в конце романа: дона Мария взяла в дом молодого лакея, который раньше был плотником и жил напротив. Теперь парень отъелся, ходит этаким фертом, сигара, часы, перчатки.

Никому из ханжей, лишь прикрывающих набожностью пороки, Эса не даст уйти от разоблачения. Даже усерднейший Либаниньо, который появляется на страницах романа, всегда задыхаясь от спешки, суетясь и попискивая,— «завтра святой Варваре надо раз шесть, не меньше, прочитать «Отче наш»,— который пропадает в казармах, рассказывая солдатикам о страданиях господа нашего Иисуса Христа, в итоге раскрывается со своей нефасадной стороны: поздно вечером в Тополевой аллее его ловят с сержантом и в такой позе, что, увы, не остается сомнений... Так дается фон картины, в центре которой — падре Амаро.

Эса наносит ему свои удары, начиная с легких, но точных уколов.

Сын камердинера и горничной? Что ж, не винить же сиротку. Тем более, что малыш воспитан в доме маркизы де Алегрос, превратившей бога в свое единственное развлечение; среди служанок, втягивающих ребенка в интриги и сплетни; рядом со столь же религиозными, сколь элегантными дочерьми маркизы, день-деньской обдумывающими туалет, в котором они войдут в царство небесное. В конце концов бывает воспитание и похуже — например, в лавке у дядьки-бакалейщика, где подрос-

ший «осел», «лопух» Амаро с пяти утра отрабатывал скудный кусок хлеба.

Прослеживая истоки характера, Эса добирается тем самым до корней преступления, в котором виновны или замешаны: семинария, куда Амаро отдали, не спрашивая о желании, и где его научили зубрить бессмыслицу, низко кланяться, выслуживая отметки, подчиняться, как овца, движению стада; священническая каста, со своим отнюдь не евангельским кодексом, согласно которому «все позволено», что не вредит кастовым интересам; строй, который поддерживает эту касту, потому что каста поддерживает этот строй.

Падре Амаро дозревает до своего преступления постепенно. Согрешив с коровницей Жоаной в хлеву, на куче соломы, он поначалу в ужасе от своего скотства и боится войти в церковь — ведь нарушен обет! На первых порах влечение падре Амаро к Амелии не отравлено лицемерием и холодным циничным расчетом. Но вот он подсматривает сценку между каноником Диасом и Сан-Жоанейрой, проходит школу клеветы у падре Натарио... Чем дальше, тем больше усиливается теперь тоска о временах, когда власть церкви не уступала власти государства и на улицах зажигались костры инквизиции, чтобы в страхе перед пыткой и казнью содрогались бы все, кто обладал счастьем любви, недоступным для него, соборного настоятеля.

Падре Амаро гнетет не одно лишь изнурительное томление плоти. Всегда и всюду он покоряется чужой воле, подчиняется «сеньору епископу, епархиальному совету, канонам, уставу», с утра до ночи он обязан поклоняться богу. Для Амелии — он сам становится богом, как будто беря реванш за прошлое. Наслаждаясь ее запретным телом, он словно возвращает себе свободу, торжествует над «вольной» частью рода человеческого, над каждым из мужчин, кто, не неся тонзуру священника, как бы отнимал его долю счастья.

Торжество падре Амаро отравлено страхом. Он дрожит, что его деспотической власти над душою и телом Амелии придет конец, и он сам нагоняет страхи и ужасы на эту смятенную душу. Чем сильнее страсть падре Амаро, тем очевиднее, что чувство его не может быть истинным, искренним. Запретная любовь католического священника уже по уставу церкви и по условиям жизни, ему предначертанным, не может не быть лицемерной, лживой, циничной.

Последний мазок, последний штрих к портрету героя — встреча каноника Диаса с падре Амаро в Лиссабоне, у памятника Камоэнсу. «Вот бы кого тебе поисповедовать»,— тихо сказал каноник, провожая взглядом барышню с девственной талией. «Прошли те времена, учитель,— усмехнулся падре Амаро,— теперь я исповедую только замужних».

Итак, падре Амаро вполне усвоил правила игры. Португальский «милый дружок» исполняет теперь уже привычную роль в грязном спек-

такле, который провинция и столица разыгрывают с благословения церкви. Хранитель прогнивших устоев и враждебного живой жизни порядка, падре Амаро теперь клетка, молекула преступно-циничного общественного организма, источающего как продукт своего гниения — мракобесие и лицемерие.

Эса отчетливо видит: сила реакции — в слабости противника. Тусклый мыслью, трусливый падре Амаро, равно как весь лагерь ханжей и святош, не одержал бы верх, если бы те, кто бросает им вызов, действительно воплощали в себе — как им кажется — отвагу и мощь прогресса. Увы, лицемерие — порок универсальный.

Эса знает цену прогрессистам Лейрии. И склонен судить «своих» порою строже, чем клерикалов. Росчерком пера расправляется он поэтому с дядюшкой Патрисио, владельцем лавки на Базарной площади, либералом из «ветеранов», чья историческая миссия — глухо рычать вслед проходящим мимо священникам. Поэтому больше всего достается «Кавуру здешних мест», вождю прогрессистов Лейрии, самому доктору Годиньо.

«Могучий интеллект», «светлая душа» и проч. и проч., как уверяет в каждом номере «Голос округа». Но недавний редактор «Эворского округа» Эса великолепно знает цену и комплиментам прессы. Не обремененному совестью писаке, чье бойкое перышко эти комплименты разбрызгивает, Эса жалует прозвище «горбун», причем скорее за искривленную душу, чем искривленную спину. Опору порядка и власти, непременного секретаря Гражданского управления Гоувейю Ледезму, когда-то известного в лиссабонских борделях под кличкой «Биби», а теперь изрекающего, окутавшись облаком государственной тайны: «Доктор Годиньо отдает должное правительству, а правительство отдает должное доктору Годиньо»,— Эса аттестует словечком «пустобрех».

«Пустобрех» — вот найденное слово, нужды нет, что пришло оно на ум падре Натарио. Когда непременный секретарь, зная, что такое падре Натарио, падре Брито и другие, толкует насчет религии «либеральной», гармонирующей с прогрессом, с наукой,— он пустобрех. Когда доктор Годиньо, приняв величественную позу, изрекает гневные слова насчет материализмов-атеизмов и торжественно заверяет, что пусть Европу предадут огню и мечу, но в Лейрии, пока доктор Годиньо жив, вера и порядок неприкосновенны,— он остается напыщенным, отвратительным пустобрехом и таким же ханжой, как худший из клерикальной братии и любой из раздутых водянкою величия поборников лейрийской свободы. Не забыть бы среди них аптекаря Карлоса, фигуру ничтожную, которая именно по этой причине оказывается законченным воплощением местного либерализма, его карикатурной отваги, грошового пафоса и заодно — верноподданной ненависти к «фанатикам-республикан-

цам»: аптекарь «почти готов» отпустить им синильной кислоты вместо своих благотворных микстур, высшего достижения науки.

Наборщик из «Голоса округа» Густаво — образ такого фанатика-республиканца. Образ, окрашенный ласковой, добродушной иронией, четко отделяющей его от либералов.

Знаменательна уже профессия Густаво.

Отправившись во Францию учиться социализму, Антеро де Кинтал тоже поступил в наборщики, причем в ту типографию, где работал наборщиком Прудон, чтобы как можно больше узнать об «Учителе» и взглянуть на окружающее его глазами. Еще более знаменательна мечта Густаво вступить в Интернационал, присоединиться к братству народов, для которого нет ни португальцев, ни испанцев, никого и ничего, кроме справедливости... В 90-х годах, вспоминая о своей молодости, Эса писал: «Моим желанием было примкнуть к Интернационалу».

Проклятия, которые Густаво шлет Наполеону III, русскому царю, поработителям Польши, угнетателям народа; максимализм, с которым он клеймит любовь и семью (ведь в такую минуту, когда надо вызволить труд из когтей капитала, гоняться за юбкой — значит стать изменником!); юношески нетерпеливая вера, что Революция начнется Завтра — и тогда он ворвется с ружьем в ресторан к дядюшке Озорио, где сейчас осушает с Жоаном Эдуардо третий графин вина, развивая идеи,— все это во многом идеи самого Эсы и его друзей из «Сенакля».

Наборщик-республиканец, конечно, далек от учения Маркса. Он еще на стадии утопических мечтаний, и ближе всего ему, очевидно, анархический социализм Бакунина, как раз в ту пору особенно распространенный в романских странах. Однако, помимо смутных идей, есть у Густаво и доброе сердце. Он единственный, кто готов искренне и немедленно помочь безутешному жениху, потерявшему и невесту, и работу. Его ли вина, что в карманах нет девяти милрейсов, нужных для покупки печатной бумаги? Несчастных и проклятых девяти милрейсов, к сожалению, необходимых, чтобы набрать текст трактата, которым Жоан Эдуардо повергнет наземь иезуитов и духовенство, административную власть папства и всю церковь.

Поскольку девяти милрейсов все-таки нет, Жоан Эдуардо остается жертвой религиозной реакции и той интриги, которую осуществили в Лейрии святоши «под сенью старого собора», как пишет Эса, определяя в предисловии тему романа. Жоан Эдуардо обречен быть жертвой интриги и реакции, своего горячего чувства и холодного равнодушия Амелии, как всегда обречен в романах и в жизни добрый малый, «маленький человек», попадающий в волчью стаю.

Жоан Эдуардо непосредственно противостоит падре Амаро. Оба молоды и приятной наружности, оба влюблены в Амелию и пытаются

всеми средствами удержать избранницу. Либерал ли он? Непременно, раз его соперник падре Амаро — святоша. Но свободомыслие Жоана Эдуардо еще более робко, чем прогресс Португалии. Столь грозный для священников атеизм влюбленного переписчика не посягает на веру в бога, отступает перед верою в первородный грех, не вызывает даже сомнений в загробной жизни. Как же может подобный атеизм не спасовать в самых невинных схватках с церковью? Даже победоносный удар в плечо, нанесенный при встрече с падре Амаро на площади, удар, оцененный аптекарем Карлосом как следствие заговора атеистов, республиканцев, рационалистов и как симптом начинающейся социальной революции, имеет своим источником помянутые уже три графина — слишком тяжелые для слабенькой головы Жоана Эдуардо.

В романе развенчаны, следовательно, оба лагеря. И хотя, меняя направление справа налево, от святош к либералам, сатира нет-нет, а становится добродушнее, все же ясно: Эса де Кейрош не склонен примыкать ни к левым, ни к правым. Он одинаково далек от провинциально-ограниченных позиций обоих лагерей. Его мысль подымается на другую ступень, тяготеет к иной, более высокой сфере.

Во время родов Амелии, у ложа жизни, ставшего для нее ложем смерти, встречаются аббат Ферран и доктор Гоувейя. У последнего репутация самого отпетого из бесстыдников, или покрепче, репутация бандита, которому в преисподней давно уготовано жаркое местечко. И доктор заслужил его, очевидно, больше, чем кто-либо в Лейрии. Ему не нужны ни священники на земле, ни бог на небе. Церковь для него — инородное тело в обществе, препятствующее развитию человечества. По убеждению доктора, клерикальное воспитание враждебно не только современности, но самой природе и разуму. Доктор — материалист трезвый, верный науке, наблюдению, опыту. И на доктора не распространяется ирония. Перед лицом смерти, как испокон веку требует истинное искусство, Эса серьезен. Кажется, вывод ясен: именно в докторе Гоувейе и раскрывается позитивистский и позитивный идеал писателя. Но...

Амелия умерла, и в последние минуты трезвая наука оказалась явно бессильной. Мало того, многоопытная Дионисия, двадцать лет принимающая роды, обвиняет доктора в страшной ошибке, граничащей с убийством. Случайная деталь? Но может ли быть случайной в строго расчисленном и трижды переработанном романе такая «деталь», как смерть Амелии? Конечно, за нею стоят логика, закономерность: когда Жоан Эдуардо приходил к доктору Гоувейе молить о помощи, он не унес ничего, кроме трезвых рассуждений. Да и во время родов доктор больше разглагольствует, чем помогает роженице... Нет, позитивист-доктор для Эсы все же не позитивный идеал. В докторе, уже по про-

фессии своей гуманисте, как будто разделившем с аббатом Ферраном заботу о духе и плоти грешной и страждущей Амелии, или иначе — о грешном и страждущем человечестве, Эсе недостает как раз гуманизма — деятельного добра. Вот почему последнее слово в романе предоставляется добродетельному аббату Феррану, старенькому священнику в покрытом заплатами подряснике.

Правда, поговаривают, что падре с «заскоками». Сколько раз уже сменились епископы, а он по-прежнему служит в нищем приходе, куда жалованье запаздывает и где жилище затопляет после дождя. Довольствуется он двумя кусками хлеба и кружкой молока на день, но в его кармане всегда монетка, приготовленная, чтобы одолжить соседу. В его часовенке природа рядом с богом, через открытые двери залетает ветер, на пороге резвятся дети, воробьи чирикают у самого подножья крестов.

Так что же, под конец боя у Эсы иссякла ярость? Или Эса дрогнул перед противником и ввел «хорошего священника», чтобы, свалив вину на «отдельных плохих», оправдать тем самым церковь, религию, веру? Или в романе торжествует идеал руссоистско-толстовского опрощения, скорее этический, чем религиозный? Или же, наконец, решающая ставка Эсы на тех бескорыстных чудаков, которые со времен Дон-Кихота не раз уже преподносили истину жизни?

Страницы, посвященные аббату Феррану, действительно дают повод думать, что «Падре Амаро» роман скорее антиклерикальный, чем антирелигиозный. Закоренелые безбожники в романе — это как раз каноник Диас, падре Натарио, циники, которым ничто не важно, кроме утробы и шкуры.

Итак, побеждает добрый, почти святой Ферран? Не стоит спешить с ответом. Слишком уж бессилен и жалок при всем своем голубоватом сиянии победитель. Нигде, кроме нищей, заброшенной деревушки, нельзя представить себе аббата с его голубиной чистотой. Его усилия противостоять злу беспомощны: Амелия погублена, надежда выдать ее после родов замуж за Жоана Эдуардо — во всех отношениях сомнительна, так же как победа падре Феррана, которая практически очень похожа на поражение.

Печальный итог? Пожалуй, но ни лгать, ни мириться с ним Эса де Кейрош не хочет и не может.

За пределами Португалии, в Париже, происходят исторические события: «Коммунары! Версаль! Поджигатели! Тьер! Злодейство! Интернационал!» — кричат газетчики. На фоне парижского зарева, по-новому осветившего Лиссабон и преступного падре Амаро, «под холодным, бронзовым взглядом» великого Камоэнса последняя сцена романа обретает символический смысл. В Португалии, как в воздухе, нуждающейся в свободе, все-таки есть надежда, зовущая в бой!

IV

В ноябре 1877 года Эса сообщает Рамальо Ортигану, что «Кузен Базилио» закончен, а в январе 1878 года пишет своему издателю Шардрону, что собирается приступить к созданию двенадцатитомной серии, напоминающей «Ругон-Маккаров» Золя и озаглавленной «Сцены португальской жизни». Первый роман «Столица», затем почти законченная «Катастрофа в переулке Калдас» и уже выношенный том о военном и политическом крахе Португалии. Здесь будут показаны революционный кризис, война, оккупация...

Эсу самого пугает обширность и острота замысла. Какое обвинение португальской политике! Правящая партия, люди, назначившие его консулом, министры, у которых он был в подчинении,— все будут выведены, все будут нести бремя ответственности: ибо они виновны в катастрофе, которая неминуемо постигнет Португалию. «Я хочу устроить сильный электрошок спящей свинье (я имею в виду нашу родину),— пишет Эса Рамальо Ортигану.— Ты скажешь: да какой там шок? Наивное ты дитя! Свинья спит. Можешь устраивать ей сколько угодно электрических шоков, свинья будет по-прежнему спать. Судьба баюкает ее и напевает: «Спи, усни, моя свинья...» Это, конечно, верно, но я сообщаю тебе о том, что намерен делать я, а не о том, что будет делать родина».

Через два месяца, 12 марта, Эса напишет Теофилу Браге: «Если есть на свете общество, которое нуждается в художнике-мстителе, то это наше современное общество».

Однако шли годы, а родина спала. И дрема Португалии не могла не сказаться на осуществлении замыслов художника-мстителя. Время накладывало на него свою печать.

На исходе 80-х годов с улиц и стен Парижа — а именно здесь теперь жил генеральный консул — уже исчезли следы баррикадных боев Коммуны. Ровно столетие прошло с той поры, как в 1789 году штурмом Бастилии началась самая грозная и величественная из французских революций. Республика встречала эту дату ослепительными торжествами, будто одной лишь помпезности не хватало для подтверждения, что свобода, равенство и братство теперь-то уж наконец завоеваны, а революция, слава богу, позади.

По дантовскому исчислению, сорокалетний Эса в ту пору уже вступил во вторую половину жизни; по воле судьбы — приближался к концу, совпавшему с концом века.

И для эпохи, и для художника наступала пора итогов. Итогов, не оставлявших места ни для каких иллюзий: в 1891 году покончил самоубийством Антеро де Кинтал.

Проза Эсы становится в эти годы философичней. Мысль его тяготеет к обобщениям, подымающимся над подробностями. Ему становится

вновь мила романтическая фантазия, отвергнутая когда-то из сознания литературного и общественного долга. Небеса романтики влекут Эсу, словно задохнувшегося в провинциальной Лейрии, в буржуазно-мещанской среде Лиссабона, изображенной в «Кузене Базилио». Признанием звучат строки Эсы о португальском художнике, привыкшем к путешествиям по стране идеала: «...если бы ему не удавалось по временам убегать в голубую даль, он скоро исчах бы от тоски по химере. Вот почему даже после победы натурализма мы еще пишем фантастические рассказы, настоящие фантастические рассказы с привидениями, где, перелистывая страницу, встречаем черта, милого черта, это очаровательное пугало католических детей. И тогда, по крайней мере на протяжении томика, не чувствуешь отягощающего подчинения истине мук анализа, несносной тирании реальности. Мы во власти эстетических вольностей. Мы золотим свои эпитеты. Мы пропускаем фразы по листу белой бумаги, как процессию, забрасываемую розами... Но последняя страница дописана, последняя корректура просмотрена, и мы спускаемся с облаков на мостовую, вновь принимаясь за тщательное изучение человека и его беспредельных страданий. Довольны ли мы этим? Нет, мы подчиняемся необходимости».

В емкой притче «Мандарин», сюжетно восходящей к «Отцу Горио» Бальзака, к Руссо и открывающей творчество Эсы 80-х годов, есть черт, привидение и фантазия. Черт искушает Теодоро позвонить в колокольчик — тогда в Китайской империи умрет престарелый мандарин, который оставит Теодоро несметные сокровища. Бедняга-переписчик звонит и вместе с фантастическими богатствами, путешествиями, приключениями, вместе с возможностью вести «сладкую жизнь», наслаждаясь всем благом и злом цивилизации, получает в наследство преследующее его привидение — убитого мандарина. Разумеется, Теодоро прекрасно сознает, что небо и ад — «концепции для простого народа», что бог и дьявол — «чисто схоластические фикции». Но однажды, когда исчезает надежда на помощь людскую, а угроза кажется смертельной, он вдруг ощущает «необходимость божества». Мораль этой емкой притчи, удивительно перекликающейся с мотивами Достоевского, изложена в коротком завещании Теодоро: «Вкусен лишь тот хлеб, который, работая день за днем, мы добываем собственными руками. Никогда не убивай мандарина!» И еще, пожалуй, в иронической, скорбной концовке автора: «Так-то, мой читатель, создание, задуманное богом, неудавшееся произведение из негодной глины, двойник мой и брат мой».

Древний мир и современность, фантазия и реальность, земля и небо, сатана и бог — все переплавил Эса в романе «Реликвия» (1889). Начинается он с мелодий, как будто знакомых со времен «Падре Амаро». В доне Марии де Патросинио, сухой, как прошлогодняя лоза, фанатичке с желтым лицом и унизанными перстнями пальцами, угадывается ее

сестра по духу и плоти дона Мария де Ассунсан. Теодорико Рапозо близок падре Амаро хотя бы тем, что тоже страдает от бурных порывов чувственности, вступившей в непримиримый разлад с религией. Есть в романе и доктор, правда, Боннского университета, историк, что не мешает Топсиусу, автору по-немецки ученого семитомного труда об Иерусалиме и других столь же тяжелых фолиантов, быть позитивистом не хуже, чем португалец Гоувейя. Вместе с соломинками из яслей, где нашли божественного младенца, и гвоздями, когда-то вбитыми в крест и в тело спасителя, вместе с кусочками кувшина богоматери, подковами осла и пр. в «Реликвии» упоминаются и пеленки Иисуса Христа, ничуть не уступающие тем, которые хранила первая дона Мария — из «Преступления падре Амаро».

По дешевке торгует теперь пеленками, подковами, святой водицей безутешный Рапозо, лишенный наследства своей лютой теткой доной Марией за то, что чувственность предпочел святости. Рапозо не вызывает уже ни гнева, ни отвращения, как падре Амаро. Скорее жертва, чем победитель, он явно заслуживает снисхождения: плутовские его уловки ради наследства даже не назовешь лицемерием — так честно исповедует он естественную религию плоти, несовместимую со злобной и фанатичной религией ее умерщвления.

Наивный, грешный плутишка Теодорико, так же как сопровождающий его в Иерусалим и в древнюю Иудею, перегруженный всесветной эрудицией посильщик разума Топсиус, получает в романе комедийную и служебную роль.

Главный, истинный, трагический герой «Реликвии» — Иисус Христос.

Кроме имени, у него нет ничего общего с тем мраморно-золотым, бесчувственным идолом, поклоняться которому заставляли Рапозо. Мало того, молодой плотник из Галилеи, деревенский мечтатель, собравшийся переделать мир, вопиственно полемичен традиционному образу искупителя, какой тысячелетия навязывает церковь. Вслед за Эрнестом Ренаном, вслед за автором знаменитой «Жизни Иисуса» Давидом Штраусом и другими учеными и писателями, продолжившими труд родоначальника рационалистической критики Евангелия С.-Г. Реймаруса, Эса де Кейрош отрицает божественность Христа и дает не религиозную, а историческую, художественную, социально-этическую трактовку древнего мифа. Вольтерьянская атака на католичество ведется в «Реликвии», по сути, гораздо решительней, чем в «Преступлении падре Амаро». Из Лейрии Эса де Кейрош подымается к истокам, проникает в самое сердце христианства, избирая мишенью не рядовых служителей, а того, кому служат...

В апреле 1878 года Лев Толстой, обращаясь к Н. Н. Страхову, писал, что Ренан пытается изложить вневременную, абсолютную истину

как нечто историческое и временное. Толстого возмущало, что Ренан копается в песке, вместо того чтобы брать уже промытое из него золото... Толстой был прав, негодуя против «песка»,— на нем не построишь религию. Эса де Кейрош тоже рыхлит «песок», понимая, что выросшая на нем религия — все-таки самый надежный фундамент для уродливого сооружения реакционно-деспотической португальской — да только ли португальской? — власти.

Но одним лишь отрицанием церковного Христа образ, выписанный Эсой в романе, не исчерпывается. Главная идея, которая, собственно, и рождает трагическую силу образа,— это идея «лишнего человека».

Христос ненавистен каждой из трех партий, разделяющих власть над умами в Иудее. Ненавистен богатым и знатным саддукеям — потому что проповедь его обращена к обездоленным. Ненавистен зелотам, последователям бесстрашного Иуды Маккавея, потому что проповедью своей отвергает священную войну против Рима. Ненавистен фарисеям — потому что, пророк и безумец, он посягнул на нерушимый Закон Иеговы — бога первого, вечного и последнего, только верность которому спасет Иудею.

На что уж снисходителен синедрион, вынесший за семь лет всего лишь три смертных приговора, но и он не уступает в гневе толпе, которая в ответ на слова Иисуса — «Царство мое не от мира сего» — завопила: «Так вон его из этого мира». Варавва, разбойник, совершивший убийство, милее мытарям и нарумяненным тиверiадским проституткам, чем Иисус, проповедующий добро и любовь к людям. Смерти его требует, надрывая глотку, даже тот, из Капернаума, еще в субботу — сухорукий и недужный, целовавший Иисусу сандалии и слезно молivший: «Равви, исцели меня!»

По мысли Эсы де Кейроша, мечтатель из Галилеи, как всякий трагически чистый мечтатель, всем, всегда и везде оказывается лишним: когда казнь свершилась, саддукей, довольный, что победил Иегова и древний порядок, бросает толпе: «На холмах, по счастью, всегда хватит места для крестов!»

Следующий роман — «Семейство Майя» — начинается описанием мрачноватого особняка в Лиссабоне, где после долгих лет отсутствия снова обосновался старый Афонсо де Майя. Когда-то он слыл самым яростным якобинцем Португалии, читал энциклопедистов, Руссо и Вольтера, теперь же забыл про ненависть к духовенству и преклонение перед республикой, которую хотел основать. На старости лет Афонсо де Майя уже не требует от Лиссабона героев вроде Катона и Муция Сцеволы. Он любит старую куртку и старое кресло у камина, старые книги и старого кота, а не выносит лишь ограниченные, циничные, не стесняющиеся в средствах правительства, за что и получает долголетнюю ссылку в Англию. Надежды его связаны с внуком — Карлосом Эдуардо. Надежды

великие уже потому, что позади — великие разочарования, а еще по той причине, что красавец Карлос был создан богом в минуту редкостного подъема и наделен всеми талантами.

Избрав профессией гуманную, полезную медицину, Карлос в студенческие годы читает Прудона, Конта и Спенсера, занимается гимнастикой и фехтованием, погружается в музыку, искусство, литературу. Но вот закончена Коимбра, совершены путешествия в Рим и Москву, в Пекин и Лондон, в Америку и Японию, уже позади нелегкий сердечный опыт, а давняя мечта — стать гордостью нации — дальше от осуществления, чем когда-либо прежде. Единственное, что можно делать в Португалии, приходит к выводу Карлос, разводить овощи и ждать революции, которая выдвинет людей сильных, живых, самобытных. И хотя старик Афонсо, истомившийся от безделья внука и его друзей, почти молит их: «Хорошо, так устраивайте хоть революцию, только, ради Христа, делайте что-нибудь»,— Карлос все-таки избирает времяпрепровождение светски-пустое, безобидное и приятное. Живя в Париже, он делит время между женщинами и скачками, театрами, клубами, ибо жизнь не удалась — и наивны надежды, бессмысленно отчаяние.

Как ни различны историко-фантастический роман о Христе и современная хроника трех поколений знатного португальского рода, есть между ними внутреннее родство: обе книги — о «липнем человеке». К ним примыкают и последние два романа писателя.

«Знатный род Рамирес» вышел незадолго, можно сказать — накануне, «Город и горы» — вскоре после смерти Эсы де Кейроша. В первом пласты романтические и реальные, страницы, посвященные давней героике знатного рода и растерявшему рыцарские добродетели потомку, образуют — но иначе, чем в «Реликвии»,— сложное, «синтетическое» повествование. Как всегда, главное оружие романиста — то беспощадная и сатирически-острая, то снисходительная и ласково-добродушная ирония. Эса де Кейрош, как Гулливер, с высоты своей европейской, исторически-широкой позиции наблюдает за битвами «остроконечников» и «тупоконечников» в родной ему Лилипутии. Подобно старому Афонсо, Эса обращается к фидалго Рамиресу с настойчивым призывом: возродись же и возроди страну! Но, отыскивая путь возрождения, Эса в самой Португалии достойного дела и средства к достойной цели своему герою все-таки не находит.

«Город и горы» с его будто бы найденным делом и смыслом существования печальных выводов Эсы не отменяет. Наоборот, роман подтверждает их — как доказательство от противного.

Роман вырос из повести «Цивилизация», герой которой, португальский аристократ в светском Париже, погрузившись в суету города и в сокровищницу культуры (тридцать пять энциклопедических словарей в личной библиотеке), «преодолел» Шопенгауэра и Екклесиаста. Что, в

самом деле, мог знать о жизни мрачный немец, проведший полвека в провинциальном пансионе, отводя глаза от книги только за табльдотом в беседе с поручиками гарнизона? И стоит ли прислушиваться к Екклесиасту, обнаружившему, что жизнь — иллюзия, только к семидесяти пяти годам, когда власть уже ускользала из рук и триста наложниц гарема стали излишними для истощенной плоти: «один проповедует на похоронный лад о том, чего не знает, другой — о том, чего не может».

В романе герой — «принц Счастливчик» — тоже поглощает вавилонскую башню всяких этик и эстетик, меняет Гартмана на Рёскина, интеллектуальный феодализм Ницше на неистовое самоотречение Толстого, терпеливо испытывает в своем особняке и на себе самом новейшие ухищрения бытовой техники, чтобы нечаянно обнаружить утраченную радость жизни в патриархальной простоте португальской деревни. Роман «Город и горы» с его розоватой идиллией, с его «последним прости» суете и грохоту цивилизации, «городу», с попыткой найти убежище в «горах», в удаленном от социальных бурь честном существовании,— продиктован тоскою по родине, ясным ощущением кризиса буржуазной культуры и всей атмосферою «конца века». В этой кризисной атмосфере родилась «Переписка Фрадике Мендеса» (1891).

«Еще в период «Сенакля», сетуя на истинно китайскую апатию лиссабонцев, закосневших в вековом созерцании и пережевывании одной и той же полумысли,— писал Ж. Баталья Рейс,— мы решили общими силами создать сатанического поэта — Карлоса Фрадике Мендеса».

Подборке его стихов, напечатанной в «Сентябрьской революции», Эса предпослал вступление, в котором разъяснял, что сеньор Фрадике Мендес — автор трех поэтических томов; первый, содержащий любовные стихи, назван «Гитара Сатаны»; том философской лирики озаглавлен «Сегидильи Пана»; третий, включающий в себя исторические поэмы и драматические фантазии, получил название «Одичалые мысли». В них видна, продолжает Эса, субъективность художника, сокрушающая запруды формализма и классических традиций, разливающаяся неудержимым, стихийным потоком, «чему способствует хаотическое состояние философской, социальной и эстетической мысли нашей эпохи, эпохи созидания и анархии, освобождения от пут и перехода к новым формам».

По определению Эсы, «сатаническая поэзия» — это романтическое в своей основе стремление к индивидуализму, которое почти не нашло в Португалии выразителей и апостолов, не встретило отклика в душе народов полуострова, живущих «под двойным гнетом мирского и церковного деспотизма, питаемого монархическим режимом».

Фрадике Мендес сопровождал Эсу на протяжении всего творчества. Поэтому «Переписка» может быть названа книгою жизни и в том смысле, в каком становятся ею воспоминания, исповедь.

В отличие от «Падре Амаро» и остальных романов Эсы, «Переписка» по форме своей — подчеркнуто документальна. И в этой строгости документа есть, как обычно у Эсы, ирония и лукавство. Если в романах, начиная с «Падре Амаро», Эса стремился к объективности повествования истово и всерьез, то в «Переписке» победу одержал принцип субъективный. Документальность здесь стала мнимой, превратилась в прием. Он понадобился Эсе, чтоб избежать ошибок, как правило, сопровождавших попытки художников слова, кисти, резца создать идеальный образ, противостоящий несовершенному миру. Опираясь на опыт далеких и близких предшественников — от Данте до Золя, Эса решил не испытывать достоверность Фрадике Мендеса логикой объективно-художественного повествования. Он понимал, очевидно, что его идеальный персонаж, как всякий гомункулус, немедленно обнаружит искусственность, если будет перенесен в роман из действительной жизни.

Форма биографии-исповеди должна была стать и стала в «Переписке» опорой для достоверности вымышленного героя, средством причудливого смешения поэзии и правды, способом тонкого сокрытия того, что есть, и утверждения того, что должно быть.

Облик Фрадике Мендеса обретает рельефность на литературном фоне века. Причем не только на португальском. Как ни контрастны масштабы Эсы де Кейроша и Гете, сопоставление именно с «Фаустом» проясняет суть и характер «Переписки».

Фрадике Мендес — это португальский Фауст конца XIX столетия. Подобно Фаусту гетевскому, он может быть истолкован биографически, с точки зрения личного опыта писателя.

Герой «Переписки», так же как автор и герои его последних романов, родом из аристократической семьи. Так же, как автор, он провел свои студенческие годы в Коимбре, захаживая в тот же погребок теток Камела. Фрадике Мендес, как Эса де Кейрош, вел войну против романтической лирики и ее стремлений укрыться в «келье сердца» от всех звуков вселенной, «кроме шороха Эльвириных юбок». Как Эса, испытывал интерес к жизни «обыденной и повседневной». Двадцатилетний герой немногим отличался от двадцатилетнего писателя и в своих поэтических пристрастиях. Откровением стала и для него встреча с Леконтом де Лилем и Бодлером.

Вслед за Эсой де Кейрошем и осуществляя его несбывшиеся мечты, Фрадике Мендес путешествует по Европе, Африке, обеим Америкам, добирается до запретной для всех чужестранцев святыни тибетских лам — Лхассы; исколесив Сибирь, земли по Волге и Днепру, получает от «шефа Четвертого отделения императорской полиции» предложение —

в собственных Фрадике Мендеса интересах — изучать Россию, оставаясь в своем парижском особняке. Именно там, в Париже, предпочтя его остальным городам мира, Фрадике Мендес, точно так же как Эса, обретает свою вторую родину. И там же — умирает.

Подобно «Фаусту», «Переписка» содержит в себе не только историю жизни ее создателя, но также историю его творчества. Если сцены первой и второй части «Фауста» отражают каждый этап шестидесятилетнего литературного пути Гете, начиная от юношеского, штюрмерского, то по обеим частям «Переписки» словно разбросаны зерна характеров и сюжетов, разработанных в «Падре Амаро», в «Семействе Майя», в публицистике Эсы.

Путь Фрадике Мендеса — это не только история жизни и творчества Эсы, это одновременно история его поколения и логика эстетического развития португальского общества. В какой-то мере и здесь вновь правомерна ассоциация с «Фаустом» — это история европейской буржуазной культуры от либеральных порывов и надежд к скептическому безверию в свою социальную правоту, в свои силы; это логика литературного развития Европы прошлого века — от великого романа к распаду эпически мощных повествовательных форм.

Как же судьбы европейской культуры преломились в образе Фрадике Мендеса? И как, какие черты столетия запечатлелись в этом портрете?

Сначала о портрете — в прямом смысле слова. Атлетические пропорции, лицо того орлиного склада, какое называют обычно цезарским, но без дряблой пухлости, характерной для скульптурных портретов властителей Древнего Рима... Так начинает повествователь, которого нельзя отождествлять с самим Эсой де Кейрошем. Повествователь тоже герой «Переписки», строго соотнесенный с Фрадике Мендесом.

Повествователь настойчиво подчеркивает одухотворенность излучаемой Фрадике силы: в его глазах угадывалось редкостное сочетание энергии и утонченности, в фигуре — спокойное изящество, в улыбке — двадцать веков истории литературы. Биограф не жалеет ни слов, ни красок, создавая облик мыслителя, какого не знал еще, кажется, ни древний, ни новый мир. Фрадике обладает новейшими познаниями в физике, астрономии, филологии, мифологии, антропологии, лингвистике, истории и проч. Бог словно взял частицу Генриха Гейне, частицу Шатобриана, щепотку праха «бессмертных» из Французской Академии и т. д., налил в эту смесь шампанского и типографской краски, слепил Фрадике Мендеса и отправил на землю, одарив его к тому же отвагой и способностями: фехтовать, как кавалер ордена Святого Георгия, опережать в гонках лучших гребцов Оксфорда, в одиночку охотиться на тигра, с хлыстом в руках побеждать отряды абиссинских копейщиков! Фрадике, таким образом, отнюдь не кабинетный мыслитель. Апартаменты

его напоминают одновременно и гарем и академию. Целых два года он был возлюбленным Анны де Леон — самой изысканной куртизанки Парижа. Но и это еще не все.

Фрадике посещал Виктора Гюго в его убежище на острове Гернсее, переписывался с Мадзини, сохранял дружбу с Гарибальди, вместе с которым завоевывал Королевство обеих Сицилий; участвовал в религиозных движениях на Востоке, сближался с теософами, вступал в члены клубов Парижа и Лондона.

Подводя итог этой бурной жизни, пожалуй, и в самом деле можно сказать, что светский денди, один из последних язычников, сохранивших верность Олимпу, был «последователем всех религий, членом всех партий, учеником всех философов». Он вобрал в себя, подобно Фаусту, всю эпоху, постиг всю историю человечества — и даже без помощи Мефистофеля. Но тем явственней отличие идеи образа Фрадике от идеи фаустианской.

Познание для Фауста — как ни безгранична была его жажда — не было самоцелью. Лишь в деянии обретало оно свой смысл, свою исходную силу и конечную цель. В «Переписке» же устами повествователя и самого героя, ссылками на их друзей не раз подчеркивается, что Фрадике Мендесу недостает высшей цели, что его энциклопедичность бесплодна и познание для него существует ради познания. «Голова Фрадике отлично устроена и оборудована. Не хватает только идеи, которая взяла бы в аренду это помещение, поселилась в нем и стала хозяйкой. Фрадике — гений, на лбу которого висит объявление: «Сдается внаем».

«Ларусс, разведенный в одеколоне»,— вот отзыв одного из друзей; «Декарт, который оставит после себя не «Рассуждения о методе», а разве что водевиль»,— вот отзыв другого. Приходится допустить, что была в этих отзывах сила пророчества и заклинания: иначе старинный испанский сундук резного железа, где Фрадике хранил рукописи, не стал бы для них «братской могилой», навеки скрывшей от человечества свои тайны.

Случайность его смерти — по сути, лишь выражение бессмысленности его жизни. Грустной, печальной жизни «лишнего человека». «Лишнего» — ибо человек, оказавшийся нужным родине, вызывавший у нее преклонение и восторг,— это Пашеко.

Письмо Фрадике Мендеса о нем — пародийно. Это памфлет в форме традиционно-хвалебного некролога, издевка над Португалией, над португальской прессой, огласившей страну горестными пространными воплями по поводу смерти государственного мужа, который «не дал своей стране ни трудов, ни дел, ни книг, ни мыслей». Как правило, стремясь не выходить из своего полновесного молчания, Пашеко предпочитает сосредоточенно подымать палец, а к концу жизни, по мере того как лоб его становится обширней,— улыбаться.

Таков портрет человека, нужного родине. Универсального директора всех компаний и банков, члена кабинета. Не побежденного, а победителя.

В отличие от этого государственного мужа, Фрадике Мендес всего лишь интеллектуальный гурман, дегустатор наук и действительности, пожалуй, эстетствующий дилетант, схожий с персонажами Оскара Уайльда, а не только с гетевским «Фаустом». Диагноз, поставленный себе самому Фрадике Мендесом, верен: «По темпераменту и складу ума я не что иное, как турист».

Эса де Кейрош развенчивает своего героя порою сильнее, чем идеализирует. Но сколько бы деталей, брошенных Эсой иронически и всерьез, ни довершали развенчания Фрадике Мендеса, было бы, конечно, ошибкой свести его образ к отсутствию высокой идеи или ограничиться выводом, что в «Переписке» сорваны последние листья с лаврового венка героя. Знаменательное отсутствие программно-социальной, цементирующей характер и убеждения идеи не означает отсутствия идей вообще, а равно и характера и убеждений. Универсальность Фрадике не означает также его неопределенности. Больше того, даже отсутствие плодов творческой деятельности нельзя признать творческой бесплодностью. Ибо у Фрадике Мендеса есть свой кодекс морали, свои политические пристрастия и эстетические симпатии. А главное, его пафос познания был тоже рожден высокой целью — сформировать самобытную и самоценную личность, которая воплотила бы в себе духовные силы Португалии и явилась бы венцом европейской культуры.

Недаром в конце первой части, заканчивая биографию Фрадике, Эса приводит слова Мишле об Антеро де Кинтале: «Если в Португалии есть еще четыре или пять таких личностей, то страна по-прежнему остается великой...» Для «Переписки» очень важны эти слова Мишле, но еще важнее выстраданный комментарий Эсы: «Пока в нашей стране живет мысль, пусть способность действовать в ней умерла,— все равно, страна эта еще не вся обратилась в труп, который позволительно попирать ногами и разрывать на части». В смутное и горькое время, продолжает Эса, талант вроде Фрадике — это знак утешения и надежды, залог того, что душа его народа живет «пусть в менее грандиозных, но не менее ценных проявлениях мысли: в остроумии, в даре непринужденной импровизации, высокой иронии, фантазии, хорошем вкусе».

Весь облик Фрадике Мендеса, с его жаждою все увидеть и все познать, был обвинением нравственно-апатичному интеллектуально-ленивому португальскому обществу, призывом избавиться от умственной лени — главной причины, приведшей, как считал теперь Эса, к упадку Португалии.

По замыслу автора, Фрадике Мендес — это истинно народный и национальный талант, что в глазах Эсы, так же как в наших, определяет

ценность героя. Но между трактовкой Эсы и нашим истолкованием этих понятий есть отличие, выяснить которое необходимо.

Народность, так же как остальные понятия, идейно окрашивающие образ Фрадике,— производное от его отношения к прогрессу.

У истоков XIX столетия, видя тяжкие издержки прогресса, Гете в трагедии о Фаусте оценивал его все-таки как благо. На исходе века, в творении совсем ином, но тоже итоговом, чаша весов колеблется. Фрадике Мендес, дитя современной культуры, с презрением отзывается о настоящем. Его, потомственного фидалго, постоянно влечет прошлое, он искренне тоскует о прошлом и создает его нарочитый, демонстративный культ: поселяется в старинном герцогском особняке, в аристократически клерикальном квартале Парижа, держит слугу-шотландца, сохраняющего — впрочем, лишь внешне, в расцветке костюма — верность традициям клана Мак-Дуфов. Именно в прошлом видит Фрадике эпоху расцвета личности, вырождающейся вместе с успехами цивилизации. Фотоснимок мумии Рамзеса II Фрадике сопровождает элегическим сравнением лица мужественно-великолепного, величественного фараона с вялой, хитрой, усатой физиономией какого-нибудь Наполеона III, с мордой бульдога, заменяющей лицо Бисмарку, с неподвижно-угодливыми чертами русского царя, которые лучше подошли бы его собственному камер-лакею... Рамзес II ощущал себя владыкою мира, рассуждал Фрадике, и сознание своего величия придало лицу его горделивую мощь. Сознание своего ничтожества отразилось на физиономии нынешних властителей, деланной, искаженной, вымученной.

Фрадике Мендес потому и одаривает своей симпатией «простой народ», что видит в нем первозданную чистоту и свободу от ядовитых плодов цивилизации. Запоздалый романтик и руссоист, Фрадике Мендес выступает как критик буржуазной цивилизации — и зачастую как критик довольно острый. Одно из свидетельств тому — яростное письмо «дорогому Бенто» о затеянной им новой газете — рассаднике трех смертных грехов, которые губят общество: легкомыслия, тщеславия и нетерпимости. Газета источает нетерпимость, «как перегонный аппарат выделяет алкоголь»; остывшие, как пепел в очаге, распри она раздувает в новое, бешеное пламя ненависти.

Другое свидетельство чуткости этой романтической критики — письмо инженеру Бертрану Б. по поводу строительства железной дороги из Яффы в Иерусалим. Фрадике Мендес не сомневается в торжестве «ощетинившегося Прогресса» над древними поверьями, угля и железа — над поэзией: «Ты соорудишь вокзал среди апельсинных рощ, воспетых в Евангелии», через кожаную кишку паровоз накачает в резервуар воду из священного колодца, сделает остановку в древней Аримафее: «Аримафея! Стоянка пятнадцать минут!» — наконец, весь в масле, копоти и поту, доберется до долины Энном: «Иерусалим!»

«Простой паломник», Фрадике Мендес полагает, что загрязнять дымом прогресса воздух, «где еще веет благоухание, оставленное полетом ангелов»,— это не цивилизация, а профанация. Конечно, Фрадике не сомневается, что отдых Девы с младенцем по дороге в Египет в тени сикомор — это басни. «Но эти басни уже 2000 лет дарят трети человечества очарование, надежду, утешение, силу жить». И он убежден, что фантазия, легенда не менее полезны, чем знание «положительное»: «В формирование каждой души — если мы хотим, чтобы оно было полноценным,— должны входить не только теоремы Эвклида, но и волшебные сказки».

Фрадике Мендес вовсе не против, скажем, таких положительных заведений, как рестораны,— но устраивать ресторан в соборе Парижской богоматери? В письме инженеру Бертрану Б. речь идет уже не только о том, что ненавистно фидалго из Португалии. Сквозь романтическую критику здесь ясно проступают контуры идеала Фрадике Мендеса, его понимание истинных ценностей жизни. Как прежде в «Преступлении падре Амаро», так и теперь они связаны с гуманными и поэтическими началами, которые находят свое воплощение в любви, понятой философски, религиозно, нравственно — в любви к ближнему.

Тема эта нарастает в письмах постепенно. Поначалу она словно таится за салонными признаниями светского льва о женщинах «внешней жизни», которых можно перелистывать, как страницы книги, делая любые пометки на атласных полях, обсуждать, не стесняясь в выборе выражений, рекомендовать друзьям, бросить, когда прочитаны лучшие страницы, и о женщинах «внутренней жизни», исключающих исследовательские эксперименты и достойных глубокого уважения. Лишь после такого рода увертюры страстная и почтительная любовь Фрадике Мендеса обнаруживает себя и раскрывает свой смысл. В последнем письме (его итоговое для всей вещи значение подчеркнуто, так же как в «Падре Амаро», композицией) чувство к женщине «внутренней жизни», становясь поклонением, подсказывает сначала сюжет из старинной хроники о короле «Красивом», принесшем великой любви поистине королевские жертвы, а затем — раздумье о тех, в ком отделить человеческое от божественного куда труднее, чем даже в страстно любимой.

Для Эсы де Кейроша и Христос и Будда — не боги, а люди. Единомышленник не случайно упомянутого в последнем письме «Переписки» Эрнеста Ренана, Эса воспринимает христианство и буддизм как учения этические, дающие единственное спасение от «издержек прогресса». Эса освобождает здесь Будду и Христа от «мифологии», пытаясь представить их жизнь в «исторической наготе».

Несметно богатый, могущественный азиатский властитель Будда до своего отречения был любящим мужем, счастливым отцом. Принеся в жертву власть и богатство, покинув семью, Будда становится нищим

монахом, который просит милостыню на краю каменистой дороги. Накапливая добро, живущее в любой душе, он творит новое человечество. Будда исполнен веры, что с поколениями оно становится лучше и когда-нибудь придет к совершенству.

VI

Итак, долгий путь познания завершен. После блужданий среди всех наук и скитаний по всему свету Фрадике Мендес приходит к отказу от суеты, к проповеди добра. Эса де Кейрош сохраняет, следовательно, в своей книге итогов верность этическим идеалам, утверждавшимся еще в первом зрелом романе. Прекрасная, но и грустная верность. Потому что ирония «Падре Амаро» была иронией борьбы и надежды, в «Переписке» же — это ирония усталая: вечерняя исповедь Эсы заканчивается упованием, что когда-нибудь, в бесконечной дали времен, прибавляясь песчинка за песчинкой, добро, быть может, и победит.

У надгробья классиков зачастую слышатся слова запоздало-проницательного осуждения: не увидел выхода, ограничился сферой искусства, иронией, предпочел теорию «малых дел», не понимая бессилие мелкой благотворительности преодолеть большое зло мира...

Нужда в таких речах сомнительна.

Не увидел выхода? Но разве нашла, пробилась к выходу Португалия на протяжении XX столетия? Разве не протерпела она сорок лет фашистский режим Салазара?

Предпочел «теорию малых дел»? Но разве сегодня, когда атомно-водородной угрозой поставлены на карты жизни всего человечества, когда беспомощность политической теории малых дел очевидна, потеряла ли свою ценность гуманная мораль, убеждающая, что надо протягивать руку тому, кто споткнулся?

Ограничился сферой искусства, иронией? Но иной художник иной страны, иного, еще более близкого к нам времени, на вопрос, какова ваша вера, ответил: «Если проэкзаменовать себя, результат получается в высшей степени тривиальный: я верю в доброту и духовность, в правдивость, в свободу и смелость, красоту и праведность, одним словом — в самостоятельную веселость искусства, великого растворителя ненависти и глупости». Слова эти написаны 21 декабря 1953 года ироничным и добрым пером классика, которого, кажется, трудно обвинять в непонимании своей эпохи,— пером Томаса Манна.

И все же: Эса де Кейрош ведь сам писал о себе — побежденный жизнью.

Побежденный ли?

Жизнь большого художника не обрывается его физической смертью. «Книги имеют свою судьбу». Когда в 1903 году в Лиссабоне состоялось

открытие сооруженного на средства друзей памятника Эсы — памятника с эпиграфом из «Реликвии»: «Под легким покровом вымысла — могучее нагое тело истины»,— народу собралось совсем немного.

Но шло время, и традиционным свидетельством нарастающего влияния Эсы стали попытки все более часто и грубо фальсифицировать его творчество. Саркастического, непочтительного остроумца начали приспосабливать к политическому климату Португалии.

В 1945 году на режим Салазара надвинулся столетний юбилей уже всемирно признанного классика. Джосир Менезес, автор вышедшей двумя изданиями книги «Социальная критика Эсы де Кейроша» (1951, 1962 гг.), прослеживает логику борьбы этих лет вокруг творчества юбиляра.

Заставить умолкнуть? Поздновато. Отменить юбилей? Отложить? Обойти молчанием? Допустить, чтобы враги режима оставили Эсу у себя на вооружении? Невозможно. Более того — невыгодно.

Пришлось торжествовать. Торжествовать, приспосабливаясь и приспосабливая. Так в статьях и речах началась «дезэсафикация» Эсы де Кейроша.

Правда, дружной ее не назовешь. Крайне правая, средневеково-яростная газета «Новидадес» не удержалась и расстроила игру. Она негодовала против романиста, против торжеств и правительства, проявившего непозволительную терпимость. «Новидадес» настаивала, что Эса непримиримо враждебен принципам, на которых государство основывает ныне «политику национального восстановления».

И дальше: «Распространять его писания, делать его доступным для широких масс... значит способствовать моральному и социальному разложению классов, которые так сильно нуждаются в том, чтобы их оберегали от соблазнительных ловушек и сладкого яда».

И в заключение: «Если бы Эса был жив, ему пришлось бы либо отречься от всего написанного в самую активную пору творчества, либо открыто встать в авангарде врагов Португалии!»

Так каким же предстает сегодня перед нами Эса де Кейрош? Побежденным? Нет, сражающимся. В его таланте — победа жизни.

М. КОРАЛЛОВ

ПРЕСТУПЛЕНІЕ ПАДРЕ АМАРО

(СЦЕНЫ БЛАГОЧЕСТИВОЙ ЖИЗНИ)

ПЕРЕВОД Н. ПОЛЯК

ПЕРЕВОД СТИХОВ И. ЧЕЖЕГОВОЙ

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

«Преступление падре Амаро» удостоилось некоторого внимания критики в Бразилии и Португалии лишь через год после выхода книги в свет, когда мною был опубликован другой роман, «Кузен Базилио». Как в Бразилии, так и в Португалии писали (не приводя, правда, убедительных доказательств), что «Преступление падре Амаро» — подражание роману Золя «Проступок аббата Муре», или, во всяком случае, что я позаимствовал оттуда сюжет, образы, идею для своей книги, ограбив создателя «Западни» и других образцовых исследований современного общества.

Смею, однако, утверждать, что это неверно. «Преступление падре Амаро» было написано в 1871 году, читано в кругу друзей в 1872 и опубликовано в 1874. Книга же господина Золя «Проступок аббата Муре» (представляющая собой пятый том серии «Ругон-Маккаров») была написана и вышла в свет в 1875 году.

Подобный довод, впрочем, я и сам считаю недостаточно веским (пусть это и отдает чем-то сверхъестественным). В самом деле, разве не мог я проникнуть в мозг и воображение господина Золя и обнаружить в хаосе еще не оформившихся замыслов фигуру аббата Муре — вроде того, как старец Анхиз различил в Элизиуме среди теней грядущего человечества, клубившихся в летейском тумане, образ того, кому предначертано было стать Марцеллом? Это бывает. Ни один здравомыслящий человек не найдет тут ничего необыкновенного. Унесла же пророка Илию на небо огненная колесница. Да мало ли засвидетельствовано и других чудес?

На мой взгляд, необоснованность этих упреков можно доказать гораздо убедительнее путем простого сравнения обоих романов. Центральный эпизод «Проступка аббата Муре» — аллегорическая повесть о приобщении первого мужчины и первой женщины к таинству любви. Аббат Муре (Серж), погребенный в душной провансальской глуши, заболевает воспалением мозга вследствие религиозной экзальтации, связанной с почитанием девы Марии (первая часть романа); его отправляют на излечение в «Параду», старинный запущенный парк, разбитый еще в XVII веке, где природа вновь обрела облик девственного леса. Это иносказательный образ земного рая. В горячечном бреду, утратив сознание своей личности, позабыв об иерейском сане и соседстве деревни, а также потеряв понятие о реальности до такой степени, что солнце на небе и деревья «Параду» представляются ему страшными и страшными чудовищами, аббат Муре несколько месяцев блуждает в чаще леса вместе с Альбиной — нимфой и Евой сих фантастических мест. Альбина и Серж, полунагие, как и следует в раю, инстинктивно ищут таинственное дерево, ветви коего источают воспламеняющие кровь флюиды животворной материи. Под этим символическим Древом познания они отдаются друг другу после долгого, тревожного искания неведомого им, по их райской невинности, плотского осуществления любви. Затем, охваченные внезапным стыдом и осознав свою наготу, они прикрываются листвой. Их изгоняет из рая некто отец Арканжиа — персонификация библейского архангела в лице церковнослужителя. В последней части книги аббат Муре возвращается к реальности. Отвергнув расслабляющее душу поклонение святой деве и сподобившись, силой молитвы, особенной милости неба — а именно того, что в нем полностью затухает мужское естество,— он становится аскетом, лишенным всего человеческого, превращается в призрак, простертый у подножия креста. И он, не дрогнув, кропит святой водой и отпевает Альбину, которая задохлась в «Параду» под грудой дурманящих цветов.

Остроумные критики, утверждающие, что «Преступление падре Амаро» не что иное, как перепев «Проступка аббата Муре», к сожалению, не читали восхитительной книжки господина Золя, которая, быть может, положила начало всей его славе. Их обмануло случайное совпадение заглавий.

Надо быть безнадежным тупицей или циничным лгуном, чтобы, зная оба романа, настаивать на сходстве между красивой идиллией, в которую вплетена мистическая драма души, и

«Преступлением падре Амаро», где, как может убедиться читатель, речь идет всего лишь об интриге, задуманной и приведенной в исполнение несколькими попами и святошами под сенью старого собора в провинциальном португальском городке.

Пользуюсь случаем поблагодарить критическую мысль Бразилии и Португалии за внимание, каким она балует мои литературные труды.

Бристоль, 1 января 1880 года.

Эса де Кейрош

I

В пасхальное воскресенье вся Лейрия узнала, что соборный настоятель, падре Жозе Мигейс, скончался на рассвете от апоплексического удара. Человек он был полнокровный, упитанный и пользовался среди духовенства епархии славой заядлого чревоугодника. О его обжорстве ходили легенды. Когда падре Жозе Мигейс, выспавшись после обеда, выходил с пылающими щеками на улицу, аптекарь Карлос злобно шипел:

— Вон ползет наш удав; переваривает, что заглотал. Помяните мое слово: когда-нибудь он лопнет от жира!

Так оно и вышло. Покушав за ужином рыбы, священник приказал долго жить — в тот самый час, когда в доме напротив, у доктора Годиньо, праздновали именины хозяина и гости шумно отплясывали польку.

Никто о нем не пожалел, мало кто пришел проводить его на кладбище. Соборного настоятеля не любили. Это был мужлан с повадками землекопа; хриплый голос, грубые ручищи и пучки жестких волос, торчавшие из ушей, отвращали от него сердца прихожан; и притом он был совсем лишен красноречия.

Особенно не жаловали Жозе Мигейса дамы: он позволял себе рыгать в исповедальне. Почти всю жизнь старик прослужил в деревенских приходах, в горах, и не разбирался в тонких нюансах дамского благочестия; едва заняв место соборного настоятеля, он растерял лучших прихожанок; они перешли исповедоваться к медоточивому падре Гусману — такому обходительному, приятному духовнику!

Когда дамы, сохранившие верность соборному настоятелю, заводили речь о боязни поддаться соблазну, о греховных сновидениях и тому подобном, он бурчал, оскорбляя их лучшие чувства:

— Вздор, голубушка, вздор! Молите господа, чтобы ниспослал вам побольше разума. Побольше здравого смысла!

Особенно раздражали его излишние строгости в соблюдении поста.

— Ешьте и пейте на здоровье! — восклицал он.— Ешьте и пейте вволю, голубушка!

Он был убежденный мигелист; либералы, их мнения, их газеты приводили его в ярость.

— Палкой их! По шее! — гремел он, размахивая своим огромным красным зонтом.

В последние годы падре Мигейс сделался домоседом и жил весьма уединенно. Прислуживала ему старуха-кухарка, а компанию составлял песик, по кличке Жоли. Единственным благожелателем старого священника был главный викарий, декан кафедрального капитула Валадарес, управлявший в то время епархией, ибо епископ дон Жоакин уже два года мучился ревматизмом в своей усадьбе в Верхнем Миньо. Жозе Мигейс глубоко уважал декана, сухопарого, длинноносого, близорукого священника, который был большим знатоком Овидия и уснащал свою речь цитатами из античных поэтов, кривя при этом губы на сторону. Декан, в свою очередь, тоже ценил соборного настоятеля и называл его «брат Геркулес»; силой он настоящий Геркулес, пояснял, улыбаясь, падре Валадарес, а чревоугодием истый монах.

На похоронах Жозе Мигейса декан собственноручно окропил могилу святой водой и, бросив, по обычаю, горсть земли на крышку гроба, вспомнил, как потчевал покойного табачком из своей золотой табакерки, и тихонько шепнул стоявшим вокруг священникам:

— Вот ему и последняя понюшка!

Клир немало смеялся этой шутке сеньора декана; в тот же вечер каноник Кампос пересказал ее за чашкой чая у депутата Новайса. Гости одобрительно рассмеялись; все похвалили веселый характер главного викария и заключили, не без почтения, что его преподобие умеет пошутить.

Несколько дней спустя на Базарной площади появился Жоли, песик соборного настоятеля. Кухарка заболела малярией и угодила в больницу. Дом заперли. Бесприютный Жоли выл от голода в чужих подворотнях. Это была собачка неопределенной породы, на удивление толстая и чем-то напоминавшая своего покойного хозяина. Жоли издавна привык к черным сутанам и, жаждая обрести нового покровителя, увязывался за каждым проходившим священником и плелся за ним, робко

повизгивая. Но никто не хотел взять к себе несчастного Жоли, его отпихивали острыми зонтиками, и собака, точно отвергнутый проситель, целыми ночами скулила то под одной, то под другой дверью. Однажды утром труп Жоли был найден у ворот Попечительства о неимущих. Золотарь бросил его на свою телегу и куда-то увез. Жоли навсегда исчез с Базарной площади, и Жозе Мигейса окончательно забыли.

Через два месяца стало известно, что в собор назначен новый настоятель. По слухам, это был совсем еще молодой священник, по имени Амаро Виейра, только что вышедший из семинарии. Его назначение объясняли протекцией влиятельных лиц, и оппозиционная газета «Голос округа», горько иронизируя и поминая Голгофу, писала о «фаворитизме в правительственных сферах и о засилии клерикалов». Местное духовенство решило обидеться; о статье, в довольно желчном тоне, завели разговор в присутствии декана.

— Не будем горячиться! — примирительно сказал декан.— Протекция у него действительно имеется, в покровителях недостатка нет. Об Амаро Виейре мне писал мой старый друг Брито Корреа (Брито Корреа был тогда министром юстиции). В письме сказано даже, что наш новый настоятель красивый малый. Так что,— с довольной улыбкой заключил декан,-- после брата Геркулеса у нас будет брат Аполлон.

Лишь один человек во всей Лейрии знал нового священника: каноник Диас, которому довелось преподавать христианскую нравственность в семинарии в те самые годы, когда Амаро Виейра там учился. По словам каноника, ему запомнился золотушный мальчуган, тихий, застенчивый, весь в угрях.

— Как сейчас его вижу: поношенный подрясничек и выражение лица такое, будто у него глисты! А так ничего... Смышленый.

Каноник Диас был известным лицом в городе. За последние годы он растолстел, и сутана плотно обтягивала его выпуклый живот; седоватая шевелюра, набрякшие под глазами мешки, жирные губы — все приводило на память старинные историйки про сластолюбивых и прожорливых монахов.

Дядюшка Патрисио, отчаянный либерал, из ветеранов, державший лавку на Базарной площади и считавший своим долгом рычать, точно сторожевой пес, на всякого идущего по улице священника, бормотал каждый раз, когда каноник — тучный, сытый — шествовал мимо его заведения, опираясь на зонт:

— У, пройдоха! Вылитый дон Жоан Шестой!

В доме каноника Диаса жила его сестра, старая дева, дона Жозефа Диас, и служанка, известная всей Лейрии, так как она беспрестанно сновала по улицам; то тут, то там мелькала ее крашеная черная шаль и шаркали стоптанные башмаки.

Каноник слыл богатым человеком. Он владел несколькими поместьями в окрестностях Лейрии, сдавал их в аренду, устраивал званые вечера, на которых к столу подавались жареные фазаны и отличное вино: «Герцогское, 1815 года». Однако самой замечательной стороной его жизни в Лейрии — о чем много толковали и сплетничали — была дружба с сеньорой Августой Каминья, которую в городе называли Сан-Жоанейрой, так как она была родом из Сан-Жоана-де-Фос. Сан-Жоанейра жила на улице Милосердия и держала пансион для холостяков. Ее единственная дочь Амелия, красивая девушка двадцати трех лет, была предметом тайных воздыханий всей местной молодежи.

Каноник Диас, весьма довольный назначением Амаро Виейры на должность соборного настоятеля, повсюду — и в аптеке Карлоса, и на Базарной площади, и в ризнице собора — расхваливал этого молодого священника, его способности к наукам, скромность поведения, кроткий нрав и даже голос:

— Тембр такой, что приятно послушать. Чтобы выжать из прихожан слезу на страстной — лучшего голоса не сыщешь!

Падре Диас с пафосом предрекал молодому коллеге блестящее будущее: никак не меньше, чем сан каноника, а может быть — и епископскую митру. В один прекрасный день он с торжеством показал соборному коадъютору, молчаливому и угодливому созданию, письмо из Лиссабона от Амаро Виейры.

Дело было августовским вечером; оба священнослужителя прогуливались возле Нового моста. В это время прокладывали шоссейную дорогу на Фигейру; старый деревянный мост через Лиз разобрали, и переходить реку уже можно было по новому. Все в один голос восхищались его могучими каменными арками, окованными железом. Правда, на том берегу работы были приостановлены: крестьяне отказывались продавать землю; там еще змеилась утопавшая в грязи проселочная дорога в Марразес, которой предстояло влиться в новое шоссе; по сторонам ее были навалены кучи гравия; тяжелые каменные катки, которыми прессуют и выравнивают щебень, уже наполовину вросли в черную, мокрую от дождей почву.

Отсюда, с Нового моста, открывался широкий вид на мирные окрестности Лейрии. Вверх по течению круглились невы-

сокие холмы, поросшие темной щетиной краснолесья; внизу, среди молодого сосняка, рассыпались хутора, внося веселое разнообразие в этот исполненный меланхолии пейзаж; сияли на солнце беленные известкой стены; к светлому, словно свежевымытому, небу поднимались сизые дымы очагов. Ближе к устью, где речка медленно текла между низких берегов, отражая вереницу серо-зеленых плакучих ив, раскинулась широкая, плодородная равнина Лейрии, вся залитая светом, сверкающая прудами, ручьями и озерами. Город с моста не был виден, только выдавалась углом каменная стена собора и виднелась часть кладбищенской ограды, увитой плющом, да острые черные верхушки кипарисов. Все остальное было скрыто за крутым косогором, заросшим репейником и крапивой, а на самой его вершине темнели развалины древнего замка; по вечерам над полуобвалившимися стенами медлительно кружили совы. У въезда на мост можно было спуститься по откосу на тополевую аллею, так называемую Старую аллею, идущую вдоль берега реки. Именно в этом уединенном уголке, укрытом листвой вековых деревьев, и прогуливались двое священников, беседуя вполголоса. Каноник Диас рассказывал, что получил письмо от Амаро Виейры, и поверял коадъютору одну мысль, мысль поистине счастливую! В письме Амаро просил подыскать для него квартиру, недорогую, в удобном месте и, если возможно, меблированную, самое желательное — несколько комнат в каком-нибудь приличном семейном пансионе. «Вы сами понимаете, дорогой учитель,— писал Амаро,— что это вполне устроило бы меня. Ни в какой роскоши я не нуждаюсь; достаточно комнаты и небольшой гостиной. Но совершенно необходимо, чтобы дом был почтенный, спокойный, в центре города, чтобы у хозяйки был сносный характер и умеренные требования. Поручаю эти заботы вашему такту и житейскому опыту и прошу верить, что зерно вашей доброты не упадет на каменистую почву. Главное, чтобы хозяйка была спокойного нрава и не слишком болтлива».

— Так вот что я придумал, друг Мендес: не поселить ли его у Сан-Жоанейры? — заключил каноник.— Прекрасная мысль, а?

— Превосходная! — поддакнул коадъютор.

— В нижнем этаже у нее есть свободная комната с примыкающим к ней зальцем, а рядом еще одно помещение, которое может служить кабинетом. Дом хорошо меблирован, прекрасное постельное белье...

— Белье отличное! — почтительно подтвердил коадъютор.

Каноник продолжал:

— И для Сан-Жоанейры это тоже выгодно: за квартиру, белье, стол и обслуживание она смело может просить шесть тостанов в день. Не считая того, что соборный настоятель окажет ей честь, поселившись в ее доме!

— Это все верно. Только... Не расстроится ли дело из-за Амелиазиньи? — робко заметил коадъютор.— Не знаю, как на это посмотрят. Девушка молодая... Вы говорите, сеньор Виейра тоже молод. Вы сами знаете, ваше преподобие, как злы люди.

Каноник остановился.

— Что вы такое несете? Разве не живет падре Жоакин под одной крышей с крестницей своей матушки? А каноник Педрозо? У него поселилась невестка с сестрой — девушкой девятнадцати лет! Что вы выдумали?

— Да нет, я просто...— сразу отступил коадъютор.

— Нет, нет, не вижу тут ничего дурного. Сан-Жоанейра сдает комнаты жильцам; у нее все равно что гостиница. Ведь жил же там несколько месяцев непременный секретарь.

— Да, но теперь речь идет о духовном лице...— мямлил коадъютор.

— Тем спокойнее, сеньор Мендес, тем спокойнее! — воскликнул каноник и, снова приостановившись, доверительно продолжал: — И потом, это очень устраивает меня, понимаете? Меня. Мне это чрезвычайно удобно, дорогой Мендес.

Наступила короткая пауза. Затем коадъютор сказал, понизив голос:

— Да, вы сделали немало добра Сан-Жоанейре, сеньор каноник.

— Я делаю, что могу, дорогой мой, все, что могу,— отвечал каноник и, помолчав, прибавил с отеческой, теплой улыбкой: — И она того достойна! Она заслужила! Что это за душа, друг мой! — Он улыбался, возведя глаза к небу.— Посудите сами: если бедняжка не видит меня утром ровно в девять часов, она уже сама не своя! «Голубушка моя,— говоришь ей, бывало,— вы напрасно волнуетесь!» Но она просто места себе не находит. Как вспомню прошлый год, когда у меня сделалась колика... Она даже осунулась от тоски, сеньор Мендес! И какое трогательное внимание! Если у них режут поросенка, то лучшую часть уж непременно приберегут для «нашего святого отца», можете себе представить? Она так меня называет.

Глаза его блестели от умиления.

— Ах, Мендес,— заключил он,— это превосходная женщина!

— И притом весьма красивая! — почтительно вставил коадъютор.

— Не говорите! — вскричал каноник, снова остановившись.— Не говорите! И как сохранилась! Ведь она уже не девочка... Но ни одного седого волоска, ни единого! Какая кожа! — И, понизив голос, он прибавил, плотоядно хихикнув: — А тут? Мендес, тут! — Он делал округлые движения, медленно водя пухлой рукой по воздуху около своей груди.— Совершенство! И опрятна, удивительно опрятна. Но главное — любезность, внимание... Дня не пройдет, чтобы я не получил какого-нибудь угощеньица: то баночку повидла, то рисовый пудинг, то кровяную колбасу по-аркокски. Вчера прислала яблочный пирог. Жаль, вы не видели: начинка нежнее сбитых сливок. Даже сестрица Жозефа сказала: «Начинка такая, будто яблочки в святой воде варились!»

Старый священник прижал к груди растопыренные пальцы.

— Подобные мелочи глубоко трогают сердце, Мендес. Нет, что говорить: другой такой женщины нет и не было.

Коадъютор слушал в завистливом молчании.

— Я отлично знаю,— продолжал каноник, снова останавливаясь и слегка растягивая слова,— я отлично знаю, что по городу ходят всякие сплетни и пересуды... Злостная клевета! Просто я всей душой привязан к этому семейству. Дружил еще с ее покойным мужем. Вы сами знаете, Мендес.

Коадъютор кивнул.

— Сан-Жоанейра порядочная женщина. Вы поняли, Мендес? Она порядочная женщина! — При этих словах каноник повысил голос и с силой стукнул по земле зонтом.

— Чего не скажут злые языки, сеньор каноник,— посочувствовал коадъютор; затем, немного помолчав, тихонько прибавил: — А только ведь для вашего преподобия это чистое разорение.

— То-то и есть, милый мой! Поймите: с тех пор, как секретарь Гражданского управления от них съехал, у бедной женщины не осталось ни одного жильца. Я даю им деньги на пропитание, Мендес!

— У нее как будто усадебка своя имеется? — заметил коадъютор.

— Э, какая там усадебка! Клочок земли. К тому же десятина, поденная плата работникам... Вот я и говорю: новый соборный для нее истинная находка. Он будет платить ей шесть

тостанов в день, кое-что я подкину, прибавьте к этому выручку от усадебного сада — и уже можно свести концы с концами. Для меня это большое облегчение, Мендес.

— Конечно, все легче, сеньор каноник! — согласился коадъютор.

Оба замолчали. Спускался прозрачный, тихий вечер; высокое небо отливало бледной голубизной, воздух был недвижен. Посреди обмелевшей к концу лета реки поблескивали песчаные отмели; вода едва струилась, слабо плеща вокруг темневших на дне круглых камней.

Две коровы под охраной девчонки-пастушки появились на глинистой тропинке, бегущей по другому берегу вдоль полосы кустарников; животные медленно вошли в реку и, вытянув натертые ярмом шеи, стали беззвучно пить; время от времени они поднимали головы, смотрели добрыми глазами вдаль, с миролюбивым и покойным удовлетворением, и капли воды и слюны, блестя на солнце, падали у них с морд. Солнце заходило, вода постепенно теряла свою зеркальную чистоту, тени мостовых быков становились все длинней. С холмов надвигалась полоса сумерек, облака над далеким морем окрашивались сангиной и охрой, предвещая на завтра жаркую погоду. День пышно догорал.

— Чудесный вечер,— пробормотал коадъютор.

Каноник зевнул и, крестя рот, сказал:

— Пора читать «Аве Марию», а?

Когда они всходили по ступеням собора, каноник приостановился и, обернувшись к коадъютору, сказал:

— Так решено, дружище Мендес: я устрою Амаро у Сан-Жоанейры. Это подойдет нам всем.

— Наилучшим образом! — поддакнул коадъютор.— Наилучшим образом!

И оба, осенив себя крестом, вошли в церковь.

II

Прошла неделя, и в городе стало известно, что новый настоятель прибудет из Шан-де-Масанса с вечерней почтовой каретой. С шести часов каноник Диас и коадъютор прохаживались по Фонтанной площади, поджидая падре Амаро.

Стояли последние дни августа. На длинном прибрежном бульваре, покрытом макадамом и обсаженном тополями, мелькали светлые платья дам. За аркой, где тянулись вереницы бед-

няцких лачуг, старухи, сидя на крыльце, жужжали веретенами; грязные голопузые ребятишки возились посреди улицы в пыли, вместе с курами, жадно клевавшими что-то в остатках навоза. Около фонтана было людно и шумно; стучали о его каменный борт днища кувшинов, бранились кухарки; солдаты в запыленных мундирах и тяжелых сбитых сапогах напропалую ухаживали за девицами, поигрывая тростинкой или прутиком. Молодые женщины, поставив на голову, на плоской круглой подушечке, пузатый кувшин с водой, расходились, покачивая бедрами; два офицера в расстегнутых мундирах лениво переговаривались, поджидая, кого бог пришлет с вечерним дилижансом. Дилижанс запаздывал. Стало темнеть; в нише над аркой уже затеплили лампадку у ног святого, а напротив, одно за другим, тускло засветились окна больницы.

Уже совсем стемнело, когда дилижанс, светя двумя фонарями, въехал на мост; заморенные белые клячи расхлябанной рысью выкатили его на Фонтанную площадь и стали у трактира Круса. Приказчик либерала Патрисио тотчас же схватил пачку «Народной газеты» и побежал на Базарную площадь; кучер Батиста, с трубкой в зубах, начал распрягать лошадей, беззлобно ругаясь. Тут один из пассажиров, в цилиндре и длинном, монашеского покроя плаще, ехавший рядом с кучером на козлах, осторожно спустился на мостовую, держась за железные поручни, затем потопал ногами, чтобы размяться, и огляделся по сторонам.

— Амаро! — воскликнул, подходя, каноник Диас.— Разбойник! Наконец-то!

— А, вы здесь, дорогой учитель! — радостно откликнулся новоприбывший. Они обнялись; коадъютор, сняв шапочку, застыл в низком поклоне.

Несколько минут спустя обыватели, сидевшие в лавках, могли наблюдать, как через Базарную площадь, между неповоротливым каноником Диасом и тщедушным коадъютором, шел, чуть сутулясь, высокий человек в длинном плаще с капюшоном. Все догадались, что это и есть новый соборный настоятель. Завсегдатаи аптеки единодушно решили, что падре Амаро «из себя очень видный».

Жоан Биша открывал шествие с баулом и матерчатым саквояжем в руках; к этому времени он был уже навеселе и мурлыкал себе под нос «Благословен господь».

Было почти девять часов, давно стемнело. Во всех домах, выходивших на Базарную площадь, уже спали, только в лавках под аркадой уныло желтели огоньки керосиновых ламп, сквозь

стекла витрин смутно виднелись фигуры покупателей, которым не хотелось прерывать ленивую беседу у прилавка и отправляться спать. Сходившиеся к площади улицы, извилистые, темные, с редкими и тусклыми фонарями, совсем опустели. В тишине разносились медленные удары соборного колокола: звонили по усопшим.

Каноник Диас неторопливо рассказывал молодому коллеге, какую подыскал для него квартиру. Отдельный дом он решил не снимать: пришлось бы покупать мебель, нанимать прислугу, все это хлопотно и дорого. Хороший семейный пансион куда удобнее, а из таких пансионов (спросите хоть сеньора коадъютора) нет лучше, чем у Сан-Жоанейры. Воздух в комнатах свежий, образцовая чистота, никаких кухонных ароматов. Раньше это помещение снимал непременный секретарь Гражданского управления, а до него — инспектор гимназий. Сама Сан-Жоанейра — женщина богобоязненная, весьма почтенная, покладистая, отличная хозяйка... Сеньор коадъютор подтвердит.

— Ты будешь у нее как дома! На обед козидо, жаркое, кофе...

— Позвольте задать один вопрос, дорогой учитель: во что мне это обойдется? — спросил Амаро.

— Шесть тостанов. Не сомневайся: это почти даром. У тебя будет спальня, небольшая гостиная...

— Отличная комната для приема посетителей! — почтительно вставил коадъютор.

— А до собора далеко?

— Рукой подать. Можно идти служить мессу прямо в ночных туфлях. В доме есть молодая девушка,— продолжал каноник Диас неторопливо и внушительно,— дочь Сан-Жоанейры. Двадцать два года, хороша собой. Немного своенравна, но сердце золотое... Мы пришли.

Они стояли на узкой улице, обстроенной низенькими, неказистыми домиками, как бы придавленными стеной старинного здания богадельни; вдалеке тускло светился фонарь.

— Вот и твоя будущая резиденция! — объявил каноник и стукнул молотком в узкую дверь.

На первом этаже выдавались вперед две веранды с железными перилами старинного стиля; по углам их в деревянных кадках цвели традиционные кусты розмарина. Окна верхнего этажа были совсем маленькие, а изъеденная временем наружная стена напоминала покрытый вмятинами лист жести.

Сан-Жоанейра ждала на верхней площадке лестницы; еще одна женщина — хилая, в веснушках, стояла рядом и светила

керосиновой лампой; фигура Сан-Жоанейры четко выделялась на фоне беленой стены, в ярком свете лампы. Это была рослая, дородная, белолицая женщина степенного вида. Вокруг ее черных глаз уже виднелись морщинки; тщательно расчесанные волосы, покрытые красной наколкой, немного поредели на висках и в проборе; но руки у нее были округлые, грудь пышная, платье очень опрятное.

— Вот и ваш новый постоялец, сеньора,— говорил между тем каноник, поднимаясь по лестнице.

— Для меня большая честь — принять у себя сеньора соборного настоятеля! Великая честь! Да вы, наверное, устали! Легко сказать! Пожалуйте сюда! Осторожно, не споткнитесь, тут ступенька!

Она ввела гостя в небольшую комнату, окрашенную в желтый цвет, где стояло широкое канапе из плетеной соломы, а перед ним стол, покрытый зеленым сукном.

— Это ваша гостиная, сеньор настоятель,— сказала Сан-Жоанейра,— тут можно принять посетителей, отдохнуть... Здесь,— продолжала она, открывая дверь в смежную комнату,— будет спальня. В вашем распоряжении комод, платяной шкаф...— Она открыла один за другим все ящики, похлопала по кровати, чтобы показать, какие хорошие пружины в матраце.— Вот колокольчик, можете позвонить, если что понадобится... Ключи от комода лежат тут... Если вы любите подушки повыше... Одеяло одно, но можно, если угодно, дать еще...

— Прекрасно. Все очень хорошо, милейшая сеньора,— ответил священник тихим, мягким голосом.

— Если что понадобится... Только скажите! Все, что у меня есть, с удовольствием...

— Голубушка! — весело перебил ее каноник.— Прежде всего ему нужно поужинать!

— Ужин готов! Бульон ждет на плите с шести часов...

Она вышла, чтобы поторопить служанку; через мгновение ее голос уже слышался где-то на лестнице:

— Поворачивайся, Русинья, живей, живей!

Каноник тяжело опустился на канапе и втянул в ноздрю понюшку.

— Надо довольствоваться этим. Ничего лучшего не найдешь.

— Мне везде хорошо, дорогой учитель,— отвечал падре Амаро, сбрасывая башмаки и надевая домашние туфли с опушкой.— Как вспомню семинарию!.. О Фейране нечего и говорить. Дождь лил прямо на мою кровать.

С Базарной площади донеслось пение сигнальных рожков.

— Что это? — спросил Амаро, подходя к окну.

— Половина десятого. Играют зорю.

Амаро распахнул окно. В дальнем конце улицы тускло мигал фонарь. Ночь стояла непроглядно черная, над городом тяжелым сводом нависла тишина.

Когда горнисты оттрубили, где-то далеко, возле казармы, прокатилась барабанная дробь; по улице со всех ног пробежал молодой солдатик — видно, засиделся где-нибудь с девушкой в укромном уголке среди развалин замка. На стенах богадельни раздавались пронзительные крики сов.

— Невесело у вас тут,— заметил Амаро.

Но Сан-Жоанейра уже кричала сверху:

— Прошу в столовую, сеньор каноник! Бульон на столе!

— Пойдем, пойдем! Ведь ты умираешь с голоду, Амаро! — заторопился каноник, тяжело поднимаясь с канапе. И, притянув его к себе за рукав, сказал: — Сейчас ты узнаешь, что такое куриный бульон, сваренный по всем правилам искусства. Пальчики оближешь!

Посреди столовой, оклеенной темными обоями, ярко освещенный стол радовал глаз; на белоснежной скатерти сверкала посуда, поблескивали бокалы под сильным светом лампы с зеленым абажуром. Из суповой миски поднимался ароматный пар. На блюде, засыпанная влажным белым рисом, обложенная ломтиками домашней колбасы, лежала сочная курица: так не стыдно подать и к королевскому столу! В застекленной горке у стены виднелась в полутьме фарфоровая посуда нежных расцветок; возле окна стояло фортепьяно под вылинявшим атласным покрывалом. На кухне что-то жарилось; втянув в себя приятный запах свежевыстиранных салфеток, новый постоялец потер руки в радостном предвкушении.

— Пожалуйте сюда, сеньор настоятель, садитесь вот тут,— говорила Сан-Жоанейра,— с той стороны вам может надуть в спину.

Она притворила ставни, принесла ящичек с песком для окурков.

— А вы, сеньор каноник, думаю, не откажетесь от заливного?

— Отчего же! За компанию можно,— весело отвечал каноник, присаживаясь к столу и развертывая салфетку.

Хлопоча вокруг стола, Сан-Жоанейра с удовольствием поглядывала на нового соборного настоятеля, который, дуя на

горячий бульон, молча глотал ложку за ложкой. Он был хорош собой; черные волосы слегка вились, лицо было удлиненное, смуглое, тонкое, глаза большие и черные, затененные длинными ресницами.

Каноник, видевший своего ученика последний раз в семинарии, нашел, что тот заметно окреп и возмужал.

— Ты был такой тощенький...

— На меня хорошо подействовал горный воздух,— объяснил падре Амаро,— в этом все дело.

И он стал рассказывать про свое унылое житье в Фейране, в Верхней Бейре; он очутился в этом захолустье совсем один, среди пастухов; особенно туго приходилось зимой; зимы там суровые.

Каноник подливал ему вина, стараясь держать кувшин повыше, чтобы в бокале вскипала пена.

— Пей, дружок! Нет, выпей все до дна! Таким винцом в семинариях не поят.

Стали вспоминать про семинарию.

— Как-то теперь поживает Рабишо, кладовщик? — спрашивал каноник.

— Ах, тот увалень, что воровал картошку?

Они засмеялись и, попивая вино, стали весело перебирать в памяти давние семинарские истории: как ректор заразился насморком, как регент хора выронил из кармана тетрадку с непристойными стихами Бокаже...

— Быстро бежит время! — вздыхали они.

Сан-Жоанейра поставила на стол блюдо с печеными яблоками.

— Виват! Это я тоже должен отведать! — вскричал каноник.— Печеные яблоки! Нет, уж их-то я не упущу! Да, брат, Сан-Жоанейра удивительная кулинарка! Редкостная кулинарка!

Хозяйка улыбалась, показывая при этом два передних зуба в черных точках пломб. Она пошла за бутылкой портвейна; затем положила канонику на тарелку лопнувшее от жара яблоко, посыпанное по всем правилам самого утонченного гурманства сахарной пудрой, и, дружески похлопав старика по спине мягкой, пухлой рукой, сказала:

— Ведь падре Диас у нас святой, настоящий святой! Право же, я стольким ему обязана!

— Пустяки, пустяки...— бормотал каноник. На его лице играла довольная, умиленная улыбка.— Отличное вино! — похвалил он еще раз, смакуя портвейн.— Превосходное!

— Этому вину столько же лет, сколько Амелии, сеньор каноник.

— Кстати, где ваша дочурка?

— Поехала в Моренал с донной Марией. Заодно уж, наверно, зайдут навестить сестер Гансозо.

— Знай, друг мой, что сеньора Августа владелица отличного поместья! (Каноник говорил о Моренале.) У нее прямотаки графские владения!

Он добродушно посмеивался, и его блестящие глазки с нежностью оглядывали дородные формы Сан-Жоанейры.

— Не верьте ему, сеньор настоятель, это просто лоскут земли...— протестовала она.

Служанка, стоявшая у стены, вдруг раскашлялась, и Сан-Жоанейра сердито закричала:

— Ох, милая, шла бы кашлять на кухню! Как это можно!

Девушка вышла, зажимая рот передником.

— Кажется, бедняжка больна,— заметил падре Амаро.

— Да. Хворая, просто беда!.. Ведь она сирота, моя крестница, взята в дом из жалости. Похоже, у ней чахотка... Что поделаешь! Наша прежняя прислуга угодила в больницу. Бесстыдница! Спуталась с солдатом!..

Падре Амаро тихо потупил глаза и, подбирая со скатерти крошки, спросил, много ли у них летом болеют.

— По большей части страдают поносами из-за свежих фруктов,— буркнул каноник.— Набрасываются на арбузы, воду пьют ведрами... Натурально, болеют животом.

Разговор перешел на свирепствовавшую в деревнях лихорадку, на климат здешних мест.

— Я в последнее время заметно окреп,— рассказывал падре Амаро.— Благодарение господу нашему Иисусу Христу, на болезни пожаловаться не могу.

— Ах, дай вам господи доброго здоровья,— воскликнула Сан-Жоанейра,— вы не знаете, какое это великое благо!

И она завела речь о свалившейся на них беде: уже десять лет, как ее сестру разбило параличом, совсем дурочкой стала. Скоро несчастной сровняется шестьдесят... Зимой она простудилась и с тех пор все чахнет, все чахнет...

— Сегодня под вечер у ней был такой приступ кашля, такой приступ! Я думала, она кончается. Но ничего, отдышалась, теперь ей лучше...

Потом хозяйка поговорила о своей Амелиазинье, о сестрах Гансозо, о прежнем декане капитула, о дороговизне... Она сидела с кошкой на коленях, машинально катая по столу двумя

пальцами хлебные шарики. Каноник после еды отяжелел, веки его сами собой закрывались; казалось, все в столовой постепенно засыпает, и даже огонь в керосиновой лампе раздумывает, не пора ли ему погаснуть...

— Что ж, господа,— проговорил наконец каноник, зашевелившись в кресле,— время позднее!

Падре Амаро поднялся и, опустив глаза, произнес благодарственную молитву.

— Сеньор настоятель, может, вам ночничок засветить? — заботливо спросила Сан-Жоанейра.

— Нет, сеньора, я сплю без ночника. Доброй ночи!

И он стал медленно спускаться по лестнице, ковыряя во рту зубочисткой.

Сан-Жоанейра вышла посветить ему на площадку. Но падре Амаро остановился на второй же ступеньке и, обернувшись, мягко сказал:

— Чуть не забыл, дорогая сеньора: завтра пятница, постный день.

— Нет, нет,— остановил его каноник, зевая и плотнее запахивая на животе люстриновый плащ,— завтра ты обедаешь у меня. Я зайду за тобой, мы нанесем визит сеньору декану, заглянем в собор, еще кое-куда. Учти, у меня будут крабы. Это большая редкость, а рыбы здесь вообще не бывает.

Сан-Жоанейра поспешила успокоить молодого священника:

— Ах, сеньор, о постах мне напоминать не надо. Я ни одного постного дня не пропускаю.

— Я только потому,— объяснил падре Амаро,— что в наше время мало кто блюдет посты.

— Правда ваша, сеньор настоятель,— подхватила она,— только уж в моем доме... Ни-ни! Спасение души прежде всего!

Внизу, у входной двери, громко звякнул колокольчик.

— Это, наверно, дочка,— сказала Сан-Жоанейра.— Пойди, Русинья, отопри.

Дверь сильно хлопнула, послышались голоса, смех.

— Это ты, Амелия?

Молодой голос весело прокричал кому-то: «До свиданья, до свиданья!», и на лестницу, подобрав юбку, взбежала красивая девушка,— крепкая, высокая, статная, в белой кружевной косынке, накинутой на голову, и с пучком розмарина в руке.

— Иди сюда, дочка. Сеньор соборный настоятель уже здесь. Прибыл сегодня вечером. Поднимайся.

Девушка остановилась на середине лестницы, немного смутившись и глядя наверх, на нового священника; он тоже при-

остановился, держась за перила. Амелия запыхалась, щеки ее разгорелись на воздухе, живые черные глаза блестели; от одежды пахло ночной свежестью и луговой травой.

Священник стал спускаться, прижимаясь к перилам, чтобы пропустить девушку и, не поднимая глаз, пробормотал:

— Доброй ночи.

Каноник, шедший вслед за ним, тяжело переступая со ступеньки на ступеньку, загородил дорогу Амелии:

— Что так поздно! Ах ты, шалунья!

Она рассмеялась, потом, застеснявшись, притихла.

— Ну иди, да помолись хорошенько богу. Иди, иди! — продолжал старик, слегка похлопав ее по щеке жирной волосатой рукой.

Она побежала вверх по лестнице, а каноник, разыскав свой зонт в нижней гостиной, вышел на улицу и на прощанье сказал служанке, высоко поднявшей лампу, чтобы посветить ему:

— Ладно, ладно, я и так вижу, девушка. Ты здесь простудишься. Так в восемь, Амаро! Не проспи. Иди наверх, девушка, спокойной ночи. Помолись пресвятой деве заступнице, чтобы у тебя кашель прошел.

Падре Амаро вошел в свою комнату и запер дверь. Одеяло на постели было уже откинуто, от белых простынь приятно пахло свежеотглаженным полотном. Над кроватью висела старинная гравюра с изображением распятия. Амаро раскрыл молитвенник, встал на колени подле кровати, перекрестился; но он устал за день, его клонило ко сну; борясь с зевотой, он машинально бормотал привычные слова молитвы. В эту минуту наверху раздалось постукиванье каблуков Амелии, потом послышался шорох накрахмаленной юбки, которую она сбросила, раздеваясь.

III

Амаро Виейра родился в Лиссабоне, в доме маркизы де Алегрос. Отец его был камердинером хозяина, а мать — любимой горничной маркизы. Амаро доныне берег книжку «Дитя лесов» с чудовищными цветными картинками, на первой чистой странице которой можно было прочесть: «Моей горячо любимой камеристке и верному другу Жоане Виейра. *Маркиза де Алегрос*».

Сохранился у Амаро также выцветший дагерротип матери. Это была мужеподобная женщина со сросшимися бровями, большим чувственного рисунка ртом и ярким цветом лица. Отец

Амаро Виейры скончался от апоплексического удара, а мать, никогда ничем не хворавшая, внезапно умерла через год после него от туберкулеза горла. Мальчику исполнилось к тому времени шесть лет. Из родни у него осталась только старшая сестра, которая с малых лет жила у бабушки в Коимбре, и дядя, человек довольно состоятельный, державший бакалейную лавку в квартале Эстрела. Но маркиза успела привязаться к ребенку. Она без лишних слов оставила при себе сироту и взяла на себя заботу о его воспитании.

Маркиза де Алегрос овдовела в сорок три года и после смерти мужа жила по большей части в своем поместье Каркавелос. Это была натура пассивная, беспечно-добрая; она устроила у себя в доме часовню, безгранично почитала отцов из ордена святого Луиса и постоянно хлопотала по церковным делам. Обе ее дочери, воспитанные в неусыпных заботах о выполнении воли неба и требований моды, были чрезвычайно набожны и элегантны и умели с одинаковым знанием дела рассуждать и о христианском смирении, и о последнем брюссельском журнале мод. Один журналист выразился о них так: «Они целыми днями обдумывают туалет, в котором войдут в царство небесное».

В уединенной усадьбе Каркавелос с аристократическим парком, тенистые аллеи которого то и дело оглашались криками павлинов, барышни умирали от скуки. Здесь религия и благотворительность были их единственным занятием, за которое обе хватались с жадностью. Они мастерили одежду для бедняков и вышивали покровы для алтаря приходской церкви. Таким образом, с мая по октябрь они бывали полностью поглощены трудами на благо своей души и не читали ничего, кроме душеспасительных книг. Лишенные Сан-Карлоса, светских приемов и модистки Алины, они довольствовались визитами местных священников и вздыхали над житиями святых. Бог был их летним развлечением.

Сеньора маркиза пришла к решению пустить маленького Амаро по духовной части. Его желтовато-бледное лицо и худенькая фигурка невольно наводили на мысль, что он создан для жизни созерцательной и уединенной; ему с детства нравилось все, связанное с часовнями и церквями; больше всего на свете он любил устроиться в тесном кружке женщин, в теплом уюте перепутавшихся юбок, и слушать рассказы про святых. Маркиза не хотела отдавать его в гимназию, опасаясь дурных влияний и нечестивого духа современности. Домашний капеллан обучал мальчика латыни, а старшая дочь маркизы, сеньора дона Луиза, читавшая Шатобриана и гордившаяся аристокра-

тической горбинкой на своем носу, давала ему уроки французского языка и географии.

Амаро был, как выражались слуги, тихоней. Он никогда не шалил, не резвился на солнышке. Сопровождая по вечерам сеньору маркизу в прогулках по парку, куда она выходила под руку с падре Лизетом или с почтительным управляющим Фрейтасом, он тихо шел рядом, молчаливый, задумчивый, держа руки в карманах и теребя подкладку влажными пальцами; он испытывал смутный страх перед чащей деревьев и густо разросшимися травами.

С годами он стал необыкновенно пуглив, спал только при свете ночника и рядом со старушкой-нянней. Служанки маркизы всячески баловали его. Они находили, что он очень хорошенький, не отпускали его от себя, беспрестанно чмокали, щекотали, и он терся между юбками, хихикая от удовольствия и ощущая близость потных тел. Иногда, в отсутствие маркизы, горничные, помирая со смеху, наряжали его в женское платье. Он не сопротивлялся и, полураздетый, томный, слегка разрумянившийся, с покорно-разнеженным видом позволял трогать и вертеть себя. Горничные впутывали его также в свои интриги и ссоры и подсылали к хозяйке с ябедами. Он рос сплетником и лгунишкой.

Одиннадцати лет Амаро уже помогал служить мессу и по субботам убирал в часовне. Это был для него счастливый день: он запирался на ключ, выставлял святых на самое светлое место, прикладывался к ним жадными губами, напечатлевая набожные, истовые поцелуи. Все утро, напевая «Святый боже», он хлопотливо возился в часовне, вытряхивая моль из одеяний пресвятых дев и начищая мелом венчики святых и мучеников.

Время шло, Амаро подрастал, но внешность его почти не менялась: он по-прежнему оставался изжелта-бледным, малорослым, худеньким и сохранял привычку держать руки в карманах. Никто никогда не слышал, чтобы он громко расхохотался. Он постоянно торчал в комнатах у служанок, рылся в их комодах, перебирал наваленные в беспорядке юбки, нюхал накладные ватные турнюры и корсажи. По утрам его одолевала сонливость, и нелегко было вырвать его из расслабляющей, нездоровой дремоты; он долго нежился в постели, утонув с головой в одеялах и обняв подушку. Уже тогда он немного горбился, и слуги прозвали его «попиком».

Как-то утром в прощеное воскресенье, выйдя на веранду после мессы, маркиза вдруг упала и скоропостижно скончалась от апоплексического удара. В завещании ее значилось, что Амаро,

сын горничной Жоаны, по достижении пятнадцати лет должен быть отдан в семинарию, с тем чтобы в дальнейшем принять священнический сан. Падре Лизету поручалось исполнить это благочестивое распоряжение. Амаро было тогда тринадцать.

Дочери маркизы сейчас же уехали из Каркавелос в Лиссабон и поселились у своей тетушки с отцовской стороны, сеньоры Барбары де Норонья. Амаро же отправили к дяде-бакалейщику, в Эстрелу. Бакалейщик оказался тучным немолодым мужчиной; он был женат на дочери чиновника, которая согласилась выйти за него замуж единственно потому, что хотела поскорей уйти из бедного родительского дома, где ее держали впроголодь, заставляли стелить кровати и никогда не пускали в театр. Она ненавидела своего мужа, ей были противны его волосатые руки, и его бакалейная лавка, и квартал Эстрела, и даже новая фамилия: сеньора Гонсалвес. А муж обожал ее, считал своей утехой, задаривал драгоценностями и называл «моя герцогиня».

Амаро не нашел здесь той женской ласки и баловства, к которым привык у маркизы в Каркавелос. Тетка вообще его не замечала. Она проводила дни за чтением романов и театральных обозрений, с утра затянутая в шелк, густо напудренная, с завитыми в локоны волосами, и ждала, когда мимо ее окон пройдет, блистая белыми манжетами, Кардозо, самый красивый кавалер в Триндаде. Бакалейщик смотрел на Амаро как на неожиданно явившуюся рабочую силу и сейчас же отправил его за прилавок. Его будили в пять часов утра, и несчастный мальчуган, кое-как примостившись у кухонного стола, торопливо макал хлеб в кофе, дрожа от недосыпа в своей синей нанковой курточке. Амаро здесь только терпели. Тетя называла его «лопухом», а дядя «ослом». Недешево доставалась ему скудная порция говядины, которую он съедал за обедом! Амаро худел на глазах и каждую ночь плакал.

Он уже знал, что пятнадцати лет должен будет поступить в семинарию. Дядя напоминал ему об этом ежедневно:

— Не воображай, что вечно будешь тут бить баклуши, осел! Стукнет пятнадцать, и марш в семинарию. Я не обязан всю жизнь тащить тебя на своей шее! Не в моих это правилах — кормить дармоеда.

Амаро мечтал о семинарии как об избавлении.

Никогда и никто не спрашивал его, кем он хочет быть, есть ли у него призвание. Священство ему навязали, и его податливая, пассивная натура не противилась: он готов был надеть сутану, как надел бы военный мундир. Впрочем, ему даже улы-

балась мысль стать «сеньором падре». Правда, его былая любовь к церкви пропала без следа; от нескончаемых молитв в Каркавелосе у него осталась только боязнь попасть в ад. Однако он хорошо помнил священников, бывавших в доме у сеньоры маркизы: все это были люди сытые, белые, холеные, они ели за одним столом со знатными дамами и нюхали табак из золотой табакерки. Ему нравилась профессия, которая позволяет беседовать вполголоса с женщинами, быть у них своим человеком, доверительно с ними шептаться, ощущать на лице тепло их дыхания и получать подарки на серебряных подносах. Он вспоминал рубиновый перстень на мизинце у падре Лизета; вспоминал, как монсеньер Сааведра в красивых золотых очках смаковал маленькими глотками бокал мадеры, а дочери маркизы вышивали ему ночные туфли. Однажды Амаро видел епископа, который раньше служил священником в Баие, много путешествовал и даже посетил Рим. В гостиной у маркизы он был душой общества: в кругу восторженных дам, опершись белыми, пахнувшими одеколоном руками на золотой набалдашник своей трости, епископ напевал приятным баритоном, чтобы позабавить умиленных слушательниц:

Мулаточка, мулатка
Родом из Капужá...

За год до поступления в семинарию дядя стал посылать Амаро к учителю, дабы укрепить познания будущего священнослужителя в латыни, и освободил его от стояния за прилавком. Впервые в жизни Амаро обрел свободу. Он ходил к учителю один, гулял по улицам, осматривал город, наблюдал, как марширует пехота, подходил к дверям кофеен, читал афиши театров; он начал поглядывать на женщин,— и от всего, что он видел, на него находили приступы глубокой тоски. Грустнее всего ему делалось в сумерки, когда он возвращался от учителя, и по воскресеньям, после прогулок в саду с дядюшкиным приказчиком. Амаро спал в комнатенке на чердаке; его окно выходило на городские крыши. Он подходил к нему и опирался на подоконник. Отсюда видна была центральная часть города; один за другим загорались там огоньки газовых фонарей. Ему казалось, что он слышит доносившийся оттуда невнятный гул; то были шумы неведомой, полной чудес жизни: сияли залитые светом кафе, и женщины, шурша шелковыми юбками, всходили на ступени театральных подъездов. Амаро погружался в смутные мечты, из темноты вдруг выступали женские формы: нога в прюнелевом ботинке и белом чулке, округлая рука, обнаженная

по самое плечо... Внизу, в кухне, гремела посудой и что-то напевала кухарка, толстая, веснушчатая девушка, и его тянуло на кухню покрутиться возле нее или просто посидеть в уголку, глядя, как она обдает горячей водой кастрюли. Он вспоминал других женщин, виденных на улице, простоволосых, в накрахмаленных, шуршащих юбках и стоптанных башмаках; и из глубин его существа поднималась какая-то ленивая истома, ему хотелось обнять кого-нибудь, заглушить ощущение одиночества. Он считал, что ужасно несчастен, даже подумывал о самоубийстве. Но снизу доносился дядин голос:

— А ты почему не учишься, негодяй?

И несколько минут спустя, жалея себя до слез, Амаро послушно горбился над Титом Ливием, с трудом преодолевая дремоту, комкая страницы ненавистного лексикона.

К этому времени карьера священника перестала его привлекать, потому что священникам нельзя жениться. Знакомство с другими учениками, ходившими к тому же учителю, оказало на него свое влияние: в нем пробудилось любопытство к скрытым сторонам жизни, его занимали нечистые мысли. Он начал тайком курить, еще больше похудел и пожелтел.

Наконец пришел день поступления в семинарию. На первых порах длинные и сырые коридоры, печально мерцающие лампады, тесные комнатки с зарешеченными окнами, черные сутаны, предписанная уставом молчаливость, звон колокольчика — все это наводило на Амаро острую тоску; он был подавлен. Но вскоре у него завелись друзья; его миловидное лицо располагало к себе; многие стали называть его на «ты»; он был принят в кружок товарищей, которые на переменах или во время воскресных прогулок вели веселые разговоры, пересыпая их анекдотами про учителей, бессовестной клеветой на ректора и жалобами на затворничество. Почти все горько сожалели о былой свободе; прибывшие из деревень не могли забыть залитые солнцем поля, дни сбора урожая, когда все поют и целуются, вереницы идущих с пастбищ волов, пар от разогретой за день земли. Те, что приехали из небольших городков, тосковали по тихим извилистым улочкам, где так хорошо ухаживать за молоденькими соседками; они с горечью вспоминали веселую суматоху базарных дней и увлекательные похождения, выпадающие на нашу долю, увы, лишь в том возрасте, в котором приходится долбить латынь. Им было тесно в вымощенном плитками дворе, где чахло несколько деревцов, их давили высокие,

застывшие в каменной дреме стены, им наскучила игра в мяч; они задыхались в узких коридорах и в аудитории святого Игнатия, где им предписывалось по утрам размышлять и молиться, а по вечерам готовить уроки; они завидовали всякому, кто жил на свободе, как бы ни было скромно его ремесло: погонщику мулов, гнавшему свою упряжку по дороге, настегивая животных; возчику, который с песней проезжал мимо, под скрежетанье и скрип колес; даже нищему страннику, который тащился по улице с посохом в руках и сумой за плечами.

Из окна в коридоре можно было видеть поворот дороги. Под вечер тут обычно проезжал дилижанс, поднимая тучи пыли; рысью трусили три лошадки, навьюченные чемоданами и корзинами, кучер щелкал кнутом, пассажиры, обернув колени теплыми пледами, пускали колечки сигарного дыма. Сколько глаз провожало их в путь! Сколько завистливых вздохов неслось вслед счастливым путникам, которые поедут мимо веселых деревень и шумных городов, насладятся утренней прохладой, налюбуются сиянием звезд!

А сколько щемящих воспоминаний о домашних обедах, особенно в час скудной семинарской трапезы, под хриплый голос чтеца, монотонно бормочущего пастырское послание сеньора епископа или письмо миссионера откуда-нибудь из Китая! Как было не вспомнить над миской жидкого овощного супа аппетитные куски рыбы, горячие шкварки, шипящие на тарелке, запах свиной печени, зажаренной в растопленном сале!

Амаро не оставил дома никаких привязанностей; ему нечего было вспомнить, кроме грубостей дяди-бакалейщика да кислого, обсыпанного пудрой теткиного лица. Но и он постепенно начал тосковать по своим воскресным прогулкам, по свету газовых фонарей, по тем приятным минутам, когда он возвращался от учителя со стянутыми ремешком книгами и прилипал к витринам, чтобы поглазеть на оголенные манекены.

Однако его апатичная натура недолго сопротивлялась; вскоре он подчинился правилам семинарского быта, как овца подчиняется движению всего стада, и втянулся в новую жизнь. Амаро аккуратно заучивал наизусть заданные по учебнику параграфы, с благоразумной точностью читал все положенные молитвы, был молчалив и замкнут, воспитателям кланялся очень низко — и постепенно стал получать хорошие отметки. Но он не был в числе тех, кто ревностно, с искренним увлечением учился в семинарии. Он никогда не понимал учеников, которые часами, простершись ниц, бормотали тексты из «Подражания» или из сочинений святого Игнатия; тех, которые во время служ-

бы в семинарской церкви впадали в экстаз, закатывали глаза, бледнели в припадке религиозного исступления, а на переменах и даже во время прогулок не отрывались от томика акафистов пресвятой деве Марии; он не разделял усердия тех, что неукоснительно исполняли устав, свято соблюдая даже завет святого Бонавентуры не прыгать через ступеньку.

Для них семинария была преддверием рая. Для Амаро — унизительной тюрьмой и скучной школой.

Не понимал он и честолюбцев, которые желали стать иподиаконами и раздвигать дверные завесы из старинного дамасского шелка в высоких залах епископского дворца; тех, кто ставил себе целью после рукоположения в священники жить в большом городе, служить в церкви аристократического квартала и петь звучным голосом в присутствии богатых прихожанок, которые теснятся, шурша шелком, на ковре перед главным алтарем. Многие семинаристы хотели бы совсем расстаться с церковью: они мечтали стать офицерами и греметь саблей по каменным мостовым. Другие грезили о покойной и сытной деревенской жизни: о том, чтобы, поднявшись до зари и надев широкополую шляпу, ездить на доброй лошадке по сельским дорогам, отдавать приказания работникам, распоряжаться на токах и просторных гумнах, уставленных снопами, спешиваться у винных погребков! Но все за редким исключением — как видевшие свое призвание в церковной службе, так и стремившиеся жить в миру — желали поскорее вырваться на волю, уйти от скудного семинарского житья, чтобы вкусно есть, получать много денег и любить женщин.

Амаро не мечтал ни о чем.

— Сам не знаю...— уныло говорил он.

А между тем, часто слушая тех, для кого семинария была «хуже каторги», он и сам соглашался с их речами, полными нетерпеливого ожидания свободы. Иные ученики поговаривали даже о бегстве. Они обдумывали план побега, прикидывали, высоко ли придется прыгать из окон, старались предусмотреть все неожиданности, какие готовят ночные дороги и ночная темнота. Им рисовались стойки придорожных тавери, бильярдные залы, жаркие альковы. Амаро уходил к себе взбудораженный. До поздней ночи он ворочался на своей узенькой кровати, и в заветной глубине его мечтаний и снов безмолвно пылал, точно раскаленный уголь, образ женщины.

В келье его висело изображение пресвятой девы, в венчике из звезд; возвышаясь над шаром земли, обратив взор к сиянию вечного света, она попирала ногами змия. Амаро поворачивался

лицом к мадонне, ища у нее спасения, и читал «Славься, владычица небесная»; но, глядя на эту литографию, он забывал, что перед ним святая матерь Христа: он видел лишь красивую белокурую женщину и чувствовал, что влюблен; Амаро вздыхал. Раздеваясь, он искоса посматривал на матерь божию грешным взглядом; охваченный непозволительным любопытством, он мысленно приподнимал целомудренные голубые одеяния, скрывавшие округлые формы, белое тело. И тогда в темном углу ему мерещилось сверканье глаз искусителя; он окроплял свою кровать святой водой, но в воскресенье, в исповедальне, не решался рассказать духовнику об этих бредовых видениях.

Сколько раз он слышал, как преподаватель христианской нравственности, читая проповедь, говорил своим гнусавым голосом о грехе и сравнивал его со змием; плавно поводя руками, выбирая самые вкрадчивые выражения, неторопливо закругляя медово-пышные фразы, он советовал семинаристам, по примеру пресвятой девы, попрать ногами «мерзостного змия»! Учитель богословия, втягивая в ноздрю понюшку табака, тоже настаивал на долге христианина обуздывать свою плоть.

Цитируя святого Иоанна Дамаскина, святого Иоанна Златоуста, святого Киприана и святого Иеронима, он растолковывал, почему они предавали анафеме женщину, и называл ее, пользуясь языком священных книг, змеем-искусителем, жалом ада, дочерью лжи, дорогой погибели, сосудом дьявольским, скорпионом...

— Словом, как говаривал святой Иероним,— заключал он, оглушительно сморкаясь,— женщина — это путь нечестия, iniquitatis via.

Даже в учебниках Амаро замечал враждебное отношение к женщине! Что же это за существо — женщина, если богословие то возносит ее на алтарь, как царицу милосердия, то осыпает грубой бранью? Каково же должно быть ее могущество, если полчища святых то в экстазе бросаются к ее ногам и провозглашают ее владычицей всего царства небесного, то в ужасе, с воплями ненависти, бегут от нее, как от нечистого духа, и прячутся в обителях и скитах, и умирают там в наказание за то, что осквернили себя любовным помыслом? Он не мог выразить словами свои недоумения, но остро чувствовал их: они упорно возникали вновь и вновь, отнимая у него всякую стойкость. Не успев еще дать обета, он испытывал искушение нарушить его.

У своих товарищей он видел тот же неукротимый мятеж плоти. Уроки, посты, покаяния — все это обуздывало животные порывы, прививало механическую покорность, но внутри, в глубине, продолжали шевелиться молчаливые желания, точно змеи,

потревоженные в гнезде. Больше всех страдали сангвиники. Строгие полумонастырские порядки подавляли их природу так же безжалостно и больно, как манжеты сорочек сдавливали их толстые плебейские запястья. Стоило им остаться без присмотра, как темперамент брал свое: они начинали бороться, возиться, озорничать. У лимфатиков подавление природных инстинктов вызывало приступы глубокой грусти, безмолвного уныния. Воспитанники вознаграждали себя мелкими грешками: раздобыв засаленную колоду, играли в карты, тайком читали романы, доставали сложным и хитроумным путем пачку сигарет. Сколько очарования таит в себе любой грех!

Под конец Амаро уже почти завидовал прилежным ученикам: по крайней мере, они были довольны, постоянно что-то зубрили, строчили конспекты в тиши библиотеки, носили очки, нюхали табак, пользовались уважением. Амаро самого временами разбирала охота заняться наукой. Но всякий раз вид толстых фолиантов наводил на него неодолимую тоску. Внешне он был достаточно набожен: молился, слепо верил в святых, испытывал тягостный страх перед богом. Однако заточение в четырех стенах семинарии было ему ненавистно. Семинарская церковь, плакучие ивы во дворе, скучная трапеза в длинной, вымощенной плитами зале, запахи, застоявшиеся в коридорах,— все это раздражало юношу до слез. Ему казалось, что он мог бы стать добрым, целомудренным, верующим, если бы оказался где-нибудь на вольном воздухе, на улице или в мирной тишине сада, вдали от этих почернелых стен. Он худел, по ночам обливался потом, а в последний год, после изнурительных бдений на страстной неделе, с наступлением первых жарких дней, заболел нервической лихорадкой и попал в лазарет.

Амаро был посвящен в сан в успенский пост, а некоторое время спустя, еще не успев покинуть семинарию, получил письмо от падре Лизета.

«Милый мой сын и юный коллега, теперь, когда вы рукоположены, я, следуя велению совести, обязан дать вам отчет о положении ваших дел, ибо хочу исполнить долг, возложенный на мои слабые плечи волею нашей незабвенной маркизы, уполномочившей меня позаботиться о ее посмертных распоряжениях, касающихся вас. Хотя земные блага не много значат для души, посвятившей себя богу, однако деньги любят счет, а точность в этих делах — дружбе не помеха. Знайте же, милый сын

Преступление Падре Амаро

мой, что сумма, завещанная вам нашей дорогой маркизой, которой вы должны воздвигнуть в душе своей памятник вечной благодарности, полностью исчерпана. Пользуясь этим случаем, сообщаю вам, что после смерти вашего дядюшки тетушка ваша ликвидировала его бакалейное заведение и вступила на путь, который мне не подобает назвать настоящим именем; она подпала под иго страстей, вступила в незаконную связь, утратив вместе с чистотой души все свое имущество, и ныне содержит меблированные комнаты в доме пятьдесят три по Конопатной улице. Если я касаюсь столь низменных подробностей, слишком недостойных слуха юного клирика, то единственно из желания дать наиточнейшие сведения о вашем почтенном семействе. Сестра ваша, как вы, вероятно, знаете, вышла в Коимбре замуж за богатого человека; и хотя в семейной жизни не золото следует ценить превыше всего, однако эта сторона жизни тоже весьма важна и может иметь в будущем известное значение, почему я и считаю нужным уведомить об этом вас, милый мой сын. Наш дорогой ректор писал мне о своем намерении направить вас в Фейранский приход, в Гралейре; я постараюсь похлопотать за вас у некоторых влиятельных лиц, настолько добрых душой, что они готовы выслушать ходатайство бедного священника, не просящего у господа ничего, кроме снисхождения. Надеюсь, что мне не откажут. Продолжайте, милый мой сын, свой путь по стезе добродетели; я хорошо знаю, что добродетелью преисполнена ваша душа, и поверьте, наша священная миссия дает отраду тому, кто умеет понять, сколь сладостное утешение и покой проливает в сердце служение господу. Прощайте, милый мой сын и юный коллега. Не сомневайтесь, что мыслью я всегда с воспитанником нашей незабвенной маркизы, которая на небесах молит столь горячо ею любимую и почитаемую Пресвятую деву за благополучие своего дорогого питомца.

Лизет.

P. S. Мужа вашей сестры зовут Тригозо.

Лизет».

Через два месяца Амаро получил назначение в приход Фейран, в Гралейре, в горах Верхней Бейры. Он прослужил там с октября до весны.

Фейран был бедной пастушеской деревней, в зимнее время почти необитаемой. Амаро нечего было там делать; он томился у очага и слушал, как бушует в горах зимний ветер. Весной в округах Сантарен и Лейрия остались вакантными густо на-

селенные, богатые приходы, плативше священникам хорошее содержание. Амаро тотчас же отправил письмо сестре, описав свою беспросветную нужду в Фейране. Та выслала ему двенадцать золотых, усиленно призывая Амаро расходовать эти деньги экономно: на них он должен был съездить в Лиссабон и подать прошение о переводе. Амаро немедля отправился в путь.

Чистый, живительный воздух горной деревушки обновил его кровь; он уезжал оттуда крепкий, стройный, похорошевший, со здоровым румянцем на загорелых щеках.

Прибыв в Лиссабон, Амаро прежде всего пошел искать дом номер пятьдесят три по Конопатной улице, где жила его тетка. Она стала уже совсем старухой; на огромном шиньоне из накладных волос алел пунцовый бант, лицо было густо обсыпано пудрой. После всех перенесенных бед она ударилась в святошество и теперь с благочестивой радостью протянула к Амаро свои худые руки.

— Как ты похорошел! Неузнаваем! Кто бы поверил? Господи Иисусе, как ты изменился!

Она не могла наглядеться на его сутану, на выстриженную на темени тонзуру; потом, начав рассказ о пережитых злоключениях и пересыпая свою речь охами и ахами, призывами к милости божией и сетованиями на дороговизну, повела племянника на третий этаж и показала комнату, выходившую окнами во внутренний двор.

— Здесь ты будешь роскошествовать как настоящий аббат,— сказала она,— и совсем недорого!.. Рада бы держать тебя бесплатно, но увы!.. Мне ужасно не везло, Жоанзиньо!.. То есть, тьфу, извини,— Амаро! У меня все Жоанзиньо на языке...

На другой же день Амаро пошел в церковь святого Луиса, к падре Лизету. Оказалось, тот уехал во Францию. Тогда он вспомнил про младшую дочь маркизы де Алегрос, дону Жоану, которая была замужем за графом де Рибамар, членом Государственного совета, человеком весьма влиятельным, непоколебимым возрожденцем с самого пятьдесят первого года, дважды занимавшим пост министра внутренних дел.

Подав прошение, Амаро, по совету тетки, отправился как-то утром к графине де Рибамар, в Буэнос-Айрес. У подъезда особняка он увидел изящное ландо.

— Сеньора графиня едут со двора,— сообщил ему слуга в белом галстуке и альпаковом сюртучке, стоявший у ворот с сигаретой в зубах.

В этот момент в глубине мощенного плитами внутреннего дворика распахнулась дверь, обитая зеленым плюшем, и на ка-

менном крыльце появилась дама в светлом туалете— высокая, худая, белокурая. Ее мелко завитые волосы закрывали весь лоб пышной челкой, на длинном, остром носу сидело золотое пенсне, из родинки на подбородке торчало несколько светлых волосков.

— Сеньора графиня, конечно, не узнает меня...— сказал Амаро, сняв шляпу и низко кланяясь.— Я Амаро.

— Амаро? — переспросила она с недоумением; имя это как будто ничего ей не говорило..— Ах, боже мой, так это вы? Какая перемена! Совсем взрослый... Вас не узнать!

Амаро улыбался.

— А между тем я должна была ждать этого! — продолжала она удивленно и радостно.— Так вы теперь в Лиссабоне?

Амаро рассказал о своем назначении в Фейран, описал этот нищий приход...

— Я приехал просить о переводе, сеньора графиня.

Она слушала его, опираясь на ручку длинного зонтика, обтянутого светлым шелком, и Амаро чувствовал исходивший от нее запах пудры и свежеотглаженного батиста.

— Я позабочусь о вас,— сказала она,— не беспокойтесь ни о чем. Мой муж поговорит, где надо; я беру это на себя. Зайдите ко мне...— Она задумалась, приложив палец к губам.— Постойте, завтра я еду в Синтру. В воскресенье... Нет! Пожалуй, недели через две. Ровно через две недели, в это же время, так будет лучше всего.

Она засмеялась, блеснув влажными, крупными зубами.

— Я так и вижу вас с Лунзой за Шатобрианом! Быстро летит время!

— Как поживает ваша сестрица? — спросил Амаро.

— Здорова. Живет в своей усадьбе, в Сантарене.

Она протянула ему руку, затянутую в перчатку из шведской кожи; при этом зазвенели ее золотые браслеты; затем, ловкая, худенькая, она легко вскочила в ландо, и от быстрого движения мелькнули белоснежные кружева нижней юбки.

Амаро принялся ждать. Стоял июль, самая жаркая пора лета. По утрам он слушал мессу в церкви святого Доминика, а потом целый день, в ночных туфлях и халате, слонялся без дела по дому. Время от времени он шел в столовую поболтать с теткой. Ставни были прикрыты, в полумраке жужжали мухи. Тетка сидела на стареньком плетеном канапе и вязала «кроше», поглядывая на свою работу через сползшие на кончик носа очки. Амаро, зевая, листал старый том «Панорамы».

Под вечер он выходил пройтись по Росио. Было душно и безветренно, на всех углах уличные разносчики протяжно

выкрикивали: «Кому свежей воды!» На скамейках под деревьями дремали бездомные оборванцы, вокруг площади непрерывным хороводом катились свободные фиакры, сияли окна и вывески кофеен, и истомленные духотой фланеры, зевая, лениво и бесцельно бродили по тротуарам.

Амаро уходил домой, распахивал окно и ложился на кровать, сняв халат и ботинки; он курил сигаретку и размышлял о своих шансах на успех.

На память ему приходили слова сеньоры графини: «Не беспокойтесь, мой муж поговорит, где надо»,— и сердце его радостно трепетало. Он предвкушал, что получит приход в каком-нибудь красивом городке, и мечтал о том, как будет жить в домике с огородом, где растет капуста и салат; он уже видел себя в роли влиятельного падре — уверенного, довольного жизнью, получающего в подарок от богатых святош подносы со сластями.

Все это время он был в особенно спокойном состоянии духа. Вызванные воздержанием припадки раздражительной меланхолии, находившие на него в семинарии, прекратились после знакомства с толстенькой пастушкой из Фейрана; по воскресеньям он любил смотреть, как она, повиснув на веревке колокола, звонила к обедне, и ее темная шерстяная юбка, раскачивалась в воздухе, а лицо пылало от прилива крови. Теперь, успокоенный, он пунктуально выплачивал небу свой долг положенными молитвами; удовлетворенная плоть ни о чем не просила, ни к чему не понуждала, оставалось только устроить свою жизнь поудобней.

К концу второй недели Амаро отправился к сеньоре графине.

— Нет дома,— ответил ему конюх.

На следующий день он снова пошел туда, уже в смутной тревоге. Зеленая дверь была распахнута настежь. Амаро стал медленно подниматься по лестнице, стараясь осторожнее наступать на широкий красный ковер, закрепленный на ступенях металлическими прутьями. Из круглого окна под самым потолком лился мягкий свет; на площадке лестницы, на банкетке, обитой красным сафьяном, прислонясь к белой, отливавшей глянцем стене, спал лакей, уронив голову на грудь и распустив губы. Было очень жарко. Чопорная тишина этого дома нагоняла на падре Амаро робость. Несколько минут он стоял в сомнении, слегка покачивая висевший на пальце зонт, потом тихонько кашлянул, надеясь разбудить лакея: в пышных черных бакенбардах этого человека, в его золотой цепочке таилась ка-

кая-то угроза. Не лучше ли повернуться и уйти? Но тут за одной из портьер послышался громкий мужской смех. Амаро обмахнул носовым платком пыль, осевшую на башмаках, поправил манжеты и, сильно покраснев, вошел в большую гостиную, обитую желтым дамаском. В распахнутые двери балконов вливались потоки света, в саду зеленели купы деревьев. Посреди комнаты стояли трое мужчин и разговаривали. Амаро шагнул к ним, бормоча:

— Прошу извинить за беспокойство...

Один из трех собеседников, седоватый господин в золотых очках, удивленно обернулся; в уголке его рта дымилась сигара, руки были засунуты в карманы. Это был сам граф.

— Я — Амаро...

— А! — протянул граф.— Вы сеньор падре Амаро. Знаю, знаю! Входите, пожалуйста... Жена мне говорила... Прошу сюда.

И он обратился к низенькому, тучному, почти совершенно лысому человеку в коротких белых брюках:

— Вот священник, за которого я просил.

Затем, обернувшись к Амаро, пояснил:

— Это господин министр.

Амаро низко поклонился.

— Сеньор падре Амаро воспитывался у моей покойной тещи,— продолжал граф де Рибамар.— В ее доме он и родился, если не ошибаюсь.

— Совершенно верно, господин граф,— подтвердил Амаро; он так и стоял на пороге, не выпуская из рук зонта.

— Теща моя, как истая дворянка старого закала, была очень набожна — таких больше нет в Португалии! — и отдала своего питомца церкви. Кажется, это значилось в завещании... Словом, теперь он приходским священником в... Где, сеньор падре Амаро?

— В Фейране, ваше сиятельство.

— В Фейране?! — переспросил министр.

— Это в отрогах Гралейры,— тотчас же подсказал третий господин, стоявший рядом с министром, худощавый мужчина в облегающем фигуру синем сюртуке, с роскошными крашеными бакенбардами и блестящими от бриллиантина волосами, расчесанными на прямой как стрела пробор.

— Страшная дыра! — продолжал граф.— Нищий, затерянный в горах приход, никаких развлечений, климат убийственный...

— Я подал прошение о переводе, ваше сиятельство,— робко вставил Амаро.

— Хорошо, хорошо,— отвечал министр, жуя сигару,— это можно устроить.

— Справедливость того требует,— поддержал граф,— и я бы сказал больше: государственная необходимость! Молодые, деятельные священники должны служить обществу в трудных приходах, в городах... Это очевидно! А что получается на деле? В Алкобасе, где у меня поместье, приходом управляет старый подагрик, бывший семинарский надзиратель, тупица!.. Не удивительно, что в народе слабеет вера.

— Это так,— согласился министр,— но отдавать хороший приход следует в награду за честную службу. В виде, так сказать, поощрения...

— Безусловно,— отвечал граф,— но лишь постольку, поскольку речь идет о служении религиозном, о служении церкви, но отнюдь не об услугах правительству.

Человек с черными бакенбардами покачал головой.

— Вы со мной не согласны? — спросил его граф.

— Я отдаю должное воззрениям вашего сиятельства, но если позволите... Нельзя отрицать, что священники городских приходов могут нам быть очень полезны в трудную минуту, в критические дни выборов. Весьма и весьма полезны!

— Возможно. Но...

— Припомните, ваше сиятельство,— перебил тот, спеша закончить свою мысль,— припомните, что произошло в Томаре. Почему мы там проиграли? Из-за позиции, занятой приходскими священниками. Только поэтому.

Граф стал возражать:

— Позвольте, позвольте: этого никак не следует допускать; служители церкви не агенты по выборам и не могут вмешиваться в предвыборную борьбу.

— Нет-с, разрешите с вами не согласиться...— пытался спорить тот.

Граф остановил собеседника повелительным жестом и серьезно, раздельно, веско сказал:

— Религия может и должна помогать правительствам в поддержании порядка, служить, так сказать, уздой...

— Именно, именно,— невнятно пробормотал министр, сплевывая прилипшие к губам пленки табачных листьев.

— Но опускаться до интриг,— внушительно продолжал граф,— впутываться во всякие imbroglio...[1] Извините меня, дорогой друг, христианин так не рассуждает.

---

[1] Козни, интриги *(итал.)*.

— Но я христианин, сеньор граф! — воскликнул господин с пышными бакенбардами.— Я христианин, и примерный! Но я также либерал. И считаю, что в конституционном государстве... да, да, именно так... разумеется, при соблюдении всех гарантий...

— О нет! — перебил граф.— Знаете ли, к чему это может привести? К дискредитации и церкви и политики.

— Но в конце концов является большинство голосов священным принципом или не является?! — вскричал, побагровев, господин с пышными бакенбардами, напирая на слово «священным».

— Это принцип существенный.

— Бог с вами, ваше сиятельство! Бог с вами!

Падре Амаро слушал, не шевелясь.

— Жена моя, вероятно, желает вас видеть,— спохватился граф и, приподняв одну из портьер, сказал: — Пройдите сюда. Жоана, к тебе сеньор падре Амаро!

Амаро очутился в зале, оклеенном атласными белыми обоями. Мебель была обтянута светлым кашемиром; портьеры молочного цвета, ниспадавшие широкими складками и схваченные внизу шелковыми шнурами, обрамляли оконные ниши, где высились в белых вазонах тонкие деревца с игольчатой листвой. В приятном полусвете разнообразные оттенки белизны оттеняли нежными облачными тонами. На спинке кресла стоял попугай ара на одной ноге и медленно, круговыми движениями, почесывал другой ногой свою зеленую головку. Амаро, смешавшись, согнулся в низком поклоне, как только увидел мелко вьющиеся светлые волосы графини, закрывавшие воздушной челкой ее лоб, и золотые, сверкающие круги пенсне. Графиня сидела на кушетке. Перед ней на низком креслице поместился толстоватый молодой человек с пухлым лицом, опираясь локтями на расставленные колени и раскачивая на шнурке, как маятник, черепаховый лорнет. Графиня держала на руках комнатную собачку и своими худыми изящными пальцами в голубоватых жилках гладила ее пушистую, белую, как вата, шерсть.

— Как поживаете, сеньор падре Амаро?

Собачка заворчала.

— Замолчи, Блестка!.. Вы знаете, я уже говорила о вашем деле... Замолчи, Блестка! Министр сейчас в кабинете у мужа.

— Да, сеньора,— отвечал Амаро, стоя.

— Сядьте здесь, сеньор падре Амаро.

Амаро пристроился на краешке кресла, не выпуская из рук зонта, и только теперь заметил, что возле рояля стоит еще одна дама и разговаривает с белокурым молодым человеком.

— Вы приятно провели это время, сеньор Амаро? — спросила графиня.— Да, скажите пожалуйста, как поживает ваша сестра?

— Она в Коимбре, замужем.

— А! Замужем! — отозвалась графиня, рассеянно играя своими перстнями.

Наступило молчание. Амаро, не поднимая глаз, застенчиво и растерянно водил пальцами по губам.

— Сеньора падре Лизета нет в Лиссабоне? — спросил он.

— Он в Нанте. У него там сестра при смерти,— сказала графиня.— Он все такой же: очень добр, очень обходителен. Чистая душа!..

— Я предпочитаю падре Фелиса,— заметил толстый молодой человек, стараясь усесться поудобней.

— Ах, что вы, кузен! Как можно! Падре Лизет такой почтенный! Он даже говорит совсем по-другому, с такой добротой... Сейчас видно нежную душу.

— Да, но падре Фелис...

— Ах, не говорите так! Падре Фелис человек весьма достойный, кто же спорит; но у падре Лизета вера более,— она с тонкой улыбкой искала подходящее слово,— более изысканная, более утонченная... Ведь он вращается в совсем особенном кругу!

И она с улыбкой обратилась к Амаро:

— Вы согласны со мной?

Амаро совсем не знал падре Фелиса и плохо помнил падре Лизета.

— Верно, он уже стар, сеньор падре Лизет? — сказал он наудачу.

— Стар? — возразила графиня.— Он отлично сохранился! Сколько в нем жизни, сколько душевного огня!.. Нет, как можно сравнивать! — И, обернувшись к даме, стоявшей у рояля, она спросила:

— Как по-твоему, Тереза?

— Сейчас! — отозвалась Тереза. Она была поглощена разговором.

Только теперь Амаро поглядел на эту даму, и она показалась ему королевой или богиней — высокая, статная, с великолепными плечами и грудью; чуть волнистые волосы оттеняли белизну гордого лица с орлиным профилем Марии-Антуанетты. Черное платье с квадратным вырезом и длинным треном, обшитым черными кружевами, резко выделялось на матово-светлом фоне гостиной. Грудь и руки были покрыты черным газом,

сквозь который просвечивала кожа. Казалось, то была античная статуя из мрамора, оживленная током юной и жаркой крови.

Улыбаясь, она вполголоса говорила что-то на неизвестном Амаро шепелявом языке, то раскрывая, то закрывая черный веер, а красивый блондин слушал, покручивая кончик белокурого уса и глядя на свою собеседницу сквозь квадратное стеклышко монокля.

— А что, народ в вашем приходе верующий, сеньор Амаро? — спрашивала графиня.

— Да, очень; хороший народ.

— Если где еще можно встретить подлинную веру, так только в деревне,— проговорила графиня назидательным тоном и посетовала на тяжкую обязанность жить в городе, в плену современной роскоши: как бы ей хотелось навсегда поселиться в милой усадьбе Каркавелос, молиться в старенькой часовне, беседовать с добросердечными поселянами! В голосе ее слышались растроганные нотки.

Толстощекий юноша посмеивался.

— Бросьте, кузина! Бросьте! Нет! Если бы меня заставили слушать мессу в деревенской часовне, я бы, ей-богу, веру потерял!.. Не понимаю, например, религии без музыки... Представляете себе церковный праздник без хорошего контральто?

— Конечно, с музыкой красивее,— сказал Амаро.

— Еще бы! Совсем другое дело! Искусство придает религии ни с чем не сравнимое cachet[1]. Помните, кузина, того тенора... Как его звали? Да, Видальти. Вспомните, как пел Видальти в великий четверг, в церкви при английском кладбище. Особенно Tantum ergo!

— А мне он больше понравился в «Бале-маскараде»,— возразила графиня.

— Трудно сказать, кузина, трудно сказать!

Красивый блондин подошел пожать руку графине и, улыбаясь, сказал ей что-то вполголоса. Амаро загляделся на его изящную осанку, отметил мягкий взгляд голубых глаз; молодой человек уронил перчатку, и падре Амаро услужливо поднял ее. Когда юноша вышел, Тереза тихо подошла к окну и некоторое время смотрела на улицу, потом небрежно опустилась на кушетку, и фигура ее показалась Амаро еще великолепней.

Томно повернувшись к толстощекому юноше, она сказала:

— Пойдем, Жоан?

---

[1] Изысканность, благородство *(франц.)*.

Графиня заговорила с ней об Амаро:

— Представь себе, падре Амаро рос вместе со мной в Бемфике.

Амаро покраснел: красавица остановила на нем свои прекрасные черные глаза, мерцавшие влажно, как черный атлас, облитый водой.

— Вы служите в провинции? — спросила она, подавив зевок.

— Да, сеньора, только на днях приехал.

— В деревне? — продолжала она, лениво играя веером. На ее тонких пальцах сверкали драгоценные перстни.

Поглаживая ручку зонтика, Амаро ответил:

— В горах, сеньора.

— Вообрази! — горячо заговорила графиня.— Это просто кошмар. Все утопает в снегу, церковь такая бедная, что даже крыша провалилась, кругом одни пастухи. Что-то ужасное! Я просила министра, нельзя ли его перевести оттуда. Ты тоже попроси.

— О чем? — сказала Тереза.

Графиня объяснила, что Амаро подал ходатайство о переводе в приход получше. Потом вспомнила, как ее покойница мать любила Амаро...

— Просто души в нем не чаяла. Как она вас называла? Помните?

— Я не знаю, сеньора.

— Святой Лихорад!.. Забавно, правда? Сеньор Амаро был такой желтенький, вечно пропадал в часовне...

Но Тереза заметила, обращаясь к графине:

— А знаешь, на кого похож сеньор падре Амаро?

Графиня вперила в священника внимательный взор, толстощекий молодой человек поднес к глазам лорнет.

— На того пианиста, что приезжал в прошлом году, правда? Забыла его имя...

— Я помню: Жаллет,— подсказала графиня.— Пожалуй! Только волосы совсем не такие.

— Конечно. У пианиста не было тонзуры!

Амаро покраснел, как рак. Тереза поднялась, волоча свой великолепный шлейф, и села к роялю.

— Вы любите музыку?

— В семинарии нас обучали музыке, сеньора.

Она пробежала пальцами по клавишам — инструмент отозвался глубокими, чистыми звуками — и стала наигрывать мелодию из «Риголетто»: ту арию, напоминающую «Менуэт» Мо-

царта, которую поет в первом действии Франциск I, покидая праздник и прощаясь с госпожой де Креси; в безутешном ритме этой мелодии — отрешенная печаль любви, которой суждено умереть, бессилие рук, которые размыкаются в минуту последнего расставания.

Амаро был в восторге. Эта пышная, облачно-белая зала, страстное звучание рояля, грудь Терезы, снявшая сквозь прозрачную черноту газа, ее царственные косы, купы деревьев в саду аристократического особняка — все это смутно говорило ему об иной, красивой жизни, похожей на роман; в этом незнакомом мире ходят по бесценным коврам, ездят в изящных ландо, покачиваясь на пружинных подушках, упиваются оперными ариями, предаются изысканной меланхолии, вкушают любовь, неведомую другим людям. Утонув в мягком сиденье кушетки, он вспоминал под гармоничные звуки музыки столовую своей тетки, пропахшую луковым соусом, и чувствовал себя нищим, который впервые отведал крема, и силится продлить удовольствие, и думает о том, что скоро ему снова грызть черствые корки и брести по пыльным дорогам.

Между тем Тереза вдруг бросила арию из «Риголетто» и запела старинную английскую песню Гайдна, так проникновенно говорящую о тоске и разлуке:

The village seems dead and asleep
When Lubin is away... [1]

Раздался возглас: «Браво! Браво!» — и в дверях, мягко хлопая в ладоши, появился министр юстиции.— Прекрасно! Великолепно!

— У меня к вам просьба, сеньор Корреа,— сказала Тереза, тотчас встав с табурета.

Министр поспешил к ней, предупредительно и галантно:

— Чем могу служить, милая сеньора?

Граф и господин с роскошными бакенбардами тоже вошли в гостиную, все еще продолжая спорить.

— У нас с Жоаной общая просьба,— сказала Тереза министру.

— Я уже просила вас об этом! Даже два раза! — подтвердила графиня.

— Милые мои сеньоры! — улыбался министр, с довольным видом располагаясь в кресле и поудобнее вытягивая ноги.—

---

[1] Селенье пусто и мертво,
Когда Любина нет... *(англ.)*

Говорите! Требуйте! Что-нибудь очень серьезное? Боже мой, обещаю вам, обещаю торжественно...

— Хорошо! — сказала Тереза, слегка хлопнув его веером по руке.— В таком случае признавайтесь, какие у вас имеются вакантные приходы, только получше?

— А! — воскликнул министр, поняв, в чем дело, и внимательно посмотрел на Амаро; тот съежился и покраснел.

Господин с бакенбардами, стоявший тут же и скромно побрякивавший своими брелоками, выступил вперед и дал нужные сведения:

— Из вакантных приходов самый лучший — Лейрия, главный город округа и центр епископата.

— Лейрия? — повторила Тереза.— Я слышала про Лейрию: там есть какие-то руины?

— Крепость, сеньора, воздвигнутая еще доном Динисом.

— Лейрия нам подойдет!

— Но позвольте, позвольте! — встревожился министр.— Лейрия довольно большой город, резиденция епископа... Сеньор падре Амаро — еще совсем молодой священник...

— Что же из этого, сеньор Корреа! — воскликнула Тереза.— А сами-то вы разве стары?

Министр с улыбкой поклонился.

— Скажи и ты хоть слово! — обратилась графиня к мужу, который нежно почесывал головку попугая.

— По-моему, это излишне; бедный Корреа и так положен на обе лопатки! Кузина Тереза сказала, что он молодой человек.

— Помилуй! — возразил министр.— Не вижу тут особенного преувеличения; не настолько уж я древен...

— Несчастный! — закричал граф.— Вспомни: уже в тысяча восемьсот двадцатом году ты затевал политические заговоры!

— Это был мой отец! Бессовестный клеветник! Это был мой отец!

Все смеялись.

— Итак, сеньор Корреа,— заключила Тереза,— вопрос решен. Падре Амаро назначается в Лейрию.

— Ну, пускай, пускай, сдаюсь,— отвечал министр, махнув рукой,— но имейте в виду: это тирания!

— Thank you [1],— сказала Тереза, протягивая ему руку.

— Сегодня вы неузнаваемы, сударыня,— заметил министр, любуясь ею.

---

[1] Спасибо *(англ.)*.

— Сегодня я счастлива,— отвечала красавица.

Потупив глаза, она рассеянно водила пальцем по своей шелковой юбке, потом подошла к роялю и снова запела нежную английскую песню:

The village seems dead and asleep,
When Lubin is away...

Граф направился к Амаро; священник встал с кресла.

— Все в порядке. Корреа снесется с епископом. Через неделю вы получите назначение. Можете ни о чем не беспокоиться.

Амаро склонился в раболепном поклоне и пробормотал министру, уже стоявшему у рояля:

— Сеньор министр, разрешите поблагодарить вас...

— Благодарите графиню,— ответил с улыбкой министр.

— Сеньора, я стольким вам обязан,— пролепетал Амаро, согнувшись чуть не до земли и приближаясь к доне Жоане.

— О, не мне, а Терезе! Кажется, она хочет заранее получить отпущение.

— Сударыня,— поспешил он к Терезе.

— Помяните меня в своих молитвах, сеньор падре Амаро! — сказала та, и через минуту голос ее снова плакал о том, как грустно в деревне, когда Любина нет!

Через неделю Амаро получил назначение в Лейрию. Но он не мог забыть то утро в доме у графини де Рибамар: министра в модных коротких брюках, который, уютно расположившись в кресле, дает слово, что ходатайство будет удовлетворено; светлый, тихий сад за окном; белокурого юношу, говорящего «yes». В ушах его все еще звучала безутешная ария из «Риголетто»; его преследовало воспоминание о белых руках Терезы, просвечивающих сквозь черные газовые рукава. Он невольно воображал, как эти руки обвиваются вокруг стройной шеи англичанина,— и в эти минуты ненавидел и его, и варварский язык, на котором он говорил, и страну еретиков, откуда он явился; и голова у Амаро шла кругом при мысли, что когда-нибудь он сможет исповедовать эту чудную женщину в интимном полумраке исповедальни и чувствовать прикосновение ее платья к своей люстриновой сутане...

И вот в одно прекрасное утро, вырвавшись из теткиных объятий, Амаро отправился в Санта-Аполлонию в сопровождении слуги-испанца, несшего его баул. День только занимался.

В спящем городе гасли фонари. Лишь изредка, гремя по мостовой, проезжала телега; безлюдные улицы казались необычайно длинными; потом начали появляться, верхом на ослах, первые крестьяне из окрестных деревень; их ноги в забрызганных грязью сапогах болтались у самой земли. То там, то здесь слышались пронзительные голоса мальчишек-газетчиков, и театральные служители, с горшочком клея, торопливо обходили улицы, расклеивая по углам афиши.

Когда он подъезжал к Санта-Аполлонии, солнечные лучи окрасили небо над горами Оутра-Банда в розоватый апельсиновый цвет; неподвижная река простиралась под ним, вся исчерченная стальной сеткой ряби, и белый парус скользил над ней медленно и беззвучно.

IV

На следующий день в городе только и было разговоров что о новом настоятеле собора; все уже знали, что он привез с собой окованный жестью баул, что он худ и высок ростом и зовет каноника Диаса «дорогим учителем».

Приятельницы Сан-Жоанейры из числа самых близких — дона Мария де Ассунсан, сестры Гансозо — в то же утро явились к ней, чтобы «увидеть все своими глазами».

Было девять часов; Амаро уже ушел с каноником. Сан-Жоанейра, сияющая, преисполненная сознания своей значительности, встречала гостей на верхней площадке лестницы. Она даже не успела спустить засученные рукава: ее оторвали от утренней уборки. С великим воодушевлением она описала прибытие молодого священника, похвалила его приятные манеры, пересказала его речи...

— Пойдемте вниз, я хочу, чтобы вы сами посмотрели.

Она показала комнату падре Амаро, окованный жестью баул, полку, на которой он расставил книги.

— Очень хорошо; все устроено очень хорошо,— приговаривали старухи, медленно, почтительно обходя комнату, точно были не в пансионе, а в церкви.

— Плащ дорогой! — заметила дона Жоакина Гансозо, щупая широкие отвороты плаща, висевшего на вешалке.— Да, такой плащ стоит немалых денег!

— Белье у него тоже тонкое, хорошее! — отметила Сан-Жоанейра, приподнимая крышку баула.

Старухи сгрудились над баулом, восхищаясь бельем падре Амаро.

— А мне нравится, что он молодой,— благолепно вздохнула дона Мария де Ассунсан.

— Мне тоже,— веско поддержала дона Жоакина Гансозо.— А то куда это годится: приходишь исповедоваться и видишь коричневую от табака соплю,— вспомните Рапозо! Фу, гадость! А этот мужлан Жозе Мигейс! Нет, при молодом священнике и умирать веселей.

Сан-Жоанейра между тем демонстрировала прочие диковины, которыми владел ее новый жилец: распятие, завернутое в старую газету, альбом с фотографиями, в котором на первом листе красовался портрет папы римского, раздающего благословение верующим. Старухи млели от восторга.

— Чего еще желать! — твердили они.— Чего еще желать!

Перед уходом они истово расцеловались с Сан-Жоанейрой и поздравили ее с таким почетным постояльцем: ведь дав приют соборному настоятелю, она стала важным лицом в городе, чем-то вроде причетницы собора.

— Приходите вечером! — крикнула она с верхней ступеньки лестницы, провожая посетительниц.

— Придем! — откликнулась дона Мария де Ассунсан, уже открывая дверь на улицу и плотнее запахивая на груди кружевную мантилью.— Придем!.. Надо хорошенько его рассмотреть!

В полдень явился Либаниньо, самый неутомимый ханжа во всей Лейрии; еще на лестнице он закричал тонким фальцетом:

— Можно к тебе, Сан-Жоанейра?

— Входи, Либаниньо, входи! — отвечала Сан-Жоанейра, сидевшая с шитьем у окна.

— Что, новый соборный уже здесь, а? — любопытствовал Либаниньо, просовывая в дверь столовой свое пухлое, желтое лицо, увенчанное лысиной; затем, мелким шажком, виляя бедрами, засеменил к окну.

— Ну, каков он из себя? Хорош? Обходителен?

Сан-Жоанейра снова принялась расхваливать падре Амаро: его молодость, благостный вид, белые зубы...

— Ах он голубчик! Ах он голубчик! — восторгался Либаниньо, исходя благочестивым умиленьем.— Жаль, нельзя побыть у тебя подольше! Пора в контору... Прощай, душенька, надо бежать! — И он похлопал Сан-Жоанейру своей пухлой ручкой по плечу.— А ты с каждым днем все аппетитней!.. Знай, неблагодарная, что я читал за тебя «Славься, небесная владычица», как ты просила.

Вошла служанка.

— До свиданьица, Русинья! Что это ты все худеешь? Помолись-ка поусердней нашей матушке, небесной заступнице.

Тут он заметил через приоткрытую дверь Амелию:

— Ай, Мелинья, экий ты симпомпончик! Вот бы мне вдвоем с такой молитвенницей душу спасать!

И, суетясь, юля, визгливо покашливая, он начал спускаться по лестнице, а в дверях еще раз пропищал:

— До свиданьица, до свиданьица, девочки!

— Слушай, Либаниньо, приходи сегодня вечером!

— Ох, душенька, не могу! Невозможно! — пропел Либаниньо слезливой фистулой,— ведь завтра святая Варвара: надо раз шесть, не меньше, прочитать «Отче наш»!

Амаро вместе с каноником Диасом нанес визит декану капитула и вручил ему рекомендательное письмо от графа де Рибамар.

— Я был близко знаком с графом де Рибамар,— сказал декан,— мы часто встречались в сорок шестом году, в Порто. Можно сказать, старые друзья! Я служил тогда в соборе святого Илдефонсо; быстро годы летят!

И, усевшись в старое парчовое кресло, он стал с удовольствием вспоминать молодость: рассказывал анекдоты из истории Жунты, нарисовал портреты нескольких выдающихся личностей того времени, изобразил в лицах их разговоры (его преподобие был великий мастер подражать чужим голосам), рассказал об их смешных привычках, чудачествах — особенно хорошо у него получался Мануэл Пассос: как он расхаживал по Новой площади в узком сером сюртуке и широкополой шляпе, восклицая: «Мужайтесь, патриоты! Шавьер стоит насмерть!»

Священники смеялись до упаду. Визит прошел удивительно тепло и сердечно. Амаро ушел из епископской резиденции весьма польщенный.

Он отобедал у каноника Диаса, затем оба пошли прогуляться по шоссе на Марразес. Над полями стоял светлый, чуть подернутый дымкой день. Все вокруг — и холмы, и голубое небо — дышало покоем и миром. Белесый дым тянулся вверх над крышами хуторов, меланхолично позвякивали бубенцы возвращавшегося с пастбища стада. Амаро остановился у моста и сказал, окидывая взглядом этот приветливый пейзаж:

— Кажется, мне будет здесь хорошо.

— Преотлично! — подтвердил каноник, втягивая в ноздрю понюшку табака.

Было около восьми, когда они подошли к дому Сан-Жоанейры.

Ее старые приятельницы уже были в сборе и поджидали обоих священников в столовой. Амелия шила при свете керосиновой лампы.

Дона Мария де Ассунсан нарядилась в свое парадное платье черного шелка; ее рыжеватый шиньон был украшен черными кружевами; костлявые руки в митенках, сверкая перстнями, важно покоились на коленях. От приколотой у шеи броши до самого пояса свисала массивная золотая цепочка. Держалась дона Мария церемонно и очень прямо, слегка склонив голову набок; на ее горбатом носу сверкали золотые очки; из бородавки на щеке торчал пучок волос; когда речь заходила о церковных обрядах или чудесах, она дергала головой и в безмолвной улыбке приоткрывала огромные желтые зубы, сидевшие в деснах, как вбитые в дерево железные клинья. Она была вдова, очень богата и страдала хроническим насморком.

— Познакомьтесь с нашим новым соборным настоятелем, дона Мария,— сказала ей Сан-Жоанейра.

Та привстала и сделала проникновенный реверанс.

— Вот обе сеньоры Гансозо, вы, конечно, слышали это имя,— продолжала Сан-Жоанейра, обращаясь к своему постояльцу.

Амаро застенчиво поздоровался. Дамы Гансозо были сестрами; по слухам, у них водились деньги, но все же они пускали к себе жильцов. Старшая, дона Жоакина Гансозо, была сухопарая особа с огромным лбом, быстрыми глазками, острым носом закорючкой и узкими губами. Завернувшись в шаль, скрестив руки, она сидела прямо, точно аршин проглотила, и беспрестанно говорила пронзительным, напористым голосом. Она дурно отзывалась о мужчинах и уверяла, что безраздельно отдала себя служению церкви. Ее сестра, толстая дона Ана, была туга на ухо, а потому в разговоре не участвовала, почти не поднимала глаз и все время неторопливо крутила большими пальцами. В своем неизменном черном платье в желтую полоску, с горностаевой горжеткой на шее, она дремала весь вечер, напоминая время от времени о своем присутствии шумными вздохами. В городе говорили, что она безнадежно влюблена в почтмейстера. Ей сочувствовали от души; кроме этого, она славилась умением вырезывать бумажные кружевные салфеточки для подносов со сластями.

Была тут и сеньора дона Жозефа, сестра каноника Диаса. В городе ей дали прозвище «Жареный каштан». Это было сухонькое крючкообразное создание, со сморщенным желтым личиком и свистящим голосом. Она постоянно пребывала в состоянии глухого бешенства, глазки ее злобно горели, тощее тело, насквозь пропитанное желчью, то и дело дергалось от раздражения. Ее боялись. Местный вольнодумец Годиньо называл ее дом «городской конторой сыска и оповещения».

— Значит, вы сегодня нагулялись всласть, сеньор священник? — тотчас же спросила она, выпрямившись.

— Мы дошли почти до конца шоссе,— ответил каноник, тяжело опускаясь в кресло позади Сан-Жоанейры.

— Понравились вам здешние места? — поддержала разговор дона Жоакина Гансозо.

— Очень понравились.

Поговорили о живописных уголках Лейрии, о местных красотах. Сеньора дона Жозефа больше всего любила аллею на берегу реки; она слышала, что даже в Лиссабоне нет подобных видов. Дона Жоакина Гансозо предпочитала пейзаж, открывающийся сверху, от церкви Благовещения.

— Оттуда виден весь город.

Амелия, улыбнувшись, сказала:

— А я больше всего люблю гулять у моста, под плакучими ивами! — и, перекусив зубами нитку, прибавила: — Такое грустное, задумчивое место!

Амаро посмотрел на нее в первый раз за этот вечер.

На Амелии было синее облегающее платье; аккуратный отложной воротничок охватывал ее шею, между свежими губами то и дело поблескивали зубы; в уголках рта, как показалось Амаро, темнел тонкий, нежный пушок.

Наступило короткое молчанье; каноник Диас, распустив толстые губы и полузакрыв глаза, уже начинал дремать.

— Что это нигде не видно падре Брито? — спросила дона Жоакина Гансозо.

— Верно, мучается мигренью, бедный,— предположила дона Мария де Ассунсан жалостливым голосом.

Тут какой-то молодой человек, молча сидевший возле буфета, сказал:

— Я видел его сегодня: он ехал верхом в сторону Барозы.

— Странно! — немедленно и едко отозвалась дона Жозефа Диас.— Как это вы умудрились его заметить?

— А почему бы мне его не заметить, любезная сеньора? — отвечал молодой человек, вставая и направляясь к кружку старух.

Он был высок ростом, белолиц, одет во все черное. На правильном, чуть утомленном лице ярко выделялись тонкие черные усы, свисавшие по обе стороны рта; молодой человек имел привычку покусывать зубами их загнутые книзу кончики.

— Еще спрашивает! — воскликнула дона Жозефа Диас.— Ведь вы даже не изволите с ним раскланиваться!

— Я?!

— Он сам рассказывал,— отрезала дона Жозефа, затем прибавила: — Ах, сеньор падре Амаро, придется вам заняться сеньором Жоаном Эдуардо, вернуть его на путь истинный! — и злобно хихикнула.

— А я, по-моему, вовсе не на плохом пути,— ответил молодой человек, улыбаясь и не вынимая рук из карманов. Глаза его то и дело обращались к Амелии.

— Полно вам зубы скалить! — вмешалась дона Жоакина Гансозо.— Ведь вспомнить страшно, что вы давеча говорили про святую из Аррегасы. Нет, кто такое слово вымолвил, тому на небе не бывать!

— Вот как! — встрепенулась сестра каноника, резко поворачиваясь к Жоану Эдуардо.— Что же такое вы сказали про святую? Может быть, что она шарлатанка?!

— Иисусе, какой грех! — ахнула дона Мария де Ассунсан, всплескивая руками и устремляя на Жоана Эдуардо взгляд, полный благочестивого ужаса.— Неужели он сказал это? Святители божии!

— Нет, нет! — с глубокой серьезностью вмешался каноник, сразу проснувшись и развертывая свой красный носовой платок.— Нет, нет! Сеньор Жоан Эдуардо не мог сказать ничего подобного.

Амаро спросил:

— А кто такая эта святая из Аррегасы?

— Как! Неужели вы о ней не слышали, сеньор настоятель? — с глубоким удивлением вскричала дона Мария де Ассунсан.

— Конечно, он слышал! — возразила дона Жозефа не допускающим возражений тоном.— Даже лиссабонские газеты о ней шумят!

— Надо признать, это женщина необыкновенная,— вдумчиво и глубокомысленно произнес каноник.

Сан-Жоанейра бросила вязанье, сняла очки и сказала:

— Ах, сеньор падре Амаро, не умею вам объяснить... только это действительно чудо из чудес!

— Еще бы не чудо! Еще бы не чудо! — запричитали старухи. Благочестивое волнение охватило гостей.

— Что же это за чудо? — полюбопытствовал Амаро.

— Судите сами, сеньор настоятель,— торжественно начала дона Жоакина Гансозо, выпрямляясь и плотнее завертываясь в шаль,— святая живет совсем недалеко, в соседнем приходе; уже двадцать лет она не встает с постели...

— Двадцать пять,— поправила вполголоса дона Мария де Ассунсан, слегка ткнув рассказчицу веером в плечо.

— Двадцать пять? Не знаю, сеньор декан говорил: двадцать.

— Двадцать пять, двадцать пять,— подтвердила Сан-Жоанейра; каноник поддержал ее, несколько раз внушительно кивнув головой.

— Она вся парализована, сеньор настоятель! — перебила ее дона Жозефа; ей не терпелось завладеть разговором.— Кажется, в чем только душа держится? Ручки худенькие-прехуденькие, не толще вот этого! — Она показала свой мизинец.— А когда говорит, надо прижать ухо к самым ее губам, а то ничего не слышно!

— Пищи не принимает! Чистой благодатью божьей питается! — заныла дона Мария де Ассунсан.— Бедняжка! Подумать страшно!

Старухи в волнении умолкли.

Тогда Жоан Эдуардо, стоявший позади старух, заложив руки в карманы, сказал, улыбаясь и покусывая ус:

— Поверьте, сеньор падре Амаро, врачи знают, что говорят: у этой женщины просто-напросто нервное заболевание.

Столь явное безбожие привело в неописуемый ужас старых святош. Дона Мария де Ассунсан в испуге осенила себя крестным знамением.

— Бога вы не боитесь! — закричала дона Жозефа Диас.— Рассказывайте гадости кому угодно, только не нам! Это оскорбительно!

— За это может молнией поразить! — растерянно озираясь, бормотала дона Мария де Ассунсан; она испугалась не на шутку.

— Я же говорю! — кричала дона Жозефа Диас.— Этот господин не верит в бога, не почитает святынь! — И, повернув-

шись к Амелии, она прошипела: — Знаешь, милочка, я бы подумала. прежде чем выходить за такого замуж!

Амелия вспыхнула; Жоан Эдуардо, тоже покраснев, насмешливо поклонился:

— Я говорю лишь то, что слышал от врачей. А насчет прочего... Поверьте, ни к кому из вашей почтенной семьи я свататься не намерен! Даже к вам, сеньора дона Жозефа!

Каноник захохотал довольно грубо.

— Тьфу! Пакостник! — взвизгнула в бешенстве дона Жозефа.

— Но какие же чудеса совершает святая? — спросил падре Амаро, чтобы унять разгоревшиеся страсти.

— Всякие, сеньор падре Амаро! — ответила дона Жоакина Гансозо.— Она не встает с постели, но знает молитвы от всех напастей; за кого ни помолится, на того нисходит благодать божия; народ к ней так и валит, она может исцелить от всякой болезни. А когда ее причащают, она приподнимается над постелью, и тело ее само держится на воздухе, а глаза смотрят на небо, даже, знаете, мороз по коже подирает...

В этот момент новый голос произнес в дверях:

— Мир честной компании! Ба, сегодня тут собрались сливки общества!

Голос этот принадлежал необыкновенно длинному молодому человеку с желтым, худым лицом, кудреватым начесом на лбу и усами а-ля Дон-Кихот. Когда он улыбался, во рту его на месте передних зубов зияла темная дыра. В глубоко сидящих, обведенных синими кругами глазах тускло светилась какая-то баранья меланхолия. В руках он держал гитару.

— Ну, как ваши дела? — спросили его хором.

— Плохо,— уныло ответил он, садясь.— Боли в груди, кашель.

— Значит, рыбий жир не помогает?

— Э! — Он безнадежно махнул рукой.

— Я знаю, что вам нужно! — заявила дона Жоакина Гансозо.— Поезжайте на Мадейру!

Он захохотал с неожиданной веселостью.

— Поехать на Мадейру! Славно придумали, дона Жоакина Гансозо! Вы умеете пошутить! Вот так совет чиновнику, который на восемнадцать винтенов в день кормит жену и четверых детей... На Мадейру!

— Как поживает милая Жоанита?

— А что ей делается! Слава богу, здорова. Толстеет, аппетит отличный. Вот дети, особенно двое старших, те болеют. Да

еще и прислуга свалилась; лежит, головы не поднимает. Уж одно к одному! Что поделаешь? Надо терпеть! Надо терпеть! — заключил он и пожал плечами.

Затем он вдруг повернулся к Сан-Жоанейре и хлопнул ее по колену:

— Как живете-можете, матушка игуменья?

Все засмеялись, а дона Жоакина Гансозо объяснила новому священнику, что молодого человека зовут Артур Коусейро, что он завзятый остряк и обладатель прекрасного тенора: никто в городе не поет романсы лучше него.

Руса принесла на подносе чай. Сан-Жоанейра, разливая его, приговаривала:

— Идите к столу, милые мои, чай крепкий, душистый! Брала в лавке у Соузы...

Артур подносил дамам сахарницу, каждый раз повторяя свою неизменную шутку:

— Если кисловато, подбавьте соли!

Старухи прихлебывали чай с блюдца мелкими глоточками и заботливо выбирали себе самые поджаристые сухарики. Некоторое время в столовой слышался сосредоточенный хруст; чтобы уберечь платья, гостьи предусмотрительно разложили на коленях носовые платки.

— Не хотите ли сладкого, сеньор падре Амаро? — сказала Амелия, подавая ему блюдо со сластями.— Все самое свежее, только что из кондитерской.

— Благодарствуйте.

— Возьмите вот это. Называется «небесный клубочек».

— Ну, если небесный...— ответил он с улыбкой и, не отрывая от Амелии глаз, взял кончиком пальцев сладкий шарик.

После чая сеньор Артур обычно не отказывался что-нибудь спеть. На рояле, возле пюпитра с открытыми нотами, горела свеча. Как только Руса унесла поднос, Амелия пробежала пальцами по пожелтевшим клавишам.

— Что же будем сегодня петь? — спросил Артур.

Посыпались заказы:

— «Вольный стрелок»! «Любовь за могилой»! «Неверный»! «Навеки»!

Каноник Диас проговорил в своем углу сонным голосом:

— Нет, Коусейро, лучше спой: «Дядя Козме, ух, плутяга»!

Дамы запротестовали:

— Фи! Уж вы придумаете, сеньор каноник! Что за идея?

Дона Жоакина Гансозо вынесла решение:

— Все это вздор. Спойте что-нибудь чувствительное, чтобы сеньор падре Амаро мог оценить ваш талант.

— Да! Да! — подхватили все хором.— Да, Артур, что-нибудь чувствительное!

Артур прокашлялся, сплюнул в платок, изобразил на своем лице глубокую меланхолию и запел:

Прощай, мой ангел! Расстаюсь с тобою...

Это был романс «Прощай», песня романтического пятьдесят первого года. В ней говорилось о расставании влюбленных в лесу пасмурным осенним вечером; герой, внушивший роковую страсть, бродил, отверженный людьми, по берегу моря, и волосы его развевались на ветру; в романсе фигурировала также одинокая могила в дальнем краю и девы в белых одеждах, приходившие плакать над ней при лунном свете...

— Ах, как красиво! Какая красота! — вздыхали слушатели.

Артур пел с чувством, со слезой; но в промежутках, пока шел аккомпанемент, он улыбался на все стороны, и в зиявшей у него во рту яме мелькали остатки гнилых зубов. Немного взволнованный грустной мелодией романса, падре Амаро курил, стоя у окна, и смотрел на Амелию; она сидела против света, и ее тонкий профиль был как бы обведен светящейся чертой, мягко круглившейся на груди; Амаро следил не отрываясь за плавным движением ее ресниц; они то поднимались, когда девушка взглядывала на ноты, то опускались, когда она переводила глаза на клавиатуру. Жоан Эдуардо стоял рядом и перевертывал страницы.

Но вот Артур, прижав одну руку к груди и воздев другую вверх полным страсти и скорби жестом, пропел последнюю строфу:

Когда-нибудь от этой жизни горькой
Я отдохну под каменной плитой.

— Браво! Браво! — закричали со всех сторон.

А каноник Диас тихонько сказал молодому коллеге:

— Да! В чувствительном роде он не имеет себе равных!

Потом зевнул во весь рот:

— Признаться, у меня в животе весь вечер крабы дерутся.

Наступило время садиться за лото. Каждый выбрал свои излюбленные карточки; дона Жозефа Диас, поблескивая скупыми глазками, возбужденно трясла мешком с бочонками.

— Садитесь здесь, сеньор падре Амаро,— сказала ему Амелия, указывая на стул рядом с собой. Он заколебался; но

остальные отодвинулись, освобождая ему место, и он сел, слегка краснея и застенчиво кладя в банк свой взнос.

Вскоре воцарилась напряженная тишина. Каноник начал сонным голосом выкликать номера. Дона Ана Гансозо спала в углу, слегка похрапывая.

Лампа была затенена абажуром, и головы играющих оставались в полутьме; зато в ярком кругу света, на темной скатерти, четко выделялись карточки, замусоленные от частого употребления, и костлявые руки старух, перебиравшие стеклянные фишки. На открытом рояле оплывала свеча, горя ровным, прямым пламенем.

Каноник выкликал номера, сопровождая каждую цифру привычными и тем более почтенными прибаутками: номер один, кабанья голова! Тройка на десерт!

— Требуется двадцать первый! — вздыхал чей-то голос.

— У меня ряд закрылся! — радостно сообщал другой.

Сестра каноника лихорадочно бормотала:

— Получше перемешивай, получше! Ну!

— До зарезу нужен сорок седьмой! Тащите его сюда, хоть волоком, а тащите! — молил Артур Коусейро, обхватив голову руками.

Каноник, первым из играющих, закрыл свою карту. Амелия обвела взглядом столовую и воскликнула:

— А вы что же, сеньор Жоан Эдуардо? Где вы?

Жоан Эдуардо появился из темноты — он стоял у окна, скрытый портьерой.

— Возьмите хоть вот эту карту и садитесь с нами.

— И кстати, соберите взносы, раз вы все равно на ногах,— сказала Сан-Жоанейра,— будьте нашим казначеем!

Жоан Эдуардо обошел всех игроков с фарфоровой тарелочкой. При подсчете обнаружилось, что не хватает десяти рейсов.

— Я положила! Я положила! — восклицали взволнованные старухи.

Виновницей переполоха была сестра каноника: она даже не подумала трогать свои медяки, сложенные в виде пирамидки. Жоан Эдуардо сказал, наклонившись к ней:

— Сеньора дона Жозефа, вы, кажется, забыли сделать взнос.

— Я?! — воскликнула она, сразу вскипев.— Да как вы смеете? Я первая положила деньги! Ах вы... Две монеты по пять рейсов, да будет вам известно! Хорош молодец!

— А, ну простите,— отвечал он,— значит, это я забыл положить деньги. Вот они!

И пробормотал про себя: «Ханжа и в придачу воровка!»

А сестра каноника говорила вполголоса доне Марии де Ассунсан:

— Видали? Каков гусь! Хотел увильнуть от взноса. А все оттого, что бога не боится.

— Больше всех не везет сеньору настоятелю, заметил кто-то.

Амаро улыбнулся. Он устал и был рассеян, иногда даже забывал закрыть фишкой выпавший номер, и Амелия говорила, прикоснувшись к его локтю:

— Вы не положили фишку, сеньор падре Амаро!

У обоих были уже закрыты два ряда; обоим не хватало для выигрыша номера тридцать шесть.

Сидящие рядом заметили это.

— Может получиться, что вы оба сейчас выиграете,— заметила дона Мария де Ассунсан, обволакивая их слащаво-умиленным взглядом.

Но тридцать шестой не выходил. На чужих карточках заполнялись все новые ряды. Амелия уже не на шутку боялась, что выиграет дона Жоакина Гансозо, которая возбужденно ерзала на стуле, требуя сорок восьмого номера. Амаро смеялся, невольно поддавшись общему увлечению.

Каноник вынимал бочонки из мешка нарочито медленно, с напускным хладнокровием.

— Ну! Ну же! Давайте скорей, не томите, сеньор каноник! — стонали вокруг.

Амелия, навалившись на стол и блестя глазами, взволнованно шептала:

— Я бы все на свете отдала, чтобы вышел тридцать шестой!

— Да? А вот как раз и он... Тридцать шесть! — возгласил каноник.

— Мы кончили! — торжествующе закричала Амелия, вся раскрасневшись от радости и гордости, и подняла обе карточки, свою и Амаро, чтобы ни у кого не осталось сомнений.

— Что ж, дай вам бог! — весело сказал каноник и высыпал из тарелочки на стол все десятирейсовые монеты.

— Оба сразу! Да это просто чудо! — благочестиво ахала дона Мария де Ассунсан.

Но уже пробило одиннадцать. Кончилась последняя партия, и старухи начали собираться восвояси. Амелия села за фортепьяно, чтобы на прощанье сыграть польку. Жоан Эдуардо подошел к ней и сказал, понизив голос:

— Поздравляю с двойным выигрышем. Сколько было радости!

Она собиралась ответить, но он бросил:

— Спокойной ночи! — и сердито запахнул плед.

Руса светила гостям. Старухи, тщательно закутываясь в пелерины, пищали: «До свиданья! До свиданья!» Сеньор Артур бренчал на гитаре, напевая романс «Неверный».

Амаро ушел к себе и стал молиться по своему требнику. Но он то и дело отвлекался; перед ним вновь и вновь возникали лица старух, гнилые зубы Артура и, чаще всего, профиль Амелии. Сидя на краю кровати с открытой книжкой в руках и глядя на огонь лампы, он видел ее прическу, маленькие смуглые руки с исколотыми иглой пальцами, нежный пушок в уголках губ...

После обеда у каноника и игры в лото он чувствовал тяжесть в голове; к тому же от крабов и портвейна ужасно хотелось пить. Он вспомнил, что в столовой стоит пузатый эстремосский кувшин со свежей водой из родника в Моренале. Амаро надел ночные туфли, взял подсвечник и тихонько поднялся по лестнице. В столовой горел свет, портьера была задернута; Амаро отодвинул ее и, ахнув, отступил. Там, в кругу света, падавшего от лампы, стояла Амелия в нижней юбке и распускала шнуровку на корсете. Сорочка с глубоким вырезом и короткими рукавчиками едва прикрывала ее белые руки и красивую грудь. Она тоже тихонько вскрикнула и скрылась в своей комнате.

Амаро замер на месте, как громом пораженный; на лбу его выступил пот. Что, если его заподозрят в оскорбительных намерениях? Сейчас из-за этой двери, на которой все еще колышется портьера, полетят гневные обличения!

Но голос Амелии спокойно спросил:

— Что вы хотели, сеньор падре Амаро?

— Мне бы стакан воды...— пробормотал он.

— Уж эта Руса! Все-то она забывает! Извините, сеньор настоятель. Рядом со столом стоит кувшин. Нашли?

— Да, да, вижу.

Наполнив стакан, он медленно сошел вниз по лестнице; рука его дрожала, вода лилась по пальцам.

Он лег, не помолившись. Глубокой ночью Амелия услышала в комнате внизу беспокойные шаги: накинув халат, падре Амаро нервно ходил из угла в угол и курил сигарету за сигаретой.

V

Амелия тоже не спала. На комоде мигала лампадка, распространяя едкий чад; белела упавшая на пол нижняя юбка; глаза кота, беспокойно бродившего по комнате, горели в темноте зеленоватым, фосфорическим огнем.

В соседнем доме плакал ребенок. Амелия слышала, как мать унимает его, как скрипит, покачиваясь, колыбель и женский голос тихо напевает:

Спи, усни, мое дитя,
Мама за водой ушла...

Это пела несчастная Катарина, прачка, которую лейтенант Соуза бросил с грудным ребенком на руках, снова беременную, а сам уехал в Эстремос и женился! Когда-то она была беленькая, хорошенькая девушка, а теперь так высохла, что не узнать — кожа да кости.

Спи, усни, мое дитя,
Мама за водой ушла...

Как памятен Амелии мотив песни! Когда ей было семь лет, ее мать долгими зимними ночами пела эту колыбельную маленькому братцу, который потом умер.

Амелия помнила все, как вчера. Они жили тогда в другом доме, на Лиссабонском шоссе; под самым окном ее комнаты росло лимонное дерево, и среди его блестящей лаковой листвы мать развешивала на солнышке пеленки маленького Жоанзиньо. Отца своего Амелия не помнила. Он был офицером и умер совсем молодым; мать до сих пор вздыхает, вспоминая его статную фигуру, затянутую в кавалерийский мундир. Когда Амелии исполнилось восемь лет, она стала ходить к учительнице. Эти впечатления были совсем свежи в ее памяти! Учительница была полная, чистенькая старушка, бывшая повариха женского монастыря святой Жоаны в Авейро. Приладив на носу круглые очки, она сидела у окна, энергично работала иглой и рассказывала истории из монастырской жизни: про упрямую сестру казначейшу, вечно ковырявшую чем-нибудь в своих испорченных зубах; про мать привратницу, ленивую и флегматичную особу с миньотским акцентом; про руководительницу хора, утверждавшую, что происходит из рода Тавора, большую почитательницу Бокаже; а в заключение — легенду о монахине, умершей от любви; ее призрак бродил в иные ночи

по монастырским коридорам, повторяя с горестными стенаниями роковое имя: «Аугусто! Аугусто!»

Амелия слушала эти рассказы, затаив дыхание. Ей так нравились пышные церковные празднества, она так любила слушать жития святых и молиться, что даже задумала стать монашенкой, «хорошенькой-прехорошенькой, в белом-пребелом покрывале».

У маменьки постоянно бывали в доме священники. Декан Карвальоза приходил к ним ежедневно; Амелия прекрасно помнила этого коренастого, пожилого священника, который говорил в нос и тяжело дышал, поднявшись по лестнице.

Он был другом дома, и Амелия называла его «крестным». Когда девочка возвращалась от учительницы, он уже сидел в гостиной, расстегнув подрясник, под которым виднелся черный бархатный жилет, расшитый желтыми цветочками. Сеньор декан интересовался, хорошо ли она выучила уроки, и спрашивал таблицу умножения.

По вечерам собирались гости: падре Валенте, каноник Крус и один лысый старичок в синих очках, с воробьиным профилем; когда-то он был францисканским монахом, и все звали его «брат Андре».

Приходили маменькины приятельницы со своим вязаньем, а также капитан пехотных егерей Коусейро; у него были желтые от табака пальцы; он всегда приносил с собой гитару. Но в девять часов девочку отправляли спать. Из-за стены слышались голоса, сквозь дверную щель пробивалась полоска света. Потом голоса стихали, и капитан, бренча на гитаре, пел лунду.

Амелия росла среди священников. Некоторых она недолюбливала, особенно падре Валенте, жирного, всегда потного старика; руки у него были мягкие, толстые, с обгрызенными ногтями! К тому же он любил, раздвинув ноги, ставить ее у себя между колен и теребить за ухо, и она не могла увернуться от его дыхания, пропитанного запахом лука и табака. Зато с худощавым каноником Крусом Амелия дружила: седой как лунь, опрятный, в начищенных до ослепительного блеска башмаках, он входил тихо и скромно, сверкая пряжками, прижимая в знак приветствия руку к груди, и всегда говорил что-нибудь приятное своим мягким, слегка пришепетывающим голосом. Амелия к тому времени уже знала катехизис и закон божий. И на уроках и дома по всякому поводу ей твердили: «Боженька накажет». Бог для нее был существом, которое насылает болезни и смерть, и потому его надо беспрестанно

умилостивлять постами, мессами, частыми молебствиями и всячески угождать его служителям. И если ей случалось заснуть, не дочитав «Славься, владычица», она на другой же день приносила покаяние из боязни, что бог нашлет на нее лихорадку или устроит так, чтобы она споткнулась и упала с лестницы.

Самое радостное время в ее жизни наступило, когда ее начали обучать музыке. В углу столовой стояло старенькое фортепьяно, накрытое зеленой тканью. Инструмент был вконец расстроен и использовался большей частью как посудный стол. Амелия, бегая по комнатам, любила напевать; ее тоненький свежий голосок нравился сеньору декану, а маменькины приятельницы твердили:

— Рояль все равно стоит без дела, почему бы не поучить девочку музыке? Приятно, когда барышня музицирует. Когда-нибудь пригодится!

Декан знал хорошего учителя, бывшего органиста из собора в Эворе, убитого горем старика: его единственная дочь-красавица сбежала в Лиссабон с каким-то офицериком. Два года спустя Сильвестре с Базарной площади, часто бывавший в столице, видел ее на Северной улице в компании английских моряков, одетую в пунцовую гарибальдийку и с подбитым глазом. Старик впал в глубокую тоску, а потом и обнищал. Его устроили из жалости на маленькую должность в канцелярии епископа. По внешности старый органист напоминал неудачника из плутовского романа. Он был страшно худ, страшно высок, волос не стриг, и они свисали до плеч тонкими, белыми прядями; воспаленные глаза постоянно слезились. Но у него была трогательная улыбка — кроткая и добрая, и он казался всегда таким прозябшим в своей короткой пелерине винного цвета, отделанной барашковым воротником! За высокий рост и худобу, а также за грустный и задумчивый вид ему дали кличку «дядя Аист».

Однажды Амелия нечаянно назвала его так и сейчас же прикусила губу, ужасно смутившись.

Старик улыбнулся.

— Ничего, милое дитя, ничего. Можешь звать меня «дядей Аистом»... Что тут плохого? Аист и есть!

В ту зиму не переставая дул юго-западный ветер и лили дожди; холод и сырость замучили бедняков. Много голодающих семей обращались в епископскую канцелярию за хлебом. Дядя Аист приходил давать урок в полдень; с его синего зонта стекали на лестницу струйки воды; он дрожал от холода, и

когда садился, то стыдливо прятал от глаз хозяйки ноги в продранных, намокших башмаках. Он жаловался, что у него стынут пальцы и из-за этого он не может попасть на нужную клавишу и даже писать в конторе.

— Руки костенеют...— грустно говорил он.

Когда Сан-Жоанейра заплатила ему за первый месяц занятий, старик купил толстые шерстяные перчатки.

— Как славно, дядя Аист! Теперь вам тепло! — радовалась Амелия.

— Я купил их на ваши деньги, милое дитя. Теперь буду копить на шерстяные носки. Благослови вас бог, милое дитя!

На глазах его выступили слезы. С того дня Амелия стала «его дорогим маленьким другом». Старик посвящал ее во все свои дела: делился своими заботами, говорил, как тоскует по дочери, описывал день своей славы, когда в бытность соборным органистом в Эворе он при самом сеньоре архиепископе, облаченном в алую мантию, аккомпанировал хору, исполнявшему «Laus perenne» [1].

Амелия не забыла про носки для дяди Аиста и попросила декана подарить ей пару мужских шерстяных носков.

— Что такое? На что тебе мужские носки? — спросил он, расхохотавшись.

— Мне нужны шерстяные носки, крестненький!

— Не слушайте ее, сеньор декан! — сказала Сан-Жоанейра.— Что это еще за выдумки?

— Нет, слушайте, слушайте! Мне нужны носки! Вы не откажете, правда?

Девочка обвила руками шею крестного, глядя на него умильными глазками.

— Ах, маленькая сирена! — смеялся декан.— Ты подаешь надежды! Из нее выйдет настоящий демон!.. Хорошо, будут тебе носки.— И он дал ей два пинто на покупку.

На следующий день носки уже лежали наготове, завернутые в бумагу, на которой было надписано самым красивым почерком: «Моему дорогому дяде Аисту от любящей ученицы».

Несколько дней спустя учитель появился у них еще более желтый и осунувшийся, чем всегда.

— Дядя Аист,— вдруг спросила Амелия,— сколько вам платят в конторе?

Старик улыбнулся.

---

[1] Вечная хвала *(искаж. лат.)*.

— Сколько мне платят, милое дитя? Очень мало. Четыре винтена в день. Но сеньор Нето немного помогает мне...

— А вам хватает четырех винтенов?

— Куда там! Разве этого может хватить?

Послышались шаги матери. Амелия приняла позу прилежной ученицы и начала старательно и громко выводить свои сольфеджио.

Когда учитель ушел, девочка пристала к матери и упрашивала ее до тех пор, пока она не согласилась кормить дядю Аиста завтраком и обедом в те дни, когда он приходил на урок. Постепенно между девочкой и старым музыкантом установилась самая задушевная близость. Бедный дядя Аист, живший в безотрадном одиночестве, пригрелся в тепле нежданной дружбы. Общение с Амелией заменяло ему женскую ласку, которую так ценят старые люди; здесь он нашел и трогательную заботу, и мягкие переливы голоса, и предупредительность сестры милосердия; Амелия была единственной почитательницей его таланта; она с глубоким интересом слушала его рассказы о прежних временах, о древнем эворском соборе, так горячо им любимом; всякий раз, когда речь заходила о какой-нибудь религиозной процессии или церковном празднике, старик вздыхал:

— Нет, вот в Эворе!.. Там все иначе!

Амелия занималась музыкой усердно: это было самое лучшее, самое возвышенное в ее жизни; она уже знала несколько контрадансов и песен старинных композиторов. Дона Мария де Ассунсан удивлялась, почему учитель не разучивает с ней арии из «Трубадура».

— Красивая вещь! — говорила она.

Но дядя Аист знал только классическую музыку, наивные и нежные песни Люлли, забытые менуэты, цветистые, полные благочестия мотеты добрых католических времен.

В одно прекрасное утро дядя Аист заметил, что Амелия бледна и невесела. Она со вчерашнего вечера жаловалась на нездоровье. День был хмурый и очень холодный. Старик хотел было уйти.

— Нет, нет, дядя Аист,— возразила она,— лучше поиграйте.

Он снял пелерину, сел и сыграл какую-то простую, но необыкновенно грустную мелодию.

— Как это хорошо! Как хорошо! — твердила Амелия, стоявшая у рояля.

Когда пьеса кончилась, девочка спросила:

— Что вы играли?

Дядя Аист пояснил, что это начало пьесы «Размышление», сочиненной одним его другом, монахом-францисканцем.

— Бедный! Сколько он выстрадал!

Амелия пожелала узнать подробности. Усевшись на табурете-вертушке и плотнее укутавшись в шарф, она упрашивала учителя:

— Расскажите, дядя Аист, ну, расскажите!

Оказалось, что в юности автор этой музыки страстно полюбил одну монахиню; эта обреченная любовь свела несчастную в могилу; она скончалась в своей колье, а он, от горя и тоски, сам постригся в монахи...

— Я так и вижу его лицо...

— Он был красив?

— Необыкновенно. Юноша в цвете сил, из богатой семьи... Однажды он пришел ко мне в собор, когда я играл на органе, и сказал: «Посмотри, что я написал»,— и подал мне лист нотной бумаги. Начиналась мелодия в ре миноре. Он сел и стал играть... Ах, милое дитя, что это была за музыка! Но я помню только самое начало.

И взволнованный старик снова повторил грустную мелодию «Размышления» в ре миноре.

Эта история весь день не выходила у Амелии из головы. Ночью у нее сделался жар, в бреду ей являлась фигура монаха-францисканца, возникавшая из темноты у органа в Эворском соборе. Она видела его глаза, горевшие на изможденном лице. А где-то далеко-далеко монахиня в белых одеждах рыдала, припав к черным монастырским ступеням. Потом через длинный каменный двор францисканской обители вереница монахов направлялась в церковь, и он шел позади всех, горбясь, пряча лицо под капюшоном, с трудом волоча обутые в сандалии ноги, и в воздухе гудел погребальный звон: колокола звонили по усопшей.

Потом Амелии грезились другие картины: в бескрайнем черном небе две любящие души, в монашеских одеяниях, сплетались и наполняли тьму невыразимо волнующим звуком поцелуев, и кружились, носимые неземными ветрами, и таяли на глазах, точно обрывки тумана; потом во мраке возникло огромное кровоточащее сердце, пронзенное кинжалами, и падавшие с него капли крови орошали все вокруг алым дождем.

Наутро жар спал. Доктор Гоувейя успокоил Сан-Жоанейру простыми словами:

— Не пугайтесь, милая сеньора; не забудьте: скоро вашей девочке пятнадцать лет. Завтра наступят головокружения, воз-

Преступление Падре Амаро

можны приступы тошноты... Потом все это пройдет без следа. Она будет опасна для нашего брата.

Сан-Жоанейра поняла.

— У этой маленькой женщины горячая кровь и сильные страсти! — присовокупил старый врач, улыбаясь и втягивая в нос понюшку табака.

Примерно в это же время сеньор декан, покушав за завтраком асорды, вдруг упал, разбитый апоплексическим ударом. Какое внезапное и ужасное потрясенье для Сан-Жоанейры! Целых два дня, растрепанная, неодетая, она металась по комнатам, рыдая и причитая. Дона Мария де Ассунсан и обе дамы Гансозо приходили ее утешать, а дона Жозефа Диас сказала, как бы вскрывая суть их успокоительных речей:

— Полно убиваться, милочка, ты без друга не останешься!

Это случилось в начале сентября. Дона Мария де Ассунсан, владевшая небольшой дачей на побережье близ Виейры, пригласила туда на купальный сезон Сан-Жоанейру с Амелией: на здоровом морском воздухе, в новых местах бедная женщина скорее забудет свое горе.

— Ты делаешь доброе дело! — говорила ей Сан-Жоанейра.— Я все время думаю: вот тут он ставил свой зонт... Здесь он сидел и смотрел, как я шью!

— Ну, хорошо, хорошо, хватит об этом. Ешь, пей, купайся, время залечивает все раны. Не забудь, что ему уже было верных шестьдесят.

— Ах, милая ты моя! Ведь привыкаешь к человеку...

Амелии исполнилось только пятнадцать лет, но она была высокого роста и уже вполне сформировалась. Месяц, проведенный во Виейре, был для нее истинным праздником! Она еще никогда не видела моря и могла, не скучая, часами сидеть на песке, околдованная безбрежной голубизной воды, тихо колыхавшейся под жарким солнцем. Изредка на горизонте появлялся и исчезал дымок пакетбота; однообразный, вздыхающий плеск волн убаюкивал девушку; вокруг, насколько хватал глаз, искрился под синим небом песчаный пляж.

Как запомнилось Амелии это время! Едва занимался день, она уже была на ногах. Утро — лучшее время для купанья. Вдоль всего пляжа тянулись брезентовые тенты. Дамы, открыв зонтики, сидели на деревянных стульчиках, любовались морем, болтали. Мужчины в белых пляжных туфлях курили, растянувшись на циновках, или рисовали что-нибудь на песке, а поэт Карлос Алкофорадо, демоническая личность, ходил по самой кромке берега, провожаемый женскими взглядами, одинокий,

угрюмый, а за ним трусил его огромный ньюфаундленд. Амелия выходила из-под брезентового навеса в купальном платье из голубой фланели, с перекинутым через руку полотенцем, поеживаясь от холода и страха; вся дрожа, держась за руку пляжного служителя, скользя на мокрой гальке, она, тайком перекрестясь, входила в воду и с трудом пробиралась сквозь плотную массу водорослей, колыхавшихся на линии прибоя. Набегала пенистая волна, Амелия окуналась и, едва переводя дух, возбужденно прыгала на месте и выплевывала соленую воду. Зато какое чудесное ощущение, когда выходишь из моря! Накрутив на голову полотенце, глубоко дыша, она медленно шла к своему тенту; тяжелое, пропитавшееся водой купальное платье сковывало ее движения, но она радостно улыбалась, вся ожив. Вокруг раздавались дружеские голоса:

— Ну как? Хорошо? Освежились?

После обеда они ходили гулять по берегу моря, собирали ракушки. Рыбаки вынимали сети, и тысячи сардинок бились и сверкали на мокром песке; а какие великолепные, пышно изукрашенные золотом закаты полыхают над темнеющим морем, когда оно грустит и вздыхает об ушедшем дне!

Вскоре после их приезда на взморье к доне Марии де Ассунсан явился с визитом сын ее родственника, сеньора Брито из Алкобасы. Молодого человека звали Агостиньо; он был студентом пятого курса юридического факультета. Правовед был худощав, носил очки, щеголял каштановыми усиками и бородкой, а длинные свои волосы зачесывал назад. Он декламировал стихи, умел играть на гитаре, уморительно рассказывал истории о новичках-первокурсниках, был душой пикников, прогулок и прочих развлечений и славился среди мужчин Виейры своим умением очаровывать дам.

— Ну и ловкач этот Агостиньо! — говорили о нем.— Позубоскалит с той, позубоскалит с этой... В светском кружке незаменим!

С первых же дней Амелия заметила, что сеньор Агостиньо Брито не сводит с нее глаз, и догадалась, что это неспроста. Амелия краснела, у нее занимался дух от волнения, она была в восхищении от молодого человека, находя его очень «обаятельным».

Однажды у доны Марии де Ассунсан гости начали просить Агостиньо почитать какие-нибудь новые стихи.

— О, сударыни, пощадите, стихи писать — не оладьи печь! — весело отнекивался он.

— Ну, не ломайтесь! Не заставляйте себя упрашивать,— настаивали дамы.

— Хорошо, хорошо, не будем ссориться из-за пустяков.

— «Иудейку», Брито,— предложил сборщик налогов из Алкобасы.

— Нет, «Иудейка» не подойдет! — возразил Агостиньо.— Сегодня я прочту «Смуглянку» (и он взглянул на Амелию). Это стихотворение я сочинил вчера.

— Просим! Просим!

— А я подыграю,— предложил один из гостей, сержант шестого егерского полка, и взялся за гитару.

Все замолчали. Сеньор Агостиньо откинул назад волосы, поправил очки, оперся обеими руками о спинку одного из кресел и, устремив взгляд на Амелию, объявил:

Смуглянка из Лейрии

В Лейрии ты, смуглянка, рождена,
Среди долин зеленых был твой дом,
Ты, словно роза, свежести полна,
И сладость меда в имени твоем...

— Прошу прощения! — прервал его сборщик налогов.— Донс Жулиане дурно...

Речь шла о дочери алкобасского юрисконсульта, сидевшей среди дам: она вдруг сильно побледнела и упала в обморок; руки безжизненно повисли, голова склонилась на грудь. Ее опрыскали водой и отнесли в комнату Амелии; там Жулиану расшнуровали, дали понюхать ароматического уксуса; она приподнялась на локте, огляделась, затем губы ее начали дрожать, и она зарыдала. Мужчины в гостиной комментировали это происшествие.

— В комнатах душно,— заметил кто-то.

— Знаем мы, отчего ей душно...— намекнул сержант.

Сеньор Агостиньо крутил ус с недовольным видом. Несколько дам пошли проводить Жулиану до дому. Дона Мария де Ассунсан и Сан-Жоанейра, накинув шали, присоединились к эскорту. Было ветрено, впереди шел слуга с фонарем; они в молчании двигались по песчаной улице.

— А ведь это тебя касается,— тихо сказала дона Мария де Ассунсан Сан-Жоанейре, немного отстав от остальных.

— Меня?!

— Тебя. Ты не догадалась? В Алкобасе Агостиньо ухаживал за Жулианой, а здесь увлекся Амелией. Жулиана это

поняла, особенно когда он начал читать стихи и смотреть на Амелию,— ну и хлоп!

— Только этого не хватало!

— Не глупи, пожалуйста! Агостиньо получит от двух теток несколько тысяч крузадо. Это хорошая партия!

На следующий день, после купанья, Сан-Жоанейра переодевалась под тентом, а Амелия ждала ее, сидя на песке и любуясь морем.

— Ола! Вы одни? — произнес голос позади нее.

Это был Агостиньо. Амелия молчала и что-то чертила на песке зонтиком. Сеньор Агостиньо вздохнул, разгладил ногой песок и написал: «Амелия». Амелия зарделась и хотела было стереть рукой эту надпись.

— Что ж! — сказал он и, наклонившись к ней, прошептал: — Это имя «Смуглянки», вы сами знаете:

И сладость меда в имени твоем...

Она улыбнулась.

— Какой вы! Из-за вас бедная Жулиана упала в обморок.

— Вот еще! Что мне до Жулианы? Надоела! Страшна как смертный грех! Что прикажете с собой делать? Таков я. Поверьте, я больше знать ее не хочу, ибо увидел другую женщину, ради которой готов пожертвовать всем... Конечно...

— Кто же эта дама? Наверно, дона Бернарда?

Дона Бернарда была препротивная старуха, вдова полковника.

— Она самая,— ответил он, смеясь.— Я страстно влюблен в дону Бернарду.

— А! Так вы страстно влюблены! — тихо сказала она, не поднимая глаз и продолжая чертить на песке.

— Вам угодно смеяться надо мной? — вскричал Агостиньо, схватил складной стульчик и сел очень близко от Амелии.

Амелия встала.

— Вы не хотите, чтобы я сидел рядом с вами? — обиделся он.

— Ах нет, просто мне надоело сидеть.

Наступило молчание.

— Вы уже купались? — спросила она.

— Да.

— Вода теплая?

— Нет.

Голос Агостиньо звучал крайне сухо.

— Вы рассердились? — спросила она, слегка прикоснувшись рукой к его плечу.

Агостиньо поднял глаза, увидел улыбку на хорошеньком смуглом личике и пылко воскликнул:

— Я без ума от вас!

— Чш!..— шепнула она.

Сан-Жоанейра, приподняв брезент, выходила из-под навеса, вся укутанная во фланель, с повязанным на голове полотенцем.

— Вы уже искупались? Немного озябли? — тотчас же обратился к ней Агостиньо, снимая свою соломенную шляпу.

— Как, вы здесь?

— Да, пришел полюбоваться морем. После купанья хорошо перекусить, не так ли?

— Милости просим,— ответила Сан-Жоанейра.

Агостиньо, образец галантности, предложил руку старшей из дам.

С этого дня он неотступно следовал за Амелией повсюду: утром сопровождал на купанье, вечером — на прогулку по пляжу, собирал для нее красивые ракушки и сочинил в ее честь новое стихотворение — «Мечта». Последняя строфа звучала до невозможности бурно:

Мне снилось: я держу тебя в объятьях.
И ты дрожишь, трепещешь, уступаешь...

По ночам Амелия с волнением шептала эти слова, вздыхая и обнимая подушку.

Стояли уже последние дни октября, купальный сезон кончался. Однажды поздним вечером веселая компания доны Марии де Ассунсан отправилась гулять при лунном свете. На обратном пути поднялся ветер, тяжелые тучи заволокли небо. Дождь застал их неподалеку от небольшого сосняка; дамы, испуганно вскрикивая, побежали укрыться под деревьями. Агостиньо с хохотом утащил Амелию за руку в самую чащу леса, подальше от остальных; и там, под заунывный, однообразный шорох хвои, сказал ей тихо, сквозь стиснутые зубы:

— Ты меня с ума сводишь, девочка!

— Ах, что вы! — пролепетала она.

Но Агостиньо с внезапной серьезностью сказал:

— Знаешь, ведь завтра я должен уехать.

— Вы уезжаете?

— Вероятно; еще не знаю. Послезавтра начинаются лекции.

— Вы уезжаете...— вздохнула Амелия.

Агостиньо, неистово сжимая руку Амелии, прошептал:

— Пиши мне!

— А вы будете мне писать?

Тогда Агостиньо схватил Амелию за плечи и впился в ее губы жадным поцелуем.

— Оставьте меня! Оставьте меня! — бормотала она, задыхаясь. Но с уст ее вдруг сорвался слабый стон, подобный голубиному воркованью, она уже не сопротивлялась... Тут раздался пронзительный голос доны Жоакины Гансозо:

— Дождь перестал. Пойдемте! Скорей, скорей!

Амелия, оглушенная, вырвалась из сжимавших ее рук и убежала под защиту маменькиного зонтика.

На следующий день Агостиньо действительно уехал.

Начались осенние дожди; вскоре Амелия, ее мать и дона Мария де Ассунсан вернулись в Лейрию.

Прошла зима.

В один прекрасный день, сидя у Сан-Жоанейры, дона Мария де Ассунсан рассказала, что получила письмо из Алкобасы: ей писали, что Агостиньо Брито женится на дочке Вимейро.

— Молодец! — воскликнула дона Жоакина Гансозо.— Положит в карман ни много ни мало тридцать конто! У него губа не дура!

Амелия расплакалась при гостях.

Она любила Агостиньо; она не могла забыть того поцелуя в лесу. Ей казалось, что радость навсегда покинула ее! Амелия часто вспоминала про юношу, о котором рассказывал дядя Аист: не найдя счастья в любви, он укрылся в уединении монастыря; она стала всерьез думать, не постричься ли и ей в монахини, и всецело предалась церкви. Это была вспышка религиозного чувства, которое уже давно, с самого детства, занимало в ее жизни большое место и с годами все прочнее укоренялось из-за постоянного общения со священниками. Целые дни Амелия просиживала над молитвенником, развесила по стенам цветные литографии святых, простаивала долгие часы в церкви, читая бесчисленные молитвы пресвятой деве, ежедневно слушала мессу, ходила каждую неделю к причастию,— и приятельницы Сан-Жоанейры считали ее дочку примером благочестия, способным обратить на путь спасения любого безбожника!

Именно в это время каноник Диас и его сестра дона Жозефа Диас зачастили к Сан-Жоанейре. Очень скоро каноник стал «другом дома». После завтрака он неизменно появлялся на пороге со своей собачкой, как прежде декан со своим зонтом.

— Я очень ценю его, он делает мне много добра,— говорила Сан-Жоанейра,— но все-таки дня не пройдет, чтобы я не вспомянула сеньора декана!

Сестра каноника, совместно с Сан-Жоанейрой, основала к тому времени «Сестричество пресвятой и премилосердной девы Марии». Дона Мария де Ассунсан и сестры Гансозо были из числа первых прозелиток, и вскоре дом Сан-Жоанейры превратился в своего рода центр клерикального влияния. То была вершина жизненного пути Сан-Жоанейры. Аптекарь Карлос говорил не без яда, что «Епархиальное управление перекочевало на улицу Милосердия». Многие священники и новый декан приходили сюда каждую пятницу. В столовой и в кухне стояли изображения святых. Прежде чем нанять прислугу, ее подвергали строжайшему экзамену по катехизису. Здесь создавались репутации, и если в кружке Сан-Жоанейры говорили о ком-нибудь, что он не боится бога, это означало, что его доброе имя погибло безвозвратно. Здесь распределялись должности звонарей, кладбищенских сторожей, ризничих — все это не без хитроумных интриг, под благочестивые разговоры. Дамы ввели в своем кругу даже нечто вроде форменной одежды, черных и лиловых тонов; дом благоухал росным ладаном и воском, и Сан-Жоанейра держала в своих руках всю торговлю облатками.

Так прошло несколько лет. Мало-помалу благочестивый кружок начал распадаться: связь Сан-Жоанейры с каноником Диасом стала предметом пересудов, и духовенство почло за благо держаться подальше от ее дома. Новый декан тоже умер от апоплексии — это стало уже традицией в Лейрии, где деканы мерли как мухи. Лото по пятницам потеряло былую притягательность.

Амелия сильно изменилась за эти годы. Она выросла и превратилась в красивую двадцатидвухлетнюю девушку с бархатистым взглядом и свежими губками; свою первую любовь к Агостиньо она уже называла глупым ребячеством. Амелия оставалась набожной, но по-иному; теперь в религии ее больше всего привлекала пышность и великолепие церковной службы: стройное пение под звуки органа, золототканые покровы, сверкающие при свечах, главный алтарь в убранстве из ароматных цветов, звон цепочек, на которых покачиваются кадила, голоса певчих, красиво вплетающиеся в гудение хора: «Аллилуйя! Аллилуйя! Аллилуйя!..» Собор был ее оперным театром, а вера в бога — праздничной и радостной стороной жизни. Она любила наряжаться к воскресной мессе, прыскаться духами,

изящно преклонять колени на ковре перед главным алтарем, улыбаясь канонику Салданье или падре Брито. Но выдавались дни, когда она, по выражению Сан-Жоанейры, опять «сникала». На нее находило уныние, лицо желтело, в уголках рта проступали старческие морщинки. В такие периоды она на целые часы впадала в беспричинную тоску и утешалась только тем, что, блуждая по комнатам, напевала «Святый боже» или угрюмую мелодию погребального звона.

Но потом к девушке возвращалась обычная веселость, а с ней и умение радоваться красоте церковной службы, и она снова досадовала, что их собор — невзрачное сооружение холодного, иезуитского стиля; хорошо бы молиться в маленькой, уютной церкви, устланной коврами, отделанной золотом, освещенной газовыми рожками, и чтобы там служили красивые священники у престола, нарядного, как этажерка с безделушками.

Ей было двадцать три года, когда она познакомилась с Жоаном Эдуардо. Случилось это в праздник тела господня, в доме у нотариуса Нунеса Феррала, в чьей конторе Жоан Эдуардо служил клерком. Амелия, ее мать и дона Жозефа Диас пошли к нотариусу: с широкой веранды его дома, увешанной богатыми покрывалами из желтой парчи, хорошо было любоваться процессией. Жоан Эдуардо тоже вышел на веранду — скромный, серьезный, весь в черном. Амелия давно знала его, но в этот день впервые обратила внимание на белизну его лица, на то, как почтительно он преклонил колено, и подумала: «А он очень порядочный».

Вечером после чая толстяк Нунес, щеголявший в расстегнутом сюртуке, из-под которого выглядывал белый жилет, в упоении кричал на всю гостиную своим тонким, свиристящим голоском:

— Прошу стать парами! Кавалеры, приглашайте дам!

Его старшая дочь сидела за фортепьяно и с оглушительным треском играла вывезенную из Франции мазурку. Жоан Эдуардо подошел к Амелии.

— Нет, нет, я не танцую!..— коротко ответила она.

Жоан Эдуардо тоже не стал танцевать; он отошел на несколько шагов, прислонился к косяку двери и, заложив руку в вырез жилета, устремил взор на Амелию. Амелия видела это, хотя усиленно смотрела в другую сторону, и была довольна; когда, заметив подле нее пустой стул, Жоан Эдуардо вновь подошел, она охотно подвинулась и подобрала свою пышную шелковую юбку, чтобы освободить ему место. Клерк в смуще-

нии теребил ус слегка дрожащими пальцами. Амелия первая заговорила с ним:

— Вы тоже не танцуете, сеньор Жоан Эдуардо?

— А почему вы не хотите танцевать, дона Амелия?

Она слегка откинулась назад и сказала, расправляя складки шелкового платья:

— Ах! Я уже выросла из подобных забав. Ведь я взрослая, серьезная девушка.

— Настолько серьезная, что никогда не смеетесь? — спросил он, вкладывая в свои слова какой-то особый смысл.

— Отчего же? Иногда смеюсь, когда есть над чем,— ответила она, слегка склонив голову набок.

— Надо мной, например.

— Над вами?! Вот так так! С какой стати мне над вами смеяться?! Разве в вас есть что-нибудь смешное? — Она оживленно обмахивалась черным шелковым веером.

Он молчал, собираясь с мыслями, стараясь придумать ответ полюбезней.

— Неужели вы и вправду никогда, никогда не танцуете?

— Я же сказала, что нет. Какой вы любопытный!

— Просто я вами интересуюсь.

— Ах, оставьте! — ответила она, качнув головой.

— Честное слово.

Но тут дона Жозефа Диас, наблюдавшая за парочкой, направилась к ним с нахмуренным челом,— и Жоан Эдуардо, оробев, ретировался.

Когда гости расходились и Амелия одевалась в передней, Жоан Эдуардо снова подошел, со шляпой в руке, и сказал:

— Укутайтесь потеплей, не простудитесь!

— Так вы продолжаете интересоваться мной? — пошутила она, поправляя на шее кружевной край своей шерстяной шали.

— Все сильнее и сильнее, поверьте.

Две недели спустя в Лейрию прибыла труппа испанских артистов, ставивших сарсуэлы. Украшением труппы была певица-контральто, по фамилии Гамачо. Дона Мария де Ассунсан абонировала ложу и пригласила в театр Сан-Жоанейру с дочерью.

Амелия две ночи, в спешке и волнении, шила себе новое кисейное платье с отделкой из голубых бантов. Жоан Эдуардо был в партере — и пока Гамачо блистала напудренным лицом из-под валенсийской кружевной мантильи и выкрикивала гортанные малагеньи, играя веером со старушечьей грацией, он жадно любовался Амелией. Спектакль окончился; клерк подо-

шел с приветствием и предложил Амелии руку, чтобы проводить до самой улицы Милосердия. Сан-Жоанейра, дона Мария де Ассунсан и нотариус Нунес шли позади.

— Как вам понравилась Гамачо, сеньор Жоан Эдуардо?

— Откровенно говоря, я не слышал ее.

— Что же вы делали в театре?

— Смотрел на вас,— ответил он твердо.

Она сразу остановилась и сказала слегка изменившимся голосом:

— А где же маменька?

— Оставьте в покое маменьку.

И, склонившись к самому ее лицу, Жоан Эдуардо стал говорить о своей любви. Он сжимал ее руку и лихорадочно повторял:

— Я так вас люблю! Я так вас люблю!

После музыки и красок театра Амелия была в нервном возбуждении. Теплая ночь, мерцанье звезд на летнем небе — все это нагнало на нее какую-то томную разнеженность. Не отнимая руки, она едва слышно вздохнула.

— Вы тоже меня любите, да? — спрашивал он.

— Да,— ответила она и пылко сжала пальцы Жоана Эдуардо.

Но, как потом говорила самой себе Амелия, на нее просто нашел такой *стих;* прошло несколько дней, она ближе познакомилась с Жоаном Эдуардо, чаще с ним говорила, и ей стало ясно, что ее совсем к нему не тянет. Она ценила его, находила славным и симпатичным, понимала, что из него выйдет хороший муж, но сердце ее безмолвствовало.

Клерк между тем ходил на улицу Милосердия чуть ли не каждый вечер. Сан-Жоанейра благоволила к нему за «благородные намерения» и честность характера. Но Амелия оставалась равнодушной; правда, по утрам она поджидала у окна, когда он пройдет на службу, вечером делала ему глазки — но только для того, чтобы не оттолкнуть молодого человека, сохранить в своей однообразной жизни хоть намек на любовное увлечение.

В один прекрасный день Жоан Эдуардо заговорил о женитьбе.

— Если Амелия согласна, то я, со своей стороны...— сказала Сан-Жоанейра.

Когда она передала этот разговор Амелии, та ответила уклончиво.

— Сейчас мне не хочется об этом думать. Там будет видно.

Они пришли к молчаливому решению: подождать, когда

Жоан Эдуардо получит место чиновника в Гражданском управлении, великодушно обещанное ему доктором Годиньо — самим доктором Годиньо!

Так и жила Амелия, пока в доме их не появился падре Амаро. В ту бессонную ночь воспоминания всей прожитой жизни возникали перед ней какими-то обрывками, словно клочья облаков, гонимых ветром. Она уснула поздно и проснулась, когда солнце уже высоко стояло в небе. Амелия нежилась в полусне, как вдруг услышала в столовой голос Русы:

— Сеньор настоятель уходят в собор с сеньором каноником.

Амелия соскочила с кровати, подбежала в одной сорочке к окну и, приподняв угол кисейной занавески, выглянула на улицу. Утреннее солнце ослепительно сверкало. По мостовой, разговаривая с каноником и держа в руке белоснежный носовой платок, шел падре Амаро, стройный и подтянутый, в сутане из тонкого сукна.

VI

Окруженный заботливым и нежным вниманием, Амаро с первых же дней почувствовал, что счастлив. Сан-Жоанейра по-матерински пеклась о его белье, всячески старалась его побаловать, комната сеньора настоятеля блестела как стеклышко; Амелия держалась при нем с пикантной непринужденностью хорошенькой родственницы. «Они сошлись характерами»,— изрекла с умилением дона Мария де Ассунсан. Дни Амаро скользили легко, приятно; к его услугам были вкусные яства, мягкие подушки и женский уход. К тому же и осень стояла такая солнечная, что в саду епископской резиденции зацвели липы. «Просто чудо!» — говорили горожане, а сеньор декан по утрам, еще в robe de chambre [1], подходил к окну своих покоев и при виде цветущих деревьев начинал неудержимо декламировать «Эклоги».

После безотрадного житья у дяди в Эстреле, заточения в семинарии и суровой зимы в Гралейре Амаро чувствовал себя как путник, который долго брел среди скал, под проливным дождем и грохочущим громом, и вдруг попал в сухой и теплый дом, где весело трещит огонь в очаге и дымится в кастрюле ароматный суп.

По утрам, укутавшись в плащ, натянув на руки кашемировые перчатки, а на ноги шерстяные носки, поверх которых наде-

---

[1] Халат *(франц.)*.

вались высокие сапожки с красным верхом, он отправлялся в собор служить мессу. Утра уже порой выдавались холодные; в этот ранний час только считанные богомолки в темных покрывалах молились по углам, скорчившись у подножия белых глянцевых алтарей.

Священник входил в ризницу, быстро облачался, притопывая ногами по плитам пола, а псаломщик тем временем рассказывал ему последние городские новости.

Затем, с чашей в руках, потупив глаза, падре Амаро выходил из ризницы, преклонял колено перед престолом со святыми дарами, медленно всходил по ступеням алтаря, где бледно мерцало пламя двух восковых свечей, отступая перед светом утра, молитвенно складывал руки и, склонив голову, произносил:

— Introibo ad altare Dei.

— Ad Deum qui laetificat juventutem meam [1],— звучно скандировал в тон ему псаломщик.

Амаро больше не служил мессу с умиленным благоговением первых дней. «Привычка!» — говорил он. А так как вечером он не ужинал, то в этот час, пробежавшись натощак по свежему утреннему воздуху, он уже чувствовал, что его разбирает аппетит, и торопливо, кое-как бормотал тексты из Апостола и Евангелий. За его спиной псаломщик то складывал руки на животе, то поглаживал ладонью гладко выбритые щеки, искоса поглядывая на Казимиру Франса, жену соборного плотника, примерную прихожанку, которую он «держал на заметке» с самой пасхи. Солнечный свет из боковых окон широкими полосами падал на плиты собора. Едва уловимый аромат левкоев сладко веял в воздухе.

Торопливо прочитав молитвы, сопровождающие жертвоприношение, падре Амаро вытирал чашу; псаломщик, выпятив зад, вынимал облатки, подавал их с поклоном, и Амаро слышал запах прогорклого масла, которым тот мазал волосы. Эта часть службы, по давней привычке, всегда волновала Амаро и настраивала его на благоговейный лад: раскинув руки, он поворачивался лицом к молящимся и медленно возглашал призыв к общей молитве: «Orate, fratres!» [2] Старухи-богомолки, притулившиеся у каменных колонн в тупом оцепенении, подбирали губы и крепче прижимали руки к груди, на которой висели крупные черные четки. Тогда псаломщик становился на колени позади

---

[1] Подойду я к жертвеннику божию.
К богу радости и веселия моего *(лат.)*.

[2] Молитесь, братие! *(лат.)*

падре Амаро, одной рукой слегка придерживая край его облачения и сжимая в другой колокольчик. Амаро благословлял вино, поднимал чашу: «Hoc est enim corpus meum» [1],— вздымая обе руки вверх, к покрытой багровыми ранами фигуре распятого Христа; медленно звонил колокольчик; кулаки молящихся старух глухо ударялись в их тощие груди. В наступившей тишине слышно было, как по каменной соборной площади, поскрипывая на стыках плит, проезжают, возвращаясь с базара, запряженные волами телеги.

— Ite, missa est [2],— говорил наконец Амаро.

— Deo gratias! [3] — отвечал псаломщик, с облегчением, шумно отдуваясь: его обязанности на этом кончались.

И когда, приложившись к престолу, Амаро сходил вниз по ступеням алтаря, чтобы благословить паству, он уже радостно предвкушал завтрак в светлой столовой у Сан-Жоанейры и воображал себе поджаристые гренки, которые ему подадут. Амелия ждала его: ее неубранные волосы лежали прядями на пеньюаре, от только что умытого лица исходил свежий запах миндального мыла.

Около полудня Амаро обычно поднимался в столовую, где Сан-Жоанейра с дочерью занимались шитьем. «Скучно одному, пришел поболтать с вами»,— говорил он. Сан-Жоанейра сидела в низеньком кресле у окна и рукодельничала; кошка уютно мурлыкала, пристроившись на подоле ее шерстяного платья. Амелия шила у стола; рядом с ней стояла рабочая корзинка. На склоненной голове виднелся ровный пробор среди пышных, аккуратно расчесанных волос. Золотые серьги, напоминавшие крупные капли воска, покачивались при каждом движении, отбрасывая на шею дрожащие, меняющиеся тени; на смуглом, чуть румяном лице выделялись темные тени ресниц; полная грудь дышала равномерно и спокойно. Время от времени, утомившись, девушка втыкала иглу в работу, поднимала голову, слегка расправляла плечи, улыбалась. Амаро подшучивал:

— Ах вы, ленивица! Какая же из вас получится мать семейства?

Она смеялась, и начинался разговор. Сан-Жоанейра знала все, что случалось в городе интересного: майор уволил кухарку; кто-то купил у почтмейстера Карлоса поросенка за десять

---

[1] Сие есть тело мое *(лат.)*.
[2] Ступайте, служба окончена *(лат.)*.
[3] Возблагодарим господа! *(лат.)*

реалов. Иногда Руса заходила в столовую, чтобы взять в буфете тарелку или ложку, и речь заходила о ценах на базаре, о том, что готовить на обед. Сан-Жоанейра снимала очки, закладывала ногу на ногу и, покачивая вверх и вниз мягкой домашней туфлей с оторочкой, начинала перечислять блюда:

— Сегодня у нас будет горошек. Не знаю, понравится ли сеньору падре Амаро, но ведь надо как-то разнообразить...

Амаро охотно ел все, что ему давали; к некоторым блюдам он питал особенное пристрастие, причем нравилось ему то же, что Амелии.

Со временем, совсем освоившись, он даже позволял себе копаться в ее рабочей корзинке. Однажды он нашел там письмо и спросил, кто ее обожатель. Амелия ответила, торопливо работая иглой:

— Ах, сеньор настоятель, никто меня не любит...

— Вы ошибаетесь! — живо возразил он, но одумался и, сильно покраснев, сделал вид, будто у него запершило в горле.

Амелия порой обращалась с ним совсем непринужденно; один раз даже попросила помочь ей смотать нитки в клубок.

— Еще что выдумала! — закричала на нее Сан-Жоанейра.— Где твоя голова? Вы слишком балуете ее, сеньор настоятель!..

Но Амаро охотно согласился: он готов служить, чем может. Клубок так клубок! Только прикажите! И обе женщины смеялись — радостно, тепло, в полном восхищении от любезности сеньора настоятеля, которая трогала до глубины души! По временам Амелия откладывала работу и брала на руки кошку. Амаро придвигался поближе, гладил кошку по спине, та выгибалась, сладко мурлыкала.

— Тебе приятно? Приятно? — говорила ей Амелия, чуть краснея, глядя на кошку влажным взглядом.

Амаро бормотал прерывающимся голосом:

— Мурочка! Мурочка!

Сан-Жоанейра выходила — подать лекарство своей старой сестре-идиотке или поговорить с кухаркой. Падре Амаро и Амелия оставались одни; они молчали, но глаза их вели долгий безмолвный разговор, от которого обоих охватывало смутное томление. Амелия начинала тихонько напевать «Прощай» или «Неверный». Амаро закуривал сигарету и слушал, покачивая ногой.

— Как это чудесно! — говорил он.

Амелия пела громче и быстрее работала иглой; время от времени, откидываясь назад, она оглядывала шов и, чтобы вы-

ровнять его, проводила по шитью своим узким, блестящим ногтем.

Амаро находил ее ногти необыкновенно красивыми; все принадлежавшее ей или исходившее от нее казалось ему совершенством: ему нравился цвет ее платьев, ее походка; он любовался жестом, каким она поправляла волосы, не мог без нежности смотреть даже на ее нижние юбки, вывешенные для просушки на шесте под окном. Он еще никогда не жил в такой повседневной близости с женщиной. Когда дверь в комнату Амелии оставалась непритворенной, он бросал туда жадный взгляд, словно за этой дверью простирались райские кущи; стоило ему увидеть белеющий край кружевной юбки, неприбранный чулок, подвязку, забытую на сундучке,— и в воображении его возникала ее нагота, и он бледнел и стискивал зубы. Он глядел и не мог наглядеться, как она говорила, смеялась, ходила по комнатам, и ее туго накрахмаленные нижние юбки шуршали, задевая косяки узких дверей. Когда он был возле нее, его охватывала какая-то томительная слабость, он совершенно забывал о своем сане. Лежащая на нем благодать, служба в соборе, страх перед грехом, сам бог — все это оставалось где-то далеко, внизу, все казалось ничтожным с высоты его восторга. Так с горной вершины домики в долине кажутся черными точками и исчезают из глаз, утонув в низинном тумане. И он думал только о том, как приятно было бы поцеловать ее нежную шею или скользнуть губами по маленькому уху.

Временами он сам восставал против этой позорной слабости, топал ногой:

— Какого черта, нельзя же терять разум! Надо быть человеком!

Он спускался к себе, начинал листать свой требник; но наверху слышался голос Амелии, стучали ее каблуки. Прощай благочестие! Оно опадало, как парус в безветренную погоду; добрые намерения испарялись без следа; целые сонмы искушений, трепеща, воркуя, теснясь, точно стая голубей, слетались к нему и безраздельно овладевали его помыслами. Он склонялся перед их неодолимой силой, жестоко страдал, сожалел об утраченной свободе: лучше бы вовсе не знать этой девушки, никогда не бывать в Лейрии, жить в глухой деревне, среди мирных простых людей, со старушкой-кухаркой, которая сыплет поговорками и экономит каждый грош, гулять в огороде, любоваться на зеленеющий латук и слушать на заре кукареканье петухов! Но Амелия звала его обедать — и наваждение возвращалось, с каждым днем все сильней, все неотступней.

Обеденный час был самым опасным и самым блаженным, лучшим часом всего дня. Пока Сан-Жоанейра резала на куски мясо, Амаро поддерживал разговор, деликатно выплевывая на ладонь косточки маслин и складывая их рядком на скатерти.

Руса, совсем погибавшая от чахотки, кашляла не переставая и прислуживала кое-как. Амелии поминутно приходилось вставать, чтобы принести из буфета то хлебный нож, то тарелку. Амаро предупредительно вскакивал.

— Не беспокойтесь, не беспокойтесь, сеньор падре Амаро! — говорила она и клала руку ему на плечо, чтобы усадить обратно; глаза их встречались.

Вытянув под столом ноги, прикрыв грудь и живот салфеткой, Амаро наслаждался теплом и уютом столовой; после второй рюмки байрады он совсем размякал — посмеивался, пошучивал; иной раз, с нежным блеском в глазах, даже прикасался под столом носком башмака к ботинку Амелии или говорил прочувствованным тоном: «Как жаль, что у меня нет такой сестренки!»

Амелия любила макать хлебный мякиш в соус от жаркого; мать каждый раз выговаривала ей за дурную привычку:

— Не смей делать это в присутствии сеньора настоятеля!

Но он вступался за нее, смеясь:

— Представьте, я тоже люблю подбирать мякишем соус! Сродство душ! Магнетизм!

И оба макали хлеб в соус, хохоча без причины.

Тем временем вечерело, в столовой делалось темно, Руса приносила лампу. Блеск бокалов и фарфора при огне радовал Амаро и еще больше размягчал его сердце. Он начинал называть Сан-Жоанейру «мамой». Амелия улыбалась, опустив ресницы и покусывая кожуру мандарина. Подавали кофе. Падре Амаро долго сидел в столовой, щелкая орехи, сбрасывая пепел сигареты на край блюдца.

К этому времени обычно появлялся каноник Диас; они слышали, как он тяжело поднимается по лестнице, говоря на ходу:

— Требуется пропуск на двоих!

Двое были он и его собачка «Коврижка».

— Да пошлет нам господь бог добрый вечер! — возглашал он, появляясь на пороге.

— Чашечку кофе, сеньор каноник? — тотчас же предлагала Сан-Жоанейра.

Он усаживался, тяжело отдуваясь: «Уф-ф!» — и отвечал:

— Что же, чашечку выпить можно! — затем хлопал по плечу молодого коллегу и восклицал, глядя на Сан-Жоанейру:

— Ну, как здесь живется нашему любимчику?

Посмеявшись, они переходили к городским новостям. Каноник обычно приносил в кармане «Народную газету»; Амелия интересовалась романом с продолжениями, Сан-Жоанейра — перепиской по брачным объявлениям.

— Экие бесстыдники! — восклицала она, упиваясь чтением.

Амаро заводил речь о Лиссабоне, о столичных скандалах, известных ему от тетки, рассказывал про знатных господ, с которыми познакомился у сеньора графа де Рибамар. Амелия слушала самозабвенно, поставив локти на стол и грызя кончик зубочистки.

После ужина они шли проведать парализованную тетю. В головах кровати тускло светила лампадка. Несчастная старуха лежала в безобразном чепце из черного кружева, под которым еще мертвеннее желтело ее сморщенное, как печеное яблоко, личико. Тело ее почти не выдавалось под одеялом; она испуганно глядела на посетителей запавшими, слезящимися глазами.

— К вам пришел сеньор соборный настоятель, тетя! — кричала Амелия прямо ей в ухо.— Он хочет узнать, как вы себя чувствуете!

Старуха делала над собой усилие и лепетала стонущим голосом:

— А! Это менино Амаро!

— Да, Амаро! Менино Амаро! — подхватывали все, смеясь.

Старуха бормотала в удивлении:

— Менино Амаро! Ко мне пришел сеньор падре Амаро!

— Бедная женщина! — восклицал Амаро.— Бедная страдалица! Дай ей бог легкую смерть!

Они возвращались в столовую, где каноник Диас сидел развалясь и сложа руки на животе в старинном кресле, обитом зеленым ситцем. Он сейчас же говорил:

— А теперь хорошо бы послушать музыку, а, девочка?

Амелия садилась за фортепьяно.

— Спой нам «Прощай», дочка! — советовала Сан-Жоанейра, принимаясь за рукоделие.

Амелия брала несколько аккордов и начинала:

Прощай! Уж не вернутся больше дни,
Когда мы были счастливы с тобою...

Голос ее звучал мягко и задушевно. Амаро слушал, курил и чувствовал, как душу его обволакивает приятная грусть.

Поздно вечером Амаро уходил к себе, взбудораженный до глубины существа, и принимался читать «Песнопения Иисусу», перевод с французского, изданный «Сестричеством служительниц Христа». Это благочестивая книжонка, полная двусмысленных излияний, граничащих с неприличием: молитва творится здесь языком плотской любви. К Иисусу взывают, его заклинают невнятным лепетом нетерпеливой, безрассудной страсти:

«О, приди, возлюбленный моего сердца, приди, божественная плоть, тебя алчет моя истомленная душа! Люблю тебя страстно, отчаяние гнетет мое сердце! Обожги меня! Испепели меня! Приди! Растопчи меня!.. Возьми меня!..» И подобная любовь к богу, уродливо-комичная по навязчивости эротических образов, непристойная по своей грубой материальности, стонет, рычит, декламирует на протяжении сотни бредовых страниц, на которых слова «наслаждение», «упоение», «восторги», «экстаз» повторяются ежеминутно, с истерической настойчивостью. А после этих горячечных монологов, пышущих жаром мистического вожделения, идет вторая часть: убогие ханжеские поучения, какие могут родиться лишь в пономарской голове, советы о тонкостях постной кухни, молитвы от тяжелых родов! Какой-то епископ одобрил эту красиво отпечатанную галиматью; ее позволяют читать воспитанницам монастырей; это литература благочестивая и возбуждающая, сочетание многословной эротики со слащавым ханжеством. Книжонка переплетена в сафьян и рекомендуется исповедницам — шпанская мушка религиозного обихода!

Амаро читал допоздна, слегка взволнованный этой пышной писаниной, пропитанной плотскими желаниями; порой в тишине он слышал, как наверху скрипит кровать Амелии; книга выпадала у него из рук, он откидывал голову на спинку кресла, закрывал глаза, и в воображении его возникала Амелия: она стояла в корсете перед зеркалом и расплетала косы; или, пригнувшись, отстегивала подвязки, и в глубоком вырезе сорочки были видны ее белые груди. Стискивая зубы, он вставал с кресла, полный неистовой решимости овладеть ею во что бы то ни стало!

Однажды он посоветовал ей прочесть «Песнопения Иисусу».

— Увидите, это очень красиво написано и полезно для души! — И вечером положил книжицу в ее рабочую корзинку.

Утром на следующий день Амелия вышла к завтраку бледная, с темными кругами вокруг глаз. Она жаловалась на бессонницу, сердцебиение.

— Что ж, понравились вам «Песнопения»?

— Очень. Какие чудесные молитвы! — ответила она.

Весь тот день она не смела поднять глаза на Амаро. Она казалась подавленной, к лицу ее то и дело, без видимого повода, приливала кровь.

Худшими днями недели были для Амаро понедельник и среда, когда Жоан Эдуардо приходил провести вечер по-семейному. До самого ужина священник вообще не выходил из своей комнаты, а когда поднимался пить чай, то с трудом сдерживал раздражение при виде клерка, сидевшего рядом с Амелией, перебросив плед через плечо.

— Вот нежная парочка! Никак не наговорятся! — благодушествовала Сан-Жоанейра.

Амаро, бледнея, через силу улыбался, медленно разламывал поджаренный хлеб, не поднимая глаз от чашки.

При Жоане Эдуардо Амелия не позволяла себе со священником обычной веселой фамильярности; она шила прилежно, не поднимая глаз. Клерк молча курил; разговор ежеминутно прерывался долгими паузами, и слышно было, как свистит на улице ветер.

— Плохо тем, кто плывет сейчас по морю! — говорила Сан-Жоанейра, неторопливо шевеля спицами.

— Бр-р!..— передергивал плечами Жоан Эдуардо.

Каждое его слово, каждое движение раздражали падре Амаро; он не выносил клерка за безбожие и за красивые черные усы. При нем Амаро чувствовал себя еще более связанным путами своего обета.

— Сыграй что-нибудь, дочка,— просила Сан-Жоанейра.

— Не хочется...— отвечала Амелия с усталым вздохом, опираясь руками о подлокотники кресла.

Тогда Сан-Жоанейра, не любившая, как она выражалась, смотреть на вытянутые физиономии, предлагала втроем сыграть в биску — и падре Амаро, забрав свою медную лампу, отправлялся вниз, чувствуя себя несчастнейшим из людей.

В такие вечера он почти ненавидел Амелию, мысленно называя ее кокеткой. Фамильярность Жоана Эдуардо с невестой казалась священнику скандальной; он даже решил было поговорить на эту тему с Сан-Жоанейрой, сказать ей, что ухаживание в слишком непринужденной домашней обстановке не угодно богу. Потом, одумавшись, давал себе слово забыть эту девушку, переехать на другую квартиру, покинуть Лейрию. Перед его мысленным взором возникала молодая чета на обратном

пути из церкви, после венчания: Амелия в венке из флердоранжа и Жоан Эдуардо во фраке, красный от смущения. Он видел брачную постель, кружевные подзоры на простынях... На ум ему приходили тысячи доказательств любви Амелии к идиоту-клерку и вонзались в его сердце, как острия кинжалов...

«Пусть бы уж скорее венчались и проваливали ко всем чертям!..»

Он ненавидел Амелию. Захлопнув дверь своей комнаты, он в ярости запирался на ключ, словно желая воздвигнуть стену между собой и звуками ее голоса, шорохом ее юбок. Но не проходило и часа, как он снова, замирая на месте, с неистово бьющимся сердцем прислушивался к шумам, доносившимся сверху, из ее комнаты; продолжая разговаривать с матерью, Амелия раздевалась, и слышно было, как шуршит ее платье, падая на пол.

Однажды Амаро был приглашен обедать к доне Марии де Ассунсан; потом он решил пройтись по шоссейной дороге в Марразес, а когда вернулся под вечер, дверь дома оказалась незапертой. На циновке в передней стояли домашние туфли Русы.

«Вот растяпа! — подумал Амаро.— Ушла за водой и забыла запереть дверь».

Он вспомнил, что Амелия собиралась провести этот вечер с доной Жоакиной Гансозо в ее усадьбе близ Пьедаде, а Сан-Жоанейра с сестрой каноника должны были присоединиться к ним попозже. Падре Амаро притворил за собой входную дверь и поднялся в кухню, чтобы зажечь лампу; на улице после утреннего дождя было сыро, он еще не успел снять резиновые галоши, и шаги его были почти бесшумны. Проходя мимо столовой, он услышал в комнате Сан-Жоанейры за ситцевой занавеской чье-то покашливанье. Голос был мужской. Удивившись, Амаро чуть-чуть отвел занавеску в сторону и заглянул в комнату через полуприкрытую дверь. Боже милосердный! Сан-Жоанейра стояла в нижней юбке и надевала корсет, а на кровати сидел каноник Диас, в одном белье, и громко пыхтел!

Держась за перила, Амаро спустился с лестницы, тихонько закрыл за собой дверь и пошел, не разбирая дороги, по направлению к собору. Вечер был пасмурный, моросил мелкий дождик.

— Так вот оно что! Так вот оно что! — изумленно шептал он.

Никогда в жизни он бы не заподозрил подобного камуфлета! Сан-Жоанейра, степенная Сан-Жоанейра! А каноник... Пре-

подаватель христианской нравственности! Да ведь он старик! Ведь жар крови не туманит ему голову! Ведь он прожил долгую жизнь, растолстел от слишком сытной пищи, достиг высокого сана... Неужели всего этого недостаточно, чтобы угомонить былые страсти? Что же должен делать человек молодой и здоровый, в чьих жилах бурлит горячая кровь, чья молодость требует своего!.. Так, значит, недаром хихикали товарищи в семинарии, недаром старый падре Секейра, пятьдесят лет прослуживший в Гралейре, любил повторять: «Все из одного теста сделаны!» Все из одного теста! Они восходят по ступеням церковной иерархии, избираются в капитулы, заведуют семинариями, управляют чужой совестью; они защищены именем бога, словно пожизненной индульгенцией, а в тихом переулке их ждет какая-нибудь полногрудая, степенная женщина, с которой они отдыхают от благочестивых мин и церковных запретов, дымя сигареткой и поглаживая пухлые руки!

Потом на него нахлынули другие мысли: какого же сорта женщины Сан-Жоанейра и ее дочь, если они живут за счет старческого сластолюбия каноника Диаса? Конечно, Сан-Жоанейра была миловидна, хорошо сложена, привлекательна, но когда это было! Через сколько же рук должна была она пройти, пока, спускаясь по склону лет, не нашла пристанища в старинковской, скупо оплачиваемой любви? Черт побери, эти две бабенки далеко не скромницы! Они содержат пансион для холостяков, живут на деньги, которые платят мамаше за внебрачное сожительство. Амелия отправляется одна и в церковь, и за покупками, и в усадьбу. С такими черными глазенками не мудрено, если у нее уже был любовник! Амаро обдумывал, сопоставлял... Однажды Амелия показывала ему в кухне вазон с кустиком ломоноса; они были одни, и девушка, сильно разрумянившись, положила руку ему на плечо; глаза ее блестели и словно просили о чем-то; в другой раз она коснулась грудью его плеча!

Стемнело, сеялся мелкий дождь. Амаро не замечал непогоды. Он торопливо шагал, упиваясь мыслью, от которой его бросало в дрожь: стать любовником Амелии, как Диас был любовником ее матери! Он уже рисовал себе новую жизнь — бесстыдную и сладкую: пока Сан-Жоанейра наверху возится со своим неповоротливым астматиком, Амелия бесшумно спустится по лестнице к нему, Амаро, придерживая рукой белую юбку, накинув шаль на оголенные плечи... С каким бешеным нетерпением он будет ждать ее! И Амаро чувствовал, что прежняя сентиментальная, почти мучительная любовь исчезает и на ее месте

водворяется озорная мысль о тайном сожительстве двух духовных лиц с двумя женщинами — матерью и дочерью,— и эта скандальная мысль возбуждала в священнике, давшем обет целомудрия, порочную радость. Он шел быстро, почти бежал. Славную квартирку подыскал ему каноник!

Дождь теперь лил как из ведра. Когда падре Амаро вернулся домой, в столовой горел свет. Он поднялся наверх.

— У, как вы простыли! — сказала Амелия, пожимая ему руку и чувствуя холод осевших на его коже капелек дождя.

Она сидела за столом и шила, накинув на плечи шаль; Жоан Эдуардо, рядом с ней, играл в биску с Сан-Жоанейрой.

Амаро смутился. При виде клерка он ощутил, сам не зная почему, как бы удар в сердце; то было столкновение с беспощадной действительностью. Все надежды, только что плясавшие неистовую сарабанду в его воображении, разом погасли, померкли. Амелия в закрытом темном платье сидела рядом со своим женихом, склонясь над целомудренными пяльцами, при свете семейной керосиновой лампы!

И все вокруг казалось таким благонравным: стены, оклеенные обоями в зеленых листочках, буфет со сверкающей фарфоровой посудой из Виста-Алегре, симпатичный пузатый кувшин для воды, старенькое фортепьяно, едва державшееся на своих трех точеных ножках; любимая вещица Сан-Жоанейры — подставка для зубочисток: пухлый купидон с раскрытым зонтом, в котором, как иглы ежа, торчали зубочистки; уютная семейная игра в биску, под привычные шутки и прибаутки. Все так прилично!

Амаро разглядывал жирные складки кожи на шее Сан-Жоанейры, словно ища на них следы поцелуев каноника. «Уж ты-то,— сомнений нет! — ты сожительствуешь со священником!» Это так. Но Амелия? Он смотрел на ее длинные опущенные ресницы, на свежие губы... Нет, конечно, она даже не подозревает о распутстве своей маменьки; или, может быть, слишком рано узнав жизнь, твердо решила устроить свое будущее надежно, отдав его под защиту узаконенной любви. Из своего темного угла Амаро долго всматривался в лицо девушки, стремясь найти в его безмятежных чертах подтверждение ее невинности.

— Вы устали, сеньор настоятель? — спросила его Сан-Жоанейра и тут же крикнула Жоану Эдуардо: — Это же козырь, ах вы, разиня!

Влюбленный клерк был рассеян.

— Вам ходить! — то и дело напоминала ему будущая теща.

Но он тут же забывал «прикупить».

— Ах, юноша, юноша! — журила она его своим спокойным, тягучим голосом,— бить вас некому!

Амелия шила, не поднимая головы. На ней была надета широкая черная жакетка со стеклянными пуговицами, скрывавшая формы ее груди.

И Амаро злился на нее за то, что она не отрывает глаз от рукоделия, и за то, что широкая жакетка мешает ему любоваться ее красотой. Никакой надежды, никакой. Ничто в этой девушке не принадлежит ему — ни сиянье ее глаз, ни белизна ее груди! Она желает законного брака и бережет все для другого, для этого болвана, который разнеженно улыбается, выходя с туза пик. И священник вдруг возненавидел Жоана Эдуардо люто, завистливо — за черные усы и за право любить.

— Вам нездоровится, сеньор падре Амаро? — спросила Амелия, заметив, что он беспокойно дернулся на стуле.

— Нет,— отвечал Амаро сухо.

Она слегка вздохнула и еще живее заработала иглой.

Жених, тасуя карты, сказал, что думает снять отдельный домик; разговор перешел на планы будущего устройства их семейной жизни.

— Подайте мне лампу! — крикнул Амаро Русинье.

Вне себя, он спустился в нижний этаж и, ставя лампу на комод, нечаянно увидел свое отражение в зеркале. И он показался себе противным, гадким, безобразным: гладенько выбритое лицо, круглый крахмальный воротничок, торчащий вокруг шеи, как хомут, на темени — гнусная тонзура. Он невольно сравнил себя с *тем*... У *того* черные усы, пышные волосы и полная свобода! Чего я грызу себя? Тот — нормальный человек, муж; он может дать ей имя, может дать ей дом и семью; я дам ей только порочные удовольствия и страх быть наказанной за грех. Возможно, она неравнодушна ко мне, хоть я и священник; но прежде всего, больше всего она хочет выйти замуж. И это естественно! Она бедна, красива, одинока; конечно, она стремится к прочному положению, ей нужно уважение соседок, почет от лавочников — все преимущества, какими пользуется честная женщина.

Он ненавидел Амелию, ее закрытое платье, ее порядочность!

Она дура, она не понимает, что рядом с ней, под черным подрясником, благоговейная страсть стережет ее, следует за ней по пятам, трепещет и умирает от нетерпения! Лучше бы она

была такой же, как ее мать, или нет, еще распутней: бесстыдной потаскушкой в пестром наряде, из тех, что закидывают ногу на ногу и дерзко разглядывают мужчин, доступные каждому, как открытая дверь...

«Что это! Неужто я желаю, чтобы девушка была развратницей! — вдруг подумал он со стыдом, опомнившись.— Еще бы! Ведь мы, католические священники, не можем мечтать о порядочных женщинах, нам нужны проститутки. Нечего сказать, хорошее вероучение!»

В комнате было душно; он открыл окно. Все небо затянули тучи, но дождь перестал. Только уханье сов над богадельней нарушало тишину.

И эта тьма, это безмолвие вдруг размягчили его сердце; он почувствовал, что из глубины его существа вновь поднимается прежняя любовь к Амелии — чистая, нежная, трепетная: в густой темноте ночи перед ним опять возник ее образ, проникнутый возвышенной красотой, осиянный новым светом, и вся его душа рванулась к ней в самозабвенном обожании, какое знают только ангелы, поклоняющиеся деве Марии. Он молил о прощении за то, что оскорбил ее в помыслах, он говорил, почти кричал: «Ты святая! Прости меня!»

То был блаженный миг; Амаро отрекался навсегда от плотских вожделений...

Он и сам не знал, что способен на столь утонченные переливы чувств; он дивился себе и с тоской думал: «Если бы я был свободен, каким хорошим мужем был бы для нее! Любящим, заботливым, преданным, влюбленным! Как бы я любил нашего сына, чудесного малютку, который дергал бы меня за бороду!» При мысли об этом недоступном счастье слезы выступили у него на глазах. И он в отчаянии проклял «балаболку маркизу», отдавшую его в священники, и епископа, который посвятил его в сан.

— Они погубили меня! Погубили! — твердил он, не помня себя.

В это время на лестнице послышались шаги Жоана Эдуардо и зашуршала юбка Амелии. Он подбежал к двери и стал смотреть в замочную скважину, от ревности больно закусив губу. Дверь на улицу стукнула. Амелия пошла наверх, тихонько напевая.

Порыв мистического обожания, навеянного на Амаро ночной темнотой, прошел без следа. Он лег в постель с неистовым желанием насладиться поцелуями Амелии.

VII

Несколько дней спустя падре Амаро и каноник Диас отправились на званый обед в Кортегасу, к тамошнему аббату, жизнерадостному старику, щедро помогавшему бедным. Уже тридцать лет он служил в своем приходе и слыл лучшим знатоком кухни в епархии. Все окрестное духовенство имело возможность убедиться, как вкусно он умеет готовить потроха из дичи. Аббат праздновал день своего рождения. Падре Амаро и каноник Диас застали у него еще двоих приглашенных: падре Натарио и падре Брито. Падре Натарио был очень сухощавым и желчным священником, весьма раздражительного нрава; за злые глазки, глубоко сидевшие на изрытом оспинами востроносом лице, он получил прозвище «Хорек». Падре Натарио считался светлой головой, мастером дискуссии, а также очень знающим латинистом и человеком железной логики. О нем говорили, что у него змеиный язык! Под его опекой жили две сиротки-племянницы, и он всюду кричал о своей непомерной к ним любви, восхвалял их добродетели и имел обыкновение называть их «двумя розами своего вертограда». Падре Брито был самым сильным и самым глупым священником в епархии. Лицом, ухватками, выпиравшей из него жизненной силой он походил на крепыша-бейранца, из тех, что лихо орудуют дубинкой, выпивают в один присест бочонок вина, ловко управляются с сохой, подносят тесаные камни при постройке сараев, а в жаркие часы июньской сиесты грубо хватают девушек и валят на кучу кукурузной соломы. Сеньор декан, всегда точный в своих мифологических сравнениях, называл его «немейским львом».

И действительно, у падре Брито была огромная голова с косматой, похожей на шерсть гривой, закрывавшей весь лоб до бровей; обветренное лицо отливало синевой, оттого что он слишком усердно скреб его бритвой; когда он разражался своим свирепым смехом, можно было видеть зубы, мелкие и очень белые от кукурузного хлеба.

Гости уже рассаживались вокруг стола, когда в страшных попыхах явился Либаниньо с каплями пота на лысине, усиленно виляя бедрами и пронзительно вереща:

— Ох, любезные мои чада! Извините, задержался! Был в церкви Пресвятой девы отшельницы, как раз подоспел к мессе. Ох, милые мои! Досыта наслушался, намолился, вот утешенье-то, вот утешеньице мне!

В это время Жертруда, толстая экономка аббата, внесла суповую миску с куриным бульоном, и Либаниньо заюлил вокруг нее со своими обычными шуточками:

— Ох, Жертрудинья! И лакомый же ты кусочек, хоть кого в соблазн введешь!

Старая крестьянка ответила с грубоватым, добродушным смехом, от которого затряслись ее необъятные груди:

— Ишь выискался и мне женишок на старости лет!..

— Милая ты моя! Женщины, что груши: хороши только спелые да бокастые. Тут-то их и пробовать!

Священники хохотали до упаду; не переставая смеяться, они расселись вокруг стола.

Весь обед сеньор аббат приготовил собственноручно; отведав супа, гости разразились похвалами:

— Да, господа, вот это суп! Такого и в раю не попробуешь! Объедение!

Добряк-аббат раскраснелся от радости. По этой части он был, как выражался сеньор декан, «вдохновенным артистом». Он читал все поваренные книги, знал несметное число рецептов и даже сам придумывал кулинарные новшества. Постукивая себя пальцем по лбу, старый аббат говаривал: «Из этого котелка вышло немало вкусных блюд!» Он был так поглощен своим искусством, что иной раз на воскресной проповеди давал коленопреклоненной пастве, ждущей слова божия, советы о том, как варить треску или чем приправлять тушеную свиную печенку. Он жил припеваючи, в полном согласии со старой экономкой Жертрудой, тоже понимавшей толк в хорошей кухне, не мог нарадоваться на свой огород, где росли первосортные овощи, и лелеял одну-единственную мечту: когда-нибудь угостить обедом самого епископа.

— Падре Амаро,— говорил он, обращаясь к молодому священнику,— милый мой, прошу вас, еще немного потрошков! И обмакните в соус кусочек хлеба! Ну? Что скажете? — Затем скромно присовокуплял:— Может, нехорошо себя хвалить, но потроха мне сегодня удались!

И действительно, потроха были такие, что, по словам каноника Диаса, не устоял бы сам святой Антоний в пустыне!

Гости расстегнули воротнички под сутанами и ели вдумчиво, почти не разговаривая. Был канун празднования пресвятой девы всех скорбящих, и в соседней часовне звонили колокола; щедрое полуденное солнце играло на фарфоре, на пузатеньких голубых кувшинах с вином, на блюдах с красным перцем, на сложенных горкой черных маслинах, а гостеприимный аббат, вы-

пучив глаза и прикусив губу, уже нарезал беловатыми ломтями грудку фаршированного каплуна.

Столовая выходила в сад. Под самым окном цвели два куста алых камелий, а дальше, над верхушками яблонь, виднелся лоскут ярко-синего неба. Где-то скрипел колодец, стучали вальками прачки.

На комоде, среди тяжелых фолиантов, высилось на подставке распятие: худое тело Христа, испещренное багровыми ранами, скорбно желтело на фоне стены. По бокам приветливые святые под стеклянными колпаками приводили на память менее кровавые предания христианства: святой Христофор, незлобивый великан, неся божественного младенца на руках, переходит вброд реку, а младенец улыбается и подкидывает на ладошке, точно мячик, земной шар. Кроткий пастушок святой Иоанн, с овечьей шкурой на плечах, стережет свое стадо, подгоняя ягнят не палкой, а крестом. Добрый привратник святой Петр держит в глиняной руке два священных ключа от небесных врат. По стенам были развешаны нестерпимо яркие литографии: праотец наш святой Иосиф стоял, опираясь на свой посох, расцветший белыми лилиями; вздыбившийся конь святого Георгия топтал копытами брюхо застигнутого врасплох дракона; святой Антоний, улыбаясь, беседовал с акулой на берегу ручья. Звон бокалов, стук ножей наполнял непривычным весельем старинную столовую с почерневшим от копоти дубовым потолком. Либаниньо ел за троих, не забывая свои прибаутки:

— Жертрудинья, тростиночка, передай-ка сюда блюдо с фасолью. Не смотри на меня так, плутовка, ей-богу, сердце замирает!

— Просто бес, а не человек! — смеялась старуха.— Что на него нашло? Сказал бы мне все это лет тридцать назад, озорник, право!..

— Ох, красоточка! — восклицал Либано, вращая глазами.— Не распаляй ты меня! Ей-богу, по спине мурашки бегают!

Священники помирали со смеху. Два кувшина с вином уже опорожнились; падре Брито расстегнул подрясник, выставив на всеобщее обозрение шерстяную фуфайку ковильянской шерсти с синей фабричной маркой, изображавшей сердце и крест.

На пороге вдруг появился старик-нищий, жалостно бубня «Отче наш»; Жертруда сунула в его суму половину кукурузного хлеба, а священники заговорили о толпах попрошаек, наводнивших все приходы.

— Бедность! Очень много неимущих в наших краях! — сокрушался добряк-аббат.— Друг Диас, я положу вам еще кусочек крылышка!

— Да, бедность большая, но и лень немалая,— жестко возразил падре Натарио.— Во многих поместьях не хватает поденщиков, а вот такие детины, с сосну ростом, ходят по домам и хнычут: «Подайте, Христа ради, на хлебушек!» Бездельники! — заключил он.

— Полно вам, падре Натарио, полно уж! — сказал аббат.— Есть и настоящая бедность. В здешних местах целые семьи — муж и жена и пятеро детей — спят на полу, как свиньи, и кормятся одними лишь овощами, огородной зеленью...

— А чем ты хочешь, чтобы они кормились? — воскликнул каноник Диас, облизывая пальцы после того, как обглодал крылышко.— Что же им прикажешь есть? Жареных павлинов? По одежке протягивай ножки!

Добряк-аббат натянул на живот салфетку, устроился поудобней и ласково сказал:

— Бедность угодна господу богу.

— Ох, милые мои! — заскулил Либаниньо.— Если бы на свете жили одни бедняки, так и было бы на земле царствие божие!

Падре Амаро веско возразил:

— Но небу нужны и богатые, иначе кто будет жертвовать на богоугодные дела, воздвигать храмы...

— Собственность должна находиться в руках церкви,— перебил Натарио не терпящим возражений тоном.

Каноник Диас громко рыгнул и поддержал его:

— Для вящей славы религии и укрепления веры.

— Главная причина нищеты,— поучал Натарио,— безнравственность.

— Да, это правда, что и говорить! — горячо подхватил аббат.— В моем приходе двенадцать незамужних девушек беременны! И заметьте, господа: когда я вызываю их к себе и начинаю стыдить, они фыркают мне прямо в лицо!

— В наших местах не хватало рабочих для сбора маслин,— поддержал его падре Брито,— и к нам прибыли сезонники наниматься на работу. Так если бы вы только видели! Какой разврат! — И он принялся рассказывать про этих бродячих поденщиков, мужчин и женщин, которые странствуют по дорогам и предлагают наняться на работу то в одном, то в другом хозяйстве, спят вповалку, умирают как собаки.— Они никакого языка, кроме палки, не понимают!

— Ох! — охал Либаниньо, хватаясь за голову.— Ох! Сколько на свете греха! Волосы дыбом встают!

— Но хуже всего ведут себя в приходе Санта-Катарина! Даже замужние женщины потеряли всякий стыд.

— Хуже свиней,— подтвердил падре Натарио, расстегивая пряжку на жилете.

Падре Брито рассказал историю, случившуюся у него в приходе Амор: девушки шестнадцати—восемнадцати лет завели моду собираться на сеновале у Силверио и проводить там ночь с целой шайкой здоровенных парней!

Тогда падре Натарио, у которого глаза уже блестели ярче обыкновенного, а язык развязался, откинулся в кресле и громко сказал:

— Не знаю, что делается в твоем приходе, Брито, но если что и было, так им есть с кого брать пример... Мне говорили, у тебя у самого с супружницей старосты...

— Враки! — рявкнул Брито, побагровев.

— О, Брито, Брито! — заговорили вокруг, добродушно унимая его.

— Враки! — рычал он.

— Между нами говоря, друзья,— сказал каноник Диас, с бедовым огоньком в глазах и понизив голос,— надо признать, старостиха — бабенка хоть куда!

— Враки! — еще раз заорал Брито и, захлебываясь, продолжал: — Я знаю, кто распустил сплетню: владелец Кумеады! Все потому, что староста голосовал за другого кандидата! Но погоди... Я не я, если не переломаю ему кости! — Он размахивал кулаками, глаза его налились кровью.— Все кости переломаю!

— Да брось, чего ты расходился. Подумаешь! — унимал его Натарио.

— Кости переломаю! Зубов не соберет!

— Ох, успокойся, милый. Как есть лев! — нежно сюсюкал Либаниньо.— Не греши, золотой мой!

Поскольку речь зашла о Кумеаде, влиятельном человеке из оппозиции, в чьих руках было по меньшей мере двести голосов, священники заговорили о прошлых выборах и стали рассказывать друг другу всякие памятные случаи. Все они, за исключением падре Амаро, владели секретами предвыборной кухни и умели, как выразился Натарио, «испечь депутата, какого надо». Посыпались анекдоты; каждый спешил похвастать своими подвигами.

Падре Натарио во время последних выборов завербовал восемьдесят голосов!

— Вот это да! — ахнули все.

— И знаете как? Посредством чуда!

— Чуда?

— Да! Представьте себе!

Натарио сговорился с одним миссионером, и накануне выборов в приход пришли письма с неба, за подписью девы Марии, которая просила прихожан, стращая их адом и суля вечное спасение, чтобы они голосовали за кандидата правящей партии. Славно, а?

— Чистая работа! — восторгались священники.

Никто не удивился, кроме Амаро.

— Дети мои! — простодушно сказал аббат.— Вот бы мне догадаться. А я-то ходил по домам, обивал пороги! — И он прибавил с ласковой улыбкой: — Только одно и спасает: жертвуешь своим жалованьем...

— А также исповедь,— сказал падре Натарио,— исповедь много дает; тут можно действовать через женщин. Это дело верное.

Падре Амаро, до сих пор молчавший, сказал без улыбки:

— Но ведь исповедь — одно из важнейших таинств; использовать его для выборов...

Падре Натарио, у которого уже выступили красные пятна на щеках, брякнул, забыв свою обычную сдержанность:

— Неужто сеньор падре Амаро принимает исповедь всерьез?

Все замерли от удивления.

— Принимаю ли я исповедь всерьез? — переспросил падре Амаро, отшатнувшись и широко раскрыв глаза.

— Ну, ну! — зашумели священники.— Что ты, Натарио? Что ты, брат?

Падре Натарио, разгоряченный от выпитого, спешил объясниться, смягчить свои слова:

— Да послушайте, господа! Я вовсе не говорю, что исповедь — чепуха. Я не масон! Я только хотел сказать, что это средство, помогающее убеждать, помогающее узнавать, что происходит вокруг тебя, и тогда легче направлять вверенное тебе стадо в нужную сторону... С точки зрения церкви, исповедь — это оружие. Вот что такое исповедь: оружие!

— Оружие! — изумились сотрапезники.

Аббат укоризненно покачал головой:

— Эх, Натарио! Зарапортовался ты, брат! Это уж я не знаю что!

Либаниньо крестился, твердя: «Экий страх, экий страх, поджилки трясутся!»

Натарио раздражался все больше.

— Вы хотите меня уверить, что любой из нас, только в силу своего сана, в силу того, что епископ трижды возложил на него руки и сказал accipe [1], уже воплощает в себе бога и сам становится богом, чтобы отпускать грехи?!

— Конечно! — закричали все.— Конечно!

Каноник Диас процитировал, помахивая вилкой с насаженной на нее фасолью:

— «Quorum remiseris peccata, remittuntur eis» [2]. Такова формула. Формула — это все, душа моя...

— Исповедь заключает в себе самую суть священства,— заговорил Амаро, строго глядя в глаза Натарио и пытаясь вразумить его, как забывчивого школяра,— перечитайте святого Игнатия! Перечитайте святого Фому!

— Так его! — закричал Либаниньо, подпрыгивая на стуле.— Так его, милейший падре Амаро! Стукните по башке этого нечестивца!

— Эх, господа! — вскричал Натарио, раздраженный до крайности тем, что ему противоречат.— Ответьте мне на один вопрос (он рывком повернулся к Амаро): вот вы, например, только что позавтракали, съели ломтик поджаренного хлеба, пили кофе, выкурили сигаретку, потом пошли в исповедальню; вы озабочены своими домашними делами, думаете о том, что денег не хватает; у вас болит голова или бурчит в животе — и что же: вы воображаете, что вы бог и можете отпускать грехи?

Этот довод поставил всех в тупик.

Каноник Диас, положив вилку, воздел руки к небу и с шутовской торжественностью возопил:

— Hereticus est! Он еретик!

— Hereticus est! Вот и я говорю,— буркнул падре Амаро.

Но в этот миг Жертруда внесла блюдо с рисовой запеканкой.

— Не будем спорить об этих высоких материях,— предложил миролюбец-аббат,— займемся лучше запеканочкой. Жертруда, подай-ка нам ту бутылку портвейна!

---

[1] Прими, познай; будь посвящен *(лат.)*.

[2] Грехи будут отпущены тем, кому вы (то есть священники) их отпустите *(лат.)*.

Натарио, перегнувшись через стол, все еще метал в Амаро копья своих аргументов:

— Отпускать грехи — значит проявлять силу благодати. Благодать есть атрибут бога; ни у одного автора вы не найдете ни слова о том, что благодать может передаваться какому-либо лицу. Следовательно...

— Я могу выдвинуть сразу два возражения...— кричал Амаро, подняв палец, как подобает в богословской полемике.

— Ох, дети мои, милые! — стонал аббат.— Оставьте этот спор, вы даже не слышите, как чудно рис пахнет!

Успокоив их, он налил каждому портвейна, наполняя бокалы медленно, по всем правилам искусства.

— Тысяча восемьсот пятнадцатого года! — приговаривал он.— Такое вино не каждый день доводится пить.

Чтобы оценить его должным образом, сотрапезники поуютней раскинулись на старых кожаных креслах, подняли бокалы, полюбовались вином на просвет; потом пошли тосты. Первый гост провозгласили за аббата. Тот бормотал:

— Весьма польщен... Весьма польщен!

На глаза у него даже слезы навернулись.

— За здоровье его святейшества Пия Девятого! — пропищал Либаниньо, размахивая бокалом.— За мученика!

Они выпили с волнением. Тогда Либаниньо затянул фистулой гимн Пия IX; осторожный аббат попросил его замолчать, чтобы не услыхал садовник, подстригавший в саду буксы.

За десертом сидели долго, смакуя каждое блюдо. Натарио настроился на нежный лад, говорил о своих племянницах, «двух розах», и, обмакивая каштаны в вине, цитировал Вергилия. Амаро, откинувшись на спинку кресла и засунув руки в карманы, смотрел невидящими глазами на деревья в саду и смутно думал об Амелии; в его воображении возникали очертания ее тела, желание томило его, он тихонько вздыхал, а в это время падре Брито, багровый от ярости, обещал переубедить республиканцев дубиной.

— Да здравствует дубина нашего падре Брито! — восторгался Либаниньо.

Но Натарио вдруг завел спор с каноником об истории церкви: неутомимый полемист вернулся к своим туманным доводам относительно учения о благодати и утверждал, что любой преступник и даже отцеубийца может быть причислен к лику святых, если на него снизойдет божья благодать! Он разглагольствовал, пересыпая свою речь формулами семинарской учености, в которых заплетался его язык. Он привел в

Преступление Падре Амаро

пример нескольких угодников, которые вели беспутную жизнь: к лику святых причислены и те, кто по самой своей профессии были не чужды зла, предавались пороку и любили его. Подбоченившись, падре Натарио воскликнул:

— Святой Игнатий был военным!

— Военным?! — изумился Либаниньо; он вскочил со стула, подбежал к Натарио и обнял его за шею в припадке ребячливой, пьяной нежности: — Военным? Какого рода войск? Какое воинское звание носил наш возлюбленный святой Игнатий?

Натарио оттолкнул его.

— Отцепись от меня, чучело. Он был егерским сержантом.

Все захохотали. Либаниньо зашелся от восторга.

— Егерским сержантом! — повторял он, воздевая к небу руки.— Наш возлюбленный святой Игнатий дослужился до егерского сержанта! Да пребудут с ним хвала и благословение на вечные времена!

Аббат предложил пить кофе в саду, под виноградным навесом.

Было три часа. Священники направились в сад, слегка пошатываясь, рыгая и хохоча. Один Амаро сохранил ясность в мыслях и твердость в ногах, но и он был в расслабленно-мечтательном настроении.

— Ну, а теперь, дорогие коллеги,— сказал аббат, допивая кофе,— самое время совершить прогулку по усадьбе.

— Для моциона! — согласился каноник, с трудом поднимаясь на ноги.— Пойдемте осмотрим усадьбу аббата.

Они пошли по проселочной дороге в Барроку. Небо было ярко-синее, солнце пригревало, но не пекло. Дорога вилась между изгородями из колючего боярышника. За ними простирались убранные поля. Кое-где ярко выделялись своей тонкой листвой оливы. На дальних холмах темнели сосны, все было тихо кругом; лишь где-то вдали, на невидимой отсюда дороге, скрипела телега. Священники валили гурьбой по тихому проселку, ноги их заплетались, в глазах горел огонек, переполненные животы колыхались; они благодушно пошучивали и находили, что жизнь — превосходная штука.

Каноник Диас и аббат шли под руку и спорили. Падре Брито, не отставший от Амаро, клялся, что выпустит кишки владельцу Кумеады.

— Успокойтесь, коллега Брито, успокойтесь,— урезонивал его Амаро, попыхивая сигаретой.

Но Брито с пьяным извозчичьим упорством продолжал бушевать:

— Я ему все кости переломаю!

Либаниньо в одиночестве замыкал шествие, напевая тоненькой фистулой:

Птичка-невеличка,
Лети сюда скорей...

Впереди всех шагал падре Натарио; его плащ, перекинутый через руку, волочился по земле; в прорехе расстегнутого на спине подрясника виднелся грязноватый жилет. Тощие ноги в черных шерстяных чулках, пестревших разноцветными штопками, выписывали кренделя, плечи то и дело цеплялись за боярышниковую изгородь.

Между тем падре Брито, тяжко дыша винным перегаром, хрипел:

— Я успокоюсь... успокоюсь... когда возьму дубину и разнесу все к черту! — и взмахивал руками так, словно загребал в свои лапы целый мир.

Подрезали ей крылья,
Не летать уж ей...—

пищал сзади Либаниньо.

Вдруг все остановились. Натарио злобно кричал на кого-то:

— Где твои глаза, осел? Грязное животное!

На повороте дороги он наткнулся на старика, гнавшего овцу, и чуть не упал; теперь в припадке дикой пьяной злобы он грозил крестьянину кулаком.

— Прошу прощенья у вашей милости,— смиренно ответил тот.

— Грязное животное! — кричал, сверкая глазами, Натарио.— Я тебе покажу!

Старик что-то бормотал, сдернув шапку. К его потному лбу прилипли пряди седых волос. По виду судя, это был батрак, состарившийся на тяжелой крестьянской работе, возможно, уже дед... Согнувшись в низком поклоне, красный от стыда, он жался к изгороди, чтобы дать дорогу подвыпившим господам священникам!

Амаро решил уклониться от осмотра усадьбы. На околице деревни, увидя перекресток, он свернул на Собросскую дорогу, чтобы вернуться в Лейрию.

— До города не меньше мили,— предупредил его аббат,— прикажу-ка я лучше запрячь для вас лошадку, коллега!

— Пустяки, сеньор аббат, ноги меня пока еще носят! — И, весело перекинув через плечо плащ, Амаро ушел, напевая «Прощай».

Близ Кортегасы Соборосская дорога расширяется и бежит вдоль ограды какого-то поместья, поросшей мхом и усаженной поверху осколками бутылочного стекла. Когда Амаро поравнялся с низкими красными воротами скотного двора, он увидел на дороге крупную пятнистую корову; рассмеявшись, Амаро начал дразнить ее зонтиком; корова побежала, покачивая выменем. Амаро обернулся — и увидел в воротах Амелию. Она улыбалась и качала головой:

— Что же вы скотину пугаете, сеньор настоятель?

— Менина Амелия, вы? Какими судьбами?

Она едва заметно покраснела.

— Я приехала сюда с доной Марией де Ассунсан — поглядеть, все ли в порядке в нашей усадьбе.

Возле Амелии крестьянская девушка укладывала в корзину кочаны капусты.

— Так это усадьба доны Марии? — спросил Амаро и шагнул в ворота.

— Да. А наша — с другой стороны, но можно пройти и здесь. Ну, Жоана, довольно копаться!

Девушка поставила корзину себе на голову, пожелала барышне и сеньору настоятелю доброго вечера и ушла, покачивая бедрами, по Соборосской дороге.

— Неплохая усадьба у доны Марии,— заметил падре Амаро.

— Пойдемте осмотрим нашу! — сказала Амелия.— Это всего лишь клочок земли, но я хочу, чтобы вы видели... Вход у нас общий... Знаете что? По дороге мы можем зайти поболтать с доной Марией, согласны?

— Отлично. Пойдемте к доне Марии.

Они молча пошли вверх по дубовой аллее. Земля была сплошь усеяна палым листом; между редко рассаженными дубами клонились стебли прибитых дождем гортензий. В глубине сада стоял низкий, ветхий одноэтажный дом, как бы вросший в землю. У его стен дозревали на солнце крупные тыквы, а над крышей, почерневшей от зимней непогоды, кружили голуби. Позади дома кудрявилась густая черно-зеленая листва апельсиновых деревьев, где-то однообразно скрипел колодец.

Появился мальчишка, несший лохань с помоями.

— Где сеньора, Жоан? — спросила Амелия.

— Сеньора в оливковой роще,— протяжно отвечал мальчуган.

Оливковая роща была далеко от дома, в другом конце усадьбы; всюду еще стояли лужи, добраться туда без башмаков на деревянной подошве нечего было и думать.

— Мы вымажемся с головы до ног,— сказала Амелия.— Оставим в покое дону Марию, как вы думаете? Пойдемте лучше прямо на наш участок... Вот сюда, сеньор падре Амаро...

Им перегораживал дорогу старый забор, увитый ползучим ломоносом; Амелия отперла зеленую калитку, и по трем расшатанным каменным ступеням они спустились в аллею, затененную шпалерами винограда. Вдоль забора росли розы, цветущие круглый год; в просветах между каменными столбами, подпиравшими решетку, и узловатыми лозами золотился под лучами солнца желтовато-зеленый газон. Вдали темнела низкая соломенная крыша коровника, легкий белый дымок тянулся вверх и таял в синем небе.

Амелия останавливалась на каждом шагу и объясняла расположение усадьбы:

— Вот тут будут сеять овес; там дальше посажен молодой лук, такой удачный, стоило бы взглянуть...

— О, я вижу, у доны Марии де Ассунсан хозяйство в образцовом порядке!

Амаро слушал, поглядывая на девушку сбоку, из-под полуопущенных век; ее голос казался ему здесь еще мягче и звучнее. На свежем воздухе щеки ее разрумянились, глаза блестели. Она приподняла подол платья, чтобы перепрыгнуть через лужу, и вид мелькнувшего на миг белого чулка взволновал его, как обещанье наготы.

Дойдя до конца аллеи, они пошли вдоль ручья, через лужайку. Амелия смеялась над священником: оказалось, что он боится жаб. Амаро стал нарочно преувеличивать свои опасения: «Право, менина Амелия, верно, тут и гадюки водятся!» Он жался к ней, чтобы не ступать по густой траве.

— Видите вон ту изгородь? Там начинается наша усадьба. Войти можно через калитку. Вы немного устали, да, сеньор настоятель? Видно, что не привыкли ходить!.. Ой, жаба!

Амаро отскочил и схватил Амелию за плечи. Она мягко отстранила его с ласковым смешком:

— Ах вы, трусишка!

Амелия была счастлива; она вся так и светилась жизнью и с увлечением говорила о Моренале, гордясь своими познаниями в сельском хозяйстве и положением землевладелицы.

— А калитка, кажется, заперта,— заметил Амаро.

— Заперта? — удивилась она, затем, приподняв юбки, побежала к изгороди. Калитка, действительно, оказалась на запоре. Какая досада! Амелия нетерпеливо трясла ее тонкие перекладины, вделанные в крепкие боковые столбы, густо оплетенные ветвями боярышника. Управляющий унес ключи!

Она перевесилась через плетень и стала протяжно звать:

— Антонио! Антонио!

Никакого ответа.

— Ушел на ту сторону участка! — сказала она.— Вот досада! Но ничего. Если хотите, мы все-таки туда проберемся. В изгороди есть дырка — козий лаз.

Она пошла вдоль изгороди, весело разбрызгивая лужи.

— Когда я была маленькая, то никогда не ходила через калитку, а непременно лазала через изгородь. Сколько раз шлепалась в лужу, особенно после дождя, когда скользко! Я была настоящий бесенок, вы не поверите! Теперь и не скажешь, правда, сеньор настоятель? Ах, скоро я буду совсем старухой! — И, повернувшись к нему, она повторила с улыбкой, блестя белыми зубами: — Ведь верно? Я уже старая!

Амаро улыбался. Ему трудно было говорить. Солнце пекло затылок, он немного захмелел от выпитого у аббата вина, и его охватило ленивое томление; каждый изгиб ее тела, вид ее плеч, ее шеи возбуждали в нем сильное, все нарастающее желание.

— А вот и козий лаз! — сказала Амелия, останавливаясь.

Это был узкий пролом в изгороди. По другую ее сторону, образуя как бы ступеньку, шла глинистая низина, вся покрытая скользкими лужами. Отсюда была видна усадьба Сан-Жоанейры: ровный луг в белых звездочках маргариток, потом оливковая роща; черная пятнистая корова паслась на лугу, а вдали видны были островерхие крыши дома и сараев, и над ними стаи воробьев.

— Что же теперь? — спросил Амаро.

— А теперь надо прыгать! — отвечала она, смеясь.

— Гоп-ля! — крикнул он, приподнял плащ и прыгнул, поскользнувшись на мокрой траве. Тогда Амелия, звонко хохоча, стала махать ему рукой, словно на прощанье:

— А теперь всего хорошего, сеньор падре Амаро, я иду к доне Марии. Вы арестованы в усадьбе. Вспрыгнуть наверх вы не можете, калитка заперта. Сеньор настоятель попал под арест!

— О менина Амелия! О менина Амелия!

Она запела, поддразнивая его:

Томлюсь я одна на балконе,
А мой милый томится в неволе!

Эти веселые ужимки волновали священника; протянув к ней руки, он ласково сказал:

— Прыгайте ко мне!

Она сказала капризным детским голоском:

— Ой, я боюсь! Боюсь!

— Прыгайте, менина!

— Держите! — крикнула она вдруг, прыгнула и ухватилась с легким криком за его плечи. Амаро поскользнулся, но устоял и внезапно, почувствовав ее тело в своих объятьях, страстно прижал ее к себе и впился губами в ее шею.

Амелия вырвалась и, тяжело дыша, с пунцовыми щеками, стояла перед ним, машинально приглаживая волосы и поправляя на груди дрожащими пальцами шерстяную накидку. Амаро сказал:

— Амелиазинья!

Но она подобрала платье и побежала прочь вдоль изгороди. Амаро, оглушенный случившимся, поспешил вслед за ней. Когда он дошел до калитки, Амелия стояла там с управляющим, который принес ключ. Они пошли обратно через луг, вдоль ручья, потом по виноградной аллее. Амелия, разговаривая с управляющим, шла впереди. Амаро следовал за ними, потупив голову, в глубоком унынии. Возле дома доны Марии Амелия остановилась и сказала, краснея и снова перебирая у шеи шерстяной шарф:

— Антонио, проводите сеньора настоятеля до ворот. Добрый вечер, сеньор настоятель.

И она побежала по сырой лужайке в глубь усадьбы, к оливковой роще.

Дона Мария де Ассунсан была еще там; она сидела на камне и беседовала с дядей Патрисио. Несколько женщин снимали длинными шестами плоды с ветвей.

— Что с тобой, дурочка? Чего так запыхалась? Господи, вот сумасбродка!

— Я бежала бегом,— ответила Амелия, вся красная, с трудом переводя дух.

Она села рядом с доной Марией и застыла на месте, сложив руки на коленях, тяжело дыша полуоткрытым ртом, неподвижно глядя в пространство. Одно всеобъемлющее чувство владело всем ее существом:

«Он любит меня! Он любит меня!»

Амелия уже давно была влюблена в падре Амаро — и не раз, оставшись одна у себя в комнате, давала волю своему отчаянию при мысли, что он не замечает ее любви! С самого первого дня, стоило ей услышать его голос, просивший подать вниз завтрак, непонятная радость пронизывала ее всю, и она начинала петь, как птица на заре. Ей казалось, что он о чем-то грустит. О чем? Прошлое его было ей неизвестно; она вспоминала монаха из Эворы и думала, что падре Амаро тоже пошел в священники из-за несчастной любви. Она идеализировала падре Амаро: ей казалось, что это избранная, нежная душа, что от его бледного, изящного облика веет каким-то особым очарованием. Она страстно желала, чтобы он стал ее духовником: как чудесно было бы стоять перед ним на коленях в исповедальне, и видеть у самого своего лица эти черные глаза, и слушать, как его мягкий голос говорит о райском блаженстве! Ей нравились его свежие губы; она бледнела при мысли о том, что могла бы обнять его или хотя бы прикоснуться к его длинной черной одежде! Когда Амаро уходил из дому, она прокрадывалась в его комнату, целовала подушку, прятала на память волосы, застрявшие в расческе. Лицо ее заливалось краской, когда внизу звякал колокольчик.

Если он обедал у каноника Диаса, Амелия весь день дерзила матери, ссорилась с Русой, отзывалась нелестно даже о самом Амаро, говорила, что он ломака, что он слишком молод и не внушает почтения.

Когда падре Амаро рассказывал про какую-нибудь новую прихожанку, она мрачнела, терзаясь ребяческой ревностью. Ее былая любовь к богу возродилась, но в какой-то чувственной форме: теперь она питала почти физическое влечение ко всему церковному; ей хотелось целовать долгими, частыми поцелуями и алтарь, и органные трубы, и требник, и фигуры святых, и балдахин над престолом, ибо все это сливалось для нее с образом Амаро, казалось частью его личности.

Она читала молитвенник и видела не бога, а Амаро, словно то был ее собственный, отдельный бог. А Амаро, расхаживая в волнении по своей комнате, даже не подозревал, что она прислушивается к каждому доносящемуся снизу шороху, и сердце ее колотится в лад с его шагами, и она замирает от нежности при мысли о нем, и обнимает подушку, и целует воздух, в котором ей мерещатся его губы!

Уже темнело, когда дона Мария и Амелия вернулись в город. Амелия ехала впереди, подстегивая прутиком своего осла,

а дона Мария следовала за ней и беседовала с батраком из усадьбы, который вел ее мула за уздечку. Когда они проезжали мимо собора, там ударили к вечерне. Амелия, твердя про себя «Аве Марию», смотрела не отрывая глаз на каменную кладку стен; ей казалось, они сложены так величественно только для того, чтобы *он* служил в них мессу! Она вспоминала воскресные службы, когда он под звон колоколов благословлял молящихся с верхней ступени алтаря — и все склонялись до земли, даже дамы Каррейро, даже баронесса де Вна Клара, даже супруга гражданского губернатора, такая гордая, так надменно вздергивавшая свой нос с аристократической горбинкой! Стоило ему поднять два пальца — и все они становились на колени и, наверно, тоже восхищались его черными глазами! И этот самый человек обнимал ее у изгороди! До сих пор у нее на шее горит его поцелуй! При этом воспоминании порыв страсти обжег ее всю, как огнем; она выпустила поводья, прижала руки к груди и, закрыв глаза, вложила всю свою душу в одну-единственную мольбу:

— О пречистая дева, мати всех скорбящих, пресвятая моя покровительница, сделай, чтобы он полюбил меня!

По двору собора ходили каноники, о чем-то разговаривая. Напротив, в аптеке, уже зажегся свет, сверкали банки с лекарствами, аптекарские весы; за стеклом виднелась фигура фармацевта Карлоса: он величаво двигался между шкафами, в расшитой бисером шапочке.

VIII

Падре Амаро возвращался домой со страхом.

— Что теперь будет? Что теперь будет? — спрашивал он себя, стоя в своей комнате у окна, и сердце у него холодело.

Оставался один выход: немедленно покинуть дом Сан-Жоанейры. Нельзя оставаться здесь, жить по-семейному после этой дикой выходки.

Правда, девушка не выказала особенного негодования; она скорее была ошеломлена; возможно, она сдерживалась из почтения к служителю церкви, из деликатности к маменькиному жильцу, рекомендованному сеньором каноником. Но ведь она расскажет матери, жениху...

Скандал! Амаро уже предвидел неприятный разговор с деканом: заложив ногу на ногу, пристально разглядывая провинившегося,— в такой позе декан всегда распекал подчиненных,— он внушительно и строго скажет: «Подобные безправ-

ственные поступки непоправимо роняют авторитет духовенства. Чем вы лучше какого-нибудь сатира, бесчинствующего на Олимпе?» Не исключено, что его снова зашлют в горы, в дальний приход... Что скажет сеньора графиня де Рибамар?

Но все равно: если будут продолжаться повседневные встречи в домашней обстановке, если он каждый день будет видеть эти черные глаза, нежную улыбку, ямочки на подбородке, полную грудь, страсть захлестнет его, и тогда все пропало... Каждая встреча лишь подстегивает его любовь, а совесть и страх загоняют внутрь. Да он с ума сойдет, а главное — выкинет какую-нибудь глупость!

Он решил поговорить с каноником Диасом; слабой душе Амаро нужно было найти опору в чужой воле, в чужом разуме; он привык во всем советоваться с каноником: церковная субординация поддерживала доверие к старшему по иерархии; у Амаро еще не совсем выветрилось засевшее с семинарских лет уважение к отцу наставнику. Сам он не мог бы даже подыскать квартиру и нанять прислугу; во всех житейских делах ему требовалась помощь каноника Диаса, знавшего Лейрию вдоль и поперек, словно он построил ее собственными руками.

Падре Амаро застал каноника в столовой. Лампа собиралась погаснуть, фитиль чадил. В камине тлели поленья, уже покрываясь серым налетом золы. Хозяин сидел с требником на коленях в глубоком кресле, накинув на плечи плащ и укутав ноги пледом, и дремал, пригревшись у огня. Коврижка тоже сладко спала на упавшем на пол конце пледа.

Услыхав шаги, каноник с трудом разлепил глаза и пробурчал:

— А я совсем было уснул! Кхм!

— Рано спать,— сказал Амаро,— еще и зорю не играли. Что это с вами?

— А! Это ты? — проснулся наконец каноник и ответил, зевая во весь рот: — Я поздно пришел от аббата, выпил чаю, ну и разморило... А ты где был?

— Я вернулся в город.

— Славно угостил нас аббат. Потроха были выше всяких похвал! А я хватил-таки лишнего! — ворчал каноник, сонно барабаня пальцами по обложке молитвенника.

Амаро сел подле него и стал мешать угли в камине.

— Знаете что, учитель? — сказал он вдруг; потом помолчал и тихо добавил: — Со мной вышел странный случай! — Он хотел продолжать, но удержался и только пробормотал: — Мне как-то не по себе; в последнее время выбился из колеи...

— Ты и правда что-то бледен,— сказал каноник, вглядевшись в него.— Прими-ка слабительного.

Амаро молча смотрел на огонь.

— Дело в том, что... Я решил переехать на другую квартиру.

Каноник поднял голову, вытаращил сонные глаза.

— Переехать на другую квартиру? Кхм!.. Почему?

Падре Амаро пододвинулся к нему поближе вместе со стулом и тихо сказал:

— Видите ли... Мне кажется, священнику не совсем удобно жить в доме, где одни женщины; тем более девушка-невеста...

— Что за вздор! Вот еще глупости... Ты жилец. Оставь, братец, эти мысли. Ты живешь как бы в гостинице...

— Нет, нет, учитель; я уже решил.

Амаро вздохнул. Ему хотелось, чтобы каноник начал его расспрашивать, облегчил бы ему признание.

— Тебе это только сегодня пришло в голову, Амаро?

— Это верно, сегодня. У меня есть на это свои причины.— Он чуть не сказал: «Я наделал глупостей»,— но ему стало стыдно, и он промолчал.

Каноник несколько мгновений смотрел на него.

— Говори, братец, напрямик, в чем дело?

— Я говорю напрямик.

— Тебе там дорого?

— Нет! — нетерпеливо отмахнулся Амаро.

— Так. Значит, что-нибудь другое?

— Конечно. Что прикажете делать? — И он прибавил игриво, чтобы угодить канонику: — Вкусное каждому нравится...

— Так, так! — засмеялся каноник.— Понимаю. Ты мне, как другу дома, деликатно намекаешь, что тебе у них скучно!..

— Да нет! — Амаро вскочил со стула; недогадливость каноника выводила его из себя.

— Ну, брат! — воскликнул каноник, разводя руками.— Ты хочешь переехать на другую квартиру, так должна же быть какая-то причина! По-моему, лучше чем у...

— Правильно! Правильно! — перебил его Амаро, возбужденно бегая по комнате.— Но я решил переехать! Прошу вас, приищите мне недорогую квартирку, с мебелью... Вы лучше моего разбираетесь в этих делах...

Каноник молчал, совсем утонув в кресле и почесывая подбородок:

— Недорогую квартирку...— пробурчал он наконец.— Что ж! Попробуем... Попробовать можно.

— Вы понимаете,— торопливо заговорил Амаро, подходя к нему вплотную,— у Сан-Жоанейры...

Но дверь скрипнула, и в столовую вошла дона Жозефа. Они поговорили о званом обеде у аббата, о насморке бедной доны Марии де Ассунсан, о больной печени милейшего каноника Саншеса. После этого Амаро ушел, уже почти радуясь, что не разоткровенничался с дорогим учителем.

Каноник размышлял, глядя на головешки в камине. Решение Амаро уехать от Сан-Жоанейры подоспело как нельзя более кстати. Когда каноник Диас привел на улицу Милосердия нового постояльца, он договорился с Сан-Жоанейрой, что уменьшит сумму, которую уже много лет выплачивал ей регулярно, каждое тридцатое число. Вскоре, однако, ему пришлось в этом раскаяться. Когда у Сан-Жоанейры не было постояльцев, она жила на первом этаже, и каноник мог наслаждаться без помех ее привязанностью: Амелия, спавшая в комнатке наверху, ни о чем не подозревала. Но когда в доме появился падре Амаро, Сан-Жоанейра уступила ему нижние комнаты, а сама спала на железной койке, рядом со спальней Амелии. С глубоким огорчением каноник убедился, что такие порядки «испортили ему всю музыку». Теперь он мог предаваться послеобеденному отдыху в объятиях своей Сан-Жоанейры лишь в том случае, если Амелия обедала в гостях, если Руса уходила на Фонтанную площадь за водой, если совпадали еще тысячи непредвидимых обстоятельств. И вот он, член епархиального совета, человек старый и себялюбивый, паче всего берегущий здоровье, вынужден ждать, ловить случай и вместо удовольствий, регулярных и согласных с гигиеной, терпеть неудобства, приличные разве лицеисту, влюбленному в учительницу. Если же Амаро от них съедет, Сан-Жоанейра вернется в свою спальню в нижнем этаже, и возобновится удобная свобода, полуденные свиданья... Правда, придется платить прежнюю сумму... Что ж, он будет платить!

— Какого черта! По крайней мере, хоть поживу в свое удовольствие! — заключил он.

— О чем это вы, братец, рассуждаете вслух? — спросила дона Жозефа, очнувшись от дремоты, навеянной теплом камина.

— Да вот, думаю, как буду умерщвлять плоть в великий пост! — ответил он со смехом.

В этот час Руса, как всегда, пришла звать падре Амаро к чаю. Он шел по лестнице медленно, сердце его замирало от страха. Он боялся гнева Сан-Жоанейры, которая, без сомнения, уже знала о случившемся. Но в столовой он застал одну Амелию. Услышав его шаги, она схватилась за рукоделие и, низко над ним склонясь, делала торопливые стежки — пунцовая, как платок, который обшивала для каноника.

— Добрый вечер, менина Амелия.

— Добрый вечер, сеньор падре Амаро.

Обычно Амелия встречала его дружеским возгласом «Ола!» или весело кричала: «А вот и вы!» Ее церемонный тон ужаснул священника; он сказал, запинаясь:

— Менина Амелия, прошу вас, простите меня... Я поступил отвратительно... Сам не знаю, что со мной случилось... Поверьте... Я решил покинуть ваш дом. Я уже просил каноника Диаса подыскать мне другую квартиру...

Он говорил, не смея поднять глаза, и не видел, как Амелия взглянула на него — удивленно и горестно.

В эту минуту вошла Сан-Жоанейра и, заметив падре Амаро, весело развела руки:

— Вы уже дома? Я все знаю, все знаю; мне падре Натарио говорил: обед был шикарный! Теперь рассказывайте все по порядку!

Амаро пришлось описать все блюда, шуточки Либаниньо, богословский спор; затем заговорили об усадьбе — и Амаро ушел к себе, так и не решившись сказать Сан-Жоанейре, что собирается от нее уехать: ведь для бедной женщины это означало потерю шести тостанов в день!

На другое утро каноник Диас зашел к Амаро, прежде чем отправиться на собрание капитула.

Падре Амаро брился у окна.

— Ола, дорогой учитель! Что новенького?

— Все улаживается отлично! Совершенно случайно, как раз сегодня... Неподалеку от меня имеется домик — просто находка! Там жил майор Нунес, но он переезжает в пятый номер.

Поспешность каноника не очень понравилась Амаро; он спросил довольно уныло, натачивая бритву:

— Дом меблирован?

— Да. Полный набор мебели, посуды, белья — все есть, что нужно.

— Так что...

— Так что перебирайся и живи в свое удовольствие. Между нами говоря, Амаро, ты совершенно прав. Я все это обду-

мал. Конечно, тебе удобнее жить одному. Словом, одевайся; надо осмотреть дом.

Амаро молча, с остервенением, скреб щеки.

Домик этот оказался на улице Соузас — одноэтажный, совсем ветхий, изъеденный червем. Мебель давно пора было, как выразился каноник, «уволить на пенсию». Кое-где на огромных черных гвоздях висели выцветшие литографии. Неряха майор Нунес превратил дом в свинушник: стекла были выбиты, полы заплеваны, стены исчирканы фосфорными спичками, а на подоконнике валялась пара заношенных до черноты носков.

Амаро согласился сюда переехать. В то же утро каноник Диас подыскал ему и кухарку, по имени Мария Висенсия, особу весьма набожную, тощую и длинную как жердь, когда-то служившую у доктора Годиньо. К тому же (что особо отметил каноник Диас) она приходилась родной сестрой небезызвестной Дионисии!

Эта Дионисия когда-то считалась «дамой с камелиями», Нинон де Ланкло, пленительной Манон города Лейрии: она удостоилась чести быть утехой двух гражданских губернаторов и грозного владельца Сертежейры; эта особа возбуждала в мужчинах неистовую страсть и была причиной неисчислимых слез и обмороков почти всех дам, имевших взрослых сыновей. Теперь она стирала и крахмалила чужие юбки, относила в ломбард вещи по поручению их владелиц, помогала при родах, покровительствовала «невинным адюльтерчикам» (по странному выражению старого дона Луиса де Баррозы, прозванного «Гнусным»), поставляла молоденьких крестьянок господам государственным сановникам, была в курсе любовных интриг не только Лейрии, но и всего округа. На улице Дионисия всегда появлялась в клетчатой шали, перекинутой через плечо, и грязноватом домашнем капоте, под которым подрагивали ее тяжелые груди; она ходила быстрыми, ловкими шажками, расточая улыбки, которые — увы! — утратили былую прелесть с тех пор, как сеньора Дионисия лишилась двух передних зубов.

Каноник в тот же вечер уведомил Сан-Жоанейру о переезде Амаро. Какое потрясение для добрейшей сеньоры! Она горько сетовала на неблагодарность сеньора соборного настоятеля.

Каноник, прокашлявшись, сказал:

— Выслушайте меня, сеньора. Это дело устроил я. И могу сказать почему: не скрою, все эти перемены с комнатами вредны для моего здоровья.

Он привел множество различных доводов гигиенического свойства и заключил, ласково погладив ее по спине:

— А что до денег, не горюйте, милая сеньора: я буду давать на расходы, как прежде. Нынче урожай был хороший, так что я подкину еще ползолотого девочке на булавки. А теперь поцелуй-ка меня, Августинья, баловница! И вот что: сегодня я у тебя обедаю.

Тем временем Амаро внизу упаковывал свои пожитки. Он поминутно останавливался, тяжело вздыхал, устремлял прощальный взор то на стены, то на мягкую кровать, то на стол, покрытый белой салфеткой, то на широкое, обитое ситцем кресло, в котором столько раз читал молитвенник, слушая, как наверху напевает Амелия, и говорил себе:

— Никогда! Больше никогда!

Не будет больше веселых утренних часов, когда он сидел подле нее и глядел, как она работает иглой! Не будет оживленных послеобеденных разговоров, затягивавшихся до темноты, пока не приходилось зажигать керосиновую лампу! Прощайте чаепития у камелька, под вой ветра за окном и однозвучное журчанье дождя в водосточных трубах! Всему, всему конец!

Сан-Жоанейра и каноник появились на пороге. Каноник сиял. Сан-Жоанейра сказала осипшим от слез голосом:

— Я все знаю. Ах, неблагодарный!

— Это правда, сеньора,— ответил Амаро, печально поводя плечами,— но есть на то свои причины... Я глубоко сожалею...

— Знаете, сеньор падре Амаро,— перебила его Сан-Жоанейра,— не примите за обиду, а только я вас как родного сына полюбила...— И она поднесла к глазам платок.

— Глупости! — закричал каноник.— Как будто он не может приходить к вам по-приятельски, поболтать вечерком, выпить чашку кофе?.. Можно подумать, он в Бразилию уезжает!

— Так-то оно так,— печально соглашалась добрая женщина,— а все-таки совсем другое дело, когда человек живет под твоей крышей! Конечно, что говорить: всякому в своем доме лучше...

Она дала Амаро кучу наставлений насчет прачки, и чтобы присылал к ним, если что понадобится: посуда, простыни...

— Да смотрите не забудьте здесь чего из нужных вещей, сеньор настоятель!

— Спасибо вам, милая сеньора, спасибо за все!

Продолжая складывать белье, падре Амаро уже горько сожалел о принятом решении. Совершенно ясно: девушка никому не сказала ни слова! Зачем же бросать их дом, такой де-

шевый, уютный, родной? И он уже злился на каноника за его неуместное усердие.

Обед прошел невесело. Амелия, чтобы предупредить вопрос, почему она так бледна, жаловалась на головную боль. После кофе каноник потребовал «немного музыки на закуску»; Амелия, не то по привычке, не то умышленно, запела свою любимую песню:

Прощай! Уж не вернутся больше дни,
Когда мы были счастливы с тобою,
Я в этот час, назначенный судьбою,
Тебя покинуть должен и уйти!

При звуках этой рыдающей мелодии, проникнутой печалью разлуки, Амаро взволновался, вскочил со стула и отошел к окну, чтобы скрыть слезы, неудержимо набухавшие под его веками. Пальцы Амелии так дрожали, что она не находила нужной клавиши; даже Сан-Жоанейра взмолилась:

— Ах, дочка, спела бы что-нибудь другое, ей-богу!

Но каноник тяжело поднялся с места:

— Что ж, господа, пора и по домам. Пойдем, Амаро. Я провожу тебя до улицы Соузас...

Тогда Амаро заявил, что желает попрощаться с тетей-идиоткой. Но старушка, после сильнейшего приступа кашля, очень ослабла и только-только забылась сном.

— Ну что ж, пусть отдыхает,— сказал Амаро и прибавил, пожимая руку Сан-Жоанейре: — Я очень, очень обязан вам, сеньора, за все, что вы для меня сделали, поверьте...

Он умолк, от подступивших слез у него перехватило горло. Сан-Жоанейра утирала глаза подолом своего белого фартука.

— Полно, сеньора! — говорил, смеясь, каноник.— Я вам только что объяснял: не в Индию же он уезжает!

— Ну да, а все же привыкаешь, как к родному...— сквозь слезы лепетала Сан-Жоанейра.

Амаро пытался шутить. Амелия, бледная как полотно, кусала губы.

Наконец Амаро спустился по лестнице во двор. Жоан Бина, тот самый пьяница, что в день приезда в Лейрию нес баул падре Амаро на улицу Милосердия, напевая «Благословен господь», теперь переправлял этот баул на улицу Соузас; он опять был пьян и пел «Се жених грядет в полунощи».

Вечером, когда Амаро остался один в своем унылом жилище, он почувствовал такую острую тоску, такое отвращение к жизни, что ему захотелось забиться в какой-нибудь угол потемней и умереть!

Стоя посреди комнаты, он снова и снова обводил ее взглядом — и видел узенькую железную кровать, на ней жесткий тюфяк и красное покрывало; на столе — мутное зеркало; вместо умывальника — таз, кувшин и огрызок мыла на подоконнике; все здесь пропахло затхлостью, а за окном, на темной улице, шел нескончаемый дождь. Разве это жизнь? И так будет всегда!..

Он вдруг возмутился против Амелии; сжимая кулаки, он обвинял ее в своих бедах: из-за нее он лишился всех удобств, переселился в эту гадкую комнатенку, из-за нее понес столько расходов, а теперь обречен на одиночество, леденящее его слабую душу! Будь она честной, прямодушной девушкой, она пришла бы к нему в комнату и сказала: «Сеньор падре Амаро, зачем уезжать? Я на вас не в обиде!» В конце концов, кто его соблазнил? Она! Она завлекала его своими кокетливыми ужимками, она строила глазки! А сама потом хладнокровно смотрела, как он упаковывает вещи, спускается по лестнице,— и все это без единого дружеского слова! Да еще играла в эту минуту бравурный вальс «Поцелуй».

И он поклялся, что ноги его не будет в доме Сан-Жоанейры. Расхаживая по комнате, падре Амаро мечтал о том, как унизит Амелию. Да! Он докажет, что презирает ее, как уличную собачонку! Он войдет в доверие к благочестивым дамам Лейрии, станет своим человеком у сеньора декана; он отвадит каноника и сестер Гансозо от дома на улице Милосердия; он повлияет на лучших дам города, и во время воскресной мессы те будут брезгливо сторониться Амелии; он тонко даст понять, что ее мать — распутная женщина... Он растопчет ее! Обольет грязью! И, выходя после службы из собора, будет с торжеством смотреть, как она, потупив голову, торопливо пробирается к выходу, ежась в своей черной мантилье под косыми взглядами других дам! А он в это время нарочно остановится в дверях и будет беседовать с супругой гражданского губернатора и говорить любезные слова баронессе де Виа Клара!.. К великому посту он сочинит большую проповедь, и Амелия повсюду — и в рядах под Аркадой, и в магазинах — будет слышать единодушные похвалы: «Какой же златоуст наш падре Амаро!» Он станет честолюбцем, великим дипломатом и, опираясь на поддержку графини де Рибамар, быстро поднимется по ступеням церковной иерархии. Что почувствует Амелия, когда он станет епископом Лейрии и она увидит его, бледного и интересного, в украшенной золотом епископской митре! Сопровождаемый кадящими причетниками, он пройдет через весь собор среди ко-

ленопреклоненного, возносящего покаяния народа, под рокот и гул органа! А чем будет она? Исхудалой, поблекшей провинциалкой, кутающейся в дешевую шаль! А сеньор Жоан Эдуардо, сегодняшний избранник и жених? Полунищим чиновником в заношенном сюртучке, с пожелтелыми от табака ногтями, который с утра до ночи горбится над своими бумагами,— невидимая миру букашка, льстивая с высшими и завидующая себе подобным! А он, епископ, уже поднимется высоко по лестнице, ведущей на небо, он будет выше всех людей, в той сфере, где сияет вечный свет, изливаемый ликом бога-отца! Он станет советчиком королевской четы, и священники всей этой епархии будут дрожать от страха, когда он нахмурит брови!

Рядом, на церковной колокольне, куранты медленно пробили десять.

«Что-то она сейчас делает? — думал он.— Наверно, сидит за шитьем в столовой; тут же и клерк. Они играют в биску, смеются; возможно, кончик ее ботинка касается под столом ноги жениха!» Перед мысленным взором падре Амаро возникла ножка Амелии, белый нитяной чулок, мелькнувший на миг, когда она перепрыгивала через лужу в Моренале. Разгоряченное воображение падре Амаро взобралось выше по изгибу ноги, еще выше, скользнуло по груди, дорисовало прелести, о которых он мог только догадываться... Как ему нравится эта проклятая девчонка! И невозможно, невозможно ее заполучить! Всякий болван, всякий урод может смело явиться на улицу Милосердия просить у матери ее руки, пойти в собор и заявить ему, соборному настоятелю: «Сеньор священник, обвенчайте меня с этой девушкой»,— и потом целовать, с благословения церкви и государства, ее руки, ее грудь! Всякий, только не он! Он — священник! Все эта окаянная балаболка маркиза де Алегрос!..

Он ненавидел мирскую жизнь за то, что навеки отлучен от ее соблазнов. Сан священника отнял у него все человеческие радости, и он пытался утешить себя рассуждениями о преимуществах, какие даются божиим служителям. Жалкий писарь имеет полную возможность жениться на Амелии и обладать ею — но что он такое по сравнению с пастырем целого прихода, которого бог облек полномочием распределять места на небе и в аду?.. И Амаро упивался этим величием, разжигая в себе священническую гордыню. Но вскоре его опять сражала горькая мысль о том, что вся его власть — не от мира сего и действительна только в отвлеченных областях жизни духовной. Он владыка лишь в стенах собора; стоит ему выйти на площадь — и он ничто, безвестный плебей. Неверующий современный мир

низвел могущество религии к смехотворной власти над душами святош... Да, вот что поистине достойно сожаления: приниженность церкви в теперешнем обществе, упадок церковной власти, сведенной к одному лишь духовному авторитету. Священник больше не может угрожать жизни и благосостоянию своих врагов... Амаро тосковал по тем временам, когда церковь была равнозначна государству и глава прихода был не только духовным, но и мирским властителем над своей паствой. На что ему сейчас мистическое право отверзать и затворять врата неба? Ему нужно было совсем другое: древнее право отпирать и запирать ворота темницы! Ему нужно было, чтобы все эти клерки и Амелии трепетали от ужаса, едва завидя тень его сутаны! Он хотел бы служить не нынешней, а средневековой церкви и держать в своих руках ту власть, какую дает страх перед доносчиком и палачом. Он хотел, чтобы здесь, в этом самом городе, под стенами его собора, содрогались бы от страха перед пыткой и казнью все те, кто возмечтал о счастье, недоступном для него, соборного настоятеля; и, думая о Жоане Эдуардо и об Амелии, он горько сожалел, что не может зажечь на улицах костры инквизиции!

Так в горячке страсти безобидный молодой падре целыми часами предавался мечтам о католическом деспотизме, ибо всякий священник однажды переживает миг, когда в нем говорит подлинный дух церкви. И тогда его обуревают либо порывы мистического самоотречения, либо жажда беспредельной власти. Каждый иподиакон в иную минуту ощущает в себе святого мученика или папу римского. Нет семинариста, который хоть раз в жизни не затосковал бы по хижине среди пустынь, в какой святой Иероним, глядя на звездное небо, сподобился небесной благодати, хлынувшей ему на грудь молочной рекой; и всякий пузатенький аббат, ковыряющий во рту зубочисткой после вечернего кофе у себя на веранде, таит в глубине души полустертую, но еще явственную печать Торквемады.

Жизнь Амаро стала невыносимо однообразной. Стоял дождливый, холодный март. Завершив службу в соборе, он возвращался домой, стягивал забрызганные грязью сапожки, надевал домашние туфли и погружался в хандру. В три часа он обедал — и ни разу ему не довелось поднять надтреснутую крышку с суповой миски, не вспомнив с тоской о вкусных обедах на улице Милосердия и не вообразив себе Амелию в белоснежном воротничке, с улыбкой подающую тарелку овсяного супа. Те-

перь ему прислуживала Висенсия, высоченная, неповоротливая баба, похожая на солдата в юбке, вдобавок вечно простуженная; время от времени она отворачивала голову и громко сморкалась в передник. Она была грязнуха; у ножа, который она подавала к столу, черенок был всегда мокрый и жирный после мытья в лоханке. Амаро терпел все с холодным отвращением; ел он кое-как, лишь бы поскорей, потом приказывал принести кофе и целыми часами праздно сидел за столом, в молчаливом оцепенении, стряхивая пепел на край тарелки и чувствуя, как от ветра, задувающего в щели окон, постепенно все больше стынут колени.

Иногда к концу обеда появлялся коадъютор, ни разу не приходивший на улицу Милосердия. Он садился поодаль от стола, ставил между колен зонтик и молчал. Потом, воображая, что доставляет соборному большое удовольствие, говорил:

— Здесь вашему преподобию куда лучше; то ли дело — своя крыша над головой!

— Конечно! — хмуро цедил Амаро.

На первых порах, чтобы отвести душу, падре Амаро слегка злословил насчет Сан-Жоанейры, надеясь вытянуть у коадъютора, уроженца Лейрии, какие-нибудь порочащие слухи об обитательницах домика на улице Милосердия. Коадъютор многозначительно посмеивался, но молчал.

— Немало там происходит гнусностей, а? — спрашивал Амаро.

Коадъютор пожимал плечами, хватался за голову, хитро ухмылялся, но не говорил ни слова, опасаясь, что речи его дойдут до каноника. Потом надолго воцарялось угрюмое молчание, изредка прерываемое вялыми репликами: завтра будут крестины; каноник Кампос говорил то-то и то-то; надо бы почистить алтарные покровы.

Разговор этот нагонял на Амаро нестерпимую скуку. Он сознавал, что ведет себя не так, как положено соборному настоятелю, что он вообще слишком далек от своих собратьев по сану: не принимает близко к сердцу ни соперничество в епархиальном совете, ни несправедливости сеньора декана, о которых шли нескончаемые перешептывания, ни кражи в Попечительстве о неимущих, ни стычки капитула с Гражданским управлением. Он был чужд всему этому, плохо осведомлен и не владел искусством приятной болтовни, к которой священники привержены не меньше, чем женщины, и в которую вкладывается поистине ребяческая обидчивость и заговорщическое, уклончивое хитроумие.

— Ветер по-прежнему с юга? — спрашивал Амаро, зевая.

— По-прежнему! — отвечал коадъютор.

Приносили лампу; коадъютор вставал, встряхивал зонт и уходил, искоса бросив взгляд на Висенсию.

Наступал самый неприятный час: Амаро оставался на весь вечер один. Он пытался читать, но книги наводили на него уныние; не привыкший читать, он «не понимал смысла». Он подходил к окну: ночи стояли темные, мутно поблескивала мокрая мостовая. Когда все это кончится? Он закуривал сигарету и ходил по комнате из угла в угол, заложив за спину руки. Потом ложился спать, иной раз даже не помолившись. Совесть ничуть его не беспокоила; он считал, что, отказавшись от Амелии, наложил на себя тягчайшую епитимью и нет нужды портить глаза над молитвенником: он уже принес жертву, богу нечего больше требовать!

Амаро жил уединенно; каноник никогда не приходил на улицу Соузас; по его словам, стоило ему войти в этот дом, как у него начинал болеть живот. Амаро мрачнел с каждым днем, но к Сан-Жоанейре не ходил. Он был жестоко обижен тем, что она ни разу не посылала звать его на пятничные приемы. Он объяснял это обидное невнимание враждой Амелии и, чтобы избежать всяких встреч с ней, поменялся с падре Силверио: вместо полуденной мессы, к которой она имела обыкновение ходить, стал служить утреннюю, девятичасовую — и был в отчаянии от этого нового лишения.

По вечерам, едва внизу звякал дверной колокольчик, у Амелии начиналось такое сердцебиение, что она не могла дышать. Потом на лестнице скрипели башмаки Жоана Эдуардо, или же она узнавала шарканье резиновых галош сестер Гансозо. Амелия откидывалась на спинку стула и закрывала глаза, не в силах переносить каждый вечер одно и то же разочарование. Она ждала падре Амаро, и к десяти часам, когда уже было ясно, что он не придет, горе ее становилось таким нестерпимым, что рыданья сжимали горло; ей приходилось откладывать в сторону работу и говорить:

— Пойду лягу, ужасно голова разболелась.

Она бросалась ничком на кровать и бормотала в тоске:

— Матерь божия, почему он не идет? Почему он не идет?

С того дня, как падре Амаро от них уехал, родной дом казался ей нежилым и постылым. Когда она увидела пустые вешалки, на которых уже не висела одежда Амаро, пустые полки,

где уже не было его книг, она расплакалась. Она целовала его подушку, исступленно прижимала к груди полотенце, которым он в последний раз вытирал руки; лицо его стояло перед ней неотступно, каждую ночь она видела его во сне. От разлуки пламя ее любви горело лишь сильнее и выше, как одинокий костер на ветру.

Однажды под вечер Амелия пошла навестить свою родственницу, служившую сестрой милосердия в больнице. Подходя к мосту, она заметила толпу народа, с увлечением глазевшую на неизвестную девушку в сбитой набок шляпке и в ярко-красной гарибальдийке: потрясая кулаками, уже охрипнув от крика, она проклинала какого-то солдата, а солдат, здоровенный детина с круглой рожей, поросшей рыжеватой щетиной, стоял к ней спиной и, пожимая плечами, бормотал:

— Да что я ей сделал! Да чего она пристала!

Сеньор Васкес, державший суконную лавку в рядах под Аркадой, неодобрительно смотрел на нарушителей общественных приличий.

— Что случилось? Какой-то скандал? — спросила его Амелия.

— Ола, менина Амелия! Да нет, просто солдат подурачился. Бросил ей в лицо дохлую крысу, так она и расшумелась, будто ей невесть что сделали. Безобразницы!

Но вот девушка в гарибальдийке повернулась — и у Амелии замерло сердце: она узнала Жоаниньо Гомес, свою подругу детства; они вместе ходили к учительнице, а потом Жоанинья стала возлюбленной падре Абилио! Священника извергли из сана, он бросил ее; Жоанинья уехала в Помбал, оттуда в Порто, узнала нищету, опускалась все ниже и ниже и вот теперь вернулась в Лейрию и живет в переулке близ казармы, больная чахоткой, отданная на потребу целого полка солдат.

Какой пример, боже милосердный, какой пример!

«Ведь я тоже влюбилась в соборного настоятеля! Ведь я тоже, как, наверно, Жоанинья, плачу над рукоделием, оттого что падре Амаро не приходит! Куда заведет меня эта любовь? На путь Жоаниньи? Я тоже буду наложницей священника!» Амелия уже видела, как на нее показывают пальцем под Аркадой и на улицах, как Амаро покидает ее, может быть, беременную и без куска хлеба!.. И при виде позора Жоанинъи нестерпимый страх за себя, за свою судьбу, словно порыв ветра, на миг разгоняющий тучи, выдул из ее сердца любовный туман, в котором она заблудилась. Она решила воспользоваться тем, что не видит падре Амаро, и постараться забыть его; она дала себе

слово ускорить свадьбу с Жоаном Эдуардо, чтобы оградить себя непреложным долгом. Несколько дней она старалась быть внимательней к жениху, даже начала вышивать ему домашние туфли...

Но мало-помалу «грешная мысль», на миг отступившая под натиском страха, прикинувшаяся мертвой, снова зашевелилалась, как змея, стала расти, захватила ее всю! Днем, ночью, за шитьем и за молитвой перед ней стояло лицо падре Амаро, она видела его глаза, слышала его голос, и это наваждение было день ото дня неодолимей.

Что он делает? Почему не приходит? Он любит другую? Ее терзала смутная, но тем более мучительная ревность. Любовь завладела ею безраздельно, она уже не могла сбросить эти цепи, которые тянулись за ней, когда она пыталась бежать; ядовитое дыхание страсти одно давало ей силу жить! Благоразумные решения сгорали, точно слабые ростки, в жару снедавшего ее пламени. Если образ Жоанинъи возникал перед ней, она прогоняла его со злобой, зато жадно хваталась за все, что поддерживало в ней любовь к падре Амаро. Теперь она желала только одного: обвить руками его шею и целовать его... целовать! А потом, если надо, умереть!

Влюбленность Жоана Эдуардо начала невыносимо раздражать ее. Амелия находила, что ее жених —недалекий человек.

— Надоел! — шептала она про себя, заслышав вечером его шаги на лестнице.

Она с трудом выносила его; ее раздражал этот взгляд, постоянно прикованный к ней; этот черный сюртук, эти бесконечные разговоры о месте в Гражданском управлении.

Зато Амаро был воплощением всех идеалов!

По ночам ее покой возмущали сны, в которых неизменно присутствовал он; днем она изнывала от ревности, погружалась на целые часы в мрачное молчание, и Сан-Жоанейра восклицала, что она стала такой нудной, просто сил нет!.. Она бывала резка, дерзила домашним.

— Опомнись, Амелия! Что с тобой такое? — сердилась мать.

— Я плохо себя чувствую. Наверно, я больна!

И действительно, Амелия пожелтела, потеряла аппетит. Наконец как-то утром она не встала с постели,— у нее был жар. Испуганная мать позвала доктора Гоувейю. Старый врач осмотрел Амелию, потом вышел в столовую, с наслаждением втянул в ноздрю понюшку табака.

— Ну что, доктор? — спросила Сан-Жоанейра.

— Девушке пора замуж, Сан-Жоанейра; выдайте ее замуж. Сколько раз вам говорить, милая моя!

— Но сеньор доктор...

— Выдайте ее замуж, Сан-Жоанейра, и поскорее! — отрезал старый врач, спускаясь по лестнице и слегка волоча правую ногу, которой не давал гнуться упорный ревматизм.

Амелия стала понемногу поправляться, к великой радости Жоана Эдуардо, который был глубоко удручен ее болезнью, горевал, что не может быть все время при ней, и однажды на глазах у старого Нунеса Феррала даже уронил слезу на лист гербовой бумаги.

В следующее воскресенье, войдя в собор служить утреннюю мессу и поднимаясь по ступеням алтаря, Амаро вдруг увидел среди расступившихся прихожанок Амелию в черном платье с пышной юбкой, стоявшую рядом с матерью. Он на миг зажмурил глаза и чуть не выронил чашу из задрожавших пальцев.

Позже, когда падре Амаро кончил читать из Евангелия, перекрестил служебник, осенил себя крестом и повернулся лицом к молящимся с возгласом: «Dominus vobiscum!» [1] — жена аптекаря Карлоса шепнула Амелии на ухо: «Сеньор настоятель так бледен, наверно, у него что-нибудь болит». Амелия не ответила и лишь ниже склонила над молитвенником запылавшее лицо. В продолжение всей мессы, стоя на коленях в полном самозабвении, она любовалась им, его худыми руками, поднимавшими святые дары, его красивой головой, склонявшейся в ритуальном поклоне. Сладкий трепет пробегал по ее телу каждый раз, как его голос произносил какое-нибудь латинское слово громче других; а когда Амаро, прижимая левую руку к груди и простирая правую к пастве, произнес: «Benedicat vos» [2],— она вложила в свой взгляд всю душу, словно он и был тем богом, под чье благословение склонялись головы молящихся, сколько их было в длинном нефе собора, вплоть до самых последних рядов, где крестьяне с суковатыми палками в руках оторопело глазели на раззолоченную дарохранительницу и ковчежец.

Когда месса подходила к концу, начался дождь; Амелия и ее мать, в толпе других дам, остановились в дверях собора, выжидая, когда небо просветлеет.

---

[1] Господь с вами! *(лат.)*

[2] Да благословит вас *(лат.)*.

— Ола! Так вот вы где! — раздался вдруг за их спиной голос Амаро; он подошел к ним, очень бледный.

— Ждем, когда пройдет дождь, сеньор падре Амаро,— ответила Сан-Жоанейра, поворачиваясь к нему, и тут же начала укорять своего бывшего постояльца: — А почему вы ни разу к нам даже не заглянули, сеньор настоятель? Как это понять? Что мы вам сделали плохого? Право, об этом даже судачат...

— Дела, дела...— невнятно бормотал падре Амаро.

— Ну, на полчасика-то можно, вечером. Кроме шуток, я даже обиделась... Все, все обращают внимание. Нет, сеньор настоятель, право, нехорошо!

Амаро ответил, краснея:

— Ну, ну... Действительно! Я приду сегодня же вечером, и мир будет восстановлен...

Амелия, красная как пион, старалась скрыть свое волнение и оглядывала затянутое тучами небо, как бы опасаясь, что дождь хлынет еще сильнее.

Амаро предложил им свой зонт. Пока Сан-Жоанейра открывала его и подбирала повыше подол своего гроденаплевого платья, Амелия сказала священнику:

— Так до вечера, да? — и прибавила вполголоса, пугливо оглянувшись по сторонам: — Ах, приходите! Я так огорчалась! Я просто чуть с ума не сошла! Приходите, прошу вас!

Возвращаясь домой, Амаро с трудом удерживался от искушения бежать по улицам вприпрыжку. Он вошел в комнату, сел на кровать и застыл на месте, весь переполненный счастьем,— так наевшийся досыта воробей греется под жаркими лучами солнца. Он вспоминал лицо Амелии, линию ее плеч, прелестный изгиб шеи, ее слова: «Я чуть с ума не сошла!» Уверенность в том, что эта девушка его любит, ворвалась в его душу, как ураган, и заполнила ее счастьем всю, до самого потайного уголка. Жестикулируя, он бегал по комнате саженными шагами, жаждая увидеть Амелию здесь, и сейчас же. Он гордился собой, как никогда. Он подходил к зеркалу и останавливался в горделивой позе, выпятив грудь, точно весь мир существовал лишь для того, чтобы служить ему пьедесталом. К обеду он почти не притронулся. Он ждал, когда же наступит вечер! Но дневной свет никак не хотел меркнуть. Амаро поминутно вынимал из кармана свои старинные серебряные часы, подходил к окну — посмотреть, не стемнело ли, с раздражительным нетерпением вглядывался в светлую полоску неба на горизонте. Потом он принялся собственноручно начищать ваксой башмаки, напомадил воло-

сы; а прежде чем выйти из дому, тщательно помолился по требнику: вновь обретя утраченную любовь, он испытывал суеверное опасение, что господь бог или его святые, обидевшись, пожелают испортить его счастье; он не хотел, чтобы небрежность в молитве дала им повод для неудовольствия.

Когда он очутился на улице Милосердия, сердце у него так забилось, что он вынужден был остановиться и перевести дыхание.

Каким мелодичным показалось ему уханье сов, ютящихся на крыше старой богадельни! Как давно он не слышал этих криков!

Его появление у Сан-Жоанейры было встречено бурей восторга.

— А! Наконец-то! Наконец-то! Мы уже думали, вас в живых нет! Вот это праздник так праздник!

В столовой сидели дона Мария де Ассунсан, сестры Гансозо; все с радостной готовностью сдвинули свои стулья, чтобы освободить ему место. На него не могли наглядеться.

— Расскажите же, как вы жили? Что делали? А знаете, ведь вы похудели!

Либанинью выскочил на середину комнаты и изобразил шипенье и треск взлетающей в воздух шутихи. Сеньор Артур Коуейро тут же сымпровизировал в честь долгожданного гостя фадиньо и спел под гитару:

Снова пришел наш священник
В гости к Сан-Жоанейре.
За веселой беседой и часом
Мы снова теперь не скучаем!

Певца вознаградили громом аплодисментов. Сан-Жоанейра, сияя от радости, твердила:

— Ах, как можно быть таким нехорошим!

— Нехорошим! Нет, сеньора, уж лучше скажите: таким нелюдимым бирюком! — ворчал каноник.

Амелия не говорила ничего. Ее щеки пылали, влажные от волнения глаза неотрывно глядели на падре Амаро. Его усадили в кресло, в котором обычно сидел каноник, и он расположился там, переполненный радостью, и стал смешить дам рассказами о промахах Висенсии.

Жоан Эдуардо, уединившись в углу, листал старый семейный альбом.

IX

Так возобновилась дружба падре Амаро с обитательницами домика на улице Милосердия. Он обедал рано, после обеда читал по молитвеннику положенное; но как только церковные часы били семь, набрасывал на плечи плащ и выходил прогуляться по Базарной площади, затем шел мимо аптеки, где, лениво опираясь на зонты, беседовали посетители. Когда Амаро замечал, что в столовой у Сан-Жоанейры засветились окна, все его желания разом просыпались, кровь начинала бурлить в жилах; он дергал дверной колокольчик и каждый раз при его пронзительном звяканье испытывал страх, что мать догадалась или что Амелия разлюбила его!.. Из суеверия он всегда старался ступить на порог правой ногой.

Обе сеньоры Гансозо, дона Жозефа Диас и каноник обычно уже сидели в столовой; каноник теперь почти ежедневно обедал у Сан-Жоанейры и в этот послеобеденный час дремал в кресле. Когда Амаро входил, он просыпался и говорил, зевая:

— Привет нашему любимчику!

Амаро садился возле Амелии, работавшей у стола. Они обменивались проникновенным взглядом, говорившим, что их любовь возросла со вчерашнего вечера. Иногда они страстно прижимались коленями друг к другу под столом. Начиналась застольная беседа. Разговоры всегда вертелись вокруг одних и тех же, никогда не терявших новизны пустяков: из-за чего возникла склока в Попечительстве о неимущих, что сказал сеньор декан, за что каноник Кампос прогнал кухарку, что болтают о жене Новайса...

— Побойтесь бога! — бурчал каноник, зашевелившись в кресле.— Где же христианское снисхождение к ближнему! — Потом, икнув, снова закрывал глаза.

На лестнице раздавался скрип сапог Жоана Эдуардо; Амелия торопливо раскладывала ломберный столик для «манильи». Постоянными партнерами были старшая Гансозо, дона Жозефа и каноник. Амаро играл плохо, и Амелия, большая специалистка по части карточных игр, садилась позади него и подавала советы. После первых же взяток начинались шумные споры. Амаро поворачивал голову к Амелии, так что лица их почти соприкасались, и спрашивал, томно показывая глазами на ту или иную карту:

— С какой ходить? С этой?

— Нет! Нет! Погодите, дайте взглянуть,— отвечала она, заливаясь румянцем.

Ее рука прикасалась к плечу Амаро; священник слышал запах духов, которыми она теперь немного злоупотребляла.

Напротив них, возле доны Жоакины Гансозо, сидел, покусывая ус, Жоан Эдуардо и не сводил с Амелии страстного взгляда. Амелия не знала, как ей избавиться от этой пары влюбленных глаз, постоянно устремленных на ее лицо. Наконец она заявила своему жениху, что это даже неприлично: при сеньоре соборном настоятеле, таком строгом священнике, целый вечер пялить на нее глаза.

Иногда она говорила ему со смехом:

— О сеньор Жоан Эдуардо, ступайте развлеките маменьку, а то она совсем засыпает.

И Жоан Эдуардо послушно отправлялся занимать разговором Сан-Жоанейру, которая сонно шевелила спицами.

После чая Амелия садилась за фортепьяно. Вся Лейрия была в то время помешана на старинной мексиканской песне, под названием «Чикита». Амаро тоже находил, что песенка — прелесть, и улыбался от радости своей белозубой улыбкой, едва Амелия запевала, вкладывая в свой голос всю доступную ей тропическую негу:

Cuando salí de la Habana
Válgame dios!..[1]

Но Амаро больше любил другой куплет, когда Амелия, едва касаясь пальцами клавиш, слегка откинувшись назад, полузакрыв влажные глаза и чуть заметно поводя головой, томно выговаривала по-испански:

Si a tu ventana llega
Una paloma,
Trátala con cariño
Que es mi persona[2].

А сколько в ней было грации, сколько истинно креольского шарма, когда она выводила воркующим голоском:

Ay chiquita que sí,
Ay chiquita que no-o-o-o![3]

---

[1] Когда я отплыл из Гаваны,
Спаси меня бог!.. *(исп.)*

[2] Если к тебе в окошко
Влетит голубка,
Знай, это я привет
Тебе шлю, подруга *(исп.)*.

[3] Что ответишь ты мне?
«Да» ответишь или «не-е-т»! *(исп.)*

Но старухи уже требовали его к себе заканчивать партию в «манилью», и, подпевая Амелии, он подсаживался к игральному столику с сигареткой во рту и слезой умиления и счастья в глазах.

По пятницам бывал «большой прием». В этот день дона Мария де Ассунсан являлась в своем парадном платье из черного шелка. Она была богата, состояла в родстве с несколькими фидалго, и потому ей отводили почетное место, и она шла прямо туда, манерно покачивая бедрами и шурша шелком. Перед тем как подавать чай, Сан-Жоанейра спускалась с ней в свою комнату, где для доны Марии всегда был припасен графинчик выдержанной наливки, и обе подруги долго беседовали, сидя в низких креслицах. Потом Артур Коусейро, с каждым днем все более испитой и чахлый, исполнял новое фадо своего сочинения — «Фадо об исповеди»:

В часовне Купидона,
Колена преклоня,
Пред падре Купидоном
В любви признался я...

Далее шли признанья в безобидных грешках, торжественное покаяние в любви, нежнейшая епитимья:

Шесть поцелуев утром,
Одно объятье — в ночь...
И пост — одни бисквиты —
Тебе должны помочь.

Это благочестиво-галантное произведение заслужило весьма высокую оценку у епархиального духовенства. Сеньор декан пожелал получить для себя копию и спросил, имея в виду сочинителя:

— Кто же сей искусный Анакреон?

Узнав, что это писарь из Муниципальной палаты, сеньор декан отозвался о нем столь похвально в присутствии супруги гражданского губернатора, что Артур получил прибавку к жалованью в восемь милрейсов, которую уже много лет тщетно вымаливал у начальства.

На этих собраниях всегда можно было видеть и Либаниньо, который неутомимо балаганил. Его коронным номером было «похищение поцелуя у доны Марии де Ассунсан». Старая сеньора громко негодовала и бурно обмахивалась веером, исподтишка бросая на соблазнителя плотоядные взоры. Затем Либаниньо ненадолго исчез и появился в юбке Амелии и чепце Сан-Жоанейры; он изображал, будто охвачен любовной страстью к

Жоану Эдуардо; старые святоши визгливо хохотали, а клерк пятился, покраснев до корней волос. Иной раз приходили падре Брито и падре Натарио, и тогда затевалось «большое лото». Амаро и Амелия всегда сидели рядом, и весь вечер, прижимаясь друг к другу коленями, разгоряченные и красные, томились одним и тем же напряженным желанием.

Амаро уходил с каждым днем все более влюбленный. Он медленно шагал по улице, снова и снова переживая упоительные радости, какие давала ему эта любовь; он вспоминал взгляды, ускоренное дыханье девичьей груди, волнующие прикосновения колен и рук. Дома он быстро раздевался: ему приятно было думать об Амелии в темноте, укутавшись одеялом; он вызывал в воображении, одно за другим, все доказательства ее любви (так мы вдыхаем поочередно аромат сначала одного, потом другого цветка), и его охватывало подлинное опьянение гордости за себя: Амелия — самая красивая девушка в городе! И она выбрала его, его, католического падре, существо, навеки изгнанное из женских снов, унылое, бесполое, кружащее, точно подозрительный бродяга, за околицей чувств! К любви его примешивалась благодарность; смежая веки, он бормотал:

— Какая ты милая, какая добрая!

Но порой страсть вспыхивала в нем мятежно и нетерпеливо. Пробыв подле Амелии три несравненных часа, поминутно чувствуя на себе ее взгляд, упиваясь чарами, исходившими от каждого ее движения, он испытывал такое любовное томление, что лишь усилием воли сдерживал себя, чтобы не натворить глупостей прямо тут же, на глазах у матери. Но после, очутившись в своей комнате, он в отчаянии ломал руки: эта девушка была нужна ему сейчас, сию минуту, и без всяких помех. И он начинал придумывать разные способы достигнуть цели: написать ей письмо; снять уединенный домик, чтобы там беспрепятственно встречаться; устроить увеселительную прогулку в чью-нибудь усадьбу! Но планы эти казались ему самому неисполнимыми и опасными, стоило лишь вспомнить проницательные глазки доны Жозефы Диас, злые языки сестер Гансозо. Препятствия возникали перед ним, как многорядные крепостные стены, и он снова проклинал судьбу: зачем он не свободен?! Зачем он не может прямо и открыто войти в этот дом, попросить Амелию в жены, любить ее без греха и не скрываясь? Зачем его сделали священником? Все эта старая балаболка маркиза де Алегрос! Он не отрекался от звания мужчины по собственной воле! Его погнали на стезю священства, как гонят скотину на убой!

В возбуждении бегая по комнате, он обращал обвинения еще выше: против целибата и церкви. Для чего она запрещает своим служителям, обыкновенным людям, живущим среди людей, удовлетворение естественной потребности, доступное даже животным? Кто вообразил, что достаточно сказать молодому и сильному мужчине: «Ты будешь целомудрен»,— и голос его крови умолкнет сразу и навсегда? Неужели они воображают, что латинского слова «accedo» [1], произнесенного дрожащим, перепуганным семинаристом, довольно, чтобы навсегда усмирить сокрушительный мятеж плоти? Кто это выдумал? Синклит дряхлых прелатов, съехавшихся из глухих обителей, не ведавших ни о чем, кроме педантичной школьной премудрости, иссохших, как старый пергамент, бессильных, как евнухи! Что знали они о природе и ее соблазнах? Посидели бы часика два возле Амелиазиньи, и даже они бы почувствовали, как под покровами их святости восстают нетерпеливые желания! Всего можно избежать, от всего уйти, только не от любви! А если любовь — это веление рока, то зачем она запрещена священникам, почему им не дают любить чисто и без позора? Неужели лучше, чтобы служители церкви искали ее в грязных притонах? Потому что, да будет всем известно: плоть слаба!

Плоть! Он задумывался об этих трех врагах души: мирском тщеславии, дьяволе и плоти. Они являлись ему в трех живых образах: плоть — красивая женщина; дьявол — черная фигура с огненными глазами и козлиным копытом; мирское тщеславие — нечто неопределенное, ослепительное: богатство, конные упряжки, особняки — все, что он видел у графа де Рибамар. Но какое зло причинили эти три соблазна его душе? Дьявола он не знал. Красивая женщина любила его и была единственной отрадой его жизни. А свет, то есть сеньор граф, удостоил его участия, благоволения, сердечных рукопожатий... Да и как уйдешь от мирской тщеты и собственного тела? Разве что бежать от них, по примеру древних отшельников, в пустыню и жить там со зверями? Но разве не внушали ему учителя в семинарии, что он принадлежит к церкви воинствующей? Разве не порицали они аскетизм как дезертирство из рядов служителей святого дела?

Невозможно понять! Невозможно понять!

Он пытался оправдать свою любовь примерами из священных книг. Библия полна рассказов о свадебных торжествах! Влюбленные царицы выходят к жениху в одеждах, вынизанных

---

[1] Вступаю *(лат.)*.

самоцветами; жених идет навстречу невесте, чело его повязано белой льняной тканью, он волочит за рога белого ягненка; левиты бьют в серебряные тарелки, призывая имя бога; распахиваются железные ворота города, чтобы впустить караван с сокровищами, присланными для выкупа невесты; на горбатых спинах верблюдов скрипят обвязанные пурпурными шнурами ящики сандалового дерева с ее бесценным приданым. Мученики в знак обручения целуются на арене римского цирка, под вопли и рукоплесканья черни, уже слыша жаркое дыханье львиной пасти! Даже сам Иисус не всегда блюл свою непостижимую святость. Конечно, на улицах Иерусалима, на торжищах Давидова холма он был холоден и чужд всего земного; но и у него был тихий уголок, посвященный любви и отдохновению,— в Вифании, под сикоморой в саду у Лазаря; и там, пока его сподвижники, тощие назореи, пили молоко и шушукались между собой, он смотрел на золоченую кровлю храма, на римских солдат, метавших диск у Золотых ворот, на влюбленных, гулявших под тенью Гефсиманских рощ,— и клал руку на золотые кудри Марфы, которая любила его и пряла, прикорнув у его ног!

Значит, и его любовь к Амелии — лишь нарушение канонических правил, но вовсе не грех, пятнающий душу: она может прогневить сеньора декана, но не господа бога. Правильнее, согласней с законами природы священство с более человечным уставом. Ему приходило в голову — не перейти ли в протестантскую веру? Но где? Как? Это казалось столь же нереальным, как перенести старый собор на вершину холма, где стояли развалины крепости дона Диниса.

Он пожимал плечами, отметая как ненужный хлам свои туманные рассуждения. Все это пустое умствование и трата слов! Ясно одно: он без ума от этой девушки. Ему нужна ее любовь, нужны ее поцелуи, нужна она вся — с душой и телом... И если бы сеньор епископ не был стариком, он действовал бы точно так же; и сам папа римский поступал бы не иначе!

Уже было и три и четыре часа ночи, а он все расхаживал по комнате, рассуждая вслух с самим собой.

Не раз и не два, проходя поздно ночью улицей Соузас, Жоан Эдуардо видел, что в окне у соборного настоятеля тускло светится огонь. Дело в том, что в последнее время Жоан Эдуардо, как все, кто страдает от несчастной любви, завел печальную привычку бродить ночью по улицам.

Клерк с первого же дня заметил, что Амелия питает особенную симпатию к падре Амаро. Но, зная, как она предана церкви и какое получила воспитание, он объяснял это уважением к сутане и к правам духовника.

И все же он инстинктивно возненавидел падре Амаро. Он всегда недолюбливал священников! Жоан Эдуардо находил, что они представляют угрозу цивилизации и свободе, считал их интриганами и развратниками, предполагал, что все они в заговоре с целью восстановить «средневековые порядки». Исповедь он отвергал как ужасающей силы оружие, направленное на разрушение семьи, и его вера в бога была чисто отвлеченной, враждебной обрядам, молебствиям, постам; он благоговел перед поэтической фигурой Иисуса, революционера, друга бедняков, и перед возвышенной идеей бога, пронизывающей всю вселенную. К мессе он стал ходить только с тех пор, как полюбил Амелию,— да и то лишь из уважения к Сан-Жоанейре.

Он мечтал ускорить свадьбу, чтобы вырвать Амелию из кружка ханжей и попов; ему неприятно было думать, что его жена будет вечно дрожать перед адом, проводить часы на службах в соборе и исповедоваться духовным наставникам, которые, как он думал, стремятся вырвать у исповедниц супружеские тайны!

Когда Амаро снова стал завсегдатаем чаепитий на улице Милосердия, Жоан Эдуардо был очень недоволен. Опять здесь этот проныра! Каково же было ему видеть, что отношения Амелии и священника еще теснее, что при появлении падре Амаро девушка вся оживает и что тут не простая, обыкновенная дружба. Как она вспыхивает, когда этот падре входит в столовую! С каким самозабвением слушает его речи! Как старается непременно сесть рядом с ним за партией в лото!

Однажды утром он пришел в крайнем волнении и, выждав, когда Сан-Жоанейра отлучилась на кухню поговорить с Русой, сказал Амелии:

— Знаете, менина Амелия, мне очень неприятна ваша короткость с сеньором падре Амаро.

Она подняла на него удивленные глаза.

— Короткость? А как же мне с ним держаться? Он наш друг, жил в нашем доме...

— И все же... Все же...

— Ах! Ну, ничего, успокойтесь. Если это вас тревожит, то... Я больше близко к нему не подойду.

Жоан Эдуардо успокоился и заключил, что все это так, ни-

Преступление Падре Амаро

чего. Излишняя набожность, и только. Преклонение перед долгополыми!

Амелия поняла, что надо быть осторожней; она всегда считала клерка «недотепой»; если уж он заметил, то что говорить о хитреньких сеньорах Гансозо, об испытанной сплетнице — сестре каноника! С этих пор, едва услышав на лестнице шаги Амаро, она спешила принять рассеянный вид, что удавалось ей довольно плохо. Увы! Стоило ему заговорить своим мягким голосом или взглянуть на нее черными глазами, от одного взгляда которых в ней содрогалась каждая жилка, и ее напускное равнодушие таяло, как тонкий лед под солнцем, и каждое ее движение, каждое слово внятно говорили о любви.

Случалось, что, всецело отдавшись своему восторгу, она совсем забывала о Жоане Эдуардо и ужасно удивлялась, когда где-нибудь в углу вдруг раздавался его унылый голос.

Она, впрочем, чувствовала, что маменькины приятельницы окружают ее «дружбу» с соборным настоятелем молчаливым и покровительственным одобрением. Для них он был, по удачному выражению каноника, «нашим любимчиком»: во всех взглядах и ужимках старых святош проглядывало любовное восхищение, и это ограждало и подстегивало страсть Амелии. Дона Мария де Ассунсан не раз шептала ей на ухо:

— Посмотри на него! Все отдай — и мало! Это краса и гордость духовенства. Другого такого нет!..

А Жоана Эдуардо все они считали «пустым номером». Амелия уже и не скрывала своего пренебрежения к жениху; ночные туфли, которые она начала было для него вышивать, давно исчезли из ее рабочей корзинки; она больше не караулила у окна, когда он пройдет в контору мимо их дома.

Больше не оставалось сомнений и у Жоана Эдуардо — и он был мрачен как черная ночь.

«Амелия влюбилась в этого падре»,— говорил он себе, и к боли за утраченное счастье примешивалось опасение за честь девушки.

Однажды после мессы, заметив, что Амелия выходит из собора, он дождался ее у аптеки и решительно сказал:

— Я должен поговорить с вами, менина Амелия... Так продолжаться не может... Я не в силах... Вы влюблены в падре Амаро!

Побелев как мел, прикусив губу, Амелия ответила:

— Вы хотите оскорбить меня!

Она с негодованием отвернулась и пошла прочь.

Он схватил ее за рукав жакетки.

— Послушайте, менина Амелия. Я не хочу оскорблять вас, но вы не знаете... Я до того дошел, что... У меня сердце разрывается! — Голос его пресекся от волнения.

— Вы не правы... Это недоразумение...— пробормотала она.

— Тогда поклянитесь, что между вами и этим падре ничего нет!

— Клянусь спасеньем души!.. Ничего нет! Но имейте в виду: если вы еще раз об этом заговорите, если вздумаете меня оскорблять, я все расскажу маменьке, и вам откажут от дома.

— О, менина Амелия!

— Нам нельзя стоять тут и разговаривать... Вон уже дона Микаэла смотрит...

Старуха дона Микаэла действительно приподняла край муслиновой занавески и смотрела на них своими быстрыми, любопытными глазками, прижавшись сморщенным лицом к стеклу. Они сейчас же разошлись — и разочарованная старуха опустила занавеску.

В тот же вечер Амелия, воспользовавшись тем, что дамы с большой горячностью обсуждали проповеди миссионеров, выступавших в Баррозе, тихо сказала Амаро, продолжая работать иглой:

— Нам надо быть осторожнее... Не смотрите на меня при гостях и не садитесь возле меня... Кое-кто заметил...

Амаро сейчас же отодвинулся от нее вместе со стулом и пересел ближе к доне Марии де Ассунсан; но, несмотря на предостережение Амелии, глаза его не отрывались от нее, вопрошая безмолвно и тревожно. Он со страхом ждал признаков подозрения со стороны матери или коварных перемигиваний старух, которые непременно устроят скандал. После чая, когда все шумно задвигали стульями, пересаживаясь для игры в лото, он быстро спросил:

— Кто заметил?

— Никто. Просто я боюсь. Надо быть осторожнее.

С этого дня кончились нежные взгляды, сиденье рядышком, секретничанье; и они испытывали новое острое удовольствие от того, что, по обоюдному сговору, держались друг с другом холодно, в глубине души гордясь и радуясь, что у них общая тайна — их любовь. Амелия упивалась этим новым счастьем: пока падре Амаро болтал со старухами, она слушала его голос, его шутки, впитывала всем существом его присутствие и при этом, целомудренно опустив глаза, вышивала ночные туфли для Жоана Эдуардо, ибо из хитрости она снова принялась за эту работу.

И все-таки клерк не был вполне спокоен: ему не нравилось, что падре Амаро проводит все вечера на улице Милосердия; что он удобно сидит в кресле, закинув ногу на ногу и наслаждаясь умиленным поклонением старух. «Амелиазинья — да, Амелиазинья теперь ведет себя хорошо, она мне верна»,— думал Жоан Эдуардо и все-таки знал, что падре Амаро к ней неравнодушен, что он на нее «глазеет». Амелия поклялась спасением своей души, что у них ничего нет, и он ей верил — и все же боялся старух, благоговевших перед падре Амаро, боялся их медленного, но упорного влияния. Нет, он не успокоится, пока не получит место чиновника в Гражданском управлении и не уведет Амелию из этого пропитанного ханжеством дома. Но счастливый миг все не наступал, и каждый вечер Жоан Эдуардо уходил с улицы Милосердия все более влюбленный, мучаясь ревностью, остро ненавидя «долгополых» и не находя в себе мужества отказаться от этой любви. Тут-то и завел он привычку бродить ночью по городу. Иногда он снова заглядывал на улицу Милосердия посмотреть на закрытое окно Амелии, оттуда шел на Старую аллею у реки, но равнодушный шелест деревьев только обострял его тоску. Он отправлялся в бильярдное заведение, смотрел на игроков, гонявших шары, на растрепанного маркера, который зевал, прислонясь к бильярдному столу. В воздухе стоял запах скверного керосина. Клерк выходил и медленно брел в редакцию «Голоса округа».

X

Редактор «Голоса округа», Агостиньо Пиньейро, приходился Жоану Эдуардо дальним родственником. За искривленную спину и тщедушную, рахитичную фигурку его прозвали «Горбуном». Но и помимо этого Агостиньо был гнусен до чрезвычайности; его бабье личико с порочными глазами говорило о закоренелой, постыдной развращенности. В Лейрии ходили слухи, что он нечист на руку. Во всяком случае, Агостиньо не раз слышал фразу: «Если бы вы не были горбуном, я бы вам все кости переломал!» Вследствие этого он пришел к мысли, что его горб — самое надежное оружие защиты, и преисполнился спокойной наглости.

Родом он был из Лиссабона, отчего местные жители, народ почтенный, окончательно записали его в сомнительные личности. Считалось, что своим резким и хриплым голосом он обязан дурным болезням. Кроме этого, Агостиньо играл на гитаре и потому не стриг свои ногти, побуревшие от табака.

«Голос округа» служил рупором так называемой «партии Майя», неумолимо враждовавшей с гражданским губернатором.

Доктор Годиньо, шеф и кандидат в депутаты от этой партии, нашел в лице Агостиньо, как он выражался, нужного человека. А нужен ему был писака с бойким пером, не обремененный совестью, который облекал бы в звонкие фразы клевету, оскорбления личности и грязные намеки, поставляемые членами партии Майя в сыром виде, в набросках. Агостиньо редактировал и любовно отделывал эти гадкие писания. Ему платили пятнадцать милрейсов в месяц и предоставляли жилье в помещении редакции, на третьем этаже ветхого домишка, в одном из переулков близ Базарной площади.

В обязанности Агостиньо входило писать передовые статьи, статьи на местные темы и корреспонденции из Лиссабона.

Литературные же фельетоны, под шапкой «Лейрийские безделки», сочинял бакалавр Пруденсио, юноша честный, которому сеньор Агостиньо был глубоко противен; но бедняга так страстно жаждал печататься, что принуждал себя каждую субботу побратски садиться с Агостиньо на одну скамью и выверять корректуры своей прозы — столь пышной и цветистой, что, читая ее, весь город ахал: «Сколько поэзии! Господи Иисусе, сколько поэзии!»

Жоан Эдуардо сам понимал, что Агостиньо — безнадежный моветон; он не решился бы появиться со своим родственником на улице среди бела дня, но был не прочь попозже вечером заглянуть в редакцию, покурить, послушать рассказы Агостиньо о Лиссабоне, о тех временах, когда тот сотрудничал в двух газетах, в театрике на улице Кондес, в ломбарде и еще в кое-каких учреждениях. Визиты в редакцию были тайной Жоана Эдуардо.

В этот поздний час типография, помещавшаяся в первом этаже, бывала уже заперта (очередной номер набирали по субботам); Агостиньо находился наверху. Он сидел на скамье, в истертой кожаной куртке, некогда застегивавшейся на серебряные крючки, которые были давно спороты и снесены в ломбард, и при свете уродливой керосиновой лампы размышлял над листком бумаги: он готовил следующий номер газеты. Плохо освещенная комната походила на темную пещеру. Жоан Эдуардо растягивался на плетеном канапе или брал валявшуюся в углу старую гитару Агостиньо и наигрывал «фадо корридо». Журналист между тем, подперев голову кулаком, прилежно творил, но «у него получалось недостаточно шикарно»; даже фадиньо не проясняло его мыслей, и он время от времени вставал, под-

ходил к буфету, опрокидывал стаканчик бренди, прополаскивал одеревеневшую гортань, потягивался, зевал во весь рот, закуривал сигарету и хрипло напевал, благо рядом тренькала гитара:

Видно, так уж велено судьбой:
Мне дойти до жизни до такой...

Трень-брень-брень, трень-брень! Трень-брень-брень, трень-бряк! — отвечала гитара.

Ах, судьба-тиранка, как ты зла!
Ты меня на гибель обрекла...

Этот сюжет, видимо, каждый раз воскрешал в его памяти лиссабонские воспоминания, потому что, кончив куплет, он говорил с отвращением:

— Что тут у вас за скверная дыра!

Агостиньо был безутешен потому, что жизнь загнала его в Лейрию, потому что нельзя каждый вечер выпивать пинту вина в харчевне у дяди Жоана в Моурарии, в компании с Анной-белошвейкой или с «Усачом», и слушать, как Жоан дас Бискас с сигарой во рту, глядя на огонь слезящимся, прищуренным от дыма глазом, повествует под стон гитары о смерти Софьи!

Затем, жаждая найти признание своих талантов, он прочитывал Жоану Эдуардо вслух лучшие пассажи из своих статей. И тот слушал с интересом — потому что произведения кузена содержали в последнее время почти исключительно нападки на священников и были под стать настроению самого Жоана Эдуардо.

Это был тот момент, когда из-за нашумевшего дела о попечителях неимущих доктор Годиньо вступил в лютую войну с капитулом и вообще с духовенством. Он и раньше не переносил «долгополых». Доктор страдал неизлечимой болезнью печени, а церковь наводила его на мысли о кладбище, и потому он возненавидел сутаны: в них было что-то, напоминавшее саван. Агостиньо и без того накопил изрядный запас желчи, а теперь, подстегиваемый шефом, травил духовенство самым бессовестным образом; но, отдавая дань литературе, он уснащал свои опусы столь обильными красотами, что, по выражению каноника Диаса, «лаять — лаял, а кусать — не кусал».

В одну из таких ночей Жоан Эдуардо застал Агостиньо за только что сочиненной статьей, которая у него получилась «почище, чем у Виктора Гюго».

— Сейчас увидишь! Сенсационная вещь!

Статья содержала, как обычно, декламацию против духовенства и похвалы доктору Годиньо. Воздав должное семейным добродетелям доктора и его адвокатскому красноречию, спасшему стольких несчастных от топора правосудия, Агостиньо переходил на более хриплый регистр и взывал прямо к Христу.

— «Мог ли ты знать,— вопиял Агостиньо,— о распятый, мог ли ты знать, испуская дух на Голгофе, что когда-нибудь низкие люди, прикрываясь твоим именем, прячась в твоей тени, изгонят доктора Годиньо из благотворительного учреждения — доктора Годиньо, эту светлую душу, этот могучий интеллект...» — И снова на авансцену выступали добродетели доктора Годиньо и торжественной процессией шествовали по бумаге, волоча шлейфы звучных эпитетов. Затем, на время приостановив любованье доктором Годиньо, Агостиньо обращался непосредственно к Ватикану: — «Неужто же ныне, в XIX веке, вы осмелитесь бросить в лицо всей либеральной Лейрии требования вашего «Силлабуса»? Что ж, хорошо. Вы желаете войны? Вы получите войну!» Ну, как, Жоан?! Сила?

И он продолжал чтение:

— «Вы желаете войны? Вы получите войну! Мы высоко вознесем наш стяг — поймите наконец, что это не стяг демагогии,— и водрузим его на вершине самого мощного бастиона демократических свобод, и пред лицом Лейрии, пред лицом Европы мы кликнем клич: «К оружию, сыны XIX века! К оружию! Вперед, за дело прогресса!» А? Что скажешь? Теперь им крышка!

Жоан Эдуардо немного помолчал, потом сказал, невольно выражаясь под стать прозе Агостиньо:

— Клерикалы задумали воскресить мрачные времена обскурантизма!

Эта роскошная фраза изумила Агостиньо; несколько мгновений он пристально смотрел на Жоана Эдуардо, потом сказал:

— А почему бы тебе самому не написать для нас что-нибудь?

Клерк ответил, улыбнувшись:

— Да, я бы сочинил крепкую статейку! Уж я бы разоблачил эту публику... Кому их и знать, как не мне!

Агостиньо начал приставать, чтобы он написал «крепкую статейку».

— Ты, брат, даже не знаешь, как бы это было кстати...

Не далее как вчера доктор Годиньо говорил ему: «Чуть где запахнет долгополыми — бейте без всякого снисхождения! Слу-

чится грязная история — рассказать публично! Нет грязной истории — придумать!» И Агостиньо благодушно прибавил:

— О стиле можешь не беспокоиться, я тебе его расцвечу как следует.

— Что ж, посмотрим... Посмотрим...— бормотал Жоан Эдуардо.

С тех пор дня не проходило, чтобы Агостиньо не спросил:

— Ну, что же твоя статья? Тащи, брат, статью!

Он не мог отказаться от этой заманчивой мысли, так как знал, что Жоан Эдуардо принят как свой «католической кликой Сан-Жоанейры» и должен быть в курсе их самых гнусных тайн.

Однако Жоан Эдуардо колебался. Что, если узнают?

— Да брось! — уговаривал Агостиньо.— Она же пойдет под моим именем. Редакционная статья! Черта лысого они узнают!

На следующий день Жоан Эдуардо приметил, что падре Амаро опять что-то шепчет Амелии на ушко, и поздно вечером появился в редакции, хмурый как ненастная ночь, и принес пять мелко исписанных писарским почерком листков бумаги. Это была статья. Называлась она «Современные фарисеи». Первые строчки содержали цветистые рассуждения об Иисусе Христе и о Голгофе, но в остальном творение Жоана Эдуардо представляло собой почти незавуалированный, прозрачный, как паутина, пасквиль на каноника Диаса, на падре Брито, на падре Амаро и на падре Натарио!.. Все они «получили свою долю», как выразился очарованный Агостиньо.

— Когда она пойдет? — спросил Жоан Эдуардо.

Агостиньо потер ладони, подумал, потом сказал:

— Блюдо, черт возьми, уж больно острое! Ведь все они чуть ли не по именам названы! Но ты не беспокойся, я утрясу.

Он под секретом показал статью доктору Годиньо; тот определил ее как «беспощадный памфлет».

Но ссора доктора Годиньо с церковью была не более чем размолвкой: в принципе он признавал необходимость религии для масс; супруга доктора, красивая дона Кандида, была дама набожная и жаловалась уже довольно настойчиво на то, что газетная война против духовенства отягощает ее совесть; доктор Годиньо вовсе не желал вызывать чрезмерную ненависть священников, предвидя, что интересы семейного мира, общественного порядка и христианский долг раньше или позже вынудят его пойти на примирение: «Хоть это и противно моим идеалам, но...»

Поэтому он сказал Агостиньо довольно сухо:

— Это не может пойти в качестве редакционной статьи. Печатайте как заметку. И не вздумайте своевольничать.

Агостиньо объявил клерку, что статья появится в разделе «Заметок» за подписью *Либерал*. У Жоана Эдуарда статья заканчивалась призывом: «Матери семейств, будьте бдительны!» Агостиньо против этого возражал: призыв к бдительности мог вызвать, по ассоциации, шутливый ответ: «Всегда на посту!» После долгих поисков они остановились на следующем финальном кличе: «Берегитесь, черные сутаны!»

В следующее воскресенье заметка была напечатана за подписью *Либерал*.

Все воскресное утро, вернувшись из собора, падре Амаро просидел над письмом к Амелии. Не в силах более переносить, как он говорил себе, неопределенность их отношений, которые и не прекращаются и не продолжаются (взгляды, пожатье рук — и ничего более), он вручил ей однажды вечером, за лото, записочку, где разборчивым почерком, синими чернилами было написано следующее: «Мне необходимо поговорить с вами наедине. Где бы нам встретиться без помехи? Благословение божие да пребудет с нами». Она не ответила. Амаро был уязвлен. Крайне недовольный тем, что вдобавок не видел ее на утренней мессе в девять часов, он решил внести в это дело ясность при помощи нежного письма. И теперь, расхаживая по комнате, бросая на пол окурки, то и дело листая «Словарь синонимов», он придумывал трогательные слова, которые перевернули бы ее сердце.

«Моя любимая Амелиазинья (писал он)! Я тщетно ломаю голову, стараясь угадать причину, помешавшую вам ответить на письмецо, которое я вручил вам в доме вашей матушки; мне было необходимо поговорить с вами наедине; намерения мои чисты, невинна моя душа, столь сильно вас любящая и чуждая греховных помыслов.

Какими словами объяснить, что я питаю к вам пламенное чувство? А мне кажется (если только не обманывают эти глазки, ставшие светочами моей жизни и как бы путеводной звездой для моей ладьи), что и ты, моя Амелиазинья, не совсем равнодушна к тому, кто так беззаветно тебя боготворит, ибо в тот вечер, когда Либано первый закрыл свою карту и все взволновались и зашумели, ты пожала мне под столом руку с такой нежностью, что мне показалось — врата неба распахнулись и ангелы запели «Осанну»! Почему же ты не ответила?

Если ты думаешь, что эта любовь неугодна ангелам-хранителям, то скажу одно: еще больший грех совершаешь ты, подвергая меня мучениям и неуверенности, ибо, даже служа в соборе, я все время думаю о тебе и не могу настроить душу на должный божественный лад. Если бы я видел, что наша взаимная склонность — дело рук искусителя, я бы первый сказал тебе: «О моя возлюбленная дочь, принесем жертву Христу, в отплату хотя бы за одну каплю крови, пролитой им ради нас!» Но я вопросил мою душу и вижу, что она чиста, как лилия. Твоя любовь тоже чиста, как твоя душа, и однажды души наши сольются в ангельском хоре и вместе будут вкушать вечное блаженство. Если бы ты знала, как я тебя люблю, милая Амелиазинья! Иногда мне кажется, что я так бы тебя и съел по кусочкам! Итак, ответь на мое письмо и не забудь написать, нельзя ли нам встретиться вечером в Моренале. Я жажду рассказать тебе, какое пламя меня сжигает, поговорить с тобой о других важных делах и подержать в своих руках твою ручку. Как бы я хотел, чтобы она всегда вела меня по дорогам любви и привела к восторгам неземного счастья! Прощай, обворожительный ангел, и прими в дар сердце твоего возлюбленного и духовного отца.

Амаро».

После обеда он переписал это письмо начисто синими чернилами, тщательно сложил и, засунув в карман подрясника, отправился к Сан-Жоанейре. Уже на улице он услышал пронзительный голос Натарио, о чем-то горячо ~~енорившего~~.

— Кто наверху? — спросил он Русу, которая светила ему, кутаясь в шаль.

— Все сеньоры уже собрались. Сегодня у нас также падре Брито.

— Ола! Избранное общество.

Он быстро взбежал по лестнице и в дверях столовой, еще не сбросив плаща, высоко поднял шляпу:

— Доброго вечера всем присутствующим, начиная с дам!

Натарио мгновенно очутился возле него и воскликнул:

— Ну, что скажете?

— А что? — спросил Амаро. Он вдруг заметил, что в столовой гробовая тишина и что все взоры устремлены на него.

— В чем дело? Что-нибудь случилось?

— Так вы не читали, сеньор настоятель? — разом закричали дамы.— Вы не читали «Голос округа»?

Он ответил, что в руки не брал этого грязного листка.

Старухи в волнении зашумели:

— Ах! Наглый вызов!

— Скандал, сеньор падре Амаро!

Натарио, засунув руки в карманы, смотрел на соборного настоятеля с саркастической улыбочкой и цедил сквозь зубы:

— Не читали? Не читали? Интересно, что же вы делали?

Амаро, уже струхнув, отметил, что Амелия необычайно бледна, а глаза у нее красные и заплаканные. Но вот каноник сказал, тяжело поднимаясь с места:

— Друг Амаро, нам дали пощечину!..

— Как это?!

— Оплеуху!

В руках у каноника была газета. Все общество потребовало, чтобы он прочел статью вслух.

— Читайте, Диас, читайте,— поддержал Натарио.— Читайте, а мы послушаем!

Сан-Жоанейра прибавила огня в керосиновой лампе; каноник Диас расположился за столом, развернул газету, аккуратно надел очки и, расстелив на коленях платок, на случай если придется чихнуть, начал читать заметку своим сонным голосом.

Начало было неинтересное: в первых строках шли прочувствованные фразы, в которых *Либерал* укорял фарисеев за то, что они распяли Иисуса. «За что вы убили его? (восклицал он!) Отвечайте!» И фарисеи отвечали: «Мы убили его за то, что он знаменовал свободу, избавление, зарю новой эры» — и т. п. Затем *Либерал* набрасывал в нескольких ярких штрихах картину ночи на Голгофе: «И вот, пронзенный копьем, он висит на кресте, его одежду разыгрывают по жребию солдаты. Разнузданная чернь...» — и т. д. Затем, снова взявшись за несчастных фарисеев, *Либерал* иронически предлагал: «Что ж, полюбуйтесь делом рук своих!» И лишь после этого, осуществив искусный переход, *Либерал* спускался из Иерусалима в Лейрию. «Может быть, читатели думают, что фарисеи давно умерли? Если так, то они заблуждаются! Фарисеи живы! Они ходят среди нас, в Лейрии их полно, и мы их представим на суд читателя одного за другим...»

— Сейчас начнется,— сказал каноник, оглядев поверх очков кружок слушателей.

И действительно, началось. Это была целая галерея карикатур на духовенство епархии. Первым шел падре Брито. «Смотрите на него! — восклицал *Либерал*.— Вот он едет, толстый, как бык, верхом на своей каурой кобыле...»

— Чем же кобыла-то виновата! — обиделась дона Мария де Ассунсан.

— «Он глуп как тыква, латыни не знает...»

Изумленный падре Амаро только вскрикивал: «Ого! Ого!» Падре Брито, с багровым лицом, нервно покачивался на стуле, растирая ладонями колени.

— «Во всем остальном личность глубоко бездарная,— продолжал каноник, произнося эти жестокие слова со спокойной кротостью,— невежа и грубиян, однако и ему не чужды нежные порывы, и, как утверждают люди осведомленные, он избрал на роль Дульцинеи законную супругу сельского старосты».

Падре Брито не выдержал:

— Я его измордую! — взревел он, вскочив и снова тяжело рухнув на стул.

— Да ты послушай,— начал Натарио.

— А что мне вас слушать! Измордую...

— Да ведь ты не знаешь, кто такой *Либерал!*

— К черту *Либерала!* Я измордую Годиньо! Годиньо — хозяин газеты. Я из него дух вышибу!

Голос его превратился в хрип. Рука бешено колотила по ляжке.

Ему напомнили, что долг христианина — прощать обиды. Сан-Жоанейра благостным тоном привела в пример пощечину, полученную Иисусом Христом. Падре Брито должен поступить, как Христос.

— А убирайтесь вы к черту с вашим Христом! — завопил Брито на пороге апоплексического удара.

Это кощунство повергло всех в ужас.

— Опомнитесь, сеньор падре Брито, опомнитесь! — воскликнула сестра каноника, отпрянув вместе со стулом.

Либаниньо, схватившись за голову и поникнув под бременем несчастья, шептал:

— Пресвятая дева, мати всех скорбящих, сейчас нас молния поразит!

Видя, что даже Амелия возмущена, падре Амаро внушительно сказал:

— Брито, в самом деле, вы забываетесь.

— А зачем меня провоцируют!..

— Никто вас не провоцирует,— строго возразил Амаро,— и напоминаю вам, как велит мой пастырский долг, что за злостное кощунство преподобный отец Скомелли предписывает покаяние, исповедь и два дня содержания на хлебе и на воде.

Падре Брито что-то ворчал сквозь зубы.

— Хэрошо. Хорошо,— резюмировал Натарио.— Брито совершил серьезный проступок, но он вымолит у господа прощение, ибо милость божия неиссякаема.

Наступила короткая пауза. Только дона Мария де Ассунсан все еще бормотала, что у нее вся кровь в жилах заледенела. Каноник же, который в минуту катастрофы положил очки на стол, снова надел их и продолжал чтение:

— «Кому не известен и другой духовный пастырь, с физиономией хорька...— Все искоса взглянули на падре Натарио.— Остерегайтесь его! Если ему представится случай совершить предательство — он его совершит; если подвернется возможность напакостить — он будет рад и счастлив; своими интригами он довел капитул до полного разложения; это самый ядовитый аспид во всей епархии; при всем том он увлекается садоводством, а именно взращивает в своем вертограде две розы».

— Даже и это! — воскликнул Амаро.

— Вот видите? — сказал Натарио, позеленев и встав со стула.— Видите? Все знают, что в разговоре я иногда называю моих племянниц «двумя розами моего вертограда». В шутку. Видите, господа, они и это высмеяли!

На лице его блуждала кривая, желчная улыбка.

— Но ничего! Завтра я узнаю, кто этот *Либерал*. Ничего! Я узнаю, кто он!

— Пренебрегите, сеньор падре Натарио, будьте выше этого,— сказала Сан-Жоанейра примирительно.

— Премного обязан, сеньора,— прошипел Натарио, кланяясь с язвительной иронией,— премного обязан. Приму к руководству!

Но каноник хладнокровно продолжал чтение. Теперь шел его собственный портрет, в каждом штрихе которого сквозила непримиримая ненависть:

— «...Толстопузый обжора каноник, бывший клеврет дона Мигела, выгнанный из прихода Оурен; некогда он учил нравственности семинаристов, а теперь учит безнравственности Лейрию...»

— Какая подлость! — воскликнул Амаро.

Каноник положил газету и сказал сонным голосом:

— Ты думаешь, меня это задело? Ничуть! Благодарение богу, на хлеб мне хватает. Пусть лягается, благо есть копыта!

— Нет, братец,— перебила его дона Жозефа,— все-таки у человека должна быть своя гордость!

— Не суйся, сестрица,— отозвался каноник со всем ядом сдержанной ненависти.— Никто не спрашивает твоего мнения.

— А мне все равно, спрашивает или не спрашивает! — взвизгнула дона Жозефа.— Я свое мнение могу сказать, когда хочу и кому хочу. Если у тебя нет стыда, так у меня его хватит на двоих!

— Ну!.. Ну!.. — зашумели все, унимая дону Жозефу.

— Придержи язык, сестрица! Придержи язык! — сказал каноник, складывая очки.— Смотри не потеряй свою искусственную челюсть!

— Грубиян!

Она хотела продолжать, но у нее сперло дыханье, за этим последовала нервная икота. Дамы испугались, что у доны Жозефы начинается истерика. Сан-Жоанейра и дона Жоакина Гансозо увели ее под руки вниз, стараясь успокоить участливыми словами.

— Опомнись, голубушка. Что ты, милая. Грех-то какой! Помолись пресвятой деве!

Амелия послала за апельсиновым уксусом.

— Ничего ей не сделается! — хрюкал каноник.— Сама отойдет. Это у нее приливы!

Амелия бросила на падре Амаро горестный взгляд и спустилась вниз, вместе с доной Марией де Ассунсан и с глухой Гансозо, которые тоже отправились «уговаривать бедненькую дону Жозефу». Священники остались одни; каноник повернулся к Амаро и сказал, снова берясь за газету:

— Слушай, теперь идет про тебя.

— Вы тоже получили порцию, и какую! — предупредил Натарио.

Каноник прочистил горло, пододвинул поближе лампу и с чувством задекламировал:

— «...Но главная язва — иные молодые священники, этакие денди в подрясниках, которые получают приходы по протекции столичных графов, водворяются на житье в семейных домах, где есть неопытные молодые девушки, и, пользуясь влиянием, какое дает их высокий сан, сеют в невинных душах семена порока и разврата!»

— Наглец! — пробормотал Амаро, зеленея.

— «...Говори, служитель Христа, на какой путь влечешь ты невинную деву? Хочешь выпачкать ее в грязи порока? Зачем проник ты в лоно почтенной семьи? Для чего кружишь около своей жертвы, словно коршун вокруг беззащитной голубки? Прочь, святотатец! Ты нашептываешь ей соблазнительные речи,

чтобы столкнуть ее с честной дороги; ты обрекаешь на горе и вдовство какого-нибудь честного юношу, который хотел бы предложить ей свою трудовую руку; а ей ты готовишь страшное будущее и потоки слез. И все это для чего? Для того лишь, чтобы удовлетворить гнусные позывы твоей преступной похоти...»

— Какой негодяй! — прошептал сквозь стиснутые зубы падре Амаро.

— «...Но помни, недостойный иерей»,— каноник извлек из своих голосовых связок самые глубокие звуки, чтобы должным образом подать заключительные фразы,— уже архангел занес над тобою меч высшего правосудия. На тебя и твоих сообщников устремлен беспристрастный взгляд всей просвещенной Лейрии. И мы, сыны труда, бдим на посту и заклеймим позорным тавром чело богоотступника. Трепещите, заговорщики «Силлабуса»! Берегитесь, черные сутаны!»

— Бьет наповал! — заключил вспотевший каноник, складывая «Голос округа».

Падре Амаро плохо видел сквозь слезы ярости, туманившие ему глаза; он медленно вытер платком лоб, перевел дух и сказал дрожащими губами:

— Не знаю, коллеги, что и думать! Бог видит правду. Все это клевета, грубая клевета.

— Подлый поклеп...— загудели священники.

— По-моему,— продолжал падре Амаро,— мы должны обратиться к властям!

— И я так говорю,— поддержал Натарио.— Надо поговорить с непременным секретарем Гражданского управления...

— Нет, тут нужна дубина! — зарычал падре Брито.— Что власти! Надо поколотить его палкой! Я бы из него дух вышиб!

Тогда каноник, который размышлял, почесывая подбородок, сказал:

— Натарио, вы должны пойти к непременному секретарю. Вы владеете словом, мыслите логично...

— Если таково решение коллег,— сказал Натарио, поклонившись,— то я пойду. Скажу им все, что следует, этим властям!

Амаро сидел за столом, обхватив голову руками, совершенно уничтоженный. Либаниньо скулил:

— Ох, милые, про меня-то ничего нет... но как послушаешь этакое... Ей-богу, поджилки так и трясутся. Ох, чада мои, что же это за напасть...

Но на лестнице послышался голос доны Жоакины Гансозо; каноник сейчас же сказал вполголоса:

— Коллеги, при дамах лучше к заметке не возвращаться. Довольно и того, что было.

Через минуту, как только вошла Амелия, Амаро поднялся, сказал, что у него разболелась голова, и откланялся.

— Как, и чаю не выпьете? — огорчилась Сан-Жоанейра.

— Нет, милая сеньора,— ответил он, запахивая плащ.— Мне что-то нездоровится. Доброй ночи... А вы, Натарио, загляните завтра около часу в собор...

Он пожал руку Амелии, которая была так убита, что даже не ответила на его рукопожатие, и вышел, понуро горбясь.

Расстроенная Сан-Жоанейра заметила:

— Сеньор падре Амаро сегодня такой бледный...

Каноник сказал с ядом:

— Что? Он сегодня бледный? Ничего, завтра будет красный. А теперь скажу одно: этот газетный пасквиль — злостная клевета! Я не знаю, кто его написал и с какой целью. Но все это чепуха и подлость, а автор дурак и негодяй, кто бы он ни был. Что предпринять — уже решено. Впрочем, не слишком ли много внимания мы уделяем этой статейке? Попросим сеньору напоить нас чаем, а там видно будет. О статье больше ни слова.

Но физиономии у всех были по-прежнему вытянутые. Убедившись в этом, каноник прибавил:

— И вот что: никто у нас не умер, нечего делать скорбные лица. А ты, детка, садись-ка за фортепьяно и спой нам «Чикиту»!

Непременный секретарь Гражданского управления, сеньор Гоувейя Ледезма, бывший журналист, а в годы экспансивной молодости автор чувствительной книжки «Грезы мечтателя», управлял в то время округом, так как гражданский губернатор был в отъезде.

Сеньор Гоувейя Ледезма имел звание бакалавра наук и в молодости считался многообещающим юношей. Будучи питомцем Коимбры, он с успехом играл первых любовников в студенческом театре и заслужил в этом амплуа немало рукоплесканий; именно тогда он завел привычку гулять вечерами по Софии с видом роковым и разочарованным, производившим неизменный эффект: такое выражение лица прилипло к нему на сцене, когда, изображая несчастную любовь, он рвал на себе

волосы или прикладывал к глазам платок. Вернувшись в Лиссабон, он промотал свое небольшое наследство на разных Лолит и Карменсит, на ужины у Маты, на модные брюки от Шафредо и разорительные литературные знакомства. К тридцати годам он оказался беден как церковная мышь и насквозь пропитан ртутью, зато мог похвастать двадцатью статейками, напечатанными в «Цивилизации», и успел приобрести популярность в лучших кафе и борделях, где был известен под ласковым прозвищем «Биби». К этому времени Биби считал, что знает жизнь; он отпустил бакенбарды, на каждом шагу цитировал Бастиа, посещал заседания парламента и вступил на стезю государственной службы, а республику, за которую так горячо ратовал в Коимбре, уже называл химерической мечтой; словом, Биби стал опорой существующего порядка и столпом общества.

Он ненавидел Лейрию, несмотря на то, что его считали здесь выдающимся умом, и говорил дамам на soirées [1] у депутата Новайса, что устал от жизни. В городе болтали, что хозяйка дома влюблена в него по уши; и действительно, Биби писал приятелю в столицу: «Что до любовных побед, то в данное время похвастать нечем; в перспективе — ничего, кроме продления рода Новайсов».

Вставал он поздно, и в это утро, сидя за завтраком в robe de chambre, кушал яйца всмятку и с увлечением читал в газете корреспонденцию о том, как кого-то освистали в Сан-Карлосе; вдруг лакей, вывезенный им из Лиссабона, вошел с докладом, что там пришел какой-то священник.

— Священник? Проси сюда! — сказал непременный секретарь и самодовольно пробормотал в назидание самому себе: — Государство не должно заставлять Церковь ждать в передней!

Он встал и протянул обе руки падре Натарио; тот вошел скромно, держась с большим достоинством в своем длинном люстриновом подряснике.

— Подай стул, Триндаде! Чашечку чая, сеньор священник? Прекрасное утро, не правда ли? Я как раз думал о вашем преподобии — то есть, я хочу сказать, я думал о духовенстве вообще... Я только что прочел книгу о поклонении Лурдской богоматери... Внушительный пример! Тысячи паломников, из самого лучшего общества... Утешительно видеть, что вера воскресает... Не далее как вчера я говорил у Новайсов: «В конечном счете, вера — это мощный рычаг общества!» Не

---

[1] На вечерах *(франц.)*.

угодно ли чашечку чая? Это в наше время спасительный бальзам...

— Нет, спасибо, я уже завтракал.

— Вы меня не поняли! Когда я сказал «спасительный бальзам», я имел в виду веру, а не чай! Ха! Ха! Забавно получилось, правда?

Он долго и любезно смеялся. Непременный секретарь Гражданского управления хотел произвести наилучшее впечатление на Натарио, памятуя принцип, который неустанно проповедовал с тонкой улыбкой: «Кто хочет играть роль в политике, должен иметь долгополых на своей стороне!»

— А кроме того,— продолжал он,— как я и говорил вчера у Новайсов, это чрезвычайно выгодно для местной экономики! Возьмите Лурд; он был обыкновенной деревушкой, а теперь, благодаря наплыву паломников, это целый город... Большие отели, бульвары, роскошные магазины... Так сказать, экономический прогресс, идущий в ногу с религиозным возрождением.

И, очень довольный собой, он с важным видом поправил воротник.

— Я пришел к вашему превосходительству по поводу заметки в «Голосе округа».

— А! — живо откликнулся непременный секретарь.— Да! Читал! Острый памфлет! Но с чисто литературной точки зрения, в смысле стиля, образов — ужаснейшее убожество!

— И что же, ваше превосходительство, вы намерены предпринять?

Сеньор Гоувейя Ледезма откинулся на спинку стула и в крайнем изумлении спросил:

— Я?

Натарио сказал, отчеканивая каждое слово:

— Власти обязаны защищать государственную религию и, следовательно, ее служителей... Прошу вас учесть, ваше превосходительство, что я явился сюда отнюдь не от имени духовенства... — Он приложил руку к сердцу.— Я всего лишь бедный священник, не имеющий никакого влияния... Я пришел к вам как частное лицо, чтобы задать один только вопрос: допустимо ли, чтобы уважаемые всеми служители церкви подвергались диффамации?

— Разумеется, разумеется, весьма прискорбно, что газета...

Натарио перебил его, выпрямившись с негодующим видом:

— Эту газету давно следовало закрыть, сеньор секретарь!

— Закрыть?! Помилуйте, сеньор священник! Ваше преподобие, как видно, желали бы вернуть времена полицейского произвола! Закрыть газету! Вы забыли, что свобода прессы — священный принцип! Да и законы о печати этого не разрешают! Жаловаться властям на то, что в газете промелькнули две-три непочтительные фразы о священниках... Абсолютно невозможно! Нам пришлось бы возбудить преследование против всей португальской прессы, за исключением «Нации» и «Общественного блага»! К какому жалкому финалу пришла бы свобода мысли, тридцать лет прогресса, самая идея конституционной власти! Мы не Кабралы, почтеннейший сеньор! Нам нужно просвещение, максимум просвещения! Именно к этому мы главным образом и стремимся: к просвещению!

Натарио тихонько откашлялся и сказал:

— Прекрасно. Но имейте в виду: когда наступят выборы и вы придете к нам просить поддержки, мы, видя, что не можем рассчитывать на ваше покровительство, ответим просто, но внятно: «Non possumus» [1].

— Неужели сеньор священник думает, что из-за нескольких голосов, доставленных нам церковью, мы предадим дело цивилизации?

И бывший Биби, встав в позу, продекламировал:

— Мы сыны свободы и не отречемся от нашей матери!

— Но ведь доктор Годиньо, душа этой газеты, принадлежит к оппозиции,— заметил тогда падре Натарио.— Брать под защиту его издание — это значит покровительствовать маневрам оппозиции...

Непременный секретарь улыбнулся:

— Дорогой мой сеньор, вы далеки от политики. Между доктором Годиньо и Гражданским управлением нет вражды, есть лишь временное расхождение... Доктор Годиньо — человек большого ума. Он уже и сам видит, что партия Майя — мертворожденное дитя. Доктор Годиньо отдает должное правительству, а правительство отдает должное доктору Годиньо.

И, окутавшись облаком государственной тайны, он заключил:

— Это вопрос большой политики, дорогой мой сеньор.

Натарио встал.

— Значит...

— Impossibilis est [2],— сказал секретарь.— Впрочем, прошу

---

[1] Мы не можем *(лат.)*.

[2] Это невозможно *(лат.)*.

вас верить, сеньор священник, что лично я, как частное лицо, возмущен этой заметкой. Но как представитель власти я обязан защищать свободу печати... Однако вы можете быть уверены — и передайте это всему нашему клиру,— что у католической церкви нет более преданного сына, чем я, Гоувейя Ледезма. Но я ищу религии либеральной, гармонирующей с прогрессом, с наукой... Таковы мои убеждения. Я всю жизнь проповедовал их вслух, и в печати, и в университете, и в обществе. Так, например, я нахожу, что нет на свете более возвышенной поэзии, чем поэзия христианства! Я восхищаюсь папой Пием Девятым, это крупная фигура! Достойно сожаления, что он не хочет встать под знамя цивилизации! — И Биби, весьма довольный этой фразой, повторил ее: — Да, достойно сожаления, что он не хочет встать под знамя цивилизации... «Силлабус» невозможен в век электричества, сеньор священник! Истина в том, что мы не имеем права преследовать судебным порядком газету только за то, что в ней опубликовано несколько выпадов против духовных лиц; и мы не можем, считаясь с интересами большой политики, повторяю, не можем обострять отношения с доктором Годиньо. Вот что я думаю по этому поводу.

— Сеньор секретарь...— сказал Натарио, кланяясь.

— Ваш покорнейший слуга. Так вы не хотите выпить чашечку чая?.. Как поживает наш почтенный декан?

— Его преподобие последнее время, кажется, опять страдает головокружениями.

— Сочувствую от души. Выдающийся ум! Знаток латыни... Осторожно, тут ступенька!

Натарио побежал в собор, спотыкаясь от волнения, громко и злобно что-то бормоча. Амаро прохаживался по галерее, заложив руки за спину; глаза у него запали, лицо постарело.

— Ну что? — спросил он, торопливо идя навстречу Натарио.

— Ничего!

Амаро стиснул зубы; и по мере того как Натарио в великом возбуждении пересказывал ему свой разговор с непременным секретарем,— и как он с ним спорил, и какие аргументы приводил, а тот трещал языком и ничего больше,— лицо соборного настоятеля все мрачнело и мрачнело; он в бешенстве выдирал кончиком зонта траву, росшую в трещинах каменных плит.

— Пустобрех! — заключил падре Натарио, махнув рукой.— Нет, на власти надеяться нечего. Это бесполезно. Теперь

Либерал будет иметь дело со мной, падре Амаро! Я сотру его с лица земли, падре Амаро! Я сделаю это сам!

С того воскресенья Жоан Эдуардо ходил по Лейрии победителем: его статья наделала много шума. Было продано восемьдесят номеров сверх подписки, и Агостиньо слышал, что в аптеке на Базарной площади все говорили в один голос: «*Либерал* знает о долгополых всю подноготную, и вообще видно, что это малый с головой».

— Ты, брат, просто гений! — сказал Агостиньо.— Теперь пиши вторую статью.

Жоан Эдуардо был страшно доволен скандалом, который вызвала его заметка.

Он вновь и вновь перечитывал статью с гордостью почти отцовской; если бы не страх восстановить против себя Сан-Жоанейру, он бы ходил по лавкам и громко говорил: «Я автор! Заметка написана мной!» Он начал сочинять следующую корреспонденцию, поистине свирепую, и уже придумал для нее заглавие: «Дьявол в личине отшельника, или Лейрийское духовенство и XIX век».

Доктор Годиньо встретил его на Базарной площади и снизошел до того, что остановился поговорить с ним:

— Да, статья всех взбудоражила. Вы просто демон! Как отделали Брито! А я и не знал... Говорят, жена старосты очень и очень недурна...

— Ваша милость не знали?

— Не знал! И оценил вашу сатиру. Нет, вы просто демон! Но я велел Агостиньо напечатать это как заметку. Сами понимаете... Мне не годится вступать в новые драки с клерикалами. К тому же моя жена боится божьей кары... Она женщина, а женщинам приличествует быть набожными! Но про себя, в душе, я очень ценю... Особенно удался Брито. Этот прохвост хотел во что бы то ни стало провалить меня на прошлых выборах. Да, кстати! Ваше дело улаживается: в следующем месяце вы получите место в Гражданском управлении.

— Ах, сеньор доктор... Ваша милость...

— Не за что, не за что! Вы заслужили!

Жоан Эдуардо пошел в контору, трепеща от радости. Нунеса Феррала не было. Клерк не спеша очинил перо, начал переписывать начисто какую-то доверенность, но вдруг схватил шляпу и побежал на улицу Милосердия.

Сан-Жоанейра в одиночестве шила у окна. Амелия уехала в Моренал. Не успев войти, Жоан Эдуардо закричал:

— Знаете, дона Августа! Я только что разговаривал с док-

тором Годиньо. Он говорит, что в следующем месяце я получу место...

Сан-Жоанейра сняла очки, уронила руки на колени.

— Да что вы говорите?

— Это точно! Точно! — И клерк тер ладони, нервно посмеиваясь от радости.— Привалило счастье! Так что теперь, если Амелиазинья согласна...

— Ах, Жоан Эдуардо! — проговорила Сан-Жоанейра, переведя дух.— Вы снимаете большую тяжесть с моего сердца!.. Я-то уж думала... Даже спать не могла!

Жоан Эдуардо почувствовал, что речь пойдет о заметке. Он отнес свою шляпу в угол, положил ее на стул и снова подошел к окну, заложив руки в карманы.

— Отчего же?

— Из-за этой бессовестной статьи в «Голосе округа». Ну, что вы скажете?! Ведь это клевета! Ох! Я на десять лет постарела!

Жоан Эдуардо писал свою заметку в припадке ревности, единственно с целью «подвести под обух» падре Амаро; он совсем не подумал, что доставит неприятность обеим дамам, и теперь, видя слезы на глазах у Сан-Жоанейры, уже почти раскаивался в том, что сделал. Он уклончиво ответил:

— Да, черт их знает... Я читал.

И, желая использовать волнение Сан-Жоанейры в интересах своей любви, он продолжал, придвинув свой стул поближе к ней:

— Мне не хотелось говорить об этом, дона Августа, но... Знаете, Амелиазинья держала себя уж слишком непринужденно с соборным настоятелем... И Либаниньо, и обе Гансозо это видели; даже сами того не замечая, они могли где-нибудь сболтнуть, и вот уже пошло-поехало... Я-то понимаю, что бедняжка не думала ни о чем плохом, но... Ведь вы знаете Лейрию, дона Августа. Сколько ехидства!

Тогда Сан-Жоанейра сказала, что будет говорить с ним, как с родным сыном: она расстроилась главным образом из-за него, Жоана Эдуардо. Ведь он мог поверить, расторгнуть помолвку... Сколько горя! Но она, как порядочная женщина, как мать, может, положа руку на сердце, сказать: между Амелией и священником не было ничего, ровным счетом ничего! Просто у бедной девочки общительный характер... А падре Амаро так обходителен, добр... Она всегда говорила: его милые манеры не могут не подкупить...

— Это верно,— прошептал Жоан Эдуардо, повесив голову и кусая ус.

Сан-Жоанейра, глядя прямо в глаза клерку, легонько прикоснулась рукой к его колену:

— И вот что. Может, мне и не следовало бы это говорить, но девочка по-настоящему любит вас, Жоан Эдуардо.

У клерка сердце запрыгало от волнения.

— А я-то! — сказал он.— Вы же знаете, дона Августа, я люблю ее без памяти... И что мне эта статья!

Тогда Сан-Жоанейра вытерла глаза передником. Ах, она так рада! Она же всегда говорила: второго такого сердца нет во всей Лейрии!

— Ведь я вас как сына люблю!

Клерк был тронут.

— В чем же дело? Сыграем свадьбу, и все они прикусят языки...

Он встал и произнес с шутливой торжественностью:

— Сеньора дона Августа! Я имею честь просить руки вашей дочери.

Она засмеялась, а Жоан Эдуардо, в порыве сыновних чувств, поцеловал ее в лоб.

— Поговорите сегодня же с Амелиазиньей,— сказал он, уходя.— Я приду к вам завтра, и конец всем печалям...

— Благодарение господу богу! — воскликнула Сан-Жоанейра, снова принимаясь за шитье со вздохом глубокого облегчения.

Как только Амелия вернулась из Моренала, Сан-Жоанейра, накрывавшая на стол, сказала ей:

— Здесь был Жоан Эдуардо.

— А!

— Мы с ним поговорили...

Амелия молча складывала свой шерстяной шарф.

— Он жаловался...

— На что? — спросила она, краснея от стыда.

— На что? На то, что в городе много болтают об этой статье. Все задают один вопрос: кто эти «неопытные девушки», о которых говорит газета? Ответ только один: кому же и быть, как не дочке Сан-Жоанейры с улицы Милосердия! Бедный Жоан говорит, что места себе не находил... Но по своей деликатности он молчал... И наконец...

— Да что же я-то могу сделать, маменька? — вскрикнула Амелия. Глаза ее вдруг налились слезами: слова матери бередили ее душу, как капли уксуса, жгущие открытую рану.

— Я говорю все это к твоему сведению. Поступай как знаешь, дочка. Конечно, это клевета! Но тебе известно, как злы люди... Могу сказать одно: он не верит газете. Это больше всего меня беспокоило! Ужасно! Я ни одной ночи не спала... Но нет: он говорит, что плюет на эту статью, что он любит тебя по-прежнему и хочет поскорей сыграть свадьбу. Дело твое... А только я бы уже давно обвенчалась, чтобы заткнуть им всем рты. Знаю, ты в него не влюблена. Я знаю. Но это вздор! Любовь придет потом. Жоан — хороший человек; скоро он получит место...

— Он получит место?

— Да, так он сказал. Он виделся с доктором Годиньо, и тот обещал, что через месяц его примут в Гражданское управление... Подумай, дочка, крепко подумай. И не забудь, что я стара; в любой момент ты можешь остаться одна на свете.

Амелия молчала, неподвижно глядя в окно, на воробьев, вспорхнувших с соседней крыши: их беспорядочное метание было не так беспокойно, как ее разбегавшиеся мысли.

С самого воскресенья она не знала ни минуты покоя. Она отлично понимала, что «неопытная девушка», про которую упоминала заметка,— это она, Амелия, и ей было оскорбительно думать, что ее любовь стала предметом газетной шумихи. Она кусала губы от досады, и слезы брызгали у нее из глаз при мысли, что теперь все погибло! На Базарной площади, под Аркадой, все, все говорят с грязной улыбочкой: «Так, значит, Сан-Жоанейрина Амелиазинья спуталась с долгополым?» И, конечно, сеньор декан, не допускавший никаких историй с женщинами, сделает выговор падре Амаро... Из-за нескольких взглядов, нескольких рукопожатий погибло все: ее доброе имя и ее любовь!

В понедельник, когда она ездила в Моренал, ей уже казалось, что за ее спиной раздаются смешки; почтенный Карлос поклонился ей с порога аптеки как-то сухо; на обратном пути ей повстречался Маркес из скобяной лавки и не снял шляпы, и она уже считала себя опозоренной, забывая, что добряк Маркес даже у себя в лавке ничего не видит без двух пар очков.

— Что мне делать? Что мне делать? — шептала она, стискивая голову руками. Ее бедный мозг, приученный к одному лишь святошеству, предлагал святошеские решения: уйти в монастырь, принести обет перед пресвятой девой, утешительницей всех скорбящих, чтобы та спасла ее от позора. Или же пойти исповедаться к падре Силверио...

Кончала она тем, что садилась в столовой поближе к матери с шитьем в руках и, жалея себя до слез, думала о том, что с самого детства была несчастной!

Мать избегала говорить с ней о заметке, отделываясь уклончивыми словами:

— Этакое бесстыдство... Не надо обращать внимания... Главное — чтобы совесть была чиста, а все остальное неважно...

Но по постаревшему лицу Сан-Жоанейры, по грустным, долгим минутам молчания, по тому, как она тяжело вздыхала над вязаньем, сидя у окна со сползшими на кончик носа очками, Амелия отлично видела, как расстроена ее мать. Она еще раз убеждалась, что весь город судачит и что бедная Сан-Жоанейра знает об этом от сестер Гансозо или от доны Жозефы, чей язык брызгал сплетнями так же обильно, как слюной. Какой позор, о господи!

И любовь к падре Амаро, которая до сих пор, в доме у матери, среди юбок и подрясников, казалась такой естественной, теперь представилась Амелии в новом свете: эту любовь осуждают люди, которых она с детства привыкла уважать — Гедесы, Маркесы, Васы; значит, любовь эта преступна. Так краски на портрете, кажущиеся верными при свете масляной лампады, вдруг становятся фальшивыми и уродливыми, когда на них падает луч солнца. И она уже почти радовалась, что падре Амаро перестал бывать на улице Милосердия.

И все-таки каждый вечер Амелия с тоской ждала, когда же звякнет внизу колокольчик! Но Амаро не приходил. И хотя рассудком она понимала, что, воздерживаясь от визитов, он поступает благоразумно, но сердце у нее болело, угадывая в его поведении черное предательство. В среду она не выдержала и спросила, краснея и ниже склоняясь над шитьем:

— Что-то не видно сеньора настоятеля!

Каноник, дремавший в кресле, хрипло кашлянул, зашевелился и пробурчал:

— Ему есть о чем подумать... Скоро его не ждите...

Амелия побледнела как мел; вот и подтверждение того, что Амаро испугался скандала, послушался совета трусливых коллег и окончательно отвернулся от нее! Но она уже привыкла быть осторожной и постаралась при маменькиных приятельницах не выдавать своего отчаяния; она даже села за фортепьяно и сыграла несколько мазурок так оглушительно, что каноник снова задвигался в кресле и пробурчал:

— Поменьше треска и побольше чувства, девушка!

Она провела мучительную ночь без сна. Страсть, раздра-

женная препятствиями, сжигала ее; и в то же время она презирала Амаро за трусость. Стоило какой-то газетенке уколоть его, и он уже дрожит в своем подряснике и боится даже навестить ее, забывая, что и она потеряла доброе имя, ничего не получив взамен! Ведь это он соблазнял ее своими умильными речами, своими нежностями! Низкий человек! Ей хотелось прижать его к сердцу — и отхлестать по щекам. В голову ей пришла безумная мысль: завтра же пойти на улицу Соузас, кинуться ему на шею, остаться навсегда в его комнате, чтобы вышел скандал и ему пришлось бы бежать с ней из города. Истерически возбужденное воображение упивалось картинами новой жизни, состоящей сплошь из одних поцелуев. В ночной горячке план этот казался таким простым и осуществимым: они тайком уедут в Алгарве; там он отрастит волосы (как пойдет ему пышная шевелюра!), и никто не узнает, что он был священником; он сможет преподавать латынь, она будет шить на заказ; они поселятся в собственном домике, где у них будет широкая кровать с двумя подушками, уложенными рядышком... Самым трудным ей казалось вынести из дома, тайком от матери, баул с платьями! Но утром, при ясном свете дня, эти бредовые мечты развеялись, как туман; теперь они уже казались такими неисполнимыми, а Амаро был так далеко, словно между улицей Милосердия и улицей Соузас нагромоздились все горные цепи земли. Сеньор настоятель покинул ее, это ясно! Он не хочет терять свои доходы и благоволение старших!.. Бедная Амелия! Все ей постыло, не для нее жизнь и счастье. В ней осталось лишь одно сильное чувство: желание отомстить падре Амаро.

Только теперь она отдала себе отчет в том, что Жоан Эдуардо тоже не появляется у них со дня опубликования заметки. «И этот от меня отвернулся»,— подумала она горько. Но что ей до него? Измена Амаро так ее убивала, что по сравнению с этим исчезновение клерка, такого нудного и приторного, не дававшего ей ни радости, ни чести, казалось пустяком, мелкой неприятностью. Пришла беда и разом унесла все ее привязанности — и ту, что наполняла душу, и ту, что щекотала самолюбие. Конечно, ей досадно было, что она больше не ощущает подле себя этой любви, следовавшей за ней по пятам, как верный пес, но ее слезы принадлежали одному лишь сеньору настоятелю. «Он не хочет больше меня знать»,— думала Амелия и сожалела о Жоане Эдуардо только потому, что вместе с ним исчезло средство уязвить падре Амаро...

Вот почему, сидя в молчании у окна и глядя на взлетевших с соседней крыши воробьев, она снова и снова возвращалась к словам матери — о том, что клерк получает место, что он приходил просить ее руки,— и злорадно предвкушала смятение падре Амаро, когда в соборе будут оглашать ее брак с Жоаном Эдуардо. Рассудительные речи Сан-Жоанейры поселили в ее душе практические мысли: место чиновника в Гражданском управлении означает не менее двадцати пяти милрейсов в месяц; выйдя замуж, она станет респектабельной дамой; если умрет ее мать, то на жалованье мужа и на доход от Моренала они смогут жить вполне прилично, летом даже ездить на взморье... Она уже видела себя в Виейре, где будет предметом любезного внимания всех мужчин, где, может быть, сведет знакомство с супругой гражданского губернатора...

— А что посоветуете вы, маменька? — спросила она вдруг. Она сама видела, что замужество — наилучший выход, но ее пассивная натура нуждалась в добавочных доводах и принуждении.

— Я бы держалась самого надежного,— был ответ.

— Конечно, так всего лучше,— прошептала Амелия, уходя к себе. Она села на кровать и задумалась; сумерки наводили на нее грусть, и печаль ее становилась еще чернее при мысли «о том хорошем, что было у нее с падре Амаро».

Вечер выдался дождливый, и мать с дочерью провели его в одиночестве. Сан-Жоанейра, отдыхая от пережитых тревог, дремала в кресле, клевала носом, и вязанье то и дело выпадало у нее из рук. Тогда Амелия откладывала работу и, опершись локтями на стол, рассеянно вертела пальцем зеленый абажур на лампе и думала о своем замужестве: Жоан Эдуардо хороший, добрый человек; в нем воплотился мещанский идеал мужа: он был не урод и имел постоянное место; правда, несмотря на статью в газете, она, в отличие от матери, не считала его предложение таким уж подвигом благородства. Но преданность жениха льстила ее самолюбию, особенно по сравнению с трусливым отступничеством Амаро. Не надо забывать, что бедный Жоан уже два года ухаживает за ней... И она начала усердно вспоминать все, что ей в нем нравилось,— серьезность, белоснежные зубы, всегда опрятную одежду.

Дул сильный ветер, холодный дождь сек оконные стекла, и это обостряло жажду семейного уюта. Она рисовала себе

картины будущей замужней жизни: пылает огонь в камине, муж рядом, в колыбели спит сынок — потому что у нее непременно будет сын, по имени Карлос, с черными глазами падре Амаро... Падре Амаро! После свадьбы она, конечно, опять увидится с сеньором падре Амаро. И вдруг странная мысль мелькнула молнией и пронзила ее насквозь... Она вскочила и спряталась в темном проеме окна от невыносимого стыда, опалившего огнем ее лицо.

Нет! Только не это! Какой ужас! Но мысль эта неудержимо захватывала ее, точно чья-то мощная рука сдавила ей грудь сладким удушьем; и любовь к Амаро, которую обида и житейская необходимость загнали было в дальний, потаенный угол души, вырвалась на волю и захлестнула ее всю; ломая руки, она лихорадочно повторяла имя Амаро, она жаждала его поцелуев, о, она любила его! Но все, все погибло! Всему конец. Она должна выйти замуж... Как она несчастна! И, прижавшись лицом к стеклу, за которым чернела ночь, она стала тихо всхлипывать.

За чаем Сан-Жоанейра вдруг сказала ей:

— Что ж, дочка, зачем откладывать... Давай-ка приниматься за приданое; если удастся, в конце месяца сыграем свадьбу.

Амелия не ответила, но при этих словах вся душа ее всполохнулась. Через месяц она будет замужем! Хотя Жоан Эдуардо был ей безразличен, но мысль о том, что этот молодой, страстно влюбленный мужчина будет жить рядом с ней, спать с ней в одной постели, взбудоражила ее до глубины существа.

Когда мать собралась уходить к себе вниз, Амелия сказала:

— Как вы думаете, маменька? Мне как-то неудобно прямо заговорить об этом с Жоаном Эдуардо... Не лучше ли написать ему в письме, что «да»?

— Ты права, дочка, напиши, Руса утром отнесет конверт... Напиши ему хорошее письмо, пусть порадуется.

Амелия до поздней ночи сидела в столовой и сочиняла письмо; написала она так:

«Сеньор Жоан Эдуардо!

Маменька поставила меня в известность о Вашем с ней разговоре. Если привязанность Ваша ко мне искренна, как я надеюсь и не раз имела случай убедиться, то я очень рада. Чувства мои Вам известны. Что касается приданого и всех

необходимых бумаг, об этом можно поговорить завтра, и мы ждем Вас к чаю. Маменька очень довольна, и я от всей души желаю, чтобы все было хорошо. Надеюсь, мы будем счастливы, если на то божья воля. Маменька вам кланяется, и я тоже.

Любящая Вас

Амелия Каминья».

Она запечатала письмо; и в ту же минуту, при виде разбросанных по столу листков бумаги, ей захотелось написать падре Амаро. Но что писать? Признаться в любви — этим самым пером?.. На нем еще не обсохли чернила, которыми она писала строки о своем согласии на брак с другим. Упрекнуть его в трусости, показать свою обиду? Но это значило бы унизить себя! И хотя писать было не о чем, рука ее с наслаждением выводила первые слова. «Мой любимый Амаро!..» Но она тут же остановилась, сообразив, что послать письмо не с кем. Боже! Неужели они расстанутся так, не сказав друг другу ни слова — и навсегда!.. Расстанутся... «А почему?» — вдруг спросила она себя. Выйдя замуж, она по-прежнему может видеться с сеньором падре Амаро. И та же странная мысль снова вернулась, но вкрадчиво, в таком невинном и пристойном обличии, что Амелия не стала ее отгонять: ведь падре Амаро может сделаться ее духовником; во всем христианском мире нет другого человека, который сумел бы лучше управлять ее совестью, ее волей, ее душой; между ними установится восхитительный обмен самыми заветными мыслями, она будет слушать его ласковые увещания; каждую субботу, впитывая свет его глаз и музыку его голоса, она будет получать в исповедальне новый запас счастья — волнующего, но целомудренного и во славу божию.

Она была почти довольна этой не вполне еще ясной картиной своей будущей жизни, в которой плоть получит свое с благословения церкви, а душа будет наслаждаться радостями возвышенной любви к богу и его служителю. Как хорошо все устраивается! Вскоре Амелия сладко спала и видела во сне, что живет в своем доме, с мужем, и играет в манилью со старыми приятельницами маменьки, сидя при одобрении всего соборного капитула на коленях у сеньора падре Амаро.

На следующий день Руса понесла письмо Жоану Эдуардо, и все утро мать и дочь занимались шитьем и говорили о свадьбе. Амелия не хотела разлучаться с матерью; они решили, что дом достаточно велик и молодые могут поселиться в первом этаже, а Сан-Жоанейра перейдет наверх. Сеньор каноник поможет справить приданое, медовый месяц молодожены проведут

в усадьбе у доны Марии. От этих разговоров о будущем счастье Амелия то и дело заливалась румянцем, а мать с умилением любовалась своей дочкой через сползшие на кончик носа очки.

Когда зазвонили к «Аве Марии», Сан-Жоанейра заперлась у себя внизу и стала на молитву, перебирая целую корону четок, чтобы Амелия могла поговорить с женихом с глазу на глаз. Действительно, вскоре у входной двери звякнул колокольчик. Жоан Эдуардо явился сильно взволнованный, опрысканный одеколоном, в черных перчатках. Когда он поднялся на второй этаж, в столовой еще не было огня, и красивая фигурка Амелии, стоявшей у окна, вырисовывалась в светлом квадрате. Он положил плед, как всегда, на стул в углу и, подойдя к ней, крепко потирая руки, сказал:

— Я получил ваше письмо, менина Амелия...

— Я послала к вам Русу пораньше, чтобы застать дома,— быстро ответила она, не шелохнувшись; но лицо ее горело.

— Я как раз собирался идти в контору, вышел уже на лестницу... Было часов девять...

— Да, часов девять...

Оба умолкли в сильном смущении. Тогда он осторожно взял ее за руки и тихо сказал:

— Так вы согласны?

— Согласна,— прошептала Амелия.

— И поскорее, да?

— Да...

Он вздохнул от счастья и сказал:

— Нам будет хорошо вместе, очень хорошо! — И он нежно пожимал ее руки, захватывая их все крепче, от запястья до локтя.

— Маменька говорит, мы можем жить здесь, с ней,— сказала она, стараясь говорить спокойно.

— Конечно. Я закажу несколько дюжин постельного белья,— торопился он в волнении.

Потом вдруг притянул ее к себе и поцеловал в губы. Амелия тихонько всхлипнула и, ослабев, не сопротивляясь, позволила себя обнимать.

— О милая,— шептал клерк.

Но на лестнице заскрипели ботинки Сан-Жоанейры. Амелия мгновенно отпрыгнула к буфету и стала зажигать лампу.

Сан-Жоанейра появилась на пороге. В знак своего материнского одобрения она благодушно сказала:

— А вы тут сумерничаете, мои дорогие?

О скорой свадьбе Амелии падре Амаро узнал от каноника Диаса. Произошло это утром, в соборе. Сообщив о будущем бракосочетании, каноник присовокупил:

— Я одобряю их решение: это радость для девочки и большое облегчение для бедной матери.

— Конечно, конечно...— пробормотал Амаро, сильно побледнев.

Каноник кашлянул и заметил:

— А ты можешь там появиться, теперь уже все в порядке... Газетный пасквиль — достояние истории... Жизнь идет своим чередом.

— Конечно, конечно...— невнятно откликнулся Амаро. Потом резко запахнул плащ и вышел из церкви.

Он был вне себя и с трудом удерживался, чтобы не ругаться вслух. На углу улицы Соузас он чуть не налетел на падре Натарио. Тот схватил его за рукав и шепнул на ухо:

— Пока ничего.

— Это о чем?

— О *Либерале*. О заметке. Но я своего добьюсь!

Амаро, не в силах более сдерживаться, сказал ему:

— Слыхали новость? Амелия выходит замуж... Что скажете?

— Да, этот паршивец Либаниньо что-то такое болтал. Будто бы женишок получил должность... Работа доктора Годиньо! Тоже фрукт!.. Все это одна компания: доктор Годиньо в своей газетенке глумится над гражданским губернатором, а гражданский губернатор раздает теплые местечки питомцам доктора Годиньо... Иди пойми их! Мерзавец на мерзавце сидит и мерзавцем погоняет!

— Говорят, у Сан-Жоанейры весь дом от радости ходуном ходит! — сказал Амаро с горечью.

— Пусть их! Мне некогда... У меня теперь ни на что нет времени.. Я иду по следу! Я узнаю, кто этот *Либерал*, и сотру его с лица земли! Ненавижу разинь, которые, получивши щелчок, почешутся и как ни в чем не бывало. Я не из таких! Я все помню! — И в приступе злобы, от которого сгорбились его худые плечи, а пальцы скрючились, как когти, он прошипел сквозь стиснутые зубы: — Нет, когда я мщу, то мщу по-настоящему!

Он помолчал несколько мгновений, упиваясь собственной ненавистью.

— Если будете на улице Милосердия, передайте там мои поздравления...— И прибавил, прищурившись: — Этот пройдо-

ха-клерк ухватил самую красивую девушку в городе! Лакомый кусочек!

— До свиданья! — крикнул Амаро в исступлении и побежал прочь по улице.

После того ужасного воскресенья, когда появилась заметка, падре Амаро на первых порах беспокоился о себе одном, со страхом ожидая последствий разразившегося скандала — роковых последствий, боже милостивый! Что, если по городу поползут слухи, что он-то и есть тот «денди в подряснике», которого изобличил *Либерал*? Два дня он провел в страхе, поминутно ожидая, что на пороге появится падре Салданья, со своим детским личиком и медовым голоском, и сообщит, что его преподобие сеньор декан просят пожаловать! Целыми часами он придумывал объяснения, ловкие ответы, льстивые фразы, которые скажет епархиальному викарию. Но, увидя, что при всей хлесткости заметки, сеньор декан как будто решил смотреть на это дело сквозь пальцы, он воспрял духом; теперь, несколько успокоившись, он мог подумать и о своей любви, перенесшей столь сильный удар. Страх научил его хитрости; он решил некоторое время не бывать на улице Милосердия.

Пусть пронесет грозу, думал он. Пройдет недели две, статью забудут, и тогда он снова появится у Сан-Жоанейры. Он любит Амелию по-прежнему, он будет выказывать ей любовь, но больше не допустит фамильярности, разговоров вполголоса, сиденья рядышком за лото; а потом, через дону Марию де Ассунсан, через дону Жозефу Диас он добьется того, что Амелия перейдет исповедоваться от падре Силверио к нему — и тогда, в уединении исповедальни, они смогут обо всем договориться. Они наметят план действий, будут устраивать тайные свидания то здесь, то там, пересылать друг другу письма со служанкой. И тогда их встречи, тщательно, загодя подготовленные, уже не будут подвергаться опасности разглашения в газетах! Он заранее радовался своему хитроумию — и вдруг этот внезапный удар: она выходит замуж!

После первого бурного приступа отчаяния, когда он топал ногами, и громко проклинал свою судьбу, и тут же просил прощения у Иисуса Христа, он почувствовал, что надо успокоиться, разобраться в происшедшем. Куда могла завести его эта страсть? В омут. А теперь, если Амелия выйдет замуж, каждый из них пойдет по своей разумной, законной стезе: она будет жить своей семьей, он — своим приходом. Когда-нибудь они встретятся, скажут несколько вежливых слов — и все. Он сможет ходить по городу с высоко поднятой головой, не опасаясь

услышать перешептывания под Аркадой, прочесть глумливую заметку в газете, не боясь укоров совести и выговоров сеньора декана. Он будет спокоен, счастлив... Нет, боже правый! Он никогда не будет счастлив без нее! Если вычеркнуть из его жизни визиты на улицу Милосердия, нежные пожатия рук, надежды на другие, более существенные радости,— что же ему останется? Прозябать, как поганому грибу, выросшему в сыром закоулке церковного двора? А она, она! Вскружила ему голову нежными взглядами, милыми ужимками, а теперь отворачивается: появился другой, жених, с жалованьем в двадцать пять милрейсов в месяц! Все эти нежные вздохи, стыдливые румянцы — одно издевательство! Она насмеялась над соборным настоятелем!

Как Амаро ее ненавидит! Но еще больше — его, жениха, который торжествует победу, потому что он мужчина, потому что он свободен, потому что у него нет тонзуры, а есть черные усы и рука, которую он может предложить на улице женщине! Полный завистливой злобы, падре Амаро вызывал в своем воображении картины счастья, ожидающего Жоана Эдуардо: вот он, торжествуя, ведет молодую жену из церкви; вот он целует ее шею, грудь... И падре Амаро в бешенстве топал ногами, пугая сидевшую в кухне Висенсию.

Потом он старался успокоиться, собраться с мыслями, направить их к одной цели: измыслить месть, жестокую месть! И он снова сожалел, что прошел век инквизиции и что нельзя бросить их обоих в темницу, обвинив в безбожии или колдовстве. Да! В те времена священникам можно было жить! А теперь... По милости господ либералов он должен молча смотреть, как жалкий писарь, живущий на шесть винтенов в день, уводит у него из-под носа красивую девушку, а он, священнослужитель, образованный человек, который может стать епископом, может стать даже папой, должен склонить голову и молча проглотить обиду! А! Если проклятие неба хоть чего-нибудь стоит — будь прокляты они оба! Пусть у них народится целый выводок детей, и не будет в доме куска хлеба, и пусть все, до последнего одеяла, они снесут в ломбард, и оба высохнут от голода, и пусть поносят друг друга с утра до ночи бранными словами — он будет смеяться и радоваться их беде!..

В понедельник падре Амаро не выдержал и отправился на улицу Милосердия. Сан-Жоанейра сидела в нижней гостиной с каноником Диасом. Едва увидев Амаро, она радостно воскликнула:

Преступление Падре Амаро

— Ах, сеньор настоятель! Наконец-то! Мы как раз о вас говорили! Что же вы не приходите, когда у нас в доме такая радость?

— Да, знаю, знаю,— пробормотал Амаро, бледнея.

— Когда-нибудь это должно было случиться,— благодушно сказал каноник.— Дай им бог побольше счастья и поменьше ребят: мясо на рынке нынче кусается.

Амаро через силу улыбнулся, прислушиваясь к звукам фортепьяно, доносившимся сверху.

Амелия, как в прежние времена, играла вальс «Два мира»; Жоан Эдуардо, стоя очень близко от нее, переворачивал ноты.

— Кто там пришел, Руса? — крикнула она, услышав за дверью шарканье ее шлепанцев.

— Сеньор падре Амаро.

Кровь прихлынула к лицу Амелии, и сердце забилось так сильно, что на мгновение пальцы ее застыли на клавишах.

— Только его тут не хватало,— проворчал сквозь зубы Жоан Эдуардо.

Амелия закусила губы. Она вдруг почувствовала, что ненавидит клерка; в один миг все в нем стало ей противно: его голос, его манера перелистывать ноты, склонившись над ней. Она со злорадством подумала, что после свадьбы (раз уж все равно надо выходить замуж) она исповедуется без утайки сеньору падре Амаро и не перестанет его любить!

Она больше не чувствовала никаких угрызений совести; она почти желала, чтобы клерк угадал по ее лицу сжигавшую ее страсть.

— Право, Жоан,— сказала она ему.— Отодвиньтесь подальше, вы мне мешаете играть!

Она бросила вальс «Два мира» и запела «Прощай!».

Прощай! Уж не вернутся больше дни,
Когда мы были счастливы с тобою...

Ее голос летел, звеня страстными переливами, по всему дому, вниз, к падре Амаро.

И священник, сидевший на канапе, жадно впитывал каждый звук этого голоса, а Сан-Жоанейра тем временем болтала без умолку, рассказывая, какого полотна она накупила для приданого, как она устроит комнату для молодых и как им будет хорошо и недорого жить в одном доме с ней...

— Дай бог совет да любовь,— прервал каноник, тяжело поднимаясь с кресла.— Однако пойдемте наверх. Жениха с невестой не годится оставлять надолго одних...

— Ну насчет этого я вполне надеюсь на Жоана Эдуардо! — засмеялась Сан-Жоанейра.— Он в самом деле честный и порядочный юноша.

Когда Амаро поднимался по лестнице, его била дрожь. Едва он вошел в столовую, лицо Амелии, освещенное свечами, ослепило его, словно в канун свадьбы она стала еще красивей, а от предстоящей разлуки еще соблазнительней. Он подошел с серьезным видом, пожал руку ей, потом клерку и сказал тихо, не глядя на них:

— Поздравляю... Поздравляю...

Затем отвернулся и стал разговаривать с каноником, который плюхнулся в кресло и теперь требовал только чаю, так как потерял аппетит.

Амелия, словно в беспамятстве, машинально нажимала пальцами на клавиши. Поведение падре Амаро подтверждало горькую мысль: он хочет отделаться от нее! Неблагодарный! Делает вид, будто ничего не было. Какая низость! Он трусит за свое священническое благополучие, он боится декана, газет, Аркады — всего на свете, и вот он выбрасывает ее вон из своих мыслей, из своего сердца, из своей жизни, как стряхивают ядовитое насекомое!.. И тогда, чтобы причинить ему боль, она начала нежно шушукаться с клерком, клала руку ему на плечо, со смехом ластилась, что-то говорила на ушко; они попробовали, с шумом и хохотом, сыграть пьеску в четыре руки; потом она ущипнула своего жениха, он вскрикнул довольно громко. Сан-Жоанейра взирала на них с умилением, каноник уже задремал, а Амаро, всеми покинутый, сидел в углу и рассматривал старый альбом.

Но внизу вдруг резко брякнул колокольчик, так что все вздрогнули; на лестнице послышались торопливые шаги, замерли в нижнем зальце, и Руса поднялась сообщить, что пришел сеньор падре Натарио, но что он не хочет входить, а просит сеньора каноника на пару слов.

— Нашел время для переговоров,— проворчал каноник, с трудом вырываясь из мягких глубин кресла.

Амелия закрыла рояль; Сан-Жоанейра отложила шитье и на цыпочках вышла на лестницу, послушать. На улице дул сильный ветер, где-то возле Базарной площади рокотал, удаляясь, вечерний барабан.

Наконец голос каноника позвал снизу:

— Амаро!

— Да, учитель?

— Пойди-ка сюда. И сеньоре скажи, чтобы пришла.

Сан-Жоанейра сейчас же спустилась по лестнице, в великом страхе. Амаро подумал, что Натарио обнаружил *Либерала.*

В гостиной было холодно и неуютно, на столе горела одна-единственная свеча. Со стены, где Сан-Жоанейра повесила новую картину, недавно преподнесенную каноником, на них смотрело исхудалое лицо отшельника и белел лежавший рядом с молитвенником череп.

Каноник Диас сидел в углу канапе и неторопливо, с чувством нюхал табак; но Натарио, возбужденно бегавший по комнате, сразу заговорил:

— Добрый вечер, сеньора! Ола, Амаро! Я с новостями!.. Не хотел подниматься, ведь там клерк, я так и знал. А это касается только своих. Я как раз начал рассказывать коллеге Диасу... Ко мне приходил Салданья. Ну и дела!

Падре Салданья был доверенным лицом главного викария. Падре Амаро, сразу встревожась, спросил:

— Это касается нас?

— Primo: [1] коллега Брито переведен из своего прихода куда-то в Алкобасу, в горы, в ад...

— Что вы говорите? — ахнула Сан-Жоанейра.

— Благодарите *Либерала,* любезная сеньора! Нашему уважаемому декану потребовалось немало времени, чтобы переварить заметку из «Голоса округа»,— и вот вам результат! Бедного Брито сначала долго распекали, а потом выгнали!

— Значит, все-таки верно, что говорили про старостиху...— прошептала добрая сеньора.

— Стоп! — строго прервал каноник.— Нехорошо, сеньора, нехорошо! В этом доме не верят сплетням!.. Продолжайте, коллега Натарио.

— Secundo [2],— продолжал Натарио,— я только начал рассказывать коллеге Диасу... Сеньор декан, в ответ на заметку и другие происки печати, решил внести коррективы в обычаи епархиального духовенства (это я цитирую падре Салданью). Ему в высшей степени не по душе секретные совещания духовных лиц с благочестивыми дамами, он желает знать, что это за денди в подрясниках, совращающие хорошеньких барышень... Короче, сеньор декан заявил дословно, что намерен расчистить

---

[1] Во-первых *(лат.).*

[2] Во-вторых *(лат.).*

авгиевы конюшни! А на простом человеческом языке, милая моя сеньора, это означает, что все тут полетит вверх тормашками.

Все молчали в оцепенении. Натарио, стоявший посреди залы, засунув руки в карманы, первый прервал молчание:

— Ну, хороши новости? А?

Каноник медленно поднялся.

— Вот что, коллега... Тут не поле боя, не все ранены и убиты, кто-нибудь и выживет... А вы, сеньора, не изображайте Mater dolorosa [1], а лучше велите подать чайку, это гораздо важнее.

— Я прямо сказал Салданье...— продолжал ораторствовать Натарио, но каноник перебил его, сказав с ударением:

— Салданья болтун!.. Займемся сухариками; и наверху, при детях,— молчок.

Чай пили в молчании. Каноник, отхлебывая из чашки, каждый раз хмурился и обиженно сопел; Сан-Жоанейра, поговорив о доне Марии и о ее простуде, пригорюнилась, подперши кулаком голову; Натарио возбужденно бегал по комнате, поднимая ветер разлетающимися полами подрясника.

— А когда свадьба? — спросил он вдруг, остановившись перед Амелией и клерком, которые пили чай на рояле.

— Через несколько дней,— ответила Амелия с улыбкой.

Тогда Амаро встал, медленно вытащил свои часы и сказал упавшим голосом:

— Мне пора идти, любезные сеньоры.

Сан-Жоанейра запротестовала. Как же это? И все такие унылые, будто на похоронах! Сыграли бы хоть в лото, чтобы развлечься...

Но каноник, выйдя из своего угрюмого оцепенения, строго сказал:

— Сеньора ошибается, я не вижу тут унылых. Для этого нет никаких оснований. Напротив, у нас есть все причины радоваться. Не так ли, сеньор жених?

Жоан Эдуардо поднял голову, улыбнулся.

— Я-то, сеньор каноник, очень счастлив.

— Естественно! — сказал каноник.— А теперь доброго вечера вам всем, а я пойду играть в лото со своей подушкой. Амаро тоже.

Амаро попрощался за руку с Амелией, и все три священника молча вышли на лестницу.

---

[1] Скорбящую божью матерь *(лат.)*.

В зальце внизу по-прежнему горела одинокая свеча. Каноник зашел сюда за своим зонтом, потом позвал остальных и, осторожно прикрыв дверь, сказал почти шепотом:

— Я, коллеги, не хотел пугать бедную женщину, но вся эта история с деканом, все эти слухи... Дело скверно!

— Надо держать ухо востро, друзья мои! — согласился Натарио, тоже понижая голос.

— Да, это не шутки,— мрачно пробормотал падре Амаро.

Все трое стояли кружком посреди комнаты. За окнами завывал ветер; огонек свечи мигал, то и дело выхватывая из темноты голый череп на картине. Наверху Амелия напевала «Чикиту».

И Амаро вспомнил счастливые вечера, когда он, довольный и беззаботный, смешил собравшихся дам и Амелия, воркуя «Ay, chiquita, que sí», томно поводила глазами...

— Я-то,— сказал каноник,— вы сами знаете, коллеги, мне и на еду и на питье хватит, мне все равно... Но надо поддержать честь сана!

— Ясно одно,— подхватил Натарио,— еще одна такая статья, и грянет гром. Тогда уж пощады не жди.

— Несчастный Брито! — пробормотал Амаро.— Сослан в горы, в глушь!..

Наверху веселились: до них донесся хохот клерка.

Амаро буркнул со злостью:

— То-то хорошо!..

Священники спустились вниз. Когда они открыли дверь, порыв ветра дохнул промозглой сыростью в лицо Натарио.

— Ну и ночка! — прошипел он.

Зонт был только у Диаса; медленно раскрывая его, каноник сказал:

— Да, друзья, ничего не скажешь, дело скверно...

Из освещенного окна во втором этаже доносились звуки рояля — аккомпанемент «Чикиты». Каноник сопел, с трудом удерживая зонт, вырывавшийся из рук; рядом с ним ежился Натарио, желчно скрипя зубами; Амаро шел подавленный, поникнув головой. Все трое теснились под зонтом каноника, горбясь, шлепая в темноте по лужам, и холодный, пронизывающий дождь насмешливо подхлестывал их в спину!

XI

Несколько дней спустя завсегдатаи аптеки на Базарной площади с удивлением увидели, что падре Натарио и доктор Годиньо дружески беседуют у входа в скобяную лавку Гедеса.

Сборщик налогов — большой дока по части международной политики — долго и вдумчиво наблюдал за ними через стеклянную дверь аптеки и наконец заявил с глубокомысленным видом, «что не больше бы удивился, если бы увидел Виктора-Эммануила под ручку с Пием IX». Городской дантист, однако, не находил ничего неожиданного в этом дружеском контакте. По его наблюдениям, последняя статья «Голоса округа», написанная, без сомнения, самим доктором Годиньо (возможно ли не узнать его сжатый стиль, его логику, подкрепленную эрудицией?), свидетельствовала о стремлении партии Майя уладить разногласия с Попечительством о неимущих. Доктор Годиньо, по выражению дантиста, явно заигрывал с Гражданским управлением и со священниками епархии. Особенно знаменательна последняя фраза статьи: «Кто угодно, но только не мы станем урезать средства, отпущенные духовенству для успешного исполнения его высокой миссии!»

— Истина в том,— заметил толстяк Пимента,— что если нет еще перемирия, то уже ведутся переговоры, ибо вчера я видел вот этими глазами, как падре Натарио рано утречком выходил из редакции «Голоса округа».

— Ну, друг Пимента, это уж вы сочиняете!

Пимента величественно выпрямился, поддернул брюки и уже приготовился запротестовать, когда сборщик налогов вмешался в спор:

— Нет, нет, друг Пимента совершенно прав. Я, например, видел давеча, как этот прощелыга Агостиньо раскланивался с падре Натарио. А что Натарио задумал какую-то штуку, это уж непременно так! Я иногда наблюдаю за людьми... Так изволите ли видеть: раньше Натарио под Аркадой и носа не казал, а теперь он, что ни день, рыщет по лавкам... И эта дружба с падре Силверио... Заметьте, вечерком они непременно появляются вместе на Базарной площади... Значит, нити опять ведут к доктору Годиньо: падре Силверио — духовник его супруги... Все сходится одно к одному!

Действительно, внезапная дружба падре Натарио и падре Силверио породила немало толков. Пять лет назад между этими двумя служителями бога произошел скандал: Натарио даже бросался с зонтиком на падре Силверио, но добрейший каноник Сарменто, залившись слезами, схватил его за подрясник с жалобным криком: «Ах, коллега, ведь это поношение всего католичества!» С тех пор Натарио и Силверио не разговаривали, к большому огорчению Силверио,— добродушного, раздувшегося от водянки старика, который, по отзывам его исповедниц, был

«весь любовь и всепрощение». Однако маленький, поджарый Натарио был злопамятен. Когда епархией стал править декан Валадарес, он призвал обоих, красноречиво напомнил им о необходимости поддерживать мир внутри католической церкви и привел в пример трогательную дружбу Кастора и Поллукса, а затем мягко, но торжественно подтолкнул Натарио в объятия падре Силверио. Натарио на некоторое время исчез из виду, погребенный в просторах груди и живота Силверио, а тот с волнением бормотал:

— Все мы братья во Христе! Все братья!

Но Натарио, в чьей памяти, жесткой, как картон, никогда не выравнивались однажды сделанные складки, держался с падре Силверио по-прежнему недружелюбно: и в соборе и на улице, проходя мимо своего бывшего противника, он вместо поклона только дергал головой в его сторону и буркал: «Ваш покорный слуга!»

Но вдруг около двух недель тому назад, в сильный дождь, Натарио явился к падре Силверио домой под предлогом, что промок до костей и зашел на минутку: только переждать дождь.

— Мне бы также хотелось, коллега,— прибавил он,— попросить у вас рецептик от боли в ушах: одна из моих племянниц совсем, бедняжка, замучилась!

У добряка Силверио, наверно, совсем выскочило из головы, что этим самым утром он видел обеих племянниц Натарио, здоровехоньких и веселых, как воробушки, и он поспешил написать рецепт, довольный тем, что его любимые занятия домашней медициной могут пойти на пользу. Добродушно улыбаясь, он приговаривал:

— Как я рад, коллега, что снова вижу вас в моем доме,— считайте его отныне своим!

Примирение было так гласно, что зять барона де Виа Клара, бакалавр Коимбры, одаренный талантом к стихотворству, посвятил этому событию одну из своих сатир, которые он именовал «дротиками» и пускал в рукописном виде по рукам; их смаковали и побаивались. Произведение свое он назвал «Достославное примирение Макаки с Китом», вероятно, имея в виду внешность двух священнослужителей. И действительно, теперь часто можно было видеть маленькую фигурку Натарио, жестикулирующую и подскакивающую рядом с огромной медлительной массой, каковую являл собой падре Силверио.

Однажды утром чиновники Муниципальной палаты (помещавшейся тогда на Соборной площади) получили бездну удо-

вольствия, наблюдая с балкона за обоими священниками, которые прогуливались по галерее на теплом майском солнышке. Сеньор председатель Муниципальной палаты, обычно проводивший служебное время у окна своего кабинета, откуда он подглядывал в бинокль за женой портного Телеса, вдруг во всеуслышанье захихикал; писарь Боржес, с пером в руках, сейчас же вышел на веранду, чтобы посмотреть, над чем смеется его милость, и, прыснув со смеху, позвал Артура Коусейро, который как раз переписывал новую песню «Гирлянда», чтобы дома разучить ее под гитару. Старший чиновник Пирес присоединился к ним со строгим и важным видом, предварительно натянув шелковую ермолку на уши, чтобы не продуло сквозняком. И все трое стали смотреть на священников; те стояли на углу возле церкви. Натарио, казалось, был в сильном волнении: он как будто уговаривал падре Силверио, подбивал его на что-то, привставая перед толстяком на цыпочки и яростно взмахивая тощими руками. Потом Натарио вдруг схватил своего собеседника за рукав, потащил его в дальний конец каменной галереи, остановился, отскочил и широко, удрученно развел руками, как бы предрекая неминуемую погибель его самого, собора, города и окружающей вселенной. Добряк Силверио широко раскрыл глаза и, по-видимому, струхнул. Затем они снова принялись ходить по галерее. Натарио разъярялся все больше; внезапно он отскочил назад, ткнул пальцем в мягкий живот Силверио, затопал ногами по полу, а потом вдруг, бессильно свесив руки, показал всем своим видом, что убит горем. Наконец добрый падре Силверио что-то проговорил, прижимая растопыренные пальцы к груди; желчное лицо падре Натарио осветилось радостью, он подпрыгнул, одобрительно похлопал коллегу по плечу,— и оба священнослужителя, наклонившись друг к другу и тихонько посмеиваясь, вошли в собор.

— Тьфу, шуты гороховые! — сказал писарь Боржес, ненавидевший «долгополых».

— Это они про газету,— решил Артур Коусейро, возвращаясь к своему лирическому труду.— Натарио не успокоится, пока не узнает, кто написал заметку. Он сам говорил у Сан-Жоанейры... Силверио может помочь, ведь он исповедует жену Годиньо.

— Шайка негодяев! — с отвращением махнул рукой Боржес и снова лениво потянулся за бумагой, которую составлял; она касалась передачи одного арестанта властям Алкобасы; арестант был тут же: он сидел на скамье в заднем помещении,

между двумя полицейскими, и ждал; лицо у него было голодное, на руках — кандалы.

Несколько дней спустя в соборе отпевали богатого помещика Морайса, умершего от грудной жабы. Супруга покойного (видимо, в покаяние за то, что отравила мужу всю жизнь своей безудержной тягой к молодым лейтенантам) устроила ему, как говорится, королевские похороны. В ризнице, после службы, Амаро снял облачение и при свете старой жестяной лампы сел делать записи за несколько последних дней. Вдруг скрипнула дубовая дверь, и послышался возбужденный голос Натарио:

— Амаро, вы здесь?

— Да. Что случилось?

Падре Натарио прикрыл за собой дверь, воздел руки к потолку и воскликнул:

— Я с новостями. Это клерк!

— Какой клерк?

— Жоан Эдуардо! Это он! Он — *Либерал*! Он написал заметку!

— Что вы говорите? — изумился Амаро.

— Есть доказательства, дорогой мой! Я видел оригинал, написанный его рукой. Видел своими глазами! На пяти листках!

Амаро, широко раскрыв глаза, молча смотрел на Натарио.

— Нелегко мне это досталось! — продолжал Натарио.— Нелегко! Но я все узнал! Пять листков! И он пишет еще одну статью! Сеньор Жоан Эдуардо! Наш драгоценный друг сеньор Жоан Эдуардо!

— Вы уверены?

— Да как же не уверен?! Я же говорю: видел своими глазами!

— А как вы узнали, Натарио?

Натарио скривился, втянул голову в плечи и протяжно сказал:

— Ну, насчет этого, коллега... «Как»... «Почему»... Вы сами должны понимать... Sigillus magnus! [1]

И он пронзительно, торжествующе кричал, меряя ризницу широкими шагами:

— И это еще не все! Сеньор Эдуардо, которого мы столько раз видели в доме Сан-Жоанейры, тихий, скромный молодой человек,— закоренелый негодяй. Он близкий друг этого бандита Агостиньо из «Голоса округа». Торчит в редакции до

---

[1] Буквально: большая печать, то есть печать молчания *(лат.)*.

поздней ночи... Там у них оргии, пьянка, женщины... Он хвастает своим безбожием... Уже шесть лет не был у исповеди... Нас называет «церковной ракалией»... Он республиканец... Это зверь, дорогой коллега, дикий зверь!

Амаро слушал его, кое-как запихивая бумаги в ящик конторки; руки его дрожали.

— Что же теперь? — спросил он.

— Теперь? —вскричал Натарио.— Теперь мы его раздавим!

Амаро запер ящик. Он нервничал, тер платком пересохшие губы:

— Вот так история! Вот так история! Бедная девушка... Связать свою жизнь с таким человеком... С негодяем!

И тут оба священника пристально посмотрели друг другу в глаза. В наступившей тишине жалобно тикали старые ризничные часы. Натарио вытащил из кармана панталон табакерку и, не сводя глаз с Амаро, держа в пальцах щепотку табака, сказал с холодной улыбкой:

— Что ж, придется расстроить этот брак? А?

— Вы так думаете? — спросил Амаро; у него захватило дух.

— Дорогой коллега, ведь это вопрос совести... Для меня это даже вопрос долга! Нельзя допустить, чтобы несчастная девушка вышла за авантюриста, за масона, безбожника...

— Разумеется! Разумеется! — бормотал Амаро.

— Все очень кстати, а? — заключил Натарио и с наслаждением втянул в ноздри табак.

Но тут в ризницу вошел пономарь. Пора было запирать церковь, и он зашел узнать, останутся ли еще здесь их преподобия или уйдут.

— Одну минуточку, сеньор Домингос.

Пока пономарь задвигал тяжелые засовы ворот внутреннего двора, оба падре тихо беседовали, дыша друг другу в лицо.

— Вам надо будет потолковать с Сан-Жоанейрой,— говорил Натарио.— Или нет: с ней лучше пусть говорит Диас. Да, с Сан-Жоанейрой должен говорить Диас. Так оно вернее. А вы поговорите с девушкой, пусть она просто-напросто выставит этого разбойника за дверь.— И он прошептал на ухо Амаро: — Скажите ей, что он живет по-семейному с непотребной женщиной!

— Однако! — сказал Амаро, отступив.— Ведь я не знаю, так ли это?

— Конечно, так. Он на все способен. Кроме того, это лучший способ повлиять на девочку...

Они вышли из ризницы вслед за пономарем, который громко откашливался и гремел ключами.

Во всех приделах висели черные покровы, обшитые серебряным галуном; в середине церкви, между четырьмя толстыми свечами, высился катафалк; гроб Морайса был покрыт широким бархатным покрывалом с бахромой, которое ниспадало тяжелыми складками; в изголовье лежал большой венок из бессмертников, а в ногах, на красном шнуре, висело облачение кавалера Христова ордена.

Падре Натарио остановился и, коснувшись руки Амаро, сказал с удовлетворением:

— А знаете, дорогой друг, я приготовил для господина клерка еще один сюрприз...

— Что?

— Я оставлю его без куска хлеба!

— Без куска хлеба?!

— Этот дурень собирается получить должность старшего чиновника в Гражданском управлении, так? Ну, я ему испорчу карьеру... А Нунес Феррал — наш, он человек благонамеренный и выставит его вон из своей конторы... Пусть знает, как писать статейки!

Амаро ужаснулся столь беспощадной злобе.

— Бог меня прости, Натарио, но ведь это значит совсем погубить человека...

— Пока я не увижу, как он ходит по улицам с протянутой рукой, я не успокоюсь, падре Амаро! Не успокоюсь!

— О Натарио! О коллега! Где же ваше христианское милосердие? Ведь бог все видит...

— О боге не тревожьтесь, дорогой друг... Это и значит служить богу, а вовсе не только бормотать «Отче наш». Для нечестивцев нет милосердия! Инквизиция выжигала их огнем, а я буду вымаривать их голодом. Все позволено тому, кто борется за святое дело... Не надо было трогать меня!

Они направились к выходу; Натарио окинул взглядом гроб и, показывая на него зонтом, спросил:

— Кто это?

— Морайс.

— Это который? Толстяк, с оспинами на лице?

— Он.

— Порядочная скотина.— Затем, помолчав, он добавил: — Так вы здесь отпевали Морайса... А я и не знал; увлекся розы-

сками... Вдове достанутся немалые деньги. Она женщина щедрая, охотно делает подарки... Кто ее духовник? Силверио? А-а! Этот боров захватил себе все, что повыгодней!

Они вышли. Карлос уже запер аптеку. Небо было черное.

На площади Натарио остановился.

— Значит, решено: Диас потолкует с Сан-Жоанейрой, а вы с барышней. Я буду вести переговоры с Нунесом Ферралом и с Гражданским управлением. Словом, вы берете на себя свадьбу, а я — должность.

Он весело хлопнул коллегу по плечу.

— Это называется повести наступление сразу на сердце и на желудок! Ну-с, пока до свиданья, племянницы ждут меня к ужину! У бедной Розы был такой насморк!.. Слабенькая, боязно за нее... Когда она заболевает, даже по ночам не сплю. Что прикажете делать? Слишком мягкое сердце — тоже нехорошо... Так до завтра, Амаро.

— До завтра, Натарио.

Священники разошлись, когда соборные куранты пробили девять.

Амаро вернулся домой. Его все еще пробирала дрожь, но он был полон решимости и счастлив: ему предстояло выполнить приятнейший долг! Величаво расхаживая по комнате, он говорил вслух, чтобы лучше проникнуться сознанием своей почетной ответственности:

— Это мой долг! Это мой долг!

Как христианин, как соборный настоятель, как друг Сан-Жоанейры, он должен, он обязан пойти к Амелии и просто, беспристрастно сказать ей, что автор заметки — Жоан Эдуардо, ее жених.

Это Жоан Эдуардо, ее жених, ославил друзей дома, всеми почитаемых, образованных священнослужителей; это он, ее жених, бросил тень на свою невесту; он распутничает по ночам в вертепе у Агостиньо; он подлейшим образом клевещет на духовенство; он бахвалится своим безбожием; он уже шесть лет не был у исповеди! Как справедливо говорит коллега Натарио, это дикий зверь! Бедная девушка! Нет, нет, она не может выйти замуж за человека, который высмеивает святую веру, который не позволит ей жить, как подобает христианке! Такой человек не разрешит своей жене ни молиться, ни поститься, ни получать спасительное руководство от духовника, и душа ее, как сказано у святого Иоанна Златоуста, «созреет для ада»! Он, Амаро, ей не отец, не опекун; но он пастырь и отвечает за свой приход. И если он своими рассудительными советами не

убережет ее от участи еретички, если не сумеет повлиять на нее через мать и старых приятельниц, он уподобится недостойному пастуху из притчи, которому доверили охранять стадо, а он пустил в овчарню волка! Нет, Амелиазинья не может стать женой безбожника!

Сердце его учащенно билось от возродившейся надежды. Нет, нет, Амелия не достанется другому! Когда другой протянет руки, чтобы на законном основании завладеть этим тонким станом, этой грудью, этими глазами, всей Амелиазиньей, он, соборный настоятель, загородит ее собой и громко скажет: «Отыди, окаянный! Это не твое, это принадлежит богу!»

И он возьмет на себя заботу о спасении девушки! Порочащая заметка уже забыта, декан успокоился; через несколько дней можно будет без опаски вернуться на улицу Милосердия, снова наслаждаться мирными вечерними беседами, снова подчинить себе эту душу, воспитать ее для рая...

Бог видит правду: не интригу затеял Амаро с целью отнять девушку у жениха; мотивы его поведения (он говорил все это вслух, силясь убедить самого себя) самые чистые, самые благородные; он взял на себя святой труд — уберечь ее от ада. Он хлопочет не для себя, а для бога!.. Да, разумеется, по воле случая интересы его любви совпали с пастырским долгом. Но будь Амелия косоглазой, уродиной, дурочкой, он все равно поспешил бы на улицу Милосердия, чтобы послужить небу, чтобы сорвать маску с Жоана Эдуардо, безбожника и пасквилянта!

И, успокоив себя этими рассуждениями, падре Амаро улегся спать.

Всю эту ночь ему снилась Амелия. Они вместе бежали из Лейрии; он шел с ней по дороге, ведущей на небо. Дьявол преследовал их; Амаро видел его лицо, чертами напоминавшее Жоана Эдуардо; нечистый, сопя, рвал рогами нежное лоно облаков, а падре Амаро прятал Амелию под своим плащом и осыпал ее поцелуями. Но путь на небо тянулся бесконечно. «Где же рай?» — спрашивал он у златокудрых ангелов, проходивших мимо, шурша крыльями, с душами праведников в руках. И все они отвечали: «На улице Милосердия! На улице Милосердия, дом девять!» Амаро понимал, что сбился с дороги: вокруг него колыхался молочно-белый эфир, мягкий и зыбкий, как птичий пух, и он тщетно искал глазами вывеску гостиницы. Порой мимо них проносился сияющий шар, в котором трепетала зарождающаяся жизнь, или тяжелым галопом скакал эскадрон архангелов в алмазных доспехах, с занесенными над головой огненными мечами...

Амелия озябла и проголодалась. «Потерпи, потерпи, любовь моя!» — уговаривал ее Амаро. Они поравнялись с какой-то белой фигурой, державшей в руке пальмовую ветвь. «Где господь, отец наш небесный?» — спросил Амаро, прижимая к себе Амелию. Фигура отвечала: «Я был духовником, теперь я святой; века прошли, и пройдут века, а я вечно буду стоять здесь с пальмовой ветвью и вкушать все то же неизменное блаженство! Ни единое пятнышко краски не расцветит этого белого сиянья; ни одно живое чувство не смутит мою безгрешную душу; я оцепенел в небесной благодати, и однообразие рая давит на меня, как бронзовый панцирь. О, если бы я снова мог брести, спотыкаясь, по многоликим тропам земли или заламывать руки в несчетных муках чистилища!»

И Амаро пробормотал: «Значит, мы правы, что грешим!» Но у Амелии от усталости подкашивались ноги. «Приляжем, любовь моя!» Они легли, и звездная пыль посыпалась на них с небосвода, точно из огромного решета. Тучи сдвинулись и повисли вокруг них складками, подобно завесам алькова, источая аромат sachets. Амаро положил руку на грудь Амелии; сладкое изнеможение сковало обоих; они сомкнули объятия, губы их соединились в огненном, влажном поцелуе. «О Амелиазинья!» — шептал он. «Я люблю тебя, Амаро, я люблю тебя!» — вздыхала она. Но облака вдруг раздернулись, словно полог кровати, и Амаро увидел сатану. Их настигли! Уперши когтистые лапы в бока, нечистый растянул рот в немой ухмылке. С ним был Некто — древний, как материя вселенной; кудри его проросли лесами; в зрачке синела ширь океанов; по пальцам, гладившим пряди необозримой бороды, передвигались, словно по мировым дорогам, вереницы людских рас. «Вот они оба»,— говорил ему дьявол, то свивая, то развивая хвост. А за их спинами Амаро видел сонмы и сонмы святых. Он узнал святого Себастьяна по вонзенным в его торс стрелам; узнал святую Цецилию, стоявшую с арфой в руках; где-то в толпе блеяли овечки святого Иоанна, а посередине возвышался, опираясь на сосну, незлобивый великан святой Христофор. Все они глядели и перешептывались, но Амаро не мог разомкнуть объятья, чтобы оторваться от Амелии; она же тихо всхлипывала; их тела странным образом срослись, и он со стыдом видел, что из-под сбившихся юбок виднеются ее белые колени. «Вот они оба,— повторил дьявол своему спутнику,— и прошу вас обратить внимание, высокочтимый друг (ведь мы тут все неплохие ценители), что у девушки весьма красивые ножки!» Святые старцы приподнимались на цыпочки, вытягивая изуродованные пытками шеи, а

одиннадцать тысяч дев взмыли в воздух и упорхнули прочь, как стая вспугнутых голубиц! И тогда Неизвестный, потирая ладони, между которыми перемалывались мироздания, сказал без улыбки: «Вижу, друг мой, вижу! Итак, сеньор соборный настоятель, мы являемся на улицу Милосердия, разрушаем счастье сеньора Жоана Эдуардо (человека чести и джентльмена), похищаем Амелиазинью у ее маменьки и утоляем подавленные аппетиты в укромном уголке Вечности? Я стар; охрип мой голос, некогда учивший мудрости на горах и в долинах. Но неужели ты думаешь, что я испугаюсь графа де Рибамар, твоего покровителя, пусть он даже опора церкви и столп общества? Могучим владыкой был фараон — но я смел фараона с лица земли, вместе с его царственными пленниками, его сокровищами, его боевыми колесницами и толпами рабов! Такой уж у меня нрав! И если господа священники не перестанут безобразничать в Лейрии, я еще в силах сжечь город, как ненужную бумажку, и располагаю достаточными запасами воды, чтобы устроить потоп!»

И, обернувшись к двум ангелам, вооруженным мечами и копьями, старец загремел: «Закуйте в кандалы этого падре и бросьте его в геенну номер семь!» А дьявол хихикал: «Логическое следствие, сеньор падре Амаро! Логическое следствие!» Амаро почувствовал, что огненные руки отрывают его от Амелии; он отбивался, хотел закричать, отвергнуть судью и его приговор, но огромное солнце, взошедшее на востоке, осветило голову старца, и Амаро вскрикнул, узнав лик предвечного бога!

Он проснулся в поту. Через непритворенный ставень в комнату просочился солнечный свет.

В тот же вечер Жоан Эдуардо, заворачивая с Базарной площади на улицу Милосердия, страшно удивился, увидя процессию со святым причастием, двигавшуюся со стороны собора.

Процессия направлялась к дому Сан-Жоанейры! Старухи с покрытыми черной тканью головами несли витые свечи, и пламя их выхватывало из темноты алые складки облачений. Из-под балдахина поблескивало золотое шитье на епитрахили соборного настоятеля. В голове процессии звонили в колокольчик, в соседних окнах зажигались огни. Ночной мрак оглашало протяжное гуденье соборного колокола.

Жоан Эдуардо в страхе ускорил шаг — и узнал, что это идут соборовать парализованную старушку-тетку.

На лестничной площадке стоял стул, на нем керосиновая лампа. У входной двери причетники прислонили шесты от балдахина к стене, и соборный настоятель с дарами вступил в дом. Жоан Эдуардо вошел следом; сердце его сжималось. Он думал о том, что смерть тетушки и последующий траур задержат свадьбу; падре Амаро получит новый повод для посещений. Жоан Эдуардо страшился значения, какое тот приобретает с этой минуты. Голос его звучал почти сердито, когда он спросил у Русы:

— Как это случилось?

— Сегодня после обеда ей, бедняжке, стало плохо; позвали доктора, он говорит: конец, и тогда хозяйка послала за священником.

Жоан Эдуардо счел своим долгом присутствовать при церемонии.

Комната умирающей находилась рядом с кухней; здесь царила торжественная, зловещая тишина.

На столике, покрытом скатертью, собранной в пышные складочки, стояла тарелка с пятью ватными тампонами. По бокам от нее горели две свечи. Седая голова больной, ее белое восковое лицо почти сливались с цветом полотняной наволочки; глаза были бессмысленно выкачены, пальцы беспрестанным, медленным движением собирали и тянули вышитый пододеяльник.

Сан-Жоанейра и Амелия молились на коленях подле ее кровати; дона Мария де Ассунсан (которая заглянула к своим приятельницам, возвращаясь из усадьбы) стояла, оцепенев от ужаса, в дверях комнаты и бормотала: «Славься, владычица небесная». Жоан Эдуардо бесшумно стал на колени рядом с нею.

Падре Амаро, склонившись к самому лицу умирающей, призывал ее предаться воле и милосердию божьему; она не понимала; тогда он опустился на колени и стал торопливо читать «Misereatur», и в тишине голос его, звучавший громче обычного на долгих слогах латыни, так внятно говорил о смерти и могиле, что мать и дочь начинали всхлипывать. Потом он встал, омочил палец в освященном елее и, бормоча ритуальные слова покаяния, коснулся им глаз, груди, губ, рук умирающей — этих рук, которые уже десять лет ничего не держали, кроме плевательницы, ступней, которые десять лет соприкасались только с грелкой. Затем священник сжег пропитавшиеся маслом ватные тампоны, снова встал на колени и застыл как изваяние, устремив глаза на свой требник.

Жоан Эдуардо вышел на цыпочках в столовую и сел на табурете-вертушке возле фортепьяно; да, конечно, теперь четыре-пять недель Амелия не будет подходить к роялю... Он мрачнел

от мысли, что радостный ход его любви так внезапно прерван смертью с ее зловещим церемониалом.

Вошла дона Мария, до глубины души расстроенная сценой соборования, вслед за ней Амелия с красными, заплаканными глазами.

— Ах! Хорошо, что вы здесь, Жоан Эдуардо! — сказала старуха.— Не откажите в любезности проводить меня домой... Я вся дрожу... Ведь я ни о чем и понятия не имела, а правду вам сказать... господь простит за эти слова... не могу видеть, как люди умирают... Отлетает, бедная, как птичка... У ней и грехов-то нет... Пойдемте через Базарную площадь, так ближе. Уж вы меня извините... И ты, милочка, прости, что я не могу остаться... Это выше моих сил, такой ужас... Ох, горе какое! Для нее-то оно и лучше! Ох, милые, меня ноги не держат...

Амелии пришлось отвести ослабевшую сеньору вниз, в комнату Сан-Жоанейры, и подкрепить рюмочкой наливки.

— Амелиазинья,— сказал Жоан Эдуардо,— если я могу быть чем-нибудь полезен...

— Нет, спасибо. Она с минуты на минуту скончается...

— Не забудь, милочка,— наставляла Амелию дона Мария, спускаясь по лестнице,— поставить в изголовье две освященные свечки... Очень помогает в агонии... А если начнутся судороги, так поставь еще две, только потушенные, крест-накрест... Спокойной ночи... Ай, я совсем разбита!

В дверях, увидя балдахин и людей с витыми свечами, она уцепилась за руку Жоана Эдуардо, прижимаясь к нему в припадке страха; немножко тут была виновата и рюмочка наливки, после которой на дону Марию часто находило разнеженное настроение.

Амаро, уходя, предложил вернуться попозже, «чтобы не оставлять женщин одних в тяжелую минуту». Каноник прибыл, когда процессия с балдахином уже заворачивала за угол по направлению к собору. Узнав о любезном предложении соборного настоятеля, он тотчас же заявил, что раз коллега Амаро будет дежурить возле умирающей, то он может пойти отдохнуть. Видит бог, такие потрясения совершенно выбивают его из колеи!

— Ведь сеньора не хочет, чтобы я захворал и тоже отдал богу душу...

— Бог с вами, сеньор каноник! — вскричала Сан-Жоанейра.— Зачем такие слова!..— И, совсем расстроившись, бедная женщина заплакала.

— Так доброй вам ночи,— сказал каноник,— и не убивайтесь чересчур. Бедная старушка не знала радостей жизни; гре-

хов за ней тоже не водится, так что ей вовсе не страшно предстать перед престолом всевышнего. Если здраво рассудить, милая сеньора, ей даже повезло! Ну, прощайте, мне что-то нездоровится...

Сан-Жоанейра тоже совсем расклеилась. От неожиданного потрясения, случившегося к тому же сразу после обеда, у нее разыгралась мигрень; когда в одиннадцать часов Амаро снова позвонил у их дверей, ему открыла Амелия и сказала, по дороге в столовую:

— Извините нас, сеньор настоятель... У маменьки ужасно разболелась голова... До того, что глаза не видят. Она сделала себе компресс и только-только задремала.

— Ну и пусть отдыхает!

Они вошли в комнату умирающей. Она лежала, отвернув голову к стене; из ее полуоткрытых губ вырывался слабый, беспрерывный хрип. На столе тускло горела толстая церковная свеча с почернелым фитилем; в углу оледеневшая от страха Руса, следуя приказу Сан-Жоанейры, молилась, перебирая четки.

— Доктор говорит, она ничего не чувствует,— тихо сказала Амелия.— Она будет хрипеть, хрипеть, и вдруг перестанет, и умрет незаметно, как птичка...

— Да исполнится воля божия,— серьезно вполголоса ответил Амаро.

Они вернулись в столовую. В доме все было тихо, только за окнами завывал ветер. Уже много недель им не приходилось оставаться с глазу на глаз. В сильном замешательстве Амаро отошел к окну; Амелия стояла, прислонившись к буфету.

— Ночью будет дождь,— сказал священник.

— И холодно,— откликнулась она, зябко кутаясь в шарф.— У меня ноги дрожат от страха...

— Вы никогда не видели, как умирают?

— Никогда.

Оба помолчали. Он по-прежнему стоял у окна; она, опустив глаза, возле буфета.

— Да, действительно, холодно,— произнес наконец Амаро слегка дрожащим голосом; его волновало, что они здесь одни в столь поздний час ночи.

— На кухне еще не остыла плита,— сказала Амелия,— пойдемте туда.

— Пойдемте.

Они пошли в кухню. Амелия перенесла туда жестяную лампу, и Амаро, взяв щипцы, чтобы помешать в очаге еще не погасшие угли, сказал:

— Давно я не бывал здесь, в кухне! Вазоны с ломоносом по-прежнему стоят за окном?

— Да. И гвоздика...

Они сели на низенькие стульчики возле очага. Амелия, слегка наклонившись вперед, смотрела на огонь и чувствовала, что падре Амаро в молчании пожирает ее глазами. Сейчас он заговорит! У нее дрожали руки; она не смела пошевелиться, поднять глаза, боясь, что не удержится от слез; и все-таки она тревожно, жадно ждала его слов, горьких или ласковых...

И он заговорил, тихо и серьезно:

— Менина Амелия, я не надеялся, что у меня будет случай поговорить с вами наедине. Но раз все само собой устроилось... Значит, это воля всевышнего! И потом, вы так переменились ко мне...

Она судорожно повернулась; лицо ее пылало, губы дрожали.

— Вы же знаете почему! — вскрикнула она, чуть не плача.

— Знаю. Если бы не эта подлая заметка, не клевета, ничего бы не случилось, и наша дружба продолжалась бы по-прежнему, и все было бы хорошо... Как раз об этом я и хотел с вами поговорить.

Он пододвинул свой стульчик поближе к ней и заговорил очень мягко, очень спокойно:

— Вы помните эту статейку, которая обливала помоями всех друзей вашего дома? Где меня втаптывали в грязь? Где даже вас, ваше доброе имя, подвергли оскорблениям?.. Помните? Так хотите знать, кто ее написал?

— Кто? — спросила Амелия, вне себя от удивления.

— Сеньор Жоан Эдуардо! — спокойно ответил священник, скрещивая руки на груди.

— Не может быть!

Она вскочила со стула. Амаро снова усадил ее, тихонько потянув за юбку, и продолжал терпеливо и настойчиво:

— Послушайте меня. Садитесь. Статью написал он. Я узнал это вчера. Падре Натарио видел оригинал, написанный его рукой. Натарио выяснил истину. Конечно, достойным путем... Потому что богу угодно, чтобы правда всегда выходила наружу. А теперь выслушайте меня, менина. Вы не знаете этого человека! — И Амаро, понизив голос, стал рассказывать ей то, что узнал от Натарио о Жоане Эдуардо: о ночных оргиях у Агостиньо, о поклепах на священнослужителей, о безбожии...

— Спросите его сами, был ли он хоть раз у исповеди за последние шесть лет, и пусть покажет свидетельство за подписью своего духовника!

Она шептала, бессильно уронив руки на колени:

— О боже... боже!..

— И мне стало ясно, что я обязан, как частый гость в вашем доме, как соборный настоятель, как христианин, как ваш друг, менина Амелия... поверьте, я вас так люблю... короче, я понял, что обязан предостеречь вас. Если бы я был вам братом, я бы просто сказал: «Амелия, этому человеку не место в нашем доме!» Увы, я вам не брат. И все же я предан вам всей душой и ныне говорю: «Человек, который желает вступить с вами в брак, обманул вас и вашу матушку; он пришел к вам в личине честного юноши, а на самом деле он...»

Падре Амаро вскочил, как бы поднятый с места неукротимым порывом негодования:

— Менина Амелия, это он написал заметку! Он отправил несчастного Брито в горы Алкобасы! Он обозвал меня соблазнителем! Он назвал распутником каноника Диаса! Распутником! Он отравил ядом клеветы дружбу каноника с вашей матушкой! Он обвинил вас, менина, в том, что вы, попросту говоря, уступили соблазнителю! Скажите же, намерены вы после этого выйти за него замуж?

Она не отвечала. Глаза ее неотрывно смотрели в огонь; две слезы скатились по щекам.

Амаро в возбуждении прошелся по кухне. Потом, смягчив голос, продолжал дружеским тоном:

— Но предположим, что даже не он автор этой заметки, что не он писал черным по белому оскорбительные инсинуации про вашу матушку, про сеньора каноника, про всех близких вам людей. Поговорим лучше о его неверии в бога! Подумайте, какая судьба вас ждет, если вы обвенчаетесь с ним! Либо вам придется опуститься до убеждений вашего мужа, забросить все благочестивые занятия, порвать с друзьями вашей матушки, забыть дорогу в церковь, восстановить против себя всех порядочных людей — либо вступить в борьбу с собственным мужем и превратить свой дом в ад! Ссоры из-за всякого пустяка! Вам нельзя будет спокойно поститься в пятницу, пойти к выносу святых даров, к воскресной мессе... Если вы захотите исповедаться, вас ждет скандал! Ужасно подумать! Мириться с издевательскими ухмылками над таинством веры! Я же помню, как в первый день моего приезда он выразился непочтительно о святой из Аррегасы!.. И еще припоминаю: однажды падре Натарио

заговорил о муках, которые ждут нашего святого отца Пия Девятого: ведь его арестуют, если либералы войдут в Рим... А жених ваш насмешливо хихикал и уверял, что это преувеличение!.. Как будто всему миру не известно, что по милости либералов главу церкви, наместника Христа, бросят в темницу, заставят спать на охапке соломы! Таковы убеждения вашего жениха, о которых он кричит на всех перекрестках! Падре Натарио рассказывает, что они с Агостиньо сидели в кафе на Террейро и говорили вслух, что крещение младенцев — обряд незаконный, потому что каждый, видите ли, должен сам выбирать себе религию по душе, а мы обращаем в христианство неразумных грудных детей без их ведома! Нравится вам это? Я говорю как друг... Ради спасения вашей души я бы тысячу раз предпочел видеть вас в гробу, чем замужем за этим человеком! Что ж, выходите за него, если не боитесь навеки утратить милость бога!

Амелия стиснула руками голову и, откинувшись на спинку стула, пролепетала в отчаянии:

— О боже мой, боже мой!

Тогда Амаро сел рядом с ней, очень близко, так что колени его прикасались к ее одежде, и сказал с отеческой добротой в голосе:

— И потом, дочь моя, неужели вы думаете, что такой человек может быть мягок сердцем, способен ценить ваши душевные качества, любить вас, как подобает мужу-христианину? Кто не верит в бога, тот безнравствен. Кто не знает веры, не знает и любви,— так учит один из святых отцов. Когда пройдет первая горячка страсти, он станет с вами груб, нетерпелив, снова начнет водиться с Агостиньо и с пропащими женщинами, может быть, даже бить вас... Вся жизнь ваша будет сплошным мучением! Кто не почитает церковь, тот не имеет совести: он лжет, крадет, клевещет... Да зачем далеко ходить: достаточно и этой статьи. Посещать ваши вечера, пожимать руку сеньору канонику, а потом написать в газете, что он распутник! Совесть замучает вас, менина, когда придет время умирать! Все легко и весело, пока мы молоды и здоровы; но когда наступит смертный час, когда вы, как это бедное создание в соседней комнате, окажетесь на пороге иного мира, как страшно вам будет предстать перед Иисусом Христом, прожив всю жизнь в грехе рядом с этим человеком! Кто знает, может быть, он даже не позволит причастить вас перед смертью! Вы умрете без покаяния, как животное!..

— Ради бога! Ради бога, сеньор падре! — вскрикнула Амелия, разразившись болезненным плачем.

— Не плачьте,—сказал он тогда, нежно сжимая ее руку в прыгающих от волнения ладонях.— И не таитесь от меня... Полно, беде можно помочь. Ваше бракосочетание еще не оглашено... Скажите ему, что не хотите выходить замуж, что вы все знаете, что он вам противен...

И он тихонько сжимал, гладил руку Амелии. И вдруг глухим от волнения голосом спросил:

— Ведь вы не любите его, правда?

Она ответила едва слышно, низко опустив голову:

— Нет.

— Ну, вот и все! — возбужденно крикнул он.— Но скажите, вы любите другого?

Она не отвечала. Грудь ее дышала прерывисто, расширенные глаза неподвижно глядели в огонь.

— Вы любите? Да? Да?

Он обхватил рукой ее плечи, тихо привлек ее к себе. Амелия сидела как мертвая, бессильно опустив руки на колени; потом, не меняя положения, бледная, потерянная, медленно обратила на него мерцающие, полные слез глаза и приоткрыла губы. Он потянулся к ней дрожащими губами, и оба оцепенели в долгом, глубоком поцелуе.

— Барышня! Барышня! — вдруг завопила за дверью перепуганная Руса.

Амаро вскочил и бросился в комнату больной. Амелия так дрожала, что на минуту ухватилась за косяк кухонной двери, прижимая руку к сердцу; у нее подкашивались ноги. Наконец, собравшись с силами, она пошла вниз, разбудить Сан-Жоанейру.

Когда обе вошли к умирающей, Амаро стоял на коленях, почти уткнувшись лбом в кровать, и молился; обе дамы опустились на пол. Старуха тяжело, быстро дышала, ее грудь судорожно поднималась и опускалась; но дыханье становилось все более хриплым, и священник торопился, ускоряя молитву. Потом хрипенье вдруг смолкло. Они поднялись с колен; старуха лежала без движения, ее тусклые, выкатившиеся из орбит глаза застыли. Она скончалась.

Падре Амаро увел обеих женщин в столовую. Здесь Сан-Жоанейра излила свое горе в слезах и причитаниях; она вспоминала те времена, когда бедная сестрица была молодой, и такой миленькой, и обручилась с хорошим человеком, сыном господ из Вигарейры!..

— А какая добрая, кроткая, сеньор настоятель! Ангел!

Когда родилась Амелия, мне было очень худо, так она от меня ни на шаг не отходила, ни днем, ни ночью! Всегда веселая, как жаворонок... Ох, господи боже мой, господи боже мой!

Амелия, прислонясь лбом к оконному стеклу, тупо смотрела в ночную темень.

Внизу звякнул колокольчик. Амаро вышел со свечой открыть. Это был Жоан Эдуардо. Увидя соборного настоятеля в такой час, он от неожиданности окаменел на пороге, потом с усилием пробормотал:

— Я пришел узнать, что нового...

— Бедная сеньора только что скончалась.

— А!

Оба несколько мгновений пристально смотрели друг на друга.

— Если я могу быть полезен...— пробормотал Жоан Эдуардо.

— Нет, благодарю вас. Обе сеньоры сейчас лягут отдохнуть.

Жоан Эдуардо побледнел от гнева; его оскорбили эти хозяйские замашки. Несколько мгновений он колебался, но священник так выразительно загораживал огонек свечи от задувавшего с улицы ветра, что он сказал:

— Хорошо. Спокойной ночи.

Падре Амаро поднялся наверх. Проводив обеих дам в комнату Сан-Жоанейры (они боялись остаться в одиночестве и решили спать вместе), он вернулся в комнату покойницы, поправил свечу на столе, устроился поудобней на стуле и принялся читать молитвенник.

Позже, когда весь дом погрузился в сон, падре Амаро, чтобы развеять дремоту, пошел в столовую, разыскал в буфете бутылку портвейна, выпил бокал и уже с удовольствием затянулся сигареткой, как вдруг на улице раздались громкие шаги: кто-то ходил взад и вперед под окнами. Ночь была темная, и падре Амаро не удалось рассмотреть ночного гостя. Это был Жоан Эдуардо, в гневе бродивший вокруг дома.

XII

На следующий день утром, не успела дона Жозефа Диас вернуться от заутрени, как с удивлением услышала голос служанки, мывшей лестницу; та кричала снизу:

— Дона Жозефа, к вам сеньор падре Амаро!

В последнее время соборный настоятель редко бывал у каноника. Польщенная дона Жозефа, изнемогая от любопытства, крикнула:

— Проси наверх! Сеньор падре Амаро у нас свой человек! Пусть поднимется!

Старуха сидела в столовой, в черном барежевом платье с подрезами на бедрах и кринолином на одном обруче, и раскладывала на блюде мармелад для просушки. В это утро ее физиономию украшали синие очки, которые зловеще темнели из-под черной косынки, закрывавшей лоб до самых бровей. Дона Жозефа сейчас же вышла на лестницу, шаркая шлепанцами и стараясь придать своей улыбке медовую сладость.

— Какая приятная неожиданность! — воскликнула она.— Я только что из церкви. Уже отстояла утреню в часовне Пресвятой девы с четками!.. Там служит падре Висенте. Ай, как же после этого на душе хорошо, сеньор настоятель! Садитесь. Нет, не здесь, вас около двери продует... Значит, скончалась наша старушка... Расскажите, как все было, сеньор настоятель!..

Пришлось падре Амаро описать агонию старухи, горе Сан-Жоанейры; и как помолодело лицо покойницы после смерти, и как ее обрядят...

— Между нами говоря, дона Жозефа, это для Сан-Жоанейры большое облегчение...— Он оборвал свою речь на полуслове, сдвинулся на самый край стула и сказал, опираясь обеими руками на колени: — А что скажете о проделках нашего Жоана Эдуардо? Вы уже знаете? Статейку-то он сочинил!

Старуха, схватившись обеими руками за голову, запричитала:

— Ай! Не упоминайте об этом, сеньор падре Амаро! Даже не заикайтесь, я была просто больна, как услышала!

— А, так вы уже знаете!

— Как не знать! Падре Натарио, спасибо ему, был у меня вчера и рассказал все! Ах, мошенник! Ах, негодяй!

— А вы знаете, что он лучший друг Агостиньо, что у них в редакции попойки с вечера до утра, что он шляется в бильярдную на Террейро и во всеуслышанье поносит имя божие?..

— Ой, бога ради, сеньор настоятель, не говорите об этом, не говорите! Вчера, когда сеньор падре Натарио рассказывал, так я даже боялась за свою душу: такое и слушать-то грешно!.. Я так благодарна падре Натарио: как только узнал, при-

шел мне рассказать... Такой обязательный... А знаете, сеньор падре Амаро, ведь мне этот молодчик никогда не нравился: я словно наперед чуяла... Но молчала, молчала! Не люблю вмешиваться в чужие дела. Только сердце мне говорило, что он злодей! Хоть он и в церковь ходил, и посты соблюдал, а все-таки что-то в нем было такое подозрительное — я прямо-таки чувствовала, что все это обман, чтобы обойти Сан-Жоанейру и ее дочку. Теперь все ясно! Мне-то он никогда не нравился. Никогда, сеньор настоятель!

И вдруг, злорадно блеснув глазками, она спросила:

— А что же теперь? Свадьба расстроена, не знаете?

Падре Амаро плотнее уселся на стуле, откинулся на спинку и сказал медленно и внятно:

— Видите ли, милая сеньора, было бы достойно сожаления, если бы барышня с добрыми католическими принципами вступила в брак с масоном, который уже шесть лет не был у исповеди!

— Ужас, сеньор настоятель! Лучше ей умереть! Нет, необходимо открыть девочке глаза.

Падре Амаро, не дав ей договорить, быстро пододвинулся к ней вместе со стулом:

— Собственно, за этим я и пришел к вам, милая сеньора. Вчера я уже говорил с мениной Амелией!.. Но вы понимаете, в такую минуту... За стеной умирает тетушка! Я не настаивал... Конечно, я рассказал ей, что произошло, давал ей советы — в очень мягкой форме, разумеется,— объяснил, что она погубит свою душу, будет всю жизнь несчастна, и так далее. Словом, я сделал все, что мог, милая сеньора, как друг и духовный пастырь. По велению долга,— хоть мне это и нелегко далось, действительно нелегко! — я прямо ей заявил, что как христианка, как порядочная девушка она обязана порвать с клерком.

— А она?

Падре Амаро сделал кислую гримасу.

— Не ответила ни «да», ни «нет»! Надула губки, пустила слезу... Конечно, она была очень потрясена смертью тетушки. Ясно одно: менина Амелия по нем не сохнет, отнюдь. Но она хочет выйти замуж, боится, что мать умрет и оставит ее одну... Словом, вы же знаете, что такое молодая девушка! Мои слова произвели на нее известное впечатление, она была возмущена, и вообще... Но я подумал, что лучше бы вы, сеньора, тоже с ней поговорили. Вы друг их семьи, вы ее крестная мать, знаете

ее с пеленок. Не сомневаюсь, что вы не забудете ее в своем завещании. Все это тоже как-то может...

— Ах, положитесь на меня, сеньор падре Амаро! — воскликнула старуха.— Уж я выскажу ей все, что у меня накипело!

— Этой девушке нельзя без духовного руководства. Честно говоря, ей просто-напросто нужен настоящий духовник! Она исповедуется у падре Силверио; я не хочу никого чернить, но падре Силверио — совсем не то, что надо. Он очень добр, конечно, полон всяческих добродетелей, но у него нет... как бы это сказать... нет подхода! Исповедь для него — скучная обязанность. Он спрашивает катехизис, потом проверяет менину Амелию по заповедям... Но поймите, сеньора! Ясно же, что девушка не крадет, не убивает, не желает жены ближнего своего! Такая исповедь ничего ей не дает; тут нужен духовник построже, который способен ей сказать: «Ни шагу далее!» — и чтобы она не смела ничего возразить. У этой девушки слабая душа; как и большинство женщин, она не может управлять собою. Ей нужен настоящий духовный пастырь, который показывал бы ей путь железной указкой, который принудил бы ее к повиновению, кому она поверяла бы все без утайки, кого бы она боялась! Вот каким должен быть ее духовник.

— Вы, сеньор настоятель, лучше всех подходите...

Амаро скромно улыбнулся.

— Не отрицаю. Я бы сумел направить ее по верному пути. Я ценю ее мать; я знаю, что Амелия хорошая девушка и достойна милости бога. В каждой беседе с нею я стараюсь давать ей добрые советы, делаю все, что в моих силах... Но вы и сами понимаете, милая сеньора, что есть вещи, о которых неудобно говорить в гостиной, когда кругом полно народа... Только в исповедальне чувствуешь себя свободно. Именно этого мне и не хватает: возможности потолковать с нею наедине. С другой стороны, не могу же я прямо так и сказать: «Отныне, менина Амелия, вы должны исповедоваться у меня!» В этом отношении я чрезвычайно щепетилен...

— Но это скажу ей я, сеньор падре Амаро! Я ей скажу!

— Вы сделаете доброе дело! Вы поможете спасению этой души! Если девушка вручит мне свою совесть, тогда можно будет сказать: конец всем препятствиям, мы вывели ее на благой путь. Когда вы думаете говорить с ней, дона Жозефа?

Дона Жозефа считала, что откладывать было бы грешно, и вызвалась поговорить с Амелией сегодня же вечером.

— Нет, это не годится, дона Жозефа. Сегодня день визитов, соболезнований... Там непременно будет и клерк...

— Какой кошмар, сеньор настоятель! Неужто я и другие дамы должны будем сидеть целый вечер в одной комнате, под одной кровлей с этим безбожником?

— Придется. Ведь он пока считается как бы членом семьи... И вот еще что, дона Жозефа: и вы, и дона Мария, и милые сестры Гансозо — пример добродетели. Но не будем гордиться своими добродетелями, иначе мы рискуем лишиться их лучших плодов. Смирение, столь угодное богу, велит нам общаться иногда и с дурными людьми, так же как порой высокородному фидалго приходится стоять рядом с простым пахарем... Мы как бы говорим: «Я превосхожу тебя добродетелью, но по сравнению с тем, чего ждет от нас небесный отец, как знать? Может быть, я так же грешен, как ты!» Вот это-то смирение души и есть лучший дар, какой мы можем принести Иисусу.

Дона Жозефа внимала ему с восторженным умилением.

— Ох, сеньор настоятель, вас послушать — для души спасительно!

Амаро поклонился.

— Иногда господь, по своей неизреченной милости, внушает мне справедливые суждения... Ну что ж, милая сеньора, не хочу вам более докучать. Значит, решено: вы поговорите с девушкой завтра; и если, как следует ожидать, она согласится следовать моим советам, приведите ее ко мне в собор в субботу, к восьми часам. И говорите с ней посуровей, дона Жозефа!

— Предоставьте это мне, сеньор настоятель! Не хотите ли попробовать моего мармеладу?

— Попробую,— сказал Амаро, выбирая пастилку и с достоинством вонзая в нее зубы.

— Это айвовая, из урожая доны Марии. У меня получилось лучше, чем у милейших Гансозо.

— Так прощайте, дона Жозефа... Да, кстати, что думает об этой истории с клерком каноник?

— Мой братец?

В эту минуту внизу отчаянно зазвенел дверной колокольчик.

— Это он!— сказала дона Жозефа.— Чем-то недоволен!

Каноник вернулся из своего поместья в страшном гневе на управляющего, на сельского старосту, на правительство и на развращенность всего рода людского. С его огорода украли часть урожая зеленого лука. От злости у него спирало дух в

груди, и он облегчал душу тем, что с наслаждением повторял имя нечистого.

— Право, братец, ведь это грех! — не вытерпела наконец дона Жозефа, убоясь божьей кары.

— Э, сестрица, прибереги свое чистоплюйство для великого поста! Хочу чертыхаться и буду! Я так и сказал управляющему: как услышишь шаги в огороде, заряжай ружье и пали!

— Никакого уважения к собственности...— посочувствовал Амаро.

— Ни к чему нет уважения! — кипятился каноник.— Я молодел при одном взгляде на этот лучок! И вот вам! По-моему, это святотатство, и больше ничего!.. Гнусное святотатство!

Каноник говорил это с искренним убеждением. Покража его зеленого лука, лучка, принадлежавшего сеньору канонику, казалась ему не меньшим кощунством, чем похищение священных сосудов из собора.

— Мало страха божьего, мало веры...— вздохнула дона Жозефа.

— Да не веры! — вскипел каноник, окончательно выйдя из себя.— Полицейских мало, вот что!

Затем, повернувшись к Амаро, спросил:

— Сегодня похороны, верно? Тоже еще комиссия! Принеси мне, сестра, смену чистого белья и башмаки с пряжками!

Падре Амаро, возвращенный к той же неотвязной мысли, снова завел речь о своем:

— Мы как раз говорили об этой истории с Жоаном Эдуардо, о его заметке.

— Еще одно свинство! — закричал каноник.— Видели что-нибудь подобное? Кругом бандиты, одни бандиты!..— И, скрестив руки, он устремил выпученные глаза в пространство, как бы созерцая легионы чудовищ, расползшихся по всему свету и нагло подрывающих репутацию священнослужителей, заветы католической церкви, честь семейных домов и неприкосновенность его грядок с молодым луком.

Уходя, падре Амаро еще раз напомнил доне Жозефе, провожавшей его до лестницы:

— Итак, сегодня, в поминальный день, не будем ничего предпринимать. Вы поговорите с девочкой завтра, а в субботу я жду вас с нею в соборе. Постарайтесь ее убедить, дона Жозефа, постарайтесь спасти эту душу. Помните: бог смотрит на вас с вышины. И пожестче с ней, пожестче!.. А наш дорогой каноник потолкует с Сан-Жоанейрой.

— Будьте покойны, сеньор настоятель. Я крестная. Хочет она там или не хочет, а я наставлю ее на путь истинный...

— Аминь,— заключил падре Амаро.

В тот вечер дона Жозефа, действительно, ничего не предпринимала. На улице Милосердия царил траур. Все собрались в нижнем зальце, скупо освещенном одинокой свечой под темно-зеленым колпачком. Сан-Жоанейра и Амелия, в черных платьях, сидели на канапе, печально понурившись; приятельницы Сан-Жоанейры, в глубоком трауре, блюли скорбную неподвижность на стульях, расставленных вдоль стен. Время от времени слышалось тихое перешептывание, из угла доносился чей-то вздох. Либаниньо или Артур Коусейро изредка вставали и на цыпочках пробирались к столу, чтобы снять нагар со свечи. Дона Мария де Ассунсан, мучимая своим насморком, плаксиво сморкалась в платок. За окном раздавался стук деревянных подошв о плиты мостовой, да часы на богадельне отбивали каждую четверть часа.

Вошла Руса, тоже в трауре, внесла чай и поднос со сластями; со свечи сняли колпачок; уже начавшие дремать старухи проснулись от яркого света, автоматически поднесли к глазам носовые платки и, горестно охая, принялись за пирожные из кондитерской Энкарнасан.

Игнорируемый всеми, Жоан Эдуардо сидел в уголку, подле глухой Гансозо, которая спала с открытым ртом. Весь вечер он искал глазами глаза Амелии, но она сидела неподвижно, уронив голову на грудь, положив руки на колени, закручивая жгутом и снова раскручивая свой батистовый платочек. Падре Амаро и каноник Диас появились около девяти часов. Соборный настоятель плавным шагом направился к Сан-Жоанейре и сказал:

— Милая сеньора, вы перенесли тяжелый удар. Но долг велит нам утешиться мыслью, что ваша превосходная сестрица в эту минуту предстоит перед самим Иисусом Христом.

Вокруг поднялся тихий шум рыданий; для новых посетителей не хватило стульев, и священники сели по краям канапе, по обе стороны от Сан-Жоанейры и Амелии, вновь заливших слезами. Тем самым каноник и соборный настоятель как бы принимались в лоно семьи. Сеньора дона Мария де Ассунсан даже тихонько шепнула доне Жоакине Гансозо:

— Ай, право, умилительно видеть их так, всех четверых вместе!

До самых десяти часов длилось скорбное молчание, преры-

ваемое лишь частым кашлем Жоана Эдуардо, схватившего простуду. По мнению доны Жозефы Диас, которым она позднее поделилась со всеми — «он кашлял нарочно, в насмешку, чтобы показать свое неуважение к мертвым».

Через два дня, в восемь часов утра, дона Жозефа Диас и Амелия вошли в собор, успев поговорить на паперти с аптекаршей Ампаро, у которой ребенок заболел корью. Хотя корь — болезнь не страшная, но мать решила на всякий случай забежать в собор и принести обет пресвятой деве.

День был облачный, в церкви царил полумрак. Амелия, очень бледная под кружевной накидкой, остановилась у алтаря Богоматери всех скорбящих, упала перед ней на колени и застыла, как изваяние, почти прижавшись лицом к открытому молитвеннику. Дона Жозефа, преклонив на минуту колени перед святыми дарами в главном алтаре и стараясь ступать как можно мягче, тихонько толкнула дверь ризницы. Падре Амаро расхаживал там взад и вперед, ссутулив плечи и сцепив руки за спиной.

— Ну? — спросил он тотчас же, подняв очень чисто выбритое лицо и глядя на дону Жозефу блестящим, беспокойным взглядом.

— Она здесь! — шепнула старуха с торжеством.— Я сама привела ее! Я, сеньор настоятель, обошлась с ней очень строго. Никаких поблажек! Теперь дело за вами.

— Благодарю, благодарю вас, дона Жозефа! — сказал падре Амаро, с силой пожимая ей обе руки.— Бог вам этого не забудет.

Он опасливо огляделся, ощупал карманы, чтобы убедиться, что платок и бумажник на месте; затем, осторожно притворив дверь ризницы, сошел по ступенькам в церковь.

Амелия все еще стояла на коленях — неподвижное черное пятно на белизне колонны.

— Пст! — тихо позвала ее дона Жозефа.

Залившись краской и оправляя дрожащими руками складки мантильи на груди, Амелия медленно поднялась.

— Поручаю ее вам, сеньор настоятель,— сказала старуха,— посижу пока у Ампаро, аптекарши, а потом приду за крестницей... Иди, милочка, иди, бог тебя вразумит!

И она вышла, по дороге приседая перед каждым алтарем.

Аптекарь Карлос снимал помещение для аптеки в принадлежавшем канонику доме и иногда запаздывал с оплатой; он засуетился и торопливо сдернул колпак, едва на пороге появилась

дона Жозефа, затем услужливо проводил ее наверх, в гостиную с муслиновыми занавесками, где Ампаро сидела у окна с шитьем.

— Ох, не затрудняйтесь, сеньор Карлос,— уговаривала его старуха,— не отвлекайтесь от работы. Я оставила крестницу в соборе, а сама зашла к вам на минутку, передохнуть.

— Тогда, с вашего разрешения... Как чувствует себя наш любезный каноник?

— Болей больше нет. Небольшие головокружения.

— Это весна,— определил Карлос; он уже принял свой обычный внушительный вид и стоял посреди гостиной, заложив пальцы в вырез жилета.— Мне тоже в последнее время как-то не по себе. Мы, сангвиники, всегда страдаем от так называемого обновления соков... В крови избыток влаги, которая не находит себе естественного выхода и, если можно так выразиться, просачивается наружу то там то сям, по всему телу — в виде фурункула или прыща, который вскакивает порой на самом неудобном месте... Само по себе это пустяк, но сопровождается целой вереницей всяких... Простите, я слышу, мой помощник с кем-то заболтался. Если позволите... Нижайший поклон нашему любезному канонику. Пусть попринимает магнезию Джеймса!

Дона Жозефа пожелала видеть заболевшую корью девочку. Но в комнату не вошла, а остановилась в дверях и порекомендовала укутанной в одеяло и смотревшей на нее расширенными от жара глазами малютке не забывать помолиться боженьке утром и вечером. Затем она дала Ампаро рецепты нескольких лекарств, замечательно помогающих от кори; но главное — обет: ежели обет принесен с верой, можно считать, что ребенок уже здоров... Ах, она каждый день благодарит бога за то, что не вышла замуж! С детьми одно мучение и беспокойство! А сколько лишних забот, сколько времени уходит — право, даже самая набожная женщина забудет о церкви и погубит свою душу!

— Правда ваша, дона Жозефа,— отвечала Ампаро,— наказание с ребятами... А у меня их пятеро! Иной раз до того задурят голову, что сядешь на стул и заплачешь...

Обе снова подошли к окну и полюбовались на председателя Муниципальной палаты: стоя с биноклем у окна в своем кабинете, он строил куры жене портного Телеса. Бог знает что! Скандал на весь город! Ну и порядки пошли в Лейрии! А непременный секретарь открыто сожительствует с супругой депутата Новайса... Впрочем, чего и ждать от безбожников, воспитанных в Лиссабоне! По мнению доны Жозефы, столица Португалии осуждена была погибнуть, как Содом и Гоморра, от

небесного огня. Ампаро шила, низко опустив голову перед лицом этого праведного гнева. Наверно, она стыдилась своего давнего греховного желания пройтись по Пассейо-Публико и послушать итальянцев в Сан-Карлосе.

Но дона Жозефа, не теряя времени, завела речь о Жоане Эдуардо. Ампаро еще ничего не знала, и почтенная сеньора имела полный простор для подробного, прочувствованного рассказа о его заметке, о великом сокрушении на улице Милосердия, об охоте падре Натарио за *Либералом*. Особенно долго она распространялась о характере Жоана Эдуардо, о его безбожии, об оргиях у Агостиньо... И, считая своим христианским долгом уничтожить атеиста, намекнула, что грабежи, недавно случившиеся в Лейрии, тоже дело рук этого клерка.

Ампаро сказала, что поражена до глубины души. Как же теперь свадьба Амелиазиньи?

— Их помолвка — достояние истории! — с торжеством заявила дона Жозефа Диас.— Ему укажут на дверь! И пусть скажет спасибо, что не попал на скамью подсудимых... Этим он обязан только мне да доброте моего брата и падре Амаро. Есть все основания заковать его в цепи и отправить на каторгу!

— Но Амелиазинья, кажется, любит его...

Дона Жозефа так и вскинулась. Как можно! Амелия — девушка разумная, девушка с правилами! Как только она узнала о безобразных поступках своего жениха, она первая сказала: нет и еще раз нет! Что вы! Она его ненавидит! И дона Жозефа, доверительно понизив голос, сообщила, что клерк, как стало известно, сожительствует с падшей женщиной и ходит к ней по ночам в один из переулков близ казармы!

— Об этом мне рассказал падре Натарио,— прибавила она.— А этот человек в жизни не сказал слова лжи... И такой обязательный, никогда не забуду: как только узнал, сейчас же пришел уведомить меня и спросить моего совета... Словом, очень, очень был деликатен.

Но в дверях снова появился Карлос. Аптека на минуту опустела (все это утро его буквально рвали на части!), и он пришел составить компанию дамам.

— Так вы уже слышали, сеньор Карлос,— тотчас же закричала дона Жозефа,— правду про статью в «Голосе округа» и про Жоана Эдуардо?

Фармацевт вытаращил глаза. Что общего может быть между этой скандальной статейкой и таким порядочным юношей?

— Порядочным?! — визгливо подхватила дона Жозефа Диас.— Да он-то и написал эту статью, сеньор Карлос!

Преступление Падре Амаро

Карлос от удивления раскрыл рот, а дона Жозефа с большим подъемом повторила свой рассказ о «мошеннической проделке».

— Ну, сеньор Карлос? Что скажете?

Фармацевт высказал свое мнение неторопливо и веско, как и подобает человеку с широким кругозором:

— Если дело обстоит так, могу сказать одно, и все благонамеренные люди меня поддержат: это стыд и позор для Лейрии. Я уже говорил, прочтя заметку: религия — фундамент общества, и подрывать ее — значит подкапываться, так сказать, под все здание... Достойно сожаления, что в нашем городе завелись эти фанатики-республиканцы, грязные материалисты, которые, как известно, желают уничтожить все существующее; они хотят, чтобы мужчины и женщины сходились без разбору, как кобели и суки (прошу извинить за такие выражения, но наука есть наука!)... Они желают войти в мой дом и отнять мои сбережения, накопленные в поте лица; они не признают авторитетов, и если дать им волю, то способны плюнуть на святые дары...

Дона Жозефа слегка вскрикнула и содрогнулась от ужаса.

— И эта секта смеет болтать о свободе! — продолжал аптекарь.— Я тоже либерал... Честно признаю, я не мракобес. Если человек посвящен в духовный сан, это еще не значит, что он святой, о нет! Я, например, всегда недолюбливал покойного падре Мигейса... Это был не человек, а удав. Да, сеньора, прошу меня извинить, но он удав. И я сказал это ему в лицо, потому что законы о печати... Мы проливали кровь в траншеях Порто именно за то, чтобы не было законов о печати. И я сказал ему прямо в лицо: «Ваше преподобие, вы — удав!» Но все же, когда человек надевает облачение, его надо уважать. И эта заметка, повторяю,— стыд и позор для Лейрии... И я прямо говорю: с господами безбожниками и всякими там республиканцами церемониться нечего!.. Я мирный человек, спросите хоть у Ампаро-зиньи; но если бы меня попросили отпустить лекарство для какого-нибудь республиканца, я без колебаний вместо одной из тех благотворных микстур, что составляют гордость нашей науки, дал бы ему синильной кислоты... Нет, конечно, синильной кислоты я бы не дал, но, будь я присяжным заседателем, я заставил бы его почувствовать всю силу закона!

И аптекарь несколько мгновений покачивался на носках, гордо озираясь, словно ожидая аплодисментов от членов муниципалитета или от целого заседания в кабинете у губернатора.

Но соборные куранты прогудели одиннадцать. Дона Жозефа стала закутываться в шаль, чтобы идти за крестницей — небось бедняжка заждалась.

Карлос, провожая ее, снова сдернул аптекарский колпак и передал нижайший поклон его преподобию:

— Перескажите сеньору канонику мои слова... В этой истории о заметке и о нападках на духовенство я всецело на стороне сеньоров священников. Ваш покорный слуга, сеньора... А погода что-то портится.

Когда дона Жозефа вошла в собор, Амелия все еще была в исповедальне. Старуха громко кашлянула, потом встала на колени у статуи богоматери с четками, закрыла лицо руками и погрузилась в молитву. В церкви царило безмолвие. Тогда дона Жозефа повернулась лицом к исповедальне и посмотрела туда сквозь расставленные пальцы. Амелия неподвижно стояла на коленях, почти совсем закрыв лицо вуалью. Подол ее платья простерся на полу широким черным кругом. Дона Жозефа снова стала молиться. На улице пошел мелкий дождь, заливая струйками боковое окно. Наконец в исповедальне заскрипели доски, зашуршало по каменным плитам платье — и дона Жозефа, подняв голову, увидела перед собой Амелию с пунцовыми щеками и странно блестящим взглядом.

— Вы давно ждете, крестная?

— Только что пришла. Ты готова?

Старуха встала с колен, перекрестилась, и обе вышли из собора. Все еще моросил дождь, но им подвернулся сеньор Артур Коусейро, несший бумаги в Гражданское управление; он и доставил обеих дам под своим зонтом на улицу Милосердия.

XIII

Под вечер Жоан Эдуардо собрался идти на улицу Милосердия с образчиками обоев на выбор Амелии, когда в подъезде наткнулся на Русу, уже дергавшую колокольчик.

— В чем дело, Руса?

— Хозяек сегодня не будет дома, а вот вам письмо от барышни.

У Жоана Эдуардо сжалось сердце; он оторопело смотрел вслед Русе, которая удалялась, постукивая деревянными подошвами. Он подошел поближе к фонарю против двери и распечатал письмо.

«Сеньор Жоан Эдуардо!

Я дала согласие на брак в убеждении, что вы порядочный человек и что с вами я буду счастлива; но теперь все стало известно. Оказывается, вы сочинили заметку, напечатанную в «Голосе округа», и оклеветали наших друзей, и оскорбили меня, а ваш образ жизни не дает мне никакой уверенности в счастливом замужестве; поэтому можете считать, что отныне между нами все кончено, тем более что церковного оглашения не было. Я надеюсь, и маменька тоже, что вы будете достаточно деликатны, чтобы не приходить более к нам в дом и не преследовать нас на улице. Сообщаю вам это по приказу маменьки и остаюсь покорной слугой и прочее.

Амелия Каминья».

Жоан Эдуардо тупо смотрел на стену, освещенную отблеском фонаря. Он стоял как столб, с рулоном обоев под мышкой. Потом машинально вернулся домой. Руки у него так дрожали, что он с трудом зажег спичку. Здесь, склонившись над столом, он еще раз перечитал письмо, а потом, уставившись на пламя свечи, долго стоял, охваченный леденящим чувством неподвижности и безмолвия, как будто внезапно, без толчка, весь мир вокруг остановился и замолк. Он думал о том, куда Амелия и ее мать могли пойти в этот день. Картины счастливых вечеров на улице Милосердия медленно проплыли в его памяти: Амелия работает, опустив голову, и между черными как смоль волосами и белоснежным воротничком мягко белеет в свете лампы ее шея... И вдруг мысль о том, что он потерял ее навеки, вонзилась в его сердце, как холодное лезвие ножа. Он в ужасе сжал голову руками. Что делать? Множество разных решений молнией промелькнули в его мозгу и исчезли. Написать ей? Подать в суд? Уехать в Бразилию? Узнать, кто выдал его авторство? Последнее показалось ему в эту минуту самым исполнимым, и он побежал в «Голос округа».

Агостиньо, развалясь на канапе и поставив рядом на стул свечу, смаковал лиссабонские газеты. Он испугался, увидя искаженное лицо Жоана Эдуардо.

— Что случилось?

— Случилось то, что ты меня погубил, негодяй! — И, захлебываясь словами, он обрушил на горбуна яростное обвинение в предательстве.

Агостиньо медленно встал, нашаривая в кармане кисет с табаком.

— Вот что,— сказал он наконец,— перестань шуметь...

Даю тебе честное слово, что не говорил никому ни слова о том, кто написал заметку. Правда, никто меня и не спрашивал.

— Кто же тогда? — крикнул клерк.

Агостиньо высоко поднял плечи.

— Я знаю только, что священники лезли из кожи, чтобы разнюхать, кто автор. Натарио был тут как-то утром, по поводу объявления одной вдовы, просящей вспомоществования, но о статье даже не заикнулся... Доктор Годиньо — вот кто знал! Спроси у него. А что, они тебе что-нибудь сделали?

— Они меня убили! — с отчаянием сказал Жоан Эдуардо. Несколько мгновений он смотрел себе под ноги, подавленный, потом вышел, хлопнув дверью.

Он побродил по Базарной площади, потом пошел куда глаза глядят по ночным улицам; его потянуло на темное шоссе в Марразес. Он задыхался; в висках глухо, сильно стучало. Хотя в поле выл ветер, у него не проходило ощущение заполнившего весь мир безмолвия. Время от времени сознание случившегося несчастья вдруг раздирало его сердце, и тогда все вокруг начинало качаться, и мостовая под ногами становилась зыбкой, как болотная топь. Незаметно для себя он снова очутился у собора, когда пробило одиннадцать, потом пошел на улицу Милосердия. Глаза его не могли оторваться от окна столовой, где еще горел свет. Вот засветилось окно в комнате Амелии; наверно, она ложится спать. Его охватила неистовая жажда ее тела, ее поцелуев. Он убежал домой. Смертельная усталость повалила его на кровать. Глубокая, невыразимая печаль отняла последние силы, и он долго плакал, жалея себя еще больше при звуке собственных рыданий, и наконец заснул мертвым сном, уткнувшись лицом в подушку.

На следующий день утром Амелия шла через Базарную площадь, как вдруг навстречу ей из-под арки вышел Жоан Эдуардо.

— Мне нужно поговорить с вами, менина Амелия.

Она испуганно отпрянула и сказала дрожащим голосом:

— Нам не о чем говорить.

Но он загородил ей дорогу, исполненный решимости, глядя прямо на нее красными, воспаленными глазами.

— Я должен сказать вам... Насчет статьи — это правда, я ее написал, это моя беда; но ведь вы... Меня ревность замучила!.. То, что вы пишете про мой образ жизни, это клевета. Я всегда был порядочным человеком...

— Сеньор падре Амаро хорошо вас знает! Позвольте мне пройти...

При имени соборного настоятеля Жоан Эдуардо побелел от гнева:

— А! Так это сеньор падре Амаро! Подлец он! Ладно, мы еще посмотрим! Послушайте...

— Позвольте мне пройти! — крикнула она так громко, что какой-то толстый господин с пледом через плечо остановился и стал смотреть.

Жоан Эдуардо отступил, сняв шляпу, и Амелия тотчас же укрылась в лавке Фернандеса.

Тогда, в приступе отчаяния, Жоан Эдуардо побежал к доктору Годиньо. Уже накануне вечером, плача на кровати от сознания своего бессилия, он вспомнил о докторе Годиньо. Когда-то Жоан Эдуардо служил у него переписчиком. Именно доктор Годиньо рекомендовал его Нунесу Ферралу, и он же обещал своему подопечному место в Гражданском управлении. Доктор Годиньо был его провидением, щедрым и неисчерпаемым источником благ! К тому же после своей заметки Жоан Эдуардо считал себя как бы сопричастным «Голосу округа» и партии Майя и теперь, став жертвой нападения со стороны священников, считал, что имеет право искать опоры у своего шефа, доктора Годиньо, врага мракобесов, «Кавура здешних мест», как говорил, выкатывая глаза, бакалавр Азеведо, автор «Дротиков». И Жоан Эдуардо отправился в желтый особняк доктора близ Террейро, окрыленный надеждой, радуясь, что у него есть прибежище и что он может, словно избитый пес, припасть к ногам доброго гиганта.

Доктор Годиньо уже спустился в кабинет и, удобно раскинувшись в своем кресле с желтыми гвоздями, похожем на епископское, блаженно затягивался утренней сигарой, блуждая глазами по потолку из темного дуба. На приветствие Жоана Эдуардо он ответил величественным кивком.

— Ну, как ваши дела, друг мой?

Книжные шкафы, уставленные до самого потолка тяжелыми фолиантами, папки с юридическими бумагами, пышная картина, на которой был изображен маркиз де Помбал, стоящий на берегу Тэжо и изгоняющий мановением пальца английскую эскадру,— все это нагнало привычную робость на Жоана Эдуардо; слегка запинаясь, он сказал, что пришел к его превосходительству искать помощи в приключившейся с ним беде.

— Кутеж? Уличная потасовка?

— Нет, сеньор, семейное дело.

И он стал пространно рассказывать все, что с ним произошло после опубликования заметки; с волнением прочел вслух письмо Амелии; описал сцену под аркой... И вот теперь он изгнан с улицы Милосердия из-за происков соборного настоятеля! И ему кажется, хоть он и не учился в Коимбре, что должны быть законы, запрещающие священникам втираться в семейные дома, сбивать с толку доверчивых девушек, строить козни против жениха, добиваться его изгнания и самим водворяться в чужой семье по-хозяйски!

— Не знаю, сеньор доктор, но такие законы должны быть!

Доктор Годиньо слушал его, сильно хмурясь.

— Законы?! — воскликнул он наконец, энергично закладывая ногу на ногу.— О каких законах вы говорите? Или вы намерены подать в суд на соборного настоятеля?.. За что же? Он вас побил? Украл у вас часы? Оскорбил вас печатно? Нет? Так в чем дело?

— О, сеньор доктор! Своими интригами он поссорил меня с невестой! Я никогда не был распутником, сеньор доктор! Он меня оклеветал!

— У вас есть свидетели?

— Нет, сеньор.

— Так чего же вы хотите?

И доктор Годиньо, поставив локти на стол, разъяснил, что он, как адвокат, не видит никакой возможности вмешаться в это дело. Подобные моральные, так сказать, драмы, разыгрывающиеся в лоне семьи, в домашних альковах, не подлежат судебному рассмотрению... Как человек, как частное лицо, как Алипио де Васконселос Годиньо, он, увы, тоже ничем не может помочь, ибо незнаком с падре Амаро и не знает дам с улицы Милосердия. Он горячо сочувствует молодому человеку, ибо, в конце концов, и сам был молод, и ему самому не чужда поэзия юных лет, и он тоже испытал (к несчастью, испытал!) сердечные муки... Но это и все, что он может сделать: выразить сочувствие! Не надо было отдавать свое сердце святоше!

Жоан Эдуардо прервал его:

— Она не виновата, сеньор доктор! Виноват этот падре. Он хочет вскружить ей голову! Во всем виновата церковная ракалия!

Доктор Годиньо строго простер длань и посоветовал сеньору Жоану Эдуардо выбирать выражения. Нет никаких доказательств, что соборный настоятель присвоил себе в этом доме какое-либо иное влияние, нежели обычно присущее умелому ду-

ховному пастырю... И вообще он усиленно рекомендует сеньору Жоану Эдуардо прислушаться к советам человека, чей авторитет зиждется на прожитых годах и видном положении в стране: не следует в порыве досады бросать обвинения, которые ни к чему иному не приведут, кроме ущерба для престижа духовенства, столь необходимого в благоустроенном государстве! Без духовенства все потонет в анархии и разгуле!

И он самодовольно откинулся в кресле, подумав про себя, что сегодня он в ударе.

Однако убитое лицо клерка, по-прежнему неподвижно стоявшего перед столом, действовало ему на нервы; он сухо спросил, пододвигая к себе том свода законов:

— Короче, чего вы от меня ждете, друг мой? Вы же видите, я ничем не могу вам помочь.

Жоан Эдуардо возразил, с решимостью отчаяния:

— Я думал, что сеньор доктор сможет что-нибудь сделать для меня... Ведь я оказался жертвой... Все это произошло потому, что они пронюхали, кто написал заметку. Было же условлено, что это тайна. Агостиньо никому ничего не говорил, а, кроме него, только вы, сеньор доктор, знали...

Доктор даже подскочил от негодования в своем епископальном кресле:

— Что такое? Кажется, вы намекаете, что это я рассказал? Я не говорил. То есть да, говорил; говорил моей жене, потому что в прочной семье между супругами не должно быть тайн. Она спросила — я сказал... Но допустим даже, что я кричал об этом на всех перекрестках. Одно из двух: либо ваша заметка содержала клевету, и тогда я вынужден обвинить вас в том, что вы осквернили страницы честной газеты грязными инсинуациями; либо она содержала правду,— и тогда я не понимаю, каким же надо быть человеком, чтобы стыдиться высказанной правды и не сметь при свете дня отстаивать убеждения, изложенные во мраке ночи?

Слезы выступили на глазах у Жоана Эдуардо. Заметив его немое отчаяние и весьма довольный тем, что сокрушил противника столь неотразимой аргументацией, доктор Годиньо смягчился:

— Ну хорошо, не будем ссориться. Оставим вопросы чести... Поверьте, что я искренне сожалею о ваших огорчениях.

И доктор Годиньо дал молодому человеку несколько отеческих советов. Не надо унывать: в Лейрии есть много других, более рассудительных девушек, которые не требуют, чтобы ими во всем руководили сутаны. Надо быть сильным и помнить, что

и он, доктор Годиньо — даже он! — в молодости пережил сердечную драму. Не следует поддаваться своим страстям, это только вредит службе на государственном поприще. И если юноша не хочет последовать этому совету во имя собственной пользы, то пусть сделает это из уважения к нему, доктору Годиньо!

Жоан Эдуардо ушел возмущенный, считая, что доктор его предал. «Это случилось со мной,— рассуждал он,— потому что я бедняк, не располагаю голосами избирателей, не хожу на soirées к Новайсам, не принят в члены клуба. Жестокий мир! Если бы у меня было несколько миллионов...»

Его охватило неудержимое желание разделаться со священниками, с богачами, с религией, которая их оправдывает. Полный решимости, он вернулся в кабинет и, приоткрыв дверь, сказал:

— По крайней мере, ваше превосходительство, даете ли вы мне разрешение отомстить им через газету? Я хотел бы рассказать всю эту грязную историю, нанести удар по церковной ракалии...

Дерзость клерка окончательно вывела доктора Годиньо из терпения. Он резко выпрямился в своем кресле и скрестил на груди руки:

— Сеньор Жоан Эдуардо, вы забываетесь! Какая смелость: явиться ко мне и просить, чтобы я превратил идейный печатный орган в пасквильный листок! Это неслыханно! Вы требуете, чтобы я подрывал основы религии, чтобы я глумился над искупителем, чтобы я повторял ренановские благоглупости, чтобы я ниспровергал основные законы государства, оскорблял короля, замахивался на институт семьи! Сеньор Жоан Эдуардо, да вы пьяны!

— О, сеньор доктор!

— Вы пьяны! Берегитесь, юноша, берегитесь! Вы катитесь в пропасть! Вы встали на путь, который ведет к отрицанию авторитетов, законов, святынь и семейного очага. Этот путь ведет к преступлению! Не смотрите так удивленно. Да, да, к преступлению! У меня двадцатилетний опыт работы в суде. Юноша, остановитесь! Обуздайте свои страсти. Нехорошо! Сколько вам лет?

— Двадцать шесть.

— В двадцать шесть лет непростительно заниматься крамолой. Прощайте и закройте дверь. И вот что: не вздумайте посылать вторую статью в какую бы то ни было газету. Я вам это запрещаю по праву человека, который всегда вас опекал! Ведь

вы намерены продолжать свои скандальные нападки... Не отрицайте, я это вижу по вашим глазам. Так вот, я вам это запрещаю! Для вашего же блага, чтобы уберечь вас от антиобщественных действий!

Он принял величественную позу и повторил с ударением:

— От зловреднейших антиобщественных действий! Куда толкают нас эти господа со своими материализмами, со своими атеизмами?! Когда они покончат с верой наших отцов, что предложат они взамен?! Что у них есть за душой?! Покажите мне, что вы можете предложить взамен?

Беспомощный вид Жоана Эдуардо (у которого не было за душой никакой новой религии, чтобы предложить ее взамен веры наших отцов) послужил к полному торжеству доктора Годиньо.

— Ничего у вас нет за душой! Одна лишь грязь да громкие слова! Но, пока я жив, вера и порядок будут неприкосновенны — по крайней мере, здесь, в Лейрии! Можете предать всю Европу огню и мечу, но в Лейрии вы не посмеете даже головы поднять. В Лейрии стою на страже я, и клянусь, что со мной шутки плохи!

Жоан Эдуардо, горбясь, слушал эти угрозы и даже не пытался их понять. Как могла его заметка и домашние склоки на улице Милосердия вызвать все эти социальные катастрофы и религиозные перевороты? Он был подавлен столь безмерной суровостью. Расположение доктора Годиньо окончательно потеряно, а с ним и должность в Гражданском управлении... Жоан Эдуардо попытался умилостивить сеньора доктора:

— Ах, ваше превосходительство, вы же видите...

— Вижу отлично. Вижу, что страсти и злопамятство толкают вас на гибельный путь... Надеюсь, что мои советы остановят вас. Все. Прощайте. Закройте дверь. Закройте дверь, молодой человек!

Жоан Эдуардо вышел совсем убитый. Куда теперь кинуться? Сам доктор Годиньо, этот титан, прогнал его прочь, сурово осудив! И что может сделать он, бедный конторский переписчик, против падре Амаро, за чьей спиной духовенство, сеньор декан, соборный капитул, епископы, папа римский, целое сословие, единое и солидарное, как бронзовый бастион, достигающий неба?! Ведь это они добились от Амелии отказа, они заставили ее написать письмо, они вынудили ее так жестоко с ним обойтись. Все это происки священников и ханжей. Если бы ему удалось вырвать ее из-под их влияния, она бы вскоре опять стала его милой Амелиазиньей! Давно ли она вышивала для него ноч-

ные туфли! Давно ли, зарумянившись, подходила к окну, чтобы махнуть ему рукой, когда он шел на службу! Былые подозрения рассеялись в счастливое последнее время, когда брак их был решен, и она, работая иглой при свете лампы, обсуждала с ним, какую они купят мебель и как устроят свое гнездышко. Конечно, она любит его!.. И вот! Ей сказали, что он автор заметки, что он еретик, что он развратник; гундося своим поповским голосом, соборный настоятель пугал ее адом; взбешенный каноник, неограниченный властитель домика на улице Милосердия (ибо он давал деньги на пропитание), сказал несколько решающих слов, и бедная Амелия, запуганная, подавленная, покорная бесчестной шайке, не выдержала и уступила! Возможно, она и впрямь поверила, что он дикий зверь! И сейчас, пока он мечется по улицам, изгнанный и побежденный, падре Амаро сидит в столовой на улице Милосердия, удобно развалясь в кресле, положив ногу на ногу — господин над домом и над сердцем девушки, и звучно разглагольствует! Мерзавец! И нет законов, чтобы с ним расправиться! И нельзя даже изобличить их всех в скандальной статье, раз теперь «Голос округа» для него закрыт!

У Жоана Эдуардо кулаки сжимались — так хотелось отдубасить соборного настоятеля. Но еще лучше было бы обрушить на него серию громоподобных газетных статей, вывести на чистую воду интриганов, возбудить против них общественное мнение, собрать над их головой такую страшную грозу, чтобы падре Амаро, и каноник, и вся их свита оставили в покое дом Сан-Жоанейры! Ах, он уверен, что, не будь этой нечисти, Амелиазинья сама бросилась бы к нему на шею со слезами примирения... Он старался уговорить себя, что она не виновата; он вспоминал счастливые месяцы до появления падре Амаро; придумывал оправдания для нежных взглядов, какие она то и дело бросала на священника, заставляя своего жениха мучиться ревностью: просто бедняжка хотела быть полюбезней с жильцом, с другом каноника, чтобы он подольше жил у них на пользу ее маменьке и дому! Зато как она была довольна, когда решили не откладывать больше свадьбу! Ее отвращение к заметке — ясное дело — не естественное чувство; оно внушено ей старыми ханжами и соборным настоятелем. И Жоан Эдуардо находил утешение в этой мысли: он не отвергнут как возлюбленный и муж, а стал жертвой происков гнусного падре Амаро, который зарится на его невесту и ненавидит его самого за либеральные убеждения. И вражда его к падре Амаро делалась еще неутолимей. Шагая по улице, он лихорадочно думал, чем бы отомстить,

напрягал всю силу своего воображения — и приходил к одному и тому же: бичующая газетная статья, грозное печатное слово! И его сражала очевидность собственного бессилия. Ах, если бы удалось привлечь на свою сторону кого-нибудь из влиятельных в городе лиц!

Какой-то деревенский житель, желтый, как печеное яблоко, медленно тащился по улице с рукой на перевязи; он остановил Жоана Эдуардо и спросил, где живет доктор Гоувейя.

— Первая улица налево, зеленые ворота рядом с фонарем,— ответил Жоан Эдуардо.

И вдруг ослепительная надежда озарила его душу: доктор Гоувейя его спасет! Доктор его друг. Доктор зовет его на «ты», с тех пор как три года назад вылечил его от воспаления легких; доктор горячо одобряет его брак с Амелией; всего две недели тому назад он спрашивал, встретив Жоана Эдуардо на Базарной площади: «Ну, когда же эта девушка вкусит счастье?» Доктора так уважают и так боятся на улице Милосердия! Он лечит всех приятельниц Сан-Жоанейры; хотя их ужасает его неверие, но все же они покоряются его власти над недомоганиями, кишечными коликами и микстурами. И, кроме того, доктор Гоувейя, давний враг «долгополых», будет наверняка возмущен этой интригой церковников — и Жоан Эдуардо уже рисовал себе, как победоносно входит в дом на улице Милосердия вслед за доктором Гоувейей: тот пожурит Сан-Жоанейру, высмеет падре Амаро, урезонит старух — и счастье возродится, уже непоколебимое ничем!

— Доктор дома? — спросил он почти весело у служанки, которая развешивала белье во внутреннем дворе.

— У него прием, сеньор Жоанзиньо, войдите, пожалуйста.

В базарные дни у доктора всегда бывало много загородных пациентов. Но в этот час — когда съехавшиеся на базар жители окрестных деревень отправляются провести вечерок в таверне — приема ждали только старик, женщина, державшая на коленях ребенка, и крестьянин с рукой на перевязи, встреченный им на улице. Они сидели в первом этаже, в приемной, уставленной вдоль стен скамьями для пациентов. Единственным украшением были горшки с базиликами на подоконниках и большая гравюра, изображавшая коронацию королевы Виктории. Хотя со двора лился в окна солнечный свет, а под самым окном шелестели свежей листвой липы, приемная казалась унылой, словно и на стенах ее, и на скамьях, и даже на горшках с базиликами остался осадок перебывавших тут болезней.

Жоан Эдуардо вошел и сел в углу.

Пробило полдень.

Женщина с ребенком начала жаловаться, что приходится долго ждать: она из дальней деревни, оставила на базаре свою сестру, а сеньор доктор уже целый час принимает каких-то двух дам. Ребенок капризничал, мать укачивала его, чтобы унять; потом снова наступала тишина; старик закатывал штанину и самодовольно оглядывал язву на завернутой в тряпки голени; третий пациент зевал, едва не выворачивая себе челюсти, отчего его длинное желтое лицо делалось еще более унылым. Ожидание обессиливало клерка, отнимало остатки мужества; ему уже казалось, что он не имеет права беспокоить доктора своими личными делами. Он обдумывал, как рассказать свою историю, но все слова, приходившие на ум, были недостаточно выразительны. Он совсем упал духом; тупо-терпеливые лица больных усугубляли его уныние. Какая грустная штука — жизнь! Бедность, обманутая любовь, огорчения, болезни! Он вскакивал с места и, заложив руки за спину, подходил к стене и рассматривал коронацию королевы Виктории.

Время от времени женщина, державшая на руках больного ребенка, приоткрывала дверь в кабинет и смотрела, не ушли ли две дамы. Они были еще там, и через обитую зеленым сукном створку в приемную доносились их голоса; они спокойно о чем-то говорили.

— Как пойдешь к врачу, так почитай весь день пропал! — ворчал старик.

Он тоже оставил лошадь у лавки Фумасы, а девчонку — на Базарной площади... А сколько еще придется ждать в аптеке! До дому целых три лиги! Хорошо болеть тем, у кого есть на это деньги и время!

Мысль о болезни и об одиночестве обостряла у Жоана Эдуардо горечь утраты. Если он заболеет, ему придется идти в больницу. Злодей падре Амаро отнял у него все — жену, счастье, семейный уют, заботу близких!

Но вот за стеной раздались шаги уходивших дам. Женщина с ребенком торопливо подняла с пола свою корзину и пошла в кабинет, а старик, пересев на скамью поближе к двери, сказал с удовлетворением:

— Теперь моя очередь!

— Вам надолго? — спросил Жоан Эдуардо.

— Нет, только получить рецепт.

И он сразу начал рассказывать про свою язву: ему на ногу упало бревно, он не обращал внимания, рана разболелась — и вот он охромел; и боли замучили.

— А у вас, сеньор, что-нибудь серьезное?

— Нет, я не болен,— сказал клерк,— у меня дело к сеньору Гоувейе.

Оба пациента посмотрели на него с завистью. Наконец старик дождался своей очереди, после него — желтый человек с подвязанной рукой. Жоан Эдуардо остался один и стал нервно прохаживаться по приемной. Теперь ему казалось, что трудно и неловко так прямо, без церемоний, просить доктора о заступничестве. По какому праву? Он решил, что начнет с жалоб на желудок и на боли в груди, а потом, как бы невзначай, расскажет о своих бедах...

Но дверь распахнулась. Перед ним стоял доктор; его длинная седеющая борода падала на вельветовый пиджак, он был уже в шляпе и натягивал фильдекосовые перчатки.

— Ола! Это ты, дружок? Ну, скоро твоя свадьба?

Жоан Эдуардо покраснел.

— Нет! Сеньор доктор, мне бы хотелось поговорить с вами.

Доктор впустил его в кабинет — знакомый темноватый кабинет: хаотическое нагромождение книг, развешанное по стенам дикарское оружие, два чучела цапель. Кабинет доктора Гоувейи слыл в городе чем-то вроде кельи алхимика.

Доктор вытащил карманные часы.

— Без четверти два. Будь краток.

На лице клерка изобразилась тревога: он не мог поведать коротко о таком сложном деле.

— Хорошо,— сказал доктор,— рассказывай, как умеешь. Нет ничего трудней, чем выражать свои мысли ясно и лаконично. Для этого нужно быть гением. Итак, я слушаю тебя.

Жоан Эдуардо, запинаясь, кое-как изложил суть дела, упирая на коварство падре Амаро и на невинность Амелии.

Доктор слушал его, поглаживая бороду.

— Понимаю. Вы оба, ты и этот падре,— сказал он наконец,— влюблены в девушку. Он хитрей и смелей тебя, и потому он ее завоевал. Таков закон природы: более сильный грабит и устраняет более слабого; ему по праву достается самка и добыча.

Жоану Эдуардо слова эти показались шуткой. Он сказал задрожавшим голосом:

— Вы шутите, сеньор доктор, а у меня сердце разрывается!

— Милый мой,— мягко ответил доктор,— я не шучу, а философствую... Что же я могу для тебя сделать?

Это было почти точное повторение слов доктора Годиньо, только без пафоса.

— Я уверен, что если бы вы поговорили с ее матерью...

Доктор улыбнулся.

— Я могу прописать девушке ту или иную микстуру, но не могу предписать ей того или иного мужчину. Неужели ты хочешь, чтобы я пошел к ней и сказал: «Менина Амелия, рекомендую вам выбрать Жоана Эдуардо»? И точно так же я не могу заявить этому предприимчивому падре, которого, кстати, и в глаза не видел: «Будьте любезны, сеньор, не совращайте девушку!»

— Но меня оклеветали, сеньор доктор! Меня выдали за какого-то развратника и темную личность...

— Нет, тебя не оклеветали. С точки зрения этого падре и дам, играющих в лото на улице Милосердия, ты и есть темная личность: католик, который печатно поносит аббатов, каноников и священников — то есть лиц, необходимых для общения верующих с богом и спасения их душ, и есть темная личность. Тебя вовсе не оклеветали, милый мой!

— Но, сеньор доктор...

— Слушай. Сама девушка, отталкивая тебя по указке настоятеля, тоже ведет себя как истая католичка. Поверь мне. Вся жизнь доброго католика, все его помыслы, понятия, чувства, слова, дела, его семейные связи, его добрососедские отношения, его одежда и его развлечения, даже кушанья, которые он ест за обедом, находятся под контролем церковной власти — аббата, каноника или епископа; все это должно одобряться или запрещаться духовником, все делается по совету или указанию духовного пастыря. Настоящий католик — вроде твоей Амелии — не принадлежит себе: у него нет ни разума, ни воли, ни собственного мнения, ни понятия. Священники думают, желают, рещают, чувствуют за твою невесту. Ее единственное дело в здешнем мире, оно же ее единственное право и единственный долг — подчиняться этому руководству, подчиняться без рассуждений, повиноваться, что бы ей ни приказали; если это руководство противоречит ее собственным мнениям, значит, ее мнения ошибочны. Она обязана думать, что они ошибочны; а если оно разрушает ее любовь, она обязана думать, что ее любовь преступна. Следовательно, если священник запретил девушке выходить за тебя замуж и даже просто разговаривать с тобой, то своим повиновением она доказывает, что она добрая католичка, что ее любовь к богу безупречна и что в жизни она неукоснительно следует тому нравственному закону, который избрала. Вот и все. Извини за длинную проповедь.

Жоан Эдуардо с уважением, с недоумением внимал этим речам, которым благожелательное лицо доктора и его седею-

щая борода придавали еще больше веса. Теперь ему и самому казалось, что вернуть Амелию невозможно, раз она так безоговорочно, и душой и разумом, принадлежит своему духовнику падре Амаро. Но почему священники считают, что она не должна выйти замуж за своего жениха?

— Я бы понял это, если бы действительно был распутником, сеньор доктор. Но я веду самую примерную жизнь; я работаю с утра до ночи; я не бываю в тавернах, не участвую в кутежах, не пью, не играю; вечера провожу на улице Милосердия или сижу дома и переписываю бумаги для конторы...

— Мой милый мальчик, ты можешь быть образцом всех добродетелей; но вера наших отцов утверждает, что всякая добродетель вредна и бесплодна, если она не порождена католической церковью. Трудолюбие, целомудрие, честность, справедливость, правдивость — все это великие добродетели, но для священников и для церкви они не в счет. Будь каким угодно праведником, но если ты не слушаешь мессу, не постишься, не исповедуешься и не снимаешь шляпу перед священниками — ты не что иное, как темная личность. Жили на свете люди позначительней тебя, чья душа была совершенна, а жизнь безупречна, но и их записали в отбросы человечества, потому что они не были крещены, прежде чем достигли совершенства. Ты, наверно, слыхал о Сократе, о Платоне, Катоне и других. Они прославились в веках своею праведностью. И все же Боссюэ — эталон католической доктрины — заявил, что добродетелями этих людей вымощен ад. Отсюда следует, что католическая мораль отличается от морали естественной и общечеловеческой... Но ты едва ли меня понимаешь... Хочешь, приведу пример? С точки зрения правоверного католика, я — один из самых отпетых негодяев, какие топчут улицы этого города; а мой сосед Пейшото, который убил пинком в живот свою жену и тем же манером добивает десятилетнюю дочь, считается у духовенства прекрасным человеком, потому что аккуратно исполняет обязанности прихожанина и подыгрывает певчим на корнет-а-пистоне. Словом, братец, так уж оно устроено. И, как видно, устроено хорошо, если миллионы почтенных людей это одобряют, а государство расходует на церковь большие суммы и обязывает к этому же тебя и меня. Я, например, каждый год плачу золотой, чтобы сохранить католическую церковь. С тебя, конечно, берут меньше...

— С меня семь винтенов, сеньор доктор.

— Ты-то хоть участвуешь в их праздниках, слушаешь музыку, проповеди — словом, возмещаешь свои семь винтенов.

А мой золотой пропадает для меня целиком и полностью; приходится утешаться тем, что он идет на поддержание церкви — той самой церкви, которая при жизни числит меня в разбойниках, а после смерти уготовала в аду место самого первого класса. В общем, мы славно поболтали... Чем еще могу служить?

Жоан Эдуардо был совсем обескуражен. Он слушал доктора и все больше убеждался, что если бы этот человек, рассуждающий так умно, мыслящий так широко, принял в нем участие, то без труда вывел бы церковников на чистую воду, и счастье Жоана Эдуардо, его место в доме на улице Милосердия было бы восстановлено раз и навсегда.

— Значит, вы ничего не можете для меня сделать, сеньор доктор? — переспросил он безутешно.

— Я могу самое большее вылечить тебя от второго воспаления легких. Ты опять болен воспалением легких? Нет? В таком случае...

Жоан Эдуардо тяжело вздохнул.

— Я стал их жертвой, сеньор доктор!

— И напрасно. Никаких жертв не должно быть, кроме жертв борьбы с тиранией! — сказал доктор, надевая свою мягкую широкополую шляпу.

— Ведь по сути дела,— пытался еще настаивать Жоан Эдуардо, цепляясь за доктора, как утопающий за соломинку,— по сути дела, подлец падре добивается одного: завладеть девушкой! Если бы она была некрасивой, ему было бы совершенно безразлично, верю я в бога или нет! Этот мошенник добивается ее любви!

Доктор пожал плечами и сказал, уже взявшись за ручку двери:

— Это естественно, мой бедный друг. Чего ты хочешь? Он мужчина, а у мужчины есть страсти и органы, требующие женщины. К тому же он духовник, что придает ему почти божественный престиж. И нечего удивляться, если он пускает в ход этот престиж, чтобы утолить свои страсти; и вполне логично, что удовлетворение страстей он прикрывает видимостью служения богу... Все это естественно.

И тогда Жоан Эдуардо, видя, что доктор уже открывает дверь и последняя надежда рушится, крикнул в ярости, хлестнув воздух шляпой:

— Церковная ракалия! Я всегда их ненавидел! Их надо стереть с лица земли, сеньор доктор!

— И опять ты сказал глупость,— возразил доктор, примиряясь с неизбежностью и продолжая разговор в дверях кабинета.— Послушай меня. Ты веришь в бога? В бога, который находится на небесах? Того, что создал основы справедливости и истины?

Удивленный Жоан Эдуардо сказал:

— Верю, сеньор доктор.

— А в первородный грех?

— Верю...

— А в загробную жизнь, искупление и прочее?

— Я вырос в этих верованиях...

— Так почему же ты хочешь стереть с лица земли священников? Наоборот, ты должен находить, что их еще мало. Я вижу, ты либерал-рационалист и не выходишь за пределы того, что провозглашено Хартией... Но если ты веришь в бога, который пребывает на небе и управляет нами сверху, и веришь в первородный грех и в загробную жизнь, то тебе нужны и священники: иначе кто будет преподавать тебе вероучение, завещанное богом, кто поможет тебе очиститься от первородного греха, кто приготовит для тебя место в раю? Священники тебе необходимы. И я не вижу никакой логики в том, что ты ругаешь их в газете...

Ошеломленный Жоан Эдуардо пролепетал:

— Но, сеньор доктор... Извините меня, ваша милость, но...

— Ну, что? Говори, братец.

— Значит, вам не нужны священники в этой жизни...

— Ни в этой, ни в той. Мне не нужны священники на земле, потому что не нужен бог на небе. Иными словами, дружок, мой бог — внутри меня; этим принципом я и руковожусь в своих действиях и суждениях. Vulgo conscientia...[1] Возможно, ты меня не понимаешь... Впрочем, ведь я излагаю тебе крамолу. И уже как-никак три часа...— И доктор показал ему часы.

В воротах Жоан Эдуардо еще сказал:

— Так вы уж извините меня, сеньор доктор...

— Не за что. И знаешь: пошли ко всем чертям улицу Милосердия!

Жоан Эдуардо горячо возразил:

— Это легко сказать, сеньор доктор; но когда любовь гложет здесь, внутри...

---

[1] Попросту говоря, совесть... *(лат.)*

— Любовь? А! Конечно! Любовь — великая и прекрасная вещь. Одна из могучих сил цивилизации. Направленная в нужное русло, она способна создавать новые миры и производить нравственные революции... Но поверь мне (он вдруг переменил тон): очень часто то, что мы называем любовью,— вовсе не любовь и живет отнюдь не в сердце... Мы употребляем слово «сердце» ради приличия, имея в виду совсем другое место. По большей части именно в нем все дело. И тогда огорчения наши длятся недолго. Прощай! Будем надеяться, что скоро ты утешишься.

XIV

Жоан Эдуардо шел по улице, свертывая сигаретку. Он обессилел от прошедшей мучительной ночи, от бесполезных хлопот сегодняшнего утра, от разговоров с доктором Годиньо и доктором Гоувейей.

«Конец! — думал он.— Больше я ничего не могу сделать. Надо смириться».

Душа его изнемогла от стольких порывов страсти, надежды и гнева. Ему хотелось забиться в какую-нибудь нору, подальше от адвокатов, женщин, священников, и заснуть на долгие месяцы. Но было уже больше трех часов. Он поспешил в контору к Нунесу. Наверно, придется еще выслушать нотацию за опоздание. Нерадостная у него жизнь!

Он завернул за угол Террейро и тут, у харчевни Озорио, встретил молодого человека в светлом пиджаке, обшитом по бортам черной тесьмой; на удивительно бледном лице его ярко-черные усики казались накладными.

— Ола! Как дела, Жоан Эдуардо?

Это был Густаво, наборщик из «Голоса округа», два месяца назад уехавший в Лиссабон. Агостиньо аттестовал его так: «Малый мозговитый и начитанный, но в голове черт знает какой ералаш». Густаво даже писал иногда статьи о международной политике, куда вставлял звучные проклятия Наполеону III, царю и другим угнетателям народов, скорбя о порабощении Польши и нищете пролетариата. Густаво и Жоан Эдуардо питали взаимную симпатию, после того как несколько раз поговорили на религиозные темы; оба соперничали в преклонении перед Иисусом Христом и в ненависти к духовенству. Революция в Испании так воодушевила наборщика, что он мечтал присоединиться к Интернационалу; его тянуло в крупный пролетарский центр, где существовали бы рабочие объеди-

нения, произносились бы речи, создавалось бы трудовое братство,— и он уехал в Лиссабон. Там Густаво нашел хорошую работу, славных товарищей. Но на его иждивении находилась больная старуха-мать; жить вместе выходило куда экономней, и он вернулся в Лейрию. К тому же «Голос округа» процветал ввиду близящихся выборов и мог прибавить жалованье трем своим наборщикам.

— Так что я снова буду работать у Горбуна.

А сейчас он идет обедать к Озорио и приглашает Жоана Эдуардо составить ему компанию. Мир не рухнет, если один раз клерк не пойдет в свою контору!

Жоан Эдуардо вспомнил, что со вчерашнего дня ничего не ел. Может быть, он ослаб от голода и потому чувствует себя таким растерянным, таким обескураженным... Он сразу согласился; приятно после целой лавины огорчений и хлопот спокойно посидеть в таверне перед полной тарелкой, в обществе друга, разделяющего твою ненависть к сутанам. К тому же Жоан Эдуардо перенес столько ударов, что испытывал потребность в сочувствии. Он горячо воскликнул:

— Идет! Ах, дружище, сам бог послал мне тебя! Весь этот мир — такая помойка! Если бы нельзя было полчаса поболтать с другом, право, не стоило бы и на свет родиться!

Горький тон, столь необычный для «этого теленка»,— как называли Жоана Эдуардо приятели,— удивил Густаво.

— А что такое? Что-нибудь неладно? Полаялся с подлецом Нунесом? — спросил он.

— Нет, так просто, сплин.

— Сплин! Это что-то английское! Да! Жаль, ты не видел Таборду в «Лондонской любви»!.. Забудь про сплин. Откупорим бутылочку — и все как рукой снимет...

Густаво схватил друга под руку и втолкнул его в дверь таверны.

— Да здравствует дядя Озорио! Дружба и братство!

Трактирщик дядя Озорио, жизнерадостный толстяк в рубашке с закатанными до плеч рукавами, стоял, опершись о стойку бело-розовыми руками и обратив к посетителям пухлое хитрое лицо. Он весело приветствовал Густаво по случаю его возвращения в Лейрию. Правда, наборщик что-то похудел... Наверно, это от лиссабонских дождей и оттого, что там кладут в вино кампешевое дерево... А что будут кушать сеньоры?

Густаво, встав перед стойкой и сбив шляпу на затылок, воспользовался случаем познакомить провинциалов с лиссабонской шуткой, чрезвычайно ему нравившейся:

— Дядя Озорио, угостите нас королевской печенью и жареными капелланскими почками!

Дядя Озорио, не лазивший за словом в карман, сразу же откликнулся, вытирая тряпкой оцинкованную стойку:

— Таких кушаний не держим, сеньор Густаво. Это лакомство столичное.

— Ну, значит, вы отстали. В Лиссабоне я каждое утро ел это блюдо на завтрак... Ну, ладно. Дайте нам по куску жареной трески с картошкой... Да порумяней!

— Вас обслужат, как старых друзей.

Молодые люди расположились в «отдельном кабинете», закоулке, отгороженном от зала двумя сосновыми досками и завешенном ситцевой портьерой. Дядя Озорио уважал Густаво за то, что он знающий малый и не гуляка, и потому сам принес графин красного вина, тарелку маслин и спросил, протирая бокалы фартуком не первой свежести:

— Что новенького в столице, сеньор Густаво? Как там дела?

Наборщик сейчас же сделал серьезное лицо, пригладил рукой волосы и проронил несколько загадочных фраз:

— В столице неспокойно... Политиканы потеряли всякий стыд... Рабочий класс начинает шевелиться. Пока еще нет подлинного единства... Все очень присматриваются к событиям в Испании... Ждут серьезных перемен! Все зависит от Испании...

Но дядя Озорио, скопивший некую сумму денег, чтобы купить на них усадебку, питал решительное отвращение к беспорядкам. Он считал, что стране больше всего нужен мир. А главное — подальше от испанцев. Из Испании не жди — господа, конечно, знают эту поговорку — «ни дружной весны, ни верной жены».

— Все народы братья! — воскликнул Густаво.— Когда надо ниспровергнуть Бурбонов, императоров, придворную камарилью и спесивых вельмож,— нет ни португальцев, ни испанцев, а есть только братья! Нам нужно братство народов, дядя Озорио!

— Что ж, значит, надо чокнуться за братство, выпить и повторить, на том и мир держится,— спокойно отпарировал дядя Озорио, выплывая вон из отдельного кабинета.

— У, мамонт! — пустил ему вслед наборщик, оскорбленный безразличием дяди Озорио к братству народов. Впрочем, чего и ждать от частного собственника, да еще и агента по выборам в своем приходе!

Напевая «Марсельезу», Густаво разлил вино по бокалам

и, высоко поднимая графин, чтобы вскипала пена, поинтересовался, чем занимается в последнее время Жоан Эдуардо.

— В «Голосе округа» бываешь? Горбун говорил, тебя не вытащить с улицы Милосердия... Когда же свадьба?

Жоан Эдуардо, покраснев, ответил неопределенно:

— Пока еще не решили... Возникли затруднения.— И, помолчав, он прибавил с вымученной улыбкой: — Мы поссорились.

— Пустяки! — отмахнулся Густаво и пренебрежительно повел плечами, выражая свойственное революционеру презрение к любовной блажи.

— Пустяки?.. Не знаю, пустяки ли это,— сказал Жоан Эдуардо.— Знаю только, что они отравляют жизнь... Они убивают, Густаво.

Он замолчал и закусил губу, чтобы подавить волнение.

Но наборщик считал любовь глупой тратой сил. Нашли время... Человек из народа, труженик, гоняющийся в такую минуту за юбкой,— это ничтожество... Более того, он изменник! Теперь не о шашнях надо думать, а о том, как добыть свободу всем народам, как вызволить труд из когтей капитала, как покончить с монополиями и постоять за республику! Не телячьи нежности нам нужны, а действие, революционное действие! И он с силой раскатывал *р* в слове «р-р-революционное», жестикулируя худенькими, точно у туберкулезного больного, руками над блюдом с жареной треской, которую принес слуга.

Жоан Эдуардо слушал его и вспоминал те времена, когда наборщик, влюбившись в булочницу Жулию, каждый день приходил на работу с красными от слез глазами и оглашал типографию вздохами, на которые товарищи его отвечали выразительным покашливанием. Однажды Густаво из-за этого даже подрался во дворе с Медейросом...

— Пустые слова! — сказал Жоан Эдуардо.— Все люди одинаковы... Хорошо тебе сейчас рассуждать; а вспомни, что с тобой самим было.

Замечание это задело наборщика за живое. Побывав в лиссабонском демократическом клубе «Алкантара» и приняв участие в составлении манифеста к бастующим братьям с табачной фабрики, он считал, что отдал всю свою жизнь делу пролетариата и республики. Он? Он таков же, как все? Он тоже способен растрачивать время на бабьи юбки?

— Нет, уважаемый сеньор, вы глубоко ошибаетесь! — ответил он и замкнулся в сердитом молчании, терзая вилкой жареную треску.

Жоан Эдуардо испугался, что обидел его.

— Ах, Густаво, брось дурить: человек может быть верен своим убеждениям, бороться за идею и в то же время жениться, создать свой очаг, иметь семью.

— Ни в коем случае! — вскричал наборщик.— Кто женился — человек пропащий! У женатого в голове одно: заработать на пропитание! Он сидит как крот в своей норе, не может пожертвовать ни минуты на друзей, по ночам таскает на руках своих сопляков, у которых режутся зубки... Женатый революционер — это пустое место! Он продается! Женщины ничего не смыслят в политике. Они вечно боятся, что их муж ввяжется в какую-нибудь историю и попадет в полицейский участок... И патриот связан по рукам и ногам! А если нужно хранить тайну? Женатый человек не может хранить тайну!.. Из-за этого революции терпят крах... К черту семью! Еще порцию маслин, Озорио!

Между перегородками показалось брюхо дяди Озорио.

— О чем вы, сеньоры, так горячо спорите? Можно подумать, что партия Майя провела своих в окружной совет!

Густаво откинулся на спинку скамьи, вытянул ноги и с места в карьер спросил:

— Пусть дядя Озорио скажет. Скажите, сеньор, способны вы изменить своим политическим убеждениям в угоду жене?

Дядя Озорио погладил свою толстую шею и проговорил с хитрецой:

— Могу вам ответить, сеньор Густаво. Женщины куда вострей нас... И в политике и в коммерции! Кто следует их совету, в накладе не останется... Я уже двадцать лет советуюсь со своей хозяйкой — и, что ни говори, дела мои идут не худо.

Густаво подскочил на месте.

— Ты продаешься!

Дядя Озорио, уже привыкший к излюбленному выражению Густаво, ничуть не оскорбился, а ответил шуткой:

— Продается вино, а я, с вашего разрешения, продавец. Я дело говорю, сеньор Густаво. Вот женитесь, тогда мы вас послушаем.

— Могу тебе сказать, что ты услышишь: когда начнется революция, я ворвусь сюда с ружьем и предам тебя военно-полевому суду, господин капиталист!

— А пока суд да дело, выпейте и повторите! — ответил дядя Озорио, хладнокровно выплывая вон.

— У, гиппопотам! — рявкнул ему вслед наборщик.

Но он обожал споры и потому снова завел речь о том, что человек, привязанный к юбке, не может быть тверд в своих политических убеждениях.

Жоан Эдуардо грустно улыбался и думал про себя, что, несмотря на свое увлечение Амелией, он уже два года не исповедовался!

— У меня есть доказательства! — надрывался Густаво и привел в пример одного вольнодумца из числа своих приятелей, который ради семейного мира согласился есть постное по пятницам, а по воскресеньям таскаться в церковь с молитвенником под мышкой.

— И с тобой случится то же самое! Сейчас ты смотришь на религию довольно здраво, но попомни мое слово: когда-нибудь ты тоже будешь шагать в красной мантии и со свечой в руке в процессии страстей господних... Легко быть философом и атеистом, когда беседуешь с друзьями в бильярдном зале. И совсем другое дело исповедовать эти убеждения у себя дома, в семье, с хорошенькой и набожной женой. Тут, брат, загвоздка! И с тобой это непременно случится, если уже не случилось: ты выбросишь в мусорный ящик либеральные взгляды и будешь ломать шапку перед жениным духовником!

Жоан Эдуардо раскраснелся от обиды. Даже в самое счастливое время, когда он был уверен в Амелии, подобный упрек, который Густаво бросил сейчас только для красного словца, жестоко задел бы его. Тем более теперь! Теперь, когда у него отняли Амелию именно за то, что он высказал печатно свое отвращение к долгополым! Теперь, когда сердце его разбито, когда он сидит тут один, отлученный от всех радостей жизни,— и все это в наказание за либеральные взгляды!

— Такое обвинение против меня звучит весьма остроумно! — сказал он с угрюмой горечью.

Наборщик поднял его на смех:

— Душа моя, надеюсь, ты не считаешь себя мучеником свободы!

— Ради бога, не глумись, Густаво,— обидчиво возразил клерк.— Ты ничего не знаешь. Если бы ты знал, ты бы так не говорил...

И он рассказал наборщику историю своей заметки — умолчав, правда, что написал ее в припадке ревности, и изобразив все дело как чистую борьбу идей... А ведь он как раз собирался жениться на девушке очень набожной, войти в дом, где священников толчется не меньше, чем в ризнице собора...

— И ты подписал эту заметку? — спросил Густаво, ошарашенный такой новостью.

— Доктор Годиньо не разрешил мне ставить свою подпись,— ответил клерк, слегка покраснев.

— Но ты задал им хорошую трепку?

— Всем досталось! И крепко!

Наборщик, в полном восторге, громогласно заказал еще бутылку красного, наполнил бокалы и выпил за здоровье Жоана Эдуардо.

— Вот это лихо! Нет, я должен видеть твою заметку! И послать ее ребятам в Лиссабон! Чем же все это кончилось?

— Скандалом.

— А долгополые?

— Взбеленились!

— А как они узнали, кто автор?

Жоан Эдуардо пожал плечами. Агостиньо никому ничего не говорил. Подозрение падает на жену Годиньо, которая могла узнать от мужа и проболтаться падре Силверио, своему духовнику,— знаешь падре Силверио? С улицы, где монастырь святой Терезы...

— Это который? Такой жирный, толстопузый?

— Да.

— Вот свинья! — брезгливо поежился наборщик.

Он уже смотрел на клерка с уважением: Жоан Эдуардо предстал перед ним в ореоле паладина свободомыслия.

— Пей, дружище, пей! — говорил он, суетливо наполняя его бокал, как будто столь славный подвиг на либеральном поприще даже много дней спустя требовал заботливого ухода за героем.— Что же случилось потом? Что сказали твои дамочки с улицы Милосердия?

Участие друга тронуло Жоана Эдуардо; не переводя дыхания, он рассказал ему свою драму. Показал даже письмо, которое взбешенные святые отцы заставили Амелию написать, запугав ее адом.

— Они расправились со мной, Густаво.

Это было действительно так. Наборщик смотрел на Жоана Эдуардо со все возрастающим восхищением. Куда девался «теленок», переписчик бумаг у Нунеса, робкий чичисбей с улицы Милосердия? На его месте был другой человек — жертва религиозных гонений. Первая их жертва, какую довелось видеть Густаво! Правда, Жоан Эдуардо был совсем непохож на традиционные эстампы, где изображались мученики, пострадавшие

от религиозного фанатизма: обычно они стояли на помосте, прикрученные веревкой к столбу, и у ног их пылал костер; или же они бежали с малыми детьми от всадников, чьи силуэты смутно вырисовывались в полумраке, на заднем плане; но все же клерк был очень интересен. Густаво даже немного завидовал его почетной роли. Вот бы мне так!

Какая сенсация среди ребят в «Алкантаре»! Ведь это огромная удача — быть жертвой реакции и в то же время есть жареную треску у дяди Озорио и каждую субботу получать жалованье! Но каково коварство долгополых! Чтобы отомстить либералу, они затевают против него интригу и отнимают невесту! Какие подлецы!.. И, совершенно забыв свои насмешки над женитьбой и семейной жизнью, Густаво уже метал громы в клерикалов, которые всеми силами стремятся разрушить прекрасный, самим богом освященный институт брака!

— Им надо отомстить! Их надо стереть в порошок!

Отомстить? Жоан Эдуардо только об этом и мечтает. Но чем? Как?

— Как? Рассказать все в «Голосе округа»! Напечатать убийственную статью!

Жоан Эдуардо пересказал слова доктора Годиньо: отныне «Голос округа» закрыт для господ вольнодумцев!

— Скверный осел! — зарычал наборщик.

Но в голову ему пришла отличная мысль: напечатать отдельную брошюру! Всего страниц на двадцать,— в Бразилии такие памфлеты называют «мофинами»,— но зато это будут двадцать страниц первоклассной прозы. Густаво сам брался ее отредактировать, чтобы кара обрушилась на злокозненных падре смертельным градом горьких истин.

Жоан Эдуардо воспрял духом. Активное сочувствие, братское участие Густаво побудили его к откровенности. Он поделился с наборщиком самой горестной своей тайной: подоплека всей этой интриги — любовь падре Амаро к девушке; негодяй изгнал его с улицы Милосердия именно затем, чтобы завладеть его невестой... И этот враг, злодей, наглец — не кто иной, как соборный настоятель!

Наборщик схватился за голову. Подобные безобразные истории случались довольно часто, и он сам иногда набирал такого рода сообщения с мест; но на сей раз пострадавшим был демократ, приятель, сидящий напротив за столом, и потому интрига священников казалась Густаво особенно чудовищной. Чем это лучше старческих злодейств Тиберия, который насиловал в банях изнеженных патрицианских юношей?

Наборщик отказывался верить своим ушам, но Жоан Эдуардо приводил одно доказательство за другим. Тогда Густаво, обильно запивавший вином жареную треску, воздел к небу сжатые кулаки и, скрипнув зубами, несколько осоловелым голосом возопил:

— Долой религию!

Из-за перегородки кто-то глумливо отозвался:

— Да здравствует Пий Девятый!

Густаво вскочил из-за стола, чтобы влепить пощечину нахалу, но Жоан Эдуардо удержал его, и Густаво, спокойно усевшись на место, опорожнил недопитую бутылку.

Затем оба, поставив локти на стол и дыша друг другу в лицо, принялись вполголоса обсуждать план брошюры. Ничего трудного тут нет. Писать они будут вместе. Жоан Эдуардо хотел придать своему памфлету форму поэмы с мелодраматическим сюжетом, где падре Амаро будут приписаны пороки и извращения, достойные Калигулы и Гелиогабала. Наборщик же считал более уместным изложить суть дела в виде строгого философского трактата, полного серьезных мыслей и способного раз и навсегда покончить с ультрамонтанами! Он брался собственноручно набрать текст во внеурочное время и, разумеется, бесплатно. Но тут возникло непреодолимое препятствие.

— А бумага? Где добыть бумагу?

Бумага должна была обойтись не дешевле девяти или десяти милрейсов. Ни один из них не располагал такой суммой и не мог рассчитывать на денежных друзей, которые во имя идеи дали бы ее в долг.

— Попроси денег у Нунеса в счет жалованья! — нашелся наборщик.

Жоан Эдуардо горестно почесал в затылке. Он живо представил себе, в какое негодование придет богобоязненный Нунес, член приходского совета, личный друг декана, если ему попадется на глаза такая брошюра! А что будет, когда он узнает, что ее написал его собственный клерк, на бумаге, взятой в его, Нунеса Феррала, конторе, хозяйским гусиным пером! Жоан Эдуардо уже видел своего толстенького патрона в роковую минуту: побагровев от гнева, привстав на носки своих белых сапожек, он закричит свиристящим голоском: «Вон отсюда! Вы масон! Убирайтесь прочь!»

— Хорош я буду! — задумчиво сказал клерк.— Ни жены, ни хлеба!

Густаво тоже призадумался: доктор Годиньо, владелец типографии, и его не помилует. После примирения с «кликой

на улице Милосердия» доктор Годиньо вновь и весьма гласно занял свое почетное положение опоры церкви и столпа веры...

— Да, черт подери... Это может нам дорого обойтись,— сказал он.

— Это невозможно! — подтвердил клерк.

Они долго чертыхались в бессильной ярости. Упущен единственный в своем роде случай вывести церковников на свежую воду!

План издания брошюры, словно рухнувшая колонна, казался им теперь еще колоссальней. Это уже не было бы возмездие злодею-священнику, но полный разгром всего духовенства, иезуитов, административной власти папства и других злоупотреблений церкви... Проклятие! Если бы не Нунес, если бы не Годиньо, если бы не девять милрейсов...

Извечная препона на пути всех бедняков — безденежье и зависимость от хозяина — мешает даже такому делу, как издание брошюры! Оба пришли к выводу, что современное общество не имеет права на существование.

— Нет, революция решительно необходима! — восклицал наборщик.— Надо разрушить до основания все, все! — И его широкий жест живо изобразил грандиозное выравнивание общественных различий и снос церквей, дворцов, банков, казарм и недвижимости всех на свете докторов Годиньо.— Еще бутылку красного, дядя Озорио!..

Но дядя Озорио не появлялся. Густаво изо всех сил колотил по столу черенком ножа и наконец, потеряв терпение, пошел к стойке, «чтобы выпустить кишки из этого продавшегося типа, который заставляет гражданина Португалии напрасно ждать».

Дядя Озорио в это время, сняв колпак и сияя от горделивой радости, беседовал с бароном де Виа Клара: приближались выборы, и барон паломничал по всем кабакам и пожимал руки своим избирателям. Здесь, в харчевне, барон был поистине великолепен: в лаковых ботинках, блиставших на глинобитном полу, со вставленным в глаз золотым моноклем, он покашливал от чада горелого масла и едких испарений винной гущи, осевшей на стенах бочек.

Густаво, увидя его, скромно ретировался в отдельный кабинет.

— Он разговаривает с бароном,— объяснил он клерку почтительным шепотом.

Жоан Эдуардо сидел нахохлившись и обхватив голову руками. Наборщик стал уговаривать его не вешать нос. Какого

черта! В конце концов даже лучше, что он избавился от женитьбы на святоше...

— И я не могу отплатить этому негодяю! — перебил его Жоан Эдуардо, отталкивая тарелку.

— Не горюй,— пообещал наборщик торжественно,— скоро придет для всех них час расплаты!

И он стал вполголоса рассказывать о том, что «готовится в Лиссабоне». Он слышал, там уже создан клуб республиканцев, в котором участвуют даже некоторые известные лица (это казалось ему лучшей гарантией успеха). Кроме того, зашевелились рабочие. Да он и сам... и Густаво, наваливаясь животом на стол, шептал почти на ухо Жоану Эдуардо, что уже договорился и будет принят в новую секцию Интернационала, которую скоро откроет один испанец, недавно прибывший из Мадрида; Густаво пока не видел этого испанца: тот скрывается от полиции; и вообще у комитета нет денег... Но уже нашелся человек, владелец мясной лавки, который обещает дать сто милрейсов... В армии тоже ведется работа: на собрании он видел одного пузана, о котором говорили, что он майор, и он действительно похож на майора...

— Словом,— говорил Густаво,— через несколько месяцев, когда эти силы объединятся, все разом взлетит на воздух: правительство, король, знать, капиталисты, епископы,— и придет конец этим злобным чудовищам! И тогда королями будем мы, дружище! Всех этих Нунесов, Годиньо и прочий сброд мы засадим в тюрьму святого Франциска. Годиньо я беру лично на себя... Долгополых в шею! И простой народ наконец обретет свободу!

— Не скоро это случится! — вздохнул Жоан Эдуардо, с горечью думая о том, что, когда грянет революция, уже поздно будет отвоевывать Амелиазинью...

Тут появился дядя Озорио с графином.

— А, наконец-то, «сеньор фидалго»!— насмешливо приветствовал его наборщик.

— Иной и не носит титула, а все же титулованные особы с ним считаются,— сейчас же отпарировал дядя Озорио; казалось, он еще больше разбух от самодовольства.

— Так ведь титулованные особы считаются не с тобой, а с твоими шестью голосами!

— У меня в приходе не шесть, а восемнадцать голосов и ожидается девятнадцатый. Что еще прикажете вам подать, почтенные сеньоры? Больше ничего? Жаль. Значит, надо распить еще графинчик!

И он задернул занавеску, оставив друзей наедине с полным графином и предоставив им мечтать сколько угодно о революции, которая поможет одному вернуть себе менину Амелию, а другому — разделаться с доктором Годиньо.

Было уже около пяти, когда приятели вышли из своего закутка. Дядя Озорио относился к ним с особенным интересом, как к образованным молодым людям; он окинул их проницательным взглядом из-за стойки, где читал «Народную газету», и сразу заметил, что оба «малость на взводе», особенно Жоан Эдуардо, который нахлобучил шляпу на лоб и странно выпятил губы. «Не умеет пить»,— подумал Озорио, мало его знавший. Зато сеньор Густаво, как и всегда, влив в себя три литра вина, сиял приветливой веселостью. Замечательный малый! По счету заплатил тоже он. Качнувшись к хозяину, он с размаху звякнул двумя монетами о цинковую стойку:

— На, спрячь мои кровные в свою кубышку, пузан Озорио!

— Жаль, что ваших кровных только две, сеньор Густаво.

— Разбойник ты! Небось воображаешь, что народный пот и трудовые деньги существуют только для того, чтобы набивать ими брюхо филистеров? Но ничего, за тобой не пропадет! В день возмездия Биби будет иметь честь проткнуть твою утробу... Биби это я. Я — Биби, понимаешь? Правда, Жоан? Кто здесь Биби?

Жоан Эдуардо не слушал. Он сверлил недружелюбным взглядом какого-то пьяного, который развалился за одним из дальних столиков и дымил трубкой перед пустым графином, подперев голову рукой и недоуменно тараща глаза на обоих друзей.

Наборщик подтолкнул Жоана Эдуардо к стойке.

— Объясни дяде Озорио, кто такой Биби! Смотри на моего друга, дядя Озорио. Он одаренный малый и добрая душа! Смотри на него! Одним росчерком пера он может покончить с ультрамонтанами! Он мой друг! Он с нами навеки, не на жизнь, а на смерть. Да брось ты, пузан, деньги считать, слушай, что я тебе говорю! Это хороший человек!.. И если он сюда придет и попросит пару литров в кредит, ты ему дай... Биби за него отвечает!

— Значит, так,— гнул свое дядя Озорио,— две порции трески, два салата...

Но пьяный посетитель вдруг вскочил с места; выставив вперед левую руку с трубкой и громко рыгнув, он направился прямо к наборщику, остановился перед ним, пошатываясь, и протянул руку.

Густаво посмотрел на него с отвращением.

— Что вам нужно? Бьюсь об заклад, что это вы орали: «Да здравствует Пий Девятый!» Продажная шкура... Убери лапу!

Пьяница, отвергнутый наборщиком, заворчал; потом, повернувшись к Жоану Эдуардо, стал и ему совать свою растопыренную руку.

— Убирайся прочь, скотина! — сказал клерк раздражительно.

— Ты мне друг... Я тебе друг...— бормотал пьяный. Он не отходил, продолжая тыкать в них рукой и смрадно дышать в лицо.

Жоан Эдуардо, вдруг озлившись, с силой оттолкнул его, так что он ударился о стойку.

— Но, но! Здесь рукам воли не дают! — строго прикрикнул дядя Озорио.— Я драки не допущу!

— Пусть не лезет! — рявкнул клерк.— И тебе будет то же...

— Не умеете себя держать, ступайте на улицу,— веско сказал дядя Озорио.

— Кого на улицу? Меня на улицу? — взревел Жоан Эдуардо, занося кулак.— Попробуй еще раз сказать слово «улица»! Да ты с кем разговариваешь?

Дядя Озорио молчал, опершись о стойку обеими своими мощными руками, один вид которых внушал почтение к его харчевне.

Но Густаво решительно встал между ними и заявил, что надо быть джентльменами! Никаких споров и обидных слов! Друзья могут между собой пошутить, посмеяться, но как водится между джентльменами! Здесь все — джентльмены!

Он оттащил в сторону клерка, который все еще не переварил обиду.

— Ну, Жоан! Ну, Жоан! — уговаривал его Густаво, взволнованно жестикулируя,— ты же образованный человек! Право! Надо вести себя пристойно! Если каждый будет срываться и входить в задор от одной рюмки — невозможны ни приятная компания, ни веселье, ни братство!

Потом он вернулся к дяде Озорио и, положив ему на плечо руку, стал в волнении объяснять:

— Я за него ручаюсь, Озорио! Он настоящий кавалейро! Просто у него неприятности, и он не привык много пить. Вот и все! Но он славный малый... Не сердись, дядя Озорио. Я за него ручаюсь...

Он пошел за Жоаном Эдуардо и уговорил его пожать руку дяде Озорио. Трактирщик торжественно заверил, что не хотел оскорбить кавалейро. Последовала серия пламенных шейк-хендов [1]. Чтобы закрепить перемирие, наборщик заказал еще три стопочки белого. Жоан Эдуардо, не желая ударить лицом в грязь, предложил выпить всем вместе по рюмке коньяку. Уставив в ряд рюмки и бокалы вдоль стойки, они обменивались любезными словами, величая друг друга «кавалейро», а пьяный посетитель, забытый в углу, почти лежал на столе, подперев кулаками голову и блаженно уткнувшись носом в пустой графин.

— Вот это дело! — восклицал наборщик, в котором коньяк всколыхнул бурную волну любви к людям.— Гармония! Гармония — моя слабость! Гармония между славными ребятами и во всем человечестве... Я бы поставил огромный стол и рассадил бы вокруг все человечество, и устроил бы банкет, и зажег бы огонь, и все бы шутили, и разрешили бы все социальные споры! Недалек день, когда все это сбудется, дядя Озорио!.. В Лиссабоне уже готовятся. И дядя Озорио поставит нам вино для этого банкета!.. Выгодное дельце, а? Попробуй отрицать, что я тебе друг!

— Спасибо, сеньор Густаво, спасибо...

— И мы здесь тоже все друзья, все мы джентльмены! А вот он,— наборщик обнял Жоана Эдуардо,— отныне мой брат: теперь уже мы не расстанемся по гроб. И брось тосковать, дружище! Напишем брошюру... А Годиньо и Нунеса мы...

— Нунеса я раздавлю! — мрачно пообещал клерк; после стопки белого он стал заметно хмуриться.

В трактир вошли два солдата, и Густаво решил, что пора идти в типографию. Если бы не это, они не расставались бы весь день, всю жизнь! Но работа — это наш долг, труд — высочайшая из добродетелей!

Наконец они вышли после новых шейк-хендов с дядей Озорио. В дверях Густаво еще раз пообещал клерку братскую верность и всунул ему в руку свой кисет с табаком. Затем он исчез за углом, сбив на затылок шляпу и мурлыча «Гимн рабочего класса».

Оставшись в одиночестве, Жоан Эдуардо пошел на улицу Милосердия. У дверей Сан-Жоанейры он тщательно потушил папироску о подошву сапога и со страшной силой дернул за шнур колокольчика.

---

[1] Шейк-хенд — рукопожатие *(англ.* shake-hands).

Руса опрометью сбежала с лестницы.

— Амелиазиньа дома? Я хочу с ней говорить!

— Обеих сеньор нет дома,— ответила Руса, напуганная странными приемами сеньора Жоанзиньо.

— Врешь, дрянная баба!

Потрясенная девушка с треском захлопнула дверь.

Жоан Эдуардо перешел на другую сторону улицы и прислонился к стене, скрестив руки. Он оглядел дом. Окна были закрыты, кисейные занавески задернуты; два носовых платка каноника Диаса сохли на веранде первого этажа.

Он снова подошел к двери и тихонько постучал дверным молотком. Потом опять стал бешено рвать колокольчик. Ничего! Тогда, вне себя от негодования, он отвернулся и направил свои стопы к Соборной площади.

Выйдя на площадь, он остановился против собора, обводя все вокруг хмурым оком. Площадь была пуста; в подъезде аптеки Карлоса на ступеньке сидел мальчишка и держал за поводок осла, нагруженного сеном; по мостовой бродили куры.

На дверях собора висел замок. Все было тихо; только из ближнего дома, где шел ремонт, доносился стук молотка.

Жоан Эдуардо свернул уже в тополевую аллею, как вдруг на паперти появились падре Силверио и падре Амаро, вышедшие из боковой ризничной дверцы. Они шли медленно и о чем-то разговаривали.

Куранты на башне пробили четверть, и падре Силверио остановился сверить свои часы. Затем оба священнослужителя с улыбкой взглянули на фасад Муниципальной палаты: окна были распахнуты, и в темном проеме одного из них можно было различить фигуру председателя, смотревшего в бинокль на дом портного Телеса. Оба падре пошли дальше и спустились по ступеням на площадь, все еще смеясь над этим романом, о котором судачил весь город.

Только теперь падре Амаро заметил Жоана Эдуардо, стоявшего столбом посреди площади. Священник сразу остановился: видимо, он подумал, не лучше ли вернуться в собор, чтобы избежать встречи; но двери церкви были заперты, и он, опустив глаза, тихо пошел вперед рядом с добряком Силверио, который не спеша вытаскивал из кармана табакерку. Вдруг Жоан Эдуардо сорвался с места и, не говоря ни слова, изо всех сил ударил падре Амаро кулаком в плечо.

Падре Амаро, ошеломленный, нерешительно поднял свой зонт.

Преступление Падре Амаро

— Караул! — завопил падре Силверио, попятившись и воздев к небу руки.— Помогите!

Из подъезда Муниципальной палаты выбежал человек и схватил клерка за шиворот.

— Вы арестованы! — закричал он.— Вы арестованы!

— На помощь! На помощь! — надрывался Силверио.

В окрестных домах стали распахиваться окна; перепуганная аптекарша Ампаро выбежала на веранду в нижней юбке; Карлос, в домашних туфлях, выскочил из лаборатории; а председатель Муниципальной палаты, перевесившись через перила балкона, отчаянно взмахивал рукой, все еще сжимавшей бинокль.

Наконец писарь Домингос[1] торжественно выплыл на улицу, не успев снять люстриновые нарукавники, и с помощью полицейского сержанта препроводил в Муниципальную палату клерка, который не сопротивлялся и был очень бледен.

Карлос же поспешил увести падре Амаро к себе в аптеку и в страшной суматохе велел приготовить эфиру и апельсинового уксуса, а жене крикнул, чтобы поскорее устроила для раненого постель... Нужно немедленно осмотреть плечо его преподобия. Нет ли ссадин?

— Благодарю вас, не обращайте внимания,— говорил Амаро, белый как воск.— Это пустяки, он только слегка задел. Глоток воды, и ничего больше...

Но Ампаро считала, что падре Амаро должен выпить стаканчик портвейна, и побежала за вином наверх, натыкаясь на ребят, цеплявшихся за ее юбку, громко охая и на бегу объясняя служанке, что на сеньора соборного настоятеля совершено покушение!

Возле аптеки столпился народ, заглядывая в окна; один из плотников, ремонтировавших соседний дом, утверждал, что сеньора настоятеля пырнули ножом; какая-то старушка изо всех сил работала локтями, чтобы протолкаться вперед и увидеть кровь. Наконец, по настоянию Амаро, который не желал огласки, Карлос величественно вышел на порог и заявил, что не позволит бунтовать около своей двери. Сеньор настоятель жив, это всего лишь ушиб, небольшой удар... Он, Карлос, отвечает за жизнь его преподобия.

---

[1] Эса де Кейрош во второй половине романа, очевидно по ошибке, называет писаря Муниципальной палаты Боржеса именем Домингос. *(Прим. перев.)*

Осел, стоявший у крыльца, вдруг заревел. Шокированный фармацевт повернулся к мальчишке, который держал осла за поводок:

— Как не стыдно? В такую минуту, в тяжелый для города миг, ты позволяешь животному реветь! Вон отсюда, наглый мальчишка, вон!

Затем он предложил обоим священникам подняться наверх, в гостиную, чтобы укрыться от «любопытства черни». Добрая Ампаро появилась с двумя стаканами портвейна — одним для сеньора соборного настоятеля, другим для сеньора падре Силверио, который рухнул на канапе, все еще дрожа от испуга, в полном изнеможении от пережитого ужаса.

— Мне пятьдесят пять лет,— заговорил он наконец, выпив весь портвейн до последней капли,— но я первый раз в жизни участвовал в драке!

Падре Амаро уже немного успокоился; стараясь выказать бесстрашие, он начал посмеиваться над падре Силверио:

— Не воспринимайте это слишком трагически, коллега. Первый раз? Ну, полно... Всем известно, как вы бились на кулачки с Натарио!

— Ах да! — воскликнул падре Силверио.— Но это совсем другое дело: между коллегами!

Ампаро, вся трепеща, налила второй бокал сеньору соборному настоятелю и попросила рассказать «все, все подробности»...

— Да нет никаких подробностей, милая сеньора... Мы с коллегой шли по площади... Разговаривали о том, о сем... Вдруг ко мне подходит этот клерк и совершенно неожиданно ударяет кулаком в плечо.

— Но за что? За что? — восклицала добрая сеньора, всплескивая руками.

Тогда Карлос высказал свое мнение. Давеча он говоркл Ампарозинье и доне Жозефе, сестре почтенного каноника Диаса, что все эти материализмы и атеизмы свели молодежь с ума; отсюда и злостные выходки...

— Оказывается, я был пророком! Возьмите этого молодого человека! Начинает он с забвения всех обязанностей христианина (об этом говорила дона Жозефа), затем заводит дружбу с бандитами, глумится в пивных над верой... Потом (прошу вас, сеньоры, внимательно следить за прогрессирующим разложением), не довольствуясь этими пороками, он помещает в газетах гнусные нападки на религию... И, наконец, непоправимо развращенный атеизмом, набрасывается у самого входа в собор на

примерного служителя церкви (прошу верить, что это не пустая лесть) и пытается умертвить его! Что же, спрашиваю я вас, лежит в основе этого бесчинства? Ненависть, одна лишь ненависть к вере наших отцов!

— К сожалению, так оно и есть! — вздохнул падре Сильверио.

Но Ампаро, равнодушная к философскому обоснованию преступлений, горела любопытством насчет того, что же сейчас происходит в Муниципальной палате, что говорит клерк, закован ли он в кандалы... Карлос вызвался пойти разузнать, как там и что.

— В конце концов,— сказал он,— моя прямая обязанность, как человека науки, открыть правосудию глаза на последствия, которыми чреват удар кулаком, нанесенный с размаху по столь уязвимой части организма, как ключица (хотя, благодарение богу, перелома нет, опухоли тоже); необходимо также разъяснить властям, в видах надлежащих мер пресечения, что эта попытка избиения не имеет никакой личной подоплеки. Какое зло мог причинить соборный настоятель служащему Нунеса? Подоплека этого покушения — заговор атеистов и республиканцев против служителей Христа!

— Справедливо, справедливо! — качали головами оба священника.

— Это я и должен неопровержимо доказать сеньору председателю Муниципальной палаты.

Он так спешил выразить свой гнев, что устремился на улицу прямо в ночных туфлях и рабочем халате, как был в лаборатории; Ампаро догнала его в коридоре:

— Ох, горе мое, сюртук-то, сюртук-то хоть надень, ведь в какое место идешь!

Она собственноручно помогла мужу вдеть руки в рукава, в то время как аптекарь, увлекаемый игрой воображения (своего злосчастного воображения, которое порой так разыгрывалось, что причиняло ему головные боли), уже мысленно давал сенсационные показания. Он будет говорить стоя. В зале Муниципальной палаты — обстановка трибунала: сеньор председатель — за своим столом, торжественный, как воплощение общественного порядка; вокруг него чиновники торопливо строчат по гербовой бумаге; а напротив них — обвиняемый, в традиционной позе политического преступника: руки скрещены на груди, мятежное чело бросает вызов эшафоту. Тогда он, Карлос, войдет и скажет: «Сеньор председатель, я пришел сюда по

доброй воле, чтобы послужить спасению общественного порядка!»

— Я докажу им с железной логикой, что все это — следствие заговора рационалистов! — сказал он еще раз, со стоном затягивая шнурки на своих высоких ботинках.

— И слушай хорошенько, что он будет говорить про Сан-Жоанейрину дочку...

— Я все запомню. Но дело не в Сан-Жоанейре. Ведь это политический процесс!

Он неторопливо пересек площадь, уверенный, что соседи выглядывают из дверей и шепчут: «Карлос идет давать показания...» Да, он даст показание. Но не об ударе в плечо. Много ли значит сам по себе этот удар? Важно то, что скрывается за ним: заговор против порядка, против церкви, против Хартии и собственности! Вот об этом он и скажет во весь голос сеньору председателю. Этот удар кулаком, уважаемый сеньор председатель,— лишь первый симптом начинающейся социальной революции!

Толкнув обитую сукном дверь в Муниципальную палату Лейрии, он приостановился на пороге, держа руку на дверной ручке и заполняя весь проем двери своей внушительной особой. Увы, там не было обстановки трибунала, о которой он мечтал. Да, преступник, бедный Жоан Эдуардо, был здесь; он сидел на краешке скамьи, уши его горели, он не смел поднять глаза. Артур Коусейро, чрезвычайно смущенный появлением постоянного гостя Сан-Жоанейры на скамье для арестантов, старался на него не смотреть и уткнулся носом во вчерашнюю газету, разложенную поверх увесистой книги записей. Старший чиновник Пирес с глубокомысленным видом очинял гусиное перо, то и дело пробуя его на ногте; брови у него всползли на лоб. Только писарь Домингос был занят делом. Его перо усердно скрипело; допрос, очевидно, шел быстро; самое время высказать свои идеи... Карлос выступил вперед и начал:

— Господа! Могу ли я поговорить с сеньором председателем?

В этот самый миг голос председателя донесся из кабинета:

— Сеньор Домингос!

Писарь вскочил, вздернув очки на лоб.

— Иду, сеньор председатель!

— Спички у вас есть?

Домингос лихорадочно зашарил по карманам, по ящикам стола.

— Есть у кого-нибудь спички?

Руки зашуршали среди бумаг... Ни у кого не было спичек!

— Сеньор Карлос, нет ли спичек у вас?

— Нет, сеньор Домингос. Весьма сожалею.

Тогда сеньор председатель вышел сам, поправляя черепаховые очки:

— Что ж, ни у кого нет спичек? Удивительно! Ни у кого никогда не бывает спичек. В таком учреждении и чтобы ни одной спички... Что вы с ними делаете? Пошлите немедленно купить полдюжины коробков!

Расстроенные чиновники переглядывались; они были подавлены вопиющей нехваткой столь необходимых для государственной службы предметов. Карлос, воспользовавшись присутствием его милости, обратился к нему с речью:

— Сеньор председатель, я пришел сюда... Я пришел добровольно, движимый, так сказать, заботой...

— Скажите, пожалуйста, сеньор Карлос,— перебил его председатель,— что, соборный настоятель и второй падре находятся еще у вас в аптеке?

— Сеньор соборный настоятель и сеньор падре Силверио остались на попечении моей супруги и отдыхают от пережитого потрясения, которое...

— Не откажите в любезности передать им, что они нам очень нужны.

— Я нахожусь в полном распоряжении закона.

— Так попросите их зайти сюда, и поскорей... Уже половина шестого, нам давно пора уходить! Канительный выдался день! Присутствие должно закрываться в три часа!

И, повернувшись на каблуках, его милость ушел в свой кабинет — тот самый кабинет, из окна которого он ежедневно, с одиннадцати до трех, покручивая белокурый ус и выпячивая грудь в голубой манишке, обольщал жену Телеса.

Карлос уже открывал зеленую дверь, когда его остановил оклик Домингоса.

— Карлос, голубчик,— в улыбке писаря изображалась трогательная мольба,— извините, а? Но... захватите дома коробок спичек!

В эту минуту на пороге возник сам падре Амаро; позади него маячил огромный корпус падре Силверио.

— Не могу ли я поговорить с сеньором председателем партикулярно? — спросил Амаро.

Все чиновники встали; Жоан Эдуардо, бледный как полотно, тоже. Падре Амаро прошел через все присутствие своим мягким священническим шагом; за ним шагал добряк Силве-

рио. Минуя клерка, он описал опасливую кривую. Сеньор председатель вышел навстречу их преподобиям; дверь кабинета деликантно затворилась.

— Наклевывается соглашение,— сказал проницательный Домингос, подмигнув сослуживцам.

Карлос сел; настроение у него испортилось вконец. Он пришел сюда, чтобы открыть глаза властям на угрозу, нависшую над Лейрией, над округом и всей нацией; чтобы сказать свое слово в этом процессе, процессе сугубо политическом,— и вот он молча сидит, всеми забытый, на одной скамье с подсудимым. Даже стула не предложили! Неужели действительно священники и председатель уладят делом миром, не спросив его совета! Ведь он единственный очевидец тумака, нанесенного соборному настоятелю,— и не кулаком клерка, но злодейской рукой рационализма! Такое пренебрежение к его просвещенному содействию казалось аптекарю непростительной оплошностью со стороны государственных властей. Сеньор председатель решительно не на высоте требований момента, когда Лейрии угрожает революция! Не зря под Аркадой про него говорят: пенкосниматель!

Дверь кабинета приоткрылась; блеснули очки председателя.

— Сеньор Домингос, зайдите, пожалуйста!

Писарь поспешил в кабинет со значительным видом. Дверь снова конфиденциально закрылась. Эта затворенная дверь приводила Карлоса в негодование. Выходит, его оставили за бортом, с Пиресом, с Артуром, в обществе скудоумных! Ведь он обещал Ампарозинье громко высказать свое мнение сеньору председателю! А кого здесь слушают, кого зовут в кабинет? Домингоса, тупую скотину, который пишет «корову» через «ять»! Впрочем, чего и ждать от правителя, который по целым дням не выпускает из рук бинокля, совращая честную мать семейства! Бедный Телес! Ведь он мой сосед, мой друг!.. Нет, в самом деле, придется открыть Телесу глаза!

Каково же было аптекарю видеть, что Артур Коусейро, чиновник управления, воспользовавшись отсутствием начальника, встал из-за стола, фамильярно подсел к обвиняемому и с огорчением сказал:

— Ах, Жоан, какое ребячество! Какое ребячество!.. Но ничего, не робей, все уладится...

Жоан уныло повел плечами. Уже полчаса он сидел на краю скамьи, не шевелясь, не поднимая глаз, с такой пустотой в голове, словно ему выбили мозги из черепа. Винные пары,

которые совсем недавно, у дяди Озорио и на Соборной площади, возбуждали в нем вспышки гнева и наливали кулаки буйной силой, разом куда-то улетучились. Он был сейчас так же безобиден, как в своей конторе, когда старательно очинял гусиные перья. Огромная усталость придавила его плечи, и он в оцепенении покорно ждал. В голове его тупо ворочалась мысль, что отныне он будет жить в тюрьме святого Франциска, спать на рогоже, есть, что пришлют из Попечительства о неимущих... Не гулять ему больше по Тополевой аллее, не видать Амелии... Домик, где он живет, сдадут другому жильцу. А что будет с канарейкой? Бедная пичуга, она умрет от голода! Если только ее не возьмет Эужения, соседка...

Домингос вдруг вышел из кабинета и, быстро закрыв за собою дверь, сказал с торжеством:

— Что я говорил? Соглашение по всем пунктам! Дело улажено!

И он прибавил, обращаясь к Жоану Эдуардо:

— Повезло тебе, дружище! Прими мои поздравления!

Карлос подумал про себя, что это величайший позор для государственной власти! Такого не бывало со времен Кабралов! Он уже собирался в гневе удалиться, как стоик на известной картине удаляется с оргии патрициев, когда сеньор председатель открыл дверь своего кабинета. Все встали.

Его милость сделал два шага, устремил взгляд, блеснув очками, на преступника и торжественно произнес:

— Сеньор падре Амаро, полный милосердия и доброты, пришел сюда, чтобы выразить... Словом, он настоятельно просит не давать хода этому делу... Его преподобие, по вполне понятным мотивам, не хочет, чтобы имя его фигурировало на суде. Кроме того, как прекрасно выразился его преподобие, христианская вера, которой... в которой... гордостью и образцом которой он, могу смело сказать, является, требует прощать обиды... Его преподобие признает, что нападение, хотя и весьма грубое, оказалось безвредным... К тому же этот господин, кажется, пьян...

Все взоры сосредоточились на Жоане Эдуардо. Он покраснел до корней волос. Унижение казалось ему горше тюрьмы.

— Короче,— продолжал председатель,— по соображениям высшего порядка я под свою ответственность освобождаю арестованного. А вы контролируйте впредь свое поведение. Помните: власть следит за каждым вашим шагом... Вот и все. Ступайте!

Его милость исчез за дверью кабинета. Жоан Эдуардо сидел не шевелясь и словно не понимая.

— Я могу идти? — встрепенулся он наконец.

— Куда угодно. Хоть в Китай! Liberus, libera, liberum [1],— воскликнул Домингос. Он всей душой ненавидел «долгополых» и радовался такому финалу.

Жоан Эдуардо огляделся вокруг, обвел взглядом чиновников, насупленного Карлоса; слезы выступили у него на глазах; он схватил свою шляпу и бросился вон.

— Сбыли с рук изрядную канитель! — резюмировал Домингос, радостно посмеиваясь.

В один миг бумаги были убраны со столов куда попало. И так задержались! Пирес спрятал в ящик свои люстриновые нарукавники и надувную подушечку, Артур свернул в трубку ноты, а у окна Муниципальной палаты, все еще на что-то надеясь, стоял надутый Карлос и мрачно смотрел на площадь.

Наконец из кабинета вышли и оба падре. Председатель провожал их до самых дверей: служебные обязанности выполнены, он снова стал светским человеком. Почему падре Силверио не был на вечере у баронессы де Виа Клара? Такой затеяли пикетище! Пейшото выиграл два раза подряд! Если бы вы слышали, как он кощунствовал! Покорный слуга ваших преподобий. Я очень рад, что все уладилось. Осторожней, тут ступенька... Всегда готов служить.

Проходя к себе в кабинет, он все же снизошел до Домингоса и сказал, остановившись возле его стола:

— Все кончилось хорошо. Я действовал не совсем по правилам, но благоразумно! Довольно уже печатных выпадов против духовенства... Процесс наделал бы шума. Этот полоумный способен публично заявить, что причиной всему ревность, что священник приставал к девушке и тому подобное. Лучше замять дело... К тому же, по уверениям этого падре, все его влияние на улице Милосердия, или как бишь ее, употреблялось лишь на то, чтобы отговорить барышню от брака с этим типом: он же пьяница и буян!

Карлоса снедала зависть. Объяснения давались Домингосу! А ему — ни полсловечка! И он стоит у окна как пешка!

Но нет! Его милость приотворил дверь кабинета, таинственно манит его пальцем! Наконец-то! Карлос, сияя, поспешил на зов, мгновенно примирившись с местной властью.

— Я как раз собирался зайти в аптеку,— сказал сеньор председатель вполголоса и без предисловий, суя аптекарю в кулак сложенную бумажку,— просить, чтобы вы мне прислали на

---

[1] Свободный, свободная, свободное *(искаж. лат.)*.

дом вот это лекарство, сегодня же. Это рецепт от доктора Гоувейи. И раз вы все равно оказались тут, дружище...

— Я пришел сюда, чтобы предоставить себя в распоряжение карающего закона...

— С этим покончено! — живо возразил сеньор председатель.— Так прикажите, пожалуйста, прислать мне лекарство не позднее шести. Я должен принять его сегодня же вечером. Всего хорошего. Только не забудьте!

— Будет исполнено,— сухо отвечал Карлос.

Он пошел в аптеку, пылая от гнева. Нет, придется послать громоподобное письмо в «Народную газету»!.. Ампаро, поджидавшая на веранде, кинулась навстречу мужу с вопросами:

— Ну? Что там было? Молодого человека отпустили? А что он говорил? Как было дело?

Карлос буравил ее огнедышащим взглядом.

— Не моя вина, если восторжествовал материализм! Они еще поплатятся за это!

— Что ты им сказал?

Глаза Ампаро и младшего провизора жадно устремились на его рот, чтобы не упустить ни одного звука из дословного текста показаний, и Карлос, во спасение достоинства супруга и шефа, коротко ответил:

— Я с твердостью высказал свое мнение!

— А что сказал председатель?

И тогда Карлос вспомнил про рецепт и развернул смятую в кулаке бумажку. От негодования у него сперло дух: так вот итог его исторического свидания с властями!

— Что это? — с жадным любопытством воскликнула Ампаро.

— Что это?! — переспросил аптекарь.

Он был в таком негодовании, что презрел профессиональную тайну, не пощадил репутацию властей и рявкнул:

— Микстура Жильберта для сеньора председателя! Вот вам рецепт, сеньор Аугусто.

Ампаро немного разбиралась в фармацевтике и была знакома с главнейшими ртутными препаратами. Она сделалась такой же пунцовой, как банты, украшавшие ее прическу из накладных волос.

В тот вечер весь город гудел как улей, взволнованный вестью о покушении на жизнь сеньора соборного настоятеля. Многие порицали председателя Муниципальной палаты за то,

что он приостановил судебное дело. Особенно усердствовали господа из оппозиции, видевшие в нерешительности этого должностного лица еще одно доказательство коррупции и легкомыслия нынешнего правительства, толкающего страну в пропасть!

Зато соборным настоятелем все восхищались, как святым. Какое милосердие! Какая кротость! Под вечер сам сеньор декан вызвал к себе падре Амаро и принял его отечески, со словами: «Приветствую моего пасхального агнца!» Выслушав повесть о нападении клерка и о великодушном заступничестве падре Амаро, он воскликнул:

— Сын мой! Вы соединили в себе юность Телемака и благоразумие Ментора! Да, вы достойны быть жрецом Минервы в се городе Саленто!

Когда поздно вечером Амаро явился к Сан-Жоанейре, его встретили как святого мученика, ускользнувшего от беснующейся черни Диоклетиана или от хищников на арене цирка. Амелия, не скрывая волнения, долго жала ему обе руки, вся дрожа, глядя на него блестящими от слез глазами. Как во всех торжественных случаях, его усадили в зеленое кресло каноника. Дона Мария де Ассунсан настояла на том, чтобы ему подложили подушечку под больное плечо. Потом, по требованию всего общества, он подробно описал роковое происшествие, с того момента, как, беседуя с коллегой Силверио (коллега держался просто молодцом), заметил посреди площади клерка, занесшего над головой дубину, с видом настоящего громилы...

Эти детали привели дам в ужас. Клерк оказался злодеем, ничем не лучше Лонгина или Пилата. Ах, какой негодяй! Он заслужил, чтобы сеньор падре Амаро растоптал его ногами! Ах, простить такое злодейство! Для этого надо быть святым!

— Я поступил, как подсказывало мне сердце,— отвечал падре Амаро, смиренно потупив глаза.— Я вспомнил слова господа нашего Иисуса Христа: если тебя ударили по правой щеке, подставь левую...

При этих словах каноник, поперхнувшись от гнева, сказал:

— Ну, знаешь... Лично я, если бы меня ударили по правой щеке... Словом... Такова заповедь господа нашего Иисуса Христа, и я бы, конечно, подставил левую щеку. Повеление неба! Но, исполнив, как служитель церкви, свой долг, сударыни мои, я бы изувечил мерзавца!

— Вам было очень больно, сеньор падре? — раздался из дальнего уголка едва слышный, никому не известный голос.

Невероятное происшествие! Дона Ана Гансозо заговорила после десяти лет молчания! В глубинах сонного оцепенения, которого ни праздники, ни траур не могли рассеять, вдруг затрепетало человеческое чувство!

Все дамы благодарно заулыбались ей, а польщенный Амаро ласково ответил:

— Пустяки, дона Ана, пустяки, милая сеньора... Он, правда, ударил сильно. Но у меня крепкое сложение.

— Ах, это чудовище! — вскричала дона Жозефа Диас, ужасаясь при одной мысли, что кулак переписчика посмел нанести удар по этому святому плечу.— Чудовище! По-моему, его надо заковать в кандалы и послать мостить дороги! Я-то давно его раскусила! Меня не обманешь... Я всегда говорила, что у него лицо убийцы!

— Он был пьян... Когда мужчина выпьет...— робко пробовала заступиться Сан-Жоанейра.

Ее прервал единодушный крик негодования. Ах, не оправдывай его! Это кощунство! Он зверь, дикий зверь!

Шумное ликование охватило гостей, когда явился Артур Коусейро и прямо с порога объявил самую свежую новость! Нунес вызвал к себе Жоана Эдуардо и сказал ему дословно следующее: «Мне в конторе разбойники и негодяи не нужны. Вон!»

Сан-Жоанейра ужаснулась:

— Бедный Жоан, что он будет есть?..

— Пусть пьет! Пусть пьет! — закричала дона Мария де Ассунсан.

Все засмеялись. Только Амелия, побледнев, низко склонилась над шитьем; ее потрясла мысль, что Жоана Эдуардо ждет голод...

— Право, не вижу тут ничего смешного! — сказала Сан-Жоанейра.— Я ни одной ночи не смогу уснуть... Подумать только, у бедняги нет куска хлеба и негде добыть... Ужасно! Нет, это не годится! Пусть меня извинит сеньор падре Амаро...

Но Амаро тоже вовсе не хотел, чтобы несчастный молодой человек терпел нужду! Амаро не злопамятен! И если клерк в тяжелую минуту постучится к нему в дверь, то две или три серебряных монеты (он не богат и больше уделить не может), ну, скажем, три или четыре монеты он охотно подаст... От всего сердца!

Святость падре Амаро привела старух в экстаз. Это ангел! Они умиленно взирали на сеньора соборного настоятеля, молитвенно сложив руки. От него, как от святого Винцента де Поля, веяло милосердием, и в комнате становилось благостно, как в

часовне; дона Мария де Ассунсан даже вздохнула от избытка благодати.

Но тут появился сияющий Натарио. Размашисто пожимая руки, он говорил с торжеством:

— Так вы уже знаете? Этот негодяй и убийца изгнан отовсюду, как шелудивый пес! Нунес вышвырнул его из конторы. А доктор Годиньо только что сказал мне, что в Гражданское управление пусть даже не суется. Он уничтожен, похоронен! Все добропорядочные люди могут вздохнуть с облегчением!

— И этим мы обязаны сеньору падре Натарио! — воскликнула дона Жозефа Диас.

Заслуги падре Натарио были признаны всеми. Только благодаря ему, его энергии, его хитроумию было обнаружено вероломство Жоана Эдуардо и спасена Амелиазинья, Лейрия и все общество.

— Что бы ни предпринял этот мошенник, я буду стоять у него на пути! Пока он в Лейрии, я не дам ему шагу ступить! Что я вам говорил, сеньоры? «Я сотру его с лица земли!» И вот он стерт с лица земли!

Его желчная физиономия сияла. Он поудобней уселся в кресло и вытянулся, наслаждаясь заслуженным отдыхом после нелегкой победы. Потом обернулся к Амелии:

— Что было, то прошло. Вы избавились от дикого зверя, это я вам точно могу сказать.

И целый хор голосов вновь разразился похвалами ей за то, что она порвала с диким зверем.

— Это самый добродетельный поступок во всей твоей жизни!

— Бог тебя просветил!

— Тебя бог любит, дочка!

— Словом, ты святая, Амелия,— заключил каноник, явно злясь на столь непомерные восхваления.— А по-моему, мы слишком много говорим об этом прощелыге... Не прикажете ли, сеньора, подать нам чайку?

Амелия молчала, торопливо работая иглой; время от времени она обращала на падре Амаро беспокойный взгляд. Она думала о Жоане Эдуардо, об угрозах Натарио; перед ее взором возникало лицо клерка, осунувшееся от голода; он изгнан отовсюду, спит под чужой дверью... И пока дамы, болтая, рассаживались вокруг чайного стола, она тихо сказала Амаро:

— Я не могу спокойно думать о том, что его обрекли на нищету. Конечно, он дурной человек, но... У меня здесь, внутри, словно шип воткнулся. Я не могу радоваться.

Тогда падре Амаро проявил свою доброту, побеждающую всякое оскорбление, как и следует возвышенной душе христианина:

— Милая дочь моя, вы напрасно тревожитесь... Он не умрет от голода. Никто не умирает от голода в Португалии. Он молод, здоров, неглуп, он заработает себе на жизнь! Не думайте об этом... Все это громкие слова падре Натарио. Конечно, молодому человеку придется покинуть Лейрию, и мы больше о нем не услышим. Но во всяком другом месте он может свободно устраивать свою жизнь. А я ему прощаю, и бог зачтет это.

Эти великодушные слова, сказанные вполголоса и сопровождаемые полным нежности взором, совершенно ее успокоили. Милосердие сеньора настоятеля казалось ей более возвышенным, чем все, что ей доводилось читать и слышать о благочестивых монахах и святых.

После чая, за лото, она села рядом с ним. Тихая, блаженная радость наполняла ее душу. Все, что так мучило и тревожило ее,— Жоан Эдуардо, свадьба, супружеский долг,— отныне исчезло из ее жизни: клерк уедет, получит где-нибудь место, а сеньор падре Амаро останется здесь, с ней, полный любви! Время от времени колени их, дрожа, соприкасались под столом; когда все вдруг закричали на Артура Коусейро, который в третий раз выиграл и победоносно размахивал своей картой, под столом встретились их руки и страстно сплелись; из ее и его груди вырвался одновременно легкий вздох, затерявшийся в квохтанье старух; весь вечер они расставляли фишки по своим картам, не говоря ни слова, с раскрасневшимися лицами, охваченные одним и тем же желанием.

Когда дамы одевались, Амелия подошла к фортепьяно, и Амаро незаметно шепнул ей на ухо:

— О милая, я так тебя люблю! Неужели мы никогда не сможем побыть наедине...

Она хотела ответить, как вдруг позади них раздался резкий голос Натарио, надевавшего плащ возле буфета:

— Что это? Сеньора держит у себя подобную книгу?

Все обернулись и стали с недоумением смотреть на книгу в переплете, на которую Натарио показывал кончиком зонта, как на предмет гнусный. Дона Мария де Ассунсан поспешила к буфету с загоревшимися глазами, надеясь увидеть какой-нибудь из этих ужасных новых романов, в которых описываются безнравственные поступки. Амелия тоже подошла и сказала с удивлением:

— Но это же «Панорама»! «Всемирная Панорама»..,

— Я и сам вижу, что «Панорама»,— сухо ответил Натарио,— но я вижу и нечто другое.

Он открыл книгу и прочитал надпись на первом чистом листе: «Эта книга принадлежит Жоану Эдуардо Барбозе и служит ему развлечением в часы досуга».

— Вы не понимаете? А между тем это очень просто... Неужели сеньоры не знают, что человек, поднявший руку на священнослужителя, ipso facto[1] отлучен от церкви, так же как и все принадлежащие ему предметы?

Дамы отшатнулись от буфета, на котором лежала злополучная «Панорама», при ужасной мысли об отлучении: ведь отлучение от церкви — непоправимая катастрофа, ливень молний, обрушенных карающим богом! Они притихли, пугливо сбившись в кучку вокруг Натарио, а тот, в накинутом на плечи плаще, стоял скрестив руки и наслаждался произведенным эффектом.

Сан-Жоанейра, изумленная до крайности, отважилась спросить:

— Вы говорите серьезно, падре Натарио?

Натарио возмутился:

— Серьезно ли я говорю?! Вот так вопрос! Неужто я стал бы шутить с отлучением от церкви, милейшая сеньора? Спросите у сеньора каноника, шучу я или не шучу!

Все взоры обратились к канонику, этому неисчерпаемому кладезю церковной премудрости.

Тот, сразу впав в менторский тон — наследие давней семинарской привычки,— заявил, что коллега Натарио совершенно прав. Кто наносит побои служителю церкви, зная, что тот облечен саном, ipso facto предается анафеме. Так гласят каноны. Это так называемое латентное, или молчаливое, отлучение; оно не требует ни специального постановления папы или епископа, ни соответствующего церемониала; оно действительно само по себе и достаточно, чтобы все верующие считали обидчика отлученным. И обращаться с ним следует как с таковым: сторониться и его, и всех предметов, ему принадлежащих... Нанесение побоев священнику, продолжал каноник внушительно, считается столь тяжким преступлением, что булла папы Мартина V, ограничившая случаи молчаливого отлучения, сохраняет его для тех, кто оскорбляет действием служителя церкви... И каноник привел другие буллы, а также Уложения Иннокен-

---

[1] Тем самым, в силу содеянного *(лат.)*.

тия IX и Александра VII, апостолические энциклики и другие грозные документы; он гремел латынью и совсем запугал старух.

— Так гласит наше вероучение,— заключил он,— но лично я считаю, что не стоит устраивать из-за этого переполох...

Дона Жозефа сейчас же накинулась на него:

— Но мы не можем рисковать своей душой из-за того, что тут разбрасывают по столам отлученные предметы!

— Уничтожить все это! — засуетилась дона Мария де Ассунсан.— Сжечь! Немедленно сжечь!

Дона Жоакина Гансозо оттащила Амелию к окну и стала допрашивать, нет ли в доме других вещей, принадлежавших ее бывшему жениху. Оглушенная Амелия призналась, что где-то у нее в комоде лежит его носовой платок, перчатка и плетеный из соломки портсигар.

— Все сжечь! — закричала в исступлении сеньора Гансозо.

Столовая гудела от крика старух, обуреваемых благочестивой яростью. Дона Жозефа Диас и дона Мария де Ассунсан твердили упоительное слово «огонь». Амелия и старшая Гансозо переворошили все ящики в комоде, перерыли белье, ленты, чулки, разыскивая преданные анафеме предметы. Сан-Жоанейра, напуганная и удивленная, жалась к канонику, взирая на эти приготовления к новому аутодафе в ее мирной столовой; каноник, проворчав что-то себе под нос насчет «инквизиции в частных домах», уютно расселся в кресле.

— Пусть почувствуют, что неуважение к сутане не проходит безнаказанно,— тихо объяснял Натарио на ухо Амаро.

Соборный настоятель одобрил его кивком; он был чрезвычайно доволен этим взрывом праведного бешенства, которое свидетельствовало о любви к нему набожных дам.

Но доне Жозефе не терпелось. Она схватила «Панораму», обернув руку концом шали, чтобы не осквернить, и закричала в комнату, где продолжались лихорадочные поиски:

— Ну, нашли?

— Да! Все здесь!

Сеньора Гансозо выбежала в столовую, победоносно держа на весу портсигар, перчатку и носовой платок.

Дамы с оглушительным гомоном повалили на кухню. Сан-Жоанейра, как хозяйка дома, последовала за ними, чтобы посмотреть, что там произойдет.

Оставшись одни, трое священников переглянулись — и захохотали.

— В женщинах сидит какой-то бес,— философски заметил каноник.

— Нет, ваше преподобие, нет! — сделав озабоченное лицо, возразил Натарио.— Я засмеялся только потому, что со стороны все это действительно выглядит несколько забавно. Но чувства наших милых дам заслуживают всяческого одобрения. Они доказывают преданность духовным пастырям и отвращение к нечестивцу... Это прекрасное чувство.

— Да, чувство это прекрасно,— внушительно подтвердил Амаро.

Каноник встал.

— Если бы клерк попал сейчас к ним в лапы, они, пожалуй, и его бы сожгли... Я не шучу. Моя сестренка как раз для этого и создана. Торквемада в юбке!

— И она по-своему права! — рассудил Натарио.

— Нет, не могу! Я должен посмотреть на экзекуцию! — не выдержал каноник.— Это надо видеть своими глазами!

Трое священнослужителей отправились на кухню и остановились в дверях. Дамы толпились у очага, освещенные ярким пламенем, отблески которого причудливо играли на шалях и мантильях. Руса стояла перед плитой на коленях и дула изо всех сил на огонь. Переплет «Панорамы» уже оторвали, и почернелые, ссохшиеся клочья страниц, сверкая искрами, взмывали вверх, увлекаемые током воздуха, и кружились среди светлых языков пламени. Только лайковая перчатка не хотела гореть. Тщетно ее подпихивали щипцами в самую середину пламени. Она обуглилась, скорежилась в морщинистый комок, но не воспламенялась. Ее сопротивление выводило старух из себя.

— Все потому, что она с правой руки, совершившей злодеяние! — бесилась дона Мария де Ассунсан.

— Дуй на нее, девушка, дуй сильней! — советовал из-за двери каноник, веселясь от души.

— Ах, братец, сделай милость, не зубоскаль над серьезными вещами! — крикнула дона Жозефа.

— Э, сестрица! Или ты думаешь, священник хуже тебя знает, как сжечь нечестивца? Какие претензии, однако! Дуйте посильней! Дуйте посильней!

И тогда, доверившись опыту сеньора каноника, Гансозо и дона Мария присели на корточки и тоже начали дуть. Другие с безмолвной улыбкой удовлетворения следили блестящим, жестоким взглядом за перчаткой, наслаждаясь истреблением нечисти, неугодной господу. Огонь трещал, взвивался с веселой яро-

стью, в разгаре своей древней очистительной миссии. Наконец среди раскаленных головешек не осталось ни единого следа «Панорамы», платка и перчатки нечестивца.

В этот самый час нечестивец, Жоан Эдуардо, сидел у себя в комнате на кровати и рыдал, вспоминая Амелию, милые вечера на улице Милосердия, и думал о чужом городе, куда ему надо уехать, и о том, что придется заложить в ломбард одежду, и спрашивал себя, за что с ним поступили так жестоко,— с ним, работящим, незлобивым человеком, беззаветно любящим свою Амелию?

XV

В следующее воскресенье в соборе служили торжественную мессу с певчими, и Сан-Жоанейра с Амелией отправились туда через Базарную площадь, чтобы захватить по дороге дону Марию де Ассунсан: в рыночные дни, когда на улицах толпилось много «простонародья», дона Мария не выходила из дому одна, боясь, что у нее украдут какую-нибудь драгоценность или оскорбят ее целомудрие.

Действительно, в то утро крестьяне из окрестных приходов заполнили Базарную площадь: мужчины стояли кучками, запрудив всю улицу, торжественные, чисто выбритые, в накинутых на плечи куртках; женщины ходили по двое, на их тугих корсажах ослепительно сверкали золотые цепочки и сердечки; в магазинах лавочники суетились за прилавками, где пестрели косынки, платки, ленты; в переполненных трактирах стоял громкий говор; на базаре, среди мешков с мукой, глиняной посуды, корзин кукурузного хлеба, шел нескончаемый торг; народ теснился около лотков, где сверкали зеркальца, покачивались связки четок. Старухи торговали домашним печеньем, разложенным на лотках; на каждом углу нищие, стекавшиеся в город по случаю праздника, жалобно тянули «Отче наш». Дамы, все в шелку, с постной миной спешили к службе. Под Аркадой толпились господа в новых парадных сюртуках, наслаждаясь воскресным днем и дорогой сигарой.

Амелия привлекала к себе все взоры; сын сборщика налогов, известный сорвиголова, даже воскликнул довольно громко в группе мужчин: «Вот это красотка!» Обе дамы, ускорив шаг, уже сворачивали на Почтовую улицу, когда навстречу им откуда-то вывернулся Либаниньо, в черных перчатках и с гвоздикой в петлице. Он не видел их с самого «покушения на Соборной площади» и сразу заверещал:

— Ох, милашечки, беда, да и только! Ах он злодей!

Либаниньо стал рассказывать, что захлопотался в эти дни и только нынче утром смог вырваться к сеньору соборному: «наш святой падре» принял его сердечно, он как раз переодевался к мессе; Либаниньо полюбопытствовал взглянуть на поврежденное плечо, но, благодарение богу, на нем нет даже самой маленькой царапинки... Жаль, они не видели, тело нежное, белое... Ну, прямо тебе архангел!

— А только знаете, милашки? Ведь у него большие неприятности!

Мать и дочь встревожились. Что такое, Либаниньо?

Оказывается, кухарка соборного настоятеля, Висенсия, уже несколько дней жаловалась на недомогание, а сегодня утром ее отвезли в больницу. Горячка!

— И наш святой остался, бедняжка, без прислуги, без всякого ухода! Можете себе представить? Ну, сегодня еще как-нибудь, сегодня он обедает у каноника (каноник тоже зашел к соборному, дай бог ему здоровья!). А завтра? А послезавтра? Правда, у него сейчас сестра Висенсии, Дионисия... Только, милашечки мои, ведь эта Дионисия... Я ему так и сказал: может, она самая настоящая святая, но репутация... хуже нет во всей Лейрии! Совсем пропащая бабенка, в церковь ни ногой. Я уверен, что сеньор декан был бы очень, очень недоволен!

Обе сеньоры согласились, что Дионисия — женщина, которая не ходит в церковь и когда-то выступала в живых картинах,— совсем неподходящая прислуга для сеньора падре Амаро.

— А знаешь, Сан-Жоанейра, что ему надо сделать? Я так сразу подумал и сказал ему: надо опять перебраться к тебе. У тебя у одной ему будет хорошо; вокруг — любящие сердца, которые позаботятся и о его белье, и об одежде; ты уже знаешь его вкусы, в доме порядок, благочестие... Он не ответил ни да, ни нет, но по лицу видно, что нашему падре смерть как хочется обратно к тебе под крылышко... Ты бы ему предложила, Сан-Жоанейринья!

Щеки Амелии стали такими же пунцовыми, как ее косынка индийского шелка. Сан-Жоанейра ответила уклончиво:

— Нет, мне первой об этом заговаривать неудобно... В таких делах я очень щепетильна... Ты сам должен понять...

— Да ведь у тебя в доме, под твоей кровлей, будет жить святой человек! — с жаром сказал Либаниньо.— Это чего-нибудь да стоит! Все были бы довольны. Я уверен, что сам господь бог обрадуется. А пока до свиданьица, милашечки, бегу! Не запаздывайте, служба вот-вот начнется.

Обе сеньоры молча пошли дальше. Ни одна из них не хотела начать разговор об этой новой возможности, такой неожиданной, так много значившей. Сеньор падре Амаро может вернуться на улицу Милосердия! Лишь остановившись у подъезда доны Марии, Сан-Жоанейра сказала, дергая за шнур колокольчика:

— Ах, это действительно невозможно: Дионисия в доме у сеньора соборного настоятеля!

— Не говори! Страшно подумать!

Эти же слова сорвались с уст доны Марии, когда мать и дочь рассказали ей о болезни Висенсии и о водворении на ее месте Дионисии. Страшно подумать!

— Я ее не знаю,— продолжала добрейшая сеньора,— даже интересно было бы познакомиться с такой особой: говорят, она грешница с головы до пят!

Тогда Сан-Жоанейра поделилась с ней предложением Либаниньо. Дона Мария с большой горячностью заявила, что мысль эта внушена самим небом! Сеньор падре Амаро вообще не должен был уезжать с улицы Милосердия! Право, стоило ему уехать, и бог оставил их дом своей милостью... Сколько несчастий! Сначала эта заметка, потом болезнь сеньора каноника, потом смерть старушки, потом эта ужасная свадьба. Ведь еще немножко, и Амелия погибла бы! Какой ужас! Потом скандал на Соборной площади... Их всех словно сглазили! Просто грех оставлять нашего святого без ухода, на попечении этой грязнухи Висенсии. Она даже носки толком заштопать не умеет! Нигде ему не будет лучше, чем у тебя... Не выходя из дому, он получит все, что ему нужно. А для тебя это честь, благодать божия! Знаешь, душенька, если бы я не жила одна, то непременно забрала бы его к себе! Вот бы где он как сыр в масле катался! Как подошла бы ему эта гостиная!

И она обвела сияющими глазами свою гостиную, пестревшую диковинными предметами.

И действительно, гостиная доны Марии являла собою огромный склад святынь и всяческого церковного хлама: на двух комодах черного дерева с медью теснились на подставках под стеклянными колпаками пресвятые девы в одеждах из голубого шелка, кудрявые младенцы Христы с толстыми животиками и сложенными для благословения пальчиками, святые Антонии в одежде из мешковины, святые Себастьяны, со всех сторон утыканные стрелами, бородатые святые Иосифы. Были там и редкостные святые, гордость доны Марии, которых ей поставляли из Алкобасы: святой Паскоал-плясун, святой Дидакий, святой

Кризол, святой Гораслен... Тут же громоздились освященные наплечники, четки из металла и из маслинных косточек, четки из цветных бусин, пожелтевшие кружева от старинных облачений, сердца из красного стекла, подушечки с затейливой монограммой I. M., вышитой бисером, сухие букетики, пальмовые ветви, фунтики с ладаном. Стены были сплошь увешаны эстампами с изображением пресвятых дев во всех видах: стоящих на земном шаре, коленопреклоненных у подножия крестов, пронзенных мечами. И всякого рода сердца: сердца, из которых капала кровь, сердца, в которых пылало пламя, и сердца, из которых исходили лучи. В коробочках хранились молитвы на самые любимые праздники: обручение пресвятой девы Марии, воздвижение честного и животворящего креста, стигматы святого Франциска и, главное, на разрешение богоматери — самая возвышенная, которую читают во все четыре трехдневных поста. На столах были размещены зажженные лампадки, чтобы их можно было без лишней траты времени поставить у ног соответствующего святого, если у добрейшей сеньоры случится ишиас, или не в меру разыграется насморк, или ее схватят судороги. Она сама собственноручно прибирала, обметала, протирала всех этих святых небожителей, это небесное воинство, которого только-только хватало, чтобы спасти ее душу и облегчить недуги. Много забот требовало и размещение святых: она постоянно переставляла их с места на место, потому что иногда чувствовала, что святой Елевферий не хочет стоять рядом со святым Юстином и необходимо пристроить его в сторонке, в более приятной для него компании. Она отлично разбиралась в степени их влияния и, руководствуясь церковными книгами и советами своего духовника, распределяла свое преклонение соответственно, никогда не оказывая святому Иосифу второго ранга таких же почестей, как святому Иосифу первого ранга. Эта драгоценная коллекция была предметом зависти всех ее приятельниц, служила для вразумления любознательных и неизменно исторгала у Либаниньо, озиравшего гостиную умиленным взором, восклицание: «Ох, милая, у тебя прямо-таки все царствие небесное на дому!»

— А ведь правда,— говорила дона Мария, ликуя,— здесь нашему голубчику падре Амаро было бы уютно? Все небо под рукой!

Обе сеньоры с ней согласились. Конечно, она-то может устроить свой дом с подобающим благочестием, у нее есть на это деньги...

— Не спорю, сюда вложена не одна сотня милрейсов. Конечно, не считая ковчежца...

О, знаменитый ковчежец из сандала, обитый вутри атласом! Там хранилась подлинная щепка от креста господня, шип с тернового венца, обрывок пеленки младенца Христа. И многие благочестивые дамы роптали, намекая не без яда, что столь драгоценные реликвии божественного происхождения следовало бы изъять из частного владения и хранить в соборе. Поэтому дона Мария, опасаясь, что сеньор декан узнает о ее серафических сокровищах, показывала их только самым близким друзьям, да и то под большим секретом. Святой служитель божий, добывший для нее эти ценные предметы, заставил ее поклясться на Евангелии, что она никому не откроет их происхождения, «чтоб не было лишних разговоров»!

Сан-Жоанейра, как всегда, особенно умилилась на пеленку младенца Христа.

— Какая святая вещь! Какая дивная реликвия! — бормотала она.

Дона Мария отвечала почти шепотом:

— Лучшей нет на свете. Она обошлась мне в тридцать милрейсов... Но я отдала бы и все шестьдесят! И даже сто! Я за нее все бы отдала! — И, расчувствовавшись над драгоценной тряпицей, старуха слезливо сюсюкала: — Ах ты, моя пеленочка! Ах ты, младенчик, это твоя пеленочка...

Она запечатлела на лоскутке истовый поцелуй и заперла ковчежец в ящик комода.

Но близился полдень — и все три дамы поспешили в собор, чтобы успеть занять хорошие места перед главным алтарем.

На площади они встретили дону Жозефу Диас; стосковавшись душой по церковной службе, она бежала почти бегом. Мантилья у нее сбилась на одно плечо, перо на шляпке грозило оторваться. Все утро ругалась с прислугой! Пришлось самой готовить обед!.. Ах, я так разнервничалась! Боюсь, даже месса уж не даст той благодати... Сегодня служит соборный настоятель. Да, знаете? У него кухарка слегла. Ах, чуть не забыла: братец просит тебя, Амелия, прийти к нам обедать. Тогда, говорит, будут две дамы и два кавалера.

Амелия засмеялась от радости.

— А ты, Сан-Жоанейра, зайди за ней попозже вечерком... Фу ты, господи, оделась на скорую руку! Теперь юбка падает!

Когда четыре сеньоры вошли в церковь, там было уже полно народу. Служили мессу с певчими.

В епархии, вразрез с обычаем и вопреки мнению падре Силверио, любившего соблюдать все правила литургии, допускалась игра на скрипке, виолончели и флейте при вынесении святых даров. Пышно убранный и уставленный священными реликвиями алтарь блистал праздничной белизной; покровы и балдахин, а также обложки богослужебных книг были белые, с украшениями из матового золота; в вазах стояли пирамидальные букеты белых цветов; белые бархатные пологи осеняли дарохранительницу как бы двумя распростертыми крыльями, напоминая изображение голубя святого духа. Из двадцати подсвечников вздымалось двадцать желтых языков пламени, служивших как бы постаментом для открытой дарохранительницы, а в ней высоко, на всем виду, в оправе из ярко сверкавшей позолоты виднелась круглая коричневая облатка. В переполненной церкви ходили медлительные волны шепота и шороха. То там, то здесь слышалось покашливание, раздавался детский плач. Воздух уже был несвеж от дыханья толпы и запаха ладана. С хоров, где фигуры музыкантов бесшумно мелькали в просветах между грифами виолончелей и пюпитрами, то и дело доносились стоны настраиваемых скрипок или тонкий голос флейты. Не успели четыре приятельницы устроиться поблизости от главного алтаря, как двое прислужников — один прямой, как сосна, другой толстый и грязноватый — появились из ризницы, высоко неся в вытянутых руках два священных светильника; позади них кривой Пимента, в слишком широком для него стихаре, нес серебряную кадильницу, мерно топая сапогами; прихожане опустились на колени; под шорох одежды и шелест молитвенников появились два диакона — сначала один, потом другой; и, наконец, в белом облачении, опустив глаза и молитвенно сложив ладони — в той смиренной позе, которая, по литургии, выражает кротость Иисуса, идущего на Голгофу,— вышел падре Амаро, еще весь красный после стычки с пономарем из-за плохо выстиранной ризы.

В тот же миг хор грянул Introito [1].

Амелия простояла всю мессу как в тумане, поглощенная созерцанием соборного настоятеля. И действительно, он был, по выражению каноника, великим мастером служить торжественную мессу. Весь клир, все дамы были того же мнения. Сколько достоинства, сколько благородства в поклонах диаконам! Как

---

[1] Вступление *(церк. лат.)*.

красиво простирался он ниц перед алтарем, полный покорности и смирения, чувствуя себя пеплом, прахом пред лицом бога, который присутствует тут, совсем рядом, в окружении кортежа святых и своего праведного семейства! Но особенно хорош был падре Амаро, когда совершал обряд благословения: медленно-медленно проведя руками над алтарем, он как бы ловил в воздухе и собирал пальцами благодать, исходящую от незримого присутствия Христа, и потом широким, полным благоволения жестом разбрасывал ее на склоненные головы по всему нефу, вплоть до самого дальнего конца церкви, где теснился с палками в руках деревенский люд и глазел, не мигая, на сверкающую дарохранительницу! В такие моменты Амелия вся изнемогала от любви; она думала о том, что совсем недавно эти благословляющие руки страстно сплетались под столом с ее руками, а тот самый голос, который шептал ей «милая», теперь произносит дивные молитвы и звучит прекрасней, чем стоны скрипок и глубокое гуденье органа! И она с гордостью говорила себе, что все женщины любуются им; но, как истинно набожная душа, она знала притягательную силу неба и ревновала только к богу, особенно в те минуты, когда падре Амаро неподвижно замирал перед алтарем в экстатической позе, предписанной правилами литургии, будто душа его унеслась далеко, ввысь, в сферу вечности и невозмутимого покоя. Правда, он казался ей человечней и доступней и потому больше нравился, когда во время Kyrie или при чтении «Апостола» садился вместе с диаконами на обитую красной камкой скамью; в такие минуты ей хотелось, чтобы он взглянул на нее. Но падре Амаро сидел скромно и благолепно, не поднимая глаз.

Стоя на коленях, Амелия с безотчетной улыбкой на губах любовалась его стройной фигурой, красиво посаженной головой, золотым шитьем на облачении и вспоминала тот день, когда впервые увидела его: с сигаретой в руке он спускался по их лестнице. Сколько перемен совершилось за это время! Она вспомнила Моренал, прыжок через изгородь, смерть тетеньки, поцелуй в кухне... Ах, что-то будет? Она хотела помолиться, листала часослов, но ей вспоминался утренний разговор с Либаниньо: «У сеньора падре кожа такая белая, нежная, ну прямо тебе архангел...» Наверно, это правда... Страстное томление сжигало ее; боясь, что это происки дьявола, она старалась отогнать искушение и переводила глаза на дарохранительницу, на кафедру, где падре Амаро, между двумя диаконами, курил ладаном, описывая кадильницей широкие полукружия — символ вечной хвалы,— между тем как хор громко гудел: «Тебе бога

хвалим». А потом кадили ему самому, и он стоял, сложив ладони, на второй ступеньке алтаря. Кривой Пимента бодро скрипел серебряными цепями кадила; аромат ладана разливался по церкви, как небесный благовест; дарохранительница тонула в белых клубах дыма, и падре Амаро казался Амелии нечеловечески прекрасным, почти богом!.. О, как она его обожала!

Вся церковь содрогалась от органного форте; разинув рты, хористы натужно выводили божественный мотив; наверху, возвышаясь над грифами альтов, капельмейстер в жару вдохновения неистово взмахивал рулоном нот, который служил ему дирижерской палочкой.

Амелия вышла из церкви бледная от изнеможения.

За обедом у каноника дона Жозефа все время выговаривала ей за то, что она «словно язык проглотила».

Она молчала, но под столом ее маленькая ножка беспрестанно искала и жала ногу падре Амаро. Стемнело рано, и они сидели при свечах; каноник распечатал новую бутылку, только не знаменитого «Герцогского 1815», а другого вина, «1847 года», чтобы достойно запить красовавшуюся посередине стола запеканку из вермишели с инициалами падре Амаро, выложенными корицей. Как объяснил каноник, это знак внимания дорогому гостю от сестрицы Жозефы. Амаро сейчас же поднял бокал за здоровье хозяйки. Та сияла. В своем зеленом барежевом платье она была особенно уродлива. Такая неприятность: именно сегодня обед испорчен. Лентяйка Жертруда совсем распустилась... Чуть не сожгла утку с макаронами!

— О милая сеньора, утка была превосходная! — протестовал падре Амаро.

— Вы слишком добры, сеньор настоятель. Слава богу, я вовремя подоспела... Еще немного запеканки?

— Нет, нет, благодарю вас, сеньора, больше не могу.

— Ну, тогда, чтобы облегчить пищеварение, еще стаканчик «тысяча восемьсот сорок седьмого»,— предложил каноник и сам не спеша выцедил объемистую чарку, удовлетворенно крякнул и откинулся в кресле.

— Винцо славное! С таким винцом жить можно!

Он был красен, как свекла, и казался еще тучней в толстой шерстяной куртке и с салфеткой вокруг шеи.

— Хорошее вино! — подтвердил он.— Бьюсь об заклад, что тебе сегодня подали в чаше порядочную бурду...

— Помилуй бог, братец! — чуть не подавившись запеканкой, воскликнула дона Жозефа, крайне шокированная подобным кощунством.

Каноник презрительно повел плечами.

— Бог помилует, если хорошенько помолишься. Что за претензия — вечно вмешиваться в то, чего не понимаешь! Да будет тебе известно, качество вина во время мессы — вопрос весьма важный. Вино должно быть хорошее...

— Это повышает величие и святость церковной службы,— внушительно поддержал его падре Амаро, прижимаясь коленом к колену Амелии.

— Дело не только в этом,— продолжал каноник, тотчас же впав в лекторский тон.— Дело в том, что скверное вино содержит примеси, отчего на дне чаши остается осадок; бывает, что ризничий, поленившись, не отмывает как следует этот осадок, и от чаши начинает плохо пахнуть. И тогда, сеньора, желаете знать, что происходит? Происходит то, что священник, ни о чем не подозревая, подносит чашу к губам, чтобы вкусить крови господа нашего Иисуса Христа, и невольно делает гримасу. Теперь вы поняли?

И каноник отхлебнул из чарки. В этот вечер на него нашло настроение поучать; громко рыгнув, он снова стал просвещать свою сестру, и без того восхищенную столь глубокими мыслями.

— А теперь скажите мне, сеньора, раз уж вы все знаете, какое вино следует подавать во время службы: белое или красное?

Доне Жозефе казалось, что красное, ибо оно должно походить на кровь господа.

— Поправьте ошибку, менина! — напористо возразил каноник, тыкая пальцем в сторону Амелии.

Амелия с улыбкой отказалась поправлять дону Жозефу; она не пономарь, откуда ей знать?

— Поправьте ошибку, сеньор соборный настоятель!

Амаро фыркнул: если не красное — стало быть, белое...

— А почему?

Амаро сказал, что, по слухам, так принято в Риме.

— Да. Но почему? — приставал педант-каноник.

Амаро не знал.

— А потому, что господь наш Иисус Христос, причащая в первый раз, употребил белое вино. И по самой простой причине: в те времена в Иудее не изготовляли красного вина... Прошу еще порцию запеканки, сеньора.

Поскольку речь зашла о вине и о чашах, Амаро пожаловался на пономаря Бенто. Не далее как сегодня утром, собираясь надевать облачение (сеньор каноник как раз был в ризнице), падре Амаро вынужден был крепко отчитать Бенто: тот отдает стирать облачение некой Антонии, а эта бабенка самым скандальным образом сожительствует с плотником и недостойна даже притрагиваться к освященным предметам. Это первое. А второе — стихарь возвращается от нее такой грязный, что просто неудобно подходить в нем к святым дарам...

— Ах, посылайте ваши ризы мне, сеньор падре Амаро, посылайте их мне! — заволновалась дона Жозефа.— Моя прачка — пример добродетели и стирает очень чисто. Ах, для меня это большая честь!.. Я бы сама их разглаживала утюгом! Можно, если угодно, освятить утюг...

Но каноник, который в этот вечер был решительно в ударе, перебил ее и, повернувшись к падре Амаро, устремил на него глубокий взгляд.

— Кстати, насчет того, что я видел у тебя в ризнице; должен сказать, друг и коллега, сегодня ты допустил ошибку, за которую в школе бьют по рукам.

Амаро слегка встревожился.

— Какую ошибку, дорогой учитель?

— Облачившись,— размеренно поучал каноник,— и кланяясь перед распятием в ризнице,— причем оба диакона уже стояли по бокам от тебя,— ты вместо полного поклона сделал полупоклон.

— Позвольте, позвольте, дорогой учитель! — воскликнул падре Амаро.— Так полагается по всем текстам. «Facta reverentia cruci» — то есть «сделав поклон пред крестом»: это значит простой поклон, легкий наклон головы...

И для наглядности он сделал уставной полупоклон доне Жозефе; та вся затрепыхалась от гордости.

— Опровергаю! — загремел каноник; у себя дома, за своим столом, он не стеснялся навязывать свои мнения даже силой.— Опровергаю, опираясь на тексты. Вот они!

И он обрушил на оппонента каменные глыбы цитат из авторитетнейших церковных авторов: Лаборанти, Бальдески, Мерати, Туррино, Павонио.

Амаро отодвинул свой стул и встал в позу контроверзы — крайне довольный тем, что сейчас, при Амелии, положит на обе лопатки каноника, профессора теологической морали и непревзойденного знатока практической литургии.

— Подтверждаю! — воскликнул он.— Подтверждаю, опираясь на Кастальдуса...

— Стой, разбойник,— заревел дорогой учитель.— Кастальдус за меня!

— Нет, отец наставник, Кастальдус за меня!

Они вступили в яростный спор; каждый тянул к себе Кастальдуса и его авторитетное мнение. Дона Жозефа подпрыгивала на стуле от восхищения и шептала Амелии со счастливым смехом:

— Ай, ну что за святость! Ай, они святые!

Амаро продолжал с победоносным видом:

— И кроме того, дорогой учитель, на моей стороне здравый смысл. Primo: текст, о котором я уже говорил. Secundo: пока священник находится в ризнице, на голове у него надета шапочка; при полном поклоне шапочка может свалиться, и будет нехорошо. Tertio: получается абсурд, потому что поклон перед ризничным распятием, до мессы, окажется глубже, чем поклон перед алтарным распятием, после мессы.

— Но ведь поклон перед алтарным крестом...— начал было каноник.

— Должен быть половинным. Читайте в уставе: «Caput inclinat» [1]. Читайте Гавантуса, читайте Гаррифальди. Да иначе и быть не может. И знаете почему? Потому что после мессы священник достигает высшей точки своего значения: он уже причастился тела и крови господа нашего Иисуса Христа. Стало быть, я прав.

И, все еще стоя, он с торжеством потер руки.

Каноник опустил голову, точно оглушенный вол, сплющив двойной подбородок о повязанную вокруг шеи салфетку. Потом, помолчав, сказал:

— В твоих словах есть доля истины... Именно это я и хотел услышать... А ученик не посрамил учителя! — И он подмигнул Амелии.— Что ж, значит, надо выпить! А потом сестрица нам соорудит горяченького кофейку!

Внизу раздался резкий звон колокольчика.

— Это Сан-Жоанейра,— сказала дона Жозефа.

Вошла Жертруда с шалью и мантильей.

— Вот прислали для менины Амелии. Сеньора велели кланяться; а сами не пришли: нездоровы.

— С кем же я пойду домой? — испугалась Амелия.

Каноник потянулся к ней через стол и похлопал ее по руке:

---

[1] Наклоняет голову *(лат.)*.

— В крайнем случае я к твоим услугам. Не тревожься за свою скромность, девушка.

— Что еще выдумали, братец! — закричала старуха.

— Замолчи, сестрица. Что сказал святой человек, то свято.

Падре Амаро шумно его поддержал:

— Каноник Диас совершенно прав! Что сказал святой, то свято. За ваше здоровье!

— За твое!

Они чокнулись, весело подмигнув друг другу, уже в полном согласии после недавнего спора. Но Амелия была неспокойна.

— Господи Иисусе, что случилось с маменькой? Что с ней такое?

— А что с ней может быть? Приступ лени! — смеялся падре Амаро.

— Не расстраивайся, милочка! — сказала дона Жозефа.— Я сама тебя провожу! Мы все тебя проводим...

— Понесем менину в портшезе, под балдахином! — хрюкнул каноник, срезая кожуру с груши.

Но вдруг он отложил нож, выкатил глаза и прижал руки к животу.

— Ох, и мне тоже что-то нехорошо...

— Что с вами? Что с вами?

— Колет, будто иглой. Ничего, уже прошло.

Дона Жозефа встревожилась и попыталась отнять у него грушу. В последний раз его схватила колика, когда он поел фруктов...

Но каноник был упрям и надкусил грушу, ворча:

— Да прошло уже, прошло.

— Это у него от сочувствия к вашей маменьке. Симпатия! — шепнул Амелии падре Амаро.

Но каноник вдруг вскочил, оттолкнул кресло и скрючился.

— Мне плохо, мне плохо! Иисусе Христе! А, д-дьявол! У-у-у... Ой! Ой! Умираю!

Все сгрудились вокруг него. Дона Жозефа обхватила его рукой и повела в спальню, крикнув служанке, чтобы бежала за доктором. Амелия бросилась на кухню согреть кусок шерстяной фланели, чтобы положить больному на живот. Но шерстяная фланель куда-то запропастилась. Жертруда суетилась, натыкаясь на стулья, ища по всему дому свою шаль.

— Да иди без шали, дура! — прикрикнул на нее Амаро.

Девушка выскочила из гостиной. Каноник в комнате испускал хриплые вопли.

Амаро, не на шутку испугавшись, вошел к нему. Дона Жозефа стояла на коленях у комода и бормотала молитвы перед большой литографией богоматери, а бедный учитель, лежа на кровати животом вниз, кусал подушку.

— Послушайте, сеньора,— строго сказал Амаро доне Жозефе,— теперь не время молиться. Надо что-то предпринять... Что вы обычно делаете, когда у него случается приступ?

— Ай, сеньор падре Амаро, ничего я не делаю! — захныкала старуха.— Это же у него в момент. Ничего нельзя успеть! Немного помогает липовый чай... Но сегодня, как на грех, и липового чая дома нет! Иисусе!

Амаро побежал к себе за липовым чаем. Вскоре он вернулся, едва переводя дух, в сопровождении Дионисии, которая пришла предложить свою деловитость и опыт.

Но сеньору канонику, к счастью, уже полегчало.

— Как мне вас благодарить, сеньор падре Амаро! — лепетала дона Жозефа.— Чудесный липовый цвет! Вы так добры. Сейчас братец задремлет. После приступа он всегда должен поспать... Я останусь возле него, извините меня... Такой сильный приступ у него впервые... Все эти прокля...— Она с трудом сдержалась.— Конечно, фрукты тоже сотворил господь бог. Такова его небесная воля... Прошу извинить меня, я вас покидаю!

Амелия и падре Амаро остались одни. У обоих вдруг заблестели глаза от жажды прикосновений, поцелуев. Но все двери были настежь, а в комнате за стеной шаркали туфли доны Жозефы. Падре Амаро сказал нарочито громко:

— Бедный учитель! Какие жестокие боли.

— У него это бывает каждые три месяца,— отозвалась Амелия.— Маменька уже предчувствовала. Давеча говорила: я очень тревожусь, скоро у сеньора каноника опять будет приступ болей.

Падре Амаро тихонько вздохнул:

— О моих болезнях некому тревожиться...

Амелия остановила на нем долгий взгляд своих красивых, влажных от нежности глаз.

— Не говорите так...

Их руки встретились над столом. Вошла дона Жозефа, зябко ежась под наброшенной на плечи шалью. Каноник задремал, но она совсем раскисла. Ай, такие волнения для нее губительны! Она уже поставила две свечи святому Иоахиму и принесла обет пресвятой деве, покровительнице страждущих. Уже второй раз в этом году, и все ради братца! Пресвятая дева никогда не подведет...

— Пресвятая дева не покидает тех, кто взывает к ней с верой, милая сеньора,— наставительно вздохнул падре Амаро.

Высокие часы, стоявшие на шкафу, глухо пробили восемь. Амелия снова сказала, что беспокоится за маменьку... И вообще уже так поздно...

— Мало того, что поздно. Когда я выходил, накрапывал дождь,— сказал Амаро.

Амелия побежала взглянуть в окно. Тротуар в пятне света от уличного фонаря влажно блестел; небо было затянуто тучами.

— О боже, дождь зарядил на всю ночь!

Дона Жозефа расстроилась. Как некстати! Но вы сами видите: ей невозможно отлучиться из дому. Жертруда ушла за доктором; наверно, не застала дома и теперь бегает за ним по адресам, и когда придет — неизвестно...

Тогда падре Амаро сказал, что дону Амелию может проводить домой Дионисия — она пришла вместе с ним и теперь ждет на кухне. Тут всего два шага, на улицах никого нет. Он сам доведет их до угла Базарной площади... Только надо поспешить, а то дождь все сильней!

Дона Жозефа пошла за зонтиком для Амелии. Потом велела подробно рассказать маменьке, что здесь случилось. Только пусть не убивается, братцу уже гораздо лучше...

— Слушай! — крикнула она с верха лестницы.— Ты ей объясни: я сделала все, что в человеческих силах, но боль наступила и прошла мгновенно, ничего нельзя было успеть!

— Хорошо, я скажу. Доброй ночи!

Когда они открыли дверь на улицу, шел сильный дождь. Амелия хотела остаться и переждать. Но священник, словно куда-то торопясь, тянул ее за руку.

— Это пустяки! Это пустяки!

Они пошли по пустынной улице под зонтом; молчаливая Дионисия шла рядом, накинув на голову шаль. Во всех окнах уже было темно; из водосточных труб с шумом лились потоки воды.

— Боже, какая ночь! — сказала Амелия.— Я испорчу платье.

Они уже были на улице Соузас.

— Да, льет как из ведра,— заметил Амаро.— Пожалуй, действительно, лучше зайти ко мне и переждать в прихожей...

— Нет, нет! — испугалась Амелия.

— Вздор! — нетерпеливо воскликнул он.— Вы испортите платье... На минуту, пока ливень утихнет. Вот сюда, видите:

дождь уже унимается. Сейчас пройдет... Это все вздор... Если маменька увидит, что вы прибежали домой в самую грозу, она рассердится и будет права.

— Нет, нет!

Но Амаро остановился, торопливо отпер дверь и слегка подтолкнул Амелию.

— На минутку, пока ливень пройдет... Входите же...

Они оказались в темной прихожей и молча глядели на полосы дождя, сверкавшие в свете фонаря. Амелия была ошеломлена. Полный мрак и безмолвие прихожей пугали ее; и в то же время так сладко было стоять тут в темноте, неведомо для всех... Не отдавая себе в том отчета, она качнулась к Амаро, почувствовала рядом его плечо и сразу отпрянула, испугавшись его тяжелого дыхания, близости его колен... В темноте, позади себя, она угадывала лестницу наверх; и Амелию неудержимо тянуло взойти по этой лестнице, взглянуть на его комнату, узнать, как он тут устроился. Дионисия безмолвно стояла у двери; присутствие этой женщины стесняло Амелию, и вместе с тем она боялась, что та исчезнет, растворится во мраке...

Амаро начал топать ногами по полу и тереть озябшие руки.

— Мы тут непременно схватим простуду,— сказал он наконец.— Плиты ледяные... Право же, лучше подождать наверху, в столовой...

— Нет, нет! — прошептала она.

— Пустое! Маменька рассердится... Ступайте, Дионисия, зажгите наверху свет.

Почтенная матрона впорхнула по лестнице, как ветерок.

Падре Амаро взял Амелию за руку и сказал совсем тихо:

— Почему нет? Чего ты боишься? Пустяки, право. Вот только переждем дождь. Скажи...

Она молчала, тяжело дыша. Амаро положил руку ей на плечо, на грудь, сжал ее сквозь шелк. Амелия вся затрепетала — и словно в беспамятстве пошла вслед за ним по лестнице; уши ее горели, она спотыкалась на каждой ступеньке о подол платья.

— Сюда, тут моя комната,— шепнул он, а сам побежал на кухню. Дионисия зажигала свечу.

— Милая Дионисия, видите ли... Я решил исповедать менину Амелию. Серьезный вопрос совести... Вернитесь через полчаса. Нате, возьмите.— И он сунул ей в руку три серебряных монеты.

Дионисия сбросила башмаки, на цыпочках сбежала вниз по лестнице и заперлась в кладовке с углем.

Он вернулся к себе со свечой. Амелия, белая как полотно, неподвижно стояла посреди комнаты. Священник запер дверь и молча двинулся к ней, стиснув зубы и сопя, как бык.

Полчаса спустя Дионисия кашлянула на лестнице. Амелия сразу же вышла, закутанная почти с головой в свою шаль; когда она отворила дверь на улицу, мимо проходили двое пьяных. Амелия быстро отступила в темную прихожую. Через минуту Дионисия опять высунулась на улицу; там никого не было.

— Можно идти, менина...

Амелия надвинула край шали на глаза, и обе женщины торопливо зашагали к улице Милосердия. Дождь перестал; на небе высыпали звезды; холодный сухой воздух предвещал ясную погоду.

XVI

Утром, взглянув на лежавшие у изголовья часы и увидя, что пора идти в собор, Амаро весело вскочил с кровати. Он натягивал старое пальто, служившее ему халатом, и вспоминал такое же утро в Фейране, когда он проснулся с чувством жесточайшего раскаяния: накануне он бесстыдно согрешил с коровницей Жоаной на куче соломы в хлеву при церкви. С таким пятном на совести он не посмел служить мессу. Грех давил его душу. Он считал себя грязным, осквернённым, готовым для ада — как учили отцы церкви и святейший Тридентский собор. Трижды приближался он к порогу часовни и трижды отступал в страхе. Он был уверен, что стоит ему прикоснуться к святым дарам вот этими руками, которые еще вчера задирали юбки коровницы, и церковь немедленно рухнет, или же перед ним возникнет, блистая доспехами, святой Михаил-архистратиг с занесенным над головой мечом и загородит от него алтарь! Амаро оседлал лошадь и два часа трусил среди глиняных карьеров, чтобы исповедаться в Гралейре у доброго аббата Секейры... То было время невинности, преувеличенного благочестия и страхов, какие терзают лишь новичка! Теперь он трезво смотрит на реальный мир и реальных людей. Все эти аббаты, каноники, кардиналы и монсеньеры никогда не грешат в хлеву на соломе. Нет! Они делают это со всеми удобствами, в уютных альковах, а на столике рядом с постелью им сервируют ужин. И церкви не рушатся, и Михаил-архангел не беспокоит себя ради такой

Преступление Падре Амаро

малости. Нет, не это страшно — страшна Дионисия. Он слышал ее возню и покашливание на кухне и не решался крикнуть, чтобы она принесла воды для бритья. Ему было неприятно, что эта многоопытная особа знает его тайну и может чувствовать себя хозяйкой положения. Конечно, болтать она не станет: скромность — ее профессия; за несколько фунтов можно купить ее молчание. Но щепетильность служителя божия страдала от мысли, что бывшая содержанка стольких гражданских и военных начальников, успевшая за полстолетия замарать свое жирное тело во всех городских нечистотах, ныне посвящена в его слабости, в низменные вожделения, снедавшие его под покровом иерейских риз. Лучше бы свидетелями вчерашней вспышки были Силверио или Натарио: они, по крайней мере, свои люди!.. Ему было противно терпеть взгляд этих циничных глаз, которые не опустятся ни перед суровостью сутаны, ни перед блеском мундира, ибо твердо знают, что под ними томится желаниями все та же презренная животная плоть...

«Надо с этим кончать,— подумал он,— дам ей фунт, и пусть убирается на все четыре стороны».

Деликатный стук в дверь прервал его размышления.

— Войдите! — сказал Амаро, поспешно садясь за стол и склоняясь над бумагами, словно был поглощен работой.

Дионисия вошла, поставила кувшинчик с горячей водой на умывальник, кашлянула и сказала Амаро, сидевшему к ней спиной:

— Сеньор настоятель, этак не делают. Вчера посторонние люди видели, как барышня выходила из вашего дома... Этим не шутят, менино... Для вашего же блага советую быть поосторожней!

Нет, невозможно прогнать ее! Эта женщина, хочешь не хочешь, ему необходима. Слова ее, произнесенные шелестящим шепотом, чтобы и стены их не услышали, свидетельствовали о профессиональной осторожности и доказывали, как удобна для него столь опытная соучастница.

Сильно покраснев, он повернулся к ней.

— Ее видели?

— Видели. Это были двое пьяных... Но на их месте могли оказаться господа, знакомые...

— Это верно.

— Вы должны помнить о своем положении, сеньор настоятель, и о репутации барышни!.. Такие дела делают молчком... Даже мебель в этой комнате, и та ничего не должна знать! Когда ко мне обращаются за протекцией, я требую со-

блюдения полнейшей тайны, как если бы дело шло о жизни и смерти!

Амаро окончательно решил принять «протекцию» Дионисии. Он пошарил в ящике стола и положил монету в полфунта ей на ладонь.

— Пусть так, во славу божию, менино! — тихо сказала она.

— Ну вот. А теперь, Дионисия, что вы предлагаете? — спросил он и откинулся на спинку стула в ожидании советов почтенной матроны.

Она сказала просто, без всякой хитрецы и без претензий на таинственность:

— По-моему, лучше всего вам с мениной встречаться у звонаря.

— У звонаря?

Она очень спокойно разъяснила ему, что домик звонаря расположен исключительно удобно. Одно из церковных помещений, смежное с ризницей, выходит, как известно, во внутренний двор, где в свое время каменщики устроили сарай; так вот, как раз сюда же выходит задами дом звонаря... Из этого внутреннего двора есть дверь в кухню к дядюшке Эсгельясу: достаточно выйти из ризницы, пройти через двор — и вы уже в гнездышке!

— А она?

— Она может входить с улицы, со стороны церковного двора: там всегда пусто, ни одной живой души не встретишь. А если кто и увидит — что особенного? У менины поручение к звонарю от маменьки... Конечно, это пока так, примерно; надо хорошенько все обдумать.

— Да, понимаю, это лишь набросок,— сказал Амаро; он встал и, размышляя, прохаживался по комнате.

— Я хорошо знаю этот квартал, сеньор настоятель, и можете мне поверить: для священника и его барышни дом звонаря — самое подходящее местечко.

Амаро остановился перед ней и спросил с фамильярной усмешкой:

— Признайтесь откровенно, тетя Дионисия: я не первый священник, которому вы рекомендуете дом звонаря?

Она весьма решительно отвергла такое предположение. Она даже незнакома с дядюшкой Эсгельясом! Эта мысль пришла ей в голову сегодня ночью, когда не спалось. С утра пораньше она сходила туда, все рассмотрела и убедилась, что ничего лучшего и желать не приходится.

Она кашлянула, бесшумно пошла к двери, но на пороге обернулась и дала последний совет:

— Все зависит от того, ваше преподобие, как вы сумеете договориться со звонарем.

Об этом и размышлял теперь падре Амаро.

В соборе, среди прислужников и пономарей, дядюшка Эсгельяс считался «бирюком». Он был одноног и ходил с костылем. Некоторые из соборных священников, желая пристроить на должность звонаря своих подопечных, утверждали, что по уставу калеки не могут служить при церкви. Но прежний настоятель Жозе Мигейс, по распоряжению сеньора епископа, оставил одноногого звонаря в соборе, ссылаясь на то, что дядя Эсгельяс потерял ногу при служении в церкви, свалившись с колокольни в праздничный день; ergo [1], воля неба ясна: дядя Эсгельяс нужен собору. Когда приход перешел к Амаро, дядя Эсгельяс обратился за защитой к Сан-Жоанейре и Амелии, чтобы сохранить за собой, как он выражался, «колокольную службу». Кроме всего прочего,— и таково было мнение синклита на улице Милосердия,— оставить при церкви дядю Эсгельяса значило сделать доброе дело: звонарь был вдов и содержал дочь пятнадцати лет, у которой были парализованы от рождения обе ноги. «Нечистый взялся за наши ноги»,— говаривал дядя Эсгельяс. Очевидно, из-за этой беды он и стал таким угрюмым молчальником.

Говорили, что дочка звонаря, Антония (отец звал ее Тото́), изводила его своим злобным упрямством, вспышками бешенства, всевозможными капризами. Доктор Гоувейя находил у нее истерию, но все благомыслящие люди твердо знали, что в Тото вселился бес. Возникла даже мысль изгнать из нее нечистую силу. Однако сеньор главный викарий, опасаясь вмешательства газет, колебался и не давал своего благословения; одержимую только опрыскали святой водой, отчего никакого улучшения не последовало. Впрочем, как и в чем проявлялось бесовское наваждение, мучившее паралитичную, было гражданам неизвестно. Доне Марии говорили, будто девочка воет волком; старшая Гансозо, со своей стороны, утверждала, что она раздирает себя ногтями... Когда об этом спрашивали звонаря, он уклончиво отвечал:

— Беда, да и только...

Все свободное время между службами дядя Эсгельяс проводил дома, с дочерью, и лишь изредка ходил через площадь в

[1] Стало быть *(лат.)*.

аптеку за каким-нибудь лекарством или в кондитерскую Терезы за пирожными. Целый день сырой и темный закоулок при соборе — внутренний двор, сарай, высокая каменная стена, увитая плющом, и в глубине домик с единственным окном в черной раме наличника, прорубленным в облупившейся стене,— был погружен в безмолвие. Только мальчишки-певчие отваживались иногда пробраться во внутренний двор и поглядеть, что делает звонарь. Тот неизменно сидел, сгорбившись, у очага, с трубкой в руке, и уныло сплевывал в огонь.

Каждый день дядя Эсгельяс приходил почтительно слушать мессу, когда служил сеньор соборный настоятель. Как только Амаро, облачаясь в ризнице, услышал за спиной постукивание костыля, он в последний раз повторил в уме придуманную для звонаря историю. Ведь нельзя просить приюта у дядюшки Эсгельяса без объяснений, а объяснение могло быть только одно: какой-нибудь вид религиозной тайны. А что подойдет лучше, чем в уединении, вдали от мирских помех, подготовить юную душу к послуху, а затем к монашеству?

Поэтому, как только звонарь вошел в ризницу, падре Амаро ласково его приветствовал: «Добрый день, добрый день!» — и прибавил, что дядюшка Эсгельяс сегодня прекрасно выглядит. И не удивительно: по словам святых отцов, колокола дарują спокойную радость и благополучие тому, кто при них состоит, ибо они освящены и обладают особо благодетельными свойствами. И он стал благодушно рассказывать дядюшке Эсгельясу и двум псаломщикам, что в детстве, проживая в доме сеньоры маркизы де Алегрос, мечтал стать звонарем.

Все посмеялись, в восторге от шутливого настроения его преподобия.

— Не смейтесь, это чистая правда. Мне бы такая служба подошла... И заметьте: в прежнее время при колоколах могли состоять лишь посвященные в сан. Отцы церкви считали этот труд особенно угодным богу. Недаром в одной глоссе говорится, как бы от лица колокола:

Laudo Deum, populum voco, congrego clerum,
Defunctum ploro, pestem fugo, festa decoro,

что значит: «Я хвалю бога, созываю народ, собираю клир, оплакиваю мертвых, прогоняю чуму, украшаю праздники».

Он цитировал глоссу с почтением, стоя посреди ризницы, уже в стихаре и епитрахили, а дядя Эсгельяс, помогая себе костылем, старался стоять прямее и смотрел горделиво, слушая эти слова, которые поднимали его на такую высоту.

Ризничий принес лиловую фелонь для облачения, но Амаро еще не окончил свою хвалебную песнь колоколам; теперь он говорил о замеченной у них способности разгонять грозу (что бы ни возражали слишком самонадеянные физики): объясняется это свойство не только тем, что колокол сообщает воздуху часть благодати, полученной им при освящении, но и тем, что он отгоняет демонов, вьющихся в вихрях и громах. Святой Миланский собор прелатов специально рекомендует звонить в колокола, когда поднимается буря.

— Одним словом, дядя Эсгельяс,— добавил он, благосклонно улыбаясь звонарю,— советую вам в плохую погоду не медлить, а на всякий случай сразу лезть на колокольню, поближе к центру грозы. Давайте ризу, дядя Матиас.

И он подставил спину, чтобы на плечи ему набросили фелонь, в то же время смиренно и с достоинством произнося: — «Domine quis dixisti jugum meum...» Затяните потуже завязки на спине, дядя Матиас... «Suave est, et onus meum leve» [1].

Он склонил голову перед распятием и вошел в церковь, как предписано в уставе — выпрямив корпус, но опустив глаза. Дядя Матиас тоже шаркнул ножкой висевшему в ризнице распятию и поспешил с чашами за священником, прочищая горло громким покашливанием.

Во время дароприношения, поворачиваясь лицом к молящимся, а также возглашая: «Orate fratres!» падре Амаро из особого благоволения, не запрещенного правилами литургии, обращался каждый раз к дяде Эсгельясу, как будто приглашение относилось именно к нему; и дядя Эсгельяс, положив рядом с собой костыль, отдавался религиозному чувству с особенным рвением. А дойдя до «Benedicat» и приблизясь к алтарю, чтобы получить от живого бога толику благодати, падре Амаро медленно повернулся к пастве и снова нашел глазами дядю Эсгельяса, словно давая понять, что ему одному посвящает всю милость и все дары господа.

— А теперь, дядя Эсгельяс,— сказал он вполголоса, вернувшись в ризницу после мессы,— подождите меня во дворе: нам нужно переговорить.

Вскоре он вышел из церкви с глубоко озабоченным видом, встревожившим звонаря.

— Наденьте шляпу, наденьте шляпу, дядя Эсгельяс. Да,

---

[1] Господи, назначивший мне бремя... Сладко оно, и легка моя ноша *(лат.)*.

так я хотел поговорить с вами о весьма важном деле... Собственно говоря, я прошу вас об одолжении...

— О, сеньор настоятель!

— Вернее, нет: это не одолжение... Ведь я служу богу, и каждый обязан помочь мне в меру своих сил. Речь идет об одной молодой девушке, которая хочет уйти в монастырь. Словом, я вполне вам доверяю и готов назвать ее имя: это Сан-Жоанейрина Амелиазинья!

— Неужто она идет в монастырь, сеньор настоятель?

— У нее призвание, дядя Эсгельяс! Тут перст божий! Удивительный случай...

И Амаро рассказал туманную историю, которую придумывал тут же, руководствуясь сменой чувств, отражавшихся на удивленном лице звонаря. Девушка разочаровалась в жизни из-за огорчений, которые причинил ей жених. Но мать ее, женщина весьма пожилая, нуждается в ее помощи по дому; старушка не хочет отпустить дочь в монастырь, считая решение ее капризом, который скоро пройдет. Но Сан-Жоанейра ошибается. Это не каприз, а призвание. Он знает. К сожалению, когда родные против, то положение духовного пастыря делается весьма щекотливым... Нынешние безбожные газеты (а таких, увы, большинство!) постоянно кричат о злоупотреблениях духовных лиц... Власти, еще более нечестивые, чем газеты, чинят всяческие препоны... К нам применяют драконовские меры. Если они пронюхают, что священник готовит молодую девушку к постригу, они способны заковать его в цепи и бросить в темницу! Что прикажете делать?.. Мы живем в эпоху безбожия, в эпоху атеизма!

А между тем необходимо не раз и не два, а много раз и серьезно побеседовать с девушкой: надо ее испытать, надо узнать ее склонности, разобраться, к чему ее больше тянет: к затворничеству, к покаянию, к уходу за больными, к молитве или преподаванию... Словом, надо изучить всесторонне ее натуру.

— Но где? — вопросил в заключение падре Амаро, беспомощно разведя руками; видно было, что он глубоко опечален невозможностью исполнить святую обязанность.— Где? В доме у матери нельзя, там уже насторожились. В церкви — невозможно, это все равно что на улице. У меня дома, вы сами понимаете, молоденькая барышня...

— Да, конечно...

— Ну так вот, дядюшка Эсгельяс... Думаю, вы будете благодарны за выбор: мне кажется, что в вашем доме...

— Ах, сеньор настоятель! — взволновался звонарь.— И мой дом, и все пожитки в полном вашем распоряжении!

— Да. Вы и сами видите, что я хлопочу о ее душе, на радость господу нашему...

— И мне на радость, сеньор настоятель, и мне!

Дядя Эсгельяс только боялся, что у него в доме слишком бедно, никакого уюта...

— Полно! — отвечал с улыбкой падре Амаро, бескорыстно отказываясь от суетного комфорта.— Нам только и нужно что два стула и небольшой стол, чтобы положить молитвенник.

— А так-то,— говорил звонарь,— у меня тихо, дом спокойный, лучше не надо. Падре Амаро и барышня будут как отшельники в пустыне. Только сеньор священник на порог, я уйду прогуляться. В кухне, конечно, неудобно, потому, что рядом комнатка бедняжки Тото... Но можно устроить вас в моей комнате, наверху.

Падре Амаро хлопнул себя по лбу. Он совсем забыл о парализованной девочке!

— Это портит все дело, дядюшка Эсгельяс!

Но звонарь стал разубеждать его с большим жаром. Он весь загорелся этой идеей: отвоевать еще одну невесту для Иисуса Христа; он непременно желал, чтобы именно под его кровом происходило святое дело... Может быть, милость божия сойдет на его дом! Он горячо расхваливал преимущества и удобства своих комнат. Тото не помешает. Она не встает с кровати. Сеньор соборный настоятель могут прямо из ризницы пройти на кухню, а менина войдет с улицы: они поднимутся по лестнице и запрутся в его комнате...

— А что делает весь день Тото? — спросил падре Амаро, все еще колеблясь.

— Да что она, бедная, делает... Все причуды: то играет в куклы, да так заиграется, что к вечеру свалится в горячке; потом на несколько дней замолчит, смотрит на стенку страшными глазами. А иногда веселая: болтает, смеется... Беда!

— Ей бы надо чем-нибудь развлечься, почитать книжку,— сказал падре Амаро, чтобы выказать участие.

Звонарь вздохнул. Она не умеет читать, не захотела учиться грамоте. Уж он ей говорил: «Если бы ты могла читать, тебе бы веселее было!» Но где там! У бедняжки совсем нет прилежания. Вот если бы сеньор падре Амаро попробовал ее уговорить, когда зайдет...

Но священник не слушал. Ослепительная мысль вызвала безмолвную улыбку на его лице. Он вдруг понял, как объяснить Сан-Жоанейре и ее приятельницам визиты Амелии к звонарю: она будет обучать чтению парализованную девочку! Воспитывать бедняжку! Раскрывать перед ее духовным взором красоту молитв, священных книг, жизнеописаний мучеников...

— Решено, дядя Эсгельяс! — воскликнул он, радостно потирая руки.— В вашем доме мы сделаем из Амелиазиньи настоящую святую. Но все это,— и голос его зазвучал особенно внушительно,— нерушимая тайна!

— О, сеньор настоятель! — сказал звонарь, почти обидевшись.

— Я полагаюсь на вас! — заключил Амаро.

Он вернулся в ризницу и написал записку, намереваясь незаметно передать ее Амелии. В записке этой он подробно объяснял небольшую хитрость, к которой нужно прибегнуть, чтобы насладиться еще не испытанным дивным счастьем. Далее он предупреждал Амелию, что она каждую неделю будет приходить в дом звонаря якобы для занятий с параличной: он сам заговорит об этом вечером при маменьке. «И это,— писал он,— будет правдой, так как господу нашему угодно, чтобы темную душу больной озарил луч религиозного просвещения. И таким образом, милый мой ангел, одним выстрелом мы убьем двух зайцев».

После этого он пошел домой. Как приятно было сесть за плотный завтрак, ощущая глубокое довольство собой и своей жизнью! Ревность, сомнения, муки неудовлетворенных желаний — все, что терзало его столько месяцев подряд и на улице Милосердия, и на улице Соузас, кончилось, прошло! Наконец-то он вкусит счастье во всей полноте! И, забыв о куске, насаженном на вилку, он блаженно вспоминал вчерашние полчаса, мелочь за мелочью, вновь переживая испытанные радости и проникаясь восхитительной уверенностью обладания. Так земледелец меряет шагами купленную землю, которую взор его облюбовал уже много лет назад. Да! Больше ему не придется искоса, с горькой завистью смотреть на господ, гуляющих по Тополевой аллее под руку со своими женами! У него теперь тоже есть жена, преданная ему душой и телом, красивая, влюбленная, одетая всегда в безупречно чистое и нарядное белье, надушенное одеколоном! Он священник, это правда... Но у него готово оправданье в ответ на этот упрек: что бы ни делал свя-

щенник, если только он не оскорбляет паству открытыми скандальными похождениями, поступки его не могут умалить пользу и величие церкви. Все богословы учат, что институт священнослужителей учрежден для исполнения треб. Главное — чтобы до людей доходила заложенная в требах благодать; если требы отправляются по утвержденному и освященному литургическими правилами порядку, то не все ли равно — грешен или безгрешен священник? Причащение само по себе благодатно. Святость его зависит не от заслуг священнослужителя, но от заслуг Иисуса Христа. Кто крещен или помазан — достойными или недостойными руками, все равно очищен от первородного греха и подготовлен к переходу в иную жизнь. Об этом пишут все отцы церкви, так постановлено святейшим Тридентским собором. Ни душа, ни спасение верующих не терпят ущерба от того, что у них недостойный пастырь. И если сам этот пастырь в последнюю минуту покается, двери рая будут открыты и для него. Значит, все кончится хорошо и ко всеобщему благу...

И, рассуждая так, падре Амаро с удовольствием прихлебывал кофе.

К концу завтрака вошла Дионисия и, расплывшись в улыбке, спросила, говорил ли сеньор падре со звонарем.

— Я поговорил, так, в общих чертах,— ответил он уклончиво.— Пока ничего окончательного... Рим не в один день построился.

— А! — откликнулась она и ушла на кухню, говоря себе: «Сеньор священник уже увиливает и врет. Впрочем, и мне наплевать... Нет хуже, как иметь дело с долгополыми; платят мало и вечно тебя в чем-нибудь подозревают...»

Услышав, что Амаро уходит, она выбежала на лестницу и сказала ему, что первое время присмотрит за его домом, но пусть поскорее найдет постоянного человека.

— Сеньора дона Жозефа хлопочет об этом, Дионисия. Надеюсь, завтра у меня будет кухарка. Но вы меня не забывайте. Ведь мы теперь друзья...

— Когда сеньору падре Амаро что-нибудь понадобится, достаточно крикнуть из окна, что выходит в огород,— сказала она, стоя на верху лестницы.— Я на все руки. Во всем понаторела: и понос вылечу, и в родах помогу... Насчет этого скажу даже...

Но падре Амаро не хотел ее слушать: он с силой захлопнул дверь и устремился прочь, чувствуя отвращение к этой грязной помощи, предлагаемой так цинично.

Несколько дней спустя он завел речь у Сан-Жоанейры о дочке звонаря.

Накануне он сунул Амелии записку, а в этот вечер, воспользовавшись тем, что старухи громко загалдели, подошел к роялю, за которым Амелия лениво разыгрывала гаммы, и, наклонившись, чтобы прикурить от свечи, прошептал:

— Прочла?

— Да. Я согласна.

Амаро вернулся в кружок дам; старшая Гансозо рассказывала про катастрофу, случившуюся, по сообщениям газет, в Англии: в угольной шахте произошел обвал; под землей похоронено сто двадцать человек. Старухи содрогались от ужаса. Наслаждаясь произведенным эффектом, Гансозо нагромождала все новые подробности: шахтеры, оставшиеся на поверхности, пытались откопать своих товарищей; из-под земли доносились стоны и рыдания; дело было вечером; началась снежная буря...

— Да, неприятно! — фыркнул каноник, поудобнее устраиваясь в кресле и радуясь, что перед ним теплый камин, а над ним надежный потолок.

Дона Мария де Ассунсан заявила, что все эти рудники, все эти заграничные машины — какой-то ужас. Однажды ей довелось побывать на фабрике под Алкобасой, и ей показалось, что она в аду. Нет, нет, это не может быть угодно господу богу.

— А железные дороги! — подхватила дона Жозефа.— Изобретение сатаны! Нет, правда! Как вспомню свист, пламя, грохот! Бр-р, даже мороз по коже подирает!

Падре Амаро подшучивал, уверяя дону Жозефу, что зато железнодорожное сообщение чрезвычайно удобно, когда надо ехать быстро! Потом, внезапно прогнав улыбку, продолжал серьезным тоном:

— И все же спору нет: в открытиях современной науки есть нечто дьявольское. Именно поэтому наша святая церковь освящает паровозы — сначала молитвой, а затем и святой водой. Надо вам знать, что это вменено в обычай. Окропление святой водой отгоняет духов тьмы, а молитва очищает от первородного греха, ибо первородный грех свойствен не только человеку, но и предметам, созданным его рукой. Вот почему надо благословлять и кропить локомотивы... Чтобы дьявол не мог использовать их в своих целях.

Дона Мария сейчас же потребовала уточнений. Каким именно образом враг человеческий использует локомотивы в своих целях?

Падре Амаро снисходительно разъяснил и этот вопрос.

Враг человеческий располагает многими коварными приемами, но наиболее обычен следующий: он устраивает крушение, с тем чтобы погибло много пассажиров; а так как души их не подготовлены к отлету в лучший мир последним помазанием, то злой дух тут же ими и завладевает!

— Это нечестная игра! — заметил каноник, втайне восхищаясь изобретательностью сатаны.

Но дона Мария де Ассунсан обвела взором собеседниц и, томно обмахиваясь веером, сказала с благостной улыбкой:

— Ах, милые! Вот уж с нашими душами это никак не могло бы случиться! Нас врасплох не застигнешь!

И это была правда; дамы несколько мгновений молча наслаждались уверенностью в том, что они всегда наготове и могут надуть искусителя при всем его хитроумии!

Падре Амаро кашлянул, приготовляясь перевести беседу в новую колею, положил руки на стол и начал:

— Требуется неусыпная бдительность, чтобы не допустить до себя нечистого духа. Как раз сегодня я думал об этом, вернее, долго размышлял, по поводу некоего весьма печального казуса; а особенно скверно, что происходит все это в двух шагах от нашего собора!.. Я говорю о дочке звонаря.

Дамы придвинули стулья поближе к нему, сразу загоревшись любопытством и ожидая услышать страшную историю о проделках сатаны. Священник говорил внушительным тоном, и в воцарившейся тишине голос его звучал почти торжественно:

— Бедная девочка целый день лежит одна-одинешенька, прикованная к кровати. Она не умеет читать, не молится богу, не привыкла к размышлению; следовательно, пользуясь выражением святого Клементия, это незащищенная душа. Что же получается? Получается то, что дьявол, который бродит среди нас и хватает все, что плохо лежит, водворяется в этой душе, как у себя дома! Отсюда припадки бешенства, слезы, беспричинное озлобление — все, о чем рассказывал сегодня бедный дядя Эсгельяс... Жизнь его отравлена.

— И это — в двух шагах от дома божия! — вскричала дона Мария де Ассунсан, возмущенная наглостью сатаны, который лезет в жилище, отделенное от башен собора всего лишь узким двориком.

Амаро поддержал ее:

— Дона Мария совершенно права. Это недопустимый скандал. Что же нам делать? Девочка не умеет читать! Ведь она не знает ни одной молитвы! И никто ее не учит, и никто

не открывает ей слово божие, и никто не укрепляет ее душу, и никто не объясняет, как обезвредить козни лукавого!

В воодушевлении он встал и начал ходить по комнате, озабоченно горбя плечи, как и подобает пастырю, скорбящему о любимой овечке, которую похищает необоримая вражья сила. Возбуждаясь от собственных слов, он и в самом деле чувствовал, что его душит жалость к бедному созданию, неподвижно простертому на одре болезни и лишенному всякого духовного света...

Дамы переглядывались, подавленные столь печальной участью христианской души,— главным образом из-за того, что это огорчало сеньора падре Амаро.

Дона Мария де Ассунсан, окинув мысленным взором свое небесное воинство, предложила поставить в изголовье Антонии фигуры нескольких святых, например святого Викентия, а также Пресвятой девы, утешительницы всех скорбящих. Но подруги ее уныло молчали, видимо сознавая бессилие этой благочестивой стражи.

— Возможно, вы мне скажете, милые сеньоры, что речь идет всего лишь о дочери звонаря,— продолжал Амаро, снова садясь.— Но ведь и она — человек! Ведь и у нее такая же душа, как у нас!

— Все имеют равное право на милость господа,— важно проговорил каноник, демонстрируя свое высокое беспристрастие; он охотно признавал равенство классов, когда речь шла не о благах земных и материальных, а о радостях загробной жизни.

— Для бога нет богатых и бедных,— вздохнула Сан-Жоанейра.— Бедные ему даже милее, им легче войти в царствие небесное.

— Нет, богатые ему не менее дороги,— энергично возразил каноник, чтобы разом пресечь ошибочное толкование божественного закона.— Небо равно стоит и за бедных и за богатых. Любезная сеньора, вы не поняли смысла приводимых вами слов. Beati pauperes, «блаженны нищие» — значит, что бедные должны чувствовать себя счастливыми в своей бедности; что они не должны зариться на чужие богатства, не должны желать ничего сверх куска хлеба, какой им дан, не должны мечтать присвоить себе чужое добро, в противном случае они перестают быть блаженными. Именно поэтому, любезная сеньора, смутьяны, проповедующие, что работники и люди из неимущих слоев должны жить лучше, чем живут, идут против ясно выраженной воли церкви и бога и не заслуживают ничего, кроме кнута, будь они трижды анафема! Уф!

И он откинулся на спинку кресла, устав от своей пылкой речи. Падре Амаро между тем молчал, подперев голову рукой и медленно потирая пальцами лоб. Он хотел высказать свою заветную мысль, но так, будто она только что озарила его по вдохновению свыше. Он готовился заявить, что долг Амелии — взять на себя религиозное просвещение убогой девочки... Но он колебался; его останавливал суеверный страх совершить кощунство: ведь настоящим его побуждением была одна лишь похоть. Дочка звонаря являлась его разгоряченному воображению на одре смерти, в агонии. Он отдавал себе отчет в том, как хорошо и как по-христиански было бы утешить ее, развлечь, скрасить ее горькие дни. Такой поступок искупил бы многие вины и был бы угоден богу — но, разумеется, лишь в том случае, если бы он совершался ради христианского братства. И кроме этого, ему вдруг стало по-человечески жаль обездоленное существо, пригвожденное к кровати, никогда не видевшее солнца и улицы... И он молчал, потирая лоб, ни на что не решаясь и уже почти сожалея, что завел речь о Тото...

Но дону Жоакину Гансозо вдруг осенило:

— Ах, сеньор падре Амаро, не послать ли ей книгу с жизнеописаниями святых, знаете, с картинками? Картинки такие поучительные. Меня они трогали до глубины души... Кажется, у тебя есть эта книга, Амелия?

— Нет,— сказала та, не поднимая глаз от шитья.

Амаро посмотрел на нее. Он почти забыл об ее присутствии. Она сидела по другую сторону стола и подшивала какую-то тряпицу. Тонкая полоска пробора тонула в пышных волосах, на которые лампа бросала сбоку длинный светлый блик; опущенные ресницы казались еще длинней и черней на тепло-смуглой, чуть розовеющей на скулах щеке; узкое платье, слегка морщась на плечах, облегало круто вылепленные формы ее грудей, и он видел, как они мерно поднимаются и опускаются от ровного дыхания... Груди — вот что больше всего нравилось ему в этой женщине; он воображал, какие они должны быть белые, круглые, крепкие; один раз он уже держал ее в объятиях, но одетую, и его жадные руки наталкивались лишь на равнодушный шелк... Но в доме у звонаря ее груди будут принадлежать ему всецело, без помех, без всякой одежды, открытые его губам. Боже правый! И что мешает ему в то же время подать утешение душе Тото? Он больше не колебался и, возвысив голос, чтобы перекричать галдящих старух, которые обсуждали теперь пропажу «Жизнеописания святых», сказал:

— Нет, милые сеньоры, книжками тут не поможешь... Знаете, что я придумал? Кто-нибудь из вас, у кого больше свободного времени, должен принести бедной калеке слово божие, воспитать ее скорбную душу! — И, улыбнувшись, он заключил: — Откровенно говоря, из всех нас наименее обременена заботами менина Амелия...

Удивлению дам не было предела! Словно воля самого бога открылась им во внезапном озарении. Во всех глазах зажглись огоньки благочестивого восторга при мысли о благотворительной миссии, возложенной на одну из них, из тех, что собираются на улице Милосердия... Они были в упоении, заранее смакуя похвалы сеньора декана и всего капитула! Каждая спешила внести свою лепту в это святое дело и получить для себя частицу награды, которую небо не замедлит им ниспослать. Дона Жоакина Гансозо горячо лепетала, что завидует Амелии, и была крайне шокирована, когда та вдруг рассмеялась.

— Ты воображаешь, что я не сумела бы вложить в этот труд столько же любви к богу? Милочка, ты уже кичишься добрым делом... Заметь, так оно тебе не зачтется!

Но Амелия вся тряслась в припадке нервического смеха; она откинулась на спинку стула и зажимала рот руками, но не могла удержаться.

Маленькие глазки доны Жоакины метали молнии.

— Это неприлично! Это неприлично! — кричала она.

Ее насилу успокоили; Амелии пришлось поклясться на Евангелии, что это просто так, нервы...

— Ах,— вступилась дона Мария де Ассунсан,— ведь ей и в самом деле есть чем гордиться. Какая честь для этого дома! Если бы люди узнали...

Падре Амаро прервал ее весьма решительно:

— Люди не должны ничего узнать, сеньора дона Мария! Чего стоит в глазах господа доброе дело, которое выставляют напоказ, которым чванятся?

Дона Мария сникла, смиренно выслушав отповедь. А Амаро продолжал со всей серьезностью:

— Наше решение не должно выйти за пределы этого дома. Пусть у нас будет общая тайна с господом. Мы хотим спасти безвинную душу, утешить больную, а вовсе не читать похвалы в газетах. Не прав ли я, дорогой учитель?

Каноник тяжело поднялся со стула.

— Ты сегодня красноречив, как святой Иоанн Златоуст. Право же, ты наставил меня истинной вере; а теперь я был бы не прочь увидеть на этом столе сухарики и чай.

И пока Руса заваривала и подавала чай, все было обдумано и решено: раз или два в неделю, смотря по расположению духа, Амелия будет ходить к звонарю и тайно, чтобы ее благодеяние выше ценилось господом, проводить час-полтора у ложа парализованной девочки, читать ей «Жизнеописания святых», обучать молитвам и внушать любовь к добродетели.

— Словом,— резюмировала дона Мария де Ассунсан, глядя на Амелию,— могу сказать одно: ты сподобилась!

Когда Руса вошла с подносом, все еще смеялись над словечком доны Марии; Амелия, густо покраснев, бормотала, что «это какое-то странное слово». Итак, отныне она могла беспрепятственно видеться с падре Амаро, во славу божию и к посрамлению лукавого.

Они встречались каждую неделю, то один, то два раза; к концу месяца эти благочестивые визиты достигли символического числа *семь*, перекликающегося, по мысли набожных дам с «семью скорбями приснодевы Марии». Накануне назначенного дня Амаро уведомлял дядюшку Эсгельяса; тот отмыкал уличную дверь, подметал весь дом и приготовлял комнату для беседы соборного настоятеля с его ученицей. В эти дни Амелия вставала раньше обычного: то ей надо было накрахмалить нижние юбки, то перешить банты на платье; мать удивлялась, к чему это модничанье и зачем выливать на себя столько одеколона; но Амелия поясняла: чтобы привить Тото любовь к опрятности и свежим туалетам. Одевшись, она садилась на стул и ждала, когда пробьет одиннадцать — ждала без улыбки, рассеянно отвечая на заговаривание матери, странно разрумянившись, не отрывая глаз от стрелок, ползших по циферблату; наконец старые часы глухо били одиннадцать; быстро оглядев себя в зеркале и чмокнув маменьку, Амелия выходила на улицу.

Она шла с опаской, боясь, что кто-нибудь за ней следит. Утром она возносила молитву Пресвятой деве покровительнице путников, чтобы уберегла ее от недоброй встречи; если на дороге попадался нищий, она непременно подавала милостыню, чтобы угодить господу богу. Больше всего она боялась идти через Соборную площадь, за которой аптекарша Амаро, сидя с шитьем у окна своей гостиной, вела неослабное наблюдение. Амелия, вся съежившись в мантилье, загораживалась зонтом и переступала порог собора всегда с правой ноги.

Но безмолвная, пустая церковь, погруженная в мертвенный полумрак, нагоняла на нее страх; ей казалось, что от кре-

стов и фигур святых исходит молчаливое осуждение; что стеклянные глаза статуй и нарисованные зрачки на священных картинах устремлены на нее, впиваются в ее лицо беспощадным взглядом и замечают, как трепещет ее тело, жаждущее объятий. Иной раз, надеясь задобрить недовольных святых, она обещалась посвятить все это утро одной Тото, заняться ею всецело, не позволять падре Амаро прикоснуться даже к краю своего платья. Но если, войдя в дом звонаря, она не заставала там Амаро, то даже не подходила к кровати Тото, а оставалась в кухне, у окна, откуда видна была массивная дверь ризницы — такая знакомая дверь, что Амелия могла бы описать шляпку каждого вбитого в нее гвоздя.

Наконец появлялся и Амаро. Было начало марта; уже прилетели ласточки, и в утренней тишине слышно было, как они щебечут, кружась между башнями и выступами соборных стен. Там и сям в сырых углах ползучие растения оживляли каменную кладку темно-зелеными пучками листьев. Амаро, иногда весьма галантный, искал среди зелени какой-нибудь цветок, чтобы поднести Амелии. Амелия же нетерпеливо барабанила пальцами по оконному стеклу. Амаро ускорял шаг; на мгновение они задерживались в дверях, держась за руки и пожирая друг друга горящими глазами — и наконец подходили вместе к Тото, чтобы отдать несколько пирожных: соборный священник не забывал приносить какое-нибудь лакомство в кармане подрясника.

Кровать Тото стояла в алькове, смежном с кухней; ее чахоточное тельце почти не выдавалось на убогой коïке, заваленной грязными одеялами, которые она терпеливо раздирала ногтями на клочья, посвящая этому занятию целые часы. В дни посещений Амелии девочка бывала одета в белый капот, а волосы ее блестели от масла: за последнее время, когда в доме звонаря стал появляться Амаро, ей, по словам чрезвычайно довольного дяди Эсгельяса, вздумалось быть похожей на человека! Дошло до того, что невозможно было отнять у нее зеркальце и расческу, которые она прятала у себя под подушкой; кроме того, она заставила отца засунуть под кровать, в корзину с грязным бельем, всех кукол: она не желала более их знать.

Амелия присаживалась на минуту в ногах кровати, спрашивала у Тото, выучила ли она азбуку, заставляла называть ту или иную букву. Затем требовала, чтобы Тото повторила без запинки молитву, которую они учили, а тем временем падре Амаро ждал у дверей; он стоял на пороге, засунув руки в карманы, не в силах сдержать досаду; его выводил из себя взгляд

блестящих глаз параличной: эти глаза неотрывно смотрели на него, пронзали насквозь, обшаривали все его тело с лихорадочным любопытством и казались пугающе огромными и яркими на смуглом, изможденном личике с торчащими скулами. Он уже не испытывал ни жалости, ни сочувствия к Тото; проволочка выводила его из себя; он находил, что эта девчонка — дикое и препротивное создание. Амелию тоже тяготили минуты, которые она скрепя сердце отдавала парализованной, чтобы не злоупотреблять всепрощением господа бога. Что касается Тото, она, судя по всему, возненавидела Амелию, отвечала на ее вопросы насупившись, а иногда враждебно молчала или отворачивалась к стене. Однажды она изорвала в клочья азбуку; лицо ее каменело от ненависти всякий раз, как Амелия хотела поправить шаль у нее на плечах или подоткнуть одеяло...

Наконец Амаро, потеряв терпение, делал Амелии знак; та клала перед Тото «Жизнеописания святых» с гравюрами.

— А теперь можешь рассматривать картинки... Вот погляди: это святой Матфей, это святая Виргиния... Прощай, мы с сеньором настоятелем пойдем наверх и помолимся богу, чтобы он тебя исцелил и позволил тебе гулять на улице. Не порви книжку, это грех.

И они всходили вверх по лестнице, а парализованная, вытянув шею, жадно прислушивалась к их шагам, к скрипу ступенек под их ногами, и ее горящие глаза наливались слезами ярости. Комнатка, куда они поднимались, была очень низкая, ничем не оклеенная: вместо потолка наверху перекрещивались черные балки, служившие опорой для черепичной кровли. У кровати висела лампадка, которая оставила на стене длинный язык копоти. Амаро не мог без смеха смотреть на уголок, приготовленный для них дядюшкой Эсгельясом: стол, на нем раскрытая книга Нового завета, графин с водой, два стула...

— Это все для нашей с тобой беседы; ведь я должен научить тебя, как стать монахиней,— говорил он, смеясь.

— Так учи! — отвечала она, раскинув руки с жаркой улыбкой, чуть приоткрывавшей белые зубы.

Он жадно целовал ее шею, волосы, иногда кусал за ухо; она вскрикивала, и оба замирали от страха, прислушиваясь к тому, что делается внизу, у парализованной. Потом священник закрывал ставни и запирал тугую дверь, которую надо было для этого прижать коленом. Амелия медленно раздевалась; наконец юбка падала кольцом на пол у ее ног, и она несколько мгновений стояла неподвижно — смутная белая фигура в темноте чердака. Тяжело дыша, Амаро делал последние

приготовления. Тогда она, торопливо перекрестясь, с коротеньким покаянным вздохом ложилась на кровать.

Амелии нельзя было оставаться здесь позже двенадцати. Поэтому падре Амаро вешал часы на тот же гвоздь, на котором висела лампада. Если они не слышали боя башенных часов, Амелия узнавала время по пению соседского петуха.

— Мне пора, милый,— бормотала она усталым голосом.

— Оставь... Вечно ты торопишься...

Они молча лежали еще несколько минут, отдаваясь приятному утомлению, не размыкая объятий.

В щели между потолочными балками просачивался свет; иногда они слышали шорох мягких кошачьих лап на крыше, бряканье задетой черепицы или птичий щебет и трепет крыльев.

— Ах, уже поздно,— говорила Амелия.

Священник пытался удержать ее, целовал шею, кончик уха...

— Ненасытный! — бормотала она.— Ну, хватит!

Она торопливо одевалась в самом темном углу; потом открывала ставни, подходила поцеловать Амаро, все еще валявшегося на кровати и начинала с шумом двигать по полу стулья и стол, чтобы дать понять парализованной, что собеседование окончено.

Амаро, поднявшись, продолжал целовать ее куда попало; тогда, чтобы положить этому конец, она вырывалась у него из рук и распахивала дверь. Священник спускался первый, быстро проходил через кухню, даже не взглянув на Тото, и возвращался в ризницу.

Амелия же, прежде чем уйти, еще раз заглядывала к больной и спрашивала, понравились ли ей картинки. Та по большей части молчала, натянув на голову одеяло и вцепившись в него пальцами, чтобы никого не видеть; но иногда Тото ждала Амелию в сидячем положении и смотрела на нее в упор, с огоньком порочного любопытства в глазах, и тянулась к ней, раздувая ноздри, точно хотела обнюхать. Амелия отшатывалась, чего-то пугаясь и краснея, потом говорила, что ей пора, забирала «Жизнеописания святых» и уходила, проклиная в душе хитрое создание, столь коварное в своей немоте.

Возвращаясь через площадь домой, Амелия неизменно видела у окна Ампаро. Наконец она сочла более благоразумным поделиться с аптекаршей тайной своих визитов к дочке

звонаря. Теперь Ампаро, едва завидев ее, кричала, перевесившись через перила балкона:

— Ну, как дела у Тото?

— Ничего, спасибо.

— Она уже читает?

— По складам.

— А молитву деве Марии запомнила?

— Да, может повторить.

— Ах, милочка, вот это любовь к богу!

Амелия скромно потупляла взор. Карлос, тоже посвященный в ее тайну, покидал балкон и выходил на порог, чтобы всласть полюбоваться Амелией.

— Вы оттуда? Уже сделали свое доброе дело? — говорил он, покачиваясь на носках и тараща глаза.

— Я немного посидела у бедняжки, надо же развлечь ее...

— Это подвиг! — восторгался Карлос.— Апостольский труд! Вы святая, дорогая моя барышня. Кланяйтесь вашей матушке.

Затем он поворачивался к младшему провизору и говорил:

— Видали, сеньор Аугусто?.. Вместо того чтобы терять время на любезничанье, как другие девицы, она стала ангелом-хранителем несчастного ребенка! Лучшие годы жизни отдает калеке! Судите сами, сеньор Аугусто, способны ли философия и материализм и прочее свинство вдохновить на подобное самопожертвование?.. Религия! Одна лишь религия, дорогой мой сеньор! Хотел бы я, чтобы это видел Ренан со своей шайкой философов! Ибо я, имейте это в виду, восхищаюсь философией, но лишь в том случае, если она идет, так сказать, об руку с верой... Я сам человек науки и глубоко чту такие имена, как Ньютон или Гизо... Но,— и прошу вас запомнить эти слова,— если философия разойдется с религией...— запомните хорошенько эти слова! — то через десять лет, сеньор Аугусто, философия будет похоронена и забыта!

И он медленно прохаживался по аптеке, заложив руки за спину и размышляя о грядущей гибели философии.

XVII

То было самое счастливое время в жизни Амаро.

«Благословение божие почило на мне»,— думал он иногда по вечерам, раздеваясь и, по семинарской привычке, подводя итог минувших дней. Да, они текли легко, радостно, приятно.

За последние два месяца в его приходе не случалось никаких неприятных происшествий, никаких стычек. Все были, как говорил падре Салданья, в ангельском настроении. Дона Жозефа нашла для сеньора настоятеля отличную и совсем недорогую кухарку, по имени Эсколастика. На улице Милосердия он чувствовал себя как король в сонме восторженных, благоговеющих придворных; каждую неделю, один или два раза, наступали дивные, божественные минуты в домике дяди Эсгельяса; и, в полной гармонии с этим безоблачным счастьем, погода стояла такая чудесная, что в Моренале уже зацветали розы.

Радовало его и то, что ни старухи, ни коллеги-священники, ни причетники ничего не подозревали о его свиданиях с Амелией. Занятия с Тото вошли в привычку для всех завсегдатаев улицы Милосердия и назывались «добрым делом нашей девочки»; Амелию ни о чем особенно не расспрашивали, повинуясь установленному правилу о том, что благотворительность должна быть секретом между нами и богом. Лишь изредка ее спрашивали, как сказываются на больной занятия; Амелия уверяла, что Тото очень изменилась, что глаза ее постепенно открываются и она начинает понимать закон божий; затем разговор деликатно переводился на другую тему. Было решено, что как-нибудь потом, когда Тото хорошенько выучит катехизис и станет разумней, они всей компанией совершат паломничество в дом звонаря, чтобы почтить подвиг Амелии и насладиться унижением лукавого.

Амелия, рассчитывая на всеобщее доверие к своей добродетели, предложила Амаро пойти на хитрость: сказать, что сеньор соборный настоятель иногда приходит послушать ее благочестивую беседу с Тото...

— И тогда, если кто-нибудь увидит, что ты вошел к дяде Эсгельясу, это не вызовет никаких подозрений.

— По-моему, не надо,— сказал он.— Бог на нашей стороне, дорогая, это ясно. Не будем вмешиваться в его предначертания. Он видит дальше и лучше нас...

Она тотчас согласилась — как соглашалась со всяким его словом. После первого же свидания на чердаке у дяди Эсгельяса она предалась падре Амаро беззаветно — душой, телом, волей, чувствами. Не было ни одной мысли в ее голове, которая не принадлежала бы всецело сеньору настоятелю. Это порабощение не было постепенным: оно совершилось сразу, всецело и бесповоротно в тот самый миг, когда вокруг нее впервые сомкнулись его сильные руки. Можно было подумать, что поцелуи священника выпили, высосали ее душу: она стала каким-

то придатком его личности. И она даже не думала скрывать это; ей сладко было подчиняться ему, находиться в полном его распоряжении, чувствовать себя его рабой, его вещью; она сама хотела, чтобы он думал за нее, и с облегчением перекладывала на его плечи груз ответственности за себя, слишком для нее тяжелый. Суждения обо всем на свете приходили к Амелии готовые, прямо из головы сеньора настоятеля, и это казалось ей вполне естественным, будто кровь, текущая в ее жилах, вливалась в них из его сердца. «Сеньор падре Амаро говорит», «Сеньор падре Амаро хочет» — это были для нее аргументы достаточные и неопровержимые. Глаза ее были с собачьей готовностью устремлены на его лицо и читали малейший знак его воли; когда он говорил, ей надо было только слушать, а когда наступал момент — расстегивать платье.

Амаро наслаждался своей властью безмерно; наконец-то он брал реванш за свое прошлое. Всегда и всюду до сих пор он был покорен чужой воле: в доме дяди, в семинарии, в белой гостиной у графа де Рибамар... Вся его служба в приходе была постоянным раболепным покорствованием, изнурявшим душу: он подчинялся сеньору епископу, епархиальному совету, канонам, уставу, который регламентировал решительно все, даже содержание его разговоров с псаломщиком. И вот наконец у его ног это белое тело, эта преданная душа, над которыми он властвует, как деспот. Если в силу профессии он с утра до ночи обязан был восхвалять бога, поклоняться богу, воскурять фимиам богу, то теперь и сам стал богом для этого существа, которое боялось его и воздавало ему неслыханные почести. Для Амелии он был не только красавцем, но и властелином, вроде графа или герцога, первым претендентом на митру епископа. Однажды она сказала после недолгого размышления:

— Ты мог бы стать папой римским!

— Да, ими делаются такие, как я,— ответил он совершенно серьезно.

И она верила в это и только боялась, что высокий сан разлучит их, вынудит его покинуть Лейрию. Всепоглощающая, всепроникающая страсть отняла у нее разум, сделала тупой ко всему, что не касалось сеньора настоятеля и их любви. Да и сам Амаро не допускал, чтобы ее занимали посторонние мысли или интересы; он не разрешал ей даже читать романы и стихи. Для чего ей лишние знания? Какое ей дело до того, что происходит на свете? Однажды она с увлечением стала рассказывать ему, что граф де Вна Клара дает бал,— и Амаро был оскорблен этим, как изменой. При следующем свидании у дяди Эсгельяса

он обрушил на нее чудовищные упреки: она тщеславная вертушка, распутница, исчадие сатаны!..

— Я убью тебя! Понимаешь? Убью! — кричал он, хватая ее запястья и испепеляя бешеными, горящими глазами.

Его мучил страх, что когда-нибудь она ускользнет из-под его власти, освободится от оков слепого, безусловного повиновения. Ему казалось, что со временем ей должна наскучить любовь человека, который не может дать удовлетворения женскому тщеславию и жажде светских удовольствий, который облачен в подрясник, обязан брить волосы на лице и носить тонзуру на темени. Он считал, что яркий галстук, красиво закрученные усы, верховой конь, мундир с позументом действуют на женщин неотразимо. Стоило Амелии только упомянуть об одном из офицеров расквартированной в городе части или о ком-нибудь из местных красавцев, он не скрывал раздражения и ревности...

— Ты влюбилась в него? Признайся! За нарядный костюмчик, за усики?

— Я влюбилась? О милый, да я его никогда и не видела!

Но в таком случае зачем говорить о нем? Значит, ее гложет греховное любопытство, раз она думает о других мужчинах? Надо лучше бдеть над своей душой и мыслями; именно такими моментами слабости пользуется дьявол!..

Он возненавидел все мирское, ибо оно могло отнять у него Амелию, вырвать ее из магического круга, очерченного тенью его сутаны. Под различными туманными предлогами он запрещал ей выходить на улицу и даже убедил Сан-Жоанейру, чтобы та не пускала дочь одну в магазины и торговые ряды под Аркадой. И он неустанно внушал Амелии, что все мужчины — негодяи и безбожники, что они обросли коростой пороков, что они безмозглы и лживы и обречены на вечные муки в аду! Он рассказывал ей гнусности почти обо всех молодых людях Лейрии. Она спрашивала с отвращением и любопытством:

— Откуда ты знаешь?

— Этого я не могу тебе сказать,— отвечал он выразительно, давая понять, что к молчанию его вынуждает тайна исповеди.

И в то же время он беспрестанно твердил о славе и величии духовенства. Он с увлечением раскидывал перед ней россыпи сведений, почерпнутых из учебников, превозносил до небес значение и нравственное величие священства. В Египте, великом государстве древности, только священнослужитель мог стать царем! В Персии, в Эфиопии простой священник обладал

правом свергать владык и венчать на царство! Кто еще имел подобную власть? Не было такой нигде и нет даже в царствии небесном! Простой священник выше даже ангелов и серафимов, ибо ему, а не им, дано божественное право отпускать грехи! Даже сама приснодева Мария не имеет большей власти, чем он, падре Амаро! При всем почтении к величию царицы небесной, он вынужден повторить вслед за святым Бернардином: «Священник могущественней тебя, о сладчайшая матерь божия!» И вот почему: пресвятая дева носила бога в своем целомудренном чреве лишь однажды, а священник носит его в себе всю жизнь и каждый день, совершая святое таинство причащения! И это вовсе не его, падре Амаро, измышление: так говорят святые отцы церкви...

— Ну, что теперь скажешь?

— О милый! — лепетала она, потрясенная его величием и изнемогая от восхищения.

После этого он оглушал ее цитатами из самых прославленных источников. Святой Клементий говорил: «Священник — это бог на земле»; святой Иоанн Златоуст сказал: «Священник — посланец бога, передающий на землю его повеления». А святой Амвросий писал: «Между величием царя и величием священника такая же пропасть, как между свинцом и золотом!»

— Тут перед тобой золото,— говорил Амаро, похлопывая себя по груди.— Поняла?

Она молча бросалась в его объятия, исступленно целовала его, словно хотела завладеть в его лице золотом святого Амвросия, забрать в плен посланца божия, сделать своим самое возвышенное и благородное существо на свете, которое ближе к богу, чем ангелы и серафимы!

Амаро неустанно твердил Амелии, что имеет власть почти божественную, что он близок к богу; и он всячески старался внушить ей уверенность в ждущей ее награде: любовь к священнику заслужит ей симпатию и сочувствие бога; после смерти два ангела прилетят к ней, возьмут за руки и проводят до ворот рая, чтобы рассеять все сомнения, какие могли бы возникнуть у святого Петра, привратника небес; а на могиле ее — как уже случилось во Франции с одной девушкой, полюбившей своего кюре,— в одну ночь вырастут белые розы в знак того, что девственность не терпит ущерба от объятий священника.

Амелия была очарована. При мысли об ароматных розах на своей могиле она затихала в светлой задумчивости, предвку-

шая мистическое блаженство. Тихо вздыхая, умильно складывая губки, она говорила, что хочет поскорее умереть.

Амаро подымал ее на смех.

— Посмотри на себя... Не похоже, чтобы ты собиралась умереть!

И действительно, Амелия пополнела и похорошела. Она достигла полного и гармоничного расцвета своей красоты. В ее лице не бывало больше того горького беспокойства, от которого заострялся нос и в углах рта залегали старушечьи морщинки.

Губы ее словно налились алым, горячим соком; глаза улыбались, омытые прозрачной влагой; вся она была воплощением зрелости и готовности к материнству. Дома Амелия стала лениться, она то и дело опускала работу на колени и смотрела неведомо куда долгим, счастливым взглядом; казалось, все вокруг блаженно дремлет: иголка, ткань в ее руках и сама Амелия. В ее воображении возникала каморка звонаря, кровать и падре Амаро без подрясника...

Она проводила дни в ожидании, когда пробьет восемь: точно в этот час ежедневно приходили падре Амаро и каноник Диас. Но теперь вечерние сборища тяготили Амелию. Падре Амаро требовал от нее величайшей сдержанности, и, благоговейно повинуясь ему, она доводила до предела необходимую осторожность, никогда не садилась рядом с ним за стол и даже не подавала ему пирожных. И присутствие старух становилось для нее еще ненавистней; она с трудом переносила гомон их голосов, ей казалось, что они слишком долго сидят за лото; все на свете было ей отвратительно; она жаждала лишь одного: очутиться с ним наедине... Зато потом, на чердаке у звонаря, какая награда! Ее побелевшее лицо, прерывистый бредовый шепот, стоны, а потом мертвенная неподвижность иногда даже пугали падре Амаро. Приподнявшись на локте, он спрашивал:

— Тебе дурно?

Амелия открывала еще невидящие глаза, словно возвращаясь из какого-то неведомого далека; и она была поистине прекрасна, когда, прикрыв руками голую грудь, медленно качала головой: «Нет!»

XVIII

Неожиданная помеха испортила утренние свидания у дяди Эсгельяса. Причиной тому были дикие выходки Тото. Падре Амаро вынужден был признать, что эта девочка — «настоящий монстр!».

Теперь она питала к Амелии непобедимое отвращение. Стоило той приблизиться к ее кровати, как она пряталась с головой под одеяло; а если слышала голос Амелии или чувствовала прикосновение ее руки, то начинала дергаться в страшных судорогах. Амелия торопилась уйти, со страхом вспоминая, что Тото одержима бесом: наверно, почувствовав запах ладана от ее платья, бес корчился от ужаса в теле больной...

Амаро счел необходимым сделать выговор Тото за черную неблагодарность по отношению к менине Амелии, которая приходит занимать ее, учит понимать господа... Но парализованная разразилась истерическим плачем, а потом вдруг вся окаменела; глаза ее закатились, на губах выступила пена. Оба перепугались, опрыскали ее водой; Амаро, на всякий случай, прочел молитву об изгнании беса... С тех пор Амелия решила «оставить эту бестию в покое». Больше она не пыталась вдолбить ей алфавит и молитву святой Анне.

Но из щепетильности падре Амаро и Амелия все-таки каждый раз заходили на минутку к Тото. Они, впрочем, не переступали порог ее алькова и только спрашивали, как она себя чувствует. Тото никогда не отвечала; Амаро и Амелия поскорей уходили, подавленные взглядом ее диких, возбужденных глаз, которые оглядывали их поочередно, настороженно ощупывали с ног до головы, отливая металлическим блеском, останавливались на складках их одежды, словно силясь угадать, что под ними скрыто. В пароксизме порочного любопытства раздувались ее ноздри и оскаливался бледный рот. Но всего неприятней было упорное, злостное молчание. Амаро не очень верил в существование порченных и одержимых бесом; он сказал, что у Тото просто буйное помешательство. Амелия еще больше перепугалась. Какое счастье, что паралич приковывает девчонку к кровати! Если не это,— господи Иисусе! — она, того и гляди, ворвалась бы к ним в комнату и искусала обоих!

Амелия заявила, что вид Тото отравляет ей все удовольствие; было решено подниматься наверх, не заходя в комнату больной.

Стало и того хуже. Заметив, что Амелия проходит из двери прямо на лестницу, Тото, хватаясь за перекладину кровати, свешивалась над полом, тянулась изо всех сил, чтобы увидеть, выследить их, и лицо ее искажалось от злобы на свое бессилие. Вбегая в верхнюю комнату, Амелия слышала, как снизу доносится сухой смешок или долгий, протяжный вой, от которого кровь леденела в жилах...

Амелию мучил страх, что бог нарочно поместил тут, рядом с приютом их любви, злобного демона, чтобы он беспрепятственно травил их и глумился над ними. Амаро, надеясь успокоить ее, сказал, что его святейшество Пий IX недавно объявил грехом веру в лиц, одержимых дьяволом.

— Для чего же тогда молитва об изгнании бесов?

— Это остатки прежней веры. Теперь все переменилось... Как ни говори, наука есть наука.

Но она подозревала, что Амаро рассказывает это нарочно. Присутствие Тото отравляло ей жизнь. Наконец Амаро придумал способ ускользнуть от преследований «проклятой девчонки»: они оба будут входить со стороны ризницы. Тогда достаточно будет пройти через кухню, чтобы сразу попасть на лестницу, а кровать Тото стоит в алькове так, что девочка не сможет их увидеть. Осуществить это было нетрудно, потому что в час их свиданий — между одиннадцатью и двенадцатью — ризница в будние дни была совершенно безлюдна.

И все же, когда они на цыпочках и задерживая дыхание проходили через кухню, случалось, что под ногами их скрипнет какая-нибудь ступенька. В тот же миг в алькове раздавался хриплый, яростный крик:

— Собака! Уходи прочь, собака!

Амаро с трудом подавлял желание задушить эту бестию. Амелия дрожала, вся побелев.

А та продолжала выть:

— Там ходят собаки! Там ходят собаки!

Они вбегали в свою комнатку и запирались на ключ. Но хриплый, истошный вой, доносившийся словно из пучины ада, преследовал их и тут:

— Собаки дерутся! Собаки сцепились!

Амелия падала на кровать, обессилев от страха, и клялась, что ноги ее больше не будет в этом проклятом доме.

— Но чего ты хочешь? — раздражался Амаро.— Где же нам тогда встречаться? Не в ризнице же, на скамье?

— Что я ей сделала? Что я ей сделала? — вскрикивала Амелия, ломая руки.

— Ничего ты ей не сделала! Она сумасшедшая... Дядя Эсгельяс — несчастный человек... Ну, чего ты хочешь?

Она не отвечала. Но дома, по мере того как приближался час свидания, она начинала дрожать всем телом, вспомнив завыванье Тото, звучавшее в ее ушах даже во сне. И постепенно страх начал выводить Амелию из духовного оцепенения, в которое она впала, впервые очутившись в объятиях священни-

ка. Она спрашивала себя, простится ли ее грех. Хотя Амаро обещал ей полное прощение неба, его слова больше не успокаивали ее. Она видела, как по лицу падре Амаро разливается бледность, когда Тото начинает выть, как озноб страха перед адом пробегает по его телу. А если бог снял с них вину, зачем он позволяет дьяволу, вселившемуся в парализованную, унижать их и глумиться над ними?

Она вставала на колени возле кровати и творила бесчисленные молитвы Пресвятой деве всех скорбящих, прося, чтобы матерь божия просветила ее, открыла бы, что означает ненависть Тото, не посылает ли небо грозное предупреждение? Но пресвятая дева молчала. Амелия не чувствовала, как бывало, блаженного мира, лившегося ей в душу в ответ на молитву, подобно струе теплого молока. То был знак божественной благодати. Но теперь, покинутая небом, Амелия бледнела и ломала руки. Она давала обет не ходить больше в дом звонаря. И все же, наступал условленный день, и, вспомнив Амаро, постель на чердаке, поцелуи, уносившие ее на небо, огонь, пожиравший ее всю, она чувствовала, что бессильна противостоять искушению. Она одевалась, давала себе слово, что это последний раз, и как только часы били одиннадцать, выходила из дома; уши ее горели, сердце дрожало от мысли, что скоро она услышит вой Тото, а тело жгла жажда объятий этого человека, который ляжет с ней на кровать в каморке звонаря.

Войдя в церковь, она не решалась молиться из страха перед святыми и сразу проходила в ризницу, как бы ища спасения подле Амаро, отдавая себя под защиту его сутаны. Видя, что она так бледна и растерянна, он принимался шутить, чтобы успокоить ее. Ну не глупо ли портить себе все удовольствие из-за того, что в доме живет сумасшедшая? Амаро, впрочем, обещал найти какое-нибудь другое место для свиданий, а иногда, пользуясь тем, что в ризнице никого не было, старался чем-нибудь развлечь Амелию: показывал облачения, дароносицы, ризы, давал полюбоваться новым алтарным покровом или старинным кружевом на мантии; непринужденность его обращения со святыми предметами должна была успокоить ее, напомнить, что он все еще соборный настоятель и не утратил своего престижа в небесных сферах.

Однажды утром он развернул перед ней покрывало для статуи пресвятой девы, присланное на днях в дар от одной богатой почитательницы из Оурена. Амелия пришла в восхищение. Мантия была из синего атласа, изображавшего небо. Она была вся расшита звездами, а в середине ее пылало золо-

тое сердце, окруженное золотыми розами. Амаро подошел с покрывалом ближе к окну, чтобы Амелия видела, как сверкает на нем выпуклое шитье.

— Великолепная работа, а? Эта мантия стоит несколько сотен милрейсов. Вчера мы примеряли ее на статую... Получается чудесно. Только немного длинновато.— Он поглядел на Амелию, как бы сравнивая ее рослую фигуру с приземистой богоматерью, и вдруг сказал:

— Тебе оно было бы как раз впору. Ну-ка, примерь!

Она отступила:

— О боже, что ты! Какой грех!

— Вздор! — возразил он, приближаясь к ней с развернутым покрывалом, так что видна была подкладка из белого атласа, сверкавшего, как утренний снег.— Оно еще не освящено. Все равно что от портнихи.

— Нет, нет,— слабо протестовала Амелия; но глаза ее уже заблестели: ей и самой хотелось примерить покрывало.

Он стал смеяться над ней. Неужели она знает лучше священника, что грешно, а что дозволено? Или менина собирается учить его уважению к ризам святых?

— Ну же, не глупи. Дай примерить!

Он накинул покрывало ей на плечи, застегнул на груди аграф из чеканного серебра и отступил на несколько шагов, чтобы полюбоваться на испуганную Амелию в мантии, застывшую в неподвижности с улыбкой благочестивого восторга на устах.

— О милая, какая ты сейчас хорошенькая!

Тогда она, двигаясь бережно и торжественно, подошла к ризничному трюмо — старому, зеленоватому зеркалу в резной дубовой раме и с дубовым же крестом наверху — и несколько мгновений смотрела на себя; всю ее окутывал небесно-синий шелк, испещренный россыпью искр, сверкавших звездным великолепием. Она чувствовала на своих плечах благородную тяжесть ткани. Святость этого покрывала, уже касавшегося плеч богоматери, преисполняла ее благочестивой негой. Какое-то тонкое дуновение, нежнее самых легких земных ветров, ласкало ее, словно райский эфир. Ей казалось, что она святая и стоит на носилках в день праздничного шествия или даже еще выше, на небе...

Амаро любовался ею с умилением.

— Ах, дорогая, ты красивее пресвятой девы...

Она бросила быстрый взгляд в зеркало. Да, это правда, она красива. Конечно, пресвятая дева лучше... Но с этим смуг-

ло-розовым лицом, с этими алыми губами, с этими блестящими черными глазами она могла бы заставить биться, и биться сильно, сердца верующих, если бы ее вознесли на алтарь и пели бы ей хвалы под звуки органа, а у ног ее звучали бы молитвословия!

Тогда Амаро подошел к ней сзади, обхватил руками ее грудь, сжал ее всю и, приблизив губы к ее губам, впился в них молчаливым, долгим поцелуем. Глаза Амелии полузакрылись, отяжелевшая голова откинулась назад. Жадные губы священника не хотели отрываться, выпивали, вбирали в себя ее душу. Дыханье ее все ускорялось, колени дрожали, и, наконец, со слабым стоном она прислонилась к груди падре Амаро, внезапно побледнев, почти без сознания от счастья.

Но вдруг Амелия выпрямилась, словно от толчка, и посмотрела на Амаро, мигая ресницами, как бы очнувшись от забытья. Волна крови прихлынула к ее лицу:

— О Амаро, это ужасно! Какой грех!

— Пустяки! — ответил он.

Но она уже торопливо снимала с себя мантию, убитая стыдом.

— Сними ее с меня! Скорее! — стонала она, словно шелк жег ее тело.

Улыбка сошла с лица Амаро. Она права, со священными предметами не шутят.

— Да ведь оно не освящено... Напрасно ты сомневаешься...

Он тщательно сложил покрывало, завернул его в белую простыню и, не сказав больше ни слова, запер в ящике. Амелия смотрела на него, окаменев от ужаса; только ее побелевшие губы шевелились, шепча молитву.

Когда он сказал ей наконец, что пора идти к звонарю, она отшатнулась, словно сам дьявол позвал ее к себе, и жалобно вскрикнула:

— Сегодня нет!

Но он настаивал. Всякому безумию есть предел... Она же понимает, что, пока покров не освящен, нет никакого греха в том, чтобы его примерить. Это умственное убожество!.. Какого черта! Всего на полчаса! Ну, на четверть часика!

Она не отвечала и шла к двери.

— Значит, не хочешь?

Она еще раз обернулась, глядя на него умоляющими глазами:

— Сегодня нет!

Амаро пожал плечами, и Амелия быстро пошла прочь из

церкви, низко опустив голову и не смея поднять глаза, словно спеша уйти подальше от возмущенных святых.

На следующий день утром Сан-Жоанейра, сидевшая в столовой, вышла на лестницу, услышав пыхтенье поднимавшегося к ней каноника. Она встретила его внизу и заперлась с ним в нижней гостиной.

Дело в том, что ей нужно поделиться с ним ужасной тревогой; на рассвете Амелия вдруг проснулась с отчаянными криками: пресвятая дева душит ее, наступив на горло ногой! Она не может дышать! Тото жжет ей спину свечкой! Языки адского пламени лижут собор! Словом, что-то ужасное... Когда мать вошла к Амелии, та металась по комнате в одной сорочке как безумная. Потом упала на пол в истерическом припадке. Весь дом переполошила... Теперь бедная девочка лежит в постели, за все утро не проглотила и ложки бульона.

— Тяжелые сны! — сказал каноник.— Несварение желудка!

— Ах нет, сеньор каноник! — покачала головой Сан-Жоанейра; совершенно подавленная, она сидела перед ним на краешке стула.— Тут что-то другое! Все эти злосчастные визиты к дочке звонаря!

И она излила канонику свою душу, бурно, многоречиво, как тот, чье долго сдерживаемое недовольство вдруг прорывает все плотины молчания. Она раньше ничего не говорила: ведь это правда, Амелия делает дело, угодное богу; но с тех пор как начались занятия с Тото, Амелию не узнать. Особенно в последнее время. То припадки непонятного веселья, то такое уныние, что стенам тошно. По ночам слышно, как она бродит по всему дому, открывает окна... Иной раз после занятий с Тото просто страшно на нее смотреть; глаза дикие, сама белая как простыня, от слабости едва держится на ногах. Недаром шепчут, что Тото одержима злым духом. А сеньор декан (не теперешний, а тот, что умер) всегда говорил, что две болезни особенно прилипчивы к женщинам: чахотка и бесовское наваждение. Нет, не надо было позволять Амелии ходить к дочери звонаря! Кто может поручиться, что это не вредит ее здоровью и душе? Словом, Сан-Жоанейра хотела, чтобы какой-нибудь здравомыслящий человек, опытный в этих делах, сходил бы взглянуть на Тото...

— Короче говоря,— сказал каноник, слушавший с закрытыми глазами ее жалобные мольбы,— вы желаете, чтобы я пошел к парализованной и выяснил, в чем тут дело...

— Ах, у меня бы камень с души свалился, голубчик ты мой!

Слово «голубчик», которое Сан-Жоанейра, женщина степенная и в годах, произносила лишь в интимные минуты сиесты, тронуло каноника. Он погладил по плечу «свою старушку» и обещал заняться дочкой звонаря.

— Завтра, хорошо? — попросила Сан-Жоанейра.— Тото будет одна...

Но каноник предпочитал, чтобы Амелия тоже была там. Тогда он увидит, как они ладят между собой и не замешана ли тут нечистая сила.

— Подобные услуги, знаешь ли, заслуживают благодарности... Я соглашаюсь только ради тебя. Довольно с меня собственных хвороб: на что мне впутываться в дела сатаны?

Сан-Жоанейра вознаградила его сочным поцелуем.

— Ах вы, сирены, сирены!..— покачал головой каноник.

Это поручение было ему весьма неприятно; оно означало нарушение привычек, испорченное утро; ему придется напрягать свою проницательность, он утомится; помимо всего прочего, зрелище болезни ему ненавистно, как и все, что напоминает о смерти. И все же он был верен данному слову. Несколько дней спустя, узнав, что Амелия утром пойдет к Тото, он с ворчаньем поплелся в аптеку Карлоса и уселся там, поглядывая одним глазом в «Народную газету», а другим на площадь, чтобы не пропустить Амелию. Самого Карлоса не было в аптеке; сеньор Аугусто убивал время чтением своего любимого Соареса де Пассос; в проеме двери видна была часть площади; жаркое апрельское солнце ослепительно сверкало на каменных плитах мостовой; никто не проходил мимо аптеки. Тишину нарушал только стук молотков: у доктора Перейры шли ремонтные работы. Амелия запаздывала. Каноник уронил газету на колени и погрузился в размышления о том, какую ни с чем не сообразную жертву он приносит ради спокойствия Сан-Жоанейры. Близился жаркий час полудня; у каноника слипались глаза, его совсем разморило. Вдруг в аптеку вошел какой-то священник.

— А, аббат Ферран, какими судьбами! — воскликнул каноник, очнувшись от дремоты.

— Мимолетом, коллега, мимолетом,— отвечал тот, бережно кладя на стул два тяжелых тома, перевязанных веревочкой. Затем он повернулся к младшему провизору и вежливо снял шляпу, обнажив седую голову; ему было лет за шестьдесят; но крепкое сложение, веселый огонек в небольших живых глазах и великолепные зубы обличали в нем несокрушимое здо-

ровье; к сожалению, непомерно большой нос портил это приятное лицо.

Устремив на каноника добрые глаза, он спросил, по какому случаю коллега Диас оказался в аптеке: просто зашел навестить хозяина или, к несчастью, его привела сюда болезнь?

— Нет, я тут дожидаюсь... Деликатная миссия, дружище Ферран!

— А! — тактично прекратив расспросы, откликнулся аббат и стал аккуратно перебирать бумаги в набитом до отказа портфельчике, ища рецепт и одновременно рассказывая канонику новости о своем приходе. Он служил в Пойяйсе, по соседству с Рикосой, где находилось одно из имений каноника. Как раз сегодня утром аббат проходил мимо его усадьбы и очень удивился, увидев, что там перекрашивают фасад. Что, коллега Диас собирается проводить лето в Рикосе?

Нет, Диас не собирался проводить там лето. Но внутри дом только что ремонтировался, а фасад в таком состоянии, что совестно смотреть — вот и решил кстати покрыть его охрой. Надо же соблюдать внешнюю благопристойность, тем более что дом стоит на самом шоссе, мимо каждый день ходит владелец Пойяйса, этот несносный хвастун, который воображает, что у него единственный приличный особняк на десять лиг в округе... Надо сбить спесь с этого безбожника! Вы со мной согласны, дорогой Ферран?

Аббат в эту минуту как раз скорбел в душе о том, что его собрат священнослужитель поддался суетному тщеславию; но по христианской доброте и чтобы не обижать коллегу, торопливо сказал:

— Конечно, конечно! Все предметы как-то веселеют, когда их содержат в порядке...

Но тут каноник заметил, что мимо аптеки промелькнула юбка и мантилья, и высунулся посмотреть, кто прошел. Нет, это была не Амелия. Он вернулся в помещение, уже снова занятый мыслями о поручении Сан-Жоанейры, и сказал аббату, благо провизор ушел в лабораторию:

— На меня возложили важную дипломатическую миссию! Я должен посетить одну одержимую бесом девушку.

— Вот как! — заметил аббат, слегка нахмурившись при мысли о столь щекотливом деле.

— Пойдемте со мной! Это совсем рядом...

Аббат вежливо извинился. Он уже имел беседу с сеньором главным викарием, затем заходил к Силверио за этими вот двумя книгами, теперь должен заказать лекарство для одного

Преступление Падре Амаро

старика из своего прихода, а ровно в два часа обязан быть у себя в Пойяйсе.

Каноник попытался его уговорить: всего на одну минутку; случай презанятный...

Тогда аббат откровенно сказал дорогому коллеге, что предпочитает не вникать в такого рода истории: он не может преодолеть внутреннего протеста, глубокого недоверия, и это мешает ему отнестись к подобным случаям с должной непредвзятостью.

— Но почему же? Ведь бывают же на свете чудеса! — сказал каноник и пояснил свою мысль: хотя он и сам не свободен от сомнений, но недоверие аббата к сверхъестественному феномену, заслужившему интерес такого человека, как он, каноник Диас, напрасны и даже обидны. И он заключил: — Я имею известный опыт и знаю, что случаются и подлинные чудеса.

— Разумеется, разумеется, чудеса бывают,— ответил аббат.— Отрицать, что господь бог или царица небесная иногда являются людям, значило бы идти против учения церкви... Отрицать, что дьявол может вселиться в человека, значило бы впасть в прискорбное заблуждение... Все мы знаем такие случаи. Нечто подобное произошло с библейским Иовом; сверхъестественные явления бывали в семье Сарры. Ясно, что чудеса случаются. Но как редко, каноник Диас!

Он помолчал, глядя на каноника, молча набивавшего ноздрю нюхательным табаком, и продолжал вполголоса с лукавым блеском в глазах:

— А не обратил ли внимания коллега, что в наше время видения бывают только у женщин? Только у них! А ведь женщины хитры! Сам Соломон мудрый не знал, как с ними сладить. Их натура так нервозна, так противоречива, что медики отказываются понимать ее. И вот именно с женщинами, и только с ними, происходят чудеса! Слышал ли когда-нибудь коллега Диас, чтобы пресвятая дева явилась, например, городскому нотариусу? Или чтобы бес вселился в мирового судью? Нет. Это наводит на размышления... Я делаю отсюда вывод, что все дело в женских хитростях, иллюзии, игре воображения, болезни и так далее... Вы со мной согласны? Лично я взял себе за правило оставлять такие вещи без внимания и смотреть на них равнодушно.

Но каноник, не спускавший глаз с двери, вдруг замахал зонтом и закричал:

— Пст! Пст! Эй!..

Он увидел направлявшуюся в собор Амелию. Та остановилась, неприятно пораженная этой встречей, которая задержит ее еще больше. Наверно, сеньор падре Амаро уже сердится...

— Итак, милейший аббат,— продолжал каноник в дверях, раскрывая зонт,— стоит при вас заикнуться о чуде...

— И я тотчас заподозрю соблазн.

Каноник несколько мгновений смотрел на него уважительным взглядом:

— Ферран, прозорливостью вы заткнете за пояс самого царя Соломона!

— Ну что вы, коллега! Ну что вы! — воскликнул аббат, обидевшись за премудрого Соломона.

— Вы заткнете за пояс самого Соломона! — повторил каноник, переступая порог аптеки.

У него была приготовлена длинная история, чтобы объяснить Амелии свой неожиданный визит к парализованной девочке, но в споре с аббатом она выскочила у него из головы, как и все, что он оставлял хотя бы на одну минуту в запасниках своей памяти. Он просто сказал Амелии:

— Идем вместе, я тоже хочу взглянуть на твою Тото!

Амелия остолбенела. Падре Амаро, без сомнения, уже там! Но пресвятая дева всех скорбящих, ее покровительница, к которой Амелия тут же воззвала с жаркой мольбой, не покинула ее в беде,— и каноник, шагавший рядом, с крайним удивлением услышал ее слова, сказанные со смешком:

— Ах да, ведь сегодняшний день значится в расписании! Сеньор соборный настоятель тоже хотел зайти сегодня к Тото... Возможно, он уже там.

— Как? Милейший Амаро тоже? Чудесно, чудесно. Мы устроим консилиум!

Амелия, страшно довольная своей находчивостью, пустилась в долгие рассказы о Тото. Сеньор каноник сам увидит... Она непостижима! Не хотелось говорить об этом дома, но последнее время Тото просто буянит... И все время говорит такие странные слова про собак и всяких животных, просто жутко!.. Ах, по правде говоря, это тяжелая обязанность! Девочка не хочет ни учить уроки, ни читать молитвы, ни слушать наставления. Это звереныш!

— Здесь тяжелый запах! — буркнул каноник, входя в дом звонаря.

— Ничего не поделаешь! Тото — неисправимая пачкунья, не желает знать ни чистоты, ни порядка. Папаша тоже изрядный неряха... Вот сюда, сеньор каноник,— продолжала она,

отпирая дверь алькова. По требованию соборного настоятеля дядя Эсгельяс теперь, уходя, всегда запирал ее.

Тото полусидела на кровати; острое любопытство выразилось на ее лице, когда она услышала за дверью незнакомый мужской голос.

— Ну-с, привет сеньоре Тото! — сказал ей каноник, остановившись на пороге.

— Что же ты, поздоровайся с сеньором каноником! — сказала Амелия, тотчас же принимаясь с непривычной заботливостью поправлять простыни и приводить в порядок альков.— Скажи ему, как ты себя чувствуешь. Не смотри такой букой!

Но Тото была так же нема, как святой Бенедикт, висевший у нее в изголовье. Она пристально рассматривала этого нового священника, такого толстого, такого старого, такого непохожего на сеньора соборного настоятеля... И ее глаза, блестевшие с каждым днем все ярче, в то время как лицо худело и черты обострялись, переходили от него к Амелии, от Амелии к нему, словно силясь угадать, зачем она привела сюда этого грузного старика и поднимется ли с ним тоже в чердачную комнату.

Амелия дрожала от волнения. Что, если сюда сейчас войдет Амаро, и Тото, впав в бешенство, примется кричать, что они собаки! Сославшись на необходимость прибрать квартиру, она вышла в кухню и стала у окна, чтобы видеть двор. Как только Амаро появится, она сделает ему знак уходить.

Оставшись наедине с Тото, каноник решил приступить к обследованию и для начала спросил у параличной, сколько лиц соединяется в святейшей троице. Но она, вытянув к нему шею, едва слышно шепнула:

— А где другой?

Каноник не понял. Погромче! В чем дело?

— Где другой? Тот, что всегда приходит с ней?

Каноник наклонился поближе к Тото, подставив ухо:

— Какой это другой?

— Красивый. Который запирается с ней в комнате. Который ее щиплет...

Но Амелия вернулась в комнату, и парализованная сразу умолкла. Она закрыла глаза и откинулась на подушки, дыша полной грудью, словно все ее страдания сразу кончились. Каноник же, оцепенев от удивления, стоял все в той же позе, наклонившись над кроватью, как врач, прослушивающий сердце. Наконец он выпрямился, отдуваясь точно в знойный день августа, медленно втянул в ноздрю большую понюшку и застыл

на месте, держа в пальцах открытую табакерку и глядя покрасневшими глазами на одеяло Тото.

— Ну, сеньор каноник, что вы скажете о моей больной? — спросила Амелия.

Он ответил, стараясь не смотреть на нее:

— Что ж, очень хорошо... Все в порядке. Немного странная девочка... Однако мне пора. Надо идти... До свиданья.

Он вышел и сейчас же вернулся в аптеку.

— Стакан воды! — крикнул он, входя и плюхаясь на стул.

Карлос, успевший вернуться, засуетился; он предлагал принести апельсинового уксусу, расспрашивал, что с сеньором каноником. Ему нездоровится?

— Устал,— отвечал тот.

Он взял со стола «Народную газету» и застыл неподвижно, уставившись в газетный лист. Карлос попытался завести речь о внутренней политике, об испанских событиях, об угрозе революции, нависшей над обществом, о бездарности председателя Муниципальной палаты, чьим неумолимым противником объявил себя с некоторых пор... Тщетно. Его преподобие в ответ что-то буркал, односложно и угрюмо. Тогда Карлос замкнулся в уязвленном молчании, презрительно поджимая губы и сравнивая мрачную тупость этого клерикала с вдохновенным словом таких, как Лакордэр или Мальян! Не удивительно, если в Лейрии и во всей Португалии гидра материализма поднимает голову!

На башенных часах пробило час, когда каноник, уголком глаза наблюдавший за площадью, увидел идущую домой Амелию. Он бросил газету, вышел из аптеки, не простившись с сеньором Карлосом, и зашагал неловкой походкой толстяка к дому дяди Эсгельяса. Тото задрожала от страха, снова увидев в дверях алькова его пузатую фигуру. Но каноник заулыбался, назвал ее Тотозиньей, посулил денежку, чтобы купить пирожное, и, наконец, уселся в ногах кровати, с облегчением отдуваясь.

— Уф! Ну а теперь, дружок, давай с тобой поговорим. Какая ножка у тебя болит? Эта? Ах она, бедненькая... Ничего, поправишься. Я попрошу боженьку. Это мы уладим.

Она то бледнела, то краснела, беспокойно озираясь, пугаясь и стыдясь этого старика, сидевшего с ней в пустом доме, на ее кровати, и дышавшего ей прямо в лицо.

— Ну, говори,— продолжал он, пересаживаясь еще ближе к ней, и при этом койка заскринела под его тяжестью,— говори, кто это «другой»? Кто приходит сюда с Амелией?

Девочка разом выдохнула:

— Красивый, худой; они вместе уходят наверх, запираются там... Они как собаки!

У каноника глаза налились кровью и выкатились из орбит.

— Кто он? Как его зовут? Как его называет твой отец?

— Это другой! Это падре из собора! Амаро! — злобно крикнула Тото.

— И они уходят в комнату? А? Наверх? Оттуда что-нибудь слышно? Ты что-нибудь слышала? Говори все, поняла? Говори все!

Парализованная рассказала, шипя от злобы, что они оба приходят, заглядывают к ней, а потом жмутся друг к другу, и убегают наверх, и запираются на целый час...

Но каноник, охваченный бесстыдным любопытством, от которого в его тусклых глазах загорелся нечистый огонек, требовал подробностей:

— Ну и что, Тотозинья? Что ты слышишь? А? Там скрипит кровать?

Она кивнула головой, сжимая зубы и бледнея.

— Слушай, Тотозинья, а ты видела, как они целуются, обнимаются? Ну же, говори, я дам две денежки.

Но она не разжимала губ; ее искаженное лицо приняло какое-то дикое выражение.

— Ты не любишь менину Амелию? Ведь так?

Она свирепо кивнула.

— Ты видела, что они щиплют друг друга?

— Они делают как собаки! — выкрикнула она.

Тогда каноник выпрямился, отдуваясь по своей привычке, точно ему жарко, и нервно почесал выбритое темя.

— Хорошо,— сказал он, вставая,— пока прощай, девочка... Укройся потеплее. Не простудись.

Он вышел и, с силой захлопнув дверь, громко крикнул:

— Подлец из подлецов! Я его убью! Будь я анафема!

Он несколько мгновений размышлял, потом решительно зашагал на улицу Соузас, держа зонтик наперевес; он тяжело пыхтел; его побагровевшее лицо было грозно. На Соборной площади он, однако, приостановился и еще немного подумал; затем, повернувшись на каблуках, вошел в церковь. Каноник был в таком возбуждении, что забыл сорокалетнюю привычку и не преклонил колена перед святыми дарами. Он ворвался в ризницу как раз в ту минуту, когда падре Амаро собирался выходить и натягивал черные перчатки, которые теперь всегда носил, чтобы нравиться Амелиазинье.

Возбужденный вид каноника удивил его.

— Что такое, дорогой учитель?

— Что такое?! — взвизгнул каноник.— А то, что ты подлец из подлецов! Негодяй! Мерзавец!

И он замолк, задохнувшись от гнева.

Амаро побледнел, потом тихо сказал:

— Что вы говорите, учитель?

Каноник перевел дух, набрал в легкие воздуху:

— Я тебе не учитель! Вы развратили девушку! Это негодяйство, каких мало!

Тогда падре Амаро строго поднял брови, как бы в порицание непристойному остроумию:

— Какую девушку? Вы шутите, сеньор каноник!

Он даже улыбнулся с напускным хладнокровием; его побелевшие губы дрожали.

— Я видел! — крикнул каноник.

Соборный настоятель отпрянул.

— Видели?!

У него мелькнула мысль об измене, о засаде у дяди Эсгельяса.

— Я не видел. Но это все равно! — захлебывался каноник.— Я знаю все. Я только что там был. Тото рассказала. Вы запираетесь на целые часы! Внизу слышно, как скрипит кровать! Срам!

Падре Амаро понял, что попался. Как затравленный, загнанный зверь, он стал злобно огрызаться:

— Прекрасно. Но вам-то какое дело?

Каноник взвился:

— Какое мне дело? Какое мне дело? И ты решаешься говорить таким тоном? А мне такое дело, что я сейчас же иду к главному викарию!

Падре Амаро, позеленев, занес кулак и пошел на старика:

— А, старый пес!..

— Что такое? Что такое? — вскричал каноник, загораживаясь зонтом.— Ты поднимаешь на меня руку?

Падре Амаро опомнился; он отер мокрый от пота лоб, закрыл глаза; потом, стараясь сохранять спокойствие, сказал:

— Вот что, каноник Диас. Я видел вас в постели с Сан-Жоанейрой.

— Лжешь! — зарычал каноник.

— Я видел! Видел! — яростно выкрикнул Амаро.— Видел вечером, когда пришел домой... Вы сидели на кровати в одной сорочке, а она стояла и надевала корсет. Вы даже окликнули

меня: «Кто там?» Я видел вас так же ясно, как вижу сейчас. Попробуйте сказать хоть слово, и я докажу, что вы уже десять лет сожительствуете с Сан-Жоанейрой на глазах у всего клира! Вот вам!

Каноник, и без того изнуренный вспышкой гнева, при этих словах весь обмяк, точно оглушенный вол. Лишь спустя время он смог выговорить слабым голосом:

— Какого же прохвоста я воспитал!

Тогда падре Амаро, уже почти уверенный в молчании каноника, сказал примирительно:

— Почему прохвоста? Ну, скажите сами... Почему прохвоста? Мы оба не святые. А ведь я не ходил шпионить, не улещивал Тото... Я узнал случайно, придя к себе домой. И слушать ваши реприманды мне просто смешно. Мораль хороша для школ и для проповедей. А в жизни... Я делаю одно, вы другое, каждый устраивается, как может. Вы, дорогой учитель, уже в почтенных годах и довольствуетесь старухой; я молод и стараюсь поладить с дочкой. Грустно, но что поделаешь? Так велит природа... Мы человеки. И во имя своего сана должны быть снисходительны друг к другу.

Каноник слушал его, покачивая головой, как бы волей-неволей признавая эти горькие истины. Он сидел сгорбясь на стуле, отдыхая от столь великого и столь бесполезного гнева; потом поднял глаза на Амаро:

— Но уж и ты, брат! Затеять историю в самом начале карьеры!

— А вы, дорогой учитель? Затеяли историю в самом конце карьеры!

Оба засмеялись. Затем заявили, что берут обратно все сказанное сгоряча — и обменялись торжественным рукопожатием. Потом стали беседовать.

Ведь каноник, собственно, на что рассердился? На то, что Амаро взялся именно за Амелию, за Сан-Жоанейрину дочку. Будь это какая-нибудь другая девушка... Он бы даже одобрил! Но поступить так с Амелиазиньей! Если бы бедная мать узнала, она бы умерла от горя.

— Мать ничего не должна знать! — воскликнул Амаро.— Это останется между нами, дорогой учитель! Это тайна! Мать ничего не узнает, и я даже самой девушке не расскажу про сегодняшнее. Все останется как было, жизнь пойдет своим чередом. А вы, дорогой учитель, будьте осмотрительны! Сан-Жоанейре — ни полслова. Не вздумайте предать меня!

Каноник, приложив руку к сердцу, дал честное слово джентльмена и церковнослужителя, что тайна эта будет навеки погребена в его сердце,— и они еще раз дружески пожали друг другу руки.

Но вот башенные часы простонали три. Канонику пора было идти обедать. Выходя из церкви, он хлопнул падре Амаро по спине, сообщнически блеснув глазами:

— А ты маху не даешь! Пройдоха, право!

— Что прикажете делать? Ведь это такая чертовщина... Начинается все с пустяка...

— Милый мой! Это лучшее, что есть на свете,— глубокомысленно вздохнул каноник.

— Правда ваша, дорогой учитель, правда ваша! Это лучшее, что есть на свете...

С этого дня Амаро обрел полный душевный покой. Прежде его иногда тревожила мысль о том, что он отплатил черной неблагодарностью за доверие, за ласку, какие ему расточали на улице Милосердия. Но молчаливое одобрение каноника избавило его от этого, как он выражался, шипа, коловшего сердце. В конце концов глава этой семьи, ответственное лицо, мужчина в доме был он, каноник, а Сан-Жоанейра всего лишь его сожительница. И Амаро иногда в шутку называл Диаса «своим дорогим тестем».

Была и другая приятная новость: Тото вдруг расхворалась. На другой день после визита каноника у нее началось кровохарканье. Спешно вызвали доктора Кардозо, и тот признал у нее скоротечную чахотку. Девочка обречена, это вопрос нескольких недель...

— Такая уж болезнь скоротечная чахотка, друг мой,— сказал медик отцу.— Раз! И два!

Так доктор Кардозо любил обозначать работу смерти: когда она торопится, то завершает свое дело двумя взмахами косы: «Раз! И два!»

Теперь утренние свиданья в доме дяди Эсгельяса проходили спокойно. Амелии и Амаро больше не надо было ходить на цыпочках и прятаться от Тото. Они хлопали дверями, громко говорили, зная, что Тото лежит в жару, почти без сознания, под мокрыми от пота простынями. Но из боязни гнева божия Амелия каждый вечер молилась царице небесной за выздоровление Тото. Иногда даже, раздеваясь в комнате звонаря, она вдруг останавливалась и делала грустное лицо:

— Ах, милый! Наверно, это грех: нам тут с тобой так хорошо, а внизу бедняжка борется со смертью...

Амаро пожимал плечами. Что они могут поделать, раз такова воля божия?

И Амелия, смиряясь с волей божией, сбрасывала нижнюю юбку.

Теперь на нее часто находило какое-то оцепенение, крайне раздражавшее падре Амаро.

Порой она делалась совсем вялой, поблекшей, рассказывала о зловещих снах, мучивших ее по ночам, и утверждала, что это плохое предзнаменование.

Иногда она спрашивала его:

— Если бы я умерла, ты бы очень горевал?

Амаро раздражался. Право же, это глупо! У них в распоряжении всего какой-нибудь час, так нет, надо испортить его хныканьем!

— Ты не понимаешь,— говорила она,— на сердце у меня так черно, так черно!

И действительно, приятельницы Сан-Жоанейры замечали в ней много странного. Иногда она по целым вечерам не открывала рта, склонив голову и вяло втыкая иголку в шитье; а иногда вовсе бросала работу и праздно сидела за столом, вертя пальцем зеленый абажур на лампе; взгляд у нее был отсутствующий, мысли витали где-то далеко.

— Ах, милочка, оставь в покое абажур! — восклицали гостьи, которых это нервировало.

Она улыбалась, устало вздыхала и снова бралась за подшиванье нижней юбки,— работу, которую начала уже несколько недель назад. Сан-Жоанейру тревожила необычайная бледность дочери, и она решила пригласить доктора Гоувейю.

— Да нет, маменька, это так, нервы... Пройдет...

Все и так видели, что нервы: у Амелии появились какие-то беспричинные страхи; она вскакивала и почти лишалась сознания, если где-нибудь хлопала дверь. Иногда она требовала, чтобы мать ночевала в ее комнате: она боялась кошмаров и видений.

— Правду сказал доктор Гоувейя,— говорила Сан-Жоанейра канонику, делясь с ним своими тревогами,— девушку надо выдать замуж.

Каноник покашливал, прочищая горло.

— Ничего ей не надо. У нее есть все, что требуется. И даже, по-моему, с излишком...

Каноник был убежден, что эта девушка, как он говорил самому себе, разрушает свое здоровье избытком счастья. В те дни,

когда он узнавал, что утром она ходила навещать Тото, он вел за ней неотступное наблюдение, бросая на нее из глубин своего кресла навязчивые, похотливые взгляды. Теперь он не скупился с ней на отечески-фамильярные ласки. Встречая Амелию на лестнице, непременно останавливал ее, щекотал, похлопывал по щеке, часто приглашал ее провести утро с ним и его сестрой; и пока Амелия болтала с доной Жозефой, каноник, точно старый петух, беспрестанно ходил вокруг нее, шаркая шлепанцами. Амелия и ее маменька вели нескончаемые разговоры об отеческом расположении сеньора каноника: наверное, он даст ей хорошее приданое.

— Да, ты повеса, каких поискать! У тебя губа не дура! — неизменно восклицал каноник, выкатывая глаза, как только оставался наедине с Амаро.— Ухватил королевский кус!

Амаро надувался от гордости:

— Да, кусочек неплохой, дорогой учитель! Лакомый кусок.

Это была одна из самых больших радостей для Амаро: слушать, как коллеги расхваливают красоту Амелии, которую они называли «лилией благочестия». Все завидовали, что она исповедуется у него. Поэтому он всегда требовал, чтобы к воскресной мессе Амелия одевалась как можно наряднее, а недавно не шутя распек ее за то, что она пришла в церковь в стареньком шерстяном платье, точно престарелая ханжа в день покаяния.

Но Амелия уже не испытывала прежней неудержимой потребности исполнять всякую прихоть сеньора настоятеля. Она почти полностью очнулась от той бездумной дремоты, в которую ее погрузили объятия Амаро. Сознание вины мучило ее. Во тьме этой набожной и рабски покорившейся души забрезжили проблески разума. Собственно, кто она такая? Наложница соборного настоятеля. И эта мысль в ее беспощадной обнаженности ужасала Амелию. Она сожалела не об утраченной девственности, не о чести, не о добром имени. Она бы и не то отдала ради упоения, какое испытывала в его объятиях. Но ее пугало нечто куда более страшное, чем осуждение общества: гнев божий. Сердце Амелии обливалось кровью при мысли, что она навеки потеряла свое место в раю; еще больше пугала ее мысль о том, что бог накажет ее — не теми потусторонними карами, которые терзают наш дух за могилой, но муками в здешней жизни: разрушением здоровья, благополучия, красоты.

Она боялась, что ее поразит болезнь: проказа, паралич; что ее ждет нищета и голод — все напасти, на которые был так

щедр бог ее верований. Как в детстве, позабыв вознести деве Марии причитающиеся ей молитвы. Амелия боялась, что та столкнет ее с лестницы или пошлет учительнице мысль наказать ее линейкой, так и теперь она боялась, что бог, в наказание за сожительство со священником, нашлет на нее порчу, погубит ее красоту, заставит ходить по улицам с протянутой рукой. Эти страхи преследовали ее неотступно с того памятного дня, когда она предалась грешным чувствам в накинутой на плечи мантии царицы небесной. Она не сомневалась, что пресвятая дева возненавидела ее и требует возмездия. Напрасно Амелия пыталась умилостивить божью матерь потоками униженных молений. Она чувствовала, что дева Мария презрительно и брезгливо отвернулась от нее. Ни разу с тех пор не улыбнулось ей это дивное лицо; ни разу не разжались божественные пальцы, чтобы милостиво, как праздничный венок, принять ее молитву. Амелия наталкивалась на холодное молчанье, на неумолимую враждебность оскорбленного божества. А ведь Амелия знала, как влиятелен голос богоматери во всех небесных советах; ей вдалбливали это с самого детства: все, чего ни пожелает мать бога, дается ей в награду за слезы, пролитые на Голгофе; сын улыбается ей, сидя одесную, а бог-отец восседает ошую от нее... И Амелия понимала, что для нее надежды нет, что там, наверху, готовится страшная кара, которая когда-нибудь обрушится на нее и раздавит, как обвал в горах. Что ее ждет?

Если бы она смела, то прекратила бы связь с Амаро; но его гнева она боялась почти так же, как гнева божия. Что будет с ней, если на нее ополчатся разом и царица небесная, и сеньор падре Амаро? К тому же она его любила. В его объятиях она забывала и о божьей каре, и о самом боге; под его защитой, прильнув к его груди, она не боялась ничего; жажда наслаждения, плотская страсть, словно крепкое вино, преисполняла ее какой-то бесшабашной отваги; она исступленно обвивалась вокруг любовника, бросая вызов небесам. Страх расплаты приходил потом, когда она оставалась одна в своей комнате. Эта борьба отнимала у нее все силы; вот отчего она бледнела и чахла, отчего старушечьи морщинки залегали в углах ее воспаленных, пересыхающих губ и вся она делалась вялой и отсутствующей, что так бесило падре Амаро.

— Да что такое с тобой? Из тебя будто все соки выдавили! — сердился он, когда после первых поцелуев она оставалась холодной и безжизненной.

— Я плохо спала ночью... Нервы.

— Проклятые нервы! — восклицал он с досадой.

Или она вдруг начинала задавать странные вопросы, которые выводили его из себя, тем более что повторялись снова и снова. С должным ли жаром он служил сегодня мессу? Читал ли свой требник? Вознес ли мысленную молитву?

— Да тебе-то что? — сердился он.— Опомнись! Еще чего выдумаешь? Я тебе не семинарист, а ты не отец наставник, чтобы проверять, хорошо или плохо я исполняю устав. Вот еще глупости!

— Пойми, надо быть в ладах с небом...— бормотала она.

Это стало ее постоянной заботой — чтобы Амаро был образцовым священником.

Ей грозил ад, ее преследовал гнев божьей матери, и не на что было опереться, кроме поддержки падре Амаро, его влияния при небесном дворе. И она боялась, что из-за какой-нибудь оплошности он утратит это влияние, что бог подметит какой-нибудь промах и отнимет у него свое благоволение. Ей хотелось, чтобы Амаро оставался святым, оставался любимцем неба и чтобы она потом могла воспользоваться его протекцией в загробном мире.

Амаро называл все это «бреднями старой монахини». Он с трудом их выносил, считая пустым умствованием; а главное, они отнимали драгоценные минуты у свиданий в домике звонаря.

— Мы же не для того сюда пришли, чтобы хныкать,— сухо говорил он.— Запри дверь, будь добра.

Она повиновалась,— и после нескольких поцелуев в полумраке чердака он наконец вновь обретал свою Амелию, Амелию первых дней, восхитительное тело, которое трепетало, пылая в его объятиях.

С каждым днем он желал ее все сильнее, все неотступней и мучительней; их коротких свиданий было ему мало. Нет, положительно, второй такой женщины нет на свете! Второй такой нет даже в Лиссабоне, даже среди самых знатных дам! Правда, немного ребячлива, сентиментальна... Но не стоит принимать это всерьез; главное — насладиться, пока не иссякли молодые силы!

И он наслаждался. Жизнь его, сплошь сотканная из удобств и удовольствий, напоминала одну из тех модных гостиных, где все обито коврами и подушками, где нет твердых поверхностей и острых углов, и тело, к чему бы оно ни прикоснулось, повсюду находит упругую мягкость подушек и пружин.

Конечно, приятнее всего были утренние встречи у дяди Эсгельяса. Но Амаро не чуждался и других удовольствий. Он вкусно ел, курил дорогой табак из пенковой трубки, носил

белье из самого дорогого, тонкого полотна, купил кое-какую мебель и украшения для своей комнаты, забыл о том, что такое денежные затруднения: кошелек доны Марии де Ассунсан, его лучшей исповедницы, был всегда к его услугам. А совсем недавно ему привалила особенная удача: однажды вечером, у Сан-Жоанейры, добрейшая дона Мария заговорила об одной английской семье, приехавшей на шарабане осмотреть Баталью, и заявила, что все англичане еретики.

— Они крещены, как и мы,— заметила дона Жоакина Гансозо.

— Крещены-то крещены, милочка, а только это не крещение, а один смех. Это тебе не наше святое крещение. Еретические крестины впрок не идут.

Тогда каноник, любивший ее поддразнить, громогласно заявил, что сеньора дона Мария сказала кощунство. Святейший Тридентский собор в каноне IV сессии VII постановил, что всякий, отрицающий истинность крещения, совершенного еретиками во имя отца и сына и святого духа, отлучается от церкви. Таким образом, в соответствии с решением Тридентского собора дона Мария де Ассунсан с этого момента отлучена от церкви!.. С добрейшей дамой сделалась истерика. На другой день она поверглась к стопам падре Амаро, и тот в покаяние за кощунство против канона IV сессии VII святого Тридентского собора наложил на нее епитимью — триста заказных месс по пяти тостанов во спасение душ чистилища.

Теперь он почти каждый раз входил к дядюшке Эсгельясу с таинственно-удовлетворенным видом, держа в руке хорошенький сверточек. Это был какой-нибудь подарок для Амелии: шелковая косынка, яркий шарфик, пара перчаток. Она приходила в восторг от этих свидетельств нежности сеньора соборного настоятеля,— и в полутьме чердака начиналось вакхическое пиршество любви; а тем временем внизу чахотка взмахивала над Тото своей косой: «Раз! И два!»

XIX

— Сеньор каноник дома? Мне нужно с ним поговорить. Быстро!

Служанка Диасов указала падре Амаро на дверь кабинета, а сама побежала наверх, доложить доне Жозефе, что пришел сеньор соборный настоятель, хочет видеть сеньора каноника, а на самом лица нет! Видать, беда стряслась.

Амаро рывком распахнул дверь кабинета, со стуком ее захлопнул и, даже не поздоровавшись с дорогим учителем, крикнул:

— Она беременна!

Каноник, писавший за столом, откинулся на спинку стула, словно сраженный ударом дубины.

— Что ты говоришь?

— Беременна!

Воцарилось молчание; только пол скрипел под ногами падре Амаро, метавшегося между окном и книжным шкафом.

— Ты уверен? — спросил каноник пугливо.

— Абсолютно! Она уже несколько дней как забеспокоилась. Плачет с утра до ночи... Сомнений нет. Женщины в этом не ошибаются. Все признаки налицо... Что делать, дорогой учитель?

— Вот оказия...— пробормотал ошеломленный каноник.

— Вообразите, какой будет скандал. Мать, соседки... А если заподозрят меня? Тогда я пропал. Нет, ничего не хочу слышать! Я сбегу!

Каноник отупело тер затылок, нижняя губа у него отвисла. Его воображению уже рисовалась суматоха в доме на улице Милосердия, ночные роды, нескончаемые слезы Сан-Жоанейры, нарушенный навеки покой...

— Да говорите же! — закричал на него Амаро в исступлении.— Скажите ваше мнение! Придумайте что-нибудь! Я ничего не соображаю... Я идиот, я...

— Этого следовало ожидать, дорогой коллега.

— К черту! Нашли время читать нотации. Конечно, я свалял дурака... Но теперь поздно! Ничего не поделаешь!

— А чего ты, собственно, хочешь? — с досадой сказал каноник.— Или ты собираешься дать девушке какого-нибудь зелья, чтобы отправить ее на тот свет?

Амаро пожал плечами. Придет же в голову! Право, отец наставник рехнулся.

— Так чего ты хочешь? — повторил каноник утробным голосом, словно добывая слова из пучины своего чрева.

— Чего я хочу?! Я хочу, чтобы не было скандала! Чего же мне еще хотеть?

— На каком она месяце?

— На каком месяце? Да только что... Один месяц.

— В таком случае надо выдать ее замуж! — воскликнул каноник в озарении.— Выдать за клерка!

Падре Амаро подскочил на месте.

— Тысяча чертей, ведь верно! Вот это мысль!

Каноник с важностью кивнул головой: действительно, это мысль!

— Выдать замуж без промедления. Пока не поздно! Pater est quem nuptiae demonstrant. Отцом считается законный муж.

Дверь заскрипела, и в щелке мелькнули синие очки и черный чепец доны Жозефы. Она больше не в силах была сидеть на кухне и в приступе неудержимого любопытства сошла на цыпочках вниз и приложила ухо к замочной скважине. Но толстая суконная портьера внутри кабинета была задернута, на улице разгружали дрова, и голосов не было слышно. Тогда почтенная сеньора решилась войти: надо же поздороваться с сеньором настоятелем.

Но тщетно ее проницательные глазки, спрятанные за темными стеклами, рыскали по толстому лицу брата и по бледным чертам Амаро. Оба священника были непроницаемы, как закрытые ставнями окна. Падре Амаро даже нашел в себе силы заговорить в легком тоне о ревматизме декана и о слухах, будто непременный секретарь Гражданского управления женится... Затем, после короткой паузы он поднялся, сообщив, что сегодня у него к обеду отменное фрикасе из свиных ушек,— и дона Жозефа, терзаясь бессильным любопытством, вынуждена была смотреть, как он выходит; уже из-за портьеры донесся его голос:

— Так до вечера! Увидимся у Сан-Жоанейры, не так ли, дорогой учитель?

— До вечера.

И каноник, не сказав более ни слова, продолжал писать. Дона Жозефа не утерпела. Некоторое время она бродила, шаркая шлепанцами, вокруг своего брата, потом спросила:

— Что-нибудь случилось?

— Случилось, сестрица! — отвечал каноник, стряхивая перо.— Умер король дон Жоан Шестой!

— Грубиян! — крикнула дона Жозефа и пошла прочь, провожаемая безжалостным хихиканьем своего брата.

В тот же вечер в нижней гостиной у Сан-Жоанейры — в то время как наверху полумертвая от ужаса Амелия с треском разыгрывала вальс «Два мира» — оба священника, сидя рядышком на канапе под темной картиной, на которой смутно вырисовывалась рука пустынника, нависшая над мертвым черепом, долго шушукались; наконец они наметили план действий: прежде всего необходимо разыскать исчезнувшего Жоана Эдуардо; Дионисия, женщина с редким нюхом, обшарит все закоулки города и обнаружит нору, куда забился зверь; не медля ни минуты — ибо время не терпит — Амелия напишет ему письмо...

Всего несколько слов: ей стало известно, что он жертва интриги; она питает к нему прежнюю дружбу и считает себя его должницей; пусть он придет поговорить с ней. Если молодой человек заартачится, что мало вероятно (каноник берет это на себя), то ему посулят место в Гражданском управлении, чего нетрудно будет добиться от Годиньо, поскольку он под башмаком у своей жены, а та — верная раба падре Силверио.

— Но что скажет Натарио? — сказал Амаро.— Ведь он ненавидит клерка.

— Ах да! — вдруг воскликнул каноник, хлопнув себя по колену.— Совсем забыл! Так ты еще не знаешь, что случилось с падре Натарио?

Амаро не знал.

— Он сломал ногу! Упал с лошади!

— Когда?

— Сегодня утром. Я сам только что узнал. Сколько раз я ему твердил: «Коллега, эта кобыла когда-нибудь натворит бед». И натворила! Да какую беду! Теперь он не скоро встанет... А я-то совсем позабыл! Даже дамам ничего не сказал.

Наверху эта печальная новость вызвала глубокую скорбь. Амелия закрыла рояль. Дамы начали перебирать в памяти все лекарства, какие надо будет послать страдальцу, наперебой предлагали корпию, вату, мазь от монахинь Алкобасы, полпузырька бальзама от монахов из монастыря под Кордовой... Надо было также похлопотать о вмешательстве свыше; каждая из дам вызвалась употребить все свое влияние на любимых святых: дона Мария де Ассунсан помолится святому Елевферию, с которым очень сблизилась в последнее время; дона Жозефа Диас обещала привлечь к болезни Натарио внимание Марии и Елизаветы, дона Жоакина Гансозо взяла на себя святого Жоакина.

— А вы, менина Амелия? — спросил каноник.

— Я?..

Она побледнела, скорбя всей душой о том, что теперь, в расплату за свои грехи и заблуждения, утратила полезную дружбу богоматери и не может пустить в ход свое влияние на небесах, чтобы вылечить ногу падре Натарио. И это было для нее самое тяжкое наказание, самая горькая печаль с тех пор, как она полюбила падре Амаро.

Несколько дней спустя, в доме звонаря, Амаро уведомил Амелию о плане каноника Диаса. Но сначала он ее подготовил, предупредив, что тот все знает...

— Он знает, но будет хранить секрет, как тайну исповеди,— прибавил он, чтобы успокоить ее.— И, кроме того, они с твоей маменькой тоже не святые... Так что все остается в семье.

Затем он взял Амелию за руку и, глядя на нее с нежностью, как бы заранее сострадая ее неминуемому горю, сказал:

— А теперь выслушай меня, дорогая. Только не огорчайся. Это необходимо, тут все наше спасенье...

Но едва он заикнулся о браке с клерком, Амелия пришла в бурное негодование.

Никогда! Лучше смерть! Как?! Сделал ее матерью, а теперь хочет подсунуть другому? Что она — тряпка, которую можно поносить, а потом подарить нищему? Сначала ее заставили выгнать человека из дому, а теперь она должна унижаться, звать его обратно, стать его женой? Ну нет! У нее тоже есть гордость! Рабов выменивают, ими торгуют — но это в Бразилии!

Ей стало жаль себя. Ах, он больше не любит ее, наскучил ею! Ах, за что, за что она такая несчастная! Амелия бросилась ничком на кровать и разразилась громким плачем.

— Тише, тише, ведь на улице услышат! — в отчаянии твердил Амаро, тряся ее за руку.

— Пусть слышат! Какое мне дело! Я выбегу на улицу, и пусть все узнают, что я в положении, что это сделал соборный настоятель, а теперь хочет меня бросить!

Амаро, бледнея от злобы, с трудом сдерживал желание ударить ее. Нарочито спокойным, лишь слегка дрожавшим голосом он уговаривал:

— Ты сама не знаешь, что говоришь, дорогая... Ну, подумай: могу я на тебе жениться? Нет! Так чего же ты хочешь? Если люди заметят твое положение, если ты родишь ребенка, понятно тебе, какой будет скандал? Ведь ты себя погубишь, навеки погубишь! А что будет со мной, если дознаются? Тогда я тоже погиб. Меня лишат сана; возможно, отдадут под суд... Чем я тогда буду жить? Ты хочешь, чтобы я умер от голода?

Он сам расчувствовался при мысли о нищете и лишениях, ждущих извергнутого из сана священника. Нет, это она, она его не любит! Он всегда был с ней так добр, так нежен, а она, вместо благодарности, хочет теперь отплатить ему скандалом и несчастьями...

— Нет, нет! — зарыдала Амелия, кидаясь ему на шею.

И оба долго сидели, обнявшись, горько жалея себя; она плакала на плече у священника, он кусал губы, стараясь сдержать слезы, набегавшие ему на глаза.

Наконец он высвободился из ее объятий, вытер слезы и сказал:

— Да, милая, это большое несчастье для нас обоих, но ничего не поделаешь. Тебе больно; но пойми, каково мне! Я буду молча смотреть, как ты выходишь замуж, живешь с другим... Что говорить... Но от этого не уйти. Такова воля божия.

Раздавленная, она рыдала, съежившись на краю кровати. Вот она, кара! Вот он, гнев пресвятой девы! Амелия этого ждала! Эта кара, подобно грозе, уже давно собиралась над ее головой! И теперь гроза разразилась, и она страшней всех мук чистилища! Надо расстаться с Амаро и жить с другим, с преданным анафеме! Никогда ей не вернуть себе благоволение неба, если она обвенчается с человеком, который проклят папой римским, всей землей и самим небом!.. И этот-то человек будет ее мужем и, может быть, отцом других ее детей... О, как беспощадно карает пресвятая дева Мария!

— А как же я могу выйти за него замуж, Амаро, если он отлучен от церкви?!

Амаро поспешил успокоить ее, на ходу придумывая доводы. Не надо преувеличивать. Строго говоря, молодой человек вовсе не отлучен от церкви... Натарио и каноник не совсем точно истолковали смысл буллы. По мнению многих авторов, ударить священника, когда на нем не надето облачение, не является ipso facto поводом для анафемы. Во всяком случае, так считает он, Амаро. Но если даже отлучение действительно, его можно снять...

— Понимаешь? Святой Тридентский собор указывает — да тебе и самой это известно: нам дано вязать, нам дано и решить. Твой жених предан анафеме? Ну что ж, мы снимем с него анафему. Он станет так же чист, как и раньше. Нет, насчет этого ты не беспокойся!

— Но на какие средства мы будем жить? Ведь он потерял место!

— Я не успел договорить... Он получит другое место. Каноник его устроит. Все уже обдумано, дорогая!

Она не отвечала, совсем убитая, с печалью в душе. Слезы беспрестанно набухали у нее на глазах и скатывались двумя ровными струйками по лицу.

— Скажи вот что: твоя мать ничего не заметила?

— Пока не заметила,— ответила она с тяжелым вздохом.

Оба замолчали. Она утирала слезы, стараясь успокоиться, чтобы можно было выйти на улицу; он, опустив голову, шагал взад и вперед, скрипя половицами, и думал об ушедших счаст-

ливых утрах, когда здесь звучали только поцелуи и приглушенный смех; все теперь переменилось, даже погода: лето подходило к концу, пасмурное небо грозило дождем.

— Заметно, что я плакала? — спросила она, поправляя прическу перед зеркалом.

— Нет. Ты уже?

— Маменька ждет...

Они грустно поцеловались, и Амелия ушла.

Между тем Дионисия рыскала по городу, ища затерянный след Жоана Эдуардо. Она занялась поисками особенно рьяно, когда узнала, что богатенький каноник Диас — тоже заинтересованное лицо. Каждый день, поздно вечером, она украдкой проскальзывала в подъезд Амаро, чтобы сообщить ему последние новости. Ей удалось узнать, что первое время клерк жил в Алкобасе, у своего двоюродного брата, аптекаря. Затем он уехал в Лиссабон. Там, по рекомендательному письму доктора Гоувейи, он поступил в контору к одному стряпчему. Но через несколько дней стряпчий по воле рока скончался от апоплексии — и с того дня след Жоана Эдуардо затерялся в столичном хаосе. Был, правда, один человек, который мог знать его местопребывание и судьбу: наборщик Густаво. К несчастью, Густаво поссорился с Агостиньо, ушел из «Голоса округа» и исчез. Никто не знает, куда он девался. Его старушка-мать умерла.

— О, господи! — восклицал каноник, когда падре Амаро приносил ему эти обрывки сведений.— О, господи! Все умерли! Да это какая-то гекатомба!

— Вы шутите, учитель, а ведь тут не до шуток. Разыскать человека в Лиссабоне — все равно что найти иголку в стоге сена. Ужасно!

Видя, что дни идут за днями, Амаро начал тревожиться всерьез.

Он написал письмо тетке, с просьбой провести розыски в Лиссабоне и узнать, не там ли проживает некий Жоан Эдуардо Барбоза.

В ответ пришло послание на трех страницах, заполненных каракулями: тетка жаловалась на своего Жоанзиньо, бездельника Жоанзиньо, превратившего ее жизнь в ад; он пил горькую, разогнал всех жильцов. Но теперь она спокойна: несколько дней назад бедный Жоанзиньо поклялся ей спасением души своей мамочки, что отныне ничего, кроме сельтерской, в рот не возьмет. Что касается этого Жоана Эдуардо, то она спрашивала

соседей, а также обращалась к сеньору Палме из министерства общественных работ, который всех знает. Но о таком ничего не известно. Есть, правда, Жоакин Эдуардо, хозяин скобяной лавки в их квартале... Так если племянник желает вступить с ним в дело, то это очень хорошо, человек он степенный.

— Ну! Поехала! — с досадой прервал каноник.

По настоянию падре Амаро, который не переставая втолковывал отцу наставнику, сколько неприятностей обрушится на них с Сан-Жоанейрой, если не удастся избежать скандала, каноник сам решил написать в Лиссабон одному приятелю, поручив ему обратиться в полицию. Все расходы каноник брал на себя. Ответа долго не было, но все же наконец пришло обнадеживающее письмо: один из самых расторопных агентов полиции, Мендес, обнаружил Жоана Эдуардо! Местожительство его пока не установлено: полицейский видел его в кафе; но через два или три дня славный Мендес обещает дать исчерпывающие сведения.

Велико было разочарование обоих священников, когда несколько дней спустя лиссабонский приятель известил, что господин, которого расторопный Мендес видел в кафе в Байше и принял за Жоана Эдуардо, оказался молодым провинциалом из Санто-Тирсо, приехавшим в столицу, чтобы участвовать в конкурсе на место младшего судьи. Израсходовано три фунта семнадцать тостанов.

— Семнадцать чертей ему в глотку! — разразился каноник, глядя на Амаро.— Что же получается? Сеньор падре Амаро ублажает свою особу, а я должен надрываться и выкладывать кругленькие суммы?

Амаро, целиком зависевший от дорогого учителя, ничего не смел возразить.

Но, по милости божией, не все еще потеряно! Дионисия идет по следу!

Амелия выслушивала эти сообщения с отчаянием. Когда высохли первые слезы, суровая действительность предстала перед ней во всей своей наготе. Другого выхода не было. Через два-три месяца, при ее злосчастной фигуре — тонкой талии и узких бедрах,— невозможно будет скрывать беременность. Что же тогда? Бежать из дому, уехать, как дочка дяди Аиста, в Лиссабон, ходить по Байро-Алто с подбитым глазом в обществе подгулявшей английской матросни? Или пойти по стопам Жоаниньи Гомес, которая сошлась с падре Абилио, а теперь вынуж-

дена терпеть издевательства пьяных солдат и молчать, когда ей швыряют в лицо дохлых крыс? Нет!

Значит, надо выйти замуж. Через семь месяцев (и в этом нет ничего необыкновенного) у нее родится ребеночек и будет узаконен церковью, зарегистрирован государством и признан господом богом. У ребенка будет отец; он получит приличное воспитание, избежит участи подкидыша...

С того дня как сеньор настоятель поклялся, что клерк, по сути дела, вовсе не был отлучен от церкви, что несколькими молитвами можно снять с него анафему, отвращение Амелии к браку утихло: так остывают раскаленные головешки. В конце концов в проступках клерка нельзя обнаружить ничего, кроме ревности и любви. В порыве ревности он написал заметку, в исступлении обманутой любви стукнул в плечо сеньора настоятеля... Нет, этого зверства она никогда ему не простит! Но зато как он был наказан! У него отняли все: заработок, дом, невесту; он затерялся в безымянной нищете Лиссабона, затерялся так безвозвратно, что его и с полицией не удается разыскать! И все из-за нее. Бедный Жоан Эдуардо! В конце концов он совсем не такой противный... Говорят, он безбожник; но при ней он всегда молился очень усердно, каждый вечер читал молитву святому Иоанну, напечатанную на кусочке картона с вышивкой,— ее подарок...

Если он получит место в Гражданском управлении, у них будет свой домик и служанка... Почему бы ей и не быть счастливой? Он не пьяница, не распутник. Амелия была уверена, что сумеет подчинить его себе, привить ему свои вкусы и привычки. А как приятно идти в воскресенье к утренней мессе в нарядном платье, под руку с мужем, и все тебе кланяются, и ты можешь, ничего не боясь, возить по городу в колясочке своего сына в кружевном чепчике и широкой пелеринке с бахромой! И как знать? Может быть, в награду за любовь к ребенку и за внимание, каким она окружит мужа, небо и пресвятая дева смилуются над ней! Ах! Чего бы она ни сделала, чтобы на небе у нее снова оказалась благожелательница, чтобы ее любимая пресвятая дева снова стала ей добрым другом и наперсницей, всегда готовой утишить ее боль, вызволить из беды, приготовить ей в раю светлый уголок!

Она думала об этом часами, склоняясь над шитьем; она думала об этом, даже направляясь к домику звонаря; побыв минутку возле Тото — притихшей, ослабевшей от изнурительной лихорадки,— она поднималась в чердачную комнату, и первый ее вопрос к Амаро был:

— Ну, что-нибудь узнали?

Он хмурил брови, неохотно отвечал:

— Дионисия ищет... А что? Тебе очень к спеху?

— Да, мне к спеху, очень к спеху,— отвечала она без улыбки,— опозорена буду одна я.

Он молчал, и в его поцелуях было столько же ненависти, сколько любви к этой женщине, которая так безропотно соглашалась теперь быть женой другого!

Это была ревность. Он ревновал ее с того дня, когда заметил, что она примирилась с мыслью об этом ненавистном браке! С тех пор как она перестала плакать, он начал злиться, что она больше не плачет; в глубине души он бы хотел, чтобы она предпочла позор с ним счастью без него. Ему было бы легче, если бы она продолжала сопротивляться и оглашать рыданьями чердак дяди Эсгельяса; это было бы настоящим доказательством любви, и самолюбие его упивалось бы восхитительной уверенностью. Но ее согласие на брак, без всякого отвращения и бурных сцен, возмущало его, как предательство. Он заподозрил, что в глубине души ей отнюдь не претила перемена. В конце концов Жоан Эдуардо тоже мужчина, во всем цвете своих двадцати шести лет, во всей красе черных усов. С Жоаном Эдуардо она будет испытывать те же восторги, какие испытывала с ним... Если бы клерк был старым ревматиком, она не смирилась бы так скоро. И при этой мысли его охватывала жажда мести, он горячо желал, чтобы ничего не получилось, чтобы Жоана Эдуардо не нашли; и не раз, выслушав отчет Дионисии об очередной тщетной попытке, он говорил с кривой улыбкой:

— Да вы напрасно трудитесь. Его нет. Бог с ним... Не стоит выбиваться из сил.

Но сил у Дионисии хватало, и в один прекрасный вечер она доложила ему с торжеством, что напала на след! Она видела Густаво, наборщика. Он входил в харчевню дяди Озорио. Завтра же она с ним поговорит, и все узнается...

То была горькая минута для Амаро. Свадьба, которой он сам желал в первый момент испуга, теперь казалась ему катастрофой всей жизни.

Он теряет Амелию навсегда!.. Ненавистный жених, которого он изгнал, уничтожил, снова встает на его пути по нелепой игре случая, какими любит тешиться провидение, и отнимает у него эту женщину с полным на то правом. Мысль, что клерк будет держать ее в объятиях, а она будет исступленно целовать

его и шептать: «О Жоан!», как теперь шепчет «О Амаро!» — эта мысль выводила его из себя. И он не может воспрепятствовать этому браку! Все к нему стремятся: она, каноник, даже Дионисия со своим наемным рвением!

Для чего природа создала его мужчиной, с горячей кровью и сильными страстями? Все равно он вынужден навеки расстаться с этой девушкой и смотреть, как ее уведет другой, ее муж, и оба у себя дома будут играть с ребенком — с его ребенком! Он должен сложа руки наблюдать, как гибнет его счастье, и криво улыбаться. Он останется один, навсегда, и будет в одиночестве читать свой требник!.. О, если бы не ушли те времена, когда человека можно было погубить, обвинив в ереси! Повернись колесо истории вспять на каких-нибудь двести лет — и сеньор Жоан Эдуардо узнал бы, что значит глумиться над священником и венчаться с мениной Амелией...

Эта бредовая мысль завладела его расстроенным воображением до такой степени, что всю ночь ему снился удивительно яркий сон, который он потом со смехом рассказывал дамам. Он видел узкую улицу, залитую ослепительным солнцем; под высокими, окованными железом воротами теснился городской люд, а на балконах покручивали кавалерственный ус фидалго в шитых золотом колетах. Под кружевными мантильями горели благочестивой яростью глаза дам. А по мостовой медленно ползла процессия аутодафе, под гудение голосов и оглушительный колокольный звон по усопшим. Впереди всех шли полунагие флагелланты, закрыв лицо белым капюшоном; они бичевали себя по окровавленным спинам, истошно вопя «Miserere»[1]. За ними на осле ехал Жоан Эдуардо, ошалевший от страха; ноги его болтались у самой земли, на белой рубахе кривлялись намалеванные алой краской дьяволы, на груди висела дощечка с надписью: «За ересь». Позади поспевал страшный служитель святой инквизиции и изо всех сил нахлестывал осла. А рядом шагал священник, высоко над головой воздев крест, и, перекрикивая шум, орал прямо в ухо осужденному советы принести покаяние. Амаро был тут же; он пел реквием, держа молитвенник в одной руке, а другой благословляя старух, добрых приятельниц с улицы Милосердия, которые склонялись почти до земли и целовали подол его стихаря. Время от времени он оборачивался назад, чтобы полюбоваться погребальным великолепием этого шествия, и видел длинную вереницу кавалеров рыцарских орденов. Тут важный толстяк с апоплексической физиономией,

---

[1] Смилуйся *(лат.)*.

там бледное лицо мистика со свирепо торчащими усами и парой мечущих искры глаз; каждый из них нес в одной руке зажженный факел, в другой шляпу с черным султаном, подметавшим землю. Сверкали шлемы аркебузиров; благочестивая ненависть искажала голодные лица черни; и процессия ползла вдоль извилистой улицы, оглашая небо ревом церковного хора, воплями фанатиков, леденящим душу перезвоном колоколов, звяканьем оружия, наполняя ужасом сердца горожан и медленно приближаясь к сложенному из кирпича возвышению, где уже дымилась куча дров.

Велико было его разочарование, когда, проснувшись после этого сна, он увидел служанку, вносившую кувшин горячей воды для бритья.

Значит, сегодня они разыщут наконец сеньора Жоана Эдуардо и напишут ему письмо. В одиннадцать часов Амаро должен был встретиться с Амелией. Раздраженно хлопнув дверью, он сказал ей с порога:

— Он нашелся... То есть нашелся его дружок наборщик, который знает, где он скрывается.

Амелия переживала в тот день один из часто находивших на нее припадков уныния и страха. Она воскликнула:

— Слава богу! Скоро кончится эта пытка!

Амаро желчно усмехнулся.

— Ты рада, а?

— Я все время так боюсь...

Амаро злобно передернул плечами. Боюсь! Полно ханжить! Чего тут бояться? Мать разиня, дает ей полную волю... Просто, она замуж хочет. Хочет другого мужчину! Ей уже мало мимолетного развлечения по утрам... Она хочет делать то же у себя на дому, со всеми удобствами. Неужели менина воображает, что обманет его, тридцатилетнего священника, уже четыре года исповедующего прихожанок? Он видит ее насквозь... Она такая же, как все: просто ей хочется переменить любовника.

Амелия молчала, побледнев как смерть. Амаро, взбешенный ее молчанием, продолжал:

— Ага, ты молчишь! Ясно... Потому что я прав! После всех жертв, которые я принес... после всего, что перестрадал... Появляется другой — и ты бросаешься на шею другому!

Выпрямившись во весь рост, Амелия затопала ногами и закричала:

— Ты же сам этого хотел, Амаро!

— Еще бы! Не пропадать же из-за тебя! Конечно, хо-

тел!.. — ответил он, окинув ее высокомерным взглядом, как бы говорившим о презрении души прямой и высокой.— Но, будь у тебя хоть капля стыда, ты постеснялась бы так открыто выражать свою радость, свое нетерпение... Бесстыжая тварь, вот ты кто!

Не говоря ни слова, страшно бледная, Амелия взяла свою мантилью и направилась к двери.

Амаро в исступлении схватил ее за руку:

— Куда?.. Смотри мне в глаза. Ты бесстыжая тварь... Так и знай. Тебе не терпится лечь с другим!..

— Ну, если так... Ты угадал! Не терпится! — сказала она.

Амаро с размаху ударил ее по лицу.

— Не бей меня! — крикнула она.— Я ношу твоего ребенка!

Он замер на месте, затрепетав. При этих словах, при мысли о ребенке, сердце Амаро пронзила нестерпимая жалость и любовь; кинувшись к Амелии, он изо всех сил прижал ее к себе, словно хотел вдавить в свою грудь, поглотить всю, сберечь для одного себя; он осыпал ее лицо и волосы поцелуями, похожими на укусы.

— Прости меня! — бормотал он.— Прости, моя Амелия! Прости, я схожу с ума!

Она вся содрогалась от нервного плача. То утро в комнате звонаря прошло в чаду любовной горячки, которой мысль о ребенке, связав их словно неким таинством, сообщала неистовую нежность, постоянно воскресающую страсть, вновь и вновь бросавшую их в объятия друг друга.

Они забыли о времени. Амелия вырвалась из рук Амаро только тогда, когда внизу, в кухне, застучал костыль дяди Эгельяса.

Пока она торопливо приводила себя в порядок перед осколком зеркала, висевшим на стене, Амаро смотрел на нее с печалью; вот она приглаживает гребнем волосы — черные волосы, которых уже никогда не будет распускать и расчесывать у него на глазах. Он тяжело вздохнул и сказал с волнением:

— Кончились наши хорошие денечки, Амелия. Ты и сама того хочешь... Вспомнишь ли когда-нибудь счастливые часы на чердаке у звонаря?

— Не говори так! — взмолилась Амелия, поднимая на него полные слез глаза.

И вдруг, кинувшись к нему на шею с пылкостью первых дней их любви, она зашептала:

— Я всегда буду твоей... И после свадьбы тоже.

Амаро жадно схватил ее за руки.

— Поклянись!

— Клянусь.

— Клянешься святым причастием?

— Клянусь святым причастием, клянусь именем божьей матери...

— Мы будем вместе всегда, при всякой возможности?

— Всегда!

— О Амелиазинья! О милая! Я не променял бы тебя на королеву!

Она ушла. Соборный настоятель, оправляя постель, слышал, как она спокойно разговаривает внизу с дядей Эсгельясом, и думал про себя, что это замечательная женщина, способная обвести вокруг пальца самого сатану, и что дуралею писарю еще придется хлебнуть с ней горя.

Этот «пакт», как выражался падре Амаро, они считали непреложным и совершенно спокойно его обсуждали. Брак Амелии с клерком они рассматривали как неприятную необходимость, как одну из тех условностей, что общество налагает на нас, подавляя наши естественные влечения; но природа, точно невидимый газ, стремится уйти от этого ига, пользуясь любой лазейкой. Перед богом сеньор соборный настоятель — единственный подлинный супруг Амелии; это супруг ее души, для которого она сбережет самые пылкие поцелуи, самую безраздельную покорность, всю свою добрую волю; другому достанется лишь безжизненное тело... Они уже обдумывали, как ловко будут вести тайную переписку, намечали места для будущих свиданий.

Амелия переживала новый разгар любви. Она была уверена в том, что через несколько недель замужество «покроет грех», и припадки страха у нее прошли; она не боялась даже небесного гнева. К тому же пощечина подействовала на нее, как удар хлыста на заленившуюся, замедлившую бег лошадь: страсть ее встрепенулась, точно звонко заржавший конь, и снова помчалась вскачь в огненном вихре.

Амаро блаженствовал. Конечно, иногда его царапала мысль об этом законном муже, который будет подле нее и днем и ночью... Но зато какая компенсация! Все опасности исчезают, точно по волшебству, все наслаждения становятся еще острей и утонченней. Конец угрызениям совести, он более не совратитель, а она — еще милей и доступней.

Теперь он торопил Дионисию скорей кончать эти скучные

поиски. Но лукавая баба, вероятно, чтобы набить себе цену, никак не могла изловить наборщика, вредного Густаво, этого гнома из рыцарского романа, владевшего тайной волшебной башни, где жил заколдованный принц.

— О господи! — стонал каноник.— На что это похоже! Два месяца искать какого-то шута! В конце концов, братец, мало ли на свете писарей. Добудь другого!

Но вот однажды вечером, когда он по дороге зашел к соборному отдохнуть, при нем явилась Дионисия; увидя обоих священнослужителей за кофе, она воскликнула:

— Наконец все ясно!

— Ну, Дионисия, что?

Та не спешила: с позволения сеньоров священников, она присядет, а то совсем забегалась, дух вон. Сеньор каноник не поверит, сколько хлопот с этим делом... Проклятый наборщик похож на оленя из сказки, которую она слышала девочкой: этот олень все время бежал под самым носом у охотников, но они никак не могли его догнать. Вот и ей пришлось так же гоняться за дичью! Но все же наборщика таки поймали... Оказался подвыпивши...

— Короче! Что? — не вытерпел каноник.

— Что? — повторила она.— Ничего!

Оба священника смотрели на нее с недоумением.

— Как это «ничего»?

— А — ничего. Клерк уехал в Бразилию.

Густаво получил от Жоана Эдуардо два письма: в первом тот сообщал свой лиссабонский адрес — возле Посо-до-Борратена — и уведомлял, что хочет эмигрировать в Бразилию; во втором он писал, что переехал на другую квартиру, но нового адреса не давал, ибо намеревался отплыть на первом же пакетботе в Рио, с какими деньгами и какими надеждами — неизвестно. Дальнейшее было окутано неопределенностью и тайной. Прошел уже месяц, новых писем не поступало, и наборщик делал отсюда вывод, что в данную минуту клерк плывет через океан... «Но мы за него отомстим!» — сказал он Дионисии на прощанье.

Каноник медленно помешивал кофе; он был ошарашен.

— Что скажете, учитель? — едва выговорил Амаро, бледный как мел.

— Скверно.

— Черт побери всех женщин, чтоб им испечься в аду! — глухо проговорил падре Амаро.

— Аминь,— ответил каноник без улыбки.

XX

Сколько было слез, когда Амелия узнала печальную новость! Ее доброе имя, покой, так тщательно обдуманные планы на счастливое будущее — все потонуло в океанских туманах, уплыло в Бразилию!

Наступили самые черные недели ее жизни. На свидания она приходила в слезах и каждый день спрашивала, что ей делать.

Амаро, подавленный, без единой мысли в голове, отправлялся к дорогому учителю.

— Мы делаем все, что возможно,— говорил расстроенный каноник.— Терпите. Не надо было начинать!

Амаро возвращался к Амелии и бормотал невнятные слова утешения:

— Все уладится; будем уповать на бога!

Неподходящее время надеяться на бога, когда именно бог, полный гнева, обрушил на нее беду! И растерянность Амаро — мужчины и священника, который обязан быть достаточно сильным и ловким, чтобы спасти ее,— приводила Амелию в полное отчаяние. Ее любовь стремительно убывала, как вода, которую впитывает песок, и на месте ее оставалось какое-то странное чувство: смесь плотского влечения и уже проступающей сквозь него ненависти.

Она с недели на неделю откладывала встречи в домике звонаря. Амаро даже не сетовал: теперь эти счастливые утра бывали вконец испорчены жалобами и слезами; в каждом поцелуе клокотало всхлипыванье, и это так подрывало в нем силу духа, что он готов был сам кинуться лицом вниз на кровать и заплакать в голос.

В глубине души он считал, что она преувеличивает и напрасно запугивает его своими ни с чем не сообразными страхами. Другая, более рассудительная женщина не впала бы в такую панику... Да что с нее спрашивать? Истеричная святоша, сплошные нервы, предчувствия, экзальтация... Ах, что говорить, все это глупо, глупо и глупо.

Амелия тоже считала, что получилась ужасная глупость. Как было не предвидеть неизбежного? Где там! Неразумная женщина, она ринулась в омут любви без оглядки, почему-то надеясь, что это пройдет для нее безнаказанно; и вот теперь, когда под сердцем у нее шевелится дитя, все ее существование — сплошные слезы, страхи, жалобы!

Жизнь Амелии текла угрюмо: днем, чтобы мать ни о чем не догадалась, надо было держать себя в руках, прилежно ра-

ботать, разговаривать, притворяться веселой. Зато по ночам расстроенное воображение рисовало ей нескончаемые, фантастические кары на том и на этом свете, нищету, одиночество, презрение порядочных людей, муки чистилища...

Непредвиденное обстоятельство внесло разнообразие в мрачную печаль, которая уже становилась нездоровой привычкой ее души. Однажды вечером прибежала запыхавшись служанка каноника и сообщила, что дона Жозефа помирает.

Накануне достойная сеньора почувствовала себя плохо: у нее начались колющие боли в боку; но все же она не пожелала отказаться от посещения церкви Непорочного зачатия, где дала обет прочитать весь акафист; возвращаясь, она дрожала от холода и озноба, боли стали еще острее; позвали доктора Гоувейю, и тот поставил диагноз: тяжелая пневмония.

Сан-Жоанейра немедля переселилась к доне Жозефе, чтобы ходить за ней. Долгие недели в спокойном доме каноника бушевал вихрь преданности и скорби: верные приятельницы целыми днями сидели у постели больной, за вычетом того времени, когда они расходились по церквам давать обеты и возносить молитвы своим излюбленным святым; походкой привидений они скользили по комнатам, то входили к доне Жозефе, то выходили от нее, зажигали лампадки у образов святых, изводили доктора Гоувейю придирчивыми расспросами. Вечером в зале, где тускло светила наполовину погашенная лампа, по всем углам раздавался плаксивый шепот, а за чаем под размеренный хруст сухариков испускались тяжкие вздохи и украдкой подносились к глазам платки.

Каноник обычно сидел где-нибудь в углу, глубоко расстроенный, подавленный этим внезапным нашествием болезни с ее унылой декорацией: на всех столах полчища аптечных пузырьков, каждый день — торжественное появление врача, траурные лица посетительниц, пришедших узнать, нет ли признаков улучшения, приглушенная лихорадочная суетня во всем доме, какой-то особенно заунывный бой часов в притихших комнатах, брошенные на пол и никем не подобранные грязные полотенца, тревожные вечера, когда с темнотой приходит боязнь уснуть навеки...

Впрочем, он был искренне опечален. Пятьдесят лет он жил неразлучно со своей сестрой. Она вносила оживление в этот дом; долгая привычка превратилась в привязанность; ее придирки, черные чепцы, шумная суетня стали неотъемлемой частью его жизни. Да и кто знает, не захочет ли смерть, раз уж она проложила дорогу в их дом, заодно прихватить и его?..

Амелия испытывала облегчение; по крайней мере, никто о ней не думал, не обращал на нее внимания, а грустное лицо и следы слез никого не могли удивить: ведь крестная была при смерти. Кроме того, заботы о больной отвлекали ее от мыслей о себе. Она была самой молодой и выносливой, и когда Сан-Жоанейра выбивалась из сил, Амелия сменяла ее у постели доны Жозефы: не было на свете забот, которых она бы не расточала, чтобы умилостивить пресвятую деву своей любовью к страждущей и заслужить такое же милосердие от других, когда ей самой придется лежать беспомощной в родовых муках... Погребальное настроение, царившее в доме, нагоняло на нее тяжелые предчувствия: она была уверена, что умрет от родов; сидя в одиночестве возле доны Жозефы и зябко кутаясь в шаль, Амелия слушала однообразные стоны больной и оплакивала свою неминуемую смерть, и слезы выступали у нее на глазах от смутного сострадания к самой себе, к своей молодости и несчастной любви... Она отходила от постели, становилась на колени перед комодом, где тускло мерцала лампадка у ног распятого Христа, отбрасывавшего на светлые обои свою бесформенную тень, изломанную на потолке, и принималась горячо молиться, прося божью матерь, чтобы не закрывала перед ней двери рая... Но вдруг старуха повертывалась на кровати с болезненным стоном, и Амелия сейчас же спешила к больной, укутывала ее одеялом, тихо что-нибудь говорила. Потом выходила в гостиную взглянуть на часы — не пора ли давать лекарство; иногда она вздрагивала, услышав за стеной свист флейты или хриплый рев тромбона: там храпел каноник.

В один прекрасный день доктор Гоувейя объявил наконец, что дона Жозефа вне опасности, чем доставил живейшее удовольствие дамам; каждая была уверена, что помог ее личный святой. Через две недели в доме был настоящий праздник: дона Жозефа в первый раз, поддерживаемая заботливыми руками подруг, отважилась на два неуверенных шага по комнате. Бедная дона Жозефа, что сделала с ней болезнь! Когда, собрав все силы, она просила дать ей плевательницу или микстуру, ее злой голосок, некогда пускавший каждое слово, как отравленную стрелу, напоминал теперь писк умирающей мыши. Ее все подмечавшие глазки, проницательные и коварные, спрятались в провалах глазниц, словно боясь света, теней и контуров. А тело ее, прежде такое жилистое, негнущееся, жесткое, как сухая лоза, дрябло поникало в глубине кресла, под теплыми пледами и шарфами, точно ветхая тряпица.

Доктор Гоувейя предрекал долгое и трудное выздоровленье, но, после того как дона Жозефа изъявила свое первое сознательное желанье — подойти к окну, он со смехом сказал канонику, что с помощью нежных забот, тонизирующих лекарств и молитв добрых сеньор сестрицу скоро можно хоть замуж выдавать...

— Ах, доктор,— вскричала дона Мария,— в наших молитвах недостатка не будет...

— А я возьму на себя укрепляющие микстуры,— сказал доктор,— так что нам остается только поздравить друг друга.

Веселость доктора была воспринята как гарантия скорого и полного выздоровления.

Через несколько дней каноник завел речь о том, что конец августа не за горами и самое время снимать дачу на побережье Виейры; он ездил туда раз в два года, чтобы полечиться морскими купаньями; прошлый сезон он пропустил, значит, в этом году надо ехать к морю.

— А сестрица на целебном морском воздухе совсем поправится...

Но доктор Гоувейя не одобрил эту идею. Слишком крепкий и свежий воздух не годится для ослабевшей доны Жозефы. Ей гораздо полезней провести лето в усадьбе, в Рикосе, близ Пойяйса, где климат умеренный и местность защищена от ветров.

Каноник был крайне недоволен, возмущался и брюзжал. Что же получается?! Он должен на все лето, лучшее время года, похоронить себя в Рикосе? А как же морские купанья, о боже, как же морские купанья!

— Вот видишь,— жаловался он однажды вечером Амаро, сидя с ним в кабинете,— видишь, как я пострадал! Сначала эта болезнь, в доме суматоха, кавардак! Чай не вовремя, обед пригорел! Сколько тревог... Я исхудал! Ну ладно, допустим... Я надеялся подправить здоровье на берегу моря — так нет! Изволь отправляться в Рикосу, отказывайся от морских ванн... За что такие мученья? В конце концов не я болел, так почему именно я должен расплачиваться? Два года подряд без морских купаний!..

Тогда Амаро вдруг стукнул кулаком по столу и воскликнул:

— Идея!

Каноник взглянул на него с недоверием, как бы говоря, что не видит возможности для человеческого ума найти средство от угнетавших его зол.

— Это не просто прекрасная идея, дорогой учитель, а поистине светлая мысль!

— Говори, брат, что там такое...

— Слушайте. Вы поедете в Виейру; Сан-Жоанейра, конечно, с вами. Вы снимете дачи по соседству, как делали в позапрошлом году.

— Дальше.

— Хорошо, Итак, Сан-Жоанейра в Виейре. А сеньора ваша сестрица поедет в Рикосу.

— Как? Одна?

— Нет! — торжествующе закричал Амаро.— Она поедет туда с Амелией! Амелия будет за ней ухаживать! Они поедут туда вдвоем! И там, в Рикосе, в этой дыре, куда никто никогда не заглядывает, в огромном доме, где можно жить целый год и никто этого даже не заподозрит, там Амелия родит ребенка! Ну, что скажете?

Каноник даже привстал. Глаза у него были совсем круглые от восхищения.

— Отличная мысль, братец!

— Конечно! Таким образом все уладится! Вы будете принимать свои морские ванны. Сан-Жоанейра вдали от дочери ни о чем не узнает. Ваша сестрица поправится в подходящем климате. Амелия обретет надежное убежище для своего дела. В Рикосе никто ее не увидит... Дона Мария тоже поедет в Виейру. Сестры Гансозо idem [1]. Амелия должна разрешиться в начале ноября. Никто из нашей компании не вернется в город до декабря — это уж вы возьмете на себя. А когда мы все окажемся дома, девушка уже опять будет чиста и свежа.

— Ну, брат, это первая мысль, посетившая тебя за два года: зато мысль прекрасная!

— Спасибо, дорогой учитель.

Однако оставалось еще одно препятствие и не пустячное: пойти к доне Жозефе, непреклонной доне Жозефе, не прощавшей любовных прегрешений, к доне Жозефе, которая требовала для женской слабости древних готских расправ — клеймения раскаленным железом, публичного наказания розгами на городской площади, поражающих ужасом in pace,— пойти к ней с предложением стать укрывательницей тайных родов!

— Сестрица взовьется до потолка! — сказал каноник.

— Увидим, дорогой учитель,— возразил падре Амаро, откидываясь в кресле и покачивая ногой; он был твердо уверен

---

[1] То же самое *(лат.)*.

Преступление Падре Амаро

в своем священническом престиже.— Увидим. Я с ней поговорю. Я найду нужные слова. Растолкую ей, что помочь бедняжке — дело совести... Объясню, что на пороге смерти надо сделать кому-нибудь добро, чтобы не явиться к воротам рая с пустыми руками... Увидим!..

— Ну что ж, ну что ж,— сказал каноник,— момент довольно подходящий: после болезни сестрица поглупела и стала послушна, как младенец.

Амаро встал, весело потирая руки.

— Итак, за дело! За дело!

— Давно пора. Еще немного — и разразится скандал. Учти, сегодня утром эта бестия Либаниньо вздумал сострить: Амелия, видите ли, потолстела в талии...

— Негодяй! — вскрикнул Амаро.

— Нет, нет, он так, сдуру. Но она таки округлилась, это верно... В суматохе из-за сестрицыной болезни все словно ослепли, но теперь могут заметить. С этим, брат, шутки плохи.

На следующей неделе Амаро отправился, по выражению каноника, «брать сестренку на абордаж».

Предварительно он изложил учителю, заглянув к нему в кабинет, план атаки: во-первых, он скажет доне Жозефе, что каноник ничего не знает о приключившейся с Амелиазиньей беде. И что он, Амаро, узнал об этом тоже не из исповеди (ибо в таком случае не имел бы права разгласить тайну), а из доверительного разговора с обоими виновниками: Амелией и женатым человеком, ее соблазнившим. Ее соблазнил женатый человек, вот в чем все дело! Как иначе объяснить старухе, почему невозможно прикрыть грех свадьбой?

Но каноник, сморщившись, тер затылок.

— Нет, не пойдет,— сказал он.— Сестрица отлично знает, что на улице Милосердия женатых мужчин не бывало.

— А Артур Коусейро? — глазом не моргнув, воскликнул падре Амаро.

Каноник долго и смачно хохотал. Несчастный, беззубый, многодетный Артур, глядящий на мир глазами унылого барана — в роли совратителя девственниц!.. Умора!

— Не пойдет, друг соборный, не пойдет! Выдумай что-нибудь получше!

И тут с уст обоих священников разом сорвалось одно и то же имя: Фернандес! Фернандес из суконной лавки! Красивый мужчина, чью наружность всегда хвалила Амелия. Она

часто заходила в его магазин, а два года назад в доме на улице Милосердия был большой переполох и негодование: Фернандес вздумал провожать Амелию по шоссе в Марразес до самого Моренала!

Конечно, так прямо указывать на него не стоит, но надо дать понять сестрице Жозефе, что виноват Фернандес.

Амаро бодро поднялся в комнату старухи, расположенную как раз над кабинетом, и пробыл там полчаса — долгих и не спокойных для каноника полчаса: напрягая слух, он мог различить то скрип подошв Амаро, то глухой кашель доны Жозефы. Привычно шагая по кабинету между окном и книжным шкафом, заложив руки за спину и сжимая в пальцах табакерку, он размышлял о том, сколько треволнений и расходов навлекли на него забавы сеньора соборного настоятеля! Теперь придется содержать провинившуюся Амелию в своей усадьбе месяцев пять или шесть... А во что обойдется врач, акушерка — ведь платить-то ему, канонику! Потом приданое для новорожденного... Кстати, куда девать новорожденного? В городе приют для подкидышей закрыли; в Оурене из-за скудости средств, отпускаемых на богоугодные заведения, и скандального наплыва подкидышей поставили специального человека у приютского колокола, чтобы задавал вопросы и чинил препятствия; там ведут расследования, устанавливают имена родителей, возвращают им подкинутых детей: власти хитрят, пытаясь угрозой разоблачения и позора умерить число подброшенных младенцев.

Словом, бедный каноник предвидел непроходимую чащу трудностей, через которую ему предстоит продираться, расплачиваясь своим покоем и пищеварением... Но в глубине души старик не сердился; втайне он, как старый учитель, был привязан к падре Амаро; к Амелии он тоже питал известную слабость, в которой смешивались чувства отца и поползновения старого сатира; и даже будущий младенец уже будил в нем смутное дедовское снисхождение.

Но вот дверь распахнулась, и вошел сияющий Амаро.

— Что я вам говорил, дорогой учитель? Все в порядке!

— Она согласилась?!

— На все. Конечно, не без сопротивления. Сначала полезла было на стену. Но я ей объяснил, что этот человек женат; что девушка совсем потеряла голову и хочет покончить с собой; что надо помочь бедняжке, иначе придется нести ответственность за несчастье... Сеньора не должна забывать, что стоит одной ногой в могиле, что бог может призвать ее с ми-

нуты на минуту; если на совести у нее останется такой тяжкий грех, ни один священник не посмеет дать ей отпущение!.. И она умрет, как собака!

— Словом,— одобрил каноник,— ты приводил самые разумные доводы.

— Я сказал ей правду. Теперь надо поговорить с Сан-Жоанейрой и как можно скорее увезти ее к морю и...

— Еще один вопрос, дружок,— перебил каноник.— Ты подумал о том, куда мы денем плод?

Падре Амаро сокрушенно зачесал голову.

— Ох, учитель... Это вторая проблема... И она очень меня беспокоит. Конечно, надо отдать его на воспитание какой-нибудь женщине, только подальше, например, в Алкобасу или Помбал... Лучше бы всего, если бы ребенок родился мертвый!

— Да, был бы еще один ангелочек... — промычал каноник и втянул в нос понюшку табаку.

В этот же вечер каноник Диас беседовал с Сан-Жоанейрой в нижней гостиной, где она раскладывала на блюде мармелад для просушки; мармелад предназначался к моменту выздоровления доны Жозефы. Каноник начал разговор с того, что снял для Сан-Жоанейры домик у Феррейро.

— Да ведь это собачья конура! — воскликнула она.— Где я положу дочку?

— Я еще не кончил. Дело в том, что Амелия на этот раз не поедет в Виейру.

— Не поедет?

Каноник объяснял, что сестрица Жозефа не может жить одна в Рикосе, и он подумал, не отправить ли с ней Амелию... Эта мысль пришла ему в голову сегодня утром.

— Я не могу составить Жозефе компанию: морские купания мне пропустить нельзя, вы сами знаете... Но не оставлять же бедную старушку совсем одну, со служанкой. Следовательно...

Сан-Жоанейра расстроилась. Немножко помолчав, она сказала:

— Это верно. Но знаете... Откровенно говоря, мне очень бы не хотелось расставаться с дочкой... Пожалуй, лучше я отменю купанья и поеду с ней.

— Как это с ней! Нет, сеньора, вы поедете в Виейру. Меня тоже нельзя оставить одного... Ах ты, неблагодарная! — И тут же, переменив шутливый тон на полную серьезность, он

продолжал: — Вы же сами видите, сеньора. Жозефа стоит одной ногой в могиле. Сестра знает, что моего состояния мне вполне достаточно. Она любит девочку, тем более что приходится ей крестной; если крестница теперь поедет с ней, чтобы ходить за нею в болезни, и пробудет подле нее несколько месяцев, старушка совсем расчувствуется. А ведь сестренка потянет на пару тысяч крузадо. Девочка получит неплохое приданое. По-моему, раздумывать не о чем.

Сан-Жоанейра согласилась с ним. Пусть будет, как хочет сеньор каноник.

Тем временем Амаро наверху набрасывал Амелии в общих чертах свой «великий план» и описывал разговор с доной Жозефой: добрая старушка сразу же согласилась, она полна снисхождения и даже вызывается справить приданое для маленького...

— Положись на нее, она святая... Так что все улажено, дорогая. Надо только четыре-пять месяцев посидеть в Рикосе.

Но именно это не улыбалось Амелии; она захныкала: пропустить купальный сезон на взморье, лишиться морских ванн!.. Просидеть все лето в мрачном каменном доме в Рикосе! Она там была всего один раз, под вечер, и чуть не окоченела от холода и страха. Всюду такая темень, под потолком гуляет эхо... Она уверена, что умрет в этой ссылке.

— Чепуха! — сказал Амаро.— Благодари создателя, что я придумал хоть такой выход. С тобой будет дона Жозефа, с тобой будет Жертруда, там есть яблоневый сад, где ты сможешь гулять... Я буду навещать тебя каждый день. Тебе даже понравится, вот увидишь.

— Я понимаю, надо терпеть.— И, вытирая две крупные слезы, повисшие у нее на ресницах, она мысленно проклинала эту любовь, которая уже причинила ей столько страданий. А теперь вся Лейрия едет веселиться в Виейру, она же должна похоронить себя на все лето в пустынной Рикосе, слушать кашель старухи да завыванье собак... — А маменька? Что скажет маменька?

— А что ей говорить? Ведь не может дона Жозефа ехать туда одна, остаться без ухода? О маменьке не беспокойся. Сеньор каноник сейчас обрабатывает ее внизу... И я тоже пойду к ним; мы с тобой уже довольно долго говорим наедине; в последние дни надо вести себя особенно осторожно...

Он вышел. Каноник как раз взбирался наверх, и они встретились на лестнице.

— Ну как? — шепотом спросил Амаро.
— Все в порядке. А у тебя?
— Idem.
И на темной лестнице оба священнослужителя молча пожали друг другу руку.

Несколько дней спустя Амелия после горестной сцены расставанья уехала на шарабане в Рикосу с доной Жозефой.

Для выздоравливающей устроили в углу повозки удобное гнездышко из подушек. Каноник поехал их провожать, молча злясь на эту новую жертву. Жертруда восседала наверху, на тюфяке, в тени горы, образовавшейся на крыше экипажа из кожаных баулов, корзин, бидонов, узлов, мешков, корзины, в которой мяукала кошка, и ящика, куда упаковали изображения самых любимых святых доны Жозефы.

В конце недели, к вечеру, когда спал зной, наступило и для Сан-Жоанейры время перебираться в Виейру. Всю улицу Милосердия загромоздила запряженная волами телега, на которую грузили посуду, матрасы, кастрюли, а на том же самом шарабане, который увез двух дам в Рикосу, теперь сидели Сан-Жоанейра и Руса, тоже державшая на коленях корзину с кошкой.

Каноник отбыл накануне. Один Амаро присутствовал при отъезде Сан-Жоанейры. После длительной суматохи, после беготни вверх и вниз по лестнице то за забытой кошелкой, то за пропавшим свертком, когда Руса заперла, наконец, дверь на замок, Сан-Жоанейра, уже стоя на подножке шарабана, вдруг залилась слезами.

— Полно, сеньора, полно! — уговаривал Амаро.

— Ах, сеньор настоятель, зачем я оставила Амелию одну! Вы не можете понять, как это ужасно... Мне кажется, я ее больше не увижу. Наведывайтесь почаще в Рикосу, окажите такую милость. Поглядывайте, как она там...

— Будьте покойны, милая сеньора.

— Прощайте, сеньор падре Амаро! Спасибо за все. Я стольким вам обязана!

— Пустяки, милая сеньора... Счастливого пути, пришлите мне весточку! Привет сеньору канонику. Прощайте, сеньора! Прощай, Руса...

Шарабан тронулся. Амаро медленно шел вслед за ним до поворота на Фигейру. Было уже девять часов, луна взошла,

озарив теплую, тихую августовскую ночь. Светлая дымка окутывала безмолвную землю. Там и сям стена какого-нибудь дома блестела под луной, в темной рамке деревьев. Амаро остановился у моста и бросил задумчивый взгляд на реку, с однообразным журчаньем бежавшую между песчаных берегов. В тех местах, где деревья склонились над ее руслом, густел непроглядный мрак; зато дальше от берега лунные блики дрожали на воде, словно искрящееся кружево. Амаро долго стоял в этой успокоительной тишине, куря сигарету за сигаретой и бросая окурки в воду. Им овладела беспричинная грусть. Услышав, что бьет одиннадцать, он повернул обратно в город. Прошел, расчувствовавшись от воспоминаний, и по улице Милосердия. Дом Сан-Жоанейры с закрытыми ставнями, за которыми не видно было кисейных занавесок, казался покинутым навсегда; забытые вазоны с розмарином по-прежнему высились в углах балконов... Сколько раз они с Амелией стояли вместе на этой веранде, держась за перила! В ящике цвели гвоздики, и, разговаривая, Амелия иногда отрывала листок и покусывала его зубами. Всему пришел конец! Уханье сов, ютившихся на крыше богадельни, навевало чувство одиночества, запустения и смерти.

Он медленно пошел домой со слезами на глазах.

Не успел он войти, как служанка сообщила, что дядя Эсгельяс, в сильном расстройстве, спрашивал его дважды, часов так около девяти. Тото при смерти, она желает исповедаться, причаститься и соборовaться непременно у сеньора настоятеля.

Какое-то суеверное опасение подсказывало падре Амаро, что не следует в эту ночь идти ради печального долга в дом, с которым связано столько счастливых воспоминаний; но все же он пошел, чтобы не обидеть дядю Эсгельяса. Смерть Тото так странно совпала с отъездом Амелии... Тягостное чувство овладело душой Амаро: вдруг сразу уходит все, что составляло в последнее время его жизнь.

Дверь в домик звонаря была полуоткрыта; в темной прихожей он наткнулся на двух женщин, которые уходили, вздыхая. Он направился прямо к алькову парализованной. Две толстые восковые свечи, принесенные из церкви, горели на столе; тело Тото было накрыто белой простыней; падре Силверио, дежуривший на этой неделе, читал по молитвеннику, разложив на коленях платок. Он встал, как только увидел падре Амаро.

— Ах, коллега,— сказал он почти шепотом,— вас искали по всему городу. Умирающая требовала непременно вас. Ког-

да за мной пришли, я как раз собирался к Новайсам, перекинуться в карты. Ведь сегодня суббота... Какая здесь разыгралась сцена! Она умерла без покаяния... Что тут было, когда я появился вместо вас! Право, я боялся, что она плюнет на мое распятие...

Амаро, не ответив ни слова, приподнял уголок простыни, но поскорей снова опустил его на лицо мертвой. Потом пошел в верхнюю комнатку. Звонарь, лежа на кровати лицом к стене, безутешно рыдал. Там была какая-то женщина; она сидела в уголку безмолвно и неподвижно, не поднимая глаз и, видимо, тяготясь исполнением долга, налагаемого соседством. Амаро, положив руку на плечо звонаря, сказал:

— Надо терпеть, дядя Эсгельяс... Такова воля господа. Для нее это лучше.

Дядя Эсгельяс повернулся на голос. Увидев сквозь пелену слез, застилавшую ему глаза, соборного настоятеля, он взял его руку и хотел поцеловать. Амаро отступил.

— Что вы, дядя Эсгельяс!.. Бог милосерден... Он зачтет ей ваше горе...

Тот не слушал, рыданья сотрясали его. Соседка совершенно хладнокровно подносила платок то к одному глазу, то к другому.

Амаро спустился и, чтобы избавить добряка Силверио от исполнения чужих обязанностей, занял его место у стола, где горела свеча, и раскрыл требник.

Он остался здесь на всю ночь. Соседка, уходя, заглянула к нему, сообщила, что дядя Эсгельяс задремал, и пообещала вернуться на рассвете с другими женщинами, чтобы обрядить покойницу.

Весь дом погрузился в безмолвие, которое от соседства собора казалось еще мрачней; лишь изредка сыч кричал на башне да гулкий бас соборных часов отбивал четверть часа. Охваченный смутным страхом, но прикованный к месту голосом неспокойной совести, Амаро торопливо читал молитву за молитвой... Требник то и дело выпадал у него из рук. Он застывал в неподвижности, все время чувствуя за спиной присутствие трупа, накрытого простыней, и с болью вспоминал радостные часы, когда солнце заливало двор, в небе вились ласточки, а они с Амелией со смехом поднимались в верхнюю комнатку, где теперь, на той же самой кровати, дремал дядя Эсгельяс, и в горле у него еще клокотали рыданья...

XXI

Каноник Диас настоятельно советовал Амаро хотя бы первое время воздержаться от визитов в Рикосу, чтобы не возбудить подозрений у сестрицы Жозефы и у служанки. Жизнь Амаро стала еще печальней и пустей, чем в те времена, когда, покинув дом Сан-Жоанейры, он переехал на улицу Соузас. Никого из знакомых не осталось в Лейрии: дона Мария уехала в Виейру; сестры Гансозо жили где-то под Алкобасой у тетки, той самой знаменитой тетки, которая уже десять лет была при смерти, томя племянниц ожиданием богатого наследства. По окончании службы в соборе долгие дни влачились тяжко, точно свинцовые гири. Святой Антоний в песках Ливийской пустыни был не более отрезан от всего живого. Один лишь коадъютор, который — странное дело! — никогда не появлялся у Амаро в дни счастья, опять возобновил свои посещения к концу обеда, раз или два в неделю — точно докучливый спутник горестных дней. Он стал еще костлявей, еще изможденней, еще угрюмей, чем был, и являлся по-прежнему со своим неразлучным зонтом. Амаро возненавидел этого человека. Иногда, чтобы поскорей выпроводить непрошеного гостя, он притворялся, что погружен в чтение; или же, заслышав на лестнице медленные шаги, торопливо усаживался за стол и говорил:

— Дорогой мой, извините, мне необходимо кое-что написать.

Но тот прочно располагался на стуле, поставив зонт между колен.

— Не стесняйтесь, сеньор соборный настоятель, не стесняйтесь.

И Амаро, полный ненависти к этой сумрачной фигуре, не желавшей встать со стула, злобно бросал перо и хватался за шляпу:

— Нет, сегодня что-то не клеится, пойду пройдусь!

И на первом же углу он без церемоний убегал от коадъютора.

Иногда, не в силах выносить одиночество, Амаро отправлялся к падре Силверио. Но ленивое довольство этого жирного существа, всецело поглощенного собиранием рецептов домашней медицины и причудами своего пищеварения, нескончаемые похвалы доктору Годиньо, его супруге и деткам, неизменные шутки, которые повторялись уже сорок лет все с тем же невинным весельем,— все это выводило из себя падре Амаро. Он уходил раздраженный до крайности, проклиная злую судьбу,

создавшую его столь непохожим на падре Силверио. Ведь в конце концов это и есть счастье! Почему ему не суждено тоже быть тупоголовым добряком священником, занимать свои досуги какой-нибудь невинной, но всепоглощающей манией, быть прихлебателем и любимцем влиятельного семейства, счастливцем, в чьих жилах спокойная кровь течет себе под слоем жира, как тихая речонка под толщей гор, никогда не грозя выйти из берегов и натворить бед?

В другие дни он заходил к коллеге Натарио: сломанную кость лечили на первых порах неудачно, и падре Натарио до сих пор лежал в постели с привязанными к ноге гирями. Амаро мутило от одного вида его комнаты, где все пропиталось запахом арники и пота, где в тазах мокли бесчисленные тряпки, а на комодах, между вереницами святых, теснились аптечные пузырьки. Не успевал он войти, как Натарио разражался жалобами. Все врачи ослы! За что такое наказание?! Его подвергают пытке! Когда появится настоящая медицина в этой анафемской стране?! И он усеивал пол своей комнаты плевками и окурками. С тех пор как он заболел, благополучие окружающих, и особенно друзей, воспринималось им как личная обида.

— А вы все такой же здоровяк! Еще бы! — шипел он с горькой враждой.— Подумать только, что эта скотина Брито не знает даже, что такое головная боль! А обжора аббат хвастает тем, что никогда не лежал в кровати позднее семи утра! Канальи!

Амаро начинал рассказывать ему новости: про последнее письмо от каноника из Виейры, про самочувствие доны Жозефы...

Но Натарио не интересовался людьми, с которыми его связывала дружба или совместные дела; он интересовался только врагами, только теми, с кем его связывали узы ненависти. Особенно настойчиво он допытывался, что с клерком: околел от голода или еще нет?

— Хорошо хоть с этим-то успел разделаться, прежде чем свалился с проклятой лошади!..

Потом появлялись племянницы — два веснушчатых создания с заплаканными глазами. Они расстраивались из-за того, что дядечка не позволяет пригласить знахарку пошептать над ногой: излечила же она сеньора из Баррозы, а также Пиментела из Оурена...

В присутствии «двух роз своего вертограда» Натарио успокаивался.

— Бедные девочки! Не их вина, если я до сих пор не встал на ноги... Черт знает, сколько я вытерпел от этой гадости!

И обе «розы» совершенно одновременным и одинаковым движением отворачивались, чтобы вытереть глаза носовыми платками.

Амаро выходил от них еще более озлобленный и раздраженный.

Чтобы утомить себя, он предпринимал далекие прогулки по Лиссабонскому шоссе. Но когда он удалялся от городского шума, уныние его делалось еще беспросветней, он настраивался в лад с однообразными холмами и хилыми деревьями, и вся жизнь казалась ему такой же скучной, как эта гладкая, прямая дорога, безрадостно уходившая в мглистую вечернюю даль. На обратном пути Амаро иногда заходил на кладбище, прогуливался между кипарисами, вдыхал сладковатый аромат левкоев, сильно пахнущих по вечерам. Затем принимался разбирать эпитафии; прислонясь к золоченой решетке, окружавшей склеп семейства Гоувейя, рассматривал барельефные эмблемы — шляпа с кокардой и рапира,— пробегал взглядом по строкам знаменитой оды, высеченной на камне:

Прохожий, стань и созерцай
Сей бренный прах;
Но скорбь себе не позволяй
Излить в слезах.
Жоан Кабрал да Силва Малдонадо
Мендонса де Гоувейя,
Дворянский сын и бакалавр
Из рода Сейя,
Служа Христу, для малых сих
Свершил немало,—
Всех добродетелей людских
Он был зерцало.

Дальше стоял роскошный мавзолей Морайса; вдова его, достигнув богатства и сорока лет, вступила в сожительство с красавцем капитаном Тригейро, а на могильной плите мужа велела высечь следующее скорбное четверостишие:

Ты половину сердца своего
Жди, мой супруг, под ангельское пенье,—
Здесь, на земле, оставшись сиротой,
Она в молитве ищет утешенья.

Иногда в дальнем конце кладбища Амаро замечал какого-то человека: он стоял на коленях перед черным крестом в тени плакучей ивы, возле ограды, отделявшей половину погоста, отведенную для бедняков. Это был дядя Эсгельяс, молившийся

над могилой Тото; его костыль лежал рядом на земле. Амаро подходил поговорить; подчиняясь равенству всех людей перед смертью, они даже гуляли плечо с плечом и дружески беседовали. Амаро старался утешить старика: на что была жизнь бедной девушке, если она не могла даже встать с постели?

— И все же это была жизнь, сеньор настоятель... А теперь я остался один-одинешенек на свете; всегда один — и днем и ночью!

— Всякий по-своему одинок, дядя Эсгельяс,— мягко замечал Амаро.

Звонарь, тяжело вздохнув, спрашивал, как поживает дона Жозефа, где сейчас менина Амелия...

— Она уехала с крестной в Рикосу.

— Бедняжка, невесело ей там...

— Каждому приходится нести свой крест, дядя Эсгельяс.

И они молча шагали между рядами буксов, разгораживавших газон на квадраты, в которых чернели кресты и белели новенькие надгробные плиты. Амаро иногда узнавал чью-нибудь могилу, которую совсем недавно сам окропил и благословил: где-то теперь души усопших, о которых он взывал по-латыни к богу, наспех бормоча молитвы, чтобы поскорей бежать к Амелии? Это были могилы умерших горожан; Амаро знал их родных в лицо; в тот день они обливались слезами, а теперь беспечно гуляют компанией по бульвару или обмениваются шуточками у прилавков под Аркадой.

Амаро возвращался домой в глубокой меланхолии; начинался долгий, нескончаемый вечер. Он открывал книгу, но, не прочитав и десяти строк, зевал от скуки и отвращения. Изредка он писал письмо канонику. В девять часов ему подавали чай; потом он ходил взад и вперед по комнате, выкуривал целые пачки сигарет, время от времени останавливался у окна, чтобы поглядеть в ночную темень; потом пробегал глазами какую-нибудь телеграмму или объявление в «Народной газете» и снова принимался шагать по комнате, так громко зевая, что слышала на кухне служанка.

Чтобы скоротать эти грустные вечера и излить праздную чувствительность, он попробовал писать стихи, облечь свою любовь и память о счастливых днях в общепринятые формулы лирического самовыражения:

Ты помнишь ли то сладостное время,
Амелия, прекрасный ангел мой,
Когда нам улыбалось все на свете
И жизнь сулила радость и покой?

Ты помнишь ли ту прелесть ночи дивной,
Когда луна с небес сияла нам
И, наши души слив, порыв единый
Вознес молитву нашу к небесам?..

Однако, сколько Амаро ни старался, он не смог пойти дальше двух четверостиший, хотя эти первые восемь строк дались ему с заманчивой легкостью. Можно было подумать, что естество падре Амаро только и вмещало что две сиротливые капельки поэзии; выдавив их из себя первым нажимом, он отдал все, что имел; в нем осталась одна лишь черствая проза плотского вожделения.

Мало-помалу пустота жизни настолько подточила в нем механизм воли и действия, что всякая работа, которая могла бы заполнить утомительную праздность этих нескончаемых часов, тяготила его, как чужая ноша. Амаро предпочитал докучное безделье докучной деятельности. Он исполнял лишь прямые свои обязанности, от которых нельзя было уклониться без скандала и всеобщего порицания, и постепенно забросил все духовные упражнения, диктуемые собственной волей и усердием: ни мысленных молитв, ни регулярных коленопреклонений пред святыми дарами, ни сосредоточенных размышлений, ни молитвословий пречистой по четкам, ни чтения требника по вечерам, ни испытаний совести. Все эти благочестивые занятия, все эти средства медленного, но верного постижения небесных тайн сменились нескончаемым хождением по комнате от окна до умывальника и обратно и выкуриванием бесчисленных сигарет, обжигавших ему пальцы. Утреннюю мессу падре Амаро теперь служил кое-как, торопясь кончить; приходские дела вел скрепя сердце, с трудом побеждая злобное раздражение; он окончательно превращался в indignus sacerdos [1], заклейменного отцами церкви, и был живым воплощением всех тридцати пяти пороков и семи полупороков, какие богословие приписывает дурному пастырю.

Единственное живое ощущение, которое падре Амаро сохранил в эту унылую полосу своей жизни, был волчий аппетит. Кухарка у него теперь жила превосходная, а дона Мария де Ассунсан, отбывая на взморье, оставила своему духовнику плату за сто пятьдесят месс по крузадо за каждую,— и падре Амаро пировал, балуя себя куриным мясом и фруктовым повидлом и запивая эти лакомые кушанья игристой байрадой, рекомендованной дорогим учителем. Он просиживал за обедом

[1] Недостойный иерей *(лат.)*.

целые часы, вытянув под столом ноги, курил, долго пил кофе и сожалел, что нет под рукой милой Амелиазиты...

«Что-то поделывает моя бедная Амелиазита?» — думал он, скучно и томительно потягиваясь на стуле.

Между тем бедная Амелиазита проклинала день, когда родилась на свет.

Уже по дороге в Рикосу, в шарабане, дона Жозефа дала ей понять без слов, что грешнице нечего ждать ни былой дружбы, ни прощения. Так оно и пошло, когда они устроились на новом месте. Старуха не желала знать Амелию; она нашла обидный и чувствительный способ перейти с родственного «ты» на церемонное обращение «менина»; чрезвычайно нелюбезно отстраняла Амелию, когда та хотела поправить ей подушку или потеплей укутать шалью; целыми часами враждебно молчала, если Амелия приходила в ее комнату, чтобы провести вечер за рукоделием, и при каждом удобном случае, тяжко вздыхая, сетовала на печальную обязанность, возложенную на нее небом под конец жизни...

Амелия в душе винила падре Амаро: зачем было обманывать ее, зачем было уверять, что крестная полна доброты и снисхождения? Зачем было отдавать ее на милость беспощадного стародевичьего святошества?

Когда Амелия очутилась в мрачном каменном строении, в холодной комнате канареечного цвета, с двумя кожаными стульями и неуютной кроватью под пологом, она проплакала всю ночь, уткнувшись лицом в подушку. Ее замучил дворовый пес: взбудораженный непривычным оживлением и огнями в доме, он до самого рассвета выл под ее окнами.

Утром Амелия вышла во двор, чтобы познакомиться с арендаторами усадьбы. Возможно, это славные люди, с которыми можно поболтать. Ее встретила мрачная, высокая, как кипарис, женщина в трауре; надвинутый на самые глаза черный платок придавал ей сходство с капуцином из погребальной процессии, а тягучий голос напоминал звон по усопшим. Муж ее показался Амелии еще страшней. Он был похож на орангутанга; его огромные уши стояли торчком по обе стороны черепа, скулы выдавались вперед, как у животного, в приоткрытой пасти виднелись сероватые десны, и эта звериная голова сидела на хилом чахоточном теле с впалой грудью. Амелия поскорей ушла от них и решила осмотреть плодовый сад. Тут царила мерзость запустения. Проходы между грядками

заросли буйным сорняком, а в тени слишком густо высаженных деревьев, на низком болотистом участке, огороженном высокими каменными стенами, было сыро и зябко.

Уж лучше сидеть в комнате. Потянулись бесконечно длинные дни; время плелось медленно и уныло, как похоронная процессия.

Оба окна Амелии были расположены по фасаду. Отсюда она могла видеть холмистую равнину, на которой ничего не росло, кроме разбросанных там и сям тощих деревцов; в неподвижном воздухе висели испарения ближних топей, сырых низин, и даже сентябрьское солнце не могло разогнать малярийный болотный туман.

С утра Амелия шла к доне Жозефе помочь ей встать с кровати и устроиться на канапе; затем брала работу и садилась подле нее с шитьем — как бывало, раньше, на улице Милосердия, она садилась с рукоделием подле своей матери; но вместо веселой болтовни ее ждало здесь злостное молчание старухи и непрекращающийся хрип в ее больных легких. Амелия решила перевезти в Рикосу из города свой старенький рояль, но как только заикнулась об этом, старуха ядовито прохрипела:

— Уж не знаю, менина, где ваша голова... В моем состоянии слушать игру на рояле!.. Что за фантазия!..

Жертруда тоже не хотела составить Амелии компанию: либо она хлопотала возле старухи или на кухне, либо вообще уходила из дому: она была родом из соседней деревни и все свободное время проводила у родных или соседок.

Хуже всего приходилось Амелии по вечерам. Прочитав по четкам положенные молитвы, она садилась у окна и тупо смотрела, как темнеет день. Мало-помалу окрестные равнины приобретали однообразную бурую окраску; тишина сходила с высоты и растекалась по низине; потом на небе, дрожа и мерцая, появлялась первая бледная звездочка, а перед Амелией лежала немая, плотная мгла до самого горизонта, где еще несколько мгновений светлела узкая, быстро меркнувшая оранжевая полоска. И мысли Амелии, которым не за что было ухватиться в этом мраке,— ни единого светящегося пятна, ни единого видимого контура,— неудержимо уносились вдаль, в Виейру! В этот час маменька и ее приятельницы возвращаются домой после прогулки по пляжу. Сети уже убраны, в дачах мелькают огоньки. Наступило время чаепитий, партий в лото; молодые люди веселыми ватагами ходят из дома в дом, с гитарой и

флейтой, собирая друзей, чтобы устроить вечеринку... А она сидит здесь одна!

Приходило время укладывать в постель старуху; затем они все втроем читали молитвы, после чего Жертруда зажигала жестяную лампу, заслоняя экраном свет от глаз больной, и на весь вечер дом погружался в хмурое молчание, нарушаемое только жужжанием веретена Жертруды, работавшей в углу.

Прежде чем лечь спать, они закладывали засовы и щеколды на всех дверях, опасаясь воров. Для Амелии наступали часы суеверных ночных страхов. Она не могла заснуть, все время ощущая за стеной черноту огромных пустых комнат, а вокруг — сумрачное безмолвие земли. Ей слышались непонятные шумы: пол в коридоре скрипел под чьими-то шагами; огонек свечи вдруг отклонялся в сторону, словно его коснулось дыханье невидимого существа. Или где-то в доме, скорее всего на кухне, раздавался глухой стук падающего тела. Амелия торопливо читала молитву за молитвой, съежившись в комок под одеялом. Но если ей удавалось заснуть, на смену бессоннице приходили ужасные сновидения. Однажды она внезапно проснулась, услышав стонущий голос, который произнес за высоким изголовьем кровати: «Амелия, готовься, пришел твой последний час!» Она вскочила, в одной рубашке побежала через весь дом к Жертруде и забралась к ней на кровать.

Но на следующую ночь замогильный голос раздался снова, когда она начала засыпать: «Амелия, вспомни свои грехи! Готовься, Амелия!» Она закричала и лишилась чувств. К счастью, Жертруда, еще не успевшая лечь, прибежала на пронзительный крик, разнесшийся по безмолвному дому. Амелия лежала поперек кровати, ее волосы, выбившиеся из сетки, рассыпались по полу, ледяные руки безжизненно висели. Жертруда разбудила жену арендатора, и обе женщины до самого утра хлопотали вокруг Амелии, пока не вернули ее к жизни.

С этого дня Жертруда на ночь стелила себе в ее комнате, и голос за изголовьем прекратил свои угрозы.

Но страх перед адом и мысль о смерти уже не покидали Амелию ни днем, ни ночью. Как раз в это время в Рикосу забрел продавец эстампов, и дона Жозефа купила у него две литографии: «Смерть праведника» и «Смерть грешника».

— Каждому полезно иметь перед глазами живой пример,— сказала она.

Амелия на первых порах думала, что старуха, рассчитывая умереть в таком же ореоле святости, как праведник с

литографии, хотела наглядно показать ей, грешнице, жуткую сцену, ожидавшую ее в последний час, и возненавидела дону Жозефу за эту проделку. Но больное воображение вскоре истолковало все это иначе: не кто иной, как сама пресвятая дева Мария послала в Рикосу бродячего продавца картин, чтобы показать Амелии при жизни «Смерть грешника» и зрелище ожидающей ее агонии; да, все сбудется именно так, точь-в-точь: ее ангел-хранитель, рыдая, отлетит прочь; бог-отец с отвращением отвернет в сторону свой лик; смерть в виде скелета будет хохотать всем оскалом зубов; разноцветные черти, вооруженные целым арсеналом орудий пытки, схватят ее — кто за ноги, кто за волосы — и с радостным воем поволокут в полыхающую пламенем пучину, откуда доносится несмолкающий вой вечной муки... А в вышине она видела огромные весы: одна чаша взлетела высоко-высоко в небо, и сложенные в ней молитвы Амелии весили не более птичьего пера; а другая чаша висела совсем низко, натянув до предела державшие ее канаты, и в ней едва вмещался тюфяк с кровати звонаря и нагроможденные гири грехов.

Амелия впала в истерическую тоску, состарившую ее в несколько дней; она ходила неумытая, неубранная, не желая заботиться о своем грешном теле. Всякий шаг, всякое усилие стали ей нестерпимы; даже молитвы были ей в тягость — они казались совсем бесполезными; она забросила на дно сундука приданое, которое начала шить для своего ребенка, ибо возненавидела это существо, уже шевелящееся у нее под сердцем и несущее ей гибель. Она ненавидела его, но еще сильней была ее ненависть к другому, к его негодяю-отцу, к священнику, который наградил ее этим ребенком, соблазнил, развратил, бросил в жерло адских печей! С какой неистовой злобой вспоминала она этого человека! Он живет в Лейрии — спокойный, довольный,— вкусно ест, исповедует других женщин, возможно, ухаживает за ними, а она заперта здесь одна, с этим проклятым животом, в котором шевелится посеянный им грех, и безвозвратно осуждена на вечную гибель!

Истерическое возбуждение неизбежно убило бы ее, если бы не аббат Ферран, который стал довольно часто навещать сестру каноника Диаса.

Амелия уже раньше много слышала о старом священнике; поговаривали, что у Феррана «есть заскоки», но никто не мог отказать ему ни в добродетели, ни в учености. Уже много лет он служил в Пойяйсе; сменялись епископы, правившие епархией, а он по-прежнему прозябал в своем нищем приходе, где

жалованье священнику всегда запаздывало, где отведенное ему жилище затапливалось водой после каждого дождя. Последний главный викарий, ни разу пальцем о палец для него не ударивший, не скупился на громкие похвалы старому аббату:

— Вы — один из лучших богословов нашего королевства. Бог предназначил вам епископскую митру, и мы еще увидим ее на вашей голове; вы останетесь в истории португальской церкви, как один из крупнейших ее архипастырей, Ферран!

— Архипастырей, сеньор декан! Помилуй бог! Для этого нужна отвага Афонсо де Албукерке или дона Жоана де Кастро! Мне ли брать на себя такую страшную ответственность перед господом!

И он оставался среди своих бедняков, в безземельной деревеньке, довольствовался двумя кусками хлеба и кружкой молока в день, ходил в чистеньком подряснике, на котором причудливо пестрели заплаты, придавая ему сходство с географической картой, бежал под дождем за пол-лиги, если у кого-нибудь из прихожан болели зубы, целый час утешал старуху, у которой околела коза... Хорошее настроение не покидало его, и в кармане его панталон всегда лежал приготовленный для соседа крузадо; он дружил со всеми местными ребятишками, мастерил для них кораблики из коры, а увидя хорошенькую девушку (явление не частое в этом приходе), не стеснялся воскликнуть: «Что за красотка, благослови ее бог!»

Но даже смолоду аббат славился такой чистотой нравов, что его прозвали «кисейной барышней».

Это был примерный священник, ревностно исполнявший свой долг. Он простаивал часами на коленях перед святыми дарами; малейшие обязанности благочестия выполнял с сердечным умилением; очищался для дневных трудов сосредоточенной мысленной молитвой, религиозными размышлениями, из которых душа его выходила полная бодрости, словно из укрепляющей ванны; отходя ко сну, он проверял свой день долгим и тщательным допросом собственной совести, столь полезным для души, что святой Августин и святой Бернард прибегали к нему так же неукоснительно, как Плутарх и Сенека,— ибо это путь щепетильного и тонкого исправления мелких погрешностей, путь терпеливого самоусовершенствования; он очищал свою душу для добрых дел с самоотверженной верой поэта, исправляющего вновь и вновь любимое творение... Все свободное время он читал книги.

Аббат Ферран страдал лишь одним пороком: он был заядлым охотником! Старик стыдился этого увлечения: оно отни-

мало много времени; и какое оправдание найти столь кровожадной потехе? За что убивать бедную птицу, хлопочущую ради своих птенцов? Но наступали светлые зимние утра, и, когда роса еще не высохла на листьях дрока, в деревне появлялся какой-нибудь любитель охоты с ружьем за плечами и проходил мимо быстрым шагом, а следом бежала легавая собака. Аббат провожал его завистливым взглядом и старался побороть искушение... Но безуспешно! Он украдкой хватал ружье, подсвистывал своей Красотке, и через минуту знаменитый богослов, зерцало благочестия, шагал в развевающемся по ветру плаще через луга и долины... Окрест гулко разносилось: «Пум! Пум!..» И перепелка или куропатка падала на землю. Вскоре добряк Ферран шел обратно, стараясь незаметно нести ружье под мышкой; убитую дичь он прятал в мешок и скользил вдоль стен, как привидение, читая молитву, пряча глаза от встречных и отвечая на их приветствия бесконечно виноватым голосом.

Несмотря на большой нос и неказистый вид, аббат Ферран понравился Амелии с первого же раза. Ее симпатия к нему еще возросла, когда она увидела, что дона Жозефа принимает его без особой радости, несмотря на всеобщее уважение к его учености.

Дело в том, что, побеседовав с падре Ферраном несколько часов наедине, дона Жозефа решительно осудила его с высоты своего многолетнего святошеского опыта:

— Он недостаточно требователен.

Они явно не поняли друг друга. Добрый падре Ферран прослужил много лет в бедном приходе Пойяйс, где было всего пятьсот душ прихожан, и все они из поколения в поколение исповедовали одну и ту же простую веру в господа на небеси, в пресвятую матерь божию и святого Винцента, своего покровителя. Не имея большого опыта в исповеди, Ферран вдруг столкнулся с ханжеством придирчивым и щекотливым, с заумной, полной хитросплетений верой городской святоши; впервые услышав устрашающий перечень греховных помыслов, обуревавших дону Жозефу, отец Ферран забормотал в крайнем изумлении:

— Странно! Весьма странно...

Вначале ему подумалось, что перед ним одно из тех уродливых извращений религиозного чувства, которое в теологии называется «болезнью совести» и которым в наше время страдают все вообще католики. Но потом, выслушав некоторые признания старухи, он всерьез заподозрил у нее тяжелый пси-

хоз — и, охваченный безотчетным страхом перед помешанными, который свойствен многим священникам, поскорей отодвинулся от нее вместе со стулом.

Бедная дона Жозефа! В первый же вечер по прибытии в Рикосу (так она начала покаянную повесть о своих грехах), став на молитву святой деве, она вдруг вспомнила, что забыла дома красную фланелевую юбку, которую обычно поддевала под платье, чтобы не застудить ноги... Тридцать восемь раз подряд она начинала молитву, и каждый раз красная юбка вставала между нею и пресвятой девой!.. Измученная непосильной борьбой, дона Жозефа вынуждена была отказаться от молитвы. И в ту же секунду она почувствовала колющую боль в коленях, и в душе прозвучал голос, сказавший ей, что это пресвятая дева, в отместку за нерадение, вонзает ей в ноги острые булавки...

Аббат подскочил на стуле.

— О, сеньора!..

— Ах, это еще не все, сеньор аббат!

Ее мучил еще один грех: стоя на молитве, она иногда чувствовала потребность отхаркнуть мокроту; ей приходилось сплюнуть, когда имя господа или пречистой девы еще было у нее на устах; в последнее время она решила лучше проглатывать мокроту, но ей вскоре пришло на ум, что тогда имена господа и пречистой девы вместе с мокротой попадут в желудок и смешаются с пищевыми отходами. Как быть?

Аббат, вытаращив глаза, утирал со лба пот.

Но и это еще не самое худшее: хуже то, что прошлой ночью она была совсем спокойна, вся полна благодати, молилась святому Франциску-Ксаверию и вдруг, неизвестно отчего, стала воображать, как выглядел Франциск-Ксаверий нагишом!

Добряк Ферран, ошеломленный, сидел не шевелясь. Наконец, видя ее тревожный взгляд, ждущий его приговора и советов, он сказал:

— И давно вас мучают эти... хм!.. страхи, эти сомнения?

— Всю жизнь, сеньор аббат, всю жизнь!

— И вы встречали когда-нибудь других лиц, подверженных подобным тревогам?

— Им подвержены все мои знакомые, дюжины приятельниц, вообще все люди... Не я одна избрана в жертву нечистой силой... Дьявол одолевает всех.

— И чем же вы облегчаете такие душевные состояния?

— Ах, сеньор аббат, в городе такие чудные священники — сеньор соборный настоятель, сеньор падре Силверио, сеньор

падре Гедес, да все, все... все умели избавить меня от искушений! И так деликатно, так безупречно...

Аббат Ферран помолчал. Он скорбел о том, что сотни пастырей по всей Португалии сознательно загоняют вверенное им стадо в духовный мрак, внушая верующим постыдный страх перед богом, изображая бога как жестокого владыку, а святых — как развращенных и злых придворных, вроде Калигулы и его вольноотпущенников.

Аббат задумал внести в этот темный святошеский мозг, населенный фантасмагориями, луч более высокого и ясного света. Он сказал старухе, что все ее тревоги происходят от игры больного воображения, мучимого страхом оскорбить бога; что бог — не свирепый и бешеный тиран, но отец, полный дружелюбия и снисхождения. Что служить ему надо не из страха, а по любви. Что все эти вздорные пустяки — пресвятая дева, втыкающая ей в ногу булавки, имя божие, попадающее в желудок,— не более чем заблуждения больного рассудка. И аббат посоветовал доне Жозефе больше верить в милосердие божие и следовать более здоровому режиму, чтобы поскорее восстановить силы. И не утомлять себя излишними молитвами...

— А когда я приду в следующий раз,— заключил он, вставая,— мы продолжим этот разговор и внесем мир в вашу душу.

— Премного благодарна, сеньор аббат,— холодно ответила старуха.

Через несколько минут Жертруда принесла ей кувшин воды для ног, и дона Жозефа в негодовании, чуть не плача, пожаловалась ей:

— Ах, он никуда не годится! Никуда не годится! Он меня не чувствует... Туп! Это фармазон, Жертруда! Как не стыдно служителю божию...

Она больше не делала аббату признаний в гнусных искушениях, которым ее подвергал нечистый; а когда аббат из чувства долга хотел приступить к перевоспитанию ее души, старуха заявила ему без обиняков, что обычно исповедуется у падре Гусмана и не знает, удобно ли обращаться за духовным руководством к другому священнику.

Аббат покраснел и ответил:

— Вы правы, сударыня, вы правы. В этих делах нужна крайняя деликатность...

Он ушел; с тех пор, лишь на минуту заглянув к доне Жозефе, чтобы справиться о ее самочувствии, поговорить о погоде, об осенних эпидемиях, о каком-нибудь церковном празднике, он спешил откланяться, чтобы уйти на террасу к Амелии.

Аббат заметил, что у девушки всегда подавленный вид, и заинтересовался ею. Для Амелии посещения аббата Феррана были большим развлечением в одинокой рикосской жизни. Она так привязалась к старому священнику, что в ожидании его визита надевала мантилью и выходила на дорогу в Пойяйс встречать его; обычно она поджидала аббата возле кузницы. Беседа неутомимого говоруна Феррана занимала ее; его разговоры были совсем не похожи на ту убогую болтовню, которую она привыкла слышать на улице Милосердия; так вид обширной долины, полной рощ, пашен, озер, садов и весело работающих людей не похож на четыре беленые стены городского чердака. Разговоры аббата напоминали выпуски «Еженедельной развлекательной газеты», «Сокровищницы семейных вечеров» или «Послеобеденного чтения». В них было все: религиозные нравоучения, путешествия, случаи из жизни великих людей, рассуждения о сельскохозяйственных работах, добрые старые анекдоты, возвышенные эпизоды из жизнеописаний святых, иногда стихи и даже советы молодым хозяйкам, в том числе один очень полезный: как стирать вещи из шерстяной фланели, чтобы они не садились. Он был немного однообразен только тогда, когда заводил речь о своих прихожанах — об их свадьбах, крестинах, болезнях, ссорах,— или рассказывал охотничьи приключения.

— Однажды, милая барышня, иду я вдоль Плакучего ручья и вижу выводок куропаток...

Амелия знала, что теперь на целый час хватит подвигов Красотки и баснословных попаданий в дичь; все это изображалось в лицах, с подражаниями голосам птиц и треску выстрелов: «Пум, пум!..» Иногда аббат пускался в рассказы об охоте на диких зверей — это было его любимое чтение: на тигров в Непале, на алжирских львов, на слонов; это были страшные истории, уносившие воображение Амелии в далекие экзотические страны, где травы растут выше наших сосен, солнце жжет, как раскаленное железо, а в сумраке каждой ветки горят глаза хищников... Потом от тигров и малайцев он переходил к какой-нибудь любопытной подробности из жизни Франциска-Ксаверия — и вот уже неисправимый говорун с головой ушел в историю португальских завоеваний в Азии, описывал армады, ходившие в Индию, и славные сражения при осаде Диу!

В один из таких дней аббат гулял с Амелией в плодовом саду; начав излагать выгоды, какие извлек бы каноник из этого участка, если бы выкорчевал и распахал сад, он кончил

подвигами миссионеров в Индии и Японии, а Амелия вдруг рассказала ему о странных шумах в доме по ночам и о своих ночных страхах.

— Ай, какой стыд! — рассмеялся аббат.— Взрослая женщина — и вдруг боится буки!

Ободренная добротой аббата, Амелия заговорила о голосах, которые угрожали ей из-за кровати.

Улыбка сошла с лица аббата.

— Милая моя барышня, это порождение вашей фантазии, с которым нужно во что бы то ни стало совладать. Не спорю, на свете бывают чудеса, но бог не станет запросто разговаривать с кем попало, спрятавшись за кроватью, и не позволит таких шуток дьяволу... Голоса эти — если вы их действительно слышите и если грехи ваши очень тяжки — доносятся не из-за изголовья, а из глубины вашей души, вашей совести... А коли так, вы можете положить в своей комнате не одну Жертруду, а сотню Жертруд и даже целый батальон пехоты, и все равно будете их слышать... Вы слышали бы их, даже если бы были глухи. Что вам действительно необходимо — это успокоить совесть, которая просит покаяния и очищения.

Разговаривая так, они взошли на террасу. Усталая Амелия села на каменную скамью и стала смотреть вокруг; взгляд ее бродил по крышам хлевов, по длинной лавровой аллее, по гумнам и дальним полям, ровным квадратам пашен, сменявших одна другую и зеленевших ярче и влажней обычного после небольшого утреннего дождя. Теперь, к вечеру, воздух был тих и прозрачен; ветер улегся, и кучевые облака висели неподвижно, чуть окрашенные по краям розовым отсветом заката... Она размышляла о разумных словах аббата и о том, какой глубокий покой сошел бы в ее душу, если бы грехи, нависшие над ней, как каменные утесы, вдруг растаяли, развеялись силой покаяния... И ей страстно захотелось душевного мира, захотелось светлого успокоения, подобного тишине этих равнин.

Какая-то птица запела и смолкла; через минуту она снова пустила долгую трель — такую радостную, такую трепетную, что Амелия улыбнулась.

— Это соловей?..

— Соловьи в такое время не поют,— поправил аббат.— Это дрозд. Вот кто не боится привидений и не слышит голосов. Ишь заливается, мошенник!

И действительно, голос дрозда звенел и переливался таким торжеством, таким упоением жизнью, что в саду стало празднично от этого птичьего ликования.

И Амелия, потрясенная радостным щебетом птицы, уступила одному из тех неудержимых нервных порывов, какие бывают у истеричных женщин, и вдруг заплакала навзрыд.

— Ну, ну, ну, что это? — всполошился аббат.

Он взял ее за руку с фамильярностью друга и старого человека и стал успокаивать.

— Как я несчастна!..— бормотала она, борясь с рыданьями.

— Нет никакой причины, чтобы вам быть несчастной... Как ни горьки наши печали, душе христианина всегда доступно утешение. Нет греха, которого не простил бы господь, и нет страдания, которого бы он не утишил. Только не надо загонять внутрь свое горе... Это оно вас душит и заставляет плакать. Если я могу вам помочь, приходите.

— Когда? — спросила она, вся трепеща от желания поскорей отдать себя под защиту этого святого человека.

— Когда угодно,— улыбнулся аббат.— У меня нет специального часа, отведенного на утешение. Церковь всегда открыта, бог всегда с нами...

Рано утром, задолго до того как проснулась старуха, Амелия пошла в аббатство; два полных часа она лежала ниц в маленькой исповедальне перед сосновым алтарем, который славный аббат собственноручно окрасил в синий цвет, разбросав по синему полю головки херувимов с крылышками вместо ушей — произведение церковной живописи, о котором старик говорил не без тайной гордости.

XXII

Падре Амаро кончил обедать и курил, устремив глаза на потолок, чтобы не видеть изможденное лицо коадъютора. Уже полчаса коадъютор неподвижно, точно мертвый, сидел на стуле, роняя каждые десять минут вопрос, который звучал так же уныло в пустом доме, как над городом бой соборных часов, отбивающих четверть в ночной тишине.

— Вы больше не подписываетесь на «Нацию», сеньор соборный настоятель?

— Нет, я читаю «Народную газету».

Коадъютор снова впал в молчание, медленно накапливая

слова для нового вопроса. Наконец и этот вопрос с трудом вытек из него:

— Известно что-нибудь об этом негодяе, который написал заметку?

— Нет. Он уехал в Бразилию.

В этот самый миг вошла служанка и доложила: «Там пришли и спрашивают сеньора соборного настоятеля». Это была условная формула, означавшая, что Дионисия ждет на кухне.

Она не появлялась уже несколько недель, и Амаро, охваченный живейшим любопытством, вышел из столовой, плотно прикрыл за собой дверь и вызвал почтенную матрону на лестницу.

— Важная новость, сеньор настоятель! Я бежала бегом. Дело серьезное. Жоан Эдуардо здесь!

— Неужели! — вскричал Амаро.— А я только что о нем говорил! Удивительно! Какое совпадение...

— Это точно. Я видела его сегодня. Своим глазам не поверила!.. И уже все знаю. Он учит детей у этого чудака...

— У какого чудака?

— У сеньора из Пойяйса... Не знаю, живет он там постоянно или только приезжает каждый день. А только он опять здесь. Ходит этаким франтом, костюм с иголочки... Ну, я подумала, надо предупредить: как бы не встретился с Амелиазиньей в Рикосе — ведь это как раз на полдороге в Пойяйс... Что скажете?

— Вредная скотина! — злобно буркнул Амаро.— Когда его не нужно, он тут как тут. Так, значит, он не уехал в Бразилию?

— Стало быть, нет. Я видела не привидение, а его самого, во плоти... Как раз выходил из лавки Фернандеса, одет по самой последней моде... Все-таки не грех предупредить менину, сеньор настоятель, чтобы не выглядывала из окна.

Амаро сунул ей две серебряные монеты, на которые она явно рассчитывала,— и через четверть часа, спровадив коадъютора, шагал по дороге в Рикосу.

Сердце его сильно забилось, когда перед ним возник желтый фасад, недавно выкрашенный охрой, широкая боковая терраса, идущая параллельно садовой стене, и благородные каменные вазы, расставленные по ее парапету. Сейчас, после стольких недель разлуки, он увидит свою Амелиазинью! И он с радостью предвкушал страстный возглас, с которым она прыгнет ему на шею.

В первом этаже при прежних владельцах усадьбы помещались конюшни. Теперь весь этот этаж, с маленькими зарешеченными окошечками, почти неразличимыми под толстым слоем паутины, зарос плесенью и грибком и был отдан в полное владенье крысам. Подъезд выходил в темный внутренний двор, в углу которого уже много лет лежали горой пустые бочки, образуя что-то вроде баррикады. Справа виднелся благородный изгиб лестницы, ведшей во внутренние покои и охраняемый двумя благодушными каменными львами.

Амаро вошел в обширный, совершенно пустой зал с потолком, обшитым дубовыми панелями; пол был наполовину завален сухой фасолью. Остановившись в недоумении, Амаро несколько раз хлопнул в ладоши.

Одна из дверей приоткрылась. В проеме мелькнула Амелия, растрепанная, в нижней юбке. Она тихо ахнула, захлопнула дверь, и падре Амаро услышал ее быстро удаляющиеся шаги. Он стоял один, с зонтиком под мышкой, вспоминая, как приветливо встречали его на улице Милосердия. Казалось, двери сами распахивались ему навстречу, а обои светлели от радости при его появлении.

Уже начиная сердиться, он собирался опять хлопнуть в ладоши, когда вышла Жертруда.

— О, сеньор падре Амаро! Войдите, сеньор падре Амаро! Наконец-то! Сеньора, это сеньор падре Амаро! — суетилась она, радуясь, что в их рикосском изгнании появился наконец желанный гость, городской завсегдатай и друг.

Она повела его к доне Жозефе, в дальний конец дома; тут, на маленьком канапе, затерявшемся в одном из углов огромного зала, старушонка коротала дни; плечи ее были укутаны шалью, ноги обернуты одеялом.

— О дона Жозефа! Здравствуйте, здравствуйте! Как вам тут живется?

Она не сразу ответила, раскашлявшись от волнения.

— Как видите, сеньор настоятель,— прохрипела она наконец едва слышно.— Скриплю кое-как, старость не радость. А вы? Почему так долго не приезжали?

Амаро сослался на дела, на соборные требы; по изможденному лицу доны Жозефы, желтевшему из-под огромного чепца из черных кружев, он догадался, что Амелии приходится тут несладко. Он спросил, где Амелия: она на минуту выглянула и скрылась.

— Амелия не одета,— объяснила старуха,— сегодня у нас уборка.

Амаро спросил, что они тут поделывают, как проводят время в уединении...

— Я сижу здесь. А она у себя.

Каждое слово стоило ей неимоверных усилий; хрипение в груди делалось все сильней.

— Я вижу, переезд сюда не пошел вам на пользу, милая сеньора?

Она отрицательно качнула головой.

— Не слушайте ее, сеньор настоятель,— вмешалась Жертруда, оставшаяся возле хозяйкиного канапе, чтобы вдоволь порадоваться на сеньора соборного настоятеля,— не слушайте ее! Сеньора зря бога гневит... Она встает каждый день, одна доходит по коридору до самой столовой, на обед кушает цыплячье крылышко... Конечно, она еще слаба, но что поделаешь?.. Правду говорит аббат Ферран: здоровье убегает вскачь, а возвращается шажком.

Дверь открылась. Появилась Амелия, пунцовая от волнения, с наспех подобранными волосами, в старом лиловом халате.

— Извините, сеньор падре Амаро,— пробормотала она,— у нас сегодня такой беспорядок...

Он с серьезным видом пожал ей руку; оба стояли молча, словно разделенные пустыней. Она не поднимала глаз, теребя дрожащими пальцами кончик шерстяной шали, накинутой на плечи. Амаро находил, что она изменилась: лицо как будто немного припухло, в уголках губ пролегли старческие морщины. Чтобы прервать это странное молчание, он спросил и ее, как ей тут живется.

— Постепенно привыкаю... Здесь немного уныло. Сеньор аббат Ферран прав: этот дом слишком велик, чтобы людям было в нем уютно...

— А мы не развлекаться сюда приехали,— сказала старуха, не размыкая век, сухим и четким голосом, в котором на этот раз не чувствовалось никакой слабости.

Амелия потупила голову и побледнела.

Амаро понял, что дона Жозефа ест поедом Амелию, и заметил весьма строго:

— Это верно... Но вы также и не для того сюда приехали, чтобы отравлять друг другу жизнь. Терзать ближних плохим настроением — значит забыть о милосердии; в глазах господа это тяжкий грех... Кто так поступает, недостоин божией милости.

Старуха захныкала в великом волнении:

— Ах, какое испытание послал мне господь под конец жизни!..

Жертруда начала ее уговаривать:

— Полно, сеньора, даже и для здоровья вредно все время расстраиваться... На что это похоже! С божьей помощью все будет хорошо. Вернется здоровье, а с ним и радость.

Амелия отошла к окну, чтобы скрыть слезы, выступившие у нее на глазах. Падре Амаро, под впечатлением этой сцены, строго указал доне Жозефе, что она не умеет переносить болезнь с христианским смирением. Ничто так не оскорбляет господа, как ропот на ниспосланные им страдания и тяготы... Ведь это значит восставать против его воли.

— Правда ваша, сеньор настоятель, правда ваша,— сипела подавленная дона Жозефа.— Порой я сама не знаю, что говорю... Это все болезнь.

— Полно, полно, милая сеньора; надо покориться и видеть все в розовом свете. Бог превыше всего ценит кротость. Я понимаю, что невесело жить в таком месте...

— Вот и аббат Ферран говорит,— вмешалась Амелия, отходя от окна,— крестная не может здесь привыкнуть. Прожив столько лет в городе...

Амаро отметил про себя, что слова аббата Феррана цитировались уже второй раз, и спросил, часто ли он посещает Рикосу.

— Ах, без него я бы совсем пропала,— отвечала Амелия,— он приходит почти ежедневно!

— Святой человек! — подхватила Жертруда.

— Разумеется, разумеется,— пробурчал Амаро, недовольный столь восторженной оценкой,— это человек весьма достойный...

— Весьма достойный,— вздохнула старуха,— но...

Она умолкла, не решаясь высказать свои сомнения, и вдруг с мольбой вскричала:

— Ах, сеньор соборный настоятель, лучше бы сюда приходили вы! Вы-то сумели бы облегчить мой крест...

— Я буду приходить, милая сеньора, буду приходить. Надо развлечь вас, рассказать, что делается в городе... Кстати, вчера я получил письмо от каноника...

Он вынул из кармана письмо, прочел некоторые места. Дорогой учитель уже принял пятнадцать ванн. В Виейре полно народу, дона Мария болела — у нее вскочил фурункул,— погода великолепная, по вечерам, в час, когда убирают сети,

гуляем по пляжу; Сан-Жоанейра здорова, но все время говорит о дочери...

— Бедная маменька...— всхлипнула Амелия.

Старуху все это не интересовало; ее мучил хрип в легких. Одна Амелия расспрашивала про общих знакомых, про городских друзей: падре Натарио, падре Силверио...

Стемнело. Жертруда пошла за лампой. Наконец Амаро поднялся:

— Ну-с, милая сеньора, мне пора. До скорой встречи. Я непременно буду вас навещать. А расстраиваться нельзя... Одевайтесь потеплей, кушайте с аппетитом, и бог не оставит вас своей милостью.

— Не забывайте нас, сеньор падре Амаро! Не забывайте нас!..

Амелия протянула священнику руку, чтобы попрощаться здесь же, в комнате; но Амаро сказал, как бы в шутку:

— Не откажите в любезности, менина Амелия, показать мне дорогу: я боюсь заблудиться в этом лабиринте.

Они вышли вместе. Очутившись в большом зале, где было еще довольно света от трех широких окон, он остановился и сказал:

— Старуха тебя обижает, дорогая!

— Ничего другого я и не заслужила,— ответила Амелия, опуская голову.

— Ах она, дрянь такая! Ладно же, я ей покажу!.. Милая моя Амелиазинья, если бы ты знала, как я тосковал...

И он потянулся поцеловать ее в шею.

Она отступила в смятении.

— В чем дело? — удивился Амаро.

— Что?

— Как это понять? Ты не хочешь поцеловать меня, Амелия? Ты не в своем уме!

Она умоляюще подняла обе руки и сказала, вся дрожа:

— Нет, сеньор настоятель, оставьте меня! С этим покончено. Довольно мы грешили. Я хочу перед смертью заслужить у господа прощение... Не будем больше никогда говорить об этом! Я оступилась... Но теперь этому конец. Теперь мне нужно только одно: душевный покой.

— Ты не в своем уме! Кто вбил тебе в голову такую чепуху? Слушай...

Он снова потянулся к ней.

— Не трогайте меня, ради бога! — И она попятилась к двери.

Амаро молча смотрел на нее, вне себя от гнева.

— Хорошо, как вам угодно,— сказал он наконец.— Но имейте в виду: Жоан Эдуардо вернулся, он ходит тут по дороге каждый день, и потому вам не рекомендуется сидеть у окна.

— Какое мне дело до Жоана Эдуардо, до всех остальных и до всего, что было?

Он воскликнул с горькой иронией:

— Конечно! Теперь самый великий человек на свете — аббат Ферран!

— Я многим ему обязана, вот все, что я знаю...

Жертруда внесла зажженную лампу. Амаро, не простившись с Амелией, вышел вон, скрежеща зубами.

Но по дороге в город он успокоился. Все это — не более чем очередной припадок добродетели и угрызений совести! Она оказалась одна в этом каменном доме, старуха ее шпыняет, Ферран читает мораль; он, Амаро, далеко — отсюда и возврат к ханжеству, отсюда страх, что будет на том свете, и тоска по утраченной невинности... Все чепуха! Если он будет наведываться в Рикосу, то за одну неделю восстановит свою былую власть. Он ли не знает Амелию! Только поманить, только свистнуть — и делай с ней что хочешь.

Однако ночью он спал неспокойно и мечтал о ней сильней, чем всегда. На другой день он опять отправился в Рикосу, с букетом роз для Амелии.

Старуха просияла от радости, увидев его. От одного вида сеньора соборного настоятеля к ней возвращается здоровье! Если бы не дальность расстояния, она упросила бы его приходить каждое утро. После вчерашнего визита она даже молилась усердней!

Амаро рассеянно улыбался, не сводя глаз с двери.

— А где менина Амелия? — спросил он наконец.

— Ушла... Теперь у нас, видите ли, прогулки каждый день,— сказала дона Жозефа с ядом,— паломничаем в аббатство, жить без этого не можем.

— А! — откликнулся Амаро с кривой улыбкой.— Новое увлечение? Достойнейший пастырь, этот аббат Ферран.

— Ах, он никуда, никуда не годится! — вскричала дона Жозефа.— Он меня не понимает. И какие-то странные идеи. Нет, нет, он не дает просветления.

— Книжный человек...— объяснил Амаро.

Но старуха приподнялась на локте, лицо ее исказилось от ненависти, и она прохрипела полушепотом:

— Между нами говоря, Амелия поступила очень некрасиво! Никогда ей не прощу! Она исповедалась аббату! Это неделикатно! После вас, сеньор соборный настоятель! Она стольким обязана вам... Но она неблагодарная, она изменница!..

Амаро побледнел.

— Что вы говорите?!

— То, что есть. Она и сама не отрицает. И даже гордится своим поступком! Это дрянная, дрянная женщина! Мы столько для нее делаем!

Амаро старался скрыть свое негодование. Даже посмеялся. Не надо преувеличивать... Почему же неблагодарная? Это вопрос доверия. Если девушка считает, что аббат лучше руководит ее совестью, она права, открывшись ему... Все мы хотим одного: чтобы это бедное создание спасло свою душу. А уж кто это сделает — тот или другой,— не имеет значения. Она в хороших руках.

Затем, быстро придвинувшись со стулом к старухиному канапе, он спросил:

— Значит, теперь она каждый день ходит в аббатство?

— Почти каждый день... Скоро вернется: она уходит сразу после завтрака и к этому часу бывает дома... Ах, мне так неприятно!

Амаро нервно прошелся по комнате; потом протянул старой сеньоре руку:

— Что же, милая сеньора, я дольше задерживаться не могу, забежал к вам на минутку... До завтрашнего утра.

И, не слушая дону Жозефу, которая умоляла его остаться обедать, он торопливо сбежал с лестницы и, вне себя от ярости, зашагал в аббатство, все еще со своим букетом роз в руке.

Он надеялся встретить Амелию по дороге; и, действительно, вскоре увидел ее возле кузницы: наклонившись около ее каменной ограды, она собирала полевые цветы.

— Что ты здесь делаешь? — спросил он, подойдя к ней.

Она вскрикнула и выпрямилась.

— Что ты здесь делаешь? — повторил он.

Испуганная этим громким «ты» и раздраженным тоном Амаро, она прижала палец к губам: тише, в кузнице сеньор аббат...

— Говори! — сказал Амаро, сверкая глазами и хватая ее за руку.— Ты что, исповедалась аббату?

— А что? Да, исповедалась... Ничего плохого тут нет.

— Ты сказала ему все, все? — спросил он, стискивая от ярости зубы.

Она смутилась, но все же ответила, незаметно для себя перейдя на «ты»:

— Ты же сам сколько раз говорил... Самый тяжкий грех — утаивать что-нибудь на исповеди!

— Дура! — зарычал Амаро.

А глаза его пожирали ее всю. Сквозь пелену гнева, туманившего ему глаза и наливавшего кровью жилы на лбу, он видел, что она стала еще привлекательней; он оглядывал ее полную фигуру, алые губы, посвежевшие на деревенском воздухе, и ему хотелось поцеловать эти губы, укусить до крови.

— Ладно,— сказал он, уступая неудержимо нахлынувшему желанию,— ладно. Пусть, мне все равно. Исповедуйся хоть самому черту, если тебе так нравится... Но ты по-прежнему моя!

— Нет, нет! — решительно ответила она, уклоняясь от его рук и делая шаг к кузнице.

— Хорошо же. Ты мне за это заплатишь, дрянь! — прошипел Амаро сквозь зубы, повернулся к ней спиной и ринулся прочь, по дороге в город.

Он шагал быстрым шагом до самого города, не замечая блаженного покоя, разлитого в октябрьском воздухе; ярость подгоняла его и подсказывала планы беспощадной мести. Он пришел домой, едва переводя дух, все с тем же букетом в руке. Но, остывая в одиночестве, он постепенно проникся сознанием своего бессилия. В конце концов, что он может ей сделать? Разгласить по городу, что она беременна? Но он выдаст самого себя. Пустить слух, что она вступила в непозволительную связь с аббатом Ферраном? Кто этому поверит; почти семидесятилетний старик, карикатурно безобразный, проживший безупречную жизнь... Но лишиться ее, никогда больше не держать в объятиях это белое тело, не слышать больше невнятного лепета, исторгнутого счастьем, какого не даст и само небо... Нет, ни за что!

Но возможно ли, чтобы за шесть-семь недель она все забыла? Неужели в долгие ночи, дрожа от холода в своей одинокой кровати, она не вспоминала их утренних свиданий у дяди Эсгельяса?.. Конечно, вспоминала: он стольких исповедовал, и все, все со стыдом говорили о немом, упорном искушении, никогда не покидающем раз согрешившую плоть...

Нет! Он должен продолжать свои преследования, он должен во что бы то ни стало заразить ее страстью, клокотавшей в нем сейчас сильней, чем прежде!

Всю ночь напролет он писал ей письмо — шесть бредовых страниц, полных исступленных призывов, мистической зауми, восклицательных знаков, угроз самоубийства.

Письмо это он отправил утром с Дионисией. Поздно вечером мальчуган из усадьбы принес ответ. Как жадно разорвал Амаро конверт! В записке значилось: «Прошу вас оставить меня наедине с моими грехами».

Амаро не сдавался; на другой день он снова был в Рикосе. Когда он вошел к доне Жозефе, Амелия сидела тут же. Она сильно побледнела; но глаза ее ни на миг не отрывались от работы. Амаро пробыл там полчаса, то в хмуром молчании, то рассеянно отвечая старухе, которая была, против обыкновения, в разговорчивом настроении.

На следующей неделе все его визиты протекали так же: услышав, что пришел сеньор соборный настоятель, Амелия запиралась в своей комнате и выходила лишь в том случае, если старуха посылала за ней Жертруду: сеньор падре Амаро здесь и желает ее видеть. Она появлялась, протягивала ему руку — всегда очень горячую,— брала свое неизменное шитье и садилась у окна; ее упорное молчание выводило священника из себя.

Он написал ей еще одно письмо. Она не ответила.

Он дал себе клятву более не видеть ее, отплатить Амелии презрением — но, провертевшись всю ночь без сна, все с тем же видением ее наготы, словно ввинченным в мозг, он утром снова бежал в Рикосу и краснел от стыда, когда старший из рабочих, мостивших дорогу, по которой он проходил два раза ежедневно, снимал перед ним клеенчатый берет.

Однажды вечером, явившись в Рикосу под моросящим дождем, падре Амаро столкнулся у подъезда с аббатом Ферраном; тот собирался уходить и открывал зонт.

— Ола, какими судьбами, сеньор аббат? — сказал соборный настоятель.

Аббат ответил:

— Что удивительного в моем посещении? Вы тоже ходите сюда каждый день...

Амаро воскликнул, задрожав от гнева:

— А вам что до того, сеньор аббат, хожу я сюда или не хожу? Это ваш дом?

Грубость Амаро задела старика за живое.

— Было бы лучше для всех, если бы вы сидели у себя в городе.

— А почему это, сеньор аббат? Почему? — вскрикнул Амаро вне себя.

Преступление Падре Амаро

Добрый старик спохватился; он допустил самое серьезное прегрешение для католического священника: позволил себе намекнуть на обстоятельство, которое стало ему известно в исповедальне. Выказав свое неодобрение греховному упорству коллеги, он нарушил тайну исповеди. Аббат Ферран снял шляпу и, низко поклонившись, сказал смиренно:

— Вы правы, ваше преподобие. Прошу извинить эти необдуманные слова. Добрый вечер, сеньор соборный настоятель.

— Добрый вечер, сеньор аббат.

Амаро, не заходя в дом, вернулся в город под дождем, который лил все сильнее и сильнее. Дома он написал еще одно длинное письмо, в котором описывал сцену с аббатом, обвиняя его в тяжелейших проступках и, прежде всего, в несоблюдении тайны исповеди. Но, как и первые два письма, оно осталось без ответа.

Тогда Амаро пришел к мысли, что такое упорство не может объясняться одним лишь раскаянием и страхом попасть в ад... «Тут замешан мужчина»,— говорил он себе. Снедаемый черной ревностью, падре Амаро стал кружить по ночам вокруг дома в Рикосе, но ничего не увидел; каменное строение было погружено в сон и темноту. И все же один раз, уже поравнявшись с садовой оградой, он услышал на дороге, идущей из Пойяйса, мужской голос: кто-то с чувством напевал вальс «Два мира»; во мраке двигался огонек сигары. Испугавшись, падре Амаро юркнул в полуразрушенный сарай, темневший на другой стороне дороги. Голос смолк; Амаро, выглянув из сарая, увидел фигуру, укутанную в плед светлой расцветки; фигура остановилась и стала глядеть на окна Рикосы. Охваченный вихрем ревности, Амаро хотел уже выскочить из своего убежища и наброситься на неизвестного,— но тот спокойно пошел дальше, с сигарой в зубах, напевая:

Ты слышишь в горах колокольный звон —
В душе моей страх рождает он...

По голосу, по пледу, по походке падре Амаро узнал Жоана Эдуардо. Зато он убедился, что если какой-нибудь мужчина и разговаривал по ночам с Амелией или входил в усадьбу — то, несомненно, не клерк. Но все же, боясь быть замеченным, Амаро перестал бродить по ночам вокруг рикосского дома.

Да, это был Жоан Эдуардо. Проходя мимо Рикосы, днем или ночью, он всегда останавливался на минуту и окидывал меланхоличным взглядом стены, в которых жила *она*. Несмот-

ря на все разочарования, Амелия все еще была для него *она*, возлюбленная, самое дорогое существо на свете. Ни в Оурене, ни в Алкобасе, ни в гостиницах, по которым мотала его судьба, ни в Лиссабоне, куда его вынесло неведомой волной, как выносит на берег щепку от разбитого корабля,— нигде, никогда ее образ не покидал его сердца, не переставал мучить его тоской. В дни бедственного лиссабонского житья — самые горькие дни его жизни,— когда он служил секретарем в какой-то забытой богом конторе, затерянный в этом огромном, словно Рим или Вавилон, городе, так беспощадно казнившем его черствым равнодушием куда-то торопящейся толпы,— он особенно нежно лелеял свою любовь, которая дарила ему иллюзию сердечного тепла. Он чувствовал себя менее одиноким: ведь с ним всегда была Амелия; во время нескончаемых прогулок по набережной Содре он вел с ней долгие мысленные разговоры, упрекал ее за горе, которое пожирало его жизнь.

Привязанность к Амелии служила оправданием случившемуся, поднимала Жоана Эдуардо в собственных глазах. Он был «мучеником любви»; это его утешало, как в первые минуты отчаяния утешала мысль, что он стал жертвой религиозных преследований. Он уже не был серой, заурядной личностью, из тех, кого случай, леность, отсутствие друзей, злая судьба и заплатанный сюртук обрекают на жалкую зависимость; нет, он казался самому себе человеком больших чувств; трагическая катастрофа, отчасти любовная, а отчасти политическая,— словом, личная и социальная драма,— вынудила его, после героической борьбы, скитаться из конторы в контору, не расставаясь с парусиновым писарским портфелем. Волей судьбы он уподобился героям, описанным в стольких чувствительных романах... И потрепанное пальто, и обеды по четыре винтена, и дни, проведенные без курева,— все это он приписывал своей роковой любви и преследованию могущественной клики врагов; инстинкт самоуважения помогал ему видеть нечто значительное в этих банальных бедах... Встречая на улице тех, кого он называл счастливцами,— господ, разъезжающих в колясках, молодых щеголей, гуляющих под руку с красивыми женщинами, нарядных людей, спешащих в театр,— он чувствовал бы себя совсем несчастным, если бы не мысль, что он тоже обладает бесценным сокровищем, предметом духовной роскоши — таким он считал свою несчастную любовь. И когда, по воле случая, Жоан Эдуардо получил место в Бразилии и деньги на дорогу, он стал идеализировать даже свою заурядную эмигрантскую судьбу, твердя себе, что вынужден пересечь океан, ибо изгнан

из родной страны тиранией священников и сановников, за то, что любил женщину!

Мог ли он знать, укладывая свой костюм в обитый жестью баул, что через несколько недель снова окажется в полулиге от этих священников и этих сановников и будет с нежностью созерцать окно своей Амелии? Все это сделал чудак, сеньор из Пойяйса, который, кстати, вовсе не родился сеньором и не носил родового имени Пойяйсов, а был просто чудаковатым богачом из Алкобасы: он купил родовое поместье у титулованных владельцев и, став собственником земли, унаследовал почетное звание сеньора, которым местные жители привыкли именовать помещиков из Пойяйса. Именно этот добрейший человек избавил Жоана Эдуардо от тягостей морской болезни и злоключений эмиграции, нечаянно встретив его в одной из контор, где молодой человек служил незадолго до отъезда. Сеньор из Пойяйса, старый клиент Нунеса, знал историю клерка, был в курсе его героической публикации в «Голосе округа» и скандала на Соборной площади — и уже давно воспылал горячим сочувствием к «богоборцу» Жоану Эдуардо.

Дело в том, что этот сеньор питал маниакальную ненависть к духовенству; читая, например, в газете корреспонденцию о каком-нибудь преступлении (даже если виновник был найден и уже осужден), он неизменно утверждал: «Если хорошенько покопаться в этом деле, то на дне непременно обнаружишь сутану». Ходили слухи, что причина столь глубокого отвращения к священникам коренилась в неприятностях, которые он перенес от первой своей жены, известной алкобасской святоши. Встретив Жоана Эдуардо в Лиссабоне и узнав о его близком отплытии, пойяйский сеньор загорелся новой идеей: привезти молодого человека обратно в Лейрию, поселить в Пойяйсе, сделать гувернером своих малолетних сыновей и тем нанести звонкую пощечину всему епархиальному духовенству. Он и впрямь считал Жоана Эдуардо безбожником, и это как нельзя лучше соответствовало его философическому плану воспитать своих малышей отчаянными атеистами. Жоан Эдуардо со слезами на глазах принял приглашение: оно означало прекрасное жалованье, почет, жизнь в семейном доме, полное восстановление репутации...

— О сеньор, я никогда не забуду всего, что вы для меня сделали!

— Да я же для своего удовольствия! Чтобы насолить этим негодяям! Мы завтра же едем.

В Шан-де-Массансе, не успев выйти из вагона, пойяйский сеньор радостно крикнул начальнику станции, который вовсе не знал Жоана Эдуардо и ничего не слышал о приключившейся с ним истории:

— Я везу его обратно! Он возвращается победителем! И натянет нос долгополым... И если потребуются судебные расходы, я возьму их на себя!

Начальник станции не удивился: во всем округе было известно, что сеньор из Пойяйса «немножко не того».

На другой же день после своего приезда в Пойяйс Жоан Эдуардо узнал, что Амелия и дона Жозефа живут в Рикосе.

Сообщил ему об этом аббат Ферран, единственный священник, с которым пойяйский сеньор разговаривал, которого пускал к себе в дом — «не за то, что он падре, а за то, что благородный человек».

— Я уважаю в вас джентльмена, сеньор Ферран,— говаривал он,— но презираю священника!

Добряк Ферран улыбался: он знал, что под маской твердолобого нечестивца скрывается человек с золотым сердцем, благодетель всех бедняков прихода...

Сеньор из Пойяйса, как и аббат Ферран, был страстным любителем книг и неутомимым спорщиком; иногда между двумя приятелями возникали громоподобные дискуссии об истории, ботанике, разных видах охоты... Когда аббат в пылу спора припирал чудака к стенке, тот грозно вопрошал:

— Вы это говорите как священник или как джентльмен?

— Как джентльмен.

— Тогда я принимаю ваше возражение. В нем есть смысл. Но если бы я услышал что-нибудь подобное от священника, я бы переломал ему кости.

Иногда, желая позлить аббата, пойяйский сеньор показывал ему Жоана Эдуардо, хлопал его по плечу, как любитель лошадей похлопывает любимого рысака, и восклицал:

— Вот полюбуйтесь на этого молодца! Одного из ваших он уже поколотил. И еще укокошит двух-трех... А если попадет под суд, то я его выкуплю и избавлю от виселицы!

— Это не так уж трудно, почтенный сеньор,— посмеивался аббат, спокойно втягивая в ноздрю понюшку табака,— в Португалии давно нет виселиц...

Сеньор из Пойяйса приходил в бурное негодование.

— Нет виселиц? Правильно! А почему их нет? Потому, что у нас свободное правительство и конституционный монарх! А если бы долгополые одержали верх, то на каждой площади

торчало бы по виселице, а на каждом углу пылал бы костер! Ответьте мне на один вопрос, сеньор Ферран: вы явились в мой дом, чтобы защищать инквизицию?

— О сеньор, я об инквизиции и не заикался...

— Не заикались, потому что боитесь! Вы отлично знаете, что я бы пырнул вас ножом!

Все это сопровождалось оглушительными криками, стремительными скачками, беготней по комнате, так что воздух вихрился ураганным ветром от широких пол его желтого халата.

— В душе он кроток как ангел,— говорил аббат Жоану Эдуардо,— и способен отдать последнюю рубашку даже священнику, если узнает, что тот терпит нужду... Вы попали в хороший дом, Жоан Эдуардо... А на его выходки не надо обращать внимания...

Аббат Ферран вскоре проникся глубокой симпатией к Жоану Эдуардо. Услышав от Амелии знаменитую историю о заметке, он счел нужным, по его любимому выражению, «полистать страницы этой души». Они несколько вечеров беседовали, гуляя по лавровой аллее Пойяйса и в аббатстве, куда Жоан Эдуардо ходил за книгами; вместо «истребителя долгополых», как аттестовал молодого человека пойяйский сеньор, аббат нашел доброго, чувствительного юношу, преисполненного самой возвышенной веры, мечтавшего о мирной семейной жизни и превыше всего ценившего честный труд. И тогда аббату пришла в голову мысль, которую он счел явленной волей господа, так как мысль эта осенила его после долгой молитвы перед святыми дарами. Заключалась она в том, чтобы все-таки поженить Жоана Эдуардо и Амелию. Будет совсем нетрудно побудить слабое и нежное сердце молодого человека простить бывшую невесту; бедная девушка после стольких страданий излечится от своей страсти, которая проникла в ее душу, точно дыханье демона, умчав в пучину ада ее волю, душевный мир и целомудрие,— и обретет в союзе с Жоаном Эдуардо на всю остальную жизнь покой, довольство, тепло, уют домашнего очага, тихое пристанище и очищение от прошлого. Аббат не говорил ни ему, ни ей об этом плане, умилявшем его до глубины души. Да и не время было теперь, когда она носила ребенка от другого. Но старик любовно готовил их к этому исходу, особенно когда бывал у Амелии: он рассказывал, о чем говорил с Жоаном Эдуардо, повторял ей его разумные речи, описывал, как нежно он печется о маленьких мальчиках из Пойяйса.

— Он славный юноша,— говорил старик,— и создан для семейной жизни... Это один из тех, кому женщина может доверить свою судьбу. Если бы я не был священником и имел бы дочь, я бы отдал ее за такого человека.

Амелия краснела и не говорила ни слова.

Она уже не могла опровергнуть эти похвалы прежними доводами о клеветнической статье и о безбожии. Аббат Ферран одним словом отмел их как чистейший вздор.

— Я читал эту статью, сеньора. Молодой человек выступил не против священников, а против фарисеев!

Но чтобы смягчить суровость этих слов — самых недобрых, которые ему привелось сказать за многие годы,— он прибавил:

— Конечно, он виноват... Но раскаяние его искренне. Он заплатил за свои ошибки слезами и голодом.

Амелия была растрогана.

Примерно в это же время в Рикосу стал наезжать и доктор Гоувейя: с наступлением холодных осенних дней состояние доны Жозефы ухудшилось. Сначала Амелия пряталась в своей комнате, дрожа при мысли, что доктор Гоувейя, их домашний врач, человек, никому не дающий спуску, заметит ее беременность. Но все же ей пришлось в конце концов выйти к нему, чтобы выслушать инструкции насчет лекарств и диеты для доны Жозефы. Провожая доктора на крыльцо, она похолодела от страха: он остановился, повернулся к ней, поглаживая свою белую бороду, и сказал с улыбкой:

— Ведь я говорил твоей матери, что тебя надо поскорей выдать замуж!

Слезы брызнули у нее из глаз.

— Ну, ну, девочка, я вовсе не собирался тебя ругать. Ты повинуешься природе, и права. Природа велит рожать, а не выходить замуж. Замужество — дело казенное...

Амелия смотрела на него непонимающим взглядом; две крупные слезы медленно ползли по ее лицу.

Он отечески похлопал ее по щеке:

— Я хочу сказать, что меня, как слугу природы, это радует. С моей точки зрения, теперь ты делаешь нечто полезное и нужное. Но поговорим о более существенных вопросах...

И доктор дал ей необходимые указания гигиенического порядка.

— А в случае надобности, если ты не будешь знать, что делать, пошли за мной.

Он стал спускаться с лестницы; Амелия остановила его и сказала со страхом и мольбой:

— Ради бога, сеньор доктор, не рассказывайте никому в городе...

Доктор Гоувейя остановился:

— Ну, разве ты не дурочка?.. Ладно, ладно, я тебя прощаю. Это логично при твоем характере. Нет, девушка, я никому ничего не скажу. Но какого же черта ты не вышла тогда за Жоана Эдуардо? С ним ты была бы не менее счастлива, и тебе не пришлось бы дрожать за свои тайны... А в общем, для меня это несущественно... Главное — помни то, что я тебе сказал. В случае чего пошли за мной. На святых не очень-то полагайся. Я в этих делах понимаю больше, чем святая Бригитта или как ее там. Впрочем, ты крепкая и подаришь нации отличного мальчугана.

Слова его, хотя и не вполне понятные Амелии, были полны доброты; они в каком-то смысле оправдывали ее; в них чувствовалось снисхождение ласкового дедушки; успокаивала ее также уверенность доктора: он обещал ей полное здоровье; его седая борода походила на седины бога-отца и внушала веру в его непогрешимость; это придавало силы, укрепляло ощущение внутреннего покоя, которым она наслаждалась после своей истерической исповеди в часовне Пойяйса.

Ах, конечно, сама пресвятая дева, сжалившись над ее муками, велела ей отдать свою израненную душу в ласковые руки падре Феррана! Ей казалось, что там, в его синей исповедальне, она оставила всю горечь, все страхи, весь груз черных дум — все, что душило и убивало ее. Каждое слово аббата разгоняло тучи, обложившие весь ее небосвод; теперь над ней сияло голубое небо, а когда она молилась, пречистая уже не отворачивала от нее гнѐвный лик. У аббата была удивительная манера исповедовать! Он держал себя совсем не так, как положено жрецу грозного божества; в его речах было что-то женственное, материнское, умиротворяющее. Он не рисовал мрачных картин адской бездны; напротив, теперь перед ней простиралось бескрайнее милосердное небо, двери которого были широко распахнуты, а многочисленные тропы к нему так легки и приятны, что лишь мятежное упрямство отказалось бы вступить на одну из них. Бог представал в образе доброго, улыбающегося прадеда; пречистая дева была чем-то вроде сестры милосердия; святые — гостеприимными соседями. То была религия приветливая, полная милосердия; по словам аббата выходило, что одной чистой слезы достаточно, чтобы искупить

целую греховную жизнь. Как это не похоже на угрюмое вероучение, которое с самого детства отравляло страхом ее душу! Так же не похоже, как эта деревенская часовенка — на каменную громаду собора! Там, в старом соборе, многоаршинная толща стен отделяла молящихся от жизни и природы; все вокруг было темно, печально, все дышало покаянием, со всех сторон глядели суровые лики святых. Радость не имела туда доступа: ни голубое небо, ни птицы, ни свежий воздух полей, ни улыбка; если там и бывали цветы, то искусственные; у входа всегда стоял сторож, чтобы отгонять собак, и эти добрые животные не могли войти в церковь; даже солнце было оттуда изгнано, и скудный свет, допускавшийся в соборе, исходил от одних лишь бледных лампад.

А здесь, в часовенке у падре Феррана! Какая близость природы к богу! Через открытые двери залетал ветер, пахнущий жимолостью; на пороге резвились дети, и беленые стены гулко разносили топот их быстрых ног; алтарь напоминал сад; дерзкие воробьи забирались в часовню и чирикали у самого подножия крестов; иногда в проеме двери появлялась степенная морда вола, точно в память о Вифлеемском хлеве, или отбившаяся от стада овца дружески поглядывала на одного из своих — пасхального агнца, уютно спавшего на алтаре, обхватив крест передними ножками.

К тому же добряк аббат, по собственному его выражению, не требовал невозможного. Он понимал, что Амелия не может разом вырвать из сердца греховную страсть, которая успела пустить корни в самых сокровенных глубинах ее существа. Он хотел одного: чтобы она искала спасения у Христа всякий раз, как мысль об Амаро завладеет ею. По силам ли бедной женщине выдержать единоборство с геркулесовской мощью сатаны? Она может лишь, почувствовав его приближение, укрыться под сенью молитвы, не мешая врагу реветь и брызгать пеной вокруг ее убежища. И аббат сам, ежедневно, с терпением сестры милосердия, помогал ей в этой очистительной работе; это он, словно театральный режиссер, подсказал ей, как она должна держаться при первом появлении падре Амаро в Рикосе; одним коротким словом, укрепляющим, как сердечные капли, он поддерживал ее силы, когда замечал, что она слабеет в долгой борьбе; если ее ночи тревожила память о любовных утехах, он заводил с ней по утрам долгие беседы, избегая нравоучений, но стараясь доказать, что небо даст ей более полные радости, чем захламленный чердак в доме звонаря. С истинно богословской гибкостью он разъяснял, что в

любви соборного настоятеля не было ничего, кроме грубости и животного исступления; что если любовь мужчины полна нежности, то любовь католического священника не может быть ничем иным, как взрывом подавленной похоти. Когда стали приходить письма от Амаро, аббат анализировал фразу за фразой, показывая Амелии, сколько в этих письмах лицемерия, эгоизма, риторики и самого грубого плотского вожделения.

Так аббат Ферран постепенно разочаровывал Амелию в ее возлюбленном. Но он остерегался разочаровать ее в законной любви, очищенной благословением неба; он понимал, что эта девушка сотворена для желаний и радостей плоти; внезапно толкнуть ее в мистицизм значило бы лишь на короткий миг извратить природный инстинкт и все-таки не создать прочного внутреннего покоя. Аббат не пытался оторвать Амелию от мирской жизни, не прочил ее в монахини; он желал только, чтобы заложенные в ее сердце сокровища любви послужили на радость супруга и стали опорой счастливой семьи, а не растрачивались понапрасну, на случайные связи. Конечно, в глубине души аббат Ферран, как и следует служителю веры, предпочел бы совсем отвлечь мысли Амелии от маленькой эгоистичной любви к мужу и детям и показать ей стезю любви ко всему человечеству, сделав сестрой милосердия или монахиней-сиделкой.

Но бедная Амелия была вся из плоти — весьма красивой и весьма слабой; не следовало требовать от такой натуры непосильной жертвы; она женщина с головы до пят и женщиной должна остаться; наложить путы на ее естественные порывы значило бы лишить ее жизнь всякого смысла. Ей мало Христа с его телом, распятым на кресте: ей нужен муж, обыкновенный мужчина, с усами и в шапокляке. Терпение! Пусть, по крайней мере, это будет законный муж, обвенчанный с нею в церкви.

Так старый аббат лечил Амелию от разрушительной страсти, лечил терпеливо, с упорством миссионера, какое дается лишь искренней верой. Всю свою изобретательность, все свои знания этот испытанный богослов подчинил философии и морали и хлопотал над бедной Амелией, как заботливый отец. То был большой труд, и добрый старик в глубине души гордился тем, чего сумел достичь, ибо и это граничило с чудом.

Велика была радость аббата, когда, по его наблюдениям, любовь Амелии к соборному настоятелю угасла; она была мертва, забальзамирована, похоронена в глубинах ее памяти, как в склепе, и уже покрывалась молодой порослью духовного

обновления. По крайней мере, так думал добрый Ферран, видя, как спокойно она говорит о своем прошлом, не вспыхивая, как прежде, от стыда и волнения при одном имени Амаро.

И действительно, она могла теперь думать о своем прошлом без трепета: отвращение к греху, глубокое доверие к аббату, изоляция от святошеской среды, в которой разрослась ее любовь, вновь обретенный душевный покой, конец ночных кошмаров и страха перед пресвятой девой — все это постепенно потушило грозный пожар ее страсти; осталось лишь несколько головешек, порой вспыхивавших под слоем золы. Раньше соборный настоятель высился в капище ее души величественно, как позолоченный идол; но за время своей беременности, в часы мистического ужаса или истеричного раскаяния она столько раз сотрясала этого идола на его постаменте, что вся позолота осталась у нее на ладонях, и темная, потерявшая былой блеск фигура уже не ослепляла ее; поэтому она спокойно, без слез и без борьбы взирала на то, как аббат окончательно поверг наземь ее кумира. Если она и думала об Амаро, то лишь потому, что не могла забыть дом звонаря; она помнила радости любви, но не любовника.

Добрая по натуре, Амелия питала живейшую благодарность к аббату. Как она и сказала падре Амаро в тот вечер, она считала, что обязана ему всем.

Сходное чувство привязывало ее и к доктору Гоувейе, который бывал у доны Жозефы каждые два дня. То были ее добрые друзья, как бы двое отцов, ниспосланных ей небом; один обещал здоровье ее телу, другой — спасение душе.

Найдя у них защиту, Амелия провела последние недели октября в блаженном покое. Дни стояли тихие и теплые. Вечерами приятно было сидеть на террасе, наслаждаясь благодатной осенней тишиной. Доктор Гоувейя иногда встречался у нее с аббатом Ферраном; оба друг друга ценили; навестив старуху, они приходили на террасу к Амелии и вели длинные споры о религии и морали.

Амелия, уронив на колени рукоделие и радуясь, что два ее защитника, гиганты науки и святости, сидят с ней рядом, отдавалась всей душой прелести вечернего часа, обводя взглядом желтеющую листву деревьев. Она думала о будущем, и будущее рисовалось ей легким и надежным. Она сильная; роды под наблюдением доктора означают всего лишь физическую боль в течение нескольких часов. Когда это останется позади, она снова уедет в город, к матери... И еще одна надежда, порожденная постоянными разговорами аббата о Жоане Эдуар-

до, мелькало порой в ее воображении. Почему бы и нет? Если ее бедный жених все еще любит ее и может простить... Как мужчина он отнюдь не противен ей; это была бы отличная партия, особенно теперь, когда он стал любимцем сеньора из Пойяйса. Поговаривали, что Жоан Эдуардо скоро будет назначен управляющим... Амелия уже воображала, что живет в Пойяйсе, катается в господской коляске, идет по сигналу колокола в столовую, где ей прислуживает слуга в ливрее... И она надолго застывала в неподвижности, отдаваясь своей радостной мечте, а тем временем аббат и доктор сражались вокруг понятий Совести и Благодати, и вода однообразно журчала в оросительных канавках плодового сада.

Вскоре дона Жозефа, обеспокоенная долгим отсутствием сеньора соборного настоятеля, послала нарочного в Лейрию, со слезной мольбой к падре Амаро посетить ее. Нарочный вернулся с ошеломляющей вестью: сеньор соборный настоятель уехал в Виейру и вернется не ранее чем недели через две. Старуха с досады расплакалась. Амелия в эту ночь тоже не могла уснуть — так возмутила ее эта затея Амаро: поехать развлекаться на курорт, весело беседовать с дамами на пляже и ходить в гости, совершенно забыв о ней.

С первых же недель ноября началась осенняя непогода. Дни укорачивались; Рикоса под нескончаемыми дождями и пасмурным небом стала еще неуютней.

Аббата Феррана одолел ревматизм, и он больше не появлялся. Доктор Гоувейя, посидев полчасика у больной, отбывал в своем старом кабриолете. У Амелии осталось одно-единственное развлечение: смотреть сквозь оконные стекла на дорогу. Три раза ей удалось увидеть проходившего мимо Рикосы Жоана Эдуардо. Но он, заметив ее, опускал глаза или прятал лицо под зонтом.

Часто приезжала Дионисия: она была приглашена в качестве повивальной бабки, хотя доктор Гоувейя рекомендовал Микаэлу, акушерку с тридцатилетним стажем. Но Амелия не хотела посвящать посторонних в свою тайну; кроме того, Дионисия приносила ей вести об Амаро, которые узнавала от его кухарки. Сеньору соборному настоятелю так понравилась Виейра, что он решил пробыть там до декабря. Это подлое поведение возмутило Амелию; она поняла, что падре Амаро хочет быть подальше в роковой день, когда наступят роды с их муками и опасностями. Мало того: у них уже давно было условлено, что новорожденного отдадут на воспитание кормилице, в деревню под Оуреном; но вот время его появления на

свет приближалось, никто так и не поговорил с кормилицей, а сеньор соборный настоятель собирает ракушки на берегу моря!

— Это гадко, Дионисия! — негодовала Амелия.

— Да, что и говорить, этак не поступают. Я, конечно, могла бы подыскать кормилицу... Но дело это щекотливое. Сеньор соборный настоятель говорил, что сам все сделает.

— Это подло!

В довершение бед, Амелия не позаботилась о приданом для малютки — и теперь, накануне его рождения, у нее не было ни пеленок, чтобы его завернуть, ни денег на покупку необходимых вещей. Дионисия предлагала достать кое-какие вещички, оставленные в залог одной женщиной, рожавшей в ее доме. Но Амелия не хотела одевать своего сына в чужие тряпки, с которых на него может перескочить зараза или дурной глаз.

Однако из гордости она решила не писать Амаро.

Между тем придирки доны Жозефы становились день ото дня невыносимей. Несчастная старуха, лишившись духовного руководства соборного настоятеля, настоящего священника, не такого, как аббат Ферран, чувствовала, что ее беззащитная старушечья душа отдана на произвол сатаны: теперь уже не один Франциск-Ксаверий являлся ей нагишом; это странное видение повторялось с угрожающей регулярностью, захватывая все новых святых: весь сонм небесный, сбросив хламиды, плясал перед ней сарабанду в голом виде — и старуха погибала от этого беспрерывного зрелища, подстроенного дьяволом. Дона Жозефа пригласила падре Силверио, но ревматизм, как видно, поразил все епархиальное духовенство; уже больше месяца падре Силверио не вставал с кровати. Срочно призвали аббата из Кортегасы — но он ничего не дал доне Жозефе, кроме нового, им самим открытого способа приготовлять треску по-бискайски... Словом, настоящего благодетельного падре не находилось, и старуха срывала злобу на Амелии, шпыняя ее самым бессовестным образом. Почтенная сеньора уже всерьез подумывала, не послать ли в Амор, за падре Брито, как вдруг к концу обеда прибыл сам соборный настоятель!

Амаро выглядел отлично: загорел на солнышке, посвежел на морском воздухе, щеголял в новом сюртуке и лаковых башмаках. Он долго, с увлечением рассказывал о Виейре, об отдыхающих там знакомых, о рыбной ловле, к которой успел пристраститься, об увлекательных партиях в лото — и в унылой комнате больной старухи сразу повеяло живительным весельем курортной жизни. Дона Жозефа даже прослезилась

от радости, что наконец снова видит сеньора соборного настоятеля и слышит его голос.

— Ваша матушка здорова,— сообщил он Амелии,— она уже приняла тридцать ванн. Недавно выиграла пятнадцать тостанов в стукалку... А вы что здесь поделываете?

Старуха пустилась в горькие жалобы: здесь пустыня! Дожди! Никого знакомых! Ох! Она чувствует, что погубит свою душу в этой злосчастной усадьбе!

— А я,— сказал падре Амаро, закладывая ногу на ногу,— так приятно провел время на взморье, что думаю через недельку вернуться туда еще на некоторое время.

Амелия не удержалась от возгласа:

— Как! Опять?

— Да,— сказал он.— Если сеньор декан даст мне отпуск на месяц, я непременно поеду к морю. Мне поставят кровать в столовой у сеньора каноника, и я еще попринимаю ванны... В Лейрии скучно. Надоело.

Старуха совсем отчаялась. Что же это такое? Он опять уедет, а они будут изнывать от тоски!

Он глумливо усмехнулся.

— По-моему, милые сеньоры, вы тут отлично обходитесь без меня. Вы нашли для себя подходящее общество.

— Не знаю,— возразила старуха с ядом,— может быть, некоторые и могут обойтись без вас, сеньор падре Амаро... Но лично я не нахожу тут для себя подходящего общества и знаю, что погублю свою душу. От здешних знакомств ни пользы, ни чести.

Амелия сочла нужным вмешаться:

— Плохо то, что аббат Ферран захворал. Он болен ревматизмом, а без него дом похож на тюрьму.

Дона Жозефа злобно хихикнула, а падре Амаро, встав со стула и готовясь уходить, посочувствовал славному аббату:

— Бедняга! Это святой человек... Как только выдастся свободная минутка, навещу его. Так до завтра, дона Жозефа, не унывайте: мы найдем средство внести мир в вашу душу. Не беспокойте себя, дона Амелия, теперь я знаю дорогу...

Но она непременно захотела проводить его до лестницы; они прошли через большой зал, не обменявшись ни единым словом. Амаро неторопливо натягивал черные лайковые перчатки. На лестничной площадке он церемонно снял шляпу:

— Сеньора...

Амелия окаменела на месте, глядя, как он спускается в совершенном спокойствии, словно ему до нее не больше дела,

чем до каменных львов, спавших внизу, положив морду на лапы.

Она ушла к себе, бросилась ничком на кровать и заплакала от ярости и унижения. Низкий человек! Ни слова о ребенке, о кормилице, о приданом! Ни одного сочувственного взгляда на ее располневший стан, изуродованный беременностью, в которую он же сам ее вверг! Ни одной жалобы на ее презрительное равнодушие к его посланиям! Ничего! Натягивал перчатки, сдвинув набок шляпу! Негодяй!

На другой день падре Амаро пришел раньше и долго сидел, запершись с доной Жозефой.

Амелия нетерпеливо бродила под дверью, с красными от слез глазами. Наконец он вышел, надевая, как и вчера, перчатки с самодовольным видом.

— Уже? — спросила она дрожащим голосом.

— Да, уже, сеньора. Мы хорошо побеседовали с доной Жозефой.

Он снял шляпу и церемонно поклонился:

— Сеньора...

Амелия, бледная как смерть, прошептала:

— Негодяй!

Он удивленно взглянул на нее и повторил:

— Сеньора...

Затем, как и вчера, размеренным шагом спустился по широкой каменной лестнице.

Первое побуждение Амелии было донести на него главному викарию. Потом она всю ночь писала ему письмо — три страницы жалоб и обвинений. На другой день маленький Жоанзито, относивший письмо, вернулся с устным ответом: «Сеньор соборный настоятель, возможно, прибудут в четверг».

Она опять проплакала всю ночь — а в это время падре Амаро на улице Соузас удовлетворенно потирал руки, радуясь своему искусному маневру. Этот маневр он не сам изобрел: его надоумили в Виейре, куда он ездил, чтобы рассеять хандру на приморском курорте и отвести душу с дорогим учителем; именно там, будучи приглашен на soirée, падре Амаро обдумал свой маневр, услышав, как рассуждает о любви блистательный Пиньейро — гордость алкобасской адвокатуры.

— В этих вопросах, любезные сеньоры,— разглагольствовал Пиньейро в кружке дам, ловивших каждое его слово,— в этих вопросах я держусь мнений Ламартина.— Он всегда держался мнений Ламартина либо мнений Пеллетана.— Вслед за

Ламартином я говорю — женщина подобна тени! Когда вы гонитесь за ней, она убегает; когда вы убегаете, она гонится за вами!

— Прекрасно сказано! Как это верно! — одобрительно шумели дамы. Только одна сеньора солидной корпуленции, «мать четырех восхитительных ангелов, крещенных во имя Марии», как выражался Пиньейро, попросила объяснить, что это значит, так как она ни разу не видела, чтобы ее тень куда-нибудь убегала.

Пиньейро дал научное объяснение:

— Вы можете без труда наблюдать это явление, сеньора дона Катарина; выйдите на пляж, дождитесь заката и станьте спиной к солнцу. Если при этом вы изволите шагнуть вперед, идя вслед за вашей собственной тенью, то тень тоже двинется вперед, убегая от вас...

— Занимательная физика! Очень, очень интересно! — шепнул секретарь суда на ухо Амаро.

Но соборный настоятель не отвечал: остроумный маневр завладел его воображением. Ладно же! По возвращении в Лейрию он применит к Амелии «тактику тени»: будет от нее убегать, и пусть она за ним гонится.

И вот — полный успех! Три неистовые страницы со следами слез!

В четверг он действительно явился в Рикосу. Амелия с утра караулила его на террасе, обозревая дорогу в театральный бинокль. Она бегом бросилась открывать ему калитку плодового сада.

— Так вот вы где! — заметил падре Амаро, поднимаясь вслед за ней на террасу.

— Да, я одна...

— Одна?

— Крестная спит, Жертруда уехала в город... Я все утро греюсь тут на солнышке.

Амаро, не отвечая, шел вперед. Остановившись перед приотворенной дверью в какую-то комнату, где виднелась широкая кровать с пологом и монастырские кожаные кресла, он спросил:

— Это ваша комната?

— Да.

Он смело вошел, не сняв шляпы.

— Тут гораздо лучше, чем в вашей комнатке на улице Милосердия. Хороший вид из окна... А вон там, видимо, земли пойяйского сеньора?

Амелия закрыла дверь и пошла прямо на него, сверкая глазами:

— Почему ты не ответил на мое письмо?

Он усмехнулся.

— Вот это мило! А ты почему не отвечала на мои письма? Кто начал первый? Ты. Мол, больше не хочешь грешить. Что ж, я тоже больше не хочу грешить. Кончено!

— Не об этом речь! — воскликнула она, побелев от негодования.— Надо позаботиться о ребенке, о кормилице, о приданом! Ты не смеешь так меня бросить!

Лицо его сделалось серьезным; он сказал с видом оскорбленной невинности:

— Прошу прощения... До сих пор я считал себя порядочным человеком. Все это будет улажено до моего отъезда в Виейру.

— Ты не поедешь в Виейру!

— Кто это сказал?

— Я! Потому что я не хочу, чтобы ты ехал!

Она с силой схватила его за плечи, сжала, стиснула его руками и, забыв о едва притворенной двери, отдалась в его власть, как в прежние времена.

Два дня спустя появился аббат Ферран: приступ ревматизма у него прошел. Он рассказывал Амелии о том, как добр был с ним пойяйский сеньор — даже присылал ему каждый день в специальной посудине, поставленной в кастрюлю с горячей водой, вареную курицу с рисом. Но еще больше он обязан Жоану Эдуардо: все свободные часы молодой человек проводил у его изголовья, читал ему вслух, помогал поворачиваться на постели, не покидал больного старика до часу ночи! Какая прекрасная душа! Какая прекрасная душа!

И вдруг, взяв Амелию за обе руки, он воскликнул:

— Скажите, сеньора, даете вы мне разрешение поговорить с ним, рассказать ему о вас, объяснить? Хотите вы, чтобы все уладилось, чтобы он простил и забыл? И чтобы состоялась наконец ваша свадьба и оба вы были бы счастливы?

Красная от стыда, она растерянно бормотала:

— Так вдруг... Не знаю... Надо подумать...

— Подумайте. И да просветит вас господь! — горячо сказал аббат.

В эту ночь падре Амаро должен был войти в дом через калитку в плодовом саду, воспользовавшись ключом, получен-

ным от Амелии. К несчастью, они забыли про собак арендатора. Не успел Амаро сделать и двух шагов, как в затихшей к ночи усадьбе поднялся такой несусветный лай, что сеньору соборному настоятелю пришлось спасаться бегством, стуча зубами от страха.

XXIII

Получив утреннюю почту, падре Амаро тотчас послал за Дионисией. Но та была на рынке и явилась поздно, когда он уже завтракал после мессы.

Амаро желал знать сейчас же и наверняка, когда ожидается «событие».

— То есть когда роды? Дней через пятнадцать — двадцать... А что, случилось что-нибудь?

Случилось. И падре Амаро доверительно прочел ей письмо, лежавшее на столе. Пришло оно из Виейры, от каноника; в нем сообщалось: «Сан-Жоанейра уже приняла тридцать ванн и рвется домой! Я (подчеркивал каноник) нарочно пропускаю каждую неделю три или четыре купанья, чтобы протянуть время: она уже уяснила себе, что я не уеду, пока не приму полного курса в пятьдесят ванн. Но все же сорок уже принято, так что сам считай. К тому же здесь становится по-настоящему холодно. Многие разъехались. Сообщи с обратной почтой, в каком положении дело». В постскриптуме было добавлено: «Ты уже решил, куда девать плод?»

— Дней через двадцать или около того,— повторила Дионисия.

Амаро тут же написал ответ канонику, с тем чтобы Дионисия отнесла письмо на почту: «Событие может произойти дней через двадцать. Задержите любыми средствами отъезд матери! Ей нельзя возвращаться ни в коем случае! Скажите ей, что менина Амелия не пишет писем и не уезжает из Рикосы, потому что ваша почтенная сестрица очень плоха».

После этого он закинул ногу на ногу и сказал:

— Ну-с, Дионисия, куда же мы, как выражается каноник, денем плод?

Дионисия вытаращила глаза от удивления.

— Я думала, сеньор настоятель, это давным-давно улажено! Я думала, ребенка отдадут на воспитание куда-нибудь подальше...

— Разумеется! — перебил он нетерпеливо.— Если ребенок родится живой, совершенно ясно, что его надо отдать на вос-

питание, и именно куда-нибудь подальше. Но в этом же весь и вопрос! Кто будет его вскармливать? Я всецело полагаюсь на вас. Время не терпит...

На лице Дионисии выразилось смущение и недовольство. Не любит она нанимать кормилиц. Есть, правда, одна... крепкая, и молока у нее много, и вообще женщина надежная; но, к несчастью, она заболела и лежит в больнице. Имеется еще одна, с которой ей даже доводилось иметь дело, звать Жоана Каррейра. Но она не подходит, потому что живет в самом Пойяйсе, рядом с Рикосой.

— Почему же не подходит? — воскликнул падре Амаро.— Что из того, что она живет в Рикосе? Как только Амелия оправится, обе они с доной Жозефой уедут в город, и с Рикосой будет покончено.

Но Дионисия продолжала раздумывать, потирая рукой подбородок. Она знает еще одну кормилицу. Эта живет далеко, под Баррозой... Берет на воспитание детей и растит их у себя дома. Но о ней лучше вовсе не говорить...

— А что, больная, хилая?

Дионисия подошла поближе к священнику и сказала почти шепотом:

— Ах, менино, я никого не хочу оговаривать. А только это всем известно: она поставляет ангелочков!

— Что?

— Поставляет ангелочков.

— Что вы хотите сказать? Что это значит? — спросил падре Амаро.

Дионисия промямлила весьма неохотно: есть такие женщины, которые берут младенцев на воспитание. И все младенцы умирают. И идут прямо на небо. Вот и появилось такое выражение.

— Как так? Все дети умирают?

— Все поголовно.

Соборный настоятель медленно прохаживался по комнате, свертывая сигарету.

— Говорите яснее, Дионисия. Эта женщина убивает младенцев?

Добрейшая Дионисия запротестовала. Она никого не хочет оговаривать! Она не шпионка. Ей неизвестно, что делается в чужих домах. А только все младенцы умирают.

— Кто же отдаст своего ребенка такой женщине?

Дионисия сострадательно улыбнулась его мужской наивности.

— Отдают, сеньор настоятель, и дюжинами!

Наступило молчанье. Падре Амаро, опустив голову, продолжал шагать между умывальником и окном.

— Какая же выгода этой женщине в том, что дети умирают? — спросил он наконец.— Ведь ей перестают платить за их содержание.

— Она берет за год вперед, сеньор соборный настоятель. По десяти тостанов в месяц или по четвертной, смотря с кого...

Священник, стоя лицом к окну, барабанил по стеклу пальцами.

— Куда смотрят власти, Дионисия?

Она молча пожала плечами.

Тогда священник сел, зевнул и вытянул ноги.

— Хорошо, Дионисия, я вижу, что единственный приемлемый выход — договориться с кормилицей из Рикосы, с Жоаной Каррейра. Я займусь этим...

Дионисия сообщила, что очень удачно купила на выданные им деньги кое-что из белья для ребеночка, а также подержанную колыбель, которую увидела у плотника Зе.

Она уже собиралась уходить, чтобы отнести на почту письмо, когда падре Амаро встал и спросил, как бы в шутку:

— А скажите, тетя Дионисия, ведь это вы сочинили — насчет женщины,которая поставляет ангелочков?

Дионисия обиделась. Сеньору соборному настоятелю должно быть известно, что она не сплетница. Женщину эту она знает уже больше восьми лет, встречает ее чуть ли не каждую неделю в городе, часто с ней разговаривает. В прошлую субботу видела, как та выходила из таверны Грека... Сеньор соборный настоятель бывал когда-нибудь в Баррозе?

Она дождалась ответа, затем продолжала:

— Так вот, вы знаете, где начинается их приход. Там стоит обвалившаяся каменная ограда. Потом дорога идет вниз; в самой глубине выбоины вы увидите засыпанный колодец, а прямо напротив, немного поодаль, стоит небольшой дом с сараем. Там она и живет. А зовут ее Карлота. Так что я ничего не выдумала, а знаю. Для того вам, менино, и рассказываю.

Падре Амаро все утро не выходил из дому; он шагал по комнате, курил и бросал окурки на пол. Теперь перед ним встал вплотную роковой вопрос, который раньше маячил где-то в отдалении: надо решать судьбу ребенка!

Отдать его неизвестной кормилице на воспитание в деревню — дело небезопасное. Амелия, естественно, захочет навещать

его, и мамка когда-нибудь разболтает соседям. Вся деревня будет знать, что это ребенок соборного настоятеля из Лейрии. Первый же завистник, пожелавший отнять у него приход, сможет донести на него главному викарию. Скандал, выговор, суд в консистории; если не лишат сана, то вышлют, как бедного Брито, в глухомань, в горы, опять к пастухам... Вот если бы плод родился мертвым! Какое естественное и окончательное разрешение всех трудностей! И какое счастье для самого младенца! Что за судьба ждет его в этом жестоком мире? Он будет подкидышем, отверженным сыном священника. Отец его беден, мать бедна... Несчастный малыш будет расти в нищете, бродяжничать, весь в лишаях и в грязи, копаться в коровьем навозе. Он изведает муки всех кругов земного ада: днем голод, ночью холод, скитанья по харчевням, и венец всего — тюрьма. Пук соломы при жизни, безымянная могила после смерти... А если бы он умер, то стал бы ангелочком, и бог взял бы его к себе в рай.

Амаро, подавленный, ходил и ходил по комнате. Право же, не плохо сказано: поставляет ангелочков... Что и говорить: кто кормит ребенка грудью и взращивает для жизни, тот обрекает его на муки и слезы. Неужели не лучше придушить младенца при рождении и отправить прямиком в обитель вечного блаженства! Взять хоть его: что такое все тридцать лет его жизни? Унылое детство у этой балаболки маркизы де Алегрос; потом житье в Эстреле у дяди, мясника и грубияна; потом тюремный режим семинарии, потом снега Фейрана; а здесь, в Лейрии — сколько треволнений, сколько горьких часов... Лучше бы ему при рождении проломили череп! Теперь он пел бы в ангельском хоре и два белых крыла реяли бы у него за спиной...

Впрочем, не время философствовать: надо ехать в Пойяйс и договориться с мамкой, Жоаной Каррейра.

Падре Амаро вышел и не спеша направился к шоссе. Он подходил уже к мосту, когда его взяло любопытство: побывать в Баррозе и увидеть своими глазами женщину, поставляющую ангелочков. Говорить с ней он не будет: просто осмотрит дом, поглядит на хозяйку, познакомится с этим мрачным местом... Притом же, как глава прихода, как церковный иерарх, он не может оставить без внимания столь вопиющий грех, безнаказанно процветающий под самым городом. Возможно, следует поставить в известность сеньора главного викария и непременного секретаря Гражданского управления.

Времени хватит, еще нет и четырех. Почему бы не проехаться верхом в такой теплый, светлый вечер? Не колеблясь

более, падре Амаро отправился на постоялый двор Круса, чтобы нанять верховую лошадь; вскоре, покалывая коня шпорой, надетой на левую ногу, он уже ехал рысцой по дороге в Баррозу.

Доехав до выбоины, о которой упоминала Дионисия, он спешился и дальше пошел, ведя лошадь под уздцы. Вечер был восхитительный; высоко в голубом небе какая-то большая птица чертила медленные круги.

Вот и засыпанный колодец в тени двух каштанов; птицы еще не уснули в их ветвях; немного поодаль, на ровной полянке, очень уединенно стоял дом с сараем: заходящее солнце освещало его боковую стену, и единственное с этой стороны окно горело золотом и огнем; из трубы прямо вверх поднималась тоненькая, светлая струйка дыма.

Все вокруг дышало глубоким покоем; на склоне холма, темного от ежика мелкой сосновой поросли, весело белела маленькая часовня Баррозы.

Амаро старался представить себе, какой может оказаться хозяйка этого дома; ему казалось, что она должна быть очень высокая, с крупным, смуглым лицом и сверкающими глазами колдуньи.

Приблизившись к дому, Амаро привязал лошадь у калитки и заглянул в открытую дверь: через нее видна была кухня с глинобитным полом; в глубине обширный очаг; вторая дверь вела из этой кухни во внутренний дворик, устланный травой, в которой рылись пятачками два поросенка. На каменной полке над очагом сверкала белая фаянсовая посуда. По бокам висели на стене большие медные кастрюли, блестевшие не хуже, чем в самых богатых домах. В старом шкафу, дверцы которого были приоткрыты, белели стопки белья; во всем царил такой образцовый порядок, что от этой чистоты и опрятности кухня словно становилась светлее.

Амаро громко хлопнул в ладоши. В плетеной клетке, висевшей на стене, взмахнула крыльями испуганная горлица. Священник крикнул:

— Сеньора Карлота!

В тот же миг из внутреннего двора вышла хозяйка с решетом в руках. Амаро удивился, увидя миловидную полногрудую женщину лет сорока, с широкими плечами, белой шеей, дорогими серьгами в ушах и парой черных глаз, напомнивших ему Амелию или, пожалуй, менее яркие черные глаза Сан-Жоанейры.

Он пробормотал:

— Боюсь, я ошибся... Что, сеньора Карлота здесь живет?

Нет, он не ошибся. Это и была Карлота. Все еще во власти своего представления о женщине, поставляющей ангелочков, о зловещей ведьме, ютящейся в темной трущобе, он задал еще один вопрос:

— Вы живете тут одна?

Женщина глядела на него настороженно.

— Нет, сударь,— сказала она, помедлив,— я живу здесь с мужем.

Как раз в эту минуту муж ее выходил из внутреннего двора; вот он был действительно страшен: почти карлик с огромной, глубоко ушедшей в плечи головой, повязанной платком; его желтовато-восковое лицо блестело от жира; редкая бороденка вилась на скулах черными завитками, а под выступающими вперед безволосыми надбровными дугами горели красноватые, в кровавых прожилках глаза — из этих глаз глядели бессонница и пьянство.

— Что угодно вашей милости? — спросил он, встав рядом со своей женой.

Амаро вошел в кухню и стал рассказывать историю, которую тут же сочинил: его родственница ждет ребенка. Муж ее не может приехать сам, так как лежит больной. Им нужна домашняя кормилица, и ему сказали, что...

— Нет, она в чужой дом не пойдет. Нет. Здесь — пожалуйста,— сказал карлик, все еще словно пришитый к юбкам своей жены и глядя на священника исподлобья налитыми кровью глазами.

— А, значит, меня неправильно информировали... Весьма сожалею; моим родственникам нужна для ребенка кормилица в дом.

Он медленно направился к своей лошади; остановился, чтобы запахнуть плащ.

— А к себе вы принимаете новорожденных на воспитание? — спросил он еще.

— Если плата подходящая — отчего же? — сказал карлик, шедший за ним по пятам.

Амаро поправил шпору на ноге, дернул за стремя, зачем-то помедлил, кружа около лошади.

— Ребенка надо доставить сюда, вероятно?

Карлик повернул голову и обменялся взглядом с женой, которая осталась на пороге кухни.

— За ребенком можно и сходить, куда прикажете,— сказал он.

Амаро похлопывал кобылу по шее.

— Но если младенец родится ночью, то в такую холодную погоду он может умереть раньше, чем вы его донесете до дому...

Оба супруга в один голос стали уверять, что ребенку ничего не сделается, только завернуть потеплее.

Амаро ловко вскочил в седло, пожелал хозяевам доброго вечера и поехал рысью вверх по дороге.

Для Амелии наступили дни нестерпимого страха. И днем и ночью она думала о неумолимо надвигающемся часе, когда начнутся первые муки. Ей было теперь еще хуже, чем в первые месяцы; ее мучили головокружения, тошнота — и доктор Гоувейя, наблюдая это, сильно хмурился. Ночи ее проходили в нескончаемой смене кошмаров. Но это были уже не религиозные видения: то кончилось вместе со страхом перед небесной карой за грех. Будь Амелия признанной святой, она бы не больше боялась бога, чем теперь. Но ее осаждали новые страхи. По ночам ей снились предстоящие роды в уродливых и ужасающих образах; то из чрева ее выскакивало странное чудовище — полукоза, полу-женщина; то из нее вылезала бесконечная змея, которая ползла и ползла час за часом и ложилась кольцами по всей комнате, заполняя ее до самого потолка; Амелия просыпалась, сотрясаемая нервическими судорогами, и долго не могла прийти в себя.

Но она страстно желала, чтобы роды наступили поскорее. Ее ужасала мысль, что в любой день ее мать может вдруг явиться в Рикосу. Сан-Жоанейра жаловалась в письме, что каноник силой удерживает ее в Виейре, что там наступили холода и дожди, что курорт совсем опустел. Дона Мария де Ассунсан уже вернулась; к счастью для Амелии, провидение послало доне Марии в дороге на редкость ненастную ночь, и несчастная заболела бронхитом; теперь, по словам доктора Гоувейи, она вынуждена будет несколько недель пролежать в постели. Либаниньо — тот уже самолично заявился в Рикосу и весьма сожалел, что ему не удалось повидать Амелиазинью, у которой как раз случилась мигрень.

— Если это затянется еще на две недели, они все узнают,— всхлипывая, говорила она падре Амаро.

— Терпенье, милая, природу нельзя торопить.

— Сколько мучений я переношу из-за тебя! — стонала она.— Сколько зла ты мне причинил!

Он смиренно молчал и вообще был теперь с ней очень мягок и добр. Он навещал ее почти каждое утро, потому что вечером не хотел встречаться с аббатом Ферраном.

Насчет кормилицы он ее успокоил, сказав, что уже договорился с одной женщиной из Рикосы, которую рекомендовала Дионисия. Сеньора Жоана Каррейра — настоящая находка! Корenаста, как дуб, две бочки молока вместо грудей и белые, как слоновая кость, зубы.

— Мне слишком далеко будет ездить к малышу! — вздыхала Амелия.

Только теперь в ней начали пробуждаться материнские чувства. Она огорчалась из-за того, что уже не успеет своими руками сшить недостающее белье для своего ребенка, и хотела, чтобы ее сыну — у нее непременно будет сын! — дали имя Карлос. Она уже видела его взрослым мужчиной, кавалерийским офицером, и с умилением думала о том времени, когда он начнет ползать...

— Если бы не стыд, я бы сама с радостью кормила его!

— Ему будет отлично и там, куда его поместят,— отвечал Амаро.

Она каждый день плакала и мучилась оттого, что ее сынок станет незаконнорожденным!

Однажды она завела с аббатом речь о странной мысли, внушенной самой божьей матерью: Амелия готова выйти за Жоана Эдуардо, если тот в письменной форме обязуется усыновить Карлиньоса! Лишь бы ее ангелочек не был подкидышем... Ради этого она согласна обвенчаться хоть с каторжником, мостящим дороги! И она умоляюще сжимала руку аббата. Пусть тот уговорит Жоана Эдуардо стать папой Карлиньосу! Она сейчас встанет на колени перед сеньором аббатом — ведь он ее защитник, все равно что отец...

— О сеньора, успокойтесь, успокойтесь. Я и сам того желаю, ведь я вам говорил. Все это может осуществиться, но потом, позже! — уговаривал старик, ошеломленный столь бурным натиском.

Через несколько дней — новая навязчивая идея: она вдруг поняла, что не имеет права изменить Амаро, потому что он отец ее Карлиньоса. Она преподнесла это аббату неожиданно и даже вогнала в краску доброго старика разговорами о супружеской верности соборному настоятелю.

Аббат, не имевший понятия о ежедневных посещениях падре Амаро, был изумлен до крайности.

— Помилуйте, сеньора, что вы такое говорите? Что вы такое говорите? Опомнитесь... Какой срам! А я-то думал, что вы давно забыли об этих глупостях!

— Но он отец моего ребенка, сеньор аббат! — возразила она, глядя на него с глубокой серьезностью.

Целую неделю она донимала Амаро ребяческими нежностями и каждые полчаса напоминала ему, что он папа ее Карлиньоса.

— Знаю, душа моя, знаю,— терпеливо урезонивал ее Амаро,— премного благодарен. Не такая уж это завидная честь...

Она ударялась в слезы, пряча лицо в подушках дивана. Успокоить ее можно было только неисчислимыми ласками и поцелуями. Она усаживала Амаро на низкой скамеечке возле софы, вертела его как куклу, любовалась им, щекотала выбритую на темени тонзуру; требовала, чтобы он сфотографировал Карлиньоса в двух экземплярах, чтобы и он и она могли носить портрет сыночка в медальоне, на шее; а если она умрет, он должен привести Карлиньоса на ее могилу, поставить на колени, сложить ему ладошки, и пусть он помолится за свою бедную маму. Затем она падала на подушки и закрывала лицо руками:

— Какая я несчастная! Бедный мой сынок! Бедная я!

— Да замолчи ты, ведь услышат! — говорил ей Амаро, выходя из себя.

Ох, недешево доставались ему эти утренние визиты в Рикосу! Он смотрел на них как на незаслуженное наказание. Сначала надо было идти к старухе и слушать ее нытье, а потом целый час сидеть с Амелиёй. Полулежа на софе, толстая, как бочка, с одутловатым лицом и припухшими глазами, она мучила его своей истеричной, глупой сентиментальностью.

В одно из таких утренних свиданий Амелия пожаловалась на судороги в ноге и изъявила желание походить по комнате, опираясь на руку Амаро; она медленно тащилась рядом с ним, раздутая, в едва сходившемся на животе старом капоте; вдруг под окнами на дороге раздалось цоканье копыт. Они подошли к окну, но Амаро сразу же отпрянул назад, бросив Амелию; она же прижалась носом к окну и стала смотреть. По дороге, ловко сидя на гнедой кобыле, ехал Жоан Эдуардо в белом рединготе и цилиндре; рядом трусили его маленькие питомцы — один на пони, другой на ослике; а дальше, почтительно поотстав, как и подобает свите, следовал слуга в ботфортах с огромными шпорами и в шляпе с красной кокардой; слишком широкая ливрея морщилась складками у него на спине. Потрясенная Амелия следила взглядом за этой кавалькадой, пока спина лакея не

скрылась за углом дома. Не проронив ни слова, она вернулась на диван. Амаро, продолжавший шагать по комнате, не удержался от ядовитого смешка:

— Болван с ливрейным эскортом!

Амелия покраснела и ничего не ответила. Амаро, оскорбленный в лучших чувствах, вышел, хлопнув дверью, и отправился к доне Жозефе — описать ей кавалькаду и излить свой гнев на пойяйского сеньора.

— Чтобы отлученные от церкви еретики ездили с ливрейными слугами! — негодовала почтенная сеньора, сжимая обеими руками виски.— Какой позор, сеньор падре Амаро, какой позор для всей фидалгии королевства Португальского!

С этого дня Амелия перестала впадать в меланхолию, если падре Амаро с утра не приезжал. Зато она с нетерпением ждала вечернего визита падре Феррана. Едва старик появлялся, она затаскивала его к себе, усаживала на стул возле канапе и, после долгих околичностей — словно птица, осторожно кружащая вокруг добычи,— неизменно сводила разговор к одному и тому же вопросу: видел ли аббат сеньора Жоана Эдуардо?

Амелия желала знать о нем все: что он говорил, вспоминал ли ее, заметил ли ее вчера в окне. Она выпытывала у старика подробности об усадьбе пойяйского сеньора, выспрашивала, как меблирована гостиная, сколько в доме прислуги, сколько лошадей на конюшне, прислуживает ли ливрейный лакей за столом....

Добряк аббат терпеливо отвечал на ее расспросы, радуясь, что она забыла о падре Амаро и занята Жоаном Эдуардо; теперь он был уверен, что их брак осуществится. При аббате она избегала упоминать даже имя Амаро, а когда аббат однажды спросил ее, бывает ли теперь соборный настоятель в Рикосе, она ответила:

— Ах, редко! Он приезжает к крестной... Но я к нему не выхожу, да и неприлично показываться в таком виде.

Теперь она по большей части лежала, а когда поднималась, то почти все время простаивала у окна в кое-как зашпиленной нижней юбке, но так, чтобы в окне ее туалет выглядел аккуратно. Она поджидала, не появится ли Жоан Эдуардо с пойяйскими наследниками и их лакеем. Несколько раз ей улыбнулось счастье, и она видела, как они проезжали мимо; породистые лошади шли четким, упругим шагом, но лучше всех была гнедая кобылица Жоана Эдуардо; проезжая мимо Рикосы, он пускал ее траверсом, держа хлыстик поперек седла, по всем правилам высшего искусства верховой езды, как его учил пойяйский сеньор. Но больше всего Амелию пленял лакей, и, сплю-

щивая нос об оконное стекло, она следила за ним жадным взглядом, пока не исчезали за поворотом дороги его сгорбленная стариковская спина с огромным стоячим воротом и слишком широкие панталоны.

Для Жоана Эдуардо эти прогулки с воспитанниками, верхом на гнедой кобылице, были неисчерпаемым источником радости. Он ни за что не упускал случая появиться в городе; сердце его билось сильнее, когда подковы стучали о каменные плиты мостовой; сейчас он поедет мимо Ампаро-аптекарши, мимо конторы Нунеса, сидящего у самого окна, мимо торговых рядов под Аркадой, мимо сеньора председателя Муниципальной палаты, который стоит у окна своего кабинета, устремив бинокль на мадам Телес. Жоан Эдуардо сожалел лишь о том, что не может въехать вместе с кобылой, молодыми господами и лакеем прямо в кабинет доктора Годиньо!

Однажды, возвращаясь после такой триумфальной прогулки из Баррозы, часов около двух, и выезжая на тракт возле колодца Бенты, он вдруг увидел падре Амаро, верхом на небольшой лошадке: тот спускался ему навстречу. Жоан Эдуардо сейчас же поднял свою рослую кобылу на дыбы. Дорога была узкая, и, хотя оба прижимались к цветущим изгородям, колени их почти соприкоснулись, и Жоан Эдуардо, грозя поднятым хлыстом, окинул с высокого седла презрительным взором своего врага; падре Амаро — небритый, с желчным, бледным лицом — весь съежился под этим взглядом и стал яростно колоть шпорой свою наемную клячу. На вершине холма Жоан Эдуардо приостановился, обернулся и успел увидеть, что священник спешился около уединенного домика; проезжая мимо, его воспитанники видели там безобразного карлика и посмеялись над ним.

— Кто здесь живет? — спросил Жоан Эдуардо лакея.

— Да так одна... Звать Карлотой... Нехорошие люди, сеньор Жоанзиньо!

Проезжая мимо Рикосы, Жоан Эдуардо, как всегда, замедлил аллюр своей гнедой кобылы. Но ни в одном окне не видно было бледного личика под алой косынкой. У подъезда стоял распряженный кабриолет доктора Гоувейи.

Наступил роковой день! Утром к падре Амаро явился батрак из Рикосы с запиской от Амелии, содержавшей всего несколько неразборчивых слов: «Скорее пришли Дионисию, началось!» Она просила также пригласить к ней доктора Гоувейю. Амаро сам пошел известить Дионисию.

За несколько дней до этого он сказал ей, что дона Жозефа,— сама дона Жозефа,— нашла хорошую кормилицу, и он уже договорился. Отличная будет мамка, крепкая, как каштан! Затем он условился с почтенной матроной, что, когда стемнеет, она вынесет из дома ребенка, закутанного в теплое одеяльце; Амаро сам будет в это время у садовой калитки, вместе с кормилицей.

— К девяти часам, Дионисия. И не заставляйте нас ждать! — присовокупил Амаро, пока она торопливо собиралась в дорогу.

После этого он вернулся домой и заперся в своей комнате. Он стоял лицом к лицу перед тяжелым вопросом, который, словно живой человек, смотрел на него в упор и требовал ответа: «Что делать с ребенком?» Еще не поздно поехать в Пойяйс и договориться с хорошей кормилицей, с настоящей, с той, которую рекомендовала Дионисия; можно также оседлать лошадь и поехать в Баррозу, к Карлоте... И вот он стоит в смятении на распутье этих двух дорог и не знает, на что решиться. Надо успокоиться, обдумать дело всесторонне, взвешивая все «за» и «против», как обдумывают трудный теологический вопрос; но вместо двух аргументаций перед ним возникали два видения: ребенок, живущий и растущий в Пойяйсе, и ребенок, удавленный Карлотой и закопанный на краю дороги в Баррозу. Амаро метался по комнате, весь в поту от душевной тревоги, когда на лестнице за дверью послышалась фистула Либаниньо, кричавшего:

— Открой, братец соборный, я же все равно знаю, что ты дома!

Пришлось открыть Либаниньо, пожать ему руку, предложить стул. К счастью, Либаниньо сказал, что ему некогда засиживаться: просто бежал мимо и решил спросить у милейшего соборного, не знает ли он, как поживают наши две голубки в Рикосе.

— Поживают они неплохо, совсем неплохо,— отвечал Амаро, заставляя себя улыбаться и шутить.

— Все никак не соберусь к ним съездить, дел по горло! Я теперь очень занят в казармах... Не смейся, дружище соборный, я там святое дело делаю. Прихожу к солдатикам, рассказываю им о страданиях и терпении господа нашего Иисуса Христа...

— Хочешь обратить в христианство здешний полк? — рассеянно пошутил Амаро; он то перебирал бумаги на столе, то беспокойно бродил по комнате, точно зверь в клетке.

— Такой подвиг, друг Амаро, мне не под силу; но если бы я мог... Сейчас, например, я тащу освященные наплечники для одного сержанта. Их освятил наш милый Салданьинья, от них так и веет благодатью. А вчера я подарил точно такие же одному младшему сержанту, славному парнишке, премилому парнишке! Я сам надел их ему под фуфайку. Премилый парнишка.

— По-моему, пусть о солдатах заботится их полковник,— заметил Амаро, распахивая окно; ему было душно от нетерпения.

— Фу, он же нечестивец. Дай ему волю — солдатики позабудут, что крещены. Ну, прощай, соборненький. Что это ты, голубчик, сегодня желт? Прими-ка слабительного, у меня глаз наметанный...

Он уже был в дверях, но вдруг опять остановился:

— Да, слушай, соборненький: ты ничего не слыхал?

— О чем?

— Да вот, падре Салданья что-то такое говорил. Будто нашему декану донесли, что один из здешних священников попал в скандальную историю... Кто и что — неизвестно. Салданья пытался выведать, но декан говорит, ему доложили в общих чертах, не называя имен... Я все думаю: о ком бы это?

— Мало ли что болтает сдуру Салданья!

— Эх, милый! Дай бог, чтоб это он сдуру болтал. Оно только безбожникам на радость... Когда будешь в Рикосе, передай поклон нашим святым голубушкам.

И он побежал вниз: понес свою «благодать» в казарму.

Амаро стоял в оцепенении. Конечно, это слухи о нем, о его связи с Амелией окольными путями дошли до главного викария! А тут еще ребенок, на воспитании у мамки, в полулиге от города — живая улика! Ведь это странно, это почти сверхъестественно: Либаниньо, не побывавший у него за два года и двух раз, пришел с этой страшной вестью сегодня, именно сегодня, в такую жестокую минуту... Словно сама судьба, в гротескном обличье Либаниньо, послала предупреждение, шепнула на ухо: «Не оставляй в живых существо, которое может навлечь на тебя беду! Знай: ты уже на подозрении!»

Конечно, сам господь бог, сжалившись над младенцем и не желая, чтобы плодились на земле несчастные подкидыши, требует к себе своего ангелочка!

Амаро больше не колебался: он пошел на постоялый двор Круса, взял лошадь и поехал к Карлоте.

Там он пробыл до четырех часов.

Вернувшись от нее домой, он бросил шляпу на кровать с чувством глубокого облегчения. С этим покончено! Он договорился с Карлотой и карликом и уплатил им за год вперед; теперь только дождаться ночи!

Он остался наедине с собой,— и страшные видения встали перед ним: вот Карлота удавливает посиневшего от удушья младенца; вот полицейские откапывают его трупик, и Домингос из Муниципальной палаты, положив на колено листок бумаги, пишет протокол, а его, Амаро, в подряснике, ведут в тюрьму, скованного одной цепью с карликом! Он уже готов был сесть на лошадь, поскакать в Баррозу и расторгнуть сделку. Но какая-то апатия овладела им. И потом, кто его заставляет отдавать ночью младенца Карлоте? Ведь он может отнести его, завернутого в одеяло, к Жоане Каррейра, к славной женщине из Пойяйса...

Чтобы уйти от этих мыслей, бушевавших в его мозгу, как ночная буря, он отправился к Натарио — тот начинал уже вставать. Едва он появился на пороге, падре Натарио закричал из своего глубокого кресла:

— Видали его, Амаро? Этот болван ездит в сопровождении лакея!

Жоан Эдуардо только что проехал под его окнами на гнедой кобыле, с двумя своими питомцами, и Натарио метался в бессильной злобе: он был прикован к креслу и не мог возобновить травлю. Необходимо добиться, чтобы пойяйский сумасброд выгнал этого остолопа на улицу, и тогда — прощай ливрейный лакей и гнедая кобыла!

— Ничего! Дайте мне только на ноги стать!

— Оставьте его в покое, Натарио,— сказал Амаро.

Оставить его в покое?! Когда блеснула такая отличная мысль: доказать пойяйскому помещику, как дважды два четыре, с документами в руках, что Жоан Эдуардо церковник! Что скажете, дружище Амаро?

И правда, это было бы забавно. Клерк, в общем, заслуживает наказания: как он смеет смотреть сверху вниз со своей гнедой кобылы на порядочных людей... И Амаро снова покраснел от гнева, вспомнив утреннюю встречу на тракте в Баррозе.

— Ясно! Для чего мы избраны служителями Христа? Чтобы возвышать смиренных и низвергать гордецов!

От Натарио Амаро пошел к доне Марии де Ассунсан; она тоже начинала вставать с постели. Добрейшая сеньора изложила соборному настоятелю историю своего бронхита и дала полный список последних грехов: самый тяжкий из них заключал-

ся в том, что, стараясь скоротать время выздоровления, она ставила свое кресло у окна, и один плотник, живший в доме напротив, на нее глазел; и вот, из-за происков лукавого у нее не было сил уйти в комнаты, и ее осаждали греховные мысли...

— Что вы, что вы, милая сеньора!

Падре Амаро поспешил успокоить ее встревоженную совесть, потому что спасение этой убогой души давало ему больше денег, чем весь остальной приход.

Уже темнело, когда он вернулся домой. Эсколастика ворчала: он пришел так поздно, что обед безнадежно перепрел. Но Амаро только выпил бокал вина да стоя проглотил несколько ложек риса, со страхом глядя в окно на неумолимо наступающую ночь.

Он пошел в свою комнату посмотреть, горят ли уже на улице фонари, как вдруг явился коадъютор; пришел напомнить, что завтра надо крестить новорожденного сынка Гедесов; крестины назначены на девять часов утра.

— Принести вам лампу? — спросила из-за двери служанка, услышав, что у сеньора гости.

— Нет! — торопливо крикнул Амаро.

Он боялся, что коадъютор заметит, как искажено его лицо, или, чего доброго, засядет у него на весь вечер.

— Говорят, в позавчерашнем номере «Нации» напечатана очень интересная статья,— начал с расстановкой коадъютор.

— А! — откликнулся Амаро.

Он ходил по своей протоптанной дорожке, от умывальника до окна, останавливался там, барабанил пальцами по стеклу; уже зажглись уличные фонари.

Тогда коадъютор, вероятно обидевшись на темноту в комнате и на звериное метанье соборного настоятеля между умывальником и окном, встал и с достоинством проговорил:

— Кажется, я мешаю.

— Нет!

Коадъютор, вполне удовлетворенный, снова сел и поставил зонтик между колен.

— Осенью раньше темнеет,— сказал он.

— Раньше...

Наконец, доведенный до отчаяния, Амаро сказал, что у него нестерпимая мигрень, что он хочет лечь; коадъютор ушел, еще раз напомнив, что завтра надо крестить ребенка нашего друга Гедеса.

Амаро сейчас же отправился в Рикосу. К счастью, ночь была теплая и темная; казалось, скоро пойдет дождь. Сердце Амаро

сильно билось от надежды: ах, если бы ребенок родился мертвым! Ведь это вполне возможно!

У Сан-Жоанейры в молодости родилось двое мертвых детей; Амелия жила все последнее время в такой тревоге, что это не могло не нарушить нормальный ход беременности. А если она тоже умрет? При этой мысли его охватила жалость и нежность к этой славной девушке, которая так его любила, а теперь, в расплату за это, кричит, раздираемая болью. И все-таки, если бы оба умерли — и она и ребенок,— тогда его грех и преступление сразу и навсегда исчезли бы в темных глубинах вечности... И он снова мог бы спать спокойно, как до приезда в Лейрию, занимался бы делами церкви, вел бы жизнь чистую и незапятнанную, как белый лист бумаги!

Он остановился возле полуразрушенного сарая на краю дороги: в сарае уже должны были ждать Карлота или ее муж, чтобы забрать ребенка; они еще не решили, кто именно. Амаро противно было думать, что сейчас он увидит карлика с налитыми дурной кровью глазами и что тот унесет его ребенка. Он крикнул в темный сарай: «Ола!» — и с облегчением услышал звонкий голос Карлоты, донесшийся из темноты:

— Я здесь!

— Хорошо; надо подождать, сеньора Карлота.

Он был доволен; ему казалось, что теперь нечего бояться: его ребенка унесет на руках, прижимая к своей сильной груди, эта плодовитая сорокалетняя женщина, такая опрятная и свежая на вид.

Он обошел вокруг дома. Все было темно и безмолвно, и само каменное строение казалось сгустком ненастной декабрьской ночи. Ни одной светящейся щелки в окнах Амелии. Влажный воздух был неподвижен, даже листья не шелестели. Дионисия не выходила.

Его тревожила эта задержка. Кто-нибудь мог заметить, что он бродит вокруг дома. Но Амаро было противно стоять в сарае вместе с Карлотой, и он пошел вдоль стены плодового сада, потом повернул обратно — и тут увидел, что дверь, выходившая на террасу, на мгновение осветилась.

Он подбежал к зеленой садовой калитке как раз в ту минуту, когда она скрипнула,— и Дионисия, не проронив ни слова, положила ему на руки сверток.

— Мертвый? — спросил он.

— Зачем? Живой, крепыш!

Она осторожно заперла калитку; собаки, заслышав шорох, уже начинали брехать.

Переписка Фрадике Мендеса

И тогда, держа на руках теплый сверток, в котором спал младенец, падре Амаро почувствовал, что прежние его намерения исчезли, улетучились, точно их смело могучим вихрем. Как! Отдать своего сына этой ужасной бабе, поставляющей ангелочков, чтобы она бросила его в придорожную канаву или утопила в отхожем месте?

— Ну нет! Это мой сын!

Но что же делать? Теперь уже поздно бежать в Пойяйс и договариваться с другой мамкой... Дионисии нечем его кормить. В город его нести нельзя... О, если бы постучаться в эти ворота, вбежать в комнату Амелии, положить малютку, завернутого в теплое одеяльце, к ней на кровать и остаться там втроем, всем вместе, в прибежище неземного счастья! Но нет! Он священник! Будь проклята религия, так безжалостно наступающая ему на горло!

Ребенок слабо пискнул в глубине свертка. Падре Амаро кинулся к сараю и чуть не сбил с ног Карлоту; та сейчас же выхватила сверток у него из рук.

— Вот он,— сказал Амаро,— но только... Слушайте! Слушайте внимательно! Теперь я всерьез. Теперь все переменилось. Понимаете? Я не хочу, чтобы он умер. За ним надо ходить. Прежнее отменяется... Его надо вырастить! Пусть живет. Я вас отблагодарю... Позаботьтесь о нем!

— Будьте покойны, будьте покойны,— торопилась Карлота.

— Слушайте... Ему будет холодно. Возьмите мой плащ.

— Все в порядке, сеньор, все в порядке.

— Да ничего не в порядке, черт вас дери! Это мой сын! Прикройте его моим плащом! Я не хочу, чтобы он замерз!

Он насильно набросил ей на плечи свой плащ, плотно запахнул полы у нее на груди, укрыв ребенка,— и Карлота, молчаливо злясь, пустилась во весь дух к перекрестку в Баррозу.

Амаро стоял посреди дороги и смотрел ей вслед, пока фигура ее не растаяла во мраке. И тогда его потрясенные нервы разом сдали, точно у впечатлительной женщины,— и он заплакал.

Долго еще он бродил вокруг дома. Но там царила прежняя черная немота, нагонявшая страх. Наконец, измученный усталостью и печалью, он побрел домой и вошел в город, когда часы на соборной башне прогудели десять ударов.

В этот час в Рикосе доктор Гоувейя сидел в столовой и спокойно закусывал после хлопотливого дня жареным цыпленком, которого подала ему Жертруда. Аббат Ферран составлял ему

компанию за столом. Он пришел с причастием, на случай беды. Но доктор был доволен. Боли продолжались восемь часов, и все это время Амелия держалась молодцом. Роды, впрочем, прошли нормально, и на свет появился здоровенький мальчуган, делавший честь своему папаше.

Добрый аббат Ферран выслушивал все эти подробности, целомудренно потупив очи.

— А теперь,— продолжал доктор, отрезая кусок цыплячьей грудки,— теперь, когда я ввел младенца в мир, господа священники (я имею в виду не отдельных священников, а вообще церковь) заберут беднягу в свои лапы и уже не выпустят до самой могилы. С другой стороны, хотя и не столь алчно, его подкарауливает государство. Так он, раб божий, и пройдет своим земным путем, от колыбели до гроба, эскортируемый с одного бока священником, а с другого — сержантом полиции!

Аббат наклонился, набил ноздрю табаком и приготовился возражать.

— Церковь,— безмятежно продолжал доктор,— начинает с того, что навязывает младенцу религию, когда это несчастное существо еще не осознало даже, что живет на свете...

Аббат прервал его полусерьезно, полушутя:

— Дорогой мой доктор, я вынужден предуведомить вас, хотя бы во спасение вашей души, что святейший Тридентский собор в своем тринадцатом каноне постановил предавать анафеме всякого, кто отрицает крещение на том основании, что оно совершается без участия разума.

— Приму к сведению, аббат. Я уже привык к любезностям Тридентского собора по отношению ко мне и моим коллегам.

— Это было весьма почтенное собрание! — возразил аббат, немного уязвленный.

— Не только почтенное, но и величавое. Это было величавое собрание. Тридентский собор и Конвент — два самых поразительных сборища людей, какие видела земля.

Аббат поморщился при этом непочтительном сопоставлении святых отцов церкви с убийцами славного короля Людовика XVI.

Но доктор продолжал:

— После этого церковь на некоторое время оставляет малыша в покое; надо подождать, пока у него прорежутся зубки и выведутся глисты...

— Ладно, ладно, доктор,— пробормотал аббат; зажмурившись, он терпеливо сносил насмешливые речи доктора, как бы

говоря всем своим видом: «Не стесняйся, не стесняйся, обрекай свою душу на огонь и смолу ада!»

Тот продолжал:

— Но едва малыш начинает проявлять первые признаки разума, едва в нем начинает брезжить понятие о себе самом и о вселенной,— отличительная черта человека,— как церковь является к нему на дом и объясняет все. Все! И так исчерпывающе, что шестилетний бутузик, еще не одолев азбуки, владеет более обширными и точными знаниями, чем королевские академии Лондона, Берлина и Парижа, вместе взятые! Маленький хитрец растолкует тебе, глазом не моргнув, как была сотворена вселенная и ее галактики, как появилась жизнь на земле, как сменяли друг друга человеческие расы, как протекали геологические революции в строении земного шара, как образовались языки, как появилась письменность... Он знает все. Он владеет безупречным методом, позволяющим ему управлять своими поступками и составлять обо всем представление; он постиг все тайны; пусть он слеп как крот, он все равно видит, что делается на небесах и в преисподней; он отлично знает, словно всю жизнь только этим и любовался, что с ним произойдет после смерти. Для него нет проблем. И вот, когда церковь сделала из маленького сопляка кладезь премудрости, она посылает его в школу, учиться грамоте... Спрашивается: зачем?

Аббат молчал, онемев от негодования.

— Нет, аббат, вы мне скажите, зачем господам священникам надо, чтобы мальчишка учился читать? Ведь вся мировая наука, все res scibilis [1] уже имеется в катехизисе; достаточно вдолбить в голову любому сорванцу катехизис, и он уже все знает и все понимает... Он знает столько же, сколько сам бог... De facto [2] он сам и есть бог.

Аббат подскочил на стуле.

— Так не спорят! — закричал он.— Это не дискуссия! Это зубоскальство а-ля Вольтер! О подобных предметах следует судить с более высокой точки...

— Как так, зубоскальство? Возьмите любой пример: хоть происхождение языков. Как образовались языки? Пожалуйста: бог, недовольный постройкой Вавилонской башни...

Но дверь столовой отворилась; на пороге появилась Дионисия. Доктор успел задать ей взбучку, и она его побаивалась.

---

[1] Подлежащее познанию *(лат.)*.

[2] Фактически, по сути дела *(лат.)*.

— Сеньор доктор,— сказала она, и голос ее прозвучал очень ясно в наступившей тишине,— менина Амелия проснулась и хочет видеть сына.

— Так. Но ведь ребенка куда-то отправили, верно?

— Отправили.

— Значит, не о чем и говорить.

Дионисия уже закрывала дверь, когда доктор окликнул ее:

— Постойте! Скажите ей, что она увидит своего сына завтра. Завтра его непременно принесут. Солгите. Врите как сивая кобыла. Сеньор аббат вам отпустит... Пусть она спит, пусть отдыхает.

Дионисия удалилась. Но спор оборвался; при мысли о матери, которая очнулась после родовых мук и требует своего ребенка, а ребенка у нее украли и унесли далеко и навеки, оба старика забыли Вавилонское столпотворение и историю языков. Особенно был взволнован аббат. Но доктор безжалостно напомнил ему, что все это — следствие ненормального положения священников в нашем обществе.

Аббат, опустив глаза, молча возился со своей табакеркой, как бы не ведая, что в этой злополучной истории замешан священник.

Доктор же, вернувшись к своей мысли, продолжал нападки на церковное воспитание и обучение.

— Вы же сами видите, аббат, что даете воспитание, основанное на абсурде: вы идете наперекор самым законным требованиям природы и самым благородным взлетам разума. Воспитать священника — значит создать чудовище, которое обречено посвятить свою злосчастную жизнь безнадежной борьбе с двумя неодолимыми рычагами мироздания: могуществом материи и могуществом разума.

— Что вы такое говорите? — ужаснулся аббат.

— Я говорю то, что есть. В чем заключается воспитание церковнослужителя? Primo: его готовят к девственности и безбрачию — то есть к жестокому попранию самых естественных чувств. Secundo: в нем воспитывают отвращение ко всякой науке и всякой мысли, способной поколебать католическую веру, иными словами насильственно вытравляют дух исследования и анализа, то есть всякое подлинное человеческое познание.

Аббат встал со стула в порыве благочестивого негодования.

— Вы отказываете церкви в истинности познания?

— Дорогой мой аббат,— спокойно остановил его доктор,— и сам Иисус, и его первые ученики, и прославленный святой Павел изъясняли в своих притчах, посланиях и бесчисленных

устных проповедях, что́ творения ума человеческого бесполезны, беспомощны и, главное, зловредны...

Аббат расхаживал по столовой, натыкаясь на мебель, хватался за голову, не в силах переносить такое кощунство; наконец, потеряв выдержку, он закричал:

— Вы сами не знаете, что говорите! Простите, доктор, но право же... Вы меня в грех введете! Нельзя так спорить... Вы рассуждаете, как легкомысленный газетный писака...

И он горячо заговорил о церковной науке, о глубоком изучении латинского и греческого языков, о целой философской системе, созданной отцами церкви.

— Читайте святого Василия Великого! — восклицал он.— Вы увидите, как он говорит о работах ученых-мирян, которые служат наилучшей школой подготовки к духовной науке! Познакомьтесь с «Историей монастырей в средние века». Вот где нашла себе прибежище наука и философия...

— Но какая философия, аббат, какая наука? Вместо философии — с десяток полумифологических постулатов, в которых социальные представления подменяет мистика! А уж наука!.. Наука комментаторов, наука грамматистов... Но наступили иные времена, родились новые науки, неизвестные древним; для этих наук церковное обучение не дает ни основы, ни метода. Между ними и католической доктриной сразу же возникла вражда. Поначалу церковь ещé пыталась подавить новую науку преследованиями, огнем, темницами! Напрасно вы морщитесь, аббат... Огнем, да, огнем и темницами... Ныне это невозможно, и религия ограничивается тем, что проклинает науку на скверном латинском языке... И в то же время в своих семинариях и своих школах она продолжает учить по-старому, как учили в средние века, когда еще не было современной науки; церковь ее не знает, и презирает, и ищет себе прибежище в схоластике... И нечего хвататься за голову... Церковь чужда духу современности; ее принципы, ее методы враждебны естественному развитию человеческих знаний. Отрицать это невозможно! Загляните в канон третий «Силлабуса», где разум предается анафеме... Загляните в канон тринадцатый, где...

Дверь робко приотворилась; это опять была Дионисия.

— Она чуть не плачет; требует, чтобы ей дали ребенка.

— Плохо. Плохо,— сказал доктор; затем, помолчав, спросил: — Как она выглядит? Лицо красное? Ведет себя беспокойно?

— Нет, сеньор, все нормально. Только, того и гляди, заплачет и все время говорит о маленьком... чтобы ей дали его сегодня же.

— Постарайтесь ее уговорить, отвлеките как-нибудь... Лучше бы всего ей уснуть...

Дионисия ушла; аббат с тревогой спросил:

— Вы полагаете, доктор, что волнение может плохо отразиться на больной?

— Может, аббат; может отразиться очень плохо,— ответил доктор и стал копаться в своей аптечке.— Дам ей снотворного... Так что я верно говорю: ныне церковь — инородное тело в обществе.

Аббат снова схватился за голову.

— Зачем далеко ходить, милейший аббат? Окиньте взглядом положение церкви в Португалии. Даже занятно видеть ее всесторонний упадок...

И, остановившись посреди комнаты, с пузырьком в руке, он пустился в описание этого упадка. Когда-то церковь была равнозначна нации; ныне это меньшинство; государство его лишь терпит и ему покровительствует. Раньше церковь господствовала в суде, в королевских советах, в финансах, в войсках; она решала вопросы войны и мира; ныне любой депутат большинства пользуется большей властью, чем все духовенство страны. Некогда церковь держала в своих руках всю науку; сегодня единственное, что она знает,— это исковерканная латынь. Церковь была богата, она владела целыми провинциями в стране и целыми улицами в городах; ныне ее скудное ежедневное содержание целиком зависит от министра юстиции, и она собирает милостыню на папертях своих храмов. Раньше она набирала себе служителей среди высшей знати, среди лучших людей королевства; ныне ей трудно найти новобранцев, и она вербует их среди подкидышей, в сиротских приютах. Когда-то церковь была носительницей национальной традиции, она выражала идеал своей родины; ныне, потеряв всякую связь с национальной идеей (если таковая вообще существует), она стала иностранкой, гражданкой Рима, заимствующей оттуда дух и законы...

— Пусть! Если она и вправду так унижена, тем больше оснований жалеть и любить ее! — вскричал аббат, покраснев и вскочив со стула.

Но в дверях снова появилась Дионисия.

— Ну, что еще?

— Менина жалуется на тяжесть в голове. Говорит, в глазах искры мелькают.

Не говоря ни слова, доктор вышел вон из комнаты, вслед за Дионисией. Аббат остался один; он прохаживался по столовой и подбирая сокрушительные доводы, подкрепленные тек-

стами и именами прославленных теологов, чтобы обрушить их на доктора Гоувейю. Прошло полчаса, огонек в лампе начал бледнеть и мигать, а доктор не возвращался.

И тогда мертвая тишина, царившая в доме, где единственным звуком, говорившим о присутствии живого существа, было постукиванье его башмаков по полу, начала пугать старика. Он осторожно приоткрыл дверь и прислушался; но комната Амелии находилась в дальнем конце дома, примыкавшем к террасе; оттуда не доносилось ни звука; ни один луч света не просачивался в темный коридор. Аббат снова стал ходить по столовой; смутная, тоскливая тревога овладевала им все сильней. Его тянуло тоже пойти к Амелии, но ни его характер, ни священническое целомудрие не позволяли ему приблизиться к лежащей в постели женщине, если она не при смерти и не нуждается в причащении и соборовании. Прошел еще час, показавшийся ему устрашающе долгим и зловещим. Тогда он на цыпочках вышел в коридор и сделал несколько шагов, краснея в темноте от собственной дерзости. Теперь он с испугом расслышал, что из комнаты Амелии доносится глухой, неясный шум: словно там шла борьба и ноги борцов шаркали по полу. Ни крика, ни стона. Он вернулся в столовую, открыл свой требник и стал молиться. В коридоре послышались быстрые шаги бегущей Жертруды. Где-то хлопнула дверь. Потом по полу проволокли жестяной таз. Наконец, появился доктор.

Увидя его, аббат ужаснулся. Доктор был без галстука; на шее болтался разорванный в клочья воротничок; на жилете не осталось ни одной пуговицы; манжеты сорочки были высоко закатаны и испачканы кровью.

— Что случилось, доктор?

Доктор не отвечал; он лихорадочно искал по всей комнате свой чемоданчик с инструментами; лицо его горело, как в пылу битвы. Он уже выходил с чемоданчиком, когда до его сознания дошел тревожный вопрос аббата.

— У нее конвульсии,— сказал он.

Аббат остановился в дверях и сказал с глубокой серьезностью, с глубоким достоинством:

— Доктор, если жизнь ее в опасности, то прошу вас не забыть... Душа ее нуждается в последнем напутствии, и я здесь.

— Разумеется, разумеется...

Аббат снова остался один, в ожидании. Все спало в Рикосе; спала дона Жозефа, спали арендатор и его жена, спала усадьба, спали окрестные поля. Огромные, мрачные часы, висевшие в столовой на стене, на циферблате которых был изображен сол-

нечный диск, а сверху, на крышке ящика, сидела задумчивая деревянная сова — старинная вещь, какие попадаются только в родовых замках,— пробили полночь, потом час ночи. Аббат поминутно выходил в коридор; в доме царило все то же зловещее молчание, либо опять слышалось шарканье и топот, словно там шла борьба врукопашную. Старик уходил в столовую и снова хватался за требник. Он думал о несчастной Амелии: там, в ее комнате, истекали минуты, решавшие судьбу ее души; нет подле нее ни матери, ни подруг; в оробелой памяти — видение греха; перед тускнеющим взором — лик оскорбленного Христа; боли раздирают ее измученное тело; а из тьмы, в которую она погружается все глубже, уже долетает огненное дыхание сатаны. Какой ужасный конец краткого земного пути и плотского существования! И старый священник усердно молился.

Мысли его обращались и к другому, к тому, делившему ее грех; к тому, кто в эту минуту спал в своей городской комнате, спокойно похрапывая. И аббат спешил помолиться и за его душу.

На обложке требника было изображено маленькое распятие. Аббат Ферран вглядывался в него с любовью, с верой, ибо против его могущества бессильна и наука доктора Гоувейи, и вся тщета человеческого разума! Философские системы, идеи, мирская гордыня, расы, империи — все преходяще, все — мимолетные вздохи поколений в напрасной борьбе; один лишь крест вечен и непреходящ, крест — надежда человечества, опора отчаявшихся, защита слабых, пристанище побежденных, самая великая сила, дарованная людям: Crux triumphus adversus demonios, crux oppugnatorum murus... [1]

Но вот появился доктор, багровый, весь в поту от страшной битвы со смертью; он пришел за другим пузырьком и на мгновение, не сказав ни слова, распахнул окно, чтобы дохнуть свежего воздуха.

— Как она? — спросил аббат.

— Плохо,— сказал доктор и вышел.

Аббат опустился на колени и стал читать молитву святого Фульгенция.

— Господи, воззри на нее сначала с терпением, потом — с милостью...

Он еще стоял на коленях, закрыв лицо руками и прислонясь головой к краю стола, когда послышались шаги. Это была

---

[1] Крест — оплот против демонов, крест — защита от насильников... *(лат.)*

Дионисия. Вздыхая, она вынимала салфетки и скатерти из ящиков буфета.

— Что там, сеньора, что там? — спросил ее аббат.

— Ох, сеньор аббат, совсем плохо... Сначала конвульсии, страшно вспомнить... А теперь спит как каменная. Это смертный сон...

Потом, оглянувшись по сторонам, словно боясь, что кто-нибудь ее услышит, она зашептала:

— Я не хотела говорить... С сеньором доктором не поспоришь. А только пустить кровь, когда у нее судороги... Это же заведомо убить! Конечно, крови вышло немного, это верно... Но во время судорог никогда не пускают кровь. Никогда, никогда!

— Сеньор доктор — крупный ученый.

— Пусть он какой угодно ученый. Я тоже не придурок. Двадцать лет принимаю роды... У меня на руках ни одна не умерла, сеньор аббат. Пустить кровь во время конвульсий! Даже выговорить страшно!

Она была вне себя. Сеньор доктор замучил бедняжку. Собирался давать ей хлороформ!

Но тут из коридора донесся громовой крик доктора, и Дионисия выбежала из столовой с охапкой белья.

Страшные часы с задумчивой совой на крышке пробили два, потом три... Аббат то и дело закрывал глаза, поддаваясь на время старческой усталости. Но тут же просыпался, подходил к окну, чтобы вдохнуть сырой ночной воздух, посмотреть в непроглядную темень; потом возвращался к столу, опускал голову и снова шептал, положив обе руки на молитвенник:

— Господи, обрати милосердный взор на это ложе смерти...

Вбежала потрясенная Жертруда. Сеньор доктор послал ее вниз, разбудить конюха, чтобы запрягал кабриолет.

— Ох, сеньор аббат, бедная наша голубушка! Все шло так хорошо, и вдруг... Зачем, зачем у нее отобрали маленького? Не знаю, кто отец, одно знаю: это великий грех! И преступление!

Аббат не ответил: он молча молился за падре Амаро.

Снова появился доктор со своим чемоданчиком в руке.

— Если хотите, аббат, можете пойти к ней,— сказал он.

Но аббат медлил; он глядел на доктора, шевеля губами и не решаясь задать вопрос; наконец, он спросил со страхом:

— Вы сделали все, доктор? Есть еще какие-нибудь средства?

— Нет.

— Вы же знаете, доктор: нам можно подходить к постели внебрачной роженицы только в том случае, если она на пороге смерти...

— Она на пороге смерти, сеньор аббат,— сказал доктор, уже надевая сюртук.

Тогда аббат взял молитвенник, взял распятие, но прежде чем выйти, пробормотал, считая своим долгом показать рационалисту медику очевидность вечной жизни, так ясно ощущаемую в смертный час:

— В подобные минуты, как никогда, чувствуешь величие бога и тщету человеческой гордыни...

Доктор не ответил; он увязывал свой чемоданчик с инструментами.

Аббат вышел, но в коридоре остановился, вернулся в столовую и сказал с тревогой:

— Извините меня, доктор... Известны случаи, когда после причащения и соборования умирающим вдруг делается лучше, по особенной милости божией... И тогда помощь врача может оказаться полезной.

— Я еще не ухожу, не беспокойтесь,— ответил доктор, невольно усмехнувшись: аббат взывал к медицине, чтобы подкрепить силу благодати...

Он спустился проверить, готов ли его кабриолет.

Когда доктор снова вошел в комнату Амелии, Дионисия и Жертруда молились, лежа ниц на полу возле кровати. Постель и все в комнате было разворочено, как на поле битвы. Обе выгоревшие свечи грозили погаснуть. Амелия лежала неподвижно, руки ее торчали как палки, скрюченные пальцы были темно-пурпурного цвета — и тот же цвет, но с синеватым оттенком, приобрело ее окостенелое лицо.

Склонясь над постелью и держа у глаз Амелии распятие, аббат твердил срывающимся голосом:

— Господи Иисусе! Господи Иисусе! Господи Иисусе!.. Дочь моя, уповай на милость божию! Уверуй в божественное милосердие! Господи Иисусе! Господи Иисусе! Господи Иисусе!

Но осознав, что Амелия мертва, аббат Ферран опустился на колени и стал читать «Miserere». Доктор, стоявший в дверях, тихо отступил, на цыпочках прошел весь коридор и вышел на улицу; конюх уже держал за поводья запряженную кобылу.

— Быть дождю, сеньор доктор,— сказал он, зевая спросонья.

Доктор Гоувейя поднял воротник пальто и уложил на сиденье чемоданчик с инструментами. Через минуту, под первым шквалом ливня, кабриолет с глухим шуршаньем покатился по дороге, разрезая темноту красными огнями двух своих фонарей.

XXIV

На другой день падре Амаро с семи часов утра стоял у окна, поджидая Дионисию; он неотрывно смотрел на угол улицы, не замечая, что моросящий дождь брызжет ему в лицо. Но Дионисия не появлялась. Расстроенный, больной от тревоги, он отправился в собор, крестить сына Гедесов.

Мучительно тяжело было ему видеть радостную толпу, заполнившую собор, где в этот пасмурный декабрьский день было еще темнее, чем всегда; собравшимися владело едва сдерживаемое оживление семейного праздника, все дышало родительским счастьем. Папаша Гедес, во фраке и при белом галстуке, сиял от радости; крестный отец, проникнутый сознанием своей значительности, щеголял крупной камелией в петлице и смотрел гоголем; дамы пришли в парадных туалетах; важно выступала дородная нянька, держа на руках груду накрахмаленных кружев и голубых лент, в гуще которых едва виднелись надутые красно-коричневые щечки. Падре Амаро, мысли которого унеслись далеко отсюда — в Рикосу и Баррозу,— через силу исполнял церемонию крещения: дважды дунул крест-накрест на лобик младенца, чтобы прогнать беса, уже поселившегося в этом нежном тельце; положил несколько крупинок соли ему в рот, чтобы навсегда отбить тягу к горечи греха и привить вкус к божественной истине; помазал слюной уши и ноздри, чтобы юный христианин никогда не прислушивался к голосу плоти и не соблазнялся ароматами земли. А вокруг теснились гости; крестные отец и мать, со свечами в руках, наскучив бормотаньем латинских слов, наперебой ухаживали за младенцем, опасаясь, как бы он не ответил каким-нибудь неприличием на грозные увещания матери-церкви.

После этого, прикоснувшись пальцем к белому чепчику, Амаро потребовал от малыша, чтобы он открыто, при всех, отрекся от сатаны, его соблазнов и козней. Псаломщик Матиас, отвечавший за ребенка по-латыни на ритуальные вопросы, произнес отречение от сатаны, а младенец плаксиво жевал губами, ища грудь кормилицы. Наконец соборный настоятель направился к купели; за ним двинулись родные Гедесов, потом

сбившиеся в кучку старухи богомолки, потом детишки, ждавшие раздачи милостыни. Когда пришло время приступать к миропомазанию, возникла небольшая суматоха: няня, разволновавшись, никак не могла развязать тесемки конверта, чтобы оголить плечики и грудь ребенка; крестная решила помочь ей, но выронила свечу и залила расплавленным воском платье другой дамы, соседки Гедесов, чем привела ту в страшную ярость.

— Franciscus, credis? — спрашивал Амаро.

Матиас спешил ответить от имени Франсиско:

— Credo.

— Franciscus, vis baptisari?

— Volo,— отвечал Матиас.

Несколько капель святой воды окропили круглую, как дыня, головенку; младенец сердито задрыгал ногами.

— Ego te baptiso, Franciscus, in nomine Patris... et Filii... et Spiritus Sancti [1].

Слава богу, все! Амаро побежал в ризницу снимать облачение, а важная няня, папаша Гедес, прослезившиеся дамы, старые богомолки и толпа детишек потянулись вон из церкви под перезвон колоколов. Пригибаясь под зонтиками, шлепая по лужам, они несли домой героя дня, Франсиско, новоприобретенного христианина.

Амаро торопливо взбежал по лестнице в свою комнату: он предчувствовал, что Дионисия ждет его.

И действительно, она уже сидела там, вся перепачканная дорожной грязью, измученная ночной борьбой. Увидя Амаро, она начала всхлипывать.

— Что, Дионисия?

Дионисия громко заплакала, не ответив ни слова.

— Умерла! — вскрикнул Амаро.

— Ох, менино, мы сделали все, что могли! Все, что могли! — простонала почтенная матрона.

Амаро упал на кровать как подкошенный.

Дионисия начала громко звать кухарку. Они прыскали Амаро в лицо водой, туалетным уксусом. Он пришел в себя, хотя все еще был очень бледен, и молча отстранил их обеих

---

[1] — Франциск, ты веруешь?
— Верую.
— Франциск, хочешь креститься?
— Хочу.
— Крещу тебя, Франциск, во имя отца и сына и святого духа *(лат.)*.

рукой, потом уткнулся лицом в подушку и заплакал навзрыд. Ошеломленные женщины потихоньку выбрались из комнаты и ушли на кухню.

— Видно, они с мениной были в большой дружбе! — начала Эсколастика шепотом, как в доме, где есть покойник.

— Привык! Почитай каждый день к ним ходил... Ведь они были как брат с сестрой,— объясняла заплаканная Дионисия.

Они заговорили о сердечных болезнях: Дионисия рассказала Эсколастике, что бедная барышня скончалась от лопнувшей аневризмы. У Эсколастики тоже было больное сердце; выражалось это в скоплении кишечных газов, а началось из-за побоев, которые она терпела от покойного мужа. Да, она тоже мало видела хорошего в жизни!

— Выпьете чашку кофе, сеньора Дионисия?

— Сказать правду, сеньора Эсколастика, мне бы лучше рюмку винца...

Эсколастика побежала в таверну на углу, принесла под фартуком пинту вина, и сеньоры уселись за стол. Одна макала сухарики в кофе, другая попивала винцо, и обе, качая головами, говорили о том, что вся земная жизнь — сплошные слезы и воздыхания.

Пробило одиннадцать. Эсколастика уже подумывала, не снести ли тарелку бульона сеньору священнику, когда он сам позвал ее из комнаты. Она застала его уже одетого: на голове цилиндр, сюртук застегнут на все пуговицы; воспаленные глаза красны от слез.

— Эсколастика, сбегайте на постоялый двор к Крусу, пусть пришлет мне верховую лошадь... Поскорее.

Затем он попросил к себе Дионисию и, сев рядом с ней так близко, что почти касался коленями ее колен, потребовал подробного отчета обо всем, происшедшем ночью. Лицо его было бледно и неподвижно, как гипсовая маска. Дионисия рассказала про внезапные конвульсии, такие сильные, что она, Жертруда и сеньор доктор втроем не могли удержать больную; про то, как Амелии отворили кровь, про часы полного бесчувствия, а потом про тяжкое удушье, от которого лицо ее стало лиловым, как ризы святых в церкви...

Слуга с постоялого двора привел лошадь. Амаро вынул из ящика, где лежало белье, маленькое распятие и вручил его Дионисии, которая должна была вернуться в Рикосу, чтобы помочь убрать покойницу.

— Положите распятие ей на грудь; это ее подарок.

Он вышел, вскочил в седло, а выехав на дорогу в Баррозу,

пустил лошадь галопом. Дождь перестал; среди бурых туч то и дело проскальзывал луч бледного декабрьского солнца и играл на траве, на мокрых камнях.

У засыпанного колодца, откуда виден был дом Карлоты, ему пришлось остановиться: дорогу запрудило стадо овец; пастух, с наброшенной на плечо буркой и бурдюком за спиной, напомнил ему Фейран и жизнь в горах; в памяти Амаро вновь прошла вереница обрывочных картин: горный пейзаж в сероватой дымке; Жоана, с глупым смехом раскачивающая язык колокола; ужин в Гралейре, где подали жареного козленка, и они с аббатом сидели у очага, в котором трещали сырые дрова; долгие, грустные дни, когда он изнывал от тоски в своей лачуге, глядя в окно на падающий снег...

И его охватила жажда уединения; уехать в горы, подальше от людей и городов, снова зажить этой дикой волчьей жизнью, похоронить себя и свою любовь...

Дверь оказалась на запоре. Падре Амаро долго стучался, кричал, ходил вокруг дома, обошел хлев, заглянул во внутренний двор. Никто не отвечал. Тогда он направился в деревню, ведя лошадь в поводу. Он остановился у входа в таверну, увидя на крыльце толстую женщину с вязаньем в руках. За столиком двое мужчин, перед которыми стояло по пинте вина, с остервенением играли в биску; третий, с желтым, изможденным от лихорадки лицом и с повязкой на голове, уныло следил за их игрой.

Женщина сказала, что сеньора Карлота только что проходила мимо таверны и даже зашла купить пинту масла. Наверно, она у Микаэлы, рядом с часовней. Женщина покричала кого-то в трактире; из-за пирамиды бочек высунулась косоглазая девчонка.

— Сбегай к тете Микаэле, скажи Карлоте, что ее спрашивает сеньор из города.

Амаро вернулся к усадьбе Карлоты и сел на камень, держа лошадь за поводья. Безмолвие, царившее в этом запертом доме, приводило его в недоумение и казалось зловещим. Он приложил ухо к замочной скважине, в надежде услышать какой-нибудь шорох, детский плач. Но там стояла мертвая тишина, точно в покинутой пещере. Он успокоил себя тем, что, отправляясь к Микаэле, Карлота, наверно, взяла ребенка с собой. Почему он не спросил у трактирщицы, был ли у Карлоты на руках ребенок? Он еще раз оглядел чисто выбеленные стены, окно, завешенное кисейной занавеской,— весьма редкая роскошь в здешних бедных приходах; вспомнил опрятность, порядок, на-

чищенную до блеска посуду в кухне. Наверно, малыш лежит в чистенькой колыбельке...

Ах, вчера он был болен, безумен, если решился выложить на стол в этой кухне четыре фунта золотом, плату за год вперед, и безжалостно сказать карлику: «Я полагаюсь на вас!» Бедный, беззащитный малыш!.. Но ведь Карлота поняла, что было ей сказано ночью в Рикосе: теперь он хочет, чтобы ребенок остался в живых, чтобы он был заботливо воспитан! Нет, все равно, нельзя оставлять его тут, под взглядом налитых кровью глаз ужасного карлика... Сегодня же отвезти его в Пойяйс, к Жоане Каррейра...

Нет, нет, все эти разговоры про «поставку ангелочков» — просто россказни, глупая болтовня. Его сын сейчас находится в доме у Микаэлы, тщательно завернутый в одеяло, и сосет грудь своей кормилицы, здоровой сорокалетней женщины... И священнику опять захотелось покинуть Лейрию, забрать с собой Эсколастику, уехать в Фейран и там вырастить ребенка, выдав за своего племянника, и в нем находить черты Амелии, и вновь переживать волнения этой любви, заполнившей два года его жизни. Там, в тиши и отрешенности, он кончит свои дни, как его предшественник, аббат Густаво, тоже воспитавший в Фейране своего племянника; а потом он успокоится навеки на деревенском кладбище, и летом будет спать под ковром полевых цветов, зимой — под белым пушистым снегом...

Появилась Карлота. Посещение падре Амаро удивило ее; остановившись у калитки, она смотрела на него серьезно, слегка нахмурив лоб.

— Где ребенок? — сразу спросил Амаро.

Помолчав несколько секунд, она спокойно ответила:

— Не спрашивайте; так нехорошо получилось... Вчерашний же день, только я его принесла домой... Бедный ангелочек вдруг весь посинел и прямо у меня на руках помер.

— Лжешь! — закричал падре Амаро.— Покажи!

— Войдите, сеньор, и посмотрите сами.

— Но ведь я же вам говорил вчера!

— Что же делать, сеньор? Он помер. Вот смотрите.

Она отперла дверь, без гнева и без опаски. Амаро сразу увидел возле очага колыбель, накрытую красной юбкой.

Не говоря ни слова, он повернулся, вышел вон и сел на коня. Но Карлота, вдруг став разговорчивой, торопилась сказать ему, что как раз ходила в деревню, чтобы заказать приличный гробик. Она же видит, что у мальчонки родители не из простых, негоже закопать его, завернутого в тряпку. Раз уж

сеньор оказался тут, так пусть даст что-нибудь на погребение. Всего-то два милрейса...

Падре Амаро смотрел на нее несколько мгновений, борясь с желанием задушить ее на месте; наконец, сунул ей в руку деньги. Он уже отъехал довольно далеко вверх по узкой дороге, когда услышал, что она бежит за ним и кричит: «Стойте! Стойте!» Оказалось, Карлота хотела вернуть ему плащ, который он дал ей вчера вечером: плащ очень пригодился, ребеночек ничуть не озяб и прибыл на место тепленький, как булочка... Но вот беда...

Амаро, не слушая ее, яростно вонзил шпоры в бока лошади.

Спешившись у постоялого двора Круса, он не пошел домой, а отправился в резиденцию епископа. Им владела одна всепоглощающая мысль: уехать из этого проклятого города, не видеть больше ни постные лица здешних святош, ни опостылевший фасад этого собора...

Поднимаясь по широкой лестнице епископского дворца, он припомнил вчерашнюю болтовню Либаниньо насчет таинственного доноса, приведшего в негодование главного викария, и сердце его екнуло. Но падре Салданья, свой человек во дворце, встретил его приветливо, и он успокоился. Салданья сразу же провел соборного настоятеля в библиотеку его преподобия. Тот принял посетителя весьма любезно и спросил, отчего сеньор соборный так бледен и взволнован.

— У меня большое горе, сеньор викарий. Сестра моя умирает в Лиссабоне. Я пришел просить у вашего преподобия отпуск на несколько дней...

Сеньор главный викарий, со свойственной ему добротой, опечалился.

— Разумеется, я вам разрешаю... Увы! Всем нам придется плыть в хароновой ладье...

Ipse ratem conto subigit, velisque ministrat
Et ferruginea subvectat corpora cymba [1].

Никто ее не минует... Сочувствую, сочувствую... И не забуду помянуть покойную в молитве...

И пунктуальный во всех мелочах, его преподобие сделал в своей записной книжке пометку карандашом.

---

[1] Сам он шестом направляет ладью и ведет на ветрилах,
И в своем ржависто-синем челне тела перевозит.
(Вергилий, «Энеида», кн. VI, ст. 302—303, перевод В. Брюсова.)

Выйдя из резиденции, падре Амаро отправился в собор. Он заперся в ризнице, где в этот час не было ни души, подпер лоб кулаком и стал писать канонику Диасу:

«Дорогой учитель. Рука моя дрожит, выводя эти строки. Бедная Амелия скончалась. Я не могу здесь жить, вы поймете меня; я покидаю Лейрию, ибо сердце мое разорвется, если я останусь тут еще хоть на сутки. Ваша почтенная сестра позаботится о похоронах. Я, вы сами понимаете, не в силах. Благодарю вас за все. До свидания, если бог судил нам еще свидеться. Я намерен уехать далеко, в какой-нибудь нищий пастушеский приход, чтобы окончить дни в слезах, размышлении и покаянии. Утешьте, как сумеете, несчастную мать. Никогда, покуда живу, я не забуду всего, чем ей обязан. Прощайте, я не знаю, что делаю и что говорю.

Ваш брат во Христе

Амаро Виейра.

P. S. Ребенок тоже умер и уже похоронен».

Он заклеил письмо черной облаткой; затем, убрав в стол бумаги, отворил тяжелую, окованную железом дверь ризницы и окинул взглядом внутренний двор, сарай, дом звонаря...

После первых дождей и туманов этот закоулок соборного двора уже приобрел свой унылый зимний вид. Падре Амаро медленно вышел, окруженный угрюмой тишиной и тенью высоких выступов соборной стены, и заглянул через окно в кухню к дяде Эсгельясу. Звонарь был дома: он сидел у очага с трубкой в зубах и время от времени уныло сплевывал в огонь. Амаро тихонько постучал в стекло, звонарь отпер дверь. Вид этой знакомой кухни, занавеска в алькове Тото, лестница, ведшая на чердак, потрясли падре Амаро таким шквалом воспоминаний и тоски, что он не мог вымолвить ни слова; судорога сдавила ему горло.

— Я пришел попрощаться с вами, дядя Эсгельяс,— прошептал он наконец.— Я еду в Лиссабон, сестра моя при смерти...

Он помолчал; потом сказал, и губы его задрожали от рвавшихся из горла рыданий:

— Несчастье никогда не приходит одно. Знаете, ведь бедная Амелиазинья внезапно умерла.

Звонарь онемел от удивления.

— Прощайте, дядя Эсгельяс. Дайте вашу руку. Прощайте.

— Прощайте, сеньор соборный настоятель, прощайте! — говорил старик, с трудом сдерживая слезы.

Амаро бежал домой почти бегом, прилагая все силы, чтобы не заплакать прямо на улице. Эсколастике он сказал, что этим же вечером едет в Лиссабон. Дядя Крус пришлет ему лошадь, чтобы доехать до станции в Шан-де-Массансе.

— Денег у меня в обрез, только на дорогу. Но вы можете взять себе все столовое и постельное белье...

Эсколастика всхлипнула и кинулась целовать ему руку; потом предложила уложить ему чемодан.

— Я сам соберу вещи, Эсколастика, не беспокойтесь.

Он заперся в своей комнате. Эсколастика, продолжая хныкать, стала собирать по шкафам скудное белье сеньора соборного настоятеля. Но Амаро снова позвал ее: под окном бродячие музыканты, немилосердно фальшивя, играли на скрипке и арфе вальс «Два мира».

— Киньте им тостан,— скрипя зубами, сказал падре Амаро,— и пусть проваливают ко всем чертям... Здесь больные!

До пяти вечера Эсколастика не слышала больше не единого звука в комнате сеньора настоятеля.

Когда конюх от Круса привел лошадь, Эсколастика, думавшая, что ее хозяин уснул, тихонько постучала в его дверь, заранее всхлипывая в предвидении скорой разлуки. Падре Амаро сейчас же открыл. Он был уже в плаще; посреди комнаты стоял уложенный и перевязанный ремнями брезентовый дорожный мешок, который надо было привязать сзади к седлу. Амаро вручил Эсколастике целую пачку писем, чтобы она сегодня же вечером отнесла их по адресам: для доны Марии де Ассунсан, для падре Силверио и для падре Натарио. Он уже спускался с лестницы под причитания Эсколастики, когда внизу послышался знакомый стук костыля: это пришел взволнованный дядя Эсгельяс.

— Войдите, дядя Эсгельяс, войдите.

Звонарь закрыл дверь и после короткого колебания сказал:

— Извините меня, ваше преподобие, но... Я от огорчения совсем позабыл. Уже давно у меня в комнате нашлось вот это, и я подумал, что...

И он положил на ладонь падре Амаро золотую сережку. Амаро сразу узнал ее: это была сережка Амелии, которую та долго и напрасно искала; наверно, как-нибудь утром, во время одного из их свиданий, она завалилась за койку звонаря. С трудом переведя дух, Амаро обнял дядю Эсгельяса.

— Прощайте! Прощайте, Эсколастика. Не забывайте меня. Передайте поклон Матиасу, дядя Эсгельяс.

Конюх прикрутил брезентовую сумку к седлу, и Амаро уехал, оставив на крыльце Эсколастику и дядю Эсгельяса, которые утирали слезы.

Однако на повороте дороги возле дамбы ему пришлось спешиться, чтобы поправить стремя; он собирался уже снова сесть в седло, когда из-за угла дамбовой стены выплыли доктор Годиньо, непременный секретарь Гражданского управления и сеньор председатель Муниципальной палаты; они были теперь в большой дружбе и возвращались в город после совместной прогулки. Все трое остановились поговорить с сеньором соборным настоятелем и полюбопытствовали, зачем он оказался на этой дороге, с саквояжем, и не собирается ли в дальний путь...

— Это правда,— сказал он,— я еду в Лиссабон.

Бывший Биби и председатель Муниципальной палаты завистливо вздохнули. Но священник рассказал им про умирающую сестру, и они сразу сделали грустные лица. Сеньор председатель сказал:

— Да, это очень тяжело, я понимаю... И к тому же печальное событие у ваших добрых знакомых. Бедная Амелиазинья вдруг умерла, так внезапно...

Бывший Биби встрепенулся:

— Как? Амелиазинья, эта хорошенькая барышня с улицы Милосердия? Умерла?

Доктор Годиньо тоже еще не слышал об этом; он был, видимо, поражен.

Сеньор председатель узнал новость от своей служанки, а та от Дионисии. Говорят, девушка скончалась от аневризмы.

— Ах, сеньор настоятель,— воскликнул Биби,— простите, если я оскорблю ваши верования, которые, впрочем, я разделяю, но бог поистине совершил преступление... Лишить нас самой красивой девушки в городе! Что за глаза, господа! К тому же, ее набожность... Эта черточка бывает так пикантна...

Все хором посочувствовали сеньору падре Амаро, которого столь неожиданный удар не мог не поразить.

Падре Амаро сказал проникновенно:

— Я искренне скорблю об ее кончине. Я хорошо знал эту молодую девушку. При своих прекрасных душевных качествах она, без сомнения, могла бы стать примерной супругой и матерью семейства... Я глубоко скорблю!

Он молча пожал всем руки — и пока эти господа не спеша шли в город, он рысью ехал по темнеющей дороге на станцию Шан-де-Массанс.

На другой день в одиннадцать часов похоронная процессия с гробом Амелии выходила из Рикосы. Утро было ненастное; желтоватый туман висел в воздухе и стлался по окрестным полям; моросил мелкий, холодный дождь. От усадьбы до часовни в Пойяйсе было далеко. Впереди мальчик-певчий, высоко неся крест, ускорял шаги, переступая через лужи; аббат Ферран, в черной епитрахили, бормотал «Exultabunt Domino» и старательно прятался от дождя под зонтом, который псаломщик нес над ним в одной руке; в другой он держал кропило. Четверо батраков из Рикосы, отворачивая лица от косого дождя, несли на шестах помост с деревянной домовиной, внутри которой находился свинцовый гроб. Под обширным зонтом арендатора брела, перебирая четки, Жертруда. По обе стороны дороги тянулась унылая низина, безмолвная и мутная от тумана; громоподобный голос пойяйского викария, певшего «Miserere», далеко катился над мокрой землей, сливаясь с журчаньем набухших ручьев.

У первых домов деревни носильщики остановились передохнуть. Тогда какой-то человек, ждавший с зонтиком под деревом, молча присоединился к процессии. Это был Жоан Эдуардо, в трауре, в черных перчатках; под глазами у него набрякли мешки, слезы катились по глубоким, черным складкам на щеках. И тотчас же вслед за ним к провожавшим гроб присоединились двое ливрейных слуг, со свечами в руках. Это были два лакея, которых пойяйский сеньор послал на похороны, чтобы почтить память молодой сеньоры из Рикосы, приятельницы аббата Феррана.

Заметив две ливреи, придавшие некоторый блеск благородства похоронному шествию, мальчик-певчий выше поднял крест; четверо батраков сразу взбодрились и тронулись с места; викарий еще оглушительней затянул реквием.

Процессия стала подниматься вверх по скользкой, крутой деревенской дороге; женщины, крестясь, провожали глазами с порогов своих домов черное покрывало и гроб с золотым глазетом; носильщики шли быстро, а следом, поотстав, двигалась под дождем кучка открытых зонтиков.

Часовня стояла на вершине холма, поросшего дубняком. Звонил колокол. Процессия вползла в темную церковь; викарий пел охрипшим от сырости голосом «Subvenite sancti» [1]. Но слуги в ливреях не вошли в церковь: таков был приказ пойяйского сеньора.

---

[1] Придите на помощь, святые *(лат.)*.

Они остановились у порога и слушали, притопывая озябшими ногами. Из церкви доносилось пение хора, потом жужжанье голосов: там молились; потом и жужжанье стихло, и раздался громовой голос викария, читавшего по-латыни заупокойную молитву.

Слугам стало скучно; они спустились с холма и вошли погреться в харчевню дяди Серафина. Там уже сидели двое пастухов из Пойяйса, захмелевших над пинтой вина. При появлении камердинеров в ливреях они встали.

— Ничего, ничего, ребята, сидите,— сказал низкорослый старый слуга, тот самый, что сопровождал Жоана Эдуардо в его верховых прогулках.— Нас пригнали сюда поскучать на похоронах... Добрый день, сеньор Серафин.

Лакеи поздоровались за руку с сеньором Серафином; тот нацедил им по рюмочке водки и спросил: что, покойница была невестой сеньора Жоанзиньо? Говорят, она умерла от того, что у нее жила лопнула?

Низенький слуга ухмыльнулся:

— Ну да, жила! Ничего у нее не лопнуло. Родила она, вот что.

— От сеньора Жоанзиньо? — спросил Серафин, плутовски прищурившись.

— Нет, не думаю! — отвечал тот авторитетно.— Сеньор Жоанзиньо был тогда в Лиссабоне. Нет, это набедокурил кто-нибудь из городских господ... И знаете, кого я подозреваю, сеньор Серафин?

Но в харчевню вбежала запыхавшаяся Жертруда, крича, что гроб уже несут на кладбище и не хватает только этих сеньоров. Лакеи сейчас же вышли и нагнали процессию, когда она, под последнюю строфу «Miserere», входила в низкую кладбищенскую ограду. Теперь в руках у Жоана Эдуардо была свеча. Он шел вплотную за гробом Амелии, почти касаясь его, устремив затуманенные от слез глаза на черное плюшевое покрывало. Церковный колокол гудел и гудел, надрывая сердце. Дождь едва моросил. В мертвенной тиши деревенского погоста, почти неслышно ступая по мягкому дерну, процессия двигалась в дальний угол кладбища, где чернела на зеленой траве свежевыкопанная могила. Мальчик-певчий воткнул в землю древко посеребренного креста, и аббат Ферран, выйдя вперед, на самый край черной ямы, стал тихо читать «Deus, cujus miseratione» [1].

---

[1] Бог, чьим милосердием *(лат.)*.

Тогда Жоан Эдуардо, вдруг страшно побледнев, покачнулся и выронил зонт. Один из лакеев подбежал к сеньору Жоанзиньо и обхватил его рукой. Его хотели увести, оттащить подальше от края могилы, но он не шел, сжимая зубы и цепляясь за рукав лакея. Могильщик и два его подручных обвязали гроб веревками и стали медленно спускать по откосу ямы, с краев которой осыпалась мокрая земля. Скрипели плохо пригнанные доски гроба.

— Requiem aeternam dona ei, Domine!

— Et lux perpetua luceat ei [1],— хрипло подхватил викарий.

Гроб глухо стукнулся о дно ямы. Аббат рассыпал поверх его горсть земли и, медленно взмахнув кропилом, обрызгал святой водой плюшевое покрывало, взрыхленный дерн, траву вокруг могилы.

— Requiescat in pace [2].

— Аминь! — заключили простуженный бас викария и дискант мальчика-певчего.

— Аминь! — откликнулись провожающие, и рокот их голосов, прошумев, затерялся в листве кипарисов, среди трав и надгробий, в холодном тумане пасмурного декабрьского дня.

XXV

В конце мая 1871 года в Лиссабоне, возле Гаванского табачного магазина на Шиадо царило небывалое оживление. Подбегали, тяжело дыша, взволнованные люди, пробивались через толпу, осаждали подъезд, привставали на носки, вытягивали шею, чтобы сквозь частокол цилиндров разглядеть вывешенную на перилах балкона доску с телеграммами агентства Гавас. Из толпы, в обратном направлении, выбирались господа с расстроенными, изумленными лицами и сообщали кому-нибудь из приятелей, решивших лучше ждать поодаль:

— Все погибло! Везде пожарища!

В жавшейся под балконом толпе испытанные говоруны вели жаркие споры; по всему бульвару вплоть до Лоретской площади и по Шиадо до кафе Магальяэнса в теплом воздухе раннего лета стоял сплошной гул голосов; то и дело над ним взмывали яростные выкрики: «Коммунары! Версаль! Поджи-

---

[1] Даруй ей вечный покой, господи!
И да воссияет ей вечный свет *(лат.)*.

[2] Да упокоится с миром *(лат.)*.

гатели! Тьер! Злодейство! Интернационал...», и снова все перекрывал грохот колес и голоса мальчишек-газетчиков, продававших экстренные выпуски газет.

Каждый час прибывали свежие телеграммы с новыми подробностями восстания и боев на улицах Парижа. Страшные сообщения из Версаля говорили о пылающих дворцах, взорванных улицах, массовых расстрелах во дворах казарм и среди склепов на кладбищах, о беспощадных погонях, кончавшихся расправой в подземных клоаках Парижа, о роковом безумии, помрачившем разум тех, кто носит военный мундир, и тех, кто носит рабочую блузу, о нескончаемой агонии сопротивления повстанцев, которые в уличной борьбе пользовались средствами науки и взрывали старое общество динамитом и нитроглицерином! Устрашающая конвульсия, конец света — и эта картина возникала из нескольких газетных строчек, точно при вспышке молнии или в багровом пламени костра.

Весь Шиадо оплакивал разрушение Парижа и ужасался. Лиссабонские господа, вспоминая сожженные здания, возмущенно восклицали: «Отель-де-Виль — такая красота! Рю-Руайяль — такое великолепие!» Некоторые так негодовали на поджог Тюильрийского дворца, будто сгорела их личная резиденция; те, что прожили в Париже два-три месяца, воздевали руки к небу, словно богатства великого города были их собственностью; они не прощали коммунарам гибель того или иного памятника старины: ведь по этим камням успел скользнуть взор заезжего лиссабонца!

— Вы только подумайте! — восклицал толстый господин.— Разрушен дворец Почетного легиона! Да еще месяца нет, как мы с женой побывали там!.. Ужасно! Какое варварство!

Но вот разнесся слух, что кабинет министров получил новую, еще более страшную телеграмму: вся линия бульваров, от площади Бастилии до площади Мадлен, в огне; горит площадь Согласия, горят Елисейские поля, все пылает вплоть до самой Триумфальной арки. В приступе безумия революция стерла с лица земли единственную в своем роде систему ресторанов, кафе-концертов, танцевальных залов, игорных и публичных домов. Весь Шиадо скорбел. Пламя пожара истребило самое комфортабельное в мире гнездо разврата! Варварство! Светопреставление! Где можно было поесть, как в Париже? Где можно было найти таких опытных женщин? Где можно было увидеть такую поражающую вереницу изящных колясок, как в Булонском лесу, в холодные, но солнечные зимние дни, когда виктории кокоток соперничали с фаэтонами биржевых дельцов! Ка-

кое злодейство! О библиотеках и музеях никто не вспоминал; зато о разрушенных кафе и публичных домах скорбели искренне и глубоко. Конец Парижа! Конец Франции!

В одной из групп, толпившихся возле Гаванской табачной лавки, шел политический спор; часто упоминали имя Прудона, который рисовался воображению лиссабонцев каким-то кровавым чудовищем; во всем винили Прудона. Чуть ли не все считали, что он-то и поджигает Париж. Правда, некий уважаемый в городе поэт, автор «Цветов и вздохов», счел своим долгом признать, что, «если оставить в стороне его завиральные идеи, Прудон совсем не плохой стилист». Игрок Франса, услышав это, завопил:

— Да какой он, к дьяволу, стилист! Попадись он мне на Шиадо, я бы ему все кости переломал!

И переломал бы. После рюмки коньяку Франсе сам черт был не брат!

В то же время иные юноши, в которых драматизм событий задевал романтическую струнку, восторгались героизмом коммунаров. Верморель, раскинув руки, как распятый Христос, кричал под дулами ружей: «Да здравствует человечество!» Старик Делеклюз, словно фанатичный святой, со смертного ложа давал приказы о беспощадной борьбе до конца...

— Это великие люди! — восклицал какой-то восторженный юнец.

Солидные господа на него рычали. Другие, побледнев, отходили подальше: они уже видели, как по стенам их домов в Байше текут струи керосина, и сам табачный магазин объят языками пламени от руки социалистов. Толпа с остервенением требовала твердой власти и беспощадных репрессий: общество, ставшее жертвой Интернационала, обязано сплотиться вокруг своих древних идеалов, защитить их стеной штыков! Торговцы галантерейными товарами говорили о «плебсе» с высокомерием какого-нибудь де ла Тремуйля или Оссуны. Ресторанные завсегдатаи, ковыряя во рту зубочистками, требовали кровавой расправы. Праздные гуляки негодовали на рабочего, который захотел «жить, как вельможа». Слова «собственность» и «капитал» произносились с почтением.

Им противостояли говорливые молодые люди, разгоряченные газетные хроникеры, которые произносили речи против старого мира и старого мировоззрения, угрожая смести все, все при помощи газетных статей.

Заскорузлая буржуазия мечтала силами полиции остановить ход истории, а молодежь, вскормленная на литературе, на-

деялась несколькими фельетонами разрушить общество, насчитывающее восемнадцать веков. Но никто не бушевал так, как счетовод из гостиницы; стоя на верхней ступени подъезда, он потрясал в воздухе тростью и требовал немедленно восстановить на престоле Бурбонов.

В эту минуту какой-то человек, весь в черном, вышел из табачной лавки; он проталкивался через толпу, когда услышал рядом удивленный возглас:

— Падре Амаро! Ты, разбойник?

Тот обернулся и увидел каноника Диаса. Они дружески обнялись и, чтобы спокойно поговорить, пошли к площади Камоэнса и остановились у подножия памятника.

— А дорогой учитель давно в Лиссабоне?

Каноник прибыл только вчера по случаю тяжбы с Пиментой из Пожейры, арендовавшим часть его усадьбы; каноник передал дело в высшую инстанцию и приехал в столицу, чтобы лично следить за процессом.

— А ты, Амаро? В последнем письме ты говорил, что хочешь перевестись куда-нибудь из Санто-Тирсо?

Совершенно верно. Место в Санто-Тирсо имеет свои преимущества, но открылась вакансия в Вила-Франке, и падре Амаро захотелось перебраться поближе к Лиссабону. Вот он и приехал в столицу, чтобы поговорить об этом с сеньором графом де Рибамар, с милым графом, который теперь хлопочет о его переводе. Падре Амаро всем обязан графу и особенно графине!

— А что нового в Лейрии? Сан-Жоанейре лучше?

— Нет... Бедная женщина! В первый момент, знаешь, мы совсем перепугались. Думали, она погибнет вслед за Амелией. Но ничего, пронесло; однако открылась водянка... Так что теперь главное — водянка.

— Жаль ее, добрая старушка. А как Натарио?

— Постарел! У него были большие неприятности. Пострадал за язык.

— Вот как, вот как... А скажите, дорогой учитель, что поделывает Либаниньо?

— Я же тебе писал,— сказал каноник и ухмыльнулся.

Падре Амаро тоже засмеялся; оба священника несколько секунд хохотали, держась за бока.

— Все это оказалось чистой правдой,— продолжал каноник.— Скандал был грандиозный. Вообрази, дружище, его поймали с сержантом, и в такой позе, что не оставалось никаких сомнений. В десять часов вечера, в Тополевой аллее! Нарушение общественных приличий... В конечном счете, дело замяли,

и, когда умер Матиас, мы отдали нашему дуралею должность псаломщика. Это теплое местечко. Гораздо доходней, чем его прежняя служба в конторе. Так что он будет трудиться усердно!

— Конечно, он будет стараться,— вполне серьезно согласился падре Амаро.— А как поживает дона Мария де Ассунсан?

— О ней, брат, болтают такое! Взяла в дом молодого лакея. Раньше он был плотником и жил напротив нее. Парень отъелся, ходит этаким фертом...

— Не может быть!

— Заделался настоящим денди. Сигара, часы, перчатки! Уморительно, правда?

— Очарование!

— У сестер Гансозо все по-прежнему,— продолжал каноник,— теперь к ним поступила твоя бывшая кухарка, Эсколастика.

— А что этот мерзавец Жоан Эдуардо?

— Да ведь я тебе передавал через кого-то, нет? Все еще гувернером в Пойяйсе. Его малохольный сеньор захворал печенью! А у самого Жоана Эдуардо, говорят, чахотка. Не знаю, я его с тех пор не видел... Мне Ферран рассказывал.

— Как там Ферран?

— Процветает. А знаешь, кого я давеча встретил? Дионисию.

— Ну, что ж она?

Каноник что-то зашептал на ухо падре Амаро.

— Нет, честное слово?

— На улице Соузас, всего в двух шагах от твоей бывшей квартиры. Деньги на обзаведение ей дал дон Луис де Барроза. Вот и все наши новости. А ты хорошо выглядишь, окреп! Перемена пошла тебе на пользу.

Каноник хихикнул и продолжал:

— А что это ты мне писал, Амаро, будто хочешь удалиться в горы, уйти в монастырь, посвятить остаток жизни покаянию...

Падре Амаро пожал плечами.

— Что прикажете делать, учитель? В первую минуту... Я действительно был расстроен. Но все проходит.

— Все проходит,— согласился каноник и, помолчав, добавил: — Да! И Лейрия уже не та!

Они прошли несколько шагов в молчании, вспоминая минувшее: веселые партии в лото у Сан-Жоанейры, болтовню за чаем, прогулки в Моренал, «Прощай!» и «Потерявший веру» в исполнении Артура Коусейро под аккомпанемент бедняжки

Амелии, которая спит теперь на кладбище в Пойяйсе, под одеялом из полевых цветов...

— Что скажете о французских делах, Амаро? — вдруг очнулся каноник.

— Страшно подумать, учитель... Архиепископ парижский и целая куча священников — расстреляны! Хороши шутки!

— Это скверные шутки,— буркнул каноник.

Падре Амаро продолжал:

— Да и у нас дома носятся в воздухе подобные идеи...

Каноник тоже слышал. Оба выразили свое возмущение сворой масонов, республиканцев, социалистов, этим отребьем, которое хочет уничтожить все святыни: духовенство, религию, семью, армию, собственность... Да! Обществу угрожают сорвавшиеся с цепи чудовища! Нужны верные старые средства устрашения: застенок и виселица! И прежде всего необходимо внушить людям веру в бога и почтение к священнослужителю.

— В этом и таится корень зла,— сказал Амаро,— нас не уважают! Нас по всякому поводу дискредитируют. В народе систематически подрывают доверие к духовенству.

— На нас злостно клевещут! — подтвердил каноник.

В это время мимо них прошли две дамы: одна, уже седая, обращала на себя внимание благородством осанки; другая была тоненькая, бледная барышня; священники сразу приметили чуть заметную голубизну под глазами, острые локотки, прижатые к девственной талии, огромный турнюр на юбке, высокий шиньон, вершковые каблучки.

— Канальство! — тихо сказал каноник, подтолкнув локтем коллегу.— А, брат Амаро? Вот бы кого тебе поисповедовать.

— Прошли те времена, учитель,— усмехнулся падре Амаро,— теперь я исповедую только замужних!

Каноник так и покатился со смеху, но поспешил принять степенный вид, как только заметил, что Амаро, сняв шляпу, низко кланяется какому-то седоватому господину в золотых очках, вышедшему на площадь со стороны Лорето; в зубах у господина дымилась сигара, под мышкой он держал зонт.

Это был граф де Рибамар. Он дружелюбно направился к обоим священникам. Амаро, стоя навытяжку, с непокрытой головой, представил графу «своего друга, каноника Диаса, члена епархиального совета Лейрии». Поговорили о чудесной летней погоде, потом падре Амаро упомянул о последних телеграммах.

— Что скажете о французских делах, ваше превосходительство?

Политик замахал руками; лицо его омрачилось.

— Страшно помыслить, сеньор падре Амаро, страшно помыслить... Можем ли мы спокойно смотреть, как горстка бандитов уничтожает Париж? Мой Париж!.. Вы не поверите, господа, но я просто болен.

Оба священника присоединились к ламентациям государственного деятеля.

— Чем же, по вашему мнению, сеньор граф, все это кончится? — спросил каноник.

Граф де Рибамар, значительно помолчав, произнес четко и веско следующие глубокомысленные слова:

— Чем кончится? Это нетрудно предсказать. Располагая опытом истории и политики, мы можем предвидеть с полной несомненностью результаты этих событий. Я вижу их так же ясно, как вас, господа.

Священники, затаив дыхание, внимали пророчеству государственного человека.

— Когда восстание будет задушено,— продолжал тот, строго глядя вдаль перед собой и подняв палец, словно показывая этим пальцем контуры будущего, которые глаза его при помощи золотых очков различали столь ясно,— когда восстание будет задушено, в стране через три месяца восстановят Империю... Если бы вашим преподобиям довелось, как мне, присутствовать на приемах в Тюильри или в Отель-де-Виль во времена Империи, вы бы сказали вслед за мной: Франция глубоко предана императорам, и только императорам... Следовательно, у нас будет Наполеон III; или, если он отречется, императрица возьмет на себя регентство до совершеннолетия имперского принца. Я бы посоветовал принять именно такое решение (и об этом уже знают, где следует), ибо оно наиболее благоразумно. Неизбежным следствием такого исхода будет восстановление папского государства в Риме. Откровенно говоря (и об этом тоже знают, где следует), я не одобряю реставрацию папской власти. Но сейчас речь не о том, что я одобряю, а чего не одобряю. К счастью, не я решаю судьбы Европы... Такая ответственность была бы непосильна для моих лет и здоровья. Итак, мой опыт в истории и политике ясно подсказывает, что... О чем бишь я говорил? Ах да; итак, императрица на французском троне и Пий Девятый на папском престоле в Риме. И тогда демократия будет раздавлена между этими двумя колоссами. Поверьте человеку, который знает наизусть свою старушку Европу и видит все элементы, из коих складывается современное общество; поверьте, что после опыта Парижской коммуны мы забудем и

о республике, и о социальных противоречиях, и о правах народа минимум на сто лет!..

— Да услышит вас бог, господин граф! — благолепно заключил каноник.

Но Амаро, страшно гордый тем, что стоит на площади Лиссабона и запросто беседует с выдающимся государственным деятелем, задал еще один вопрос, вложив в него всю тревогу напуганного ретрограда:

— А не думаете ли вы, ваше превосходительство, что эти вредные идеи — республика, материализм и прочее — могут распространиться и у нас, в Португалии?

Граф рассмеялся и ответил, подходя с обоими священниками к решетке памятника Луису Камоэнсу:

— Пусть это вас не тревожит, господа; пусть это вас не тревожит! Конечно, может быть, и у нас завелось несколько полоумных, которые всем недовольны, несут ахинею об унижении Португалии, кричат, что мы впали в маразм, что мы дичаем, что так продолжаться не может, и тому подобное. Чепуха все это!

Все трое прислонились к решетке памятника, и граф де Рибамар продолжал со спокойной уверенностью:

— Истина в том, господа, что иностранцы нам завидуют... Не примите мои слова за лесть, но покуда в нашей стране имеются такие достойные священнослужители, как ваши преподобия, Португалия будет с честью занимать свое место в Европе! Ибо вера, господа, есть основа порядка!

— Без сомнения, сеньор граф, без сомнения! — прочувствованно поддержали оба священника.

— А если кто сомневается, достаточно взглянуть на эту площадь! Какое оживление, какой мир, какое благоденствие!

И широким жестом он показал на панораму площади Лорето, где в этот тихий вечерний час сосредоточилась вся жизнь города. Медленно катились по кругу пустые фиакры; проходили по двое дамы с высокими шиньонами и на высоких каблуках; их вялая походка и бледные дряблые щеки говорили о вырождении целой нации; верхом на жалкой кляче проезжал какой-нибудь молодой отпрыск знатного рода, и на его зеленоватом лице явственно читались следы вчерашней ночной попойки; развалясь на скамьях, сидели окостеневшие от безделья люди; запряженная волами телега, раскачиваясь и подпрыгивая на высоких колесах, олицетворяла вековую отсталость сельского хозяйства; вразвалку, с сигареткой в зубах, шатались по площади подозрительные молодые люди; какой-то жаждущий встрях-

нуться лавочник читал афишу оперетки полувековой давности; изможденные лица мастеровых были живым символом хиреющих ремесел... И весь этот обветшалый мир медленно куда-то тащился под ярким небом благодатных южных широт, и воздух звенел от крика мальчишек, объявлявших об открытии лотереи или игорного дома, и от истошных воплей маленьких газетчиков, предлагавших «Городские новости». А публика кружила и кружила развинченной походкой ничем не занятых людей между двумя унылыми церковными фасадами и длинным рядом строений на другом конце площади: здесь виднелись вывески трех ломбардов, чернели дверными проемами четыре кабака, сюда выходили, словно жерла сточных труб, темные переулки, где гнездились преступление и проституция.

— Взгляните! — говорил граф.— Взгляните на это благоденствие, на этот мир, на это довольство... Да, господа, не удивительно, что Европа завидует нам!

И все трое — деятель государства и два столпа церкви,— стоя локоть к локтю у решетки монумента и горделиво подняв головы, радовались величию и славе Португалии — здесь, у подножия этого памятника, под холодным бронзовым взглядом старого поэта. Прямой и неподкупный, он стоял, развернув сильные плечи, с книгой на груди, со шпагой в руке, в окружении летописцев и бардов своей древней родины — той родины, что ушла навеки и самая память о ней померкла.

Октябрь 1878 г.— октябрь 1879 г.

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

ПЕРЕВОД Г. ЛОЗИНСКОГО и Е. ЛАВРОВОЙ

ПОД РЕДАКЦИЕЙ Н. ПОЛЯК

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

I

Дружба моя с Фрадике Мендесом началась в Париже на святой неделе 1880 года, когда он только что возвратился из путешествия по Южной Африке. Но познакомился я с этим удивительным человеком гораздо раньше, в 1867 году, в Лиссабоне. Сидя как-то летним вечером в кафе Мартиньо, я прочел в помятом номере «Сентябрьской революции» это имя: К. Фрадике Мендес, стоявшее громадными буквами под стихами, которые привели меня в восторг.

Сюжеты («эмоциональные мотивы», как выражались мы в 1867 году) этих пяти или шести стихотворений, напечатанных под общим заглавием «Лапидарии», сразу же пленили меня своеобразием и долгожданной свежестью. Именно в это время я и мои товарищи по *«Сенаклю»*, увлеченные эпическим лиризмом «Легенды веков» — «книги, принесенной к нам могучим порывом ветра с Гернсея»,— решили объявить войну любовной лирике и предать ее хуле за то, что, приютившись в двухвершковой келье человеческого сердца, глухая ко всем звукам вселенной, кроме шороха Эльвириных юбок, она превратила поэзию (особенно нашу, португальскую) в нескончаемую, однообразную исповедь о восторгах и муках любви. Но Фрадике Мендес, видимо, примыкал к молодым поэтам, которые следовали за несравненным мастером «Легенды веков» и, приемля все сущее, искали эмоциональные мотивы вне тесных пределов влюбленного сердца: в истории, предании, нравах, обычаях, верованиях — во всем, что на протяжении веков раскрывает Человека в его многоликости и единстве.

Помимо этого Фрадике Мендес разрабатывал и другую поэтическую тему, тему современности. Он умел тонко и без

нажима очертить прелесть и ужас жизни, жизни обыденной и повседневной, какую мы видим или угадываем на улицах, в соседних домах, в человеческих судьбах, смиренно скользящих мимо нас в смиренном полумраке.

И надо сказать, что маленькие поэмы, собранные под шапкой«Лапидарии», раскрывали поистине великолепные по своей новизне сюжеты. Вот аллегорический святой, пустынник VI века, умирает на закате дня среди силезских снегов, сраженный внезапным, неистовым мятежом плоти; и на самом пороге вечного блаженства он вдруг лишается места в раю, так дорого доставшегося ценой пятидесятилетнего отшельничества в пустыне. Вот словоохотливый ворон, свидетель древности, повествует о ратных делах давно минувших времен, когда он с веселой стаей сородичей излетал Галлию вслед за легионами Цезаря, а потом, увязавшись за ордами Алариха, увидел Италию, белевшую мрамором и синевшую лазурью. Вот славный рыцарь Парцифаль, зерцало и цвет идеалистов, странствует по свету из века в век, озаряя города и веси отблеском своих золотых доспехов: он ищет Святой Грааль, мистический сосуд с кровью Христовой, который однажды, в рождественский вечер, мелькнул ему в облаках над башнями Камерлона. Вот сатана немецкой складки, начитанный в Спинозе и Лейбнице, поет в переулке средневекового города ироническую серенаду звездам, «каплям света, застывшим в морозном эфире»... И вдруг, посреди этой ослепительной символики — картинка простой сегодняшней жизни, «Старушки»: пять старушек, с цветными шалями на плечах, с платком или кошелкой в руке, молча сидят на скамье, погрузясь в воспоминания, и греются в поздних лучах осеннего солнышка.

Не поручусь за точность моих воспоминаний об этих прекрасных образах. После того августовского вечера у Мартиньо «Лапидарии» не попадались мне на глаза. Собственно говоря, мне понравилась в них не столько тема, сколько форма, ярко пластичная и полная жизни; в ней было что-то от мраморной чеканки Леконта де Лиля — только в жилах этого мрамора струилась более жаркая кровь; и в то же время строки эти дышали в напряженном, нервном ритме бодлеровского стиха, но звучали более мерно и гармонично. Дело в том, что как раз в 1867 году мы с Ж. Тейшейрой де Азеведо и другими товарищами обнаружили на небосводе французской поэзии (единственном небосводе, к которому устремлялись наши взоры) целую плеяду новых светил, среди которых выделялись своим особенным и несравненным блеском два солнца: Бодлер и Леконт

де Лиль. Виктор Гюго, которого мы уже называли просто «Стариком» или «Гюго-вседержителем», был для нас не обычным светилом, но самим господом богом, изначальным и имманентным, дарующим свет, скорость и период обращения небесным телам. А Леконт де Лиль и Бодлер представляли собой два созвездия, сверкавшие у его ног удивительным сиянием. Встреча с ними была для нас откровением, подобным первой любви. Нынешняя позитивная, деловая молодежь, которая интересуется политикой, следит за биржевым курсом и читает Жоржа Онэ, едва ли поймет священный трепет, с каким мы принимали причащение к этому новому искусству, возникшему во Франции вместе со Второй империей на развалинах романтизма, как последнее его превращение. В поэзии это новое направление воплотили Леконт де Лиль, Бодлер, Коппе, Дьеркс, Малларме и другие, менее замечательные поэты. Едва ли поймет наше увлечение и та часть теперешней образованной молодежи, которая со школьной скамьи питается Спенсером и Тэном и подвергает неутомимой, проницательной критике те области искусства, которые в нас, более наивных и более пылких, вызывали одно лишь волнение души.

Я и сам не могу теперь без улыбки вспоминать вечера в комнатушке у Тейшейры де Азеведо, когда, дрожа от восторга, я оглашал ночь строфами из «Падали» Бодлера, повергая в смятение и ужас двух каноников, живших за стеной:

Et pourtant vous serez semblable à cette ordure,
A cette horrible infection,
Etoile de mes yeux, soleil de ma nature,
Vous, mon ange et ma passion! [1]

Слышно было, как за перегородкой скрипели кровати священников, тревожно чиркали спички. А я, бледный как полотно, трепеща в экстазе, гремел:

Alors, oh ma beauté, dites à la vermine
Qui vous mangera de baisers,
Que j'ai gardé la forme et l'essence divine
De mes amours décomposés! [2]

---

[1] Но вспомните: и вы, заразу источая,
Вы трупом ляжете гнилым,
Вы, солнце глаз моих, звезда моя живая,
Мой лучезарный серафим! *(Перевод В. Левика)*

[2] Скажите же червям, когда начнут, целуя,
Вас пожирать во тьме сырой,
Что тленной красоты навеки сберегу я
И форму, и бессмертный строй! *(Перевод В. Левика)*

Вероятно, из-за Бодлера не стоило трепетать и бледнеть. Но всякое искреннее преклонение само по себе прекрасно и не зависит от истинных заслуг божества, которому воздается. Две ладони, сложенные для молитвы в порыве непритворной веры, всегда будут трогать душу — даже если они простираются к такому вздорному и фальшивому кумиру, как, например, святой Симеон Столпник. Наш восторг был чистосердечен; породила его радость обретенного идеала; он был подобен восторгу мореплавателей-испанцев, когда им довелось впервые ступить на неведомую землю, на берег волшебного Эльдорадо, страны наслаждений и сокровищ, где даже в блестевшей на солнце прибрежной гальке им чудились россыпи алмазов.

Я где-то читал, что Хуан Понсе де Леон, наскучив бурыми равнинами Старой Кастилии и не находя прежнего очарования в темно-зеленых садах Андалузии, пустился странствовать по морям, чтобы найти новые земли и mirar algo nuevo [1].

Три года бороздил он наудачу угрюмые воды Атлантики; долгие месяцы блуждал в туманах Бермудских островов; всякая надежда иссякла, и потрепанные корабли уже готовились повернуть обратно к оставленным вдали берегам Испании. И тогда-то, под ослепительным утренним солнцем, в день святого Хуана, перед восхищенной эскадрой предстала Флорида во всем ее великолепии... Слезы потекли по седой бороде капитана. «¡Gracias te sean dadas, mi S. Juan bendito, que he mirado algo nuevo!» [2] Хуан Понсе де Леон умер от радости. Мы не умерли. Но слезы, подобные тем, что пролил старый мореход, брызнули у меня из глаз, когда мне впервые открылся сумрачный блеск и терпкий аромат «Цветов зла». Уж такие мы были в 1867 году!

Надо, впрочем, сказать, что я тоже, как Понсе де Леон, искал в литературе и поэзии только новизны, стремился увидеть algo nuevo. А что могло быть ново для двадцатилетнего южанина, ценившего превыше всего краски и звуки во всей их полноте, как не роскошная, нежданная форма? Новая, непривычная красота формы — вот что по-настоящему составляло для меня тогда, в пору впечатлительной юности, главную приманку и главную заботу. Конечно, идею в ее чистой сущности я тоже боготворил; но еще больше — слово, выразившее ее! В «Une charogne» [3] Бодлер показывает своей возлюбленной гниющие

---

[1] Увидеть что-нибудь новое *(исп.)*.

[2] Спасибо тебе, святой Хуан благословенный, что ты дал мне увидеть нечто новое! *(исп.)*

[3] «Падаль» *(франц.)*.

останки собаки и приравнивает их к смертному телу красавицы, видя и в том и в другом одинаково бренную плоть,— и это было для меня великолепной, восхитительной неожиданностью. Что представлял собой рядом с этой страдальческой утонченностью чувствований устарелый и примитивный Ламартин, сравнивающий нежное лицо возлюбленной с блеклым ликом луны? Но если бы жестокий и мрачный спиритуализм Бодлера был выражен гладким, вялым слогом Казимира Делавиня, те же стихи показались бы мне ничуть не лучше виршей из «Памятного альманаха».

«Лапидарии» Фрадике Мендеса попались мне на глаза именно в то время, когда я был всецело поглощен чувственным обожанием формы. Я увидел в них слияние двух взаимоисключающих качеств: величавого покоя и нервной чувствительности, составлявших (по крайней мере, так мне казалось) славу двух моих кумиров: автора «Цветов зла» и автора «Варварских поэм». Мало того: к моему вящему восторгу, поэт «Лапидарий» был португальцем; материалом для его мастерской чеканки послужил язык, на котором до тех пор не было создано ничего значительнее «Обручения в могиле» и «Аве, Цезарь» (единодушно признанных жемчужинами отечественной поэзии). Автор «Лапидарий» жил в Лиссабоне, входил в число наших молодых поэтов, и, несомненно, душа его, а может быть, и образ жизни были столь же оригинальны, как стихи.

Так смятый номер «Сентябрьской революции» стал для меня открытием в искусстве, провозвестием новой поэзии, призванной озарить давно желанным светом и согреть своим теплом юные души, окоченевшие в дремоте под белесой луной романтизма. Спасибо тебе, благословенный Фрадике, за то, что на моем старом языке мне довелось прочесть algo nuevo! Помнится, в порыве признательности я пробормотал вслух эти слова и, захватив номер «Сентябрьской революции», побежал к Ж. Тейшейре де Азеведо в переулок Гуарда-Мор, чтобы возвестить ему чудесное событие.

Я застал его дома; как обычно в сонные и праздные летние вечера, он сидел у себя, попивая торреское вино и заедая его клубникой. Потрясая рукой, я оглушительным голосом продекламировал «Смерть отшельника». Если память мне не изменяет, это была история аскета, умиравшего в снегах Силезии и жесточайшим образом преданного вероломной природой в минуту прощания с жизнью; все плотские влечения, все зовы страсти, которые пустынник так усердно подавлял целых пятьдесят лет, вдруг вырвались из оков и хлынули наружу беше-

ным потоком, не желая умирать вместе с умирающим телом, не вкусив хотя бы однажды удовлетворения! И ангелы, слетевшие за его душой под пение эпиталамы, шелестя непорочными крыльями и помавая пальмовыми ветвями, нашли на месте святого отшельника омерзительного старого сатира, который ползал по земле, страстно рыча, и жадно целовал снег, мягкую белизну снега, ибо в бредовом исступлении ему чудилось, что под его губами нагое тело блудницы!.. Картина была описана с величавой, благородной простотой, которая казалась мне божественной. Ж. Тейшейра де Азеведо согласился, что это божественно, «хотя довольно неприлично». Он тоже считал, что необходимо вывести Фрадике Мендеса из безвестности и поднять на щит, как блистательного вожака молодой поэзии.

В тот же вечер я отправился в «Сентябрьскую революцию» разыскивать своего университетского товарища, Маркоса Видигала, который в веселые годы, отданные зубрежке римского и канонического права, прослыл среди нас знатоком классической музыки, потому что играл на концертине, читал «Историю музыки» Скудо и ввел в университетский обиход имена Моцарта и Бетховена. Теперь, влача праздное существование в Лиссабоне, он писал для воскресных номеров «Революции» хронику музыкальной жизни, что давало ему право бесплатно ходить в Сан-Карлос.

Это был веснушчатый молодой человек с редкими волосами цвета сливочного масла, вялый на вид и не блиставший живостью ума. Но он весь расцветал и преображался, когда ему случалось «соприкоснуться со знаменитостью или попробовать на зуб (его выражение) что-нибудь оригинальное». Благодаря этому он и сам постепенно стал почти оригиналом и почти знаменитостью. В тот вечер (это было в субботу и стоял изнурительный зной) Видигал еще не ушел из редакции: пыхтя от натуги и обливаясь потом в альпаковом пиджачке, он по капле выжимал из своего бедного мозга, точно из засохшего лимона, заметку о Вольпини. Не успел я произнести имя Фрадике и заглавие восхитивших меня стихотворений, как Видигал расплылся в улыбке и отбросил перо; на его вялом лице заиграло радостное оживление.

— Фрадике? Знаю ли я великого Фрадике? Да он мой родственник! Земляк! Компаньон!

Вот это здорово, Видигал, вот это здорово!

Я пошел проводить Маркоса на Городской бульвар, где у него было назначено свидание с каким-то биржевым дель-

цом. Усевшись в тени акаций, мы потребовали шербета, и музыкальный обозреватель «Сентябрьской революции» дал мне кое-какие сведения о происхождении, молодых годах и деяниях создателя «Лапидарий».

Карлос Фрадике Мендес происходил из старинной и богатой семьи с Азорских островов; он был прямым потомком мореплавателя дона Лопо Мендеса, отпрыска по младшей линии рода Троба и командора одной из первых капитаний, созданных на островах в начале XVI века. Отец нашего Карлоса, человек простого и грубого нрава, но красавец собой, погиб на охоте, когда мальчик еще не умел ходить. Шесть лет спустя умерла его мать, изящная, задумчивая, белокурая женщина, которую один поэт с Терсейры называл «девой из Оссиана»; она схватила лихорадку во время буколической поездки за город, где в самую жару, под веселые песни, убирала с крестьянками сено. Карлос остался на попечении своей бабушки с материнской стороны, доны Анжелины Фрадике, легкомысленной старухи, которая увлекалась науками, собирала коллекцию птичьих чучел, переводила на португальский язык Клопштока и периодически страдала от «стрел Амура». Первоначальное воспитание ее внука было поразительно сумбурным: сначала капеллан доны Анжелины, бывший монах-бенедиктинец, обучил его латыни, катехизису, страху перед масонами и другим твердым принципам; затем некий француз, полковник и непримиримый якобинец, в 1830 году дравшийся на баррикадах Сен-Мерри, подорвал этот духовный фундамент, задавая своему воспитаннику переводить «Девственницу» Вольтера и «Декларацию прав человека и гражданина»; и в заключение немец, помогавший доне Анжелине обряжать Клопштока под Филинто Элизио и выдававший себя за родственника Иммануила Канта, довершил эту путаницу, приобщив Карлоса, задолго до того как у него начали пробиваться усики, к тайнам «Критики чистого разума» и к метафизическим ересям тюбингенских профессоров. К счастью, его воспитанник по целым дням скакал верхом в отъезжих полях, охотясь со сворой гончих. Свежий воздух дубовых рощ и чистая вода ручьев спасли юношу от худосочия, до которого его непременно довели бы отвлеченные умствования.

Когда Карлосу исполнилось шестнадцать лет, бабушка, до того с полным беспристрастием одобрявшая столь разнородные принципы воспитания, вдруг решила отправить своего внука

в Коимбру — средоточие, как она говорила, благородных классических штудий и последний оплот гуманитарных наук. На острове, впрочем, поговаривали, что переводчица Клопштока, невзирая на свои шестьдесят лет и на густой пушок, покрывший ее лицо наподобие плюща, каким порастают развалины, удалила внука, чтобы без помех выйти замуж за своего кучера.

Последующие три года Карлос гулял с гитарой по Пенедо-де-Саудадес, пил дешевое вино в погребке у теток Камела, печатал в «Мысли» аскетические сонеты и безрезультатно ухаживал за дочкой кузнеца из Лорвана. Не успел он провалиться по геометрии, как бабушка внезапно умерла в своей усадьбе Торнас, в увитой розами беседке, где она в приятном забытьи пережидала полдневную июньскую жару, попивая кофе и слушая, как кучер бренчит на гитаре, сверкая перстнями, унизывавшими его пальцы.

У Карлоса оставался из родных только один дядя, Тадеу Мендес, любитель комфорта и хорошей кухни. Он жил в Париже и трудился во спасение человечества вместе с Персиньи, Морни и принцем Луи-Наполеоном, которого глубоко чтил и ссужал деньгами. И Карлос отправился в Париж — изучать юриспруденцию в примыкающих к Сорбонне кабачках и ждать совершеннолетия и наследства: после отца и бабушки ему предстояло получить, по подсчетам Видигала, добрый миллион крузадо. Видигал, внучатый племянник доны Анжелины, получил по завещанию, совместно с Карлосом, усадьбу под названием Корвовело. Поэтому он и мог называть себя «родственником, земляком и компаньоном» автора «Лапидарий».

О дальнейшем Видигал знал немного: ему известно было только, что Фрадике, обретя свободу и богатство, покинул Латинский квартал и зажил вольно и бурно. С неудержимостью выпущенной из клетки птицы он помчался вдаль и изъездил весь свет — от Чикаго до Иерусалима, от Исландии до Сахары. Во время этих странствований, увлекаемый то запросами ума, то жаждой новых ощущений, он оказался участником великих исторических событий и общался с выдающимися людьми нашего века. Одетый в красную блузу, он вместе с Гарибальди завоевывал королевство Обеих Сицилий. Он проделал всю абиссинскую кампанию при штабе старика Нэпира, который называл его The Portuguese lion (Португальский лев). Он переписывался с Мадзини. А недавно посетил Виктора Гюго на скалистом острове Гернсей...

Услышав про Гюго, я вытаращил глаза и попятился. Виктор Гюго, высланный на Гернсей — это еще у всех на памяти,—

был для нас, идеалистов и демократов 1867 года, величавой, легендарной фигурой, чем-то вроде апостола Иоанна на острове Патмосе. Я вытаращил глаза и попятился: легко ли мне было поверить, что обыкновенный португалец, какой-то Мендес, пожимал царственную руку, написавшую «Легенду веков»? Переписываться с Мадзини, дружить с Гарибальди — допустим! Но беседовать и мечтать вместе с провидцем, создавшим «Отверженных», прогуливаться с ним по священному острову, под гул Ла-Манша — это мне казалось наглым бахвальством и мистификацией.

— Клянусь! — воскликнул Видигал, вскинув правую руку к ветвям акации, в тени которой мы сидели.

И тут же, в подтверждение несравненной чести, которой удостоился Фрадике, он поведал мне о еще более почетной славе, увенчавшей этого необыкновенного человека поистине ослепительным ореолом. Речь шла уже не о дружбе знаменитого человека, но о редчайшем, неоценимом отличии: о любви знаменитой женщины. Да! Целых два года Фрадике был возлюбленным Анны де Леон, самой изысканной и красивой куртизанки Парижа (Видигал выразился о ней: «королевский кусочек»). Анна де Леон была прекраснейшим цветком Второй империи, воплощением ее духа, высшим выражением утонченной грации и пронизанной интеллектом чувственности! Мне не раз доводилось видеть имя Анны де Леон в «Фигаро»; я знал, что поэты именовали ее Венерой Победительницей. Конечно, любовь куртизанки не произвела на меня такого впечатления, как дружба творца «Созерцаний»; но недоверчивость моя была сломлена, и Фрадике стал для меня одним из тех избранных существ, вроде Алкивиада или Гете, которые силой своего обаяния или гения властвуют над целой эпохой, пожиная все наслаждения и все триумфы.

Наверно, именно поэтому я покраснел и смутился, когда Видигал, потребовав еще порцию сливочного шербета, предложил повести меня на квартиру к Фрадике Мендесу. Я не решался ответить ни да, ни нет и вспоминал Новалиса: такие же колебания обуревали и его, когда однажды утром в Берлине он поднимался по лестнице в квартиру Гегеля... Я только спросил, живет ли автор «Лапидарий» в Лиссабоне постоянно. Нет! Фрадике лишь на время приехал из Англии, отдохнуть в своей любимой Синтре, где он купил виллу «Сарагоса», по дороге в Капуцинский монастырь, чтобы иметь в Португалии летнюю резиденцию, достойную природного фидалго. Итак, со дня святого Антония он отдыхал в Синтре, теперь находится в Лисса-

боне, в отеле «Центральный», а затем поедет в Париж, где обосновался и устроил свои пенаты. Нет человека, добавил Маркос, более простого, веселого и добродушного. И если я желаю лично познакомиться с гением, то должен на следующий день, в воскресенье, после мессы в Лорето, ровно в два часа ждать у дверей Гаванского табачного магазина.

— Договорились? В два часа, с благоговейной точностью, после мессы!

Сердце мое забилось. Но я взял себя в руки, как Новалис на лестнице у Гегеля, и, расплачиваясь за шербет, сказал, что завтра, ровно в два часа (к мессе я не хожу), с благоговейной точностью буду ждать у табачного магазина.

II

Я всю ночь придумывал глубокомысленные и прекрасные слова, какие скажу Фрадике Мендесу. Все они сводились к одному: горячей похвале «Лапидариям». Помню, я особенно тщательно отделывал и отшлифовывал следующую фразу: «Форма ваших стихов — божественный мрамор, в котором трепещет человеческая душа».

Целое утро я посвятил своему туалету. Можно было подумать, что меня ждет встреча не с Фрадике Мендесом, а с Анной де Леон; надо сказать, что под утро я видел во сне, соединявшем в себе эмоцию и ученость, что гуляю с ней по обсаженной лилиями священной дороге между Афинами и Элевсисом: мы обрываем лепестки и беседуем об учении Платона и о метрике «Лапидарий». Я нанял пролетку, чтобы не забрызгать лакированные ботинки на политом водой макадаме, и ровно в два часа подкатил к дверям Гаванского табачного магазина — бледный, надушенный, взволнованный, с огромной розой в петлице. Такие мы были в 1867 году!

Маркос Видигал уже стоял на месте, покусывая от нетерпения кончик сигары. Он вскочил в мою пролетку, и мы помчались через площадь Лорето, сверкавшую под августовским солнцем.

На улице Розмаринов, силясь побороть ребяческое волнение, я спросил своего спутника, когда Фрадике собирается выпустить в свет «Лапидарии». Покрывая голосом грохот колес, Видигал крикнул:

— Никогда!

И он рассказал мне, что опубликование известных мне отрывков в «Сентябрьской революции» чуть было не вызвало «идейного разрыва» между ним и Фрадике. Как-то раз, завтракая у Карлоса в Синтре, пока тот курил персидский чубук, Видигал, на правах старого приятеля, земляка и родственника, открыл без спроса лежавший на столе бювар из черного бархата и, к своему удивлению, обнаружил листы бумаги, исписанные уже пожелтевшими чернилами. Это были «Лапидарии». Видигал прочел лежавшую сверху «Серенаду сатаны», пришел в восторг и попросил у Фрадике разрешения напечатать в «Революции» некоторые из этих великолепных строф. Двоюродный брат улыбнулся и дал согласие, но при одном условии: что они будут подписаны псевдонимом. Каким? Фрадике доверил это дело фантазии своего кузена. Но когда Видигал в редакции уже читал корректуру, на ум ему ничего не приходило, кроме затасканных, навязших в зубах псевдонимов, вроде: «Независимый», «Друг истины», «Наблюдатель»... Ничего нового, такого, что могло бы достойным образом фигурировать под столь новаторскими стихами. И он сказал самому себе: «Довольно! В величии нет ничего постыдного. Поставлю его настоящее имя!» Когда Фрадике увидел номер «Сентябрьской революции», он изменился в лице и ледяным тоном заявил Видигалу, что тот болтун, мещанин и филистер. На этом месте своего повествования Видигал остановился и спросил, что такое филистер. Я не знал; но слово это мне понравилось: в нем было что-то желчное. Помнится, в тот же день вечером, в кафе Мартиньо, я обозвал филистером почтенного автора «Аве, Цезарь».

— Так что,— заключил Видигал,— о «Лапидариях» лучше даже не заикайся.

Да, думал я. Стало быть, Фрадике, подобно канцлеру Бэкону и другим большим людям, чье величие заключается в действии, предпочитает скрывать свой тонкий поэтический дар от мира, в котором правит корысть и грубая сила....А может быть, этот гнев при виде своего имени под стихами, каких не постыдился бы Леконт де Лиль, был благородной яростью художника, вечно недовольного собой и не желающего публично признать своими стихи, в которых он сам видит несовершенства! Столь гордый и необыкновенный образ мыслей подлил масла в огонь моего восхищения. Когда мы остановились у отеля «Центральный», я дрожал от робости.

Я почти обрадовался, услышав слова портье: «Сеньор Фрадике Мендес утром заказал коляску и уехал в Белен». Видигал так расстроился, что даже побледнел.

— Коляску? В Белен?.. Да чего он не видел в Белене?

Я заступился за отечественную архитектуру и пробормотал, что в Белене имеется церковь иеронимитов. В это мгновение на улицу въехал экипаж, запряженный парой взмыленных лошадей, которые резвой рысью подкатили его к отелю и стали у подъезда. Из экипажа легким и сильным прыжком выскочил молодой человек. Это был Фрадике Мендес.

Видигал, засуетившись, представил меня как поэта и своего приятеля. Тот с улыбкой протянул руку — белую, холеную руку, на которой алел рубин. Дружески похлопывая по плечу своего кузена, он одновременно начал вскрывать конверт, поданный ему швейцаром.

Я мог вдоволь насмотреться на человека, чеканившего строфы «Лапидарий», на друга Мадзини, завоевателя Обеих Сицилий, возлюбленного Анны де Леон! Меня с первого же взгляда пленила его телесная крепость, атлетические пропорции сильной фигуры, впечатление спокойного равновесия и уверенности, с какой он занимал свое место среди людей. Казалось, он чувствует себя в жизни так же свободно и устойчиво, как ступает по мостовой своими большими лакированными ботинками, блестящими из-под полотняных гетр. Лицо его, внушительного, орлиного склада — такие лица называют обычно римскими или цезарскими — не было, однако, отягощено той дряблой пухлостью, которой живописцы и скульпторы всех школ неизменно наделяют римских цезарей, стараясь придать им величие. Я находил в нем скорее чистые и тонкие черты молодого Лукреция, в расцвете силы и славы, погруженного в мысли о добродетели и искусстве. Бороду свою, не особенно густую, он брил, так что на молочно-белой, чистой коже вы не замечали ни единого волоска, ни единой тени; только легкий, чуть курчавившийся пушок обрамлял его влажные, румяные губы тонкого рисунка, с равным совершенством созданные природой для усмешки и поцелуя. Свойственное этому человеку редкостное сочетание энергии и утонченности сосредоточивалось в его глазах — небольших черных глазах, блестевших, как два оникса, и пронизывавших собеседника острым, пожалуй, чересчур пристальным взглядом, который ввинчивался в вас без всякого усилия, как стальное сверло в древесину.

На нем был просторный пиджак из темной, мягкой ткани и брюки из той же материи, которые лежали без единой морщинки. Белый полотняный жилет застегивался на пуговицы из бледного коралла, а узел черного атласного галстука, над которым ослепительно белел отложной воротничок, был завязан

с тем же четким совершенством, которое пленяло меня в его стихах.

Не знаю, был ли он красивым мужчиной на женский взгляд. Но мне он казался великолепным образчиком мужской красоты: вся его статная фигура излучала какое-то спокойное изящество и покоряла несокрушимым здоровьем. Жизнь, проходившая в столь разнообразной и утомительной деятельности, не оставила никаких следов усталости на его лице. Казалось, он только что появился на свет из живых недр матери-природы — вот такой, как есть: аккуратно выбритый, в черном костюме. И хотя Видигал сообщил мне, что как раз в Петров день Фрадике отпраздновал в Синтре тридцать третью годовщину своего появления на свет, в теле его все еще чувствовалась мускулистая и гибкая ловкость эфеба, напоминавшая отрочество древнего мира. Лишь когда он улыбался или смотрел на вас, вы видели, что за плечами у него двадцать веков истории литературы.

Пробежав поданное швейцаром письмо, Фрадике Мендес развел руками с видом комического бессилия и воззвал к сочувствию Видигала: опять таможня, вечный источник канители! Теперь у них застряла египетская мумия...

— Мумия?

Ну да, историческая реликвия: подлинная мумия высокочтимого Пентаура, летописца и ученого книжника из храма Аммона в Фивах. Фрадике выписал эту мумию из Парижа, чтобы преподнести супруге английского дипломата, леди Росс, с которой подружился в Афинах; в расцвете молодости и светских успехов эта дама коллекционировала погребальные древности Египта и Ассирии... Но, несмотря на самые хитроумные уловки, Фрадике не находил способа вырвать покойного мудреца из таможенных хранилищ, где вместе с ним водворились смятение и страх. В тот же вечер, когда Пентаур, завернутый в священные пелены и заколоченный в ящик, высадился на берег, растерявшаяся таможня дала знать в полицию. Подозрение в убийстве вскоре отпало, но возникла новая непреодолимая трудность: под какую графу таможенного тарифа подвести останки Рамзесова летописца? Фрадике предлагал числить его по статье о вяленых сельдях. В сущности, что такое вяленая селедка, как не мумия живой селедки, только без ритуальных пелен и священных надписей? Не все ли равно казне, кем вы были: рыбой или летописцем? В обоих случаях перед таможней тело существа, некогда живого, а теперь высушенного путем вяления. Плавали ли вы при жизни в стае рыб по волнам

Северного моря или четыре тысячи лет назад, на берегах Нила, заносили на свитки молитвы Аммону и комментировали главы о конце дня — это, безусловно, не входит в компетенцию фискальных властей. Разве не логично? Тем не менее таможенное начальство продолжало сомневаться и чесать в затылке, созерцая пестрый ящик, в котором было заключено столько мудрости и столько благочестия... А вот это письмо прислали друзья, любезные Пинтос Бастосы; они советуют действовать простым, исконно португальским способом: добыть записочку от министра финансов и вызволить почтенного летописца без всякой пошлины вообще. Но кто достанет такую записочку, если не Маркос Видигал — столп «возрожденцев» и их музыкальный обозреватель?

Видигал, сияя, потирал руки. Вот, наконец, достойное его дело! Ведь это даже элегантно: вырвать из лап казны мумию придворного египетских фараонов! Схватив письмо Пинтос Бастосов, Маркос вскочил в пролетку и крикнул кучеру адрес министра, своего политического единомышленника, тоже писавшего в «Сентябрьской революции». И вот я остался один с Фрадике Мендесом. Он пригласил меня подняться к нему в номер и в ожидании Видигала выпить содовой с лимоном.

Поднимаясь по лестнице, автор «Лапидарий» сказал что-то насчет тяжелого августовского зноя. В это мгновение я беглым взглядом оценивал в зеркале покрой моего сюртука и свежесть моей розы,— и, сам не знаю как, выпалил следующее:

— Что говорить, жара аспидская!

Не успели замереть в воздухе эти вульгарные звуки, как я впал в глубокое уныние: как можно было произнести здесь столь грубые слова, уместные разве лишь в табачной лавке, и осквернить ими, как жирными пятнами, общество большого художника, автора «Лапидарий», человека, беседовавшего на берегу моря с Виктором Гюго!.. Обливаясь потом, совершенно подавленный, я вошел в номер вслед за Фрадике. Тщетно силился я подыскать какую-нибудь другую фразу насчет жары — хорошо построенную, оригинальную, остроумную... Тщетно! В голову мне приходили все те же пошлости, в том же плебейском духе: «Того и гляди, живьем сваришься!»; «Чертово пекло!»; «Хоть сало топить!»... Я пережил одну из тех жестоких минут, какие выпадают на долю лишь двадцатилетним начинающим поэтам, навеки метят душу и никогда не забываются.

К счастью, Фрадике исчез за портьерой алькова, и я смог утереть пот и рассудить, что глубокие мыслители всегда выражаются так: с грубоватой прямотой. Эта мысль немного успо-

коила меня, и на смену смущению пришло любопытство. Мне захотелось обнаружить в обстановке гостиничного номера что-нибудь, что выдавало бы оригинальность жившего здесь человека. Я увидел только несколько стульев, обитых потертым темно-синим репсом, люстру под тюлевым чехлом, консоль на высоких золоченых ножках, стоявшую между распахнутыми окнами, откуда видна была река. На мраморной доске этой консоли и среди книг, загромождавших старый письменный стол черного дерева, возвышались великолепные букеты цветов, а в углу комнаты я увидел мягкий, широкий диван (поставленный, несомненно, самим Фрадике), покрытый двумя восточными одеялами слепяще ярких расцветок. И еще в комнате блуждал какой-то странный аромат, тоже отдававший востоком,— пахло как будто измирскими розами, с примесью корицы и майорана.

Фрадике Мендес вышел из алькова в шелковом китайском халате — настоящем, какие носят мандарины,— из зеленого шелка с вышивкой в виде цветков миндального дерева. Я изумился и окончательно оробел. Тут я заметил, что волосы у Фрадике темно-каштанового цвета и что они слегка вьются на лбу, белом и гладком, как слоновая кость нормандской полировки. А глаза, светившиеся теперь приветливым прямодушием, утратили свою глубокую черноту, которую я мысленно сравнивал с ониксом, и приобрели тот теплый коричневатый оттенок, какой бывает у гаванского табака. Он закурил сигаретку и велел подать содовую с лимоном: это распоряжение относилось к удивительнейшему на вид слуге — седоволосому, важному, носившему широкие брюки в черно-зеленую клетку, жемчужную булавку в галстуке и три желтые гвоздики в петлице. Я разобрал, что звали этого роскошного слугу Смит. Смущение мое все возрастало. Фрадике, улыбнувшись, сказал тоном искреннего расположения:

— Наш Маркос — настоящий клад.

Я согласился и стал рассказывать, как давно знаю и люблю Видигала — еще с первого курса университета, с беспутных времен, посвященных концертине и зубрежке по «себенте». Фрадике тоже вспомнил Коимбру и весело осведомился о Педро Пенедо, Паэсе и других профессорах вымирающего тупоумного типа; затем он заговорил о тетках Камела, милых старухах, которые общались со столькими поколениями вертопрахов-студентов и все же сумели соблюсти свою девственность, в награду за что обрели право вечно жить на небе и играть на арфе рядом со святой Цецилией... Трактирчик теток Камела

был для него одним из самых приятных воспоминаний о Коимбре: как забыть обильные ужины, стоившие всего семьдесят рейсов, шумную компанию студентов в полутемном погребке, где плохо видно сквозь облака табачного дыма, где каждый держит свою тарелку сардинок на коленях и воздух гудит от громогласных дискуссий о философии и искусстве! А что это были за сардинки! Какое божественное умение жарить рыбу! Сколько раз он потом вспоминал в Париже взрывы смеха, юношеские мечты и вкусные угощения!..

Все это говорилось просто, искренне, молодо; я мысленно определил его тон как «кристальный». Затем Фрадике растянулся на диване, а я остался у стола, где лепестки роз осыпались на томики Дарвина и падре Мануэла Бернардеса. Робость моя немного рассеялась, и я весь горел желанием поделиться с этим гениальным человеком своими мыслями о литературе, позабыв, что он, подобно Бэкону, предпочитает скрывать свой поэтический талант, или, недовольный этими творениями, не желает признавать их своими; словом, я заговорил о «Лапидариях».

Фрадике Мендес вынул изо рта сигарету и весело расхохотался; хохот его мог бы показаться насмешливым, если бы не румянец, выступивший на молочно-белом лице. Затем он сказал, что опубликование этих стихов под его настоящим именем было плодом коварства и легкомыслия Видигала. Фрадике не считал возможным подписываться под фрагментами рифмованной прозы, которые он пятнадцать лет назад, в возрасте подражаний, скопировал с Леконта де Лиля. Случилось это в Париже, летом, когда он жил в мансарде у Люксембургского сада, весь горел верой в свой талант и жаждой труда и при каждой новой рифме готов был счесть себя гениальным новатором...

Я горячо восстал против этих его слов и заявил, что после Бодлера ничто не производило на меня такого впечатления, как «Лапидарии»! И я уже приготовился сказать свою любимую фразу, которую так усердно обдумывал всю ночь: «Форма ваших стихов — это божественный мрамор...», но Фрадике встал с дивана и с любопытством устремил на меня свои проницательные ониксовые глаза, пронизывавшие насквозь.

— Вижу,— сказал он,— что вы большой почитатель шутника, сочинившего «Цветы зла».

Я вспыхнул, услышав столь обидный эпитет, и строго возразил, что для меня Бодлер сияет над современной поэзией подобно великому светочу, сразу после Виктора Гюго. Фрадике

с отеческой улыбкой уверил меня, что скоро я утрачу эту иллюзию. В сущности, Бодлер (с которым он лично знаком) — вовсе не поэт. Поэзия подразумевает эмоцию, а Бодлер — человек до мозга костей рассудочный; он лишь психолог и аналитик, искусный диагност патологических душевных состояний... «Цветы зла» содержат резюме нравственных страданий, которые Бодлер очень тонко понимал, но сам никогда не испытывал. Его творчество напоминает труд ученого-патолога, чье сердце бьется спокойно и ровно в то время, когда, сидя за рабочим столом, он заносит на лист бумаги свои наблюдения относительно страшных болезней сердца. Это несомненно, и вот доказательство: Бодлер написал «Цветы зла» сначала в прозе и только потом, проверив правильность своего анализа, придал им стихотворную форму, пользуясь словарем рифм! Впрочем (добавил этот странный человек), во Франции вообще нет поэтов. Адекватное выражение ясного французского ума — проза. Настоящие ценители всегда будут предпочитать тех французских поэтов, чьи творения отличаются точностью, ясностью и лаконизмом, то есть качествами, присущими хорошей прозе; во Франции поэт тем популярней, чем больше он обладает талантом прозаика. Буало останется классиком и одним из бессмертных в те времена, когда бурливая лирика Гюго будет во Франции окончательно забыта.

Все эти сногсшибательные кощунства преподносились неторопливо, проникновенным тоном. Фрадике произносил каждое слово так, словно высекал его резцом. Я был потрясен. Буало, этот педант, этот придворный льстец, со своей «Одой на взятие Намюра», со своим париком и своей линейкой для битья по рукам нерадивых учеников, останется на вершинах французской поэзии, а создатель «Легенды веков» исчезнет без следа, как вздох прошумевшего ветра! Все это казалось мне пустым оригинальничанием, каким иные любят удивлять простачков, короче, нахальством (так я мысленно говорил себе). Я мог бы привести тысячу веских, неоспоримых возражений, но не решался: ведь я не сумел бы облечь их в ту прозрачную, геометрически четкую форму, в какую облекал свои мысли автор «Лапидарий»! Собственная трусость и невысказанные протесты в защиту кумиров моей юности мучили меня, я задыхался и чувствовал себя прескверно. Поскорее бы выбраться вон из этой комнаты, со всеми этими розами, корицами и майоранами; здесь дышалось вдвойне тяжело — в смешанной атмосфере гарема и академии.

В то же время мне казалось унизительным, что в беседе с другом Мадзини и Гюго я сумел сказать лишь несколько убогих слов о Педро Пенедо и дешевом винце теток Камела. Мне все еще хотелось поразить Фрадике критической зоркостью, обнаружить перед ним литературный вкус, и я сделал еще одну попытку блеснуть своей фразой о «Лапидариях». Улыбаясь и теребя ус, я пробормотал:

— Во всяком случае, форма вашего стиха — это мрамор...

Тут дверь с шумом распахнулась, и на пороге появился Видигал.

— Все в порядке! — крикнул он.— Покойник свободен!

Министр финансов, любитель поэзии и красноречия, искренне заинтересовался мумией «коллеги» и обещал избавить ее от недостойного обложения по селедочному тарифу. Его превосходительство даже прибавил: «Нет, нет! Он пересечет границу беспрепятственно, со всеми почестями, подобающими классику!» Пентаур завтра же покинет таможню и въедет в город на извозчике!

Фрадике рассмеялся, услышав слово «классик» в применении к храмовому писцу времен Рамзеса, а торжествующий Видигал присел к роялю и сыграл бравурную партию из «Великой герцогини». Тогда, внезапно охваченный печалью и сознанием своего ничтожества, я протянул руку за шляпой. Фрадике не стал меня удерживать, только немного проводил по коридору; его улыбка и рукопожатие были безупречно любезны. Очутившись на улице, я отвел душу возгласом: «Что за несносный педант!»

Да, педант, но совершенно нового рода, не похожий ни на кого из людей, с которыми мне до сих пор приходилось встречаться! И вечером, в переулке Гуарда-Мор,— правда, утаив неприличные восхваления Буало, чтобы ничем не испортить впечатления,— я описывал Ж. Тейшейре де Азеведо идеализированного Фрадике; все в нем было неотразимо: и мысли, и дар слова, и шелковый халат, и молочно-белое лицо с чертами молодого Лукреция, и духи, которыми он душился, и остроумие, и эрудиция, и вкус!

Ж. Тейшейра де Азеведо загорался медленно и не без копоти. Он сказал, что мой новый знакомый, видимо, большой ломака и актер. Однако согласился, что следует изучить поближе «театральный механизм, устроенный с такой роскошью».

Несколько дней спустя мы отправились вдвоем в отель «Центральный», опять в наемном экипаже. Я повязал на шею атласный галстук и воткнул в петлицу гардению. Ж. Тейшейра

де Азеведо, которого называли Диогеном XIX века, держал в руках увесистую палку с железным наконечником; на голове у него была широкополая брагезская шляпа с замасленными полями, на плечах заношенная и пестревшая заплатами куртка, взятая у слуги, на ногах крестьянские деревянные башмаки. Все это было тщательно продумано, стоило немалых денег, внушало отвращение самому Тейшейре и имело единственную цель — эпатировать Фрадике Мендеса, гордо бросив в лицо этому скептику и баловню фортуны, от имени всех демократов и идеалистов, нравственное величие заплаты и суровую философию грязного пятна. Таковы были мы в 1867 году!

Все пропало даром — и моя гардения, и стоическое неряшество моего друга. Сеньор Фрадике Мендес (объявил нам портье) отбыл накануне из Португалии на пароходе, который ушел в Марокко за партией скота.

III

Прошло несколько лет. Я работал, путешествовал, научился лучше понимать людей и проникать в сущность явлений, утратил слепое поклонение форме и больше не перечитывал Бодлера. Маркос Видигал посредством «Сентябрьской революции» вознесся от музыкальных обозрений к бюрократическим высотам и отправлял государственную службу в Индии. Азиатские досуги, предоставленные короной, он снова посвящал концертине и истории музыки; таким образом, я лишился милого сердцу друга, унесенного с берегов Тэжо на берега Мандови, и мне не от кого было узнать что-либо новое про автора «Лапидарий».

Но воспоминание об этом удивительном человеке не изгладилось из моей памяти... Напротив, время от времени я вдруг снова видел перед собой, видел ясно, осязательно-живо, молодое лицо с молочно-белой кожей, настойчивые, сверлящие глаза табачного цвета, губы, изогнутые скептической улыбкой, в которой сквозили двадцать веков литературы...

В 1871 году я путешествовал по Египту. Как-то раз я спускался по течению Нила, затопившего берега Мемфиса или, вернее, того места, где когда-то находился Мемфис; я плыл сквозь пальмовые рощи, стоявшие в воде и напоминавшие, на фоне лунной восточной ночи, длинные аркады монастырских галерей с их торжественно-печальной отрешенностью от всего житейского. Все было безлюдно кругом, царила глубокая тишина

мертвой земли, нарушаемая лишь размеренным плеском весел и протяжной песней лодочника... И вдруг я увидел (хотя ничто, казалось, не должно было вызвать этот образ), отчетливо увидел, что рядом с моей лодкой, разрезая вместе с нею полосы света и тени, плывет комната отеля «Центральный», с большим диваном слепяще ярких расцветок; а на диване, в шелковом халате, дымя сигаретой, лежит Фрадике, и провозглашает бессмертие Буало! И сам я уже был не на Востоке, не в Мемфисе, не плыл по медленным волнам Нила; нет, я тоже сидел в этом номере, на стуле, обитом синим репсом, под люстрой в тюлевом чехле, перед окнами, выходившими на Тэжо, и слышал, как гремят внизу повозки, едущие к Арсеналу. Но я уже не испытывал прежней гнетущей робости. И пока мы таким образом плыли на веслах через фараоново царство к жилищу шейха Абу-Каира, я спорил с автором «Лапидарий» и высказывал в защиту Гюго и Бодлера тонкие, бесспорные суждения, которыми должен был сразить его в памятный августовский вечер. Араб-лодочник воспевал сады Дамаска, а я мысленно восклицал: «Но нельзя же не оценить в «Отверженных» высокую нравственную проповедь!»

На следующий день начинался праздник байрама. Я вернулся в Каир в самый знойный час, когда муэдзины поют третью молитву. И кого же я увидел, слезая с осла у подъезда отеля? Кто лежал на длинной соломенной кушетке с номером «Таймса» на коленях, закинув руки за голову и наслаждаясь теплом и светом? Это был он, Фрадике Мендес!

Я взбежал по ступенькам террасы, окликая его по имени и смеясь от удовольствия. Не нарушая своего блаженного покоя, он высвободил правую руку и не спеша протянул мне. Очарование его приветствия заключалось в том, что он сразу узнал меня, несмотря на мои синие очки и надвинутую на лоб панаму.

— Ну, как живете? Что поделывали после нашей встречи в «Центральном»? Давно в Каире?

Он сказал еще несколько слов, приветливо и лениво. Присев рядом на скамейке, я стирал с лица пыль, лежавшую на нем толстым слоем наподобие маски, и радостно улыбался. За несколько приятных минут, проведенных в разговоре с Фрадике Мендесом, я узнал, что неделю тому назад он приехал из Суэца, на обратном пути с берегов Евфрата и из Персии, где он странствовал, как в восточной сказке, один год и один день; что у него есть дебарие с красивым именем «Речная Роза»; экипаж уже набран, лодка ожидает у Булакской набережной: он хочет

подняться по Нилу до Верхнего Египта, доплыть до Нубии, забраться за Ибсамбул...

Знойное солнце Красного моря и долины Евфрата ничуть не изменило цвет его молочно-белой кожи. Как и в отеле «Центральный», он был одет в просторный черный пиджак и белый жилет, застегнутый на коралловые пуговицы. И строгий узел черного атласного галстука, в этой стране просторных и ярких одеяний, мог служить символом точного формализма западного мышления.

Он задал мне несколько вопросов о Лиссабоне, о Видигале, который нес свою чиновничью службу среди брахманских пальмовых рощ... Затем, видя, что я продолжаю утирать пот и пыль, посоветовал мне сходить в турецкую баню, что рядом с мечетью Эль-Майед, и отдыхать до самого вечера, а потом пойти вместе с ним смотреть на иллюминацию по случаю байрама.

Но вместо того чтобы отдыхать, я после ванны решил отправиться на ослике за Каир, к гробницам халифов, по жгучей и пыльной Ливийской пустыне. Когда вечером я занял свое место в ресторане отеля «Шеперд» и склонился над тарелкой «супа из воловьих хвостов», усталость отбила у меня всякую охоту любоваться какими бы то ни было мусульманскими диковинами. Больше всего мне хотелось вытянуться на прохладных простынях в моей обитой циновками комнате и слушать романтическое журчанье фонтанов, бивших в саду, среди розовых кустов.

Фрадике Мендес тоже обедал за столиком, на котором между свечами пылал громадный цветок кактуса. Рядом на мавританской скамеечке сидела дама в белом; я видел только ее пышные светлые волосы и стройную, безупречных очертаний спину — точно у статуи Праксителя, затянутой в корсет от мадам Марсель. Напротив нее развалился в кресле мягкотелый, толстый мужчина. Его крупное лицо, обрамленное курчавой бородой и исполненное спокойной силы, напоминало лик Юпитера; где-то я видел эти черты,— может быть, в мраморе? Я стал припоминать. На какой улице, в каком музее любовался я этим олимпийским челом, в котором ничто, кроме усталого взгляда из-под тяжелых век, не выдавало слабость человеческой плоти?

Я кончил тем, что спросил у сенехского негра, обносившего столы макаронами, кто этот человек. На круглом черном лице заиграла ослепительная улыбка. Негр почтительно шепнул через стол:

— Cé-le-dieu!

Праведное небо! Le Dieu! Неужели чернокожий хочет сказать, что этот человек с курчавой бородой — бог? Определенный,

всем известный бог, проживающий в отеле «Шеперд»? Значит, я действительно видел на каком-нибудь алтаре, на какой-нибудь картине это лицо, которому нескончаемые молитвы и воскурения придали оттенок царственного величия? Я повторил свой вопрос, когда нубиец вернулся, неся на вытянутых ладонях дымящееся блюдо. И он опять отчеканил, рассеяв мои последние сомнения:

— C'est le Dieu! [1]

Бог! Я невольно улыбнулся: вот отличный литературный сюжет! Бог, во фраке, обедает в отеле «Шеперд»! И мало-помалу в моей сонной фантазии возникло какое-то расплывчатое, неясное видение, клубившееся как дым над полуугасшей жаровней. Передо мной был Олимп. Я видел древних богов и среди них похожего на Юпитера господина, с которым дружил Фрадике Мендес. Может быть, грезил я, неторопливо подцепляя вилкой ломтики помидора, боги вовсе не умерли; когда в Грецию явился апостол Павел, они ушли в какую-нибудь долину в Лаконии и там укрылись, посвящая предписанную новым богом праздность исконным своим занятиям: земледелию и скотоводству. Но в силу застарелой привычки вечно подражать людям, или оберегая себя от оскорблений со стороны стыдливого христианства, олимпийцы отныне скрывали под юбками и пиджаками свою ослепительную наготу, которой поклонялись древние. Боги усвоили новые человеческие обычаи и по необходимости (с каждым днем все труднее быть богом) или из любопытства (с каждым днем все интереснее быть человеком) все больше и больше превращались в людей. Теперь они уже нередко покидают тихие пастушеские долины и, ради развлечения или по делам, путешествуют с сундуками и саквояжами, перелистывая бедекеры. Некоторые из них отправляются в города, центры цивилизации, изучать чудеса книгопечатания, парламентаризма и газового освещения; другие по совету всезнающего Гермеса вносят разнообразие в скуку долгих летних месяцев Аттики и уезжают пить целебные воды в Виши и Карлсбад; третьи, наконец, тоскуя по былому всемогуществу, паломничают к развалинам храмов, где им некогда приносили кровь жертвенных животных и пчелиный мед. И вполне правдоподобно, что этот человек, чье исполненное величия и спокойной силы лицо воспроизводит черты Юпитера, каким видели его афинские скульпторы,— и есть Юпитер, громовержец, плодотворящее божество, отец богов, творец законов. Но что привело его сюда, в Каир, в отель «Ше-

---

[1] Это бог! *(франц.)*

перд», и зачем, одетый в синий фланелевый костюм, он ест тут макароны, непочтительно пристающие к божественной бороде, по которой некогда стекала амброзия? Несомненно, он повинуется все тому же нежному побуждению, что от начала до конца древнего мира, и на земле и на небе, неизменно вдохновляло действия Юпитера — неудержимого волокиты и женолюба. Что могло привлечь его в Каир, как не великолепная, неутолимая страсть к богиням и женщинам, над которой задумывались молодые эллинки, заучивая в языческом катехизисе памятные числа: день, когда он трепетал лебедиными крыльями в коленях у Леды, когда потряс бычьими рогами в объятиях Европы, пал золотыми каплями на лоно Данаи, взвился языком пламени к устам Эгины... А однажды, к негодованию Минервы и других строгих дам Олимпа, он прошагал через всю Македонию со стремянкой на плече, чтобы взобраться на высокую террасу к чернокудрой Семеле! Совершенно очевидно, что теперь он прибыл в Каир, чтобы подальше от глаз Юноны, своей располневшей и суровой супруги, предаться на свободе нежным чувствам к вот этой красивой женщине, чей пленительный стан был совместным творением Праксителя и мадам Марсель. Но она... Кто же она? Цвет ее кос, нежный изгиб шеи — все указывало, что это одна из прелестных нимф, обитавших на Ионических островах; когда-то христианские диаконы изгнали их из прохладных ручьев, чтобы крестить там обремененных долгами центурионов и престарелых матрон с густым пушком на подбородке, которым надоело тщетно паломничать к алтарям Афродиты. Но ни он, ни она не могли скрыть свое божественное происхождение: тело нимфы светилось сквозь батистовое платье, и если хорошенько вглядеться, вы могли заметить мерное биение жилки на мраморном челе Юпитера, продолжающего мысленно творить закон и распорядок...

Но как очутился здесь Фрадике и почему он запросто беседует с бессмертными, попивая с ними шампанское марки Клико и внимая несказанной гармонии речей Юпитера? Впрочем, ведь Фрадике — один из последних язычников, сохранивших верность Олимпу! Он поклоняется форме, и языческая веселость бьет в нем через край; он побывал в Лаконии; он говорит на языке богов, черпает у них вдохновение. Вполне естественно, что, встретив Юпитера в Каире, он отдал себя в добровольное услужение громовержцу в качестве чичероне и гида по варварским землям аллаха. И, конечно, теперь повезет бога и нимфу на «Речной Розе» вверх по Нилу, к повергнутым храмам, при виде которых Юпитер задумчиво проговорит, указывая зонти-

ком на остатки жертвенников: «Здесь я когда-то крепко нанюхался фимиама!..»

Так я грезил, поедая салат из помидоров, и одновременно уже обдумывал, как использую эти грезы, чтобы превратить их в рассказ и напечатать в «Португальской газете». Заглавие будет такое: «Последнее приключение Юпитера». Этот сюжет даст мне канву — смесь фантазии и эрудиции,— которую можно будет расцветить наблюдениями обычаев и пейзажей, накопленными в Египте. Но сказке я придам оттенок современности и пикантного реализма, а для этого нимфа вод во время плавания по Нилу изменит Юпитеру ради Фрадике Мендеса! В укромных уголках пальмовых рощ и под колоннами Озирисова храма она будет обвивать руками шею автора «Лапидарий» и шептать ему по-эллински нежные слова, гармоничней строф Гесиода, оставляя в складках его шевиотового костюма аромат амброзии; словом, на всем пути по нильской долине моя нимфа будет восхитительно cochonne [1], пока отец богов, поглаживая курчавую бороду, будет невозмутимо творить законы и порядки — все такой же всемогущий, величавый, совершенный, предвечный и рогатый!

Воодушевившись, я уже сочинил первую строку рассказа: «Это было в Каире, в садах Шубре, когда кончался пост рамадана...» — как вдруг увидел, что Фрадике направляется ко мне, держа в руке чашку кофе. Юпитер тоже с усталым видом поднялся из-за стола. Это был грузный, мягкотелый бог, с первыми признаками ожирения; он слегка волочил ногу и, в общем, вполне подходил для той роли, которую я ему готовил на полосах «Португальской газеты». Что до его спутницы, все в ней было божественно: гармония, благоухание, походка, блеск!.. То была поистине нимфа, до того прекрасная, что я решил занять место Фрадике: я сам стану их чичероне и вместе с бессмертными поплыву под парусами по вечному Нилу. Прижавшись щекой к моей щеке (а не к щеке Фрадике), млея от страсти среди священных камней Мединет-Абу, мне, а не ему нимфа будет шептать нежные слова из Антологии! Пусть только в мечтах, но я сам совершу триумфальное путешествие в Фивы. И подписчики «Португальской газеты» подумают: «Эх, везет же некоторым!»

Фрадике подсел ко мне. Юпитер с нимфой, проходя мимо, подарили его улыбкой, прелесть которой коснулась и меня. Я поспешил пододвинуть стул для поэта «Лапидарий».

— Кто этот человек? Я где-то видел его лицо...

---

[1] Здесь: порочна, беспутна *(франц.)*.

— Конечно, на портретах... Это Готье.

Готье! Теофиль Готье! Великий Тео! Безупречный мастер стиха, один из кумиров моей молодости! Значит, я не совсем ошибся. Если он не олимпийский бог, то, во всяком случае, истый язычник, сохранивший в нашу эпоху всеобщей бесцветной интеллектуальности древнее поклонение Линии и Краске! И дружба Фрадике Мендеса с автором «Мадемуазель де Мопен», старым паладином «Эрнани», еще больше подняла в моих глазах соотечественника, придававшего столь неповторимый блеск нашей блеклой родине! Спрашивая, что он будет пить — анисовку или можжевеловую, я погладил его по рукаву и не мог сдержать восхищения, когда он проявил редкую догадливость, разъяснив мне смысл слов, сказанных негром из Сенеха. То, что я принял за благовестие о боге, означало просто — c'est le deux! [1] Готье занимал в отеле комнату номер два. Для черного варвара глава романтизма, творец пластичнейших образов был всего лишь «номером два»!

Тут я поделился с Фрадике своей языческой грезой: изложил сюжет рассказа, который собирался написать, и сообщил о великолепных днях любви, предназначенных ему в поездке по Нубии, а также попросил разрешения посвятить ему «Последнее приключение Юпитера». Фрадике с улыбкой согласился. Было бы весьма приятно,— признался он с полной откровенностью,— если бы фантазия моя осуществилась, ибо трудно найти женщину более прелестную и соблазнительную, чем эта наяда; зовут ее Жанна Морле, и она выступает в Варьете-Комик в амплуа артистки на выходные роли. К сожалению, эта восхитительная женщина влюблена как кошка в некоего Сикара, биржевого маклера, который и привез ее в Каир, а сам в настоящее время обедает с греческими банкирами в саду Шубре...

— Во всяком случае,— добавил мой удивительный собеседник,— я никогда не забуду, дорогой земляк, вашего любезного намерения!

Декарт, подшучивая где-то над эпикурейской или атомистической физикой, говорит о привязанностях, в основе которых лежат atomes crochus, изогнутые атомы, имеющие форму рыболовного или брючного крючка: невидимым образом они сцепляют два сердца и образуют крепкие узы, словно выкованные из самофракийской бронзы, которые связывают и соединяют навеки два существа, так что постоянство этой связи торжествует над превратностями судьбы и переживает самую смерть. Любой

---

[1] Это номер два *(франц.)*.

пустяк может привести к этому роковому (или благодатному) сцеплению атомов. Иногда достаточно одного взгляда, как случилось в Вероне с несчастными Ромео и Джульеттой; иногда достаточно одновременного прыжка двух детей, желающих сорвать плод в царском саду, что, например, положило начало классической дружбе Ореста и Пилада. И вот, точь-в-точь по этой теории (которая ничем не хуже всякой другой теории из области психологии чувств), любовная победа, великодушно придуманная мною для Фрадике, послужила, видимо, той таинственной, неосознанной причиной, тем пустяком, который вызвал в нем первый порыв симпатии ко мне; и эта симпатия все росла и крепла в течение шести лет духовного общения.

Не раз за эти годы Фрадике с приятным чувством вспоминал мое «любезное намерение» — обвить его шею руками Жанны Морле. Был ли он тронут этим поэтичным и окольным способом воздать должное его мужскому обаянию? Не знаю. Но когда мы встали из-за стола, чтобы идти смотреть на иллюминацию, Фрадике Мендес уже говорил мне «ты» — открыто, сердечно, даже задушевно.

Иллюминации на Востоке — так же, как у нас в Миньо — устраиваются при помощи глиняных или стеклянных плошек, в которых горит свеча или фитиль из пакли. Но в Каире плошки развешиваются в таком безмерном изобилии (когда их оплачивает паша), что ветхий, полуразрушенный город, украсившись ими во славу аллаха, становится в полном смысле слова ослепительным — особенно для глаз европейца, нашпигованного литературой и склонного видеть на современном Востоке повторение чудес, вычитанных в «Тысяче и одной ночи» (которой никто никогда не читал).

В праздник байрама, оплачиваемый хедивом, плошкам не было числа, и все контуры зданий, самые ломаные и самые неопределенные, сияли в темноте, очерченные яркой полоской света. Длинные ряды сверкающих точек обрисовывали края террас; над открытыми дверями горели огненные подковы; со всех навесов ниспадала искрящаяся бахрома; огоньки плошек при каждом дуновении ветра дрожали и мерцали среди листвы деревьев; минареты, которые восточная поэзия издавна сравнивает с руками земли, простертыми к небу, блистали во мраке ночи роскошными браслетами, словно и впрямь то были руки красавиц, нарядившихся для праздничного вечера. Как будто весь день (сказал я Фрадике) на грязный город сыпалась золотая

пыль и густо осела на карнизе каждой мушрабие, на выступах каждой веранды, и теперь ярко засветилась с наступлением черной тихой ночи.

Но для меня еще более нежданным и чудесным был вид праздничной толпы, которая заполнила все площади и базары говором и клубами пыли. Фрадике объяснял мне это зрелище, как объясняют детям, что нарисовано в книжке с картинками. Как глубоко и подробно мой необыкновенный соотечественник изучил Восток! Он знал все об этих людях, столь различных по цвету кожи и одежде: их национальность, историю, обычаи, место в мусульманской цивилизации. В застегнутом на все пуговицы пальто, с ременчатым хлыстиком под мышкой (в Египте это считается атрибутом власти), он не спеша указывал мне то на одну, то на другую живописную фигуру и давал объяснения, а я слушал его с жадным любопытством. Все это похоже — сказал я ему, смеясь,— на фантастический маскарад, устроенный в ночь безумия сумасшедшим этнографом, задумавшим собрать вместе все разновидности и типы семитов, какие только существовали на протяжении веков. Вот проворные, веселые феллахи в длинных рубахах из хлопчатобумажной ткани; вот угрюмые бедуины — они степенно вышагивают обтянутыми в полотно ногами, и поперек груди у них висят тяжелые ятаганы в красных ножнах; вон там — абадиты с копной волос на темени, из которой торчат длинные шипы дикобраза, окружая голову черным ореолом; те люди с надменной осанкой, чьи длинные усы развеваются по ветру, а богатое оружие блистает на шелковом поясе, в коротких камзолах с буфами и с газырями на груди — македонские арнауты; а те, похожие на прекрасные греческие статуи из черного дерева,— жители Сеннара; вон те, с желтыми платками на голове, длинная бахрома которых свисает наподобие занавески из золотых нитей,— наездники из Хеджаза. Сколько еще там было всяких племен и народностей — всех он мне показывал, обо всех мог рассказать! Грязные евреи с завитыми в штопор пейсами; копты в одеяниях на манер сенаторских тог; черные солдаты из Дарфура в полотняных блузах, с неотмытыми пятнами грязи и крови; улемы в зеленых тюрбанах; персы в войлочных клобуках; нищие из мечети, выставлявшие напоказ свои язвы; нарядные и умащенные маслами турецкие писцы в расшитых золотом жилетах... Всех не перечесть! То был головокружительный карнавал, в пестроте которого то туда, то сюда двигались какие-то огромные, словно надутые воздухом, мешки, покачиваясь на трусивших рысцой осликах с упряжью из красного сафьяна: то были женщины!

И вся эта многоцветная, шумная толпа кружилась водоворотом под рокот бубнов, воззвания к аллаху, пронзительные стоны даурбака и протяжные песни, ни с чем не сравнимые арабские песни, исполненные такого печального и острого сладострастия, что, как выразился Фрадике, они «проникают в душу царапающей лаской». Кое-где среди ветхих, облупившихся домишек возвышался белый фасад: это был дворец какого-нибудь шейха или паши, с аркадой вокруг веранды,— и в глубине их, в безмолвном гареме, виднелись шелковые драпировки, золотое шитье, сверкали огни в хрустальных люстрах. Нет-нет там мелькал тонкий стан под светлым покрывалом... Тогда толпа замирала, смолкала, и из всех уст вырывался жаркий вздох восхищения.

Так гуляли мы, и вдруг, при выходе из Моуджика, Фрадике остановился и весьма торжественно приветствовал «салямом» какого-то бледного молодого человека с горящими глазами. Это восточное приветствие состоит в том, что вы прикасаетесь пальцами к своему лбу, потом к губам и к сердцу. Я с улыбкой сказал Фрадике Мендесу, что завидую его знакомству с молодым человеком в зеленой тунике и персидском клобуке, на что он ответил:

— Это улема из Багдада, отпрыск древнего рода, человек большого ума... Одна из самых тонких и обаятельных личностей, с которыми мне пришлось встретиться в Персии.

Тогда, полагаясь на нашу все крепнувшую дружбу, я спросил моего спутника, что удерживало его в Персии один год и один день, как бывает в сказках. Фрадике без всякой рисовки объяснил, что пробыл так долго на берегах Евфрата потому, что случайно замешался в религиозное движение, которое росло и развивалось с 1849 года и достигло в Персии триумфального успеха. Движение это называется «бабизм». Сначала Фрадике привлекло к их секте любопытство: ему хотелось увидеть своими глазами, как зарождается и основывается новая религия. Но мало-помалу бабизм пробудил в нем живой интерес и желание включиться в ряды посвященных — не из восторга перед доктриной, но из уважения к апостолам. Мы углубились в менее людный и потому более подходящий для откровенных разговоров переулок, и Фрадике рассказал мне, что основоположником бабизма был некий Мирза-Мухамед, пророк, какие ежедневно появляются в беспрестанно кипящем котле религиозного брожения на востоке, где религия — наивысшая и важнейшая жизненная забота. Познакомившись через миссионеров с христианскими евангелиями, приобщенный ширазскими раввинами

к чистейшей традиции Моисеева закона, глубоко изучив гебризм — древнюю национальную религию Персии,— Мирза-Мухамед слил все эти учения с самой возвышенной идеей магометанства и объявил себя «Бабом». По-персидски «баб» означает «врата»: итак, он был вратами, единственными вратами, через которые люди могут проникнуть в сферу абсолютной Истины. Выражаясь точнее, Мирза-Мухамед считал себя привратником, которого бог поставил открывать верующим врата истины, и, следовательно, врата рая. Словом, он был чем-то вроде мессии и прошел весь путь мессии, ставший классическим: его первыми последователями были пастухи и женщины в какой-то безвестной деревне; он противостоял искушениям на некоей горе и выдержал все искупительные испытания; проповедовал новую веру, изъясняясь притчами; ужасал ученых-богословов в Мекке, предстал перед судом, перенес смертную муку и был не то обезглавлен, не то расстрелян в Тавризе, после рамадана.

Мусульманский мир (пояснил далее Фрадике) разделяется на два религиозных течения: шиитов и суннитов. Персы — шииты, турки — сунниты. Расхождение между ними, в сущности, скорее политическое и национальное, чем теологическое; и тем не менее феллах с Нила презирает перса с Евфрата именно за то, что тот еретик и собака. Особенно ярко и непримиримо выступают эти раздоры, когда шиитам и суннитам надо высказать свое мнение о каком-нибудь новом истолковании веры или о новом пророке. Бабизм встретил враждебный прием у шиитов, воздвигших на него гонение, и уже одно это само по себе означало, что сунниты примут его сочувственно и с почтением...

Из этой мысли и исходил Фрадике. В Багдаде он сблизился с одним из самых энергичных и влиятельных апостолов бабизма, Саидом эль-Суризом (излечив его сына от болотной лихорадки при помощи fruit salt [1]), и как-то раз, беседуя с ним на террасе обо всех этих возвышенных делах, посоветовал попробовать распространить бабизм среди земледельцев нильской долины и кочевников Ливии: у сторонников суннитской секты бабизм должен был найти благожелательный прием. Следуя традиционной эволюции всех сектантских движений, которые на Востоке (как, впрочем, и повсюду) поднимаются от бесхитростных масс народа к образованным классам, эта новая волна религиозного воодушевления, начав свое движение среди феллахов и бедуинов, докатится до мечетей Каира, проникнет, быть может, даже в Эль-Азхар, главный университет всего мусульманского мира;

---

[1] Растительной соли *(англ.)*.

молодые улемы составят ядро юных энтузиастов, всегда готовых принять новую и воинствующую проповедь. Здесь бабизм приобретет богословский авторитет и литературный лоск, что позволит ему с успехом атаковать твердыни магометанской догмы. Эта мысль запала в душу Саида эль-Суриза. Бледный юноша, с которым Фрадике только что обменялся салямом, был послан от бабистов в Мединет-Абу (древние Фивы), чтобы узнать мнение шейха Али Хуссейна, который благодаря своей учености и добродетелям пользовался огромным влиянием во всей долине Нила. Фрадике, не находивший более на Западе ничего увлекательного и искренне интересуясь красочным явлением нового бога, тоже решил направиться в Фивы. Там он должен был встретиться с посланцем Саид эль-Суриза в Бени-Суеффе, на берегу Нила, когда луна пойдет на ущерб...

Я не поручусь за точность этих воспоминаний: с тех пор прошло слишком много лет. Знаю только, что признания Фрадике, выслушанные среди праздничного шума в Каире, поразили мое воображение. Баб, миссия к старому фиванскому шейху, новая вера, возникающая в недрах мусульманского мира, с неизбежным кортежем мучеников и энтузиастов, возможное основание бабистской империи — все это возвеличивало Фрадике Мендеса в моих глазах до грандиозных размеров. До сих пор я не был знаком ни с одним человеком, который был бы причастен к событиям столь возвышенным. Внимая тайнам, которые открывал мне Фрадике, я ощущал и гордость и страх. Вероятно, если бы апостол Павел, накануне отплытия в Грецию для проповеди божьего слова язычникам, гулял со мной по узким улочкам Селевкии и делился своими надеждами и мечтаниями, я испытывал бы такие же чувства!

Беседуя так, мы вошли во двор мечети Эль-Азхар, где праздник байрама бушевал еще шумней и сверкал еще ослепительней. Но меня уже не могли поразить диковины мусульманского базара: ни альмеи, плясавшие в красно-золотом мелькании блесток, ни поэты пустыни, воспевавшие деяния Антара, ни дервиши под брезентовыми навесами, размеренно подвывавшие, славословя аллаха... Баб владел моими мыслями, я молчал и смутно думал о том, что надо бы и мне принять участие в этом духовном походе! Почему бы не отправиться в Фивы вместе с Фрадике? В самом деле, почему? Я молод, полон воодушевления... Не благородней, не достойней ли для мужчины вступить на поприще восточного евангелиста, чем банальнейшим образом вернуться в банальнейший Лиссабон и, сидя под газовым рожком, строчить статейки для «Португальской газеты»? И мало-

помалу из этих мыслей и грез возникло туманное видение, подобное облаку пара над кипящим горшком: я — ученик Баба, и в эту ночь багдадский улема приобщает меня к Истине. Я отправляюсь проповедовать и насаждать бабистскую веру. Куда же я поеду? Конечно, в Португалию, спасать в первую очередь самые родные мне души. Как святой Павел, я всхожу на галеру; бури бушуют вокруг моего апостольского корабля; образ Баба является мне над водами, и ясный взор Учителя наполняет мою душу несокрушимой силой. И вот, наконец, я вижу землю и светлым утром вхожу в светлое устье Тэжо, на чьих берегах уже столько веков не показывался ни один посланец божий. Издали я шлю проклятие храмам Лиссабона, вместилищам дряхлой и нечистой веры. Вот я высаживаюсь на берег и, бросив на произвол судьбы свой багаж, с чувством уже неземного отречения от еще земных благ бегу вверх по славной старой улице Розмаринов, становлюсь посреди площади Лорето в тот час, когда столоначальники не спеша выходят из-под Аркады, раскидываю руки и кричу: «Я есмь Врата!»

Апостолом бабизма я не стал, но, размечтавшись, потерял в толпе своего спутника. Сам я не мог бы добраться до отеля «Шеперд», да и как спросить дорогу, если знаешь по-арабски только два самых необходимых слова: «вода» и «любовь»? Я пережил несколько тревожных минут, мечась по внутреннему двору Эль-Азхара, спотыкаясь о переносные жаровни, на которых кипел кофе, неосмотрительно натыкаясь на неприветливых, вооруженных до зубов бедуинов. Я уже начал просто кричать, громко взывая к Фрадике, как вдруг увидел его самого: он преспокойно смотрел на танцующую альмею.

Но он сразу же и отошел, пожав плечами, и даже не позволил мне поглазеть на поэта, который стоял в нескольких шагах, в толпе очарованных феллахов и магребинцев, опиравшихся на копья, и нараспев, заунывно читал длинные полосы замасленной бумаги. Танец и поэзия — заметил Фрадике — два великих искусства Востока, находятся в состоянии самого жалкого упадка. Оба утратили чистоту традиционного стиля. Альмеи, развращенные примером казино в Эзбекие, где посетители отплясывают канкан, уже оскверняют рисунок старинного арабского танца, вскидывая ногу в воздух на нахальный марсельский лад! В поэзии торжествует посредственность с примесью фокусничанья. Никто не ценит, никто почти уже и не знает утонченных форм персидского классицизма. Источник вдохновения иссяк у мусульман; бедная восточная поэзия повторяет все одни и те же одряхлевшие темы, сдабривая их мишурной пышностью и посте-

пенно скатываясь, вслед за поэзией Европы, к самому варварскому парнассианству...

— Одним словом,— пробормотал я,— Восток...

— Так же бездарен, как Запад.

Мы медленно шли обратно в отель, и по пути Фрадике, докуривая сигару, говорил, что ныне дух Востока живет только в философии; каждое утро душу мусульманина потрясает проповедь новой морали — дар метафизиков базара и философов пустыни...

На следующий день я проводил Фрадике в Булак, откуда он должен был отплыть в Верхний Египет. Дебарие дожидалась его, причаленная к столбам в районе Старого Каира, среди барок из Ассуана, груженных чечевицей и сахарным тростником. Солнце скрылось за Ливийскими песками, небо отходило ко сну — прозрачное, без единого облачка, чистое во всей своей глубине, как душа праведника. Вереница поющих женщин с желтыми кувшинами на плече спускалась к благодатным водам Нила; и ибисы, прежде чем укрыться в гнездах, радостно взмахивали крыльями, словно благословляя кровли родного города, как в те времена, когда еще были богами.

Вслед за Фрадике я вошел в обитую тканью комфортабельную каюту с застекленными окнами. По стенам висело оружие на случай утренней охоты; груды книг дожидались своего часа, когда наступает знойное время дня и лодка медленно тянется на бечеве. Мы постояли на палубе, молча созерцая берега, которые на протяжении столетий пленяли воображение людей, ибо люди чувствовали, что здесь жизнь исполнена особенной благодати и высших радостей. Сколько их, со времен диких пастухов, разрушивших Танис, останавливалось на этом берегу и, точь-в-точь как мы, глядело на эти воды, на это небо — алчными, восторженными или мечтательными глазами: цари Иудеи, цари Ассирии, цари Персии; величавые Птолемеи, наместники Рима и наместники Византии; Амру, посланец Мухаммеда, и Людовик Святой, посланец Христа; Александр Великий, грезивший о Восточной империи, и Бонапарт, воскресивший эту необъятную грезу; и еще все те, кто приходил сюда только для того, чтобы потом рассказать людям о прекрасной земле — от словоохотливого Геродота до первого из романтиков, бледного позера, поведавшего миру о страданиях Рене! Всем знаком дивный, не имеющий равных пейзаж. Нил течет величаво, как патриарх, неся изобилие. По ту его сторону зеленеют плодовые сады Родаха и кружат в небе голуби. Еще дальше — пальмы Гизе, тонкие, словно бронзовый рисунок по золоту заката, и под ними дерев-

Переписка Фрадике Мендеса

ни, простые, как гнезда. Три пирамиды, гордясь своей вечностью, высятся на краю пустыни. Достаточно этого. Душа навсегда взята в плен и помнит. Чтобы жить среди этой дивной красоты, народы снова и снова вступают между собой в многолетние войны.

Но час отплытия наступил. Я обнял Фрадике с каким-то особенным волнением. Поднятый парус вздулся под теплым ветром, пробегавшим зыбью по листве мимоз. Лодочник прошел на нос суденышка, поднял ладони к небу, воскликнул: «Отчалим с именем аллаха!» Один из гребцов ударил по струнам даурбака, другой взялся за глиняную флейту; и под гул благословений и песен просторная барка двинулась вперед, разрезая священную волну и унося в Фивы моего несравненного друга.

IV

Прошло несколько лет. Я не встречался с Фрадике Мендесом: все это время он путешествовал по Западной Европе, а я — по Америке, Антильским островам и по республикам Мексиканского залива. А когда я наконец осел в одном из старых земледельческих графств Англии, Фрадике, в пароксизме «этнографического любопытства», о котором он пишет Оливейре Мартинсу, снова пустился в долгий путь: в Бразилию, в пампы, по землям Чили и Патагонии.

Но нить взаимной симпатии, связавшая нас в Каире, не порвалась. Как ни была она тонка, мы не выпускали ее из рук в водовороте насущных забот, которые то и дело возникали на несовпадавших путях нашей жизни. Примерно раз в три месяца мы обменивались письмами, на пяти-шести листках почтовой бумаги. Я беспорядочно нагромождал в них образы и впечатления, Фрадике аккуратно заносил мысли и факты. Кроме этого, я получал вести о Фрадике от моих старых друзей: живя в Лиссабоне довольно длительное время — с осени 1875 до лета 1876 года,— он близко сошелся со многими членами нашего кружка и внес в их жизнь много очарования и новых мыслей.

При всем различии темпераментов и мировоззрений, все они, как и я, оценили этого обаятельного человека. Автор «Современной Португалии» писал мне в ноябре 1877 года: «Я встретил здесь твоего Фрадике; на мой взгляд, это самый замечательный португалец XIX века. Он похож на Декарта! Та же страсть к путешествиям, которая побуждала философа откладывать в сторону книги и «изучать великую книгу вселенной»; та же

любовь к роскоши и блеску, которая у Декарта выражалась в тяге к посещению дворцов и военных лагерей; та же склонность окружать тайной свою жизнь, те же неожиданные исчезновения; такая же скрытая, но неистребимая гордость своим дворянским происхождением; та же спокойная отвага, то же странное сочетание любви к романтике и точности мышления, фантазии и геометрии. При всем этом, ему недостает серьезной, высшей цели, которой служили бы все эти прекрасные качества. Боюсь, вместо «Рассуждения о методе» он оставит после себя разве водевиль». Несколько позже Рамальо Ортиган с нежностью пишет о нем в письме к одному из друзей: «Фрадике Мендес — самое прекрасное, самое законченное произведение цивилизации, каким случилось наслаждаться моему взору. Я не знаю человека, богаче одаренного. У него есть все, чтобы побеждать и в искусстве и в жизни. Роза, украшающая его петлицу, всегда самая свежая, а мысль, рожденная его умом, всегда самая оригинальная. Он может пройти без остановки пять миль, побивает на состязании лучших гребцов Оксфорда, один уходит в пустыню охотиться на тигра, с хлыстом в руке бросается на отряд абиссинских копейщиков,— а вечером, в гостиной, одетый во фрак от Кука, с черной жемчужиной на ослепительно-белой манишке, смотрит на женщин с той же неотразимой, властной улыбкой, с которой только что смотрел в глаза лишениям, опасностям и самой смерти. Он фехтует, как кавалер ордена святого Георгия, обладает самыми точными и новыми познаниями в физике, астрономии, филологии и метафизике. Видеть этого джентльмена и путешественника в его комнате, в непринужденной домашней обстановке, среди чемоданов русской кожи, щеток с ручками из резного серебра, шелковых китайских халатов и карабинов Винчестера, когда он занят своим туалетом, выбирает духи, пьет чай, присланный великим князем Владимиром, и диктует лакею, почтенному и благовоспитанному, как мажордом Людовика XIV., телеграммы, в которых он сообщает о своем здоровье в парижские и лондонские будуары,— это поистине урок и пример самого лучшего вкуса. А потом он запирается от суетного света и читает в подлиннике Софокла!»

Автор «Смерти Дон-Жуана» и «Музы на каникулах» называл Карлоса Фрадике «Сент-Бёвом в Алкидовой оболочке». В сохранившемся у меня письме тех времен он объясняет появление Фрадике на свет следующим образом: «Однажды бог взял кусочек Генриха Гейне, кусочек Шатобриана, кусочек Брумме-ля, пламенеющие обломки искателей приключений эпохи Возрождения и щепотку высохшего праха «бессмертных» из Фран-

цузской Академии, налил в эту смесь шампанского и типографской краски, вымесил ее своими всемогущими руками, в несколько приемов слепил Фрадике и, швырнув его на землю, сказал: «Ступай и одевайся у Пуля!» Наконец, Карлос Майер, сожалея вместе с Оливейрой Мартинсом о том, что многообразным и недюжинным способностям Фрадике недостает высшей цели, охарактеризовал личность моего друга следующими вдумчивыми и тонкими словами: «Голова Фрадике отлично устроена и оборудована. Не хватает только идеи, которая взяла бы в аренду это помещение, поселилась в нем и стала хозяйкой. Фрадике — гений, на котором висит объявление: «Сдается жильцам».

В ту же зиму Фрадике познакомился с творцом «Современных од» и в одном из своих писем к Оливейре Мартинсу говорит о поэте с любовью и тонким пониманием. Последним из моих друзей свел с ним знакомство Ж. Тейшейра де Азеведо: это произошло летом 1877 года в Синтре, на вилле «Сарагоса», где Фрадике отдыхал после странствий по Бразилии и тихоокеанским республикам. Они часто беседовали и всегда расходились во мнениях. Ж. Тейшейра де Азеведо, человек нервный и страстный, не мог преодолеть своего отвращения к тому свойству Фрадике, которое он называл «флегматической трезвостью». Весь созданный для чувств, Тейшейра не мог полностью принять духовный мир человека, созданного для анализа. Большие знания Фрадике тоже не производили на него впечатления. «Ученость этого салонного педанта — просто-напросто словарь Ларусса, разведенный в одеколоне»... Наконец, некоторые аристократические привычки Фрадике (серебряные щеточки и шелковые сорочки), его язвительный голос, его умение излагать мысли самым безупречным и изысканным способом, манера пить шампанское с содовой водой и некоторые другие черты вызывали в моем старом товарище из переулка Гуарда-Мор непреодолимую враждебность. Но, как и Оливейра Мартинс, он признавал, что Фрадике — самый выдающийся португалец XIX века, и регулярно писал ему письма, в которых с ожесточением оспаривал все его взгляды.

В 1880 году (девять лет спустя после моего паломничества на Восток) я проводил святую неделю в Париже. Однажды вечером, после Оперы, я в одиночестве отправился ужинать у Биньона. Не успел я заняться устрицами и последними телеграммами из «Тан», как за газетой, которую я прислонил к графину, что-то забелело: жилет, манишка, галстук, лицо — все безупречной белизны, и очень спокойный голос проговорил: «Мы

расстались несколько лет назад на Булакской набережной...» Я с криком вскочил, Фрадике поднялся с улыбкой — и метрдотель даже попятился, пораженный бурной, чисто южной экспансивностью, с какой я обнял моего друга. С этого вечера началась по-настоящему наша дружба, которая не прерывалась в течение восьми лет, всегда ровная, тесная, не омраченная ни малейшей тенью. Я предпочел бы называть наши отношения *интеллектуальной близостью,* так как дружба, связывавшая нас, никогда не выходила за рамки чисто духовных интересов. И во время радостных встреч с ним — то в Париже, то в Лондоне, то в Лиссабоне,— и в моей обширной с ним переписке с 1880 по 1887 год, я входил в общение только с его интеллектом; я беспрерывно следил все это время за его мыслью, принимал в ней деятельное участие — но ничего не знал о жизни его чувств и сердца. И, по правде говоря, не очень любопытствовал узнать: вероятно, уже тогда я угадывал, что неповторимая оригинальность этого человека заключается в его мышлении; эмоциональная же сторона его существа была создана из обычной человеческой глины и обладала всеми несовершенствами этого материала. Надо сказать, что с пасхального вечера в Париже, положившего начало нашим близким отношениям, мы навсегда усвоили правило — несколько высокомерное и, быть может, педантичное — быть друг для друга существами чисто духовного порядка. Если бы я в это время создал самостоятельную философскую систему, или сформулировал заповеди новой религии, или похитил бы у зазевавшейся природы какой-нибудь из ее скрытых законов — Фрадике был бы первым, кого я ввел бы в курс своих занятий. Но я никогда не пошел бы к нему, чтобы поделиться личными переживаниями, и не стал бы посвящать его в свои надежды или разочарования. И Фрадике соблюдал со мной ту же целомудренную сдержанность; он являлся передо мной исключительно как существо мыслящее.

Я хорошо помню одно ясное майское утро, когда мы, разговаривая, шли под руку через Тюильрийский сад под цветущими каштанами. Фрадике обстоятельно развивал мысль о том, что неограниченная демократизация науки, ее распространение среди профанов — величайшая ошибка нашей цивилизации: этим мы подготовляем ее неминуемый нравственный крах... И вдруг, когда мы уже выходили на площадь Согласия, этот свободный философ, предрекавший в солнечный, зеленый майский день катастрофу и полную гибель нашего мира, внезапно останавливается и умолкает! Мимо нас быстрой рысью ехала по Рю-Руайяль запряженная породистой лошадью изящная карета. Внут-

ри, в атласном полумраке, я различил копну волос медового цвета. Фрадике торопливо пожимает мне руку, бормочет «до свиданья», подзывает пролетку, и извозчичья кляча уносит его натужным галопом вслед за каретой, в сторону Кэ-д'Орсэ. «Женщина!» — подумал я. Да, женщина, источник многих страданий для моего друга. Как явствует из письма к госпоже де Жуар, датированного «Май, суббота» и начинающегося словами «Вчера я философствовал с приятелем в Тюильрийском саду», Фрадике мчался в этой пролетке навстречу тяжелому и оскорбительному разочарованию. В тот же день вечером я, как было условлено, зашел к нему в старый особняк на улице Варенн, где он с рождества устроил свою резиденцию, обставив ее с благородным и скромным комфортом. Когда я вошел в зал, прозванный нами «Героическим» (так как стены его были украшены четырьмя гобеленами Луки Корнелия, изображавшими подвиги Геркулеса), Фрадике отошел от окна, у которого стоял, глядя на погружавшийся в сумерки сад, и спокойно направился ко мне, заложив руки в карманы шелкового пиджака. И, словно ничто другое не занимало его весь тот день, кроме нашей утренней беседы в Тюильрийском саду, он продолжал развивать свою мысль:

— Да, так я не успел договорить... Наука, дорогой мой, должна, как в прежние времена, таиться в святилищах. Другого пути спасения от нравственной анархии у нас нет. Наука должна укрыться в святилищах. Она должна быть вверена лишь коллегии мудрецов, которая оградила бы ее от любопытства черни... Это программа для будущих поколений!

Быть может, если бы я вгляделся в его лицо, то уловил бы на нем бледность, следы волнения; но тон его был прост, тверд,— тон ученого, всецело занятого развитием своей мысли. Другой человек, испытав за несколько часов до того столь оскорбительное и тяжелое разочарование, хотя бы облегчил душу какими-нибудь незначащими словами, вроде: «Да, друг мой, глупая штука жизнь», или другими подобными. А он заговорил о науке и о черни, четко формулируя для меня, а может быть, и для себя самого, свои мысли и заключения, чтобы мои глаза не могли заглянуть в горькие переживания его сердца или чтобы его собственные глаза не задерживались на них слишком долго.

В письме от 1883 года к Оливейре Мартинсу Фрадике пишет: «Человек, подобно древним царям Востока, должен являться взорам себе подобных не иначе, как всецело погруженным в дело всемогущих, то есть в мышление». Это гордое пра-

вило, которое было бы по плечу разве только Спинозе или Канту, он считал для себя законом. Во всяком случае, со мной он всегда держался именно так в продолжение всего нашего знакомства: он открывался мне полностью только с интеллектуальной стороны. Может быть, именно поэтому так велика была надо мной власть этого человека и так неотразимо очарование его личности.

V

В складе ума Фрадике или, точнее, в его способе мышления больше всего поражала чрезвычайная свобода в сочетании с чрезвычайной смелостью. Я не встречал человека менее подверженного власти готовых суждений; и, безусловно, никто не выражал свои собственные, нигде не заимствованные мысли с таким безмятежным хладнокровием. «Пусть геометрия утверждает целых тридцать столетий,— пишет он в письме к Тейшейре де Азеведо — что кратчайшее расстояние между двумя точками есть прямая; но если я нахожу, что от подъезда гостиницы «Универсаль» до подъезда Гаванского табачного магазина проще всего добраться через квартал святого Мартина и холм Благодатской церкви, то я прямо заявлю тридцативековой геометрии, что кратчайшее расстояние между двумя точками есть блуждающая и капризная кривая!» Провозглашать независимость мысли с такой безудержной фантазией — само по себе достойно удивления; но смело утверждать ее права перед лицом величавой традиции, вопреки догме и в противовес изречениям ученых оракулов — это уже смелость, которую следует считать блистательным исключением!

В другом письме к Тейшейре де Азеведо Фрадике рассказывает об одном поляке, профессоре Г. Корнусском, критике из «Швейцарского обозрения». «Его личный вкус,— пишет Фрадике,— весьма индивидуальный и весьма определенный, решительно отвергал многие произведения искусства и литературы, которые критика испокон века единодушно признает образцовыми,— например, «Освобожденный Иерусалим» Тассо, живопись Тициана, трагедии Расина, проповеди Боссюэ, наши «Лузиады» и многое другое. Но всякий раз, когда профессорский долг или обязанности критика повелевали ему сказать правду, этот сильный, бодрый человек, храбрый участник двух восстаний, говорил себе, трепеща: «Нет! Неужели мое суждение вернее всего того, что на протяжении веков говорили светочи человечества? Кто знает? Может быть, в этих произве-

дениях действительно есть величие, и только мой ум бессилен понять его?» И бедный Корнусский, унылый как осенняя ночь, продолжал толковать о хорах из «Аталии» и о нагой натуре Тициана и твердить: «Как это прекрасно!»

Мало кто, подобно несчастному Корнусскому, страдает от разлада между собственным и общим мнением. Все грешат тем же раболепием мысли, но с легким сердцем — потому ли, что ум наш не одарен той смелостью, какая нужна, чтобы оспаривать освященные традицией авторитеты, ибо их суждение признается безошибочным, а познания исчерпывающими; потому ли, что общепринятые воззрения, смутно брезжущие в нашей памяти после давно прочитанных книг и когда-то слышанных разговоров, начинают казаться нам нашими собственными мыслями; потому ли, наконец, что эти общие суждения постепенно и незаметно приучают нас мыслить в согласии с ними,— но так или иначе, приходится признать печальную истину: в наше время все склонны думать и чувствовать так, как до нас и вокруг нас думали и чувствовали другие. «Человек XIX века, то есть европеец (ибо, по существу, только европеец является человеком XIX века),— говорит Фрадике в письме к Карлосу Майеру,— дышит мутным и несвежим воздухом, зараженным миазмами банальности. Зараза эта исходит от сорока тысяч томов, которые Англия, Франция и Германия, потея и кряхтя, ежегодно раскладывают на всех перекрестках. В этих сорока тысячах томов бесконечно и нудно повторяются, иногда с небольшими прикрасами, три-четыре мысли и три-четыре наблюдения, унаследованные нами от античности и Возрождения. Государство распространяет инфекцию банальности по каналам своих учебных заведений, и это, о Каролус, называется «давать образование»! Ребенок, едва разбирающий по складам свою первую «Книгу для чтения», уже впитывает в себя отложения общих мест; и в дальнейшем, день за днем, он всю жизнь поглощает сию пищу; газеты, журналы, брошюры, книги пичкают его общепринятыми мыслями, пока весь его ум не пропитается клейкой жижей банальности и не станет столь же бесплодным, как чернозем, варварски утрамбованный песком и щебнем. Чтобы добыть из своего мозга хотя бы одну свежую, сильную идею, нынешний европеец должен предварительно удалиться в пустыню или пампасы и там терпеливо ждать, пока живой ветер природы, хорошенько продув его голову, очистит ее от мусора, накопившегося за двадцать веков истории литературы, и вернет его мозгу утраченную девственность. Поэтому я утверждаю, о Каролус Майерензис, что, если европейский ум

гордо пожелает вернуть себе божественную способность творить, он должен года на два отправиться на излечение от книжной цивилизации к готтентотам или патагонцам. Патагония действует на мозг точно так, как вишийская минеральная на печень: очищает от вредных отложений и восстанавливает естественное функционирование. После двух лет дикарского житья среди готтентотов, повинующихся лишь логике инстинкта, что останется у цивилизованного европейца от понятий о Прогрессе, Морали, Религии, Индустрии, Политической экономии, Обществе и Искусстве? Одни лохмотья — точно так же, как через полтора года жизни среди болот и чащ на нем останутся лишь лохмотья брюк и пиджака, вывезенных из Европы. Не имея к своим услугам книг и журналов, чтобы возобновить запас *готовых идей,* равно как и спасительного портного Нунеса, чтобы купить новый комплект *готового платья,* европеец вскоре обретет свое благородное первобытное состояние: телесную наготу и умственную оригинальность. Когда он вернется в Европу, перед нами предстанет могучий и беспорочный Адам, девственный в литературном отношении. Череп его будет очищен от всех понятий и сведений, нагромоздившихся там со времен Аристотеля, и он сможет бесстрашно приступить к самостоятельному рассмотрению дел человеческих. О Карлос, о ум, источающий остроумие, хочешь вернуться к Истокам и поехать со мной во вдохновительную Готтентотию? Там, свободные и голые, мы воткнем в землю наши мощные копья, раскинемся на солнечном припеке между пальмой и ручейком, которые будут питать наше тело, и станем слушать голоса женщин, чьи песни прольют нам в душу ту толику поэзии и мечты, без которых она не может жить... И тогда, держась за почерневшие от загара бока, мы будем с тобой кататься от смеха, вспоминая о великих философских системах, о великих нравственных учениях, о великих экономических преобразованиях, о великих искусствоведческих теориях и о великих надувательствах, свивших гнездо в нашей Европе, где толкутся, как в муравейнике, шапокляки, одуревшие от суеверий цивилизации, жажды золота, педантизма науки, обмана переворотов, всесилия рутины и глупого самолюбования!..»

Так говорил Фрадике. Но «самостоятельное рассмотрение дел человеческих», посильное (как он утверждал) лишь обновленному Адаму, побывавшему в Патагонии и очистившему свой ум от долголетней пыли и мусора литературной истории, сам он предпринял с небывалой энергией и увлечением, не покидая почтенных камней улицы Варенн. А для этого требовалось

истинное бесстрашие. В светском обществе, с которым Фрадике Мендеса связывали и вкусы и привычки,— в обществе, где все регламентировано, откуда изгнаны воображение и инициатива, где нет места никакому своеобразию, а мысли (если они хотят нравиться) должны, как и манеры, быть общепринятыми,— в этом обществе Фрадике с его непокорной и неожиданной свободой суждений мог легко прослыть любителем оригинальничания, падким на дешевую славу фатом, желающим, чтобы его заметили. Человек с самобытным и свежим умом, одаренный способностью мыслить оригинально и не скрывающий бурного, неудержимого кипения своей мысли,— такой человек еще более неприемлем для общества, чем неотесанный мужлан, чья неприглаженная шевелюра, громкий хохот и чрезмерная жестикуляция не согласуются с общепринятыми правилами поведения. О человеке с таким своеобразным, непричесанным образом мыслей сразу начнут неодобрительно шептать: «Он оригинальничает! Какие претензии!» А между тем Фрадике ничего так не презирал, как оригинальничание и претенциозность. Он не носил никаких галстуков, кроме темных. Он никогда не оказался бы в числе тех, кто, не питая ненависти к Диане, идет с пылающим факелом поджигать ее храм в Эфесе — для того лишь, чтобы вслед ему перешептывались на площадях перепуганные жители. Фрадике Мендес ни за что не согласился бы — так пишет он в одном письме к госпоже де Жуар — «одеть Истину в туалет из модного магазина ради права ввести ее в салон Анны де Варль, герцогини де Варль д'Оржемон. Если я появлюсь в ее особняке, то моя спутница войдет туда со мной нагая, совершенно нагая, и будет ступать по коврам босыми ногами, не пряча от глаз собравшихся гостей свои благородные голые сосцы. Amicus Mundus, sed magis amica Veritas [1]. Это прекрасное латинское изречение означает, дорогая крестная, что, по моим наблюдениям, правда мила женщинам и противна мужчинам, за что я люблю ее еще сильней и преданней».

Независимость духа, широта интересов и предельная честность мешали моему другу увлечься всецело чем-нибудь одним и на этом одном остановиться; зато качества эти отлично подходили для той особой умственной работы, которую Фрадике предпочитал всякой другой. В 1882 году он писал Оливейре Мартинсу: «К сожалению, я не гожусь ни в ученые, ни в философы. Я не принадлежу к числу добросовестных, полезных людей, по темпераменту своему предназначенных для низшей

---

[1] Свет мне дорог, но истина дороже *(лат.)*.

аналитической работы, которая носит название науки и сводит разрозненные факты к классам и закономерностям, объясняющим отдельные формы существования вселенной; не принадлежу я и к числу людей не столь положительных, но гениальных, по своей одаренности предназначенных для высшей аналитической работы, которая носит название философии и сводит отдельные классы и закономерности к общим формулам, объясняющим самую сущность вселенной. Итак, не будучи ни ученым, ни философом, я не могу содействовать благу себе подобных: не могу улучшить их благосостояние силой науки, производительницы богатств, и не могу возвысить их духовно силой философии, вдохновительницы поэзии. Доступ в историю также для меня закрыт — ибо если литератору достаточно обладать талантом, то историк обязан обладать добродетелью. А я!.. Следовательно, я могу быть лишь просто человеком, который с величайшим интересом и вниманием присматривается к фактам и впитывает идеи, следуя своей дорогой. В настоящее время, милый мой историк, лучшее эгоистическое наслаждение моего ума состоит в том, что я подступаю к какой-нибудь идее или какому-нибудь факту, проскальзываю в самую сердцевину, тщательно осматриваю, исследую то, что не исследовано, радуюсь неожиданностям и интеллектуальным эмоциям, которые эти идеи и факты могут дать, извлекаю тот урок или ту частицу истины, которая таится в них, а затем выбираюсь наружу и хладнокровно, спокойно и без спешки приступаю к другому факту или другой идее; и чувствую себя так, словно посещаю, один за другим, города какой-нибудь страны, где процветают искусства и царит роскошь. Так я когда-то путешествовал по Италии, очарованный блеском красок и форм. По темпераменту и складу ума я не что иное, как турист».

Такого рода туристов немало и во Франции и в Англии; но, в отличие от них, Фрадике не ограничивался равнодушными заметками стороннего наблюдателя, столь привычными для иных европейцев: путешествуя по чужим городам, они не расстаются с европейскими понятиями и вкусами и замечают только воздушные силуэты зданий и пестрые одеяния толпы; Фрадике же (чтобы оставаться в рамках предложенного им образа) превращался в гражданина тех городов, которые он посещал. Он был глубоко убежден, что надо самому хотя бы на мгновение поверить, если хочешь понять чью-либо веру. Так, он сделался бабистом, чтобы понять и раскрыть для себя бабизм. В Париже он стал членом революционного клуба «Батиньольские пантеры» и ходил на их заседания в грязном пид-

жаке, заколотом булавкой, в надежде сорвать там «цветок какой-нибудь поучительной экстравагантности». В Лондоне он вступил в число «обрядовых позитивистов», которые в праздники контистского календаря возжигают ладан и мирру на алтаре Человечества и венчают розами бюст Огюста Конта. Он на некоторое время сблизился с теософами, внес крупную сумму денег на основание газеты «Спирит» и сам, закутанный в полотняный балахон, председательствовал на спиритических сеансах на улице Кардинэ, где вызывал духов, восседая между двумя знаменитыми медиумами: Патовым и леди Торган. Однажды он целое лето прожил в Сео-де-Урхель, католической цитадели карлизма, чтобы, по его выражению, «выяснить, какие побуждения и лозунги создают карлиста; потому что всякий сектант повинуется реальности побуждения и иллюзии лозунга». Случилось Фрадике быть и наперсником князя Кобласкина, ибо ему хотелось «разобрать на части и посмотреть, как устроен мозг нигилиста». Он готовился (когда смерть внезапно настигла его) к новой поездке в Индию, чтобы стать подлинным буддистом и исчерпывающим образом постичь буддизм, на котором он сосредоточил свою любознательность и критическую мысль в последние годы жизни. О Фрадике Мендесе можно было бы сказать, что он был последователем всех религий, членом всех партий, учеником всех философов — блуждающей кометой, летящей сквозь сонмы идей, радостно упиваясь ими, получая от каждой частицу их субстанции, оставляя каждой из них частицу своего тепла и энергии. Люди, знавшие Фрадике поверхностно, называли его дилетантом. Нет! Глубокая серьезность (earnestness, как говорят англичане), с которой он доискивался реальной сути вещей, придавала его жизни ту значительность и действенность, в отсутствии которых уличал дилетантов Карлейль... В самом деле, дилетант порхает среди идей и фактов, подобно мотыльку (с которым его и сравнивают испокон веку). Вот он садится на лепесток, вот снова пускается в легкий полет, находя в этом изменчивом непостоянстве наивысшее наслаждение. Но Фрадике был подобен пчеле: из каждого растения он терпеливо добывал свой мед; я хочу сказать, из каждой веры он извлекал ту частицу истины, которая непременно в ней есть, раз люди из поколения в поколение сохраняют верность ей и свое страстное к ней внимание.

Таков был метод этого неугомонного и возвышенного ума. Что же было наиболее существенным и неотъемлемым в мышлении Фрадике? Насколько я понимаю — умение воспринимать

и проникать в самую суть вещей. В одном из своих писем к Антеро де Кенталу (письме чрезвычайно важном, при некоторой туманности мысли) Фрадике говорит: «Всякое явление обладает реальностью. Слово «реальность» не следует здесь рассматривать как точный философский термин: я употребляю его приблизительно, наугад, на ощупь, чтобы им обозначить в меру возможности некое трудно уловимое понятие, едва ли сводимое к словесному выражению. Итак, всякое явление обладает относительно нашего рассудка и его познавательной способности своей реальностью, то есть некоторыми существенными чертами или (выражаясь образно, как советует Бюффон) известными контурами, которые его ограничивают, определяют, придают ему собственный облик, выделяют его из диффузной совокупности неделимого мира и составляют точную, реальную и неповторимую форму его существования. Но невежество, заблуждения, предвзятые мысли, традиция, рутина и, главное, самообман образуют для нас вокруг каждого явления некую туманную оболочку, которая затушевывает и искажает его точные контуры и мешает умственному взору видеть его истинную реальную и неповторимую форму существования. Это похоже на лондонский туман, скрывающий очертания домов... Я чувствую, что выражаю свою мысль неясно и неполно. За окном на светлом, ясном небе сияет солнце и заливает светом мой монастырский садик, утонувший под снегом; в чистом, светлом воздухе зимы все приобретает упругую реальность, и только мой ум потерял гибкость и текучесть философского мышления: я могу изъясняться только при помощи фигур, вырезанных из бумаги ножницами... Но ты поймешь меня, добрый и мудрый Антеро! Случалось ли тебе бывать в Лондоне осенью, в ноябре? В ноябрьское утро на лондонской улице бывает трудно различить, что представляет собой какая-то туманная масса, темнеющая перед тобой: статуя ли это героя или каменная стена? Какой-то сероватый мираж окутывает весь город — и, думая войти в храм, с удивлением видишь, что попал в трактир. Для большинства людей точно такой же туман окутывает реальность мира и бытия. И потому почти всякий их шаг — это запинка и почти всякое их суждение — ошибка; они постоянно путают храм с трактиром. Редко встречаешь умственное зрение настолько острое и сильное, чтобы оно способно было видеть сквозь этот туман и различать истинный контур реального. Вот что я хотел сказать, или, вернее, пролепетать».

Так вот, Фрадике был обладателем такого редкостного умственного зрения. Даже одна его манера медленно обращать глаза на какой-либо предмет и «молчаливо вглядываться» (как выражался Оливейра Мартинс) уже раскрывала этот процесс концентрации и нацеливания умственного зрения, подобного сконцентрированному и нацеленному пучку лучей, под которым постепенно рассеивается туман и реальность выступает на свет в своей безошибочно точной и единственной форме.

Самым замечательным проявлением этого великолепного дара была его способность давать определения. Ум его видел с величайшей верностью, дар слова позволял передавать мысль с величайшей точностью,— и потому он умел определить сущность всякого явления глубоко и безошибочно. Помню, однажды вечером, в его парижской квартире на улице Варенн мы горячо спорили о природе искусства. Были приведены все определения искусства, какие давались, начиная с Платона; были придуманы новые — выражавшие, как обычно в таких случаях, более узкое понимание предмета, связанное с личным восприятием говорящего. Фрадике довольно долго молчал, пристально глядя в пространство. Наконец, медленно (эту медлительность многие люди, мало знавшие его, называли «академической») и тихо он сказал в надолго установившейся почтительной тишине: «Искусство — это образ природы, нарисованный воображением».

И я, безусловно, не знаю более исчерпывающего определения искусства! Прав был один наш общий друг, человек со смелой фантазией, когда говорил: «Если бы господь бог, сжалившись над нашим бессилием, пожелал в один прекрасный день открыть нам оттуда, из своей небесной пустыни, окончательное объяснение искусства, то в заоблачных громах мы вновь услышали бы оглушительное, как грохот сотни боевых колесниц, определение Фрадике!»

Редкая одаренность Фрадике опиралась на солидную и разностороннюю культуру. Опорой для исследовательской работы ему служили прочные и обширные познания. Его классические штудии были весьма основательны, благодаря чему в пору своего увлечения декоративной поэзией он смог написать на вульгарной латыни такую прекрасную небольшую поэму, как «Laus Veneris tenebrosae» [1]. Он свободно владел языками трех великих мыслящих народов — французским, английским и немецким. Знал он также арабский язык и, если верить Рпазу-Эф-

---

[1] «Хвала сумрачной Венере» *(лат.)*.

фенди, летописцу султана Абдул-Азиза, изъяснялся по-арабски бегло и правильно.

Естественные науки он очень любил и много ими занимался; неутолимая любознательность побуждала его изучать прилежно и с увлечением все то, из чего так стройно и совершенно слагается вселенная, начиная с насекомых и кончая звездами. Он изучал природу со страстью, вкладывая в это всю свою душу, ибо любил ее, особенно растения и животных, нежно и как-то по-буддийски. «Я люблю природу,— писал он мне в 1882 году,— ради нее самой, и в совокупности и в частностях; люблю и красоту и уродство ее неисчислимых форм, люблю ее как осязаемое и многообразное проявление того единства, той неуловимой чувствами высшей реальности, которой каждая религия и каждая философия дает особое имя; а я поклоняюсь ей под именем Жизни. Словом, я обожаю жизнь, и все ее формы: розу и язву, созвездие и — страшно вымолвить — советника Акасио. Я обожаю жизнь и, следовательно, обожаю все — ибо все, даже смерть, есть жизнь. Мертвое тело, лежащее в гробу,— такой же элемент жизни, как стремительно летящий в поднебесье орел. И вся моя религия вмещается в Афанасьевском символе веры, но с небольшим изменением: «Верую в Жизнь, всемогущую, вечную, сотворившую небо и землю...»

Но в то время, когда мы стали близкими друзьями, в 1880 году, его неутомимая мысль предпочитала социальные науки; особенно интересовало его все, связанное с доисторическим периодом жизни человечества. Он увлекался антропологией, лингвистикой, мифологией, изучением рас и организации первобытных обществ. Почти каждые три месяца в квартиру на улице Варенн прибывали груды книг, присланных издательством Ашетт. Новые и новые пачки специальных журналов громоздились на полу, покрытом караманским ковром,— и это значило, что какое-то направление науки пробудило настойчивый и страстный интерес моего друга. Я сам был свидетелем того, с каким воодушевлением он занимался мегалитическими памятниками Андалузии; озерными постройками; мифологией арийских народов; халдейской магией; расами Полинезии; обычным правом кафров; христианизацией языческих богов... Эти неутомимые изыскания продолжались до тех пор, пока они давали ему эмоциональные радости или привлекали новизной.

В один прекрасный день эти журналы и книги исчезали, и Фрадике победоносно заявлял, расхаживая широкими ша-

гами по очистившемуся ковру: «Я исчерпал весь сабизм!» — или: «Я извлек из полинезийцев все, что можно».

Но одной наукой он занимался постоянно и с особенным рвением: это была история. «С малых лет,— писал Фрадике Оливейре Мартинсу в одном из своих последних писем, в 1886 году,— я страстно люблю историю. Угадай почему, о историк! А потому, что она внушает мне приятное и успокоительное сознание человеческой солидарности. Когда мне минуло одиннадцать лет, бабушка, сочтя необходимым приучить мальчика (как она выражалась) к суровым сторонам жизни, вдруг вырвала меня из мирной дремоты, в которой протекали уроки падре Нунеса, и послала в школу ордена терциариев. Садовник отводил меня туда за руку; каждый день бабушка торжественно вручала мне медяк на покупку в кондитерской у тети Марты булочек для завтрака. Садовник, медяк, булочки и вообще все эти новые порядки уязвляли мою непомерную гордость юного дворянчика, ибо низводили меня на скромный уровень сыновей нашего управляющего. Но вот однажды, перелистывая иллюстрированную «Энциклопедию римских древностей», я с удивлением прочел, что в Риме (в великом Риме!) мальчики тоже по утрам ходили в школу, и их, так же как меня, отводил туда за руку раб, именовавшийся капсарием; юные римляне тоже покупали булочки у какой-нибудь тогдашней тети Марты с Велабра или с Карин и съедали их за завтраком, называвшимся Ientaculum. И в тот же миг, дорогой мой, почтенная древность этих обычаев сняла с них тот налет вульгарности, который казался мне столь унизительным! Раньше я ненавидел их за то, что они сближали меня с сыновьями поверенного Силвы, а теперь я стал уважать их за то, что они сближали меня с сыновьями Сципиона. Покупка булочек стала для меня неким обрядом, совершаемым издревле всеми школьниками, и мне тоже было дано совершать его, в знак почетной солидарности с великими тогоносцами. Конечно, тогда я не отдавал себе в этом вполне ясного отчета. Но с тех пор я входил в лавку тети Марты с высоко поднятой головой и горделиво думал: «Так поступали и римляне!» В то время я едва дорос до размеров готского меча и был неравнодушен к толстушке, жившей в конце улицы...»

В том же письме, но в другом месте Фрадике пишет: «К истории меня привела жажда единства или, лучше сказать, отвращение ко всяким перерывам, пропускам, белым пятнам и пустым пространствам, о которых ничего не известно. Я путешествовал всюду, где только можно было путешествовать;

я перечитал все книги о сухопутных походах и морских экспедициях, так как не мог примириться с мыслью, что я, житель земли, не знаю земного шара; я испытывал потребность обследовать все его концы и пределы и ощутить неразрывное единение того клочка земли, на котором стоят мои ноги, со всей остальной землей, загибающейся за линию горизонта. И поэтому я неустанно изучаю историю: я должен узнать и понять все о человечестве, к которому принадлежу, и ощутить неразрывную связь моего существа со всеми людьми, жившими до меня. Возможно, ты пожмешь плечами: «Обычное любопытство, и только!» Но, друг мой, не презирай любопытство! Это общечеловеческий импульс широты чрезвычайной, и, как всякий человеческий импульс, охватывает все: от ничтожного до великого. С одной стороны, любопытство подстрекает подслушивать у дверей, с другой стороны — побуждает открыть Америку!»

Познания Фрадике в истории действительно поражали полнотой и детальностью. Один из наших друзей воскликнул както с той необидной иронией, которой люди кельтской расы умеют подчеркнуть и уравновесить восхищение; «Ох уж этот Фрадике! Вытаскивая из кармана портсигар, он дает глубокий, кристально ясный синтез Пелопоннесской войны; а раскуривая сигару, описывает фасон пряжки на поясе Леонида и объясняет, из какого металла она была сделана!» В самом деле, способность к философскому осмыслению социальных перемен, затрагивающих огромные массы людей, и в то же время умение психологически достоверно воссоздавать индивидуальные характеры соединялись у Фрадике с точным до мелочей археологическим знанием жизни, быта, одежды, оружия, празднеств, обрядов всех времен и народов, начиная с ведической Индии и кончая императорской Францией. Его письма к Оливейре Мартинсу (о себастианизме, о нашей Восточной империи, о маркизе Помбале)[1] воистину поражают интуитивным проникновением, силой синтеза, точностью сведений, новизной освещения. И надо сказать, его эрудиция в археологических вопросах не раз помогала и многое разъясняла кропотливому восстановителю нравов и обычаев классической древности, старику Сумe-Рабеме, в его трудах живописца и ученого. Об этом говорил мне

---

[1] Эти письма представляют собой настоящие исторические исследования и по своим размерам не могли войти в настоящий сборник. Когда они будут объединены с другими разрозненными заметками и отрывками, то составят книгу, которую редактор, думается мне, мог бы озаглавить: «Стихи и проза К. Фрадике Мендеса». *(Прим. автора.)*

сам Сума-Рабема, поливая однажды вечером розы в своем саду в Челси.

Большим подспорьем служила Карлосу Фрадике его феноменальная память, которая все схватывала и все сохраняла. Она была поистине просторной и светлой кладовой, где хранились сведения, формы, факты — все это в полном порядке и полной боевой готовности. Наш общий друг Шамбрэ утверждал, что в смысле устройства, порядка и превосходного качества товаров с памятью Фрадике может сравниться лишь погреб Английского кафе.

Фрадике пополнял свое образование в путешествиях; путешествовал он беспрестанно, побуждаемый либо новым увлечением, либо неутолимой любознательностью. Интерес к одной лишь археологии четыре раза приводил его на Восток. Впрочем, по словам консула Ракколини, причиной его последнего полуторагодового пребывания в Иерусалиме был роман с одной из самых прелестных женщин Сирии, дочерью Авраама Коппо, богатейшего банкира из Алеппо; впоследствии она трагически погибла у берегов Кипра при кораблекрушении «Магнолии». Его полная приключений и опасностей экспедиция по Китаю, от Тибета (где он едва не лишился жизни за смелую попытку проникнуть в священную Лхасу) до Верхней Маньчжурии, была самой значительной из совершенных европейскими исследователями и дала богатейший материал относительно обычаев, образа правления, нравственных воззрений и литературы этого народа, «самого глубокого из всех народов,— как говорил Фрадике,— сумевшего найти те считанные нравственные принципы, которые по своей незыблемости способны увековечить создавшую их цивилизацию».

Изучая Россию и ее общественные и религиозные движения, Фрадике долгие месяцы колесил по земледельческим губерниям между Днепром и Волгой. Настойчивое желание выяснить правду о сибирских каторжных тюрьмах побудило его пуститься в тяжелый путь по степным дорогам, среди снегов, проехать в простой телеге сотни миль до Нерчинских серебряных рудников. И он продолжал бы свои обследования, если бы, прибыв к морю, в Архангельск, не получил вдруг следующего рескрипта от генерала Арманкова, шефа Четвертого отделения императорской полиции:

«Monsieur, vous nous observez de trop près pour que votre jugement n'en soit faussé; je vous invite donc, sur votre intérête, et pour avoir de la Russie une vue d'ensemble plus exacte, d'aller

la regarder de plus loin, dans votre belle maison de Paris!» [1]

Фрадике поспешил уехать в Вазу, на Ботническом заливе. Оттуда он переправился в Швецию и написал следующее письмо без даты генералу Арманкову:

«Monsieur, j'ai reçu votre invitation où il y a beaucoup d'intolérance et trois fautes de français» [2].

Та же потребность все знать и «выяснить правду» погнала его в Южную Америку, которую он изъездил от Амазонки до песков Патагонии; затем в Южную Африку, которую он видел всю — от Мыса Доброй Надежды до гор Зокунга... «Я перелистывал и внимательно читал мир, как книгу, полную мыслей. Ради простого зрительного удовольствия я ездил только однажды, в Марокко».

Путешествия превращались для Фрадике в плодотворный урок благодаря способности симпатизировать людям всех рас и национальностей. Меньше всего он был похож на противного французского туриста, который едет в чужую страну, чтобы с глупым высокомерием отмечать «недостатки», то есть отличия от того бесцветного и стандартного типа цивилизации, который он знает и считает единственно приемлемым. Фрадике умел с первого же дня проникнуться представлениями, предрассудками, привычками окружавших его людей; он умел сродниться с ними в их образе мыслей и их чувствованиях и воспринимал живой, непосредственный урок от всякого человеческого общества, в чьи недра проникал. Мудрый принцип: «В Риме будь римлянином» — он сделал для себя правилом и придерживался его не только в Риме, среди виноградников Целиева холма, у журчащих вод Павлинского источника, где соблюдать его легко и приятно, но и на козьих тропах Гималайских ущелий, по которым ему довелось карабкаться в рваных сандалиях. Он был своим и в философической немецкой пивной, уточняя понятия абсолюта в обществе тюбингенских профессоров, и на африканской стоянке среди матабелей, где в кругу охотников за слонами сравнивал карабин «экспресс» с карабином «винчестер».

---

[1] Милостивый государь, вы наблюдаете нас со слишком близкого расстояния, и суждения ваши не могут не оказаться ошибочными; посему приглашаю вас, в ваших же интересах, если вы желаете получить более верное общее представление о России, отправиться изучать ее издали, из вашего прекрасного дома в Париже! *(франц.)*

[2] Милостивый государь, я получил ваше приглашение, в котором обнаружил много нетерпимости и три ошибки во французском языке *(франц.)*.

После 1880 года размах его путешествий мало-помалу сократился; теперь он ограничивался поездками из Парижа в Лондон и обратно, если не считать «сыновних визитов» в Португалию: хотя Фрадике изъездил весь свет, легко приспосабливался к чужим обычаям и никогда не изменял научной объективности, он оставался португальцем до мозга костей, со всеми неизгладимыми чертами фидалго с Азорских островов.

Португалия, ее люди и ее интересы всегда были главной, самой задушевной заботой Фрадике. Он купил виллу «Сарагоса» в Синтре только для того, чтобы (как он пишет с непривычным для него волнением в письме к Ф. Г.) «иметь свой клочок земли в Португалии, связать себя узами собственности с благородной почвой, откуда предки, искатели новых миров, отправлялись в дальние плавания, увлекаемые мечтой о великом. В моих жилах течет та же кровь, от них я унаследовал жажду узнать, что находится *там*!»

Приезжая в Португалию, он первым делом «возобновлял правильный душевный настрой», объезжая верхом какую-нибудь провинцию, останавливаясь в старых, заброшенных селениях, которые находил очаровательными. Он любил долгие беседы у деревенских очагов, шумные толпы на площадях и в харчевнях, веселые паломничества в запряженной волами телеге — древней, почтенной сабинской телеге,— под ситцевым навесом, убранным лавровыми ветвями. Больше всего ему нравилось Рибатэжо, земля пастбищ и вольных стад. «Там,— говорил он,— скача верхом на жеребце, в куртке с широким поясом и с пастушьим посохом в руке, по лугам, где пасутся стада, я вдыхаю свежий и чистый утренний воздух и чувствую радость жизни, как нигде и никогда».

Лиссабон же был для него не более чем живописным пейзажем. «Если бы подправить Лиссабон в трех пунктах,— писал он мне в 1881 году из отеля «Браганса»,— а именно: посадить рощицы пиний на голых пригорках Оутра-Банда, покрыть грязные фасады домов блестящими и веселыми изразцами и хорошенько подмести эти богоспасаемые улицы,— Лиссабон стал бы одним из тех чудес природы, созданных рукой человека, о которых грезят, которые рисуют и куда паломничают. Но постоянно жить в Лиссабоне... Эта мысль для меня нестерпима. Здесь нет интеллектуальной жизни, а без нее душе моей нечем дышать. И, кроме того, Лиссабон отличается несколькими отвратительными чертами, от которых никуда не денешься. Это город окололитературный, хамоватый, фатоватый и отдающий статским советником. Литературничанье заметно даже в манере

приказчика отпускать аршин тесьмы; любезная хозяйка дома принимает вас с каким-то хамоватым шиком; на самом искусстве лежит печать статского советника; и даже в кладбищах есть нечто фатоватое. Но противнее всего, друг мой,— политиканы и политиканство».

К политикам Фрадике питал непреодолимое, необъяснимое отвращение. Они были противны ему с умственной стороны, так как он считал их всех невеждами и тупицами, не способными не только родить, но и воспринять какую-либо мысль. Они были противны ему со светской стороны, так как он наперед считал их неблаговоспитанными пошляками, негодными для общения с культурными людьми. Они были противны ему физически, ибо, по его твердому убеждению, политические деятели никогда не моются, редко меняют носки, и именно от них исходит тот тяжелый, затхлый запах, который поражает всякого, кто не привык бывать в Сан-Бенто.

В этих безжалостных обвинениях, конечно, была доля истины. Но, в общем и целом, мнения Фрадике о политиках носили скорее характер предубеждения, нежели справедливой оценки. Однажды, сидя в его номере в отеле «Браганса», я попытался переубедить его, доказывая, что все эти духовные и культурные недочеты: отсутствие хороших манер, вкуса и утонченности, столь ядовито порицаемые им в наших парламентских деятелях, объясняются быстрой демократизацией общества, вульгарностью провинциальной жизни, пагубным влиянием университета и, возможно, некоторыми более глубокими причинами, снимающими вину с этих несчастных парламентариев, которых мстительный рок сделал орудием погибели нашего отечества.

Фрадике ответил просто:

— Если дохлая крыса скажет мне: «Я дурно пахну по такой-то и такой-то причине, а главное потому, что разлагаюсь»,— я все равно прикажу вымести ее вон из моей комнаты.

То было отвращение инстинктивное, физиологическое, непримиримое и упорное; факты и доводы были бессильны побороть его. Гораздо более справедливой казалось мне его вражда к господствовавшему в Лиссабоне неумному и неуклюжему подражанию всему парижскому. Эти «мартышкины претензии», так беспощадно высмеянные им в 1885 году в письме на мое имя,— где он определяет Лиссабон как «город, переведенный с французского на провинциальный»,— преследовали Фрадике Мендеса как кошмар, едва лишь он выходил на улицу из вокзала Санта-Аполлония. И с этого же момента он начинал упорно искать под французскими наносами остатки настоящей Португалии.

Даже наша современная кухня приводила его в отчаяние. Он постоянно жалуется в письмах и разговорах на невозможность получить настоящую португальскую еду. «Где,— восклицает он,— почтенные кушанья португальской Португалии: макаронный пудинг XVIII века, тяжелые, но божественные битки времен великих открытий или излюбленное лакомство дона Жоана IV, восхитительные цыплячьи потроха, весть о которых привезли в Лондон английские лорды, ездившие в Португалию за невестой для Карла II? Все это пропало! Одна и та же тупая безвкусица перелагает с французского на провинциальный и комедии Лабиша, и блюда от Гуффре. Мы самым презренным образом подбираем демократические объедки парижских бульваров и глотаем их, слегка разогрев и приправив галантином из провинциальных острот. Поразительное несчастье! Самые чудесные кушанья Португалии — свиной окорок, лафонская телятина, овощи, сласти, вина — все выродилось, все обезвкусилось... С каких пор? По свидетельству стариков, это вырождение наступило вскоре после того, как у нас завелся конституционализм и парламентаризм. Когда старому лузитанскому стволу сделали эту вредную прививку, плоды его потеряли свой вкус, а люди — свое национальное лицо...»

Только один раз я видел, что он вполне удовлетворен едой — этой немаловажной статьей в нашей жизни. Это было в одной таверне в Моурарии, куда привел его я сам; ему подали миску со сложным блюдом из трески, перца и гороха. Чтобы насладиться им сполна, Фрадике даже снял сюртук. Кто-то из нас упомянул в разговоре имя Ренана, но Фрадике решительно запротестовал:

— Нет, нет, не надо никаких идей! Дайте мне насладиться этой треской в полной умственной дремоте, как ели во времена дона Жоана Пятого, когда еще не было демократии и критики!

Тоска по старой Португалии никогда не покидала его; он считал, что мир стал беднее, утратив столь своеобразную цивилизацию. Его любовь к прошлому,— странное дело! — с особенной силой оживала, когда ему доводилось видеть в Лиссабоне ту же современную роскошь, тот же интеллектуальный «модернизм», какой существует в наиболее культурных европейских странах. В последний раз я встретил его в Лиссабоне на одном званом вечере на Рато, устроенном с редким блеском и утонченностью. Фрадике, казалось, был в полном унынии:

— Герцогиня де ла Рошфуко-Бизачча может устроить в Париже точно такой же прием; стоило ли ради этого вытер-

петь карантин в Марване?! Представь, как было бы чудесно, если бы я попал здесь на праздник времен королевы доны Марии Первой, в доме Мариалва! Дамы сидели бы на циновках, монахи играли бы на мандолине негритянские танцы, королевские судьи импровизировали бы глоссы на заданную тему, а челядь во дворе, среди толпы нищих, пела бы хором литанию!.. Это было бы неповторимо, восхитительно, ради этого стоило бы совершить в портшезе путешествие из Парижа в Лиссабон!

Однажды мы обедали у Карлоса Майера; Фрадике с непритворной меланхолией оплакивал старую Португалию, Португалию монахов и фидалго времен дона Жоана VI; Рамальо Ортиган не выдержал:

— Фрадике, ты чудовище! Сам живешь в комфортабельном Париже середины девятнадцатого века и в то же время желаешь иметь возможность в любой момент, через два дня пути, очутиться в Португалии восемнадцатого века и здесь, как в музее, наслаждаться живописной стариной... Ты будешь блаженствовать на улице Варенн, на лоне приличия и порядка, а мы здесь должны ютиться в смрадных переулках, куда по вечерам выливают помои, терпеть дикое озорство какого-нибудь маркиза Каскайс или графа Авейро, отправляться под тумаки фискалов в долговую яму... Сознайся, ведь ты именно этого хочешь!

И Фрадике безмятежно ответствовал:

— Куда достойней и патриотичней было бы для вас, людей науки, не сидеть тут в ошейниках галстуков и понятий, какими пользуется вся Европа, а носить парики с косичками и хранить в карманах поношенных шелковых камзолов сапфические оды; лучше бы вы ежились от спасительного страха перед королем и чертом, лучше бы слонялись во дворе у герцога Мариалва или графа Авейро, в ожидании часа, когда, прочтя послеобеденную молитву, господа пришлют вам с негритенком остаток индюшки со своего стола и тему для нового стихотворения. По крайней мере, это было бы по-португальски, было бы вам дано от природы; ничего лучшего вы и не заслуживаете. А чего стоит жизнь, если нельзя сдобрить сытный завтрак хоть глотком чего-нибудь живописного!

Думаю, эта тоска Фрадике по старой Португалии и была, собственно, жаждой «живописного» — черта неожиданная в натуре столь своеобразно интеллектуальной. Но главная причина такого настроения коренилась в ненависти к нынешней всеобщей модернизации, которая сводит все обычаи, верования,

представления, вкусы, характеры — даже самые самобытные и почвенные — к единообразному типу деловитого господина в черном сюртуке. Эта нивелировка напоминает работу китайца-садовника, который подрезает все деревья в саду по одному и тому же шаблону, освященному обычаем: в форме пирамиды или погребальной урны.

Поэтому Фрадике больше всего любил в Португалии народ — народ, который не меняется, как не меняется природа, на лоне которой он живет и у которой черпает серьезность и терпение. Фрадике любил народ за его достоинства и за его недостатки; за идиллическую радость жизни, озаряющую труд поэзией; за спокойное приятие вассальной верности — если не королю, то правительству; за языческий католицизм, преданную любовь к языческим богам в образе угодников из святцев; за его одежду, за его песни... «Я люблю народ,— говорил он,— за кротость и физиологическую готовность мириться со всем; за грубый, бедный язык, ибо это единственная разновидность португальской речи, куда не проникли тошнотворные ламартиновские красоты и не чувствуется слог замусоленных конспектов по римскому праву...»

VI

Наш разговор на площади Рато, когда Фрадике с тоской вспоминал о благочестивых и жеманных празднествах XVIII века, относится к его последнему приезду в Лиссабон.

Автору «Лапидарий» было в то время пятьдесят лет, и с каждым днем он все больше привыкал к приятной размеренности своей парижской жизни.

С 1880 года Фрадике занимал на улице Варенн флигель старинного особняка герцогов Треденн. Жилище свое он обставил с благородной и строгой роскошью. Ему всегда претило бессмысленное нагромождение разнородных вещей и тканей, несовместимых по стилю и веку, которое носит вполне подходящее варварское название «брик-а-брак» и обладает неодолимой притягательной силой для биржевых дельцов и кокоток. Благородные драгоценные гобелены с пейзажами или историческими сценами; широкие обюссонские диваны; несколько отличных образцов мебели эпохи французского ренессанса; редчайшие изделия из голландского и китайского фарфора; много простора, много света, гармоничное сочетание спокойных тонов — вот что вы находили в пяти комнатах, составлявших «берлогу» Фрадике. Все балконы, с узорными железными

решетками времен Людовика XIV, выходили в заросший старыми деревьями садик — один из тех уголков, которые так украшают этот клерикально-аристократический квартал, образуя приюты тишины и уединения, где порой майскими вечерами решается запеть соловей.

Распорядок жизни Фрадике регулировали старинные часы, медленному и строгому бою которых предшествовали серебристые звуки старинного придворного танца; а за неизменностью установленного порядка следил камердинер Смит—шотландец из клана Мак-Дуффов, старик с уже седой головой и еще румяным лицом. Он прослужил у Фрадике тридцать лет, со строгим усердием заботясь о своем господине во всех его странствиях и всех перипетиях жизненного пути.

Утром, ровно в девять часов, с первыми тактами очаровательно меланхоличного менуэта Чимарозы или Гайдна, Смит с шумом входил в спалью Фрадике, распахивал окна и восклицал: «Morning, Sir!» [1] Фрадике тотчас же соскакивал с постели (он считал это весьма гигиеничным) и бежал к обширному мраморному умывальнику, чтобы облить голову и умыться холодной водой, причем наслаждался этой операцией, как счастливый тритон. Затем, накинув один из своих китайских халатов, приводивших меня в восхищение, он располагался в кресле и отдавал себя в руки Смита. В роли брадобрея старик, по словам Фрадике, соединял в себе проворство Фигаро с глубокомыслием Оливье, цирюльника и советчика Людовика XI. И действительно, намыливая и брея щеки своего хозяина, Смит успевал дать ему ясную, достоверную и сжатую информацию о политических событиях по «Таймсу», «Стандарту» и Кельнской газете».

Я не мог наглядеться на Смита, когда он в коротком фраке с белым галстуком а-ля Пальмерстон, в клетчатых, черных с зеленым, штанах (это были цвета его клана), в лакированных ботинках с вырезом, водил намыленной кисточкой по подбородку своего господина и тихо докладывал, с достоинством и знанием дела: «Совещание князя Бисмарка с графом Кальноки не состоится... Консерваторы потерпели поражение на дополнительных выборах в Йорке... Вчера в Вене поговаривали о новом русском займе...» Лиссабонские приятели посмеивались над этим «балаганом», но Фрадике утверждал, что рассматривает этот обычай как полезный возврат к классической традиции, ибо во всем латинском мире со времен Сципиона

---

[1] С добрым утром, сэр! *(англ.)*

Африканского за брадобреями была закреплена роль вестников и общественных уведомителей. Эти короткие доклады Смита составляли для Фрадике основу ежедневной сводки политических новостей, и он никогда не говорил: «Я прочел в «Таймсе», а «Я прочел в Смите».

Чисто выбритый, хорошо информированный, Фрадике погружался в теплую ванну, выйдя из которой вновь попадал в надежные объятия Смита; набором перчаток из шерсти, фланели, волоса, пакли и тигровой кожи Смит натирал его тело, пока оно не становилось «розовым и блестящим», как у Аполлона. После этого Фрадике пил шоколад; затем удалялся в библиотеку, простую рабочую комнату, где помещался большой стол черного дерева, а рядом — статуя Истины. Ослепительно-белая в своей мраморной наготе, она стояла, приложив тонкий палец к губам — символ интимной работы мысли в поисках знания, которая требует тишины и не терпит мирской суеты.

В час дня он завтракал с воздержностью эллина — яйцо, овощи,— затем, растянувшись на диване, принимался за русский чай, просматривая в газетах и журналах литературную, театральную и светскую хронику, которая не входила в чисто политическую компетенцию Смита. Он внимательно читал и португальские газеты (которые называл «презабавным продуктом общественного разложения»), ибо они имеют свой характерный стиль и чрезвычайно любопытны для всякого, кто, подобно Фрадике, интересуется посредственностью в ее натуральных проявлениях. Он считал, что Калино́ столь же достоин изучения, как Вольтер. Остальную часть дня Фрадике посвящал друзьям, визитам, мастерским художников, фехтовальным залам, выставкам, клубам — словом, всем тем разнообразным занятиям, которые создает себе человек хорошего вкуса, живущий в высокоцивилизованном городе.

Под вечер он отправлялся в Булонский лес в фаэтоне, которым сам правил, или верхом на «Царице Савской», великолепной кобыле из табунов Айн-Вейба, уступленной ему моссульским эмиром. Вечер, если у него не было в этот день ложи в Опере или во Французской Комедии, он проводил в салоне какой-нибудь дамы, ибо испытывал потребность закончить день среди «женственной эфемерности» (его выражение).

Эта «женственная эфемерность» играла величайшую роль в его жизни. Фрадике любил женщин; но, кроме них и превыше всего на свете, он любил Женщину.

Его отношение к женщинам определялось тремя моментами: благоговейным преклонением возвышенной души, любо-

пытством естествоиспытателя и темпераментом сангвиника. Вслед за романтиками эпохи Реставрации, Фрадике считал женщин существами высшего порядка, божественно сложными созданиями природы, ни с чем в мире не сравнимыми и достойными глубочайшего поклонения; но, не отрекаясь от этого культа, он в то же время рассекал и исследовал эти существа высшего порядка без всякого благоговения, клетку за клеткой, с увлечением естествоиспытателя; и очень часто на месте благоговеющего жреца и любознательного ученого оказывался просто мужчина, который, следуя благостному велению природы, любил женщину, как фавны любили нимф.

Кроме того,— так, по крайней мере, следовало из его разговоров, — он подразделял женщин на различные виды. Существует женщина «внешней жизни», цветок, взращенный для роскоши и светского блеска; и существует женщина «внутренней жизни», хранительница домашнего очага; как бы ни была такая женщина привлекательна, Фрадике неизменно сохранял с ней тон глубокого почтения, не допускавшего никаких исследовательских экспериментов. «Я смотрю на них,— пишет он госпоже де Жуар,— как на чужое письмо, которое запечатано сургучом». Но по отношению к женщинам, живущим «внешнею», светской жизнью, полной суетности и фантазии, Фрадике считал себя столь же несвязанным и безответственным, как перед изданной типографским способом книгой. «Перелистывать книгу,— пишет он той же госпоже де Жуар,— делать пометки на ее атласистых полях, обсуждать ее вслух, не стесняя себя выбором выражений, увозить к себе и читать вечером дома, рекомендовать друзьям, бросить в угол, когда прочитаны лучшие ее страницы,— все это, думается мне, вполне позволительно и не противоречит ни обычной морали, ни уголовному кодексу».

Может быть, все эти утонченности — не что иное, как попытка дать философское обоснование своему распутству и облагородить извозчичий темперамент, чтобы придать ему нечто литературное и интересное (как ехидничал один из моих приятелей)? Не знаю. Самым наглядным комментарием к теориям Фрадике было его поведение в гостиной, среди «женственной эфемерности». Когда очень чувственная женщина слушает мужчину, который волнует ее, губы у нее бессознательно приоткрываются. У Фрадике в подобные минуты расширялись глаза. Глаза у него были небольшие, табачного цвета; но в присутствии одной из этих «внешних женщин», блистающих в гостиной, они становились огромными, бархатистыми, напол-

нялись черным блеском, наливались влагой. Старая леди Монгрев сравнивала эти глаза с «разверстым зевом двух змей». И действительно, было в них что-то заманивающее, заглатывающее; но взгляд его прежде всего свидетельствовал о волнении и восторге. В этой полной самоотдаче, какая бывает лишь у верующего перед образом Девы, в мягком звучании голоса, ласкающего и жаркого, как воздух теплицы, во влажном блеске его выразительных глаз женщины видели всемогущее действие своей прелести и красоты на мужчину, в высшей степени одаренного мужскими качествами. А ведь нет более опасного соблазнителя, чем тот, кто умеет дать понять женщине, что она неотразима и может покорить самое неподатливое сердце одним грациозным движением плеч или тихим вздохом: «Какой очаровательный вечер!» Кто делает вид, что его легко обольстить, сам легко обольщает других. Это повторение мудрой и правдивой индийской легенды о заколдованном зеркале, в котором старая Махарина видела себя ослепительно красивой. Каких грехов, каких предательств не совершит Махарина, чтобы завладеть этим зеркалом, в котором ее морщинистая кожа кажется такой гладкой и свежей?

И поэтому я думаю, что Фрадике был любим глубоко и сильно, и он заслуживал этого в полной мере. Женщины находили в нем Мужчину. Он обладал неоценимым в женских глазах преимуществом, почти не встречающимся среди людей нашего поколения: тонкой душой, которая пользовалась услугами сильного тела.

Но если любовные связи Фрадике бывали долгими и глубокими, то еще прочней и неразрывней была его дружба со многими интересными людьми, которых привлекали его редкие нравственные достоинства.

Когда я познакомился с Фрадике Мендесом в Лиссабоне,— в баснословном 1867 году,— мне показалось, что его характер, как и стихи, выкован из блестящего, холодного металла. При всем моем восхищении его талантом, его личностью, его жизненной силой, его шелковыми халатами, я как-то признался Тейшейре де Азеведо, что не чувствую в авторе «Лапидарий» того *теплого млека человеческой доброты,* без которого, по мнению старика Шекспира (и я полностью разделяю это мнение), человек не может быть достоин звания человека. Даже его вежливость, такая безупречно приветливая, казалась мне скорее правилом поведения, нежели природным качеством. Может

быть, такому представлению о нем способствовало одно показанное мне кем-то письмо Фрадике, правда уже давнее, от 1855 года, где он, со всем легкомысленным высокомерием молодости, излагает следующую жесткую программу: «Мужчины рождены, чтобы работать, женщины — чтобы плакать, а мы, сильные,— чтобы бесстрастно проходить мимо!»

Но в 1880 году, когда мы скрепили навеки нашу дружбу за ужином у Биньона, Фрадике было уже пятьдесят лет; потому ли, что теперь я внимательней на него смотрел и лучше понимал, или потому, что с возрастом в нем совершилось то явление, которое Фюстан де Карманж называл «le dégel de Fradique» [1], я сразу ощутил, что сквозь мраморную невозмутимость «млеко человеческой доброты» бьет обильным и горячим ключом.

Прежде всего я не мог не обратить внимания на его безусловное и беспредельное снисхождение к чужим слабостям. Следуя ли своей философии или повинуясь голосу сердца, Фрадике склонялся к древнему евангельскому милосердию; перед лицом греха или преступления он сознавал неустойчивость человеческой природы и по-евангельски вопрошал себя, настолько ли он сам безгрешен, чтобы бросить камень. В основе всякого прегрешения,— может быть, вопреки разуму, но в согласии с тем еще не умолкшим голосом, которому внимал святой Франциск Ассизский,— он видел неизбывную слабость человека; и из глубины его сострадания поднималась готовность простить, жившая в тайниках его души, как в благодатной почве таится источник чистой воды, всегда готовой хлынуть наружу.

Но пассивным состраданием не исчерпывалась его доброта. Всякое несчастье,— от отдельной беды, случившейся на улице, видимой глазу, до бедствий, какие порой с силой стихии обрушиваются на целые общества и расы,— находило у него действенную и ревностную помощь. В письме к Г. Ф., написанном уже в последние годы жизни, он сказал следующие благородные слова: «Все мы, живущие в этом мире, образуем нескончаемый караван, медленно ползущий к Небытию. Нас окружает ничего не сознающая, ничего не чувствующая и, подобно нам, смертная природа. Она нас не понимает, она нас даже не видит; от нее мы не можем ждать ни помощи, ни утешения. И в увлекающем нас потоке нам нечем руководствоваться, кроме древнего правила, в котором заключен великий итог всего

---

[1] Оттаивание Фрадике *(франц.)*.

человеческого опыта: «Помогайте друг другу!» Пусть в этом полном треволнений пути, где скрещиваются шаги несчетных путников, каждый отдаст половину своего хлеба тому, кто голоден, предложит половину своего плаща тому, кто озяб, протянет руку тому, кто споткнулся, оградит тело павшего; а если кто-нибудь хорошо снаряжен в дорогу, крепок телом и ни в чем не нуждается, кроме душевного тепла, пусть души раскроются для него и согреют своим теплом. Ибо только так мы придадим хоть сколько-нибудь красоты и достоинства нашему непонятному бегу навстречу смерти...»

Конечно, Фрадике Мендес отнюдь не был святым подвижником, разыскивающим в темных закоулках неискупленные страдания: но ни разу не случилось, чтобы он не пришел на помощь, узнав, что кто-то в беде. Когда в газетах ему попадалось сообщение о людях, перенесших несчастье или впавших в нужду, он делал карандашом пометку для старого Смита и рядом ставил цифру — число фунтов, которые тот должен был вручить без шума и без огласки. Его правило по отношению к беднякам (о которых экономисты говорят, будто им нужна справедливость, а не милосердие) гласило: «В обеденный час лучше медяк в руки, чем две философские системы в небе». Дети, особенно обездоленные, внушали ему безграничную нежность и жалость; он принадлежал к числу тех редких людей, которые, встретив на улице в холодный зимний день окоченевшего малютку-нищего, останавливаются на самом ветру, невзирая на дождь, терпеливо расстегивают пальто и терпеливо стягивают перчатку, чтобы нащупать в кармане серебряную монету, которая даст ребенку хлеб и тепло, хотя бы на один день.

Его милосердие совершенно по-буддийски распространялось на все живое. Я не знавал человека, который так уважал бы животных и их права. Однажды в Париже мы бежали под внезапно хлынувшим ливнем к стоянке фиакров, чтобы поспеть на аукцион гобеленов (где Фрадике облюбовал «Девять муз, пляшущих в лавровой роще»); на стоянке оказалась только одна пролетка: впряженная в нее кляча меланхолично жевала овес в подвешенном к морде мешке. Фрадике настоял на том, чтобы лошадь спокойно позавтракала, и «Девять муз» были упущены.

В последние годы жизни его больше всего угнетала незащищенность целых классов нашего общества; он сознавал, что в промышленных демократиях, с их корыстными устремлениями и беспощадной борьбой каждого за личную выгоду, души

становятся все черствее и равнодушнее к ближнему. «Братство,— говорил он в сохранившемся у меня письме от 1886 года,— постепенно исчезает; ему нет места в этих громадных ульях из камня и известки, где люди скучиваются для ожесточенной борьбы; мы забываем обычаи простой деревенской жизни, и мир идет к аду дикого эгоизма. Первое свидетельство этого —шумиха вокруг филантропии. Если милосердие принимает форму общественного учреждения, с регламентом, докладами, комитетами, заседаниями, председателем и колокольчиком, и из естественного чувства превращается в казенное установление,— это значит, что человек, не надеясь больше на голос своего сердца, принуждает себя к добру, а контроль над добротой передоверяет официальной организации с четкими пунктами устава. Если сердца так окаменели, а зимы так суровы, что будет с бедняками?»

Сколько раз, сидя в ноябрьские сумерки в его библиотеке, едва освещенной красноватым отблеском огня в камине, я видел, как Фрадике, печально задумавшись, долго молчал, погруженный в созерцание каких-то безрадостных горизонтов, а потом, прервав молчание, оплакивал грядущие горести людей— возвышенно и трогательно. И вновь с горечью повторял свою любимую мысль о том, что люди с каждым днем все глубже погружаются в свирепый эгоизм, вынуждаемые жестокостью борьбы и соперничества, и с каждым днем все больше уподобляются волкам, homo homini lupus [1].

— Пора прийти новому Христу! — пробормотал я однажды.

Фрадике пожал плечами.

— Он придет; он, может быть, освободит рабов; за это ему воздвигнут церковь и создадут литургию; а затем от него отрекутся; а еще позже его забудут; и, наконец, появятся новые толпы рабов. Ничего не поделаешь. Каждому из нас остается одно: набрать побольше денег и запастись револьвером; и когда ближний постучится к нам в дверь, мы, смотря по обстоятельствам, либо подадим ему кусок хлеба, либо пустим в него пулю.

Так, исполненные мыслей, приятных занятий и добрых дел протекали последние годы жизни Фрадике Мендеса в Париже, пока, наконец, зимой 1888 года его не скосила смерть —

---

[1] Человек человеку волк *(лат.)*.

такая, какую он, вслед за Цезарем, всегда желал себе: inopinatam atque repentinam [1].

Однажды вечером, при разъезде от графини де ла Фертэ (старой приятельницы Фрадике, с которой он на яхте совершил поездку в Исландию), он обнаружил в прихожей, что кто-то обменил его русскую шубу на другую, тоже роскошную и удобную; в кармане был бумажник с монограммой и визитными карточками генерала Террана д'Ази. Фрадике, страдавший болезненной брезгливостью, не захотел надевать пальто этого ворчливого и вечно простуженного воина, и пешком прошел через площадь Согласия от дома графини до клуба на Рю-Руайяль. Была сухая и ясная ночь, дул ветер, легкий, как дыхание, почти незаметный,— но это был один из тех острых бризов, которые на протяжении многих миль оттачиваются над снежными равнинами севера и которые старик Андре Вазали сравнивал с «предательским кинжалом». На следующий день Фрадике проснулся с небольшим кашлем. Пренебрегая осторожностью, уверенный в своем здоровье, которое не подводило его в самых немилостивых климатах, он отправился с друзьями в Фонтенебло на империале mail-coach [2]. Вечером, вернувшись домой, он почувствовал сильный озноб; и тридцать часов спустя, безболезненно и тихо, так что некоторое время Смит думал: «Он спит», Фрадике, по выражению древних, «кончил жить». Ясный летний день не умирает более светло.

Доктор Лаберт определил его болезнь как редчайший случай плеврита. И он добавил, хорошо понимая, что такое человеческое счастье: «Toujours de la chance, ce Fradique!» [3]

В последний путь по улицам Парижа, под серыми снеговыми тучами, его провожали несколько самых славных людей французской науки и искусства. В толпе можно было видеть два-три красивых лица, уже немного поблекших с годами; не одно сердце оплакивало его, вспоминая пережитые волнения. И бедняки, сидевшие в тот вечер в убогих жилищах вокруг нерастопленных очагов, тоже, надо думать, пожалели об этом скептике и ученом, который, кутаясь в шелковый халат, сострадал человеческим горестям.

Он покоится на кладбище Пер-Лашез, недалеко от могилы Бальзака, на которую в поминальный день всегда посылал бу-

---

[1] Неожиданную и внезапную *(лат.)*.
[2] Дилижанс, конка *(англ.)*.
[3] Этому Фрадике во всем везет! *(франц.)*

кет пармских фиалок, столь любимых при жизни автором «Человеческой комедии». А теперь, в свою очередь, преданные руки украшают розами скромный мрамор, покрывающий земные останки Карлоса Фрадике Мендеса.

VII

Ученый моралист, который подписывает псевдонимом «Альцест» свои статьи в «Парижской газете», посвятил Фрадике Мендесу заметку, где следующим образом определяет его ум и деятельность: «Поистине самостоятельный и сильный мыслитель, Фрадике Мендес не оставил после себя творческого наследия. По безразличию или по лени, но этот человек расточил громадное умственное богатство. От глыбы золота, из которой он мог бы высечь бессмертный памятник, он в течение долгих лет откалывал мелкие осколки и рассыпал их щедрой рукой, беседуя в парижских гостиных и клубах. Эта золотая пыль ныне смешалась с пылью улиц. И над могилой Фрадике, как над могилой неизвестного эллина, воспетого в Антологии, можно было бы написать: «Здесь покоится шум ветра, который промчался, бесплодно рассеивая благоухание, тепло и семена»...»

Заметка эта носит на себе печать присущего французам легкомыслия и верхоглядства. Прежде всего, весьма непродуманны термины: «лень», «безразличие»,— которые довольно часто повторяются на этой тщательно отделанной и красноречивой странице, словно именно они призваны запечатлеть в нашей памяти характер покойного. Но Фрадике был, напротив, человеком страстей, человеком действия и упорного труда. Едва ли можно обвинить в лени, в безразличии того, кто проделал две военные кампании, проповедовал новую религию, объездил все пять материков, изучил столько цивилизаций и приобщился ко всем познаниям своего века.

Но хроникер из «Парижской газеты» вполне прав, когда говорит, что этот неутомимый труженик не оставил нам ни одного произведения. Действительно, напечатаны, насколько нам известно, только его «Лапидарии» в «Сентябрьской революции» да любопытная маленькая поэма на вульгарной латыни, «Laus Veneris tenebrosae», появившаяся в «Журнале поэзии и искусства», основанном в конце 1869 года группой парижских поэтов-символистов. Однако Фрадике оставил значительное рукописное наследство. Я не раз видел исписанные его рукой стопки бумаг в квартире на улице Варенн; они храни-

Переписка Фрадике Мендеса

лись в испанском сундуке из кованого железа работы XIV века, который Фрадике называл «братской могилой». Все эти бумаги и право распоряжаться ими были завещаны Фрадике Мендесом той самой Любуше, о которой он много говорит в своих письмах к госпоже де Жуар и которая встает перед нами, как живая, «в белых бархатных одеяниях венецианки, со своими большими глазами Юноны».

Эта дама, по имени Варя Лобринская, принадлежала к старинному русскому роду князей Палидовых. В 1874 году ее муж, Павел Лобринский, молчаливый, ничем не выдающийся дипломат и бывший офицер императорской лейб-гвардии, писавший «capitaine» через é (capiténe), скончался в Париже, еще совсем молодым, от давнего малокровия. Сразу после этого госпожа Лобринская, с соблюдением всех траурных церемоний, окутанная черным крепом и в сопровождении свиты горничных, вернулась в свои обширные поместья близ Старобельска, в Харьковской губернии. Но весной, когда распустились цветы на каштанах, она уже снова была в Париже и осталась здесь, ведя жизнь богатой и беспечной вдовы. Однажды у госпожи де Жуар она встретилась с Фрадике Мендесом, который в то время открыл для себя славянские литературы и с увлечением занимался самой древней и самой благородной поэмой славян, «Любушиным судом», случайно найденным в 1818 году в архивах усадьбы Зеленая гора. Госпожа Лобринская состояла в родстве с зеленогорскими господами, графами Коллоредо, и была обладательницей факсимиле обоих пергаментных листов, содержащих старинную варварскую эпопею.

Фрадике и госпожа Лобринская стали вместе изучать это героическое произведение, пока не наступил сладостный миг, когда, подобно дантовским влюбленным, «в тот день они уж больше не читали». Фрадике дал госпоже Лобринской имя Любуши, той народоправительницы, что в поэме является на суд, «одетая в белое и осененная мудростью». Она же называла Фрадике «Люцифером». Автор «Лапидарий» умер в ноябре; несколько дней спустя госпожа Лобринская снова уехала в свои унылые старобельские поместья Харьковской губернии. Ее друзья улыбнулись, снисходительно шепнув, что мадам Лобринская снова бежала оплакивать среди «своих мужиков» вторичное вдовство и, безусловно, вернется, когда зацветет сирень. Но на этот раз Любуша не вернулась даже к тому времени, когда расцвели каштаны.

Муж госпожи Лобринской был дипломатом, который всерьез изучал только меню и котильоны. Вследствие этого его

служба протекала без всякого блеска, на второстепенных должностях. Шесть лет покоился он на посту секретаря посольства среди деревьев Петрополиса, дожидаясь места посланника в Европе, которое, по словам князя Горчакова, в то время министра иностранных дел, принадлежало мадам Лобринской par droit de beauté et de sagesse [1]. Но вакансия в Европе, в светской столице и без банановых деревьев, никак не открывалась, чтобы вознаградить их за изгнание, в котором они тосковали по снегу; в этой бразильской глуши госпожа Лобринская успела так хорошо выучиться нашему милому португальскому языку, что Фрадике показывал мне сделанный ею перевод элегии Лавосского «Холм Разлуки» — перевод, выразительный и прекрасный по форме. Несомненно, из всех женщин, которые любили Фрадике Мендеса, она одна могла понять ценность его рукописей и воспринимать их как нечто живое; для других они были бы безжизненными листами бумаги, испещренной непонятными строчками.

Начав собирать разбросанные письма Фрадике Мендеса, я сообщил госпоже Лобринской о своем намерении запечатлеть в дружеском очерке особенности этого недюжинного ума и умолял сделать для меня извлечения из его рукописей или, по крайней мере, рассказать что-либо новое о его личности. Ответ госпожи Лобринской содержал отказ, решительный и аргументированный: вы сразу видели, что со «светлыми очами Юноны» сочетался ясный ум Минервы. Смысл ее ответа был таков: «Бумаги Карлоса Фрадике вверены ей, живущей вдали от светского шума, именно с той целью, чтобы они навсегда сохранили свой интимный характер и покров тайны, которым Фрадике их окружал; сообщить что-либо новое о его личности значило бы поступить заведомо наперекор той целомудренной и гордой скрытности, которая продиктовала волю завещателя...» Все это было написано крупным круглым почерком, на большом листе плотной бумаги; в углу блистал золотыми буквами под золотой короной девиз: Per terram ad coelum [2].

Таким образом, вокруг рукописей Фрадике установился непроницаемый мрак. Что заключалось в железном сундуке, который Фрадике с грустной гордостью называл «братской могилой», считая, видимо, бедными и тусклыми для мира мысли, похороненные на его дне?

Некоторые наши общие друзья думают, что там, вероятно,

---

[1] По праву красоты и ума *(франц.)*.

[2] Земным путем к небу *(лат.)*.

скрыты если не вполне законченные, то, по крайней мере, в набросках или даже в целостном виде, два произведения, посвященные вопросам, о которых Фрадике не раз говорил, как о самых привлекательных темах для мыслителя и художника нашего века — Психология религий и Теория воли.

Другие, как, например, Ж. Тейшейра де Азеведо, полагают, что среди этих бумаг находится роман, реалистическая эпопея, воскрешающая какую-нибудь угасшую цивилизацию, наподобие «Саламбо». Он основывает свое (недоброжелательное) предположение на письме Фрадике к Оливейре Мартинсу от 1880 года, в котором Фрадике говорит с загадочной иронией: «Чувствую, дорогой историк, что скольжу по наклонной плоскости к занятиям дурным и суетным. Горе мне, горе мне! Перо мое устремляется в сторону зла! Какой-то недобрый гений, покрытый пылью веков, явился мне зимней ночью, навевающей мысли о декоративной археологической литературе; он держал под мышкой тяжелые фолианты и шептал: «Сочини роман! И в этом романе воскреси азиатскую древность!» И его слова показались мне сладостными, сладостными, как смерть!.. Что скажете вы, дражайший Оливейра Мартинс, если неожиданно получите в своих пенатах написанный мною и отпечатанный по всем правилам искусства том, начинающийся словами: «Это было в Вавилоне, в месяце Сивану, после сбора бальзама...»? Я уже сейчас предвижу, что вы закроете дрожащими руками свое искаженное испугом лицо и воскликнете: «О небо! Сейчас начнется описание храма Семи Сфер со всеми его террасами! И описание голубской битвы, со всеми доспехами воинов! И описание пира у Сеннахериба, со всеми подававшимися там яствами!.. Автор не пропустит ни одной вышивки на тунике, ни одного рельефа на сосудах! И это делает близкий друг!»

Рамальо Ортиган, напротив, склоняется к мысли, что бумаги Фрадике представляют собой мемуары, так как иначе не имело бы никакого смысла сохранять их в тайне.

Я же, знавший Карлоса Фрадике лучше и дольше их, думаю, что в испанском сундуке нет ни трактата по психологии, ни археологического романа (сочинение романов он считал постыдным и пустым афишированием поверхностных, приобретенных без труда познаний), ни мемуаров, писание которых чуждо человеку, всецело жившему абстрактной мыслью и скрывавшему свою личную жизнь с таким высокомерным целомудрием. И я беру на себя смелость утверждать, что в этом железном сундуке, хранящемся в старом русском помещичьем

доме, нет никакого произведения, потому что Фрадике никогда, в сущности, не был литератором в прямом смысле этого слова.

Он не стал литератором, конечно, не потому, что ему не хватало для этого мыслей; просто он не был убежден, что мысли эти, по своей окончательной ценности, заслуживают быть записанными и увековеченными; и, кроме того, ему не доставало терпения или воли, чтобы отлить свои мысли в ту редкостно-прекрасную форму, которую он считал единственно достойной воплотить их. Недоверие к себе, как к мыслителю, способному обновить философию и науку и дать человеческому духу новое направление; недоверие к себе, как к писателю, способному создать прозу, которая сама по себе, независимо от ценности мысли, могла бы невыразимо волновать души как нечто абсолютно прекрасное,— вот те две причины, которые обрекли Фрадике хранить молчание и ничего не печатать. Он желал, чтобы все, порожденное его разумом, неотразимо действовало на разум других людей своей окончательной истинностью или несравненной красотой. Если он был беспощадным и безошибочным критиком всего окружающего, ту же беспощадную и безошибочную критическую мысль, но с удвоенной силой, он обращал на себя. Чрезвычайно жизненное восприятие реальности вещей вынуждало его оценивать собственную мысль такой, какая она была, с ее истинными достижениями и истинными границами. «Угар литературной иллюзии», под действием которого иной литератор принимает свои нацарапанные чернилами строчки за ослепительные лучи света, никогда не туманил его взгляда. И придя к заключению, что ни его мысли, ни облекающая их форма не подарят человеческому духу ничего такого, что означало бы открытие новых путей для разума и искусства, он предпочел замкнуться в горделивом молчании. По соображениям, благородно отличавшимся от соображений Декарта, он следовал Декартову правилу: «Bene vixit qui bene latuit» [1]. Правда, он никогда не говорил мне ни о чем подобном, но я сам это подметил, увидел вполне ясно, когда в последнее рождество приехал погостить на улице Варенн у Фрадике и он принял меня с таким небывалым, незаслуженным гостеприимством. Дело было вечером; большой город за окнами жил шумной зимней жизнью; напившись кофе, мы уселись возле камина, протянули ноги к пылавшим и потрескивавшим в огне буковым поленьям и заговорили об Африке и об африканских религиях. Фрадике собрал в районе

[1] Хорошо прожил тот, кто хорошо скрывал свою жизнь *(лат.)*.

Замбези много ярких, любопытных данных о культе умерших вождей: после смерти они становятся «Мулунгу», духами, которые творят добро и зло, но остаются в тех же хижинах и на тех же холмах, где протекала их жизнь; сравнивая церемонии и цели этих африканских культов с первобытными литургическими церемониями арийцев в Септа-Синду, Фрадике приходил к заключению (об этом он пишет в письме к Герре Жункейро), что самое существенное, необходимое и вечное в религии — это церемониал и литургия, а богословие и нравственные учения — несущественны, необязательны и преходящи.

Эта беседа совершенно очаровала меня, главным образом, из-за тех наблюдений жизни и природы Африки, которыми Фрадике иллюстрировал свой рассказ. Улыбаясь от восхищения, я сказал:

— Фрадике, почему бы тебе не описать это путешествие по Африке?

Я впервые подавал другу мысль написать книгу. Он посмотрел на меня с таким удивлением, словно я предлагал ему пройтись босиком в эту дождливую ночь до парка Марли. Затем, бросив папиросу в огонь, он меланхолично пробормотал:

— Зачем?.. Я не видел в Африке ничего такого, чего бы до меня не видели другие.

На мое возражение о том, что он взглянул на все, может быть, другими, более проницательными глазами; что не каждый день по Африке путешествует человек, получивший философское образование и много знающий; что в науке одна истина требует тысячи исследователей,— Фрадике ответил почти раздраженно:

— Нет! Ни об Африке, ни о чем бы то ни было у меня нет таких мыслей, которые изменили бы направление современной науки... Я мог бы только сообщить ряд впечатлений, пейзажей. Но это уже и совсем плохо! Потому что слово, в том виде, как мы им владеем, пока бессильно воплотить малейшее умственное впечатление или даже воспроизвести очертания самого обыкновенного придорожного куста... Я не умею писать! Никто не умеет писать!

Смеясь, я запротестовал против этого обобщения, которое отметало все, без исключения и без пощады, и напомнил ему, что в нескольких ярдах от гревшего нас камина, в старом парижском квартале, где возвышаются Сорбонна, Французская Академия и Эколь Нормаль, жили да и сейчас живут многие люди, которые в совершенстве владеют «прекрасным искусством слова».

— Кто же это такие? — воскликнул Фрадике.

Я начал с Боссюэ. Фрадике пожал плечами с таким яростным презрением, что я осекся. И затем коротко, резко, безапелляционно он заявил, что на протяжении двух лучших веков французской литературы, начиная с *моего* Боссюэ и кончая Бомарше, не было ни одного прозаика, чей слог обладал бы рельефностью, красочностью, силой, живым пульсом... Современники тоже никак его не удовлетворяли. Пафос и многословие Гюго так же невыносимы, как слюнявая дряблость Ламартина. Мишле недостает глубины и чувства меры; Ренану — основательности и энергии; Тэну плавности и прозрачности; Флоберу — жизни и тепла. Бедный Бальзак беспорядочно, варварски громоздит одно на другое. А манерность Гонкуров — просто неприлична...

Ошеломленный подобными оценками, я со смехом спросил этого свирепого критикана, какова же должна быть та идеальная, дивная проза, которая достойна быть написанной. И взволнованный Фрадике (ибо он не мог сохранять свое безмятежное хладнокровие, когда речь заходила о вопросах формы) сказал, вернее пробормотал следующее: «Проза должна быть кристальной, бархатной, струистой, мраморно-скульптурной, словом, такой, чтобы она сама по себе, благодаря своим пластическим качествам, воплощала бы идеал абсолютной красоты; а своей выразительной силой слово должно уметь воспроизводить все — от самых неуловимых переливов света до самых сложных состояний духа...»

— Короче,— воскликнул я,— это проза, какой не может быть!

— Нет! — закричал Фрадике,— это проза, какой еще нет!

И он добавил в заключение:

— И так как ее еще нет, то не стоит писать. Мы можем создавать только формы, лишенные красоты; а они вмещают менее половины того, что мы хотели бы выразить, потому что остальное не может быть сведено к слову.

Во всем этом, пожалуй, было нечто надуманное и ребячливое; но слова его вскрывали причину, по которой столь незаурядный человек не стал литератором: им владело гордое стремление говорить лишь абсолютно верные истины и выражать их лишь в абсолютно прекрасных формах.

Именно поэтому, а вовсе не по южной лени, как намекает Альцест, Фрадике не оставил других следов своей гигантской мыслительной работы, кроме тех блесток, что в течение долгих лет он рассыпал, по примеру древнего мудреца, «в приятных

вечерних беседах под платанами своего сада, и в письмах — тех же простых беседах с друзьями, когда их разделяли с ним волны»... Беседы эти пропали, развеялись по ветру: не было у Фрадике Мендеса своего восторженного и терпеливого Босвелля, который следовал за старым доктором Джонсоном по городам и селам, насторожив свои оттопыренные уши и держа наготове карандаш, чтобы записать и увековечить всякое слово учителя. От Фрадике остались только письма — крохотные осколки золотого самородка, о котором говорит Альцест; но и в них присутствует блеск, высокая ценность и великолепие той редкостной золотой глыбы, от которой они были отколоты.

VIII

Если Фрадике подчинил всю свою жизнь столь твердому и неуклонному намерению избегать гласности и ничего не печатать, то не совершаю ли я теперь необдуманный и вероломный шаг, публикуя его письма и тем посмертно ввергая моего друга в шумную суету, от которой его всегда отвращала неподкупная честность перед самим собой? Этого можно было бы опасаться, если бы я не располагал неопровержимыми доказательствами того, что Фрадике безусловно одобрил бы план издания его переписки, подготовленного тщательно и любовно. В 1888 году, описывая ему свое романтическое путешествие по Бретани, я упомянул о книге, которую брал с собой в дорогу и читал с наслаждением — о «Переписке» Дудана, одной из тех замкнутых натур, весь смысл существования которых в самосовершенствовании и поисках истины, а не в погоне за славой. Подобно Фрадике, Дудан запечатлел свою напряженную интеллектуальную жизнь только в переписке, благоговейно собранной после его смерти теми, кому он поверял свои мысли.

В ответном письме, посвященном всецело Пиренеям, где Фрадике провел лето, он добавил в постскриптуме: «Ты прав, переписку Дудана можно читать, и даже с интересом. Правда, в ней чувствуется некоторая духовная ограниченность: Дудан еще юношей ушел с головой в доктринерство Женевской школы, а затем, по причине болезни и одиночества, узнавал жизнь и людей только из книг. Во всяком случае, я читал эти письма, потому что читаю все вообще «Переписки». Не будучи задуманы с дидактической целью (и тем выгодно отличаясь от «Писем» Плиния), они представляют собой бесценный материал

для изучения психологии и истории. Право, это прекрасный способ увековечить мысли человека: обнародовать его переписку! Я безоговорочно одобряю это! Опубликование писем уже само по себе имеет то громадное преимущество, что ценность их и, следовательно, отбор тех, которые должны остаться, определяется не их автором, а друзьями и критиками, которые свободны в своих суждениях и могут быть требовательны, так как судят о человеке, которого уже нет в живых и которого они желают представить миру только с лучшей, самой выгодной стороны. Кроме того, в письмах ярче, чем в каком бы то ни было произведении, выявляется индивидуальность человека; а это неоценимо, особенно в отношении тех, чей характер был интереснее, чем их талант. И вот еще что: если литературное произведение не всегда обогащает запас знаний, накопленный человечеством, то «Переписка», неизбежно фиксируя привычки, чувствования, вкусы и образ мыслей современников, всегда вносит новую лепту в сокровищницу исторических сведений. Итак, письма человека — дышащий жизнью и огнем документ — более поучительны, чем его взгляды, безличное порождение ума. Философия — не более чем гипотеза, каких много. Исповедь же целой жизни позволяет нам видеть реальность человеческого существования, которая вместе с другими объективными сведениями расширяет наше знание Человека — единственного объекта, доступного нашему разуму. И, наконец, письма — это записанная болтовня (определение не помню уже какого классика), они не требуют священнодейственного облачения в форму прозы, какой еще нет... Но на этом пункте следовало бы остановиться подольше, а я слышу, что к крыльцу уже подают коня: я попытаюсь совершить экскурсию на Бигоррский пик».

Помня об этом высказывании Фрадике, таком ясном и так подробно обоснованном, я решился, лишь только во мне стала успокаиваться скорбь об этом удивительном человеке и друге, собрать его письма, чтобы люди могли узнать и полюбить хоть частицу души, которую я успел так близко узнать и так преданно полюбить. Я посвятил этой работе целый год, потому что переписка стала самым любимым занятием Фрадике с 1880 года, когда «исследователь материков» перешел к спокойному, оседлому образу жизни. По объему и богатству его переписка напоминает эпистолярное наследие Цицерона, Вольтера, Прудона и других могучих тружеников мысли.

Даже по бумаге видно, что письма эти писались с удовольствием: передо мной листы отличного ватмана, белого и блес-

тящего, по которому перо скользит так же легко, как голос разрезает воздух; они достаточно велики, чтобы на них поместилась самая сложная мысль во всем ее развитии; достаточно плотны, почти как пергамент, чтобы их не источило время. «С помощью Смита я установил,— пишет он Карлосу Майеру,— что каждое мое письмо, считая бумагу, конверт и марку, обходится мне в двести пятьдесят рейсов. Теперь тщеславно предположим, что в пятистах моих письмах содержится одна мысль,— отсюда следует, что каждая моя мысль стоит сто двадцать пять милрейсов. Этого простого подсчета достаточно, чтобы государство и экономный средний класс, который им управляет, с пылом начали кампанию за сокращение народного образования, доказав вполне неопровержимо, что курить дешевле, чем думать... Я сопоставляю мышление с курением, потому что — о Карлос! — это два идентичных процесса, состоящих в том, что мы пускаем по ветру небольшие облачка чего-то неуловимого».

В верхнем углу этих дорогостоящих листков стоят инициалы Фрадике — Ф. М., отпечатанные простым, мелким шрифтом, в красной эмали. Строки, написанные его рукой, на редкость неровные, чрезвычайно напоминают его разговор: почерк то сжатый и острый, словно вонзающийся в бумагу, как резец, чтобы как можно точнее очертить мысль; то неуверенный, с промежутками, росчерками, перерывами, как будто в процессе писания он медленно, ощупью доискивался истинной сущности вещей; то беглый и быстрый, когда строчки льются из-под пера свободно и непринужденно — точь-в-точь как его речь в минуты духовной щедрости и подъема, которые Фюстан де Карманж называл le dégel de Fradique, когда сдержанность и корректность нашего друга вдруг сменялась шаловливой, воздушной шуткой, подобной игре вымпела на ветру.

Фрадике никогда не датировал своих писем, и если его друзьям было известно, откуда он пишет, то указывал только месяц. Существует бесконечное множество писем с такими сокращенными обозначениями: Париж, июль; Лиссабон, февраль. Нередко также он возвращал месяцам взятые у природы названия республиканского календаря —Париж, Флореаль; Лондон, Нивоз. Когда он писал женщинам, то заменял название месяца названием цветка, который обычно цветет в это время. У меня есть письма с такими буколическими датами: Флоренция, первые фиалки (что означает конец февраля); Лондон, цветут хризантемы (то есть начало сентября). На одном письме красуется даже такая жестокая дата: Лиссабон, пер-

выз ручьи парламентского словоблудия (это означает: унылый январский день, грязь, пролетки на площади Сан-Бенто, а наверху — бакалавры, изрыгающие в своих речах хулу на ближнего, смешанную с застрявшими в их памяти формулами из затасканных конспектов).

Поэтому невозможно расположить письма Фрадике в хронологическом порядке; да хронологический порядок и не имеет значения, раз я не ставлю себе цели издать его переписку полностью и не тщусь охватить всю интимную историю его мысли. В письмах, не принадлежащих перу литератора и (в отличие от переписки Вольтера или Прудона) не составляющих беспрерывного комментария к его произведениям, прежде всего нужно выделять те страницы, которые наиболее рельефно рисуют личность автора во всей совокупности мыслей, вкусов, привычек, живо и осязательно характеризуют человека. И поэтому из увесистой пачки писем Фрадике я выбираю только некоторые, единичные, из тех, что выявляют черты его характера или важные стороны деятельности; я отобрал и несколько писем, которые показывают какой-нибудь существенный эпизод жизни его сердца; и несколько таких, где обсуждаются отвлеченные вопросы литературы, искусства, общественной жизни, характеризуя склад его ума; включаю я сюда, ради их особого интереса, и некоторые его письма о Португалии, как, например, лиссабонские впечатления, описанные им с таким юмором и язвительной правдивостью, чтобы позабавить госпожу де Жуар.

Было бы, конечно, бесполезно искать на этих отрывочных страницах полную картину духовной жизни Фрадике Мендеса, с его возвышенным и свободным мышлением и глубокими, точными познаниями. Письма Фрадике Мендеса, как говорит в заключение Альцест — c'est son génie qui mousse [1]. И действительно, мы видим в них только сверкающую, недолговечную пену, шипящую и бьющую через край, а не то драгоценное, целительное вино, которое покоилось под ней и никогда не было разлито по бокалам, ни разу не послужило на благо жаждущих душ. Но даже в таком разбросанном виде переписка Фрадике рельефно воссоздает образ этого человека, столь замечательного во всех проявлениях своей мысли, своих страстей, своих отношений с людьми и своей деятельности.

Публикуя письма Фрадике Мендеса, я не только стремлюсь внушить моим современникам любовь к этому человеку,

---

[1] Это искристая пена на поверхности таланта *(франц.)*.

которого я так любил, но и исполняю патриотический долг. Народ живет лишь потому, что мыслит. Cogitat ergo est [1]. Одной силы и богатства недостаточно, чтобы та или другая нация заслужила славное место в истории, точно так же, как крепких мускулов и набитого золотом кошелька недостаточно отдельному человеку, чтобы считаться гордостью человечества. Африканское царство, с бесчисленными воинами на биваках и бесчисленными алмазами в недрах гор, все равно останется дикой и мертвой землей, которую цивилизованные страны топчут и грабят ради выгод цивилизации с таким же хладнокровием, с каким бьют и режут бессмысленную скотину, чтобы питать животных мыслящих. И с другой стороны, если бы Египет или Тунис стали выдающимися центрами науки, литературы или искусства и через своих возвышенных гениев долго учили остальной мир — ни один народ, даже в наш век железа и насилия, не посмел бы захватить, как незасеянное и никому не принадлежащее поле, царственную землю, где родились высокие мысли и прекрасные формы,— родились, чтобы сделать человечество более совершенным.

Поистине, только мысль и ее высшее достижение — Наука, Литература и Искусство — даруют народам величие, снискивают им всеобщее уважение и любовь и, образуя сокровищницу истин и красот, нужных всему миру, делают землю этих народов священной для людей. В самом деле, какая разница между Парижем и Чикаго? И тот и другой — оживленные промышленные города, чьи дворцы, учреждения, парки, богатства приблизительно равноценны. Так почему же Париж является огнекипящим центром цивилизации и неотразимо влечет к себе человечество и почему Чикаго означает на земле только громадный амбар, где можно купить муку и зерно? Потому что в Париже, кроме дворцов, учреждений и богатств, которыми по праву славится и Чикаго, есть особенный круг людей: Ренан, Пастер, Тэн, Бертело, Коппе, Бонна, Фальгьер, Гуно, Массне, которые неустанной работой своего мозга превращают обыкновенный город, где они проживают, в средоточие высшей духовной жизни. Но если бы «Происхождение христианства», «Фауст», картины Бонна, статуи Фальгьера были созданы за океаном, в молодом и монументальном Чикаго, то к Чикаго, а не к Парижу, обратились бы мысли и сердца обитателей Земли, как растения поворачиваются туда, откуда светит солнце. И если народ становится великим только потому, что мыслит,

---

[1] Он мыслит — значит существует *(лат.)*.

то человек, открывший для своих соотечественников истинный облик сына их земли, с умом, сильным и своеобразным, совершает патриотическое дело, умножая единственную славу своего народа, которая может заслужить ему уважение других народов. Такой человек словно прибавляет новую святыню к древним святыням родины или воздвигает над стенами ее крепости новую башню.

Мишле говорит об Антеро де Кентале в одном из своих писем: «Если в Португалии есть еще четыре или пять таких личностей, как творец «Современных од», то Португалия по-прежнему остается великой, живой страной...» Автор «Истории Франции» хотел этим сказать, что пока в нашей стране живет мысль, то пусть способность действовать в ней умерла — все равно, страна эта еще не вся обратилась в труп, который позволительно попирать ногами и разрывать на части. Но работа мысли многообразна; не все ее проявления равно блистательны, но все они равно показывают, что породивший ее народ жив. Книга стихов свидетельствует о том, что душа нации еще живет в ее поэтическом гении; совокупность мудрых законов, созданных положительным творческим усилием, может убедительно доказать, что душа нации живет в ее практическом гении; и появление мыслителя вроде Фрадике служит залогом того, что душа его народа жива — пусть в менее грандиозных, но не менее ценных проявлениях мысли: в остроумии, даре непринужденной импровизации, высокой иронии, фантазии, юморе, хорошем вкусе...

В наше смутное и горькое время португальцы вроде Фрадике не должны быть преданы забвению, вдали от родины, под безмолвной плитою мрамора. Поэтому я открываю его для моих соотечественников — в знак утешения и надежды.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПИСЬМА

I

Виконту А. Т.

Лондон, май.

Дорогой соотечественник!

Вчера поздно вечером, вернувшись из-за города, я нашел записку, в которой Вы оказываете честь моей опытности, спрашивая, «кто самый лучший портной в Лондоне?». Это полностью зависит от цели, для которой Вам нужен сей художник. Если Вы ищете просто мастера, способного недорого и удобно прикрыть Вашу наготу, тогда рекомендую выбрать того, чья мастерская ближе всего к Вашему отелю. Вы сэкономите несколько шагов, а ведь каждый шаг, как говорит Экклесиаст, сокращает расстояние до могилы.

Но если Вы, дорогой соотечественник, желаете найти портного, который придаст Вам вес и значение в свете; чье имя можно с гордостью упомянуть у подъезда Гаванского табачного магазина; в чьем изделии можно неторопливо взойти на крыльцо, повертываясь во все стороны и демонстрируя покрой сюртука, легко и свободно охватывающего Вашу талию; если Вы хотите одеваться у портного, чья фирма дает право перечислять встреченных у него лордов, надменно указывающих тростью шевиот, который они выбирают для охотничьей куртки; если позже, в годы ревматической старости, этот костюм должен послужить Вам утешительным воспоминанием о годах элегантной молодости — тогда настоятельно рекомендую Вам Кука (Томаса

Кука): он сейчас в чрезвычайной моде, абсолютно разорителен и все портит.

Всегда готовый и впредь рекомендовать Вам поставщиков в Лондоне или любой другой точке вселенной,

Фрадике Мендес.

II

Госпоже де Жуар
(С франц.) [1]

Париж, декабрь

Дорогая крестная! Вчера у госпожи Трессан, когда я вел к столу Любушу, подле вас под ужасным портретом маршальши Муи сидела и разговаривала белокурая женщина с высоким, чистым лбом; она тотчас мне понравилась: хотя она небрежно расположилась в глубоком кресле, я почувствовал, что у нее должна быть походка редкой грации — гордой и легкой грации, свойственной богине или птице. Совсем не то, что наша ученая Любуша, которая движется грузно и величаво, как статуя! И мои каракули проистекают из интереса к этой дианической (от имени Дианы) крылатой походке.

Кто эта дама? Вероятно, приехала к нам из недр провинции, живет в каком-нибудь старом замке в Анжу, окруженном рвом, скаты которого поросли травой. Я не припомню, чтобы видел в Париже эти сказочно белокурые волосы, светлые, как лондонское солнце в декабре; не видел я и эти покатые плечи, скорбные, ангельские, как у мадонны Мантеньи, и совершенно вышедшие во Франции из моды со времен Карла X, «Лилии в долине» и непонятых сердец. Далеко не с таким восторгом я смотрел на ее черное платье, на котором ярко желтели какие-то украшения. Но руки ее безупречны; и на ресницах, когда она их опускала, казалось, повис грустный роман. Сначала она показалась мне мечтательницей в духе Шатобриана. Но потом я заметил в ее глазах искорку впечатлительной живости, которая отодвигает ее в XVIII век. Вы, дорогая крестная, вероятно, скажете: «Как он мог все это приметить, проходя под руку с Любушей и под ее бдительным взором?» Но дело

---

[1] Многие из публикуемых писем Фрадике Мендеса написаны, естественно, по-французски. Они даны в переводе, с пометкой — с франц. *(Прим. автора.)*

в том, что я вернулся. Вернулся и, прислонясь к косяку двери, еще раз залюбовался скорбными плечами мадонны XIII века и копной золотистых волос; свет канделябра, спрятанного среди орхидей позади нее, окружал их сияющим нимбом; но больше всего пленила меня невыразимая прелесть ее глаз, глаз задумчивых и нежных... Задумчивых и нежных. Это первое подходящее выражение, каким я сегодня сумел очертить действительность.

Почему я не подошел и не попросил «представить» меня? Не знаю. Может быть, я медлил намеренно, как Лафонтен: направляясь к блаженству, он всегда выбирал самый долгий путь. Вы знаете, что придавало такую влекущую силу замку Фей во времена короля Артура? Не знаете, потому что не читали Теннисона... Так вот, главным его очарованием было бесконечное число лет, уходившее на то, чтобы проникнуть через волшебные сады, где каждый уголок таил неожиданность: любовь, сражение или пиршественный стол... Решительно, сегодня я проснулся с болезненной склонностью к азиатскому стилю. Факт тот, что после долгого созерцания у дверного косяка я вернулся и сел ужинать рядом с моей прекрасной тиранкой. Но между банальным сандвичем с foie-gras [1] и рюмкой токайского (нисколько не похожего на тот токай, ким угощала Вольтера госпожа Этиоль, о чем он вспоминал в старости — ибо вина Трессанов восходят по мужской линии к ядам Бренвилье) я видел, неотступно видел перед собой глаза — задумчивые и нежные. Во всем животном мире только человек способен одновременно наслаждаться задумчивой томностью взора и ломтиками foie-gras. Этого ни за что не сделала бы собака хорошей породы. Но разве «женственная эфемерность» тянулась бы к нам, если бы в нас не было плотской грубости, ниспосланной Провидением? Только та доля физически-материального, которая заключается в мужчине, примиряет женщину с той неискоренимой долей идеального, которая тоже в нем имеется и приносит миру столько треволнений. В глазах Лауры больше всего повредили Петрарке его сонеты; и когда Ромео, стоя одной ногой на шелковой лестнице, медлил, изливая свой восторг ночи и луне, Джульетта нетерпеливо барабанила пальчиками по перилам балкона и думала: «Ах, какой же ты болтун, сын Монтекки!» Этой детали нет у Шекспира, но ее подтверждает все Возрождение. Не браните меня за откровенность, ведь я скептик и южанин, и дайте мне знать, ка-

---

[1] Печеночный паштет *(франц.)*.

ким именем крещена в своем приходе белокурая владетельница замка в Анжу. Кстати, о замках: мне пишут из Португалии, что беседка, заказанная мною для имения в Синтре и предназначавшаяся для Ваших «уединенных размышлений в часы полудня», рухнула. Три тысячи восемьсот франков ухлопано на груду камней. Все разваливается в стране развалин. Архитектор, строивший беседку,— депутат и печатает в «Вечерней газете» меланхолические эссе о финансах! Мой управляющий в Синтре рекомендует теперь для восстановления беседки достойного юношу из хорошей семьи, который понимает толк в строительстве и служит в прокуратуре! Наверно, если мне понадобится юрисконсульт, мне порекомендуют каменщика. И с этими-то веселыми принципами мы собираемся восстановить наши владения в Африке!

Ваш покорный и верный слуга

Фрадике.

III

Оливейре Мартинсу.

Париж, май.

Дорогой друг!

Исполняю, наконец, обещание, данное тебе, ученому отшельнику, в Агуас-Ферреас, в твоей келье, в то памятное утро, когда, сидя на мартовском солнышке, мы рассуждали о характере древних; и прилагаю, в качестве документа, фотографию мумии Рамзеса II (которого легкомысленный француз, вслед за легкомысленным греком, упорно называет Сезострисом): эту мумию недавно откопал в царских усыпальницах Мединет-Абу профессор Масперо́.

Дорогой Оливейра Мартинс, не находишь ли ты забавно-многозначительным этот факт: фотография Рамзеса? Вот и оправдание обычая бальзамировать трупы, на что добрые египтяне затратили такую уйму труда и денег, дабы люди могли, как говорит один писец, сохраняя свою телесную оболочку, пользоваться «преимуществами вечности». Ныне Рамзес, в соответствии со своей верой и обещаниями фиванских метафизиков, действительно воскрес со всеми костями и принадлежавшей ему кожей, в текущем 1886 году по рождестве Христове. А ведь 1886 лет плюс еще 1400, протекшие до рождества Христова, составляют вполне приличную вечность и будущую жизнь для фараона девятнадцатой династии. И вот мы теперь можем воочию созерцать истинные черты вели-

чайшего из Рамзесов, не хуже Хокема, его главного евнуха, или Пентаура, первого летописца, и всех тех, кто в дни торжеств, «по-праздничному причесав волосы и умастив кожу сегабайскими маслами», усыпали цветами путь фараона. Вот он перед тобой на фотографии; веки его опущены, на лице играет улыбка. Что говорит мне это царственное лицо? Какие оно вызывает обидные размышления о безостановочном вырождении человека! Кто из нынешних правителей мог бы похвастать таким высоким лбом, на котором лежала бы печать спокойной и безмерной гордости; у кого вы увидите эту чудную улыбку всемогущего благоволения, неизреченного благоволения, объемлющего весь мир? На чьем лице выражается эта невозмутимая и неукротимая сила? Где найдешь это мужественное великолепие, которого не смог погасить за 3000 лет мрак подземелья? Вот истинно властитель людей! Сравни это величественное лицо с вялой, хитрой, усатой физиономией какого-нибудь Наполеона III; с мордой цепного бульдога, которая заменяет лицо Бисмарку; или с обликом русского царя, с его неподвижно-угодливыми чертами, которые лучше подошли бы его собственному камер-лакею. Как пошлы, как безобразно-хитры лица этих властелинов!

Отчего это происходит? Оттого, что душа формирует лицо, как дыханье древнего стеклодува формировало тонкий сосуд; а в условиях нашей цивилизации душа не может развиться и расцвести в полную меру своей силы. Когда-то обыкновенный человек — пучок мускулов на каркасе из костей — мог подняться во весь рост и действовать, как стихия природы. Достаточно было беспредельного желания, чтобы достичь беспредельной мощи. Вот Рамзес — существо, которое все хочет и все может и которому Пта, мудрый бог, говорит со страхом: «Твоя воля дает жизнь, и твоя воля посылает смерть!» Достаточно этому властелину пожелать, и он двинет целые народы на север, на юг, на восток; он меняет или сравнивает с землей, точно изгороди в поле, границы государств; новые города встают там, где прошла его нога; для него родятся земные плоды, к нему обращены все надежды людей; место, на котором остановился его взор, благословенно и процветает, а место, лишенное этого благотворного света, лежит, как «почва, которой не поцеловал Нил»; боги зависят от него, и Аммон трепещет от страха, когда перед пилонами его храма Рамзес щелкает своим боевым бичом, сплетенным из трех волокон. Вот человек! Он, безусловно, вправе написать на триумфальном обелиске: «Все склонилось пред моей силой; я хожу, где хочу, свободными шагами

льва; цари богов сидят одесную и ошую от меня; когда я говорю, небо внемлет; все земное простирается у моих ног, чтобы я мог взять, что мне нужно, свободной рукой; я навеки воссел на троне мира!» «Миром», конечно, была лишь область, в большей своей части покрытая песками, между Ливийским хребтом и Месопотамией: нигде не встретишь более необузданной напыщенности, чем в панегириках летописцев. Но этот человек был или считал себя великим, и сознание несравненного величия и неограниченной власти отразилось в чертах его лица и придало ему ту горделивую мощь, проникнутую улыбчивой ясностью, которую Рамзес сохраняет даже по ту сторону жизни,— высушенный, набальзамированный и пропитанный смолами.

С другой стороны, взгляни на обстоятельства, среди которых существует властитель типа Бисмарка. Несчастный ни над чем не возвышается и от всего зависит. Каждое его поползновение наталкивается на какое-нибудь препятствие. Его деятельность состоит в том, что он беспрерывно колотится головой о толщу накрепко запертых ворот. Всякого рода условности, традиции, права, предписания, интересы, принципы ежеминутно возникают на его пути, как заповедные грани. Достаточно появиться заметке в газете — и он в нерешительности останавливается. Ловкий ход крючкотвора принуждает его поспешно спрятать уже выпущенные когти. Десять глупых буржуа и десять лохматых профессоров, проголосовав в палате, повергают наземь высокие леса его планов. Несколько флоринов в казенном сундуке становятся кошмаром его ночей. Ему так же невозможно распорядиться судьбой какого-нибудь гражданина, как ходом небесного светила. Никогда он не может шагнуть без оглядки, прямо и уверенно: он должен извиваться и ползти. Бдительная слежка окружающих вынуждает его разговаривать вполголоса и таясь. Вместо «срывания земных благ свободной рукой», он урывает их по крохам после долгих и сложных интриг. Могучие потоки мыслей, чувств, интересов несутся под ним и вокруг него; по-видимому, он управляет ими, потому что жестикулирует и шумит, стоя на возвышении; но в действительности это они увлекают его за собой. Так всемогущий властелин типа Бисмарка лишь изредка и лишь на первый взгляд находится выше всего великого. Нет! На деле он, как отвязанный буек, просто плывет, уносимый потоком.

Жалкая власть! И сознание своего ничтожества не может не отразиться на физиономии наших властителей: оттого-то и

бывает у них это деланное, искаженное, вымученное, кислое и, главным образом, помятое выражение, какое можно наблюдать на лице Наполеона, царя, Бисмарка и всех тех, кто в наше время держит в своих руках наибольший потенциал власти. Они выглядят как помятый предмет, который катится по наклонной плоскости, то и дело толкаясь и ударяясь о поперечные стенки.

Одним словом, мумия Рамзеса II (единственное подлинное изображение древнего человека, известное нам) доказывает следующее: так как человеку сделалось невозможно прожить жизнь с максимальной свободой и максимальным проявлением силы, не ограниченной ничем, кроме его желания, то в результате навсегда утрачен физический тип человека, воплотившего в себе величие. Нет больше величественных лиц, есть только мелкотравчатые маски, на которых желчь роет морщины в складках кожи. Благородные физиономии остались только у диких зверей, истинных Рамзесов пустыни: они не потеряли ни своей силы, ни своей свободы. Современный же человек, даже достигший социальных высот — это бедный Адам, сплющенный между страницами свода законов.

Если на твой взгляд все это преувеличение и плод фантазии, то могу дать объяснение: вчера я обедал и, следовательно, не мог не побеседовать с твоим политическим единомышленником П., статским советником и muchas cosas más[1] (más по-испански и más также по-португальски). Это письмо — реакция на разговор, пропахший ароматом советника. Ах, друг мой, несчастный друг, что делаешь ты, когда на тебя низвергается словесный поток из уст советника? Я принимаю внутреннюю ванну, очистительную ванну, огромную ванну фантазии, куда вливаю для аромата флакончик Шелли или Мюссе.

Твой верный друг

Фрадике Мендес.

IV

Госпоже С.

Париж, февраль.

Мой милый друг!

Испанца зовут дон Рамон Коваррубия, живет он в пассаже Сонье, № 12, и так как он арагонец и, значит, непривередлив, то, вероятно, удовольствуется десятью франками за урок. Но если Ваш сын уже знает испанский язык настолько, что-

---

[1] Здесь: и прочее и прочее *(исп.)*.

бы понимать «Романсеро» и «Дон-Кихота», если он прочел кое-что в плутовском жанре, разобрал двадцать строк из Кеведо, знает две комедии Лопе де Вега и один-два романа Гальдоса (а в испанской литературе больше ничего и нет), то зачем вы, моя разумная приятельница, еще желаете, чтобы он говорил на испанском языке, и без того ему известном, с подлинным акцентом, вкусом и остроумием мадридца, родившегося на Калье Майор? Стоит ли милому Раулю тратить время, отпущенное на приобретение знаний и понятий (а юноше с именем, состоянием и красивой наружностью общество отпускает на это только семь лет — от одиннадцати до восемнадцати), на что? На праздную роскошь, на излишнее, ненужное оттачивание того, что является простым орудием приобретения знаний и понятий! Ибо языки, мой добрый друг,— не более чем орудие познания, точно такое же, как, например, орудие обработки земли. Тратить энергию и время на то, чтобы научиться говорить на иностранном языке так чисто и правильно, будто это родной ваш язык и будто именно на нем вы впервые попросили хлеба и воды,— это значит поступать, как земледелец, который не довольствовался бы для копания земли обыкновенным куском железа, насаженным на деревянную рукоятку, а тратил бы драгоценное время, необходимое для обработки огорода, на вырезыванье узоров на рукоятке и гравирование эмблем на железе. Что сталось бы, милостивая государыня, с вашими садами в Турени, если бы ваш садовник, забыв о них, всецело занялся украшением своей лопаты?

Человек должен говорить с непогрешимой верностью и чистотой только на своем родном языке; на всех же других пусть говорит плохо, надменно плохо, и пусть неверный и смешной акцент выдает в нем иностранца. Ведь в языке живет национальность, и кто с одинаковым совершенством владеет всеми языками Европы, тот постепенно теряет свой национальный облик. Родной язык утрачивает для него свою прелесть, свою исключительность, перестает воздействовать на его чувства и тем самым перестает отделять его от людей других национальностей. Космополитизм речи неизбежно приводит к космополитизму характера. Полиглот не может быть патриотом. Каждый новый усвоенный им язык вводит в его нравственный организм чуждый образ мыслей, чуждый способ чувствования. Его патриотизм растворяется в привязанности к иноземному. Rue de Rivoli, calle d'Alcalá, Regent-Street, Wilhelmstras-

se[1] — не все ли ему равно? Все это — улицы, вымощенные булыжником или покрытые макадамом. Речь, которую он слышит на любой из этих улиц, звучит для него одинаково естественно, это сродная ему стихия, в которой дух его движется свободно, непосредственно, без колебаний и неловкости. А если через слово — главное орудие общения людей — он может слиться с каждым народом, то все эти страны он ощущает и приемлет как родину.

С другой стороны, постоянное усилие выражаться на чужом языке без ошибок, с неукоснительным соблюдением всех особенностей его строя и акцента (то есть постоянное усилие слиться с чужими людьми в том, что для них особенно характерно), заглушает в нем собственную природную индивидуальность. По прошествии многих лет этот искусник, умеющий говорить на всех языках, кроме родного, теряет всякую духовную самобытность; мысли его неизбежно приобретают безличный, нейтральный характер, ибо только такие мысли могут быть равноценно выражены далекими друг от друга по строю и духу языками. Фактически мысли этого полиглота становятся похожи на тех бедняков, о которых наш народ сложил грустную поговорку: «На них хорошо сидит платье с любого плеча».

И, кроме того, стремление говорить безупречно на иностранном языке даже в глазах самих иностранцев является каким-то неприятным, недостойным кривляньем. Есть что-то унизительное в этом усилии не быть самим собой, слиться с ним, с иностранцем, и именно в наиболее самобытном, наиболее природном — в слове. Ведь это не что иное, как отречение от национального достоинства. Нет, милая сеньора! Будем говорить на чужом языке благородно плохо, патриотично плохо! Хотя бы потому, что полиглот самим иностранцам внушает одно лишь недоверие; они чуют в нем существо без собственных корней, без постоянного очага, существо, которое пробавляется около чужих наций, маскируется поочередно под каждую из них и пробует обосноваться то среди одной, то среди другой, так как ни одна не хочет терпеть его у себя. И действительно, дорогой мой друг, если вы просмотрите «Судебную газету», то убедитесь: высшая степень владения всеми языками — орудие самого квалифицированного мошенничества.

---

[1] Улица Риволи, улица Алькала, Риджент-Стрит, Вильгельмштрассе.

Однако я увлекся игрой мысли и вместо адреса посылаю вам трактат! Но, прочитав его, вы, быть может, улыбнетесь, подумаете и избавите вашего Рауля от тягостных потуг произносить: «¡Viva la gracia!» и «¡Benditos sean tus ojos!» [1] — точнехонько так, как если бы он жил на углу Пуэрта-дель-Соль, носил плащ с бархатными полами и сосал папироску, как сам Ласарильо. И все это, однако, не мешает вам воспользоваться услугами дона Рамона: он не только почитатель Соррильи, но и весьма недурной гитарист и владеет не только языком Кеведо, но и гитарой Альмавивы. И ваш красавец Рауль приобретет благодаря ему новую возможность выражать себя: посредством гитары. А это чудесный дар! Для юноши — как, впрочем, и для старика — гораздо полезней уметь при помощи медных струн облегчить душу от всего неясного и безымянного, что в ней теснится, чем самым безукоризненным образом спросить в гостинице хлеба и сыра на шведском, голландском, греческом, болгарском и польском языках.

Да разве уж так необходимо даже ради этих насущных нужд души и тела «странствовать годами под суровой ферулой учителей по пустыням и болотам грамматики и произношения», как выражался старик Мильтон? У меня была замечательная тетка, которая говорила только на португальском языке, вернее на миньотском наречии, что не помешало ей объездить всю Европу вполне спокойно и удобно. Дама эта, веселого нрава, но хворавшая желудком, питалась преимущественно яйцами, которые она знала только под их родным португальским названием: ovos. Huevos, oeufs, eggs, Eier были для нее бессмысленными звуками природы, вроде кваканья лягушек или треска дерева. И когда в Лондоне, Берлине, Париже, Москве ей нужны были яйца, эта находчивая дама требовала к себе метрдотеля, вперяла в него свои умные, выразительные глаза, приседала с самым серьезным видом на ковре и, медленно покачивая пышными юбками, на манер растопырившей перья наседки, кричала: «Ко-ко-ко-ко! Ки-ки-ри-ки! Ко-ко-ри-ко!» И нигде — ни в безвестных деревушках, ни в славных центрах мировой цивилизации — моя тетушка не оставалась без яиц, и притом самых свежих!

Целую Ваши ручки, дорогая моя благожелательница.

Фрадике.

---

[1] Слава красоте! Благослови тебя бог, красавица! *(исп.)*

V

Герре Жункейро.

Париж, май.

Дорогой друг!

Ваше письмо преисполнено поэтических иллюзий. Если вы простодушно полагаете, что достаточно поразить стихами (даже вашими — а они сверкают ярче стрел Аполлона) церковь, священников, литургию, таинства, постные дни и мощи великомучеников, чтобы «очистить идею бога от наносов шаманства» и поднять народ (в понятие «народ» вы, по-видимому, включаете и статских советников) до понимания чистой идеи бога, равнозначной чистому понятию нравственности, основанной на вере,— то это значит, что вы судите о религии, о ее сущности и цели как мечтатель, упорствующий в своих мечтаниях!

Мой добрый друг! Отнимите у религии ритуал, и религия исчезнет, ибо для большинства людей (за исключением нескольких философов, моралистов и мистиков) религия есть не что иное, как совокупность обрядов. При помощи этих обрядов каждый народ надеется войти в общение со своим богом, чтобы получать от него милости. Именно это и только это является целью всех культов, начиная от самого примитивного, культа Индры, до новейшего — культа сердца Марии, внедрение которого в Вашем приходе так возмущает Вас, о неисправимый идеалист!

Если хотите проверить это на истории, покиньте Вианудо-Кастело, возьмите посох и пройдемте вместе через всю древность — в ту тщательно обработанную и щедро орошенную область, что лежит между рекой Индом, отрогами Гималаев и песками великой пустыни. Мы находимся в Септа-Синду, Семиречье, в Счастливой долине, в земле арийцев. В первом же селении, где мы остановимся, Вы увидите на верхушке холма алтарь из камней, покрытый свежим мхом. На нем тускло чадит огонек. Вокруг алтаря ходят люди в полотняных одеждах и с длинными волосами, схваченными обручем из чистого золота. Друг мой, это священники, первые капелланы человечества; на заре майского дня они совершают обряд арийской литургии. Один очищает от коры и сучков поленья, которые будут питать священный огонь; другой долбит в ступке ароматические травы, дающие «сому», и стук его пестика должен греметь, «как бубен победы»; третий, точно сеятель, разбрасывает зерна овса вокруг жертвенника; четвертый простирает руки к

небу и затягивает простой, суровый напев. Эти люди, друг мой, выполняют обряд, заключающий в себе всю религию арийцев. Цель их — умилостивить Индру, а Индра — это солнце, огонь, божественная сила, которая может наслать беду и погрузить в скорбь земледельца: иссушить оросительные каналы, сжечь пастбища, выпустить чуму из болот и сделать Семиречье «бесплодным, как злое сердце». Но та же сила, растопив снега Гималаев и пролив с ударом грома «дождь, бременящий чрево туч», может вернуть воду руслам, зелень лугам, безвредность болотам и изобилие дому арийца. Короче говоря, надо убедить Индру быть арийцу другом и изливать на Семиречье те блага, которые необходимы земледельческому и пастушескому народу. Во всем этом нет и намека на метафизику или этику, нет ни объяснения природы богов, ни правил поведения для людей. Есть просто литургия, совокупность обрядов, которые ариец должен соблюсти, если хочет, чтобы Индра услышал его,— ибо опыт поколений показал, что Индра только тогда услышит его, лишь в том случае дарует искомые блага, если вокруг алтаря некие старцы, принадлежащие к некоей касте и одетые в белое полотно, воспоют ему приятные песнопения, сделают возлияния, принесут дары из плодов, пчелиного меда и мяса ягненка. Без даров, без возлияний, без песнопений и без ягненка Индра прогневится, спрячется в глубинах Невидимого и Недостижимого, не сойдет на землю и не разольется потоками доброты. И если из Вианы-до-Кастело явится некий поэт и отнимет у арийца алтарь, покрытый мхом, священное полено, ступку, сито и сосуд с сомой, то ариец лишится всех способов умилостивить своего бога, и бог больше не услышит его, и «он будет на земле как дитя без пищи, чьих шагов никто не оберегает».

Эта первобытная религия — абсолютный и неизменный образец всех вообще религий. Все они бессознательно воспроизводят этот образец, ибо в нем заключается всякая религия, безотносительно к чуждым ей элементам богословия и этики, вводимым в нее возвышенными умами. Во всех странах, у всех народов, религия обожествляет либо силы природы, либо души мертвых. Все религии состояли или состоят из суммы определенных приемов, при помощи которых простой человек хочет заручиться благоволением божества и получить наивысшие блага: здоровье, силу, мир, богатство. И даже тогда, когда человек, уже более уверенный в своих силах, ищет этих благ у гигиены, порядка, закона и труда, он все-таки продолжает умилостивлять божество обрядами, чтобы божество помогло

его усилиям. То, что мы видим в Семиречье, Вы можете проверить (прежде чем мы вернемся в Виану пить молодое монсанское вино, воспетое Вами) на классической древности, причем где угодно: в Афинах или Риме, в момент наивысшего расцвета греко-латинской цивилизации. Если вы спросите древнего — будь-то горшечник из Субурры или сам Flamen Dialis,— в чем заключается его вероучение или сумма моральных принципов, образующих его религию, он ответит непонимающей улыбкой и скажет, что религия — это paces deorum quaerere — умиротворять богов и упрочивать их благоволение, а для этого, по понятиям античного человека, надо исполнять обряды, ритуальные действия и произносить известные слова, ибо долгая традиция доказала, что только этим можно привлечь внимание богов, повлиять на них, завоевать их расположение; и очень важно не изменить ничего в этом церемониале — ни одного слога в молитве, ни одного жеста при жертвоприношении,— иначе богам не понравится молитва, она не дойдет до их слуха, и боги останутся безучастными и равнодушными; и тогда религия не достигнет своей главной цели: воздействовать на божество; хуже того, религия станет безбожной, и боги, видя в отступлениях от ритуала недостаток веры, немедленно обрушат на неверных молнии своего гнева. Расположение складок на тунике священнослужителя, шаг направо, шаг налево, количество капель вина во время возлияния, размер поленьев для жертвенного огня — все эти подробности были у древних раз и навсегда установлены ритуалом, и любое упущение или отступление рассматривалось как нечестие. По существу, это было даже преступление против отечества, потому что могло навлечь на всю страну гнев богов. Сколько погибло легионов, сколько пало крепостей — и все из-за того, что первосвященник уронил щепотку пепла с жертвенника или из-за того, что гаруспекс вырвал слишком маленький клочок шерсти с головы жертвенного ягненка! Поэтому в Афинах наказывали жреца, который изменил церемониал, и сенат низлагал консулов, совершивших даже самую незначительную ошибку в жертвоприношении (например, если тога осталась у них на голове, вместо того чтобы в положенный момент соскользнуть на плечо). Так что, если бы Вы жили в Риме и в блистательных сатирах высмеивали богов, Вы были бы, возможно, великим и любимым комическим поэтом; но если бы Вы вздумали, как в «Старости вечного отца», высмеивать литургию и церемониал, то стали бы врагом общества, изменником родины и были бы брошены в Туллианскую тюрьму.

А если Вам надоела древность и Вы предпочитаете вернуться в нашу философическую эпоху, то в двух великих религиях Востока и Запада, в католичестве и буддизме, вы найдете еще более ясное подтверждение того, что религия — это действительно не что иное, как совокупность обрядов. Богословие и мораль стоят над ними как нечто внешнее, как интеллектуальная игра, излишество и преходящая роскошь; это цветы, которыми украсила алтарь наша фантазия или наша жажда добродетели. Католицизм (и никто не знает этого лучше вас) сводится ныне к краткому перечню практических правил; а ведь нет другого вероучения, в пределах которого разум воздвиг бы столь обширное и величественное здание богословских и нравственных концепций! Но эти концепции — дело ученых и мистиков. По существу, они так и остались достоянием монастырей, где были драгоценным материалом для диалектики и поэзии. Толпе же они неизвестны и никогда не управляли умами и поступками. Сведенные в катехизисы и прописи, эти основные правила заучиваются народом; но вы никогда не убедите народ, что можно верить в бога, служить богу и быть угодным богу лишь тем, что исполняешь десять заповедей. Народ даже убежден, что эти десять заповедей, деяния милосердия и другие моральные предписания катехизиса — не что иное, как стишки, которые надо прошептать губами, и тогда в них проявится чудесная сила: они привлекут благоволение и милость бога. Чтобы служить богу (то есть *угождать* богу), самое главное — это слушать мессу, перебирать четки, поститься, причащаться, давать обеты, дарить облачения святым и т. д. Только этими обрядами, а вовсе не выполнением нравственного закона, можно расположить к себе бога и получить от него бесценные дары: здоровье, счастье, богатство, мир. Даже рай и ад — эти внеземные формы поощрения и наказания — никогда, по убеждению народа, не даются за исполнение или за нарушение закона. Вероятно, именно поэтому, и вполне резонно, католицизм считает награду и наказание не актом справедливости, но актом милости бога. А милость бога, по представлению простых людей, можно заслужить не безупречной жизнью, а постоянным и неуклонным исполнением обрядов: мессой, постом, покаянием, причащением, чтением молитв по четкам, жертвой, обетом. Иными словами, как в католической вере миньотца, так и в религии арийца, как в Карразеде-де-Ансиайнс, так и в Семиречье вся религия сводится к умилостивлению бога посредством угодных ему благочестивых обрядов. Нет в этом ни богословия, ни морали. Есть только дейст-

вие существа бесконечно слабого, которое хочет расположить к себе существо бесконечно сильное. И если вы, очищая католицизм от шаманства, устраните священника, епитрахиль, облатку, флакончик со святой водой, то есть ритуал и литургию, то католик сейчас же отвернется от религии, которая не имеет видимой глазу церкви и не дает простых и ощутимых способов вступить в общение с богом, чтобы получить от него сверхчувственные блага для души и чувственные блага для тела. Католицизм в тот же миг рухнет, и миллионы людей потеряют своего бога. Церковь и бог — это все равно, что сосуд и содержащееся в нем ароматическое вещество: церковь распалась — бог испарился.

Если бы у нас было время отправиться в Китай или на Цейлон, мы бы столкнулись с тем же явлением у буддистов. Буддизм выработал самую возвышенную метафизику и самую благородную мораль на свете. Но куда бы ни проникал буддизм — в орды Непала или в китайский мандаринат,— для толпы он всегда состоял из обрядов, церемоний, благочестивых поступков. Самый известный пример — молитвенная мельница. Вы никогда не видели эту мельницу? Увы, она очень похожа на кофейную. Во всех буддийских странах вы увидите ее на улицах городов и на перекрестках дорог. Набожный человек, проходя мимо, должен два раза крутнуть ручку мельницы, внутри которой лежат написанные на бумаге молитвы; молитвы зашелестят, и верующий тем самым войдет в общение с Буддой, который за этот акт трансцендентной учтивости «будет ему благодарен и умножит его блага».

Ни католичество, ни буддизм не приходят из-за этого в упадок. Наоборот! Они пребывают в нормальном и естественном для религии состоянии. Чем материальней религия, тем она божественней. Не пугайтесь! Я хочу сказать, что чем больше религия освобождается от умозрительных наслоений богословия, морали, гуманизма и т. д., отбрасывая их в присущие им области философии, этики и поэзии, тем непосредственней создает прямое и простое единение людей с их богом. Это единение достигается без всякого труда: достаточно встать на колени и пробормотать «Отче наш», и в награду абсолютный небесный человек идет навстречу преходящему земному человеку. Вот эта-то встреча и есть самое божественное в религии; чем она материальней, тем божественней.

Но вы скажете (и вы действительно это говорите): «Сделаем общение с богом чисто духовным. Не надо никакого литургического спектакля. Пусть дух человека непосредственно

говорит с духом бога». Но для этого нужно, чтобы наступило тысячелетнее царство Мессии и чтобы любой землекоп стал философом и мыслителем. Когда наступит это кошмарное царство и на козлах каждой пролетки будет сидеть Мальбранш, Вам придется создать для новой, совершенной породы мужчин новую, совершенную породу женщин, физиологически отличную от той, которая ныне украшает землю. Ибо пока женщина будет оставаться такой, какую в минуту высокого вдохновения создал Иегова из Адамова ребра, то рядом с ней, ради ее убожества, навсегда придется оставить священника, алтарь и статую богоматери.

Мистическое общение человека с богом, к которому вы стремитесь, навеки останется привилегией избранников духа, привилегией немногих. Для толпы же — будь то толпа языческая, христианская, магометанская, дикая или культурная — религия будет всегда иметь одну цель: выпросить у бога милость и отвести его гнев. И материальным средством достижения этой цели всегда будут храмы, священники, алтари, богослужения, облачения, образа. Спросите среднего человека — не философа, не моралиста, не мистика, а человека из толпы,— что значит верить в бога. Англичанин скажет: «Верить в бога — значит, опрятно одевшись, пойти к воскресной службе и петь гимны». Индус скажет: «Верить в бога — значит совершать каждый день «poojak» [1] и приносить дань Махадеве». Африканец скажет: «Верить в бога — значит приносить Мулунгу положенную порцию муки и мяса». Миньотец скажет: «Верить в бога — значит слушать мессу, перебирать четки, поститься по пятницам, причащаться на пасхе». И все они будут вполне правы, потому что цель их, как людей религиозных,— общение с богом, и все, о чем они говорят, суть способы войти в общение с богом, соответствующие уровню их цивилизации и форме принятых в их обществах литургий. Конечно, для вас и для других избранных религия представляет собой нечто совсем другое — как она была иной для Сократа в Афинах и для Сенеки в Риме. Но человеческие массы не состоят из Сократов и Сенек, к счастью для масс и для тех, кто ими управляет, включая и вас, ибо вы тоже хотите их учить!

Но вы все-таки не унывайте, дорогой друг! Даже у самых простых душ встречаются формы веры в божество, вполне свободные от литургических и обрядовых ритуалов. Один такой акт веры, восхитительно простой и чистый, я наблюдал сам.

---

[1] Поклонение *(санскрит)*.

Это было на берегах Замбези. Негритянский военачальник по имени Лубенга накануне объявления войны соседнему вождю пожелал войти в сношение со своим богом, своим Мулунгу, который был, как полагается, его обоготворенным предком. Однако весть или просьба, которую вождь желал сообщить своему божеству, была слишком важной и тайной, чтобы передавать ее через колдунов с их церемониями. Что же делает Лубенга? Он зовет раба, обстоятельно и медленно шепчет ему на ухо свое послание, проверяет, все ли раб понял, все ли запомнил, затем хватает топор, отрубает рабу голову и спокойно возглашает: «Ступай!» Душа раба пошла прямиком на небо, к Мулунгу, наподобие запечатанного письма с маркой; но несколько минут спустя вождь хлопает себя ладонью по лбу, поспешно зовет другого раба, наскоро шепчет ему на ухо еще несколько слов, отсекает ему топором голову от туловища и кричит: «Иди!»

Он забыл какую-то подробность в своем послании к Мулунгу... Второй раб был постскриптумом!

Этот простой способ общения с богом, несомненно, порадует ваше сердце.

Ваш друг

Фрадике.

VI

Рамальо Ортигану.

Париж, апрель.

Дорогой Рамальо!

В субботу вечером, проходя по улице Камбон, я вдруг увидел в едущем мимо фиакре нашего Эдуардо; он высовывается через дверцу и кричит: «Рамальо будет здесь сегодня вечером! Проездом в Голландию! В десять, «Кафе де ла Пэ».

Я приятно взволнован и в половине десятого, несмотря на мое законное отвращение к «Кафе де ла Пэ», куда стекается вся накипь международного снобизма, я располагаюсь там с кружкой пива, в ожидании, что сию минуту среди безличной и праздной толпы бульварных фланеров возникнет твой великолепный силуэт. В десять, спеша изо всех сил, с фиакра соскакивает живчик Кармонд: уехал с веселого ужина pour voir ce grand Ortigan! [1] Начинается сиденье вдвоем над двумя

[1] Чтобы повидаться с великим Ортиганом! *(франц.)*

кружками пива. Нет нашего Рамальо, не видно его веселой физиономии! В одиннадцать появляется запыхавшийся Эдуардо. Что ж Рамальо? Так и не явился? Сиденье втроем, нетерпеливое ожидание втроем, над тремя кружками пива. И так до тех пор, пока часы не прозвонили, что день кончается.

Но случай вознаградил нас; поучительный случай! Кармонд, Эдуардо и я уже досасывали последние клочья пены, потеряв надежду полюбоваться на Рамальо и его великолепный силуэт, как вдруг мимо нашего столика проходит смуглолицый, худосочный, долговязый субъект; в руке он почтительно, можно сказать, благоговейно, несет огромный букет желтой гвоздики. Оказывается, человек этот заморский, не то из Аргентины, не то из Перу, и к тому же приятель Эдуардо. Тот его останавливает и представляет: «Сеньор Мендибаль». Мендибаль соглашается выпить с нами кружку пива. Я молча созерцаю его узкую, медного оттенка (вернее, цвета английского пробкового шлема) физиономию, как будто высеченную в лезвии топора. Редкая бородка, какая-то нерешительная, похожая на черную вату, чуть темнее, чем лицо, говорит о слабо выраженных мужских качествах; шишковатая голова и убегающий назад, как бы в испуге, лоб; адамово яблоко, напротив, выдается вперед, как нос галеры, торча между отогнутыми уголками воротничка, высокого и блестящего, точно покрытого эмалью. В галстуке крупная жемчужина.

Я созерцаю, а Мендибаль говорит. Говорит протяжно, почти стонет, и конечные гласные теряются в этом постанывании. Голос совсем безутешный; но смысл его речей обнаруживает твердое, уверенное и даже бесстыдное удовлетворение жизнью. У этого типа есть все: огромные владения по ту сторону океана, кредит у поставщиков, дом возле парка Монсо и «очаровательная жена». По какому поводу он ухитрился ввернуть словцо о своей супруге, украшении его очага? Не знаю, я на минутку отходил поздороваться с одним стариком англичанином: возвращаясь из Оперы, он почувствовал настоятельную необходимость сообщить мне, что ночь замечательная! Когда я вернулся к столу и снова взялся за свою кружку пива, аргентинец был уже в самом разгаре монолога в честь своей жены. Кармонд, наслаждаясь и забавляясь, взирал на человечка смеющимися глазами. Эдуардо слушал с тяжеловесной учтивостью древнего португальца. А Мендибаль, заботливо и почтительно уложив на свободный стул рядом с собой букет гвоздик, расписывал добродетели и прелести мадам. Чувствовалось, что в нем клокочет восторг, который невозможно сдержать,

который брызжет через край и растекается повсюду, даже по столикам кафе: где бы ни находился этот человек, он разливал вокруг свое обожание,— так с намокшего зонта не могут не стекать струйки дождя. Я понял это, когда он гордо, еще сильнее оттопырив адамово яблоко, сообщил, что мадам Мендибаль — француженка. Итак, перед нами было фанатичное влечение смуглокожего человека к фарфоровой прелести парижанки, которая кажется ему такой пикантной и обольстительной. Поняв это, я проникся симпатией к аргентинцу. И он почувствовал мое расположение, потому что повернулся в мою сторону и именно мне адресовал свое последнее, самое убедительное восхваление своей супруги: «Нет, серьезно, другой такой нет! С какой любовью она ухаживает за матерью (его матерью), дамой преклонных лет, удрученной болезнями! Сколько терпения, какая деликатность, как услужлива!.. Я готов пасть перед ней на колени! А мамаша в последнее время все ворчит, все ворчит!..»

Мадам Мендибаль даже осунулась. И муж сам уговорил ее поехать на это воскресенье в Версаль: надо же отдохнуть! А там живет экономии ради ее матушка, мадам Жуффруа; сам же он только что с вокзала Сен-Лазар, ездил встречать жену. И представьте, господа, весь день эта святая женщина тревожилась за свекровь; она истосковалась по дому, не могла дождаться, когда вернется в Париж... У мамаши ей было просто скучно! И весь вечер — такая была чудесная погода — она собирала вот этот букет для него, для мужа. Трогательно, правда? Ну кто, кроме француженки, придумает такой милый сюрприз? Кто способен так изящно выразить свою нежность? Благодарение богу, могу сказать, что мне посчастливилось! И если бы у меня были дети, пусть хотя бы только один сын, я бы не променял его на принца Уэльского. Я не знаю, женаты ли вы. Простите за фамильярность. Но если не женаты, то скажу и вам, и всякому: женитесь на француженке, только на француженке!..

Трудно было придумать что-нибудь более смешное и трогательное. Поскольку ты, неуловимый Рамальо, так и не появился, мы разошлись. Мендибаль взял фиакр и влез в него со своим драгоценным букетом. Ночь была теплая, и я поплелся в клуб. В клубе вижу Шамбрэ, ты его знаешь — того самого знаменитого Шамбрэ. Он сидел развалясь в кресле, сияющий и утомленый. Спрашиваю, как его дела, какого он сегодня мнения о жизни. Шамбрэ отвечает, что жизнь — это сплошной восторг. И тотчас же, не в силах удержаться, рассказы-

вает свой секрет, который так и пляшет в его улыбке и влажных глазах.

Он ездил в Версаль, чтобы повидаться с Фукье. В одном купе с ним ехала дама — une grande et belle femme [1]. Стройное тело Дианы в облегающем костюме от Редферна. Невысокий лоб, густые, чудесные волосы, расчесанные на прямой пробор. Серьезные глаза. Бриллиантовые серьги. Существо без претензий и кривлянья, основательное, солидное, хорошо упитанное, окруженное уважением, прекрасно устроенное в жизни.

И при всей этой почтенной устроенности — поминутно, быстро и жадно, облизывает губы кончиком языка. Шамбрэ думает про себя: «Буржуазная дама, тридцать лет, шестьдесят тысяч годового дохода, пылкий темперамент, не удовлетворена супружеством». Едва поезд трогается, он принимает светский вид «неотразимого Шамбрэ» и бросает на даму один из тех взглядов, символом которых в прежние времена были стрелы Амура. Дама не реагирует. Но, несколько минут спустя, Шамбрэ видит поверх развернутого «Фигаро», что прямо на него из-под тяжелых век устремлен испытующий взор, который, подобно лучу диогенова фонаря, ищет среди людей Человека, или, скорее, Мужчину. Поезд подходит к Курбвуа; надо опустить окно, чтобы спастись от пыли. Шамбрэ отваживается на слово, дерзкое в своей робости, относительно парижской жары. Она снисходит до ответа, нерешительного и туманного, о деревенской прохладе. Эклога завязывается. В Сюренне Шамбрэ закуривает и садится рядом с ней. В Севре рука мадам похищается рукой Шамбрэ; рука Шамбрэ отталкивается ею, и незаметно для обоих пальцы их сплетаются. В Вирофле Шамбрэ вдруг предлагает выйти из поезда и совершить прогулку в окрестностях города: он знает здесь буколический уголок несравненной прелести, где не бывает буржуазной публики. В два часа они сядут на следующий версальский поезд. И, не давая даме времени на размышления, он увлекает ее за собой силой внушения или, может быть, просто физиологическим действием своего теплого голоса, веселых глаз, открытой и мужественной физиономии.

И вот они в деревне; пахнет древесной смолой; весна и сатана, сговорясь, веют вокруг дамы теплым дыханием. Шамбрэ знает на опушке леса у озера маленькую таверну с окаймленными жимолостью окнами. Почему бы им не съесть там по

---

[1] Высокая, красивая женщина *(франц.)*.

Переписка Фрадике Мендеса

горшочку рагу, запивая его белым сюренским вином? И в самом деле, дама, как выпущенная на волю птичка, чувствует приятный аппетит. Сатана, не теряя времени, бежит вперед, чтобы приготовить закуску в таверне, и, действительно, все там устроено отлично. Их ждет спокойная комнатка и накрытый стол; муслиновая занавеска в глубине скрывает и вместе с тем подчеркивает, что там имеется альков. «Только подавайте скорей, нам нужно успеть на двухчасовой поезд!» — с полной искренностью восклицает Шамбрэ.

Когда подают рагу, Шамбрэ приходит в голову вдохновенная мысль: он снимает сюртук и садится за стол в жилете. В этом есть что-то богемное, что-то озорное; дама восхищена, возбуждена, в ней просыпается куртизанка, всегда дремлющая в душе матроны. Она швыряет на стул свою шляпу, ценой в двести франков, потягивается и восклицает от всего сердца:

— Ah oui, que c'est bon, de se désembêter! [1]

А потом, как говорят испанцы, ¡la mar! [2] Солнце, прощаясь вечером с землей, оставило их все еще в Вирофле, все еще в таверне, все еще в комнате, вторично за столом, над тарелкой с питательным бифштексом, как того требовали обстоятельства, в полном ладу с резоном и логикой.

Версаль забыт! Надо спешить на станцию, чтобы поспеть на последний поезд в Париж. Она медленно завязывает ленты на шляпке, срывает цветок жимолости и прикалывает к корсажу, потом обводит медленным взором комнату и альков, чтобы все запомнить и запечатлеть в памяти,— и они уезжают. Шамбрэ садится в другое купе (надо же подумать о том, что произойдет по прибытии в Париж) и, торопливо, небрежно пожимая ей руку, умоляет сказать, по крайней мере, свое имя. Она шепчет — Люси.

— И вот все, что я о ней знаю,— заключил Шамбрэ, раскуривая сигару.— Мне известно также, что она замужем, потому что на вокзале Сен-Лазар ее ожидал, в сопровождении важного выездного лакея, какие бывают в буржуазных домах, муж. Это rastacuero [3] шоколадного цвета, с редкой бородкой и громадной жемчужиной в галстуке... Бедняга, он был очарован, когда она вручила ему букет желтых гвоздик, который я заказал для нее в Вирофле... Восхитительная женщина. Нет, с француженкой никто не сравнится!

---

[1] Ах, право, как хорошо иногда встряхнуться! *(франц.)*
[2] Здесь: полное раздолье! *(исп.)*
[3] Богатый американец *(исп.)*.

Что скажешь об этих глубокомысленных вещах, друг Рамальо? Я могу сказать лишь, в виде вывода, что этот мир прекрасен и другого, более благоустроенного, нет во всем мировом пространстве. Потому что, заметь, в это майское воскресенье три симпатичные существа получили положительный выигрыш в жизни из-за одной простой поездки в Версаль. Шамбрэ испытал громадное удовольствие и потешил свое тщеславие — два единственные блага, ради которых, как он считает, стоит жить на свете. Мадам узнала новое или, во всяком случае, дотоле не испытанное в полной мере ощущение; оно дало разрядку ее нервам, освежило ее, успокоило, и теперь она может вернуться к своему скучноватому очагу, чтобы печься о нем с удвоенной энергией. А аргентинец приобрел новое неопровержимое доказательство того, что он любим и счастлив. Трое счастливцев после одной загородной прогулки. И если в результате родится сын (о чем так мечтает аргентинец) и унаследует блистательные галльские качества Шамбрэ, то к личной радости всех троих прибавится и прямая польза обществу. Следовательно, этот мир устроен превосходно.

Верный друг, с нетерпением ждущий встречи с тобой на обратном пути из Голландии.

Фрадике.

VII

Госпоже де Жуар.
(С франц.)

Лиссабон, март.

Милая крестная!

Вчера в поезде, когда я подъезжал глубокой ночью к Лиссабону (куда мы прибыли с севера, из Порто), сердце мое вдруг замерло от испуга: я вспомнил, что дал вам клятву! В великую субботу, в Париже, я легкомысленно поклялся, возложив руку на ваше чудесное издание «Обязанностей» Цицерона, что буду отправлять вам еженедельно по почте «Португалию в описаниях, заметках, размышлениях и картинах» — как сказано в подзаголовке «Путешествия по Швейцарии» вашего приятеля барона Фернэ, командора Карла III и члена Тулузской Академии. Клятвы, данные над «Обязанностями» Цицерона той, кто царит над моим сердцем, я должен исполнять неуклонно, и потому, едва вспомнив про свою клятву, я тотчас же открыл пошире оба глаза, чтобы начать собирание

«заметок, размышлений, видов и картин» этой земли, которая является моей родиной y está a la disposición de usted [1].

Мы как раз подъезжали к станции под названием Сакавен, и сквозь мокрые от дождя стекла мои широко открытые глаза ничего не увидели в родной стороне, кроме густого тумана и мелькавших вдали тусклых огоньков. Это были фонари фелуг, спящих на реке; они могли служить обидным символом тех скудных крох положительной истины, какие человеку дано открыть во мраке Бытия. Я смирился и поскорее снова закрыл глаза — но в дверях появился железнодорожник в фуражке с кокардой и в промокшем мундире и потребовал мой билет, величая меня «Ваше превосходительство». В Португалии мы все вельможи, дорогая крестная, все составляем часть государства и потому зовем друг друга «превосходительствами».

Мы прибыли в Лиссабон. Шел дождь. Пассажиров в поезде было немного, может быть, человек тридцать,— все люди простые, с легкими чемоданами и холщовыми мешками. Они очень быстро прошли патриархальный и сонный таможенный досмотр и тотчас же рассеялись по улицам, под покровом сырой мартовской ночи.

В полутемном вокзале, в ожидании крупного багажа, остались только мы со Смитом [2] и сухопарая дама в старом меховом салопе и с очками на остром носу. Было около двух часов ночи. Ноги стыли на грязном асфальтовом полу вокзала.

Не знаю, сколько прошло веков. Смит стоял неподвижно; дама и я, чтобы согреться, ходили вдоль деревянного прилавка, за которым два таможенника, темнокожие, как маслины, с достоинством зевали. Наконец, из дальней двери медлительно вкатилась тележка, на которой покачивалась гора нашего багажа. Остроносая дама тотчас же узнала свой обитый жестью баул; крышку его откинули, и моему наблюдательному взору (который тоже всегда к вашим услугам, о, требовательная крестная!) открылся не первой свежести пеньюар, коробка конфет, молитвенник и двое щипцов для завивки волос. Сторож погрузил руку в эти интимные предметы, затем снисходительно объявил, что таможня удовлетворена. Дама скрылась.

Мы со Смитом остались одни. Смит кое-как разыскал в горе багажа мои вещи. Но по непонятной причине не хватало одного кожаного саквояжа. Носильщик, держа перед собой

---

[1] И всегда к вашим услугам *(исп.)*.

[2] Старый камердинер Фрадике Мендеса. *(Прим. автора.)*

квитанцию, предпринял неторопливый розыск среди бочек, тюков, пакетов, баулов, сваленных кучей у стены. Я видел, как этот достойный человек задумчиво постоял около тюка, зашитого в парусину, около деревянного сундука... Может быть, тот или другой и есть кожаный саквояж? Потом, отчаявшись, заявил, что среди наших вещей не было никакого кожаного саквояжа. Смит заспорил, начиная сердиться. Тогда начальник багажного отделения выхватил квитанцию из нерасторопных рук носильщика и, как лицо более сведущее, сам начал поиск, методически осматривая ящики, лохани, бочки, корзины, бутыли, жестянки и картонки... Наконец он пожал плечами с невыразимым отвращением и исчез в темноте внутренних платформ. Через некоторое время он вернулся, почесывая голову под фуражкой и шаря глазами по пустому полу, видимо, в надежде, что саквояж сам выскочит из недр нашего злополучного земного шара. Ничего! Терпение мое лопнуло, и я тоже начал с ожесточением обыскивать помещение. Таможенный сторож, с папиросой, прилипшей к губе (предобродушный человек!), бросал на меня время от времени покровительственный, подбадривающий взгляд. Ничего! Вдруг какая-то женщина с красным платочком на голове, зачем-то бродившая тут в этот холодный предрассветный час, сказала, ткнув пальцем в сторону наружной платформы:

— А это не он ли будет?

Он! Это был он, мой саквояж! Он стоял на перроне, под дождем. Я не стал допытываться, каким образом он очутился там один-одинешенек, отдельно от прочего багажа, с которым его неразрывно связывал порядковый номер, проставленный на бирке жирными цифрами, и потребовал экипаж. Носильщик накинул куртку на голову, вышел на площадь и скоро вернулся, меланхолически докладывая, что экипажей нет.

— Как так нет? Вот это прекрасно! Как же уезжают с вокзала пассажиры?

Он пожал плечами. Когда есть извозчики, когда нет. Кому как повезет... Я блеснул монетой в пять тостанов и взмолился к этому славному человеку, чтобы он обошел окрестности вокзала и поискал какое-нибудь средство передвижения на колесах — пролетку, карету, телегу — которое доставило бы меня под кров, где есть чашка бульона и огонь в камине. Он ушел, ворча. А я, оскорбленный в своих лучших патриотических чувствах, повернулся к начальнику багажного отделения и таможеннику и стал сетовать на непорядки в их учреждении. На

всех вокзалах земного шара, даже в Тунисе, даже в Румынии, к прибытию поездов всегда подаются конки, коляски, тележки, чтобы перевозить людей и их багаж... Почему же этого нет в Лиссабоне? Отвратительное обслуживание! Оно позорит отечество!

Таможенник изобразил на своем лице унылое бессилие, как бы соглашаясь, что обслуживание и правда отвратительное, и вообще все отечество — сплошной непорядок. Потом утешился, с наслаждением затянувшись папироской. Медленно проползли четверть часа — из тех, что оставляют морщины на лице человека.

Наконец носильщик вернулся, отряхиваясь от дождя, и сказал, что во всем квартале Санта-Аполлония нет ни одного извозчика.

— Но что же мне делать? Не оставаться же здесь?

Начальник посоветовал оставить багаж на вокзале, а на следующее утро заказать пролетку (можно сделать письменный заказ) и забрать вещи «к полному моему удовольствию». Но разлука с багажом никак меня не устраивала. В таком случае, он не видит выхода; разве только какая-нибудь запоздавшая или заблудившаяся коляска проедет в этих местах.

Тогда, подобно потерпевшим кораблекрушение морякам, выброшенным на необитаемый остров где-нибудь в Тихом океане, мы столпились у дверей станции, высматривая, не покажется ли в тумане парус, то бишь козлы пролетки. Горькое ожидание, бесплодное ожидание! Ни света фонарей, ни стука колес... Ничто не нарушало однообразия окружающей пустыни. Начальник, которому все это осточертело, решительно осточертело, заявил, что «скоро три часа ночи, и он должен запирать помещение». А я? Останусь ненастной ночью на улице, прикованный к громоздкому багажу? Нет. Несомненно, достойный начальник в глубине души не так жестокосерд! Начальник смягчился и предложил другой исход. Состоял он в том, чтобы мы со Смитом и с носильщиком взвалили багаж к себе на спину и пошли бы в гостиницу пешком. Видимо, это был, действительно, единственный путь избавления от постигшей нас беды. Однако спина, изнеженная долгими годами цивилизации, боится тяжелой ноши; те, к кому судьба всегда благоволила, нелегко отказываются от надежды; мы со Смитом еще раз вышли на улицу и в молчании, сверля глазами темноту и склонив ухо к мостовой, прислушивались, не катится ли где-нибудь долгожданная пролетка, ниспосланная провидением. Ничего,

решительно ничего! Ни звука в скупой темноте. Дорогая крестная, я чувствую, что на ваших ресницах уже повисли слезы сострадания. Я не плакал, но мне было стыдно, бесконечно стыдно перед Смитом! Что подумает шотландец о моей расхлябанной родине, да и обо мне, частице этой неблагоустроенной родины? Нет ничего более хрупкого, чем репутация страны. Не случилось ночью извозчика, и вот уже в глазах иностранца дискредитирована многовековая цивилизация!

Между тем начальник внутренне кипел. Три часа ночи! Даже четверть четвертого! Он должен запереть станцию! Что было делать? Мы со вздохом смирились. Я схватил саквояж и портплед; Смит вскинул на свои почтенные, незнакомые с тяжестями плечи увесистый кожаный чемодан; носильщик закряхтел под бременем сундука с медными скобами. И, оставив еще два пакета до завтра, мы потащились гуськом в отель «Браганса»! Пройдя несколько шагов, я поднял портплед на плечо, потому что он немилосердно оттягивал мне руку... И все трое, понурив голову и сгорбив спину под тяжестью десятков кило, ощущая близкое разлитие желчи, мы медленной, угрюмой колонной стали продвигаться в глубь столицы Португальского королевства. Я приехал в Лиссабон с намерением отдохнуть и пожить с комфортом. Вот тебе и отдых, вот тебе и комфорт! Работать за грузчика под моросящим дождем, пыхтя, обливаясь потом, спотыкаясь на плохо вымощенной улице!..

Не знаю, сколько столетий тянулся этот скорбный путь. Знаю только, что вдруг (как будто ее притащил под уздцы наш ангел-хранитель) из темного переулка выползла пролетка, настоящая, реальная пролетка. Три отчаянных вопля остановили ее. Один за другим в коляску и под ноги кучеру полетели чемоданы; захваченный врасплох, возница с перепугу замахнулся кнутом и разразился бранью. Но тотчас успокоился, осознав свою беспредельную власть над нами, и объявил, что в отель «Браганса» (расстояние, примерно равное длине Елисейских полей) он дешевле чем за 3000 рейсов не повезет. Да, крестная, восемнадцать франков! Восемнадцать франков звонкой монетой, серебром или золотом, за полверсты — и это в наш демократический, промышленный век, после стольких тягостных усилий наук и революций сделать дешевыми и общедоступными общественные блага! Я задрожал от гнева, но покорился (как покоряются под дулом мушкета) и влез в коляску, прочувствованно распрощавшись с носильщиком, верным товарищем наших ночных бедствий.

Через несколько минут мы подскакали к отелю яростным галопом и стали ломиться в дверь, оглашая улицу криками, звонками, стуком, мольбами, проклятиями, воплями — словом, всеми видами насилия и увещания. Напрасно! Отель был неприступен, как золотые ворота замка Фортуны, куда стучался прекрасный рыцарь Парцифаль! Тогда кучер стал пинать дверь ногами. Это подействовало: устрашенная дверь медленно повернулась на своих петлях. Хвала тебе, боже, отец мой многомилостивый! Наконец-то мы под кровом, на лоне прогресса, среди ковров и штукатурки. Блуждания по первобытной пустыне позади. Осталось заплатить кучеру. Я повернулся к нему и сказал с едкой иронией:

— Итак, три тысячи рейсов?

При свете фонарей в подъезде он увидел мое лицо и улыбнулся. И что же ответил мне этот бесподобный пройдоха?

— Это ж только так, для красного словца... Я было не признал сеньора дона Фрадике... С сеньора дона Фрадике мы берем, сколько они сами изволят приказать...

Ни с чем не сравнимое слабодушие! Я почувствовал, что глупое умиление размягчает мне сердце. Мягкотелость, распущенность, безволие — вот что опутывает всех нас, португальцев, внушает нам преступное попустительство, губит всякую дисциплину и всякий порядок. Да, милая крестная! Мошенник знал сеньора дона Фрадике. Он улыбался заискивающе и плутовато. Мы оба были португальцы. Я дал фунт этому разбойнику!

Вот Вам, для Вашего сведения, правдивое описание того, как в последней четверти XIX века въезжают в главный город Португалии. Весь Ваш, неизменно тоскующий в разлуке

Фрадике Мендес.

VIII

Господину Э. Моллинэ,
Главному редактору Историко-биографического обозрения.

Париж, сентябрь.

Дорогой г. Моллинэ!

Вчера вечером, вернувшись из Фонтенебло, я нашел Ваше письмо, где Вы, мой ученый друг, от имени и в интересах «Историко-биографического обозрения» спрашиваете, что за человек мой соотечественник Пашеко (Жозе Жоакин Алвес Па-

шеко), чью смерть так горько и пространно оплакивают португальские газеты. И еще Вы желаете знать, какие труды, или дела, или книги, или мысли, или какое приращение португальской цивилизации оставил после себя Пашеко, раз его проводили в последний путь такими громкими и почтительными рыданиями.

Я случайно был знаком с Пашеко. Его личность и его жизнь стоят передо мной как на картине. Пашеко не дал своей стране ни трудов, ни дел, ни книг, ни мыслей. Пашеко был велик и знаменит между нами единственно потому, что обладал *громадным талантом.* И тем не менее, дорогой мой Моллинэ, этот талант, о котором столь громко трубили два поколения, так и не обнаружился в действенной, видимой и ощутимой чувствами форме. Громадный талант Пашеко остался скрытым в недрах Пашеко... Всю жизнь он пребывал на социальных высотах: депутат, генеральный директор, министр, управляющий банками, статский советник, пэр, председатель совета министров! Пашеко был всем этим, он все имел, а страна созерцала его снизу, пораженная громадностью его таланта. Но, занимая все эти должности, Пашеко ни разу — ни для пользы государства, ни ради собственной выгоды — не встретил необходимости проявить, утвердить и дать выход вовне громадному таланту, распиравшему его изнутри. Когда друзья, партии, газеты, правительственные учреждения, общественные организации — словом, вся страна,— вздыхали вокруг Пашеко: «Какой огромный талант!» — и побуждали его еще больше увеличивать свою власть и состояние, Пашеко только улыбался, опустив долу серьезные глаза под золотыми очками, и продолжал свой путь к вершинам, по ступеням государственной власти, а его громадный талант по-прежнему был заперт на семь замков в его черепе, как в сундуке скупца. И эта сдержанность, эта улыбка, это поблескивание очков вполне удовлетворяли нацию, ибо через эти внешние знаки она радостно постигала блистательную очевидность таланта.

Талант этот родился в Коимбре, на лекции по естественному праву, в то утро, когда Пашеко, презрев учебные конспекты, заявил, что «девятнадцатый век — век прогресса и просвещения». Весь курс сразу понял, что Пашеко — на редкость одаренный малый; вскоре об этом начали говорить в кофейнях на Ярмарочной площади, и возраставшее с каждым днем восхищение однокурсников передалось, подобно всем религиозным движениям, от впечатлительных к рассудительным, от студентов к профессорам, и в конце года Пашеко без труда получил на-

граду. Тогда слава о его таланте распространилась по всему университету, и при виде Пашеко, всегда задумчивого, носившего очки, степенно шагавшего с пухлыми томами юридических книг под мышкой, все видели, что перед ними светильник разума, который на глазах растет и крепнет, движимый внутренней пружиной. Этот выпуск студентов, рассеявшись по стране, разнес повсюду, вплоть до самых глухих углов, весть о громадном даровании Пашеко. И вскоре в полутемных аптеках Трас-ос-Монтес, в шумных цирюльнях Алгарве завсегдатаи говорили с почтением и надеждой: «Слыхали? Недавно из университета вышел юноша с громадным талантом, по имени Пашеко».

Пашеко созрел для национального представительства. Он очутился в рядах депутатов по призыву уже не помню какого кабинета, которому удалось путем ловких маневров и затраты средств заполучить себе талант Пашеко. И вот уже в Лиссабоне, в звездный декабрьский вечер, когда он появился у Мартиньо, чтобы выпить чаю с сухариками, по всем столикам пронесся шепот заинтересованной публики: «Это Пашеко, молодой человек с большим талантом!..» Как только собрался парламент, взоры правительства и опозиции стали все настойчивей и упорней обращаться к Пашеко. Он же, на своем конце скамьи, по-прежнему сохранял вид ушедшего в себя мыслителя и сидел, скрестив руки на бархатном жилете и склонив голову несколько набок, словно под бременем внутренних богатств, и поблескивал очками... Наконец, однажды вечером, при обсуждении ответа на тронную речь, Пашеко сделал некий неопределенный жест: по-видимому, он хотел остановить одного кривоглазого священника, произносившего речь о свободе. Священнослужитель тотчас же почтительно умолк; стенографисты напрягли слух. Депутаты перестали шептаться, чтобы в приличной и торжественной тишине мог впервые проявить себя громадный талант Пашеко. Но Пашеко не стал расточать свои сокровища. Подняв палец (его любимый жест), он сказал твердо и убежденно, что «рядом со свободой всегда должна существовать власть»! Это было, конечно, немного; но палата сразу поняла, что в этом кратком резюме содержался целый огромный мир глубоких мыслей. После этого Пашеко несколько месяцев ничего не говорил, но талант его внушал тем больше уважения, чем незримей и недоступней он таился внутри, в глубинах его существа. У почитателей его таланта (а их у него было уже великое множество) оставался один-единственный исход: со-

зерцать чело Пашеко, как смотрят на небо, веруя, что там есть бог, который все видит. Чело Пашеко являло собой обширную, шишковатую и блестящую поверхность. Не раз статские советники и генеральные директора восхищенно бормотали, глядя на него: «Больше ничего и не надо! Достаточно посмотреть на этот лоб!»

Пашеко вскоре вошел во все главные комиссии парламента. Однако он ни за что не соглашался хотя бы один раз доложить какой-нибудь законопроект: дело в том, что он презирал специализацию. Лишь изредка он медленно и молча делал пометку у себя в книжке. А если он иногда выходил из глубокой сосредоточенности, то лишь для того, чтобы поднять палец и бросить какую-нибудь общую мысль о порядке, прогрессе, частной инициативе и экономии. И было видно, что это вполне оправданная тактика крупного таланта, который (как намекали его друзья, многозначительно помаргивая глазами) «пока еще витает там, в высших сферах духа». Пашеко и сам, впрочем, говаривал, изображая своей толстой рукой полет птиц над лесными кронами, что «истинный талант должен видеть мир обобщенно».

Этот громадный талант не мог дольше оставаться в стороне от Коронного совета. После одного из правительственных кризисов (вызванного историей о воровстве) Пашеко получил министерский портфель, и тотчас же стало видно, какую надежную опору власти дал его громадный талант. В своем министерстве (морском) он много месяцев «абсолютно ничего не делал» (как инсинуировали три или четыре озлобленных узкопрактических ума). Но впервые за все время существования нынешнего режима нация перестала трепетать за нашу колониальную империю. Почему? А потому, что она чувствовала: высшие интересы заморских территорий доверены выдающемуся таланту Пашеко.

Занимая министерское кресло, Пашеко очень редко выходил из своего полновесного молчания. Но когда оппозиция вела себя слишком шумно, Пашеко протягивал руку и медленно делал заметку карандашом в своей книжечке: и этот жест, полный глубокого смысла и говоривший об осведомленности, сразу смущал и озадачивал оппозицию. Громадный талант Пашеко уже внушал членам парламентских комиссий и комитетов трепет и страх. Горе тому, над кем он разразится карающей грозой! Дерзкий будет опозорен навеки и безвозвратно. Это испытал на себе один педагог, однажды осмелившийся обвинить господина министра внутренних дел (а министром внутренних дел

в это время был как раз Пашеко) в том, что он пренебрегает народным просвещением!

Никакое обвинение не могло бы чувствительнее задеть этот огромный ум, которому принадлежит лаконичное изречение: «Страна без лицеев — несовершенная страна!» Подняв палец (по-прежнему столь свойственный ему жест), Пашеко сокрушил дерзкого учителя следующими словами: «Я могу сказать уважаемому депутату, который меня порицает, лишь одно: пока вы на ваших скамьях попусту галдите, я с этого кресла распространяю просвещение!» Я был свидетелем этого незабываемого момента, находясь на галерее. Не запомню, чтобы мне когда-либо приходилось слышать столь бурную и пламенную овацию! Если не ошибаюсь, через несколько дней после этого события Пашеко получил большой крест святого Иакова.

Громадный талант Пашеко постепенно становился национальным символом веры. Видя, какую непоколебимую опору он дает всем учреждениям, которым служит, все жаждали залучить Пашеко в свои ряды. Он сделался универсальным директором всех компаний и всех банков. Корона нуждалась в нем, и он вошел в государственный совет. Его партия настойчиво требовала, чтобы ее возглавил Пашеко. Но и другие партии то и дело смиренно обращались за помощью к его таланту. В Пашеко мало-помалу сконцентрировалась вся нация.

По мере того, как он старел, становился все влиятельней и сановней, преклонение перед его талантом приняло в стране формы, свойственные только религии и любви. Когда он стал председателем кабинета министров, его почитатели благоговейно бормотали, прижимая руку к груди и закатывая глаза: «Какой талант!» Другие же, зажмуривая глаза и целуя кончики пальцев, томно шептали: «Ах, что за талант!» К чему скрывать? Были и такие, что злобились на Пашеко и утверждали, будто ему воздаются несоразмерные, явно преувеличенные почести. Я сам слышал, как они кричали, колотя по полу ногами: «Тьфу пропасть, вот уж истинно не зарыл в землю свой талант!» Но Пашеко к тому времени уже и вовсе не говорил. Он только улыбался. А лоб его становился все обширней и обширней.

Не стану напоминать вам все ступени его удивительной карьеры. Достаточно, если Вы, дорогой Моллинэ, просмотрите наши анналы. На всех начинаниях, реформах, трудах и сооружениях вы обнаружите печать Пашеко. Он был всем, он имел все. Действительно, громадный был талант! Но еще громад-

ней была признательность отечества! Пашеко и Португалия, в конечном счете, были невозможны друг без друга. Без Португалии Пашеко не был бы тем, чем он стал среди людей; но и Португалия без Пашеко не была бы тем, чем она стала среди наций!

Старость его была величава. Он совершенно облысел. Голова его превратилась в одно сплошное чело. И его редкий талант — даже в мелочах — начал обнаруживаться чаще, чем прежде. Я очень хорошо припоминаю один вечер (Пашеко был тогда председателем кабинета министров): в гостиной у графини Арродес кто-то начал добиваться, какого мнения его превосходительство о Кановасе дель Кастильо. С молчаливой, величественной, чуть заметной улыбкой его превосходительство сделал рукой горизонтальный жест. Вокруг разнесся долгий ропот восхищения. Сколько тонких оттенков, сколько продуманных оценок в одном этом жесте! Что касается меня, то после долгих размышлений я истолковал его так: «Посредственность, полная заурядность, этот ваш сеньор Кановас!» Заметьте, дорогой Моллинэ, насколько тонок этот талант при всей своей громадности!

Пашеко отправился на тот свет... то есть, я хочу сказать, его превосходительство скончался почти неожиданно, без страданий, в начале этой суровой зимы. Ему как раз собирались дать титул маркиза де Пашеко. Вся нация о нем скорбела. Он покоится на кладбище Сан-Жоан под мавзолеем, на котором по замыслу советника Акасио (изложенному в письме к редактору «Текущих новостей») высечена фигура Португалии, оплакивающей Гения.

Несколько месяцев спустя после смерти Пашеко я встретил в Синтре, у доктора Видейры, вдову покойного. Как утверждают друзья, это женщина редкого ума и доброты. Исполняя долг патриота, я выразил соболезнование именитой и любезной даме по поводу непоправимой потери, которую понесла наша родина. И когда я с волнением упомянул о громадном таланте покойного, вдова его с глубоким удивлением подняла на меня опущенные до того глаза, и беглая, печальная, почти сострадательная улыбка приподняла уголки ее бледных губ... Вечный разлад человеческих сердец! Эта заурядная дама, как видно, не сумела оценить выдающийся талант своего супруга!

Весь Ваш, всегда готовый служить

Фрадике.

IX

Кларе ...
(С франц.)

Париж, июнь.

Обожаемый друг!

Нет, не в марте и не на выставке акварелей встретился я с Вами впервые, по воле судеб. Это случилось зимой, обожаемый друг, на балу у Трессанов. Там я увидел Вас. Вы разговаривали с госпожой де Жуар, сидя перед консолью, и свет канделябров, скрытых среди орхидей, освещал Ваши волосы золотым нимбом, как и подобает царице красоты. Я благоговейно храню в памяти Вашу усталую улыбку, черное платье, отделанное золотистыми бутонами, старинный веер, сложенный на коленях. Я прошел мимо; но все вокруг показалось мне непоправимо скучным и безобразным. Я вернулся, чтобы молча любоваться, молча постигать, потому что, помимо всем видимой, доступной любому взору красоты, было в Вас еще что-то невыразимое словами, тонкое, одухотворенное, грустное и нежное, что исходило из души. И я так глубоко ушел в это созерцание, что унес в себе Ваш образ, весь без изъятия, не забыв ни одной пряди Ваших волос, ни одной складки одевавшего Вас шелка. С ним я убежал домой, взволнованный, как художник, который нашел в темной лавчонке, среди пыли и черепков, творение великого мастера.

И к чему скрывать? В первое время этот образ был для меня просто картиной, как бы висевшей перед моим внутренним взором: я поминутно, с удовольствием взглядывал на нее, но только для того, чтобы еще раз изумиться прелестью линий и красок. Это было редкостное полотно, какие хранят в святилищах, недвижимое и немое в своем великолепии; прекрасная форма, пленившая воспитанный вкус. Душа моя еще сохраняла свою свободу, по-прежнему прельщаясь всем, что ее влекло, открытая чувствам, которые волновали ее и раньше. Но, устав от всего несовершенного, ища иных, более высоких помыслов, я возвращался к жившему во мне образу: так фра Анджелико в своей келье, сложив вечером кисти, становился на колени перед мадонной и просил об успокоении и вдохновении свыше.

Но мало-помалу все, кроме этого образа, потеряло для меня цену и прелесть. Я все больше уединялся со своей душой, в глубине которой сиял Ваш лик; я так глубоко погрузился в его созерцание, что оно стало для меня единственным достойным делом в жизни. Остальное казалось мне обманчивой види-

мостью; я уподобился затворнику-монаху, которому чужд мир реальных вещей, который стоит на коленях, не шевелясь, весь во власти своего видения, своей единственной подлинной реальности.

Но поклонение мое Вам, обожаемый друг, не было мертвенным, пассивным самозабвением. Нет! Сначала я неустанно, пристально изучал прекрасный образ, старался через форму познать сущность. Ведь красота есть отражение истины; в совершенстве Вашего тела я искал и находил красоту вашей души. Так я постепенно расшифровывал Вашу тайну: этот открытый лоб, такой чистый и ясный, явственно говорит о душевной прямоте; эта улыбка, в которой столько благородства и ума, обнаруживает презрение к суетному, к преходящему, любовь к правде и красоте; каждый грациозный жест выдает изящество вкуса, а в глазах я различал то, что смешивается в них так прелестно: свет разума и сердечное тепло,— луч, который греет, тепло, которое освещает... Стольких совершенств уже достаточно, чтобы согнуть самые непокорные колени. Но по мере того как я Вас узнавал и сущность Ваша открывалась мне так очевидно, так осязаемо, я почувствовал, что от Вас исходит влияние, влияние странное, не сравнимое ни с каким иным; и оно властно подчиняло меня. Как это объяснить? Я был монах, замкнувшийся в келье своей души, и я стремился к святости, чтобы стать достойным святой, которой отдал свою веру, и заслужить право жить для нее. Я подверг свою совесть суровой проверке. Я с тревогой допрашивал себя, так же ли чиста моя мысль, как Ваша, нет ли в моих вкусах промахов, оскорбительных для Вашего строжайшего вкуса; так же ли возвышенны и серьезны мои помыслы, мое отношение к жизни, как те, что я угадывал в Вашем одухотворенном взоре, в Вашей тихой улыбке; не слишком ли много растратило мое сердце, чтобы биться около Вашего с той же силой? И я страстно стремился достичь совершенства, равного тому, которое я так преданно обожаю в Вас.

Так, неведомо для себя, дорогой друг, Вы стали моей наставницей. Я уже не могу обойтись без Вашего руководства, им направляется и облагораживается всякое движение моей души. Я твердо знаю, что, если есть ныне что-то ценное во мне — мысль или чувство,— оно порождено воздействием на меня Вашей души, которая ведет меня за собой, издали, одним тем, что существует и разгадана. И если это влияние (я мог бы сказать, как аскет: эта благодать!) вдруг покинет меня, я паду низко и без возврата. Судите сами, как Вы мне нужны и как драгоцен-

ны... Это спасительное действие Вы оказываете, даже не прикоснувшись рукой к моей руке. Достаточно мне было увидеть Вас на праздничном вечере, в блеске красоты. Так дикий куст цветет на краю обрыва, потому что наверху, в высоких небесах, сияет огромное солнце, которое не видит его, не знает, но великодушно дарит ему силу расти, расцветать и изливать свой недолгий аромат... Поэтому любовь моя невыразима словами и безымянна: она подобна любви, какую растение питало бы к солнцу, если бы умело чувствовать.

И вот еще что: нуждаясь в Вас, как в свете солнца, я ни о чем не прошу, не вымаливаю для себя никакого блага, хотя Вы так много можете, хотя Вы для меня владычица всякого блага. Я только прошу позволения жить под этими лучами, которые исходят от Вас и так легко и нежно творят дело моего совершенствования. Только этого милосердного дара я и прошу. Судите же, в каком смиренном, туманном отдалении я держусь, как боюсь, чтобы даже шепот моих молитв не коснулся одежды далекого божества...

Но если Вы, дорогой друг, уверившись в полном моем отречении от мысли о всякой земной награде, позволите когда-нибудь излить Вам наедине мою взволнованную душу, Вы совершите акт несказанной милости; так дева Мария, желая ободрить отшельников и затворников, сходила к ним с облаков, чтобы подарить мимолетной улыбкой или уронить в протянутые к ней руки райскую розу. Завтра вечером я буду у госпожи де Жуар. Там нет той святости, какая разлита в келье монаха или ските отшельника, но почти так же уединенно. И если Вы, дорогой друг, появитесь у моей крестной в сиянии красоты и подарите мне даже не розу, а только улыбку, я увижу в этом радостное подтверждение того, что моя любовь — или то невыразимое, безымянное чувство, которое простирается дальше любви,— находит в Вас жалость и право на надежду.

Фрадике.

X

Госпоже де Жуар.
(С франц.)

Лиссабон, июнь.

Добрейшая крестная!

Сейчас Вы узнаете, что «видел и делал» в течение мая и июня в Ulyssipo pulcherrima (прекраснейшем Лиссабоне) ваш выдающийся крестник. Я нашел здесь одного земляка и даже

родственника с Островов. Он живет уже три года на четвертом этаже в семейном пансионе на Соломенной улице и создает философскую систему. Это человек с умом свободным, предприимчивым и гибким, любитель широких обобщений. Зовут его Прокопио. Он убедился, что женщина не стоит причиняемых ею мучений и что восьмисот рейсов дохода с оливковых плантаций вполне достаточно для философа-спиритуалиста, и потому посвящает свою жизнь Логике, интересуется только Истиной и ни о чем другом не помышляет. Это веселый философ; он беседует без горячности и всегда может предложить прекрасную мускатную водку. Я охотно взбираюсь два-три раза в неделю в его метафизический кабинет, чтобы узнать, сподобился ли он уже под благодушным руководством Мена де Бирана, своего гида по стране Бесконечного, узреть Причину причин, готовую сбросить с себя последние покровы тайны. Во время этих благостных визитов я постепенно познакомился с другими обитателями пансиона на Соломенной улице, где они вкушают прелести городской жизни за двенадцать тостанов в день без вина и стирки. Здесь представлены почти все разновидности португальского среднего класса, и я имею возможность без труда, как по указателю, изучать чувства и мысли, которые в текущем году по рождестве Христовом составляют нравственную основу моей нации.

Этот меблированный дом имеет много приятного. В комнате кузена Прокопио лежит новая циновка; там имеется железная кровать философически целомудренного вида, яркие муслиновые занавески на окнах, розы и птицы на обоях. Комната содержится в строгой опрятности служанкой, какие родятся на свет в одной только Португалии. Это красивая деревенская девушка из Траз-ос-Монтес; медлительно и величаво, как латинская нимфа, она ходит туда и сюда, шаркая шлепанцами, чистит и убирает весь этаж, подает девять завтраков, девять обедов, девять полдников, моет посуду, пришивает к брюкам и кальсонам пуговицы, ибо португальцы имеют обыкновение их терять, крахмалит хозяйкины нижние юбки, молится по четкам, как принято у них в деревне, и еще находит силы любить без ума соседнего парикмахера, который обещает жениться на ней, как только получит место в таможне,— и все это за три тысячи рейсов жалованья. На завтрак подаются два блюда, оба питательные и сытные: яйца и бифштекс. Вино поставляет крестьянин-виноградарь — это молодое, легкое винцо, изготовленное по почтенным рецептам «Георгик» и, вероятно, похожее на вина Ретии — quo te carmine dicam, Rethica? Подсушенные на

сильном огне ломтики хлеба — восхитительны. Столовую украшают четыре картины: портрет Фонтеса (покойного государственного мужа, чтимого португальцами), папы Пия IX, с улыбкой благословляющего народ, вид равнины Коларес и две девицы, целующие голубку,— все это наводит на здравые и полезные обществу мысли об общественном порядке, вере, сельской тишине и невинности.

Хозяйка пансиона, дона Паулина Сориана, уже перевалила за свою сороковую осень. Это дама полная, белолицая, приятная и свежая, как ее пеньюар, который она носит поверх юбки из лилового шелка. Судя по всему, это женщина превосходная, терпеливая, благожелательная, преисполненная здравого смысла и разумной бережливости. Она вдова (если не понимать это слово в слишком строгом смысле) и имеет довольно толстого сына, который учится в лицее и грызет ногти. Зовут его Жоакин, а ласкательно — Кинзиньо. Этой весной Кинзиньо хворал каким-то злым недугом и потому без конца пил оршады и принимал ванны. Дона Паулина хочет определить его в чиновники, так как считает, и не без основания, что эта деятельность самая легкая и надежная.

— Для молодого человека важнее всего,— рассуждала она на днях после завтрака, положив ногу на ногу,— найти покровителей и пристроиться на хорошее место; тогда его жизнь пойдет как по маслу: служба нетрудная, и, по крайней мере, знаешь, что в конце месяца заплатят жалованье.

Дона Паулина спокойна за карьеру Кинзиньо. У них есть влиятельный друг (а влиятельные друзья в здешнем королевстве — все), советник Вас Нето, и в министерстве не то общественных работ, не то юстиции для Кинзиньо уже припасено место младшего чиновника. Предназначенный ему стул отмечен платком и ждет Кинзиньо. А так как Кинзиньо провалился на последнем экзамене, то советник Вас Нето убежден, что при столь великой лени и столь малой охоте к наукам нечего ему терять время на лицейской скамье, а надо не откладывая поступить в департамент.

— Но все-таки,— заключила достойная сеньора, почтившая меня своей откровенностью,— я хочу, чтобы Кинзиньо кончил курс. Конечно, необходимости в этом нет, и место за ним, как видите, закреплено, но все же оно как-то благородней...

Словом, будущее Кинзиньо обеспечено самым приятным образом. Кроме того, я подозреваю, что дона Паулина дальновидно копит денежки. Все ее меблированные комнаты заняты:

в настоящее время у нее снимают номера семь человек, люди все надежные, постоянные жильцы; каждый платит за свое содержание, включая экстренные расходы, от сорока пяти до пятидесяти милрейсов в месяц. Самый давний и почтенный (о нем-то я вам и говорил) — Пиньо, Пиньо из Бразилии, командор Пиньо. Каждое утро он возвещает, что пора завтракать (часы в коридоре испортились и стоят с самого рождества), выходя из своей комнаты ровно в десять часов, с бутылкой минеральной воды Видаго и занимая за уже накрытым столом свой стул — специальный камышовый стул с надувной подушечкой. Об этом человеке никто ничего не знает. Неизвестно, сколько лет Пиньо, есть ли у него семья, откуда он родом, чем занимался в Бразилии, за что ему пожаловано командорское звание. Известно лишь, что однажды в зимний вечер он приехал в Лиссабон на пакетботе английской пароходной компании «Ройял Майл» и пять дней просидел в карантине. Что он высадился с двумя чемоданами, камышовым стулом и пятьюдесятью жестянками варенья из гуавы; что он снял в пансионе у доны Паулины комнату с окном на улицу и теперь, беззаботный и улыбчивый, тихо толстеет на шесть процентов ренты со своих бумаг. Это приземистый, коренастый человек с седеющей бородой и смуглым лицом цвета гуавы и кофе. Он всегда одет в черное суконное платье и носит золотой лорнет на шелковом шнурке; гуляя, Пиньо останавливается на каждом углу, долго распутывает этот шнурок, который постоянно зацепляется за золотую цепочку от часов, и не спеша, с интересом прочитывает театральные афиши. В основе его жизни лежит разумная упорядоченность, без которой невозможен порядок в государстве вообще. После завтрака он натягивает высокие сапоги, чистит свой шелковый цилиндр и не торопясь отправляется на Галантерейную улицу, в комиссионную контору Годиньо, где примерно часа два сидит на табурете у конторки, опершись волосатыми руками на ручку зонтика. Потом берет зонтик под мышку и неторопливо шагает на Золотую улицу. По дороге останавливается поглядеть на даму в пышном шелковом платье или на какую-нибудь щегольскую карету с гербом. В табачной лавке Соузы на Россио он выпивает стакан канесской воды и ждет, когда спадет жара. После этого он отправляется на Бульвар, где усаживается на скамье, дышит чистым воздухом и любуется красотой города; или же гуляет по Россио в тени деревьев, горделиво поглядывая по сторонам и выражая всем своим видом полное удовлетворение. В шесть он возвращается домой, снимает и складывает сюртук, надевает сафьяновые туфли, обле-

кается в удобную нанковую куртку и садится обедать, причем всегда просит вторую тарелку супа. После кофе он идет «для моциона» в центр, с задумчиво-веселым видом останавливается перед витринами модных лавок и кондитерских, иногда доходит до Шиадо, огибает новую улицу Триндаде и спокойно, но стойко торгуется за билет в театр Жиназио. Каждую неделю он посещает свой Бразильско-Лондонский банк. В воскресенье, позже вечером, крадучись, пробирается в некий дом на улице Магдалины, где навещает одну полненькую, опрятную девушку. Каждые полгода ходит получать проценты по своим бумагам.

Все его существование, таким образом, представляет из себя покой, разграфленный по статьям. Ничто его не беспокоит, ничто его не заботит. Для него весь мир составляется из двух величин: его самого и государства, которое дает ему шесть процентов. Поэтому мир совершенен и жизнь совершенна, пока Пиньо, благодаря воде Видаго, сохраняет аппетит и здоровье и пока государство продолжает аккуратно оплачивать купоны. Впрочем, немного и надо, чтобы удовлетворить те доли души и тела, из которых, по всей видимости, состоит его существо. Потребность общения с себе подобными посредством жестов и звуков, владеющая всякой живой тварью (даже устрицей, если верить естествоиспытателям), очень слабо развита у Пиньо. В середине апреля он говорит, развертывая салфетку и улыбаясь: «Вот и лето!» Все соглашаются, и Пиньо доволен. В середине октября он бормочет, поглаживая пальцем подбородок: «Вот и зима!» Если другой жилец с этим не согласен, Пиньо замолкает, потому что не любит пререканий. И этого почтенного чередования двух мыслей ему вполне достаточно. Лишь бы подавали вкусный суп, тем более по две тарелки,— и он вполне доволен жизнью и готов воздать хвалу богу. «Пернамбукские известия», «Дневник новостей», комедия в театре Жиназио или спектакль-феерия с избытком удовлетворяют те насущные потребности ума и воображения, которые Гумбольдт обнаружил даже у ботокудов. В области сердечных чувств Пиньо скромно претендует лишь на то (как он сообщил однажды моему кузену), чтобы не схватить дурной болезни. Политикой он всегда доволен: кто бы ни управлял, лишь бы полиция поддерживала порядок и не происходили бы ни в умах, ни на улицах волнения, вредные для купонов. Что касается посмертной судьбы его души, Пиньо (эту свою мечту он поверил мне лично) «хочет только, чтобы после смерти его не похоронили заживо». И даже в таком важном вопросе, каким для всякого командора является его памятник, желания Пиньо весьма скромны: пусть

это будет приличный гладкий камень с простой надписью: «Молитесь за него».

Но было бы ошибкой, дорогая крестная, предполагать, что Пиньо чужд всему человеческому. Нет! Я не сомневаюсь, что он по-своему любит и ценит человечество. Но дело в том, что с годами понятие человечества сузилось у него до чрезвычайности. Человеком, то есть человеком почтенным, заслуживающим это благородное имя, достойным уважения, любви и даже некоторого, не слишком опасного самопожертвования, является для Пиньо держатель государственных бумаг. Мой кузен Прокопио, проявив совершенно неожиданное для спиритуалиста чувство юмора, недавно поведал ему под секретом, благоговейно выкатив глаза, что у меня много государственных облигаций! Много полисов! Много бумаг!.. И вот, когда я пришел после этого в пансион, Пиньо, взволновавшись и почти покраснев, преподнес мне жестянку с вареньем из гуавы, завернутую в салфетку. Трогательный поступок! Он объясняет эту душу! Пиньо не черствый человек, не какой-нибудь сухарь Диоген в черном фраке, удалившийся в бочку своего эгоизма. В нем есть человеческое стремление любить себе подобных, делать им добро. Но кого Пиньо считает себе подобными? Тех, кто живет на ренту. И что значит, с точки зрения Пиньо, делать добро? Уступать ближнему то, что ему самому не нужно. Желудок Пиньо плохо усваивает варенье из гуавы, и потому, как только Пиньо узнал, что у меня есть рента и, следовательно, что я — ему подобный, тоже, как и он, капиталист, он не замедлил исполнить долг человечности и сделал мне добро: подарил, краснея от смущения и удовольствия, банку варенья в салфетке.

Значит ли это, что командор Пиньо бесполезен как гражданин? Конечно, нет! Напротив! Для поддержания порядка и устойчивости в государстве нет более подходящего гражданина, чем такой Пиньо — смирный, со всем согласный, молчаливый, инертный, аккуратно проверяющий по пятницам банковские счета, срывающий скромные цветы удовольствий с гигиенической гарантией. От Пиньо никогда не произойдет ни идеи, ни действия, ни утверждения, ни отрицания, которые нарушили бы равновесие в государстве. Тучный, смирный Пиньо прилепился к социальному организму и не содействует его движению, но и не препятствует ему и, следовательно, являет все признаки жирового нароста. В социальном отношении Пиньо — жировик. Нет ничего безобиднее жировика. А в наше время, когда в государстве полно разрушительных элементов, которые, словно паразиты, сосут его, заражают и нарушают нормальный ход

дел, безобидность Пиньо может рассматриваться, с точки зрения порядка, даже как заслуга. Ходят слухи, что Пиньо скоро удостоят баронского титула, причем такого, который окажет честь обоим: и Пиньо и государству, ибо в этом титуле одновременно будет тонко и деликатно выражено почтение к семье и к религии. Отца Пиньо звали Франсиско: Франсиско Жозе Пиньо. И вот, наш друг получит титул барона де Сан Франсиско.

До свиданья, дорогая крестная! У нас восемнадцатый день идет дождь! С начала июня, с тех самых пор, как расцвели розы, в солнечной Португалии, стране лазурного неба, в краю олив и лавров, любезных Фебу, идет дождь. Он льет без остановки, сплошными, ровными потоками. Нет ни ветра, который всколыхнул бы его струи, ни солнечного луча, который осиял бы их светом. Между тучами и улицами повисла зыбкая завеса сырости и печали, где душа бьется и чахнет, как бабочка в паутине. Мы сейчас находимся целиком в стихе семнадцатом седьмой главы Книги Бытия. Если хляби небесные не затворятся — значит, намерения Иеговы насчет этой грешной страны самые угрожающие в смысле потопа. Лично я не считаю себя менее достойным милости и участия божия, чем Ной, и потому начинаю скупать дерево и смолу, чтобы строить ковчег по самой лучшей еврейской или ассирийской модели. И если вскоре белая голубка постучится в ваше окно, то это будет значить, что я приплыл в Гавр на своем ковчеге и в числе прочих зверей везу Пиньо и дону Паулину, чтобы после, когда вода спадет, Португалия снова бы заселилась с пользой для себя и государство всегда имело бы в своем составе командоров Пиньо, чтобы занимать у них деньги, и толстяков Кинзиньо, на которых оно могло бы расходовать деньги, занятые у Пиньо.

Ваш любящий крестник

Фрадике.

XI

Господину Бертрану Б., инженеру в Палестине.

Париж, апрель.

Дорогой Бертран!

Сегодня, в пасхальное воскресенье, ликующие небеса облачились в праздничные золотые и лазоревые ризы и свежая сирень окурила мой сад своим фимиамом — и вот, как в насмеш-

ку, приходит твое ужасное письмо, в котором ты сообщаешь, что закончена трассировка железнодорожного пути от Яффы до Иерусалима! И ты рад! Так и вижу, как ты стоишь у врат Дамаска, погрузив ботфорты в прах Иосафата и положив зонтик на надгробие пророка, водишь карандашом по бумаге и самодовольно улыбаешься, разглядывая сквозь темные очки отмеченную флажками линию, по которой скоро, дымя и свистя, покатится из древней Иеппо в древний Сион черный поезд, твое черное детище! А вокруг десятники, отирая трудовой пот, откупоривают ради праздника бутылки пива! И за вашей спиной у стен Иродова города стоит ощетинившийся Прогресс, весь на винтах, весь на крюках, и тоже радуется, потирая с резким звяканьем свои негнущиеся руки из литого железа.

Прекрасно чувствую, прекрасно понимаю твой гадкий замысел, о зловещий сын Школы путей сообщения! И напрасно ты пытаешься пустить мне пыль в глаза своими чертежами из красных линий, похожих на порезы, нанесенные благородному телу презренным кинжалом. В Яффе, в древней Иеппо, которая была славным и священным городом еще до всемирного потопа, ты воздвигнешь первую железнодорожную станцию — с перроном, складом угля, весами, звонком и начальником станции в фуражке с кокардой; ты соорудишь вокзал среди апельсинных рощ, воспетых в Евангелии, на том самом месте, где святой Петр, спеша на крики женщин, воскресил добрую ткачиху Дорку и помог ей выйти из гробницы. Оттуда паровоз и вагоны первого класса, с обитыми коленкором сиденьями, бесстыдно покатят по Саронской долине, столь любимой небом, что даже под тяжелой стопой филистимлянских орд в ней никогда не увядали анемоны и розы. Засим твой поезд пересечет Бет-Дагон, смешивая пыль кардифского угля с прахом древнего храма Ваала (того самого храма, который рухнул от движенья плеч объятого скорбью Самсона). Вот состав бежит через Лидду и издает оглушительный свисток на том месте, где спит вечным сном святой Георгий в кольчуге и пернатом шлеме, положив руку в железной перчатке на рукоять меча. После этого паровоз накачает в резервуар через кожаную кишку воду из священного колодца, где Мария-дева на пути в Египет отдыхала под смоковницей и поила младенца. Он сделает остановку в Рамле, древней Аримафее («Аримафея! Стоянка пятнадцать минут!»), в селении с тихими садами, родине кроткого человека, похоронившего господа нашего Иисуса Христа. Потом поезд проползет через дымный туннель в холмы Иудеи, на которых

плакали пророки. Вот он проносится мимо каких-то развалин... Это древняя крепость, а потом и гробница Маккавеев! Перебирается по железному мосту через поток, где бродил по берегу Давид, набирая камни для пращи, истребительницы чудовища. Пыхтит и кружит по меланхолической долине, где жил Иеремия. Далее он загрязняет Эммаус, мчится через Кедрон и весь в масле, копоти, чаду останавливается, наконец, в долине Эннома: конечная станция, Иерусалим!

Так вот, дражайший Бертран: я не кончал Школы путей сообщения и не состою акционером Общества палестинских железных дорог; я простой паломник, люблю эти очаровательные места и потому считаю, что дело, которое ты делаешь,— не цивилизация, а профанация. Я прекрасно знаю, господин путеец, что воскрешение старой Дорки святым Петром, сказочные саронские розы, отдых девы с младенцем по дороге в Египет в тени сикомор, которые насадили на их пути ангелы,— все это басни... Но эти басни уже две тысячи лет дарят трети человечества очарование, надежду, утешение, силу жить. Места, где происходили эти события,— такие простые, такие человечные, выросшие впоследствии в прекрасную христианскую мифологию из-за потребности души в божественном,— тем самым достойны глубокого почитания. В этих местах жили, боролись, учили, страдали все исключительные личности, от Иакова до святого Павла, которые ныне населяют небо. Только среди этих гор Иегова являлся людям в ужасающем блеске — в те баснословные времена, когда он еще посещал землю. В эти задумчивые долины сошел Иисус, чтобы обновить мир. Палестина всегда была излюбленной страной божества, и потому ничто материальное не должно осквернить этот уголок, в котором живет душа. Жаль, очень жаль, что дым прогресса загрязнит воздух, где еще веет благоуханье, оставленное полетом ангелов, и что железные рельсы взроют почву, где еще сохранились следы божественных ног.

Ты улыбаешься и обвиняешь древнюю Палестину именно в том, что она является источником вредных фантазий. Но фантазия, дорогой Бертран, так же полезна, как положительное знание; и в формирование каждой души — если мы хотим, чтобы оно было полноценным,— должны входить не только теоремы Эвклида, но и волшебные сказки. Кто разрушает религиозное и поэтическое влияние Святой земли — в простых ли сердцах или в умах более культивированных,— тот способствует регрессу цивилизации, цивилизации истинной, той, в которой ты не работник и для которой совершенствование души важнее,

чем оберегание тела; и даже в смысле обычной полезности она выше ценит чувство, чем машину. А паровоз, маневрирующий по Галилее и Иудее, со своим углем и своим железом, с неизбежным распространением отелей, омнибусов, бильярдных и газовых рожков, непоправимо уничтожает эмоциональное воздействие Земли чудес, потому что модернизирует, индустриализирует и опошляет ее.

На чем зиждилась духовная власть, духовное значение Палестины? На том, что в течение четырех тысяч лет она оставалась библейской и евангельской землей... Без сомнения, в этой стране произошло много изменений: турецкое владычество не так блистательно, как римское; на месте садов и виноградников вокруг Иерусалима остались лишь камни да крапива; обветшалые города потеряли свой героический облик военных твердынь; вино почти не изготовляется; всякое знание заглохло. И я не сомневаюсь, что даже в Сионе, на террасе у левантинского купца, можно услышать, как насвистывают вальс из «Мадам Анго»... Но внутренняя жизнь людей (оседлых ли земледельцев и горожан или кочевников), их нравы, обычаи, обряды, одежда, посуда — все осталось таким, каким было во времена Авраама и Иисуса. Попасть сейчас в Палестину — все равно, что проникнуть в живую Библию. В тени сикоморы — палатки из козьих шкур; пастух стоит, окруженный своим стадом, опершись на копье; женщины в желтых и белых покрывалах, с кувшином на плече, поют песню, спускаясь к колодцу; горец целится из пращи в орла; у ворот города сидят по вечерам старцы; светлые террасы усеяны голубями; писец проходит с чернильницей на поясе; служанки мелют зерна; человек с длинными волосами назорея приветствует вас словом «мир» и изъясняется притчами; хозяйка дома, принимая вас, постилает коврик у порога своего жилища; и брачные процессии, и медленные танцы под рокот бубнов, и плакальщицы у белых гробниц — все переносит странника в Иудею времен Писания так жизненно и реально, что на каждом шагу спрашиваешь себя: не Рахиль ли вон та тоненькая смуглая женщина с золотыми кольцами в ушах, что проходит мимо, источая аромат сандала, и козленок идет за ней, ухватившись зубами за край ее плаща? И не Иисус ли тот человек с короткой курчавой бородой, который говорит что-то, подняв руку, в группе собравшихся под смоковницей мужчин?

Это ощущение, драгоценное для верующего, ценно и для мыслителя, ибо ставит его в осязательное общение с одним из самых чудесных моментов истории человечества. Конечно, было

бы так же важно (может быть, еще важнее) пережить подобное волнение в Греции и найти в ее одеждах, обычаях и общественной жизни великие Афины эпохи Перикла. К несчастью, несравненные Афины умерли безвозвратно, навеки погребены под землей, обратились в прах под Афинами римскими, и Афинами византийскими, и Афинами варварскими, и Афинами мусульманскими, и грязными конституционными Афинами. Повсюду древние декорации истории изодраны в клочья, сровнены с землей. Кажется, что даже горы потеряли свои классические контуры, и невозможно найти в Лациуме ту реку в прохладной долине, где жил Вергилий и которую он так по-вергилиевски воспел. На всей земле лишь одно-единственное место сохранило тот облик и те обычаи, с какими его видели и знали люди, совершившие один из самых великих мировых переворотов: это место — Иудея, Самария и Галилея. И если оно будет грубо модернизировано, подведено под общий ранжир, любезный нашему веку и представляющий собою копию Ливерпуля или Марселя, и если навсегда исчезнет поучительная возможность видеть великий образ прошлого,— какая это будет профанация, какое грубое и варварское опустошение! Потеряв реликт древних цивилизаций, сокровищница нашего знания и вдохновения невозместимо оскудеет.

Конечно, милый Бертран, никто не ценит и не уважает железную дорогу больше, чем я; мне было бы весьма затруднительно совершить путешествие из Парижа в Бордо, сидя с растопыренными ногами на осле, подобно Иисусу, въезжавшему из Иерихонской долины в Иерусалим. Однако самые полезные предметы неуместны и даже неприличны, когда грубо вторгаются в чуждые им области. Нет ничего полезнее ресторана; и все-таки даже самый отъявленный атеист не пожелал бы разместить ресторан, с его столиками, звоном тарелок и запахом жареного, в соборе Парижской богоматери или в древнем соборе Коимбры. Железная дорога — вещь весьма похвальная между Парижем и Бордо. Но между Иерихоном и Иерусалимом лучше ехать на резвой лошадке, нанятой за две драхмы, и ночевать не в отеле, а в брезентовой палатке, которую можно поставить вечером среди пальм на берегу прозрачного ручья, где так сладко спится под мирными сирийскими звездами.

Шатер у ручья, задумчивый верблюд, груженный тюками, пестрый отряд бедуинов, пустыня, по которой скачешь с ощущением беспредельной свободы, лилия Соломона, сорванная в расселине священных камней, тенистый приют у библейского

колодца и память о далеком прошлом земли — именно они придают столько очарования этой дороге и так сильно влекут человека со вкусом, способного к тонкому эмоциональному восприятию природы, истории и искусства. Когда же из Иерусалима проведут в Галилею железнодорожную колею, с ее гремящими, грязными вагонами, никто уже не захочет путешествовать по этим местам — кроме, может быть, расторопного коммивояжера, которому нужно распродать на базарах манчестерские ситцы и красные суданские сукна. Твой черный поезд поедет без пассажиров. И это будет большая радость для всех культурных людей, кроме акционеров Общества палестинских железных дорог!..

Но успокойся, милый Бертран, инженер-путеец и держатель акций! Даже самые верные слуги Идеала не в силах устоять против материалистических соблазнов прогресса. Если человеку XIX века предложат на выбор для следования из Яффы в Иерусалим к царю Соломону, с одной стороны, караван самой царицы Савской, полный поэзии и овеянный легендой: вереницу слонов и диких ослов с грузом благовоний и драгоценных каменьев, в сопровождении знаменосцев, лирников и глашатаев в венках из анемонов; а с другой стороны — свистящий поезд с открытыми дверцами, в котором можно проделать тот же путь без тряски и солнечных ударов, со скоростью двадцать километров в час и с билетом туда и обратно, то человек XIX века, будь он самым утонченным интеллектуалом и самым эрудированным эстетом, схватит свою шляпную картонку и со всех ног побежит в вагон, где можно разуться и спать врастяжку.

Поэтому твое черное дело процветет благодаря самой своей черноте. Через несколько лет деловой европеец, выехав утром из древней Иеппо в вагоне первого класса, сможет купить на станции Газа «Либеральную синайскую газету», с аппетитом позавтракать в Рамле в гранд-отеле Маккавеев, а вечером в Иерусалиме пройтись по Скорбному Пути, освещенному электричеством, выпить кружку пива и сыграть партию на бильярде в казино Гроба господня!

Это будет дело твоих рук и конец христианской легенды.

Прощай, чудовище!

Фрадике.

XII

Госпоже де Жуар.

Ферма Рефалдес (Миньо).

Дорогая крестная!

Я живу в полном довольстве среди церковных угодий, потому что эта усадьба некогда принадлежала монастырской братии. А теперь ею владеет один из моих друзей. Поэт и земледелец, как Вергилий, он обрабатывает землю и пасет стада и с благоговением воспевает героическое прошлое Португалии. Крепкий, цветущий, загорелый, он со своими восемью детьми населяет монашеские кельи, обитые светлым кретоном. Я вернулся из Лиссабона сюда, на север, к маисовым полям, чтобы крестить его младшего сына: это пресимпатичный маленький сеньор в три вершка ростом, кирпичного цвета, весь в складочках и выпуклостях, настоящий кренделек, с лысой головой в виде дыни, с блестящими, как стеклышки, глазками на морщинистом личике и со старческим выражением глубокого скептицизма. В субботу, в день святого Бернарда, под ослепительной небесной лазурью, которую святой Бернард специально ради этого случая подновил и прогрел, среди аромата роз и жасминов, мы понесли его, под звон колоколов, всего в бантах и кружевах, к купели, где отец Теотоний смыл с него коросту первородного греха, которая уже покрывала все его тельце, от пухлых пяток до голого темени! Бедный трехвершковый сеньор, чья душа погибла, не успев пожить!.. И с тех пор Рефалдес стал для меня островом лотофагов, а я словно поел лотоса вместо цветной капусты — и вот остался здесь, позабыв мир и себя самого; и дышу воздухом этих чудесных лугов, и наслаждаюсь сельской тишиной, которая нежит и баюкает меня.

Монастырский дом, где мы живем и куда раньше приезжали на лето каноники ордена святого Августина, жирные и богатые святые отцы, расположен по соседству с простой, незатейливой церковкой. Шпалеры гортензий ведут в осененный каштанами церковный двор — задумчивый и серьезный, как повсюду в Миньо. Каменный крест над воротами, в проеме которых все еще висит на цепи дряхлый и медлительный монастырский колокол. Перед домом — фонтан с питьевой водой; струя ее сонно поет, падая с раковины на раковину. Над фонтаном — другой каменный крест, поросший желтоватым мхом. Немного дальше — просторный бассейн, искусственное озеро,

окруженное каменными скамьями; по всей вероятности, здесь святые отцы наслаждались вечерней прохладой и тишиной. В этом бассейне берут воду для поливки сада: обильная, чистая струя бьет из-под каменной статуи в нише,— фигуры святой Риты. В огороде стоит еще одна тощая святая: держа в руках разбитый сосуд, она, подобно наяде, охраняет третий источник, который с журчаньем катит свои чистые струи по каменным желобам через бобовое поле. На гранитных столбах, служащих подпорками для винограда, вырезаны рельефы: то крест, то сердце Иисусово, то его монограмма. Таким образом, вся эта усадьба, испещренная знаками благочестия, напоминает ризницу, где крышей служат виноградные лозы, пол порос травой, из каждой щели бьет источник воды, и аромат гвоздики курится вместо ладана.

Но, несмотря на обилие благочестивых эмблем, ничто здесь не принуждает к отречению от мира. Ферма дает хорошие урожаи. Как и прежде, она окружена отлично обработанными и орошенными полями, которые греются на солнце, раскинувшись привольно, как античная нимфа. Добрейшие отцы, обитавшие здесь, любили и землю и жизнь. Все это были природные фидалго, которые вступали в воинство господне совершенно так же, как их старшие братья вступали в войско короля; и, точно как те, они наслаждались досугами, привилегиями и богатствами своего ордена и своей касты. Они переезжали в Рефалдес с наступлением июльской жары, в портшезах, со свитой лакеев. В кухню они заглядывали куда чаще, чем в церковь, и жирные каплуны ежедневно подрумянивались на вертелах для их ублажения. Слой пыли стыдливо покрывал библиотеку, куда редко-редко какой-нибудь каноник, прикованный к креслу ревматизмом, посылал за «Дон-Кихотом» или за «Фарсами доньи Петронильи». Ученые аббаты обметали пыль, проветривали, каталогизировали, надписывали этикетки — но только не в библиотеке, а в винном погребе!

Итак, не ищите в этой обители налета монастырской грусти; не ищите в ее окрестностях горных ущелий или долин, где царят безмолвие и уединение и так сладко тосковать по небу. Вы не увидите здесь лесных чащ, в какие уходил святой Бернард в поисках более полного, чем в келье, уединения; нет тут и поляны с голой скалой, где можно поставить хижину и каменный крест для отшельника... Нет! Вокруг усадьбы стоят добротные амбары для зерна; в курятниках едва вмещаются индюшки и каплуны. Чуть подальше цветущий огород, где все благоухает, все дышит изобилием — тут хватит, чем наполнить

котлы целой деревни; в огороде этом нарядно, как в саду; уютные дорожки проложены вдоль душистых грядок земляники, под сенью виноградных трельяжей. За воротами — каменный ток, гладкий, чистый, поставленный на века, с хорошо сложенным и хорошо продуваемым овином; в нем так просторно, что воробьи летают внутри, как под открытым небом. И, наконец, на всей равнине, вплоть до далеких холмов, волнуются тучные нивы, поля проса и ячменя, темнеют низкие виноградники, радуют глаз оливковые рощи, посевы льна по краям оросительных каналов, сенокосы, зеленые выпасы для скота... Святой Франциск Ассизский и святой Бруно прокляли бы такой монастырь и бежали бы отсюда без оглядки, как от воплощенного греха!

Внутренность дома являет тот же мирской уют. Просторные кельи с расписными потолками выходят окнами на залитые солнцем поля, откуда в них вливается дыханье довольства, зажиточности, надежных земных благ. Лучшая комната, предназначенная для самого важного дела,— трапезная с широкими балконами, где монахи, сытно поев, могли, согласно традиции, смаковать после обеда кофе маленькими глотками, икая и пошучивая, дышать свежим воздухом и слушать пение дроздов, гнездящихся на тополе во дворе.

Когда это жилище из монастырского сделалось мирским, в нем ничего не пришлось менять. Оно и раньше было создано для мирской суеты, и жизнь, какой тут зажили новые обитатели, не отличалась от прежней: только стала еще прекрасней, освободившись от противоречия между светским и духовным укладом, и потому гармония ее теперь совершенна. Жизнь течет здесь с несравненной приятностью. На заре поют петухи. Усадьба просыпается, сторожевых псов сажают на цепь, служанка идет доить коров, пастух берет на плечо свой посох, батрачки приступают к полевым работам — и трудовой день начинается. Труд на земле кажется здесь нескончаемым праздником, потому что работники все время поют. Голоса высоко, вольно несутся в чуткой тишине оттуда — с нив, со вспаханных полей, где белеют рубашки из сурового полотна и алеют, точно маки, платочки с длинной бахромой. В этом труде не чувствуется ни усилия, ни напряжения. Он совершается легко, как хлеб зреет на солнце. Плуг словно не бороздит, а ласкает землю. Колос сам собой, любовно падает в лоно увлекающего его серпа. Вода знает, где почве нужна влага, и, сверкая, сама хлопотливо бежит туда. В этих благословенных краях, как в Лациуме, Церера осталась богиней земли и всему

благоволит, всему споспешествует. Она укрепляет руку земледельца, освежает его потное лицо, снимает с его сердца всякую заботу. И те, кто ей служит, сохраняют веселую ясность духа в самом тяжком труде. Такой была благостная жизнь древних.

В час дня — сытный, основательный обед. Усадьба дает в изобилии и вино, и масло, и овощи, и плоды — и все это вкусное, свежее, питательное, не то что в городе, потому что принимается прямо из рук господа бога, минуя рынок и лавку. Ни в одном дворце взыскательной Европы не едят так вкусно, как в португальской деревне. В закопченной кухне, где всей утвари — два глиняных котла, а в очаге на полу пылает несколько поленьев, деревенская стряпуха, засучив рукава, умеет приготовить пир, который привел бы в восторг самого Юпитера, небесного гурмана, вскормленного на нектаре,— ведь с тех пор, как появились боги на небе и на земле, именно он ел больше всех и умел лучше всех наслаждаться едой. Кто никогда не пробовал сваренного в котелке риса, не едал пасхального ягненка, зажаренного целиком на вертеле, не пробовал цыплячьих потрохов, родившихся вместе с Португальским королевством и уносящих нас в рай, тот не может знать по-настоящему, в чем заключается та несравненная, грубо-земная и такая божественная радость, которую во времена монахов называли «чревоугодием». И вся эта усадьба, с нежной тенью виноградных шпалер, сонным журчаньем оросительных канав, золотом нив,— то тускнеющим, то ярко горящим,— дарит лучше всякого иного земного или небесного рая чувство покоя тому, кто встал, отяжелевший и довольный, поев этого риса и этого ягненка!

Если полдень здесь немного слишком материалистичен, то вскоре вечер внесет в вашу жизнь необходимую душе толику поэзии. Погасло на небе золотое сиянье, этот дерзновенный блеск, который слепит глаза и почти раздражает. Теперь, умиротворенное, дружелюбное, оно изливает нежность и мир, которые проникают в душу, вселяют в нее такую же нежность и умиротворение. Это редкий миг, когда небо и душа братаются и понимают друг друга. Деревья стоят неподвижно и смотрят почти как разумные существа. В тихих, коротких трелях птиц угадываешь сознание уюта и счастья в родном гнезде. Утомленное, сытое стадо вереницей бредет с пастбища и останавливается пить у бассейна, где под крестом лениво плещется вода. Колокол звонит к «Аве Марии», и во всех домах шепчут имя божие. Запоздалый воз с сеном скрипит на темнеющей

дороге. Все так спокойно, так просто и нежно, дорогая моя крестная, что, сидя где-нибудь на каменной скамье, я всеми порами чувствую проникновенную благость природы; я в таком согласии с ней, что душа моя, закоснелая в мирской грязи, уже не помнит ни одной мысли, которую нельзя было бы рассказать святому...

Право же, здешние вечера возвышают душу. Воспоминания всей прожитой жизни уходят куда-то далеко, за сосны и холмы, как забытая невзгода. Поистине, мы живем в дивном монастыре, где нет устава и нет аббата. Наш единственный устав — святость окружающей природы, и наша молитва без слов быстрее доходит к богу.

Вот и стемнело: уже загораются светляки на живых изгородях. Крошечная Венера блестит в вышине. Комната наверху полна книг, запертых там еще святыми отцами. С тех пор, как этот дом не принадлежит духовному ордену, он одухотворился. День в усадьбе заканчивается неторопливой, спокойной беседой о мыслях, о книгах; где-то неподалеку гитара наигрывает фадо, исполненное печали и горестных вздохов. А луна, круглая и красная, поднимается из-за темных гор и как будто слушает и заглядывает в глубину балкона...

Deus nobis haec otia fecit in umbra Lusitaniae pulcherrimae [1].
Латынь дурная, зато мысль верная.
Ваш дурной, но верный

Фрадике.

XIII

Кларе ...
(С франц.)

Париж, ноябрь.

Моя любовь!

Всего несколько мгновений тому назад (десять мигов, десять минут — столько ушло на дорогу в гадком фиакре, который увез меня из нашей Башни слоновой кости) я еще чувствовал биение твоего сердца около моего сердца; их разделяло только немного смертной материи, такой прекрасной в тебе, такой грубой во мне, и вот я уже в тоске стремлюсь продлить с помощью безжизненной бумаги то невыразимое, что заключается

---

[1] Господь дал нам тут отдохновение в сени прекрасной Лузитании *(лат.)*.

в словах «быть с тобой» и в чем теперь вся цель моей жизни, моя действительная, высшая жизнь. Вдали от тебя я перестаю жить, все перестает жить, и я, как мертвец, лежу среди мертвого мира. Едва кончается для меня этот совершенный краткий миг жизни, которым ты даришь меня, садясь рядом и шепча мое имя, и я снова начинаю тосковать по тебе, как по воскрешенью из мертвых.

Прежде чем я полюбил тебя, прежде чем я получил из рук богов мою Еву — чем, в сущности, я был? Тенью, колеблемой среди теней. Но ты пришла, любимая, чтобы я ощутил свое бытие и мог с ликованием крикнуть: «Люблю — значит, существую!» Ты открыла мне не только мою собственную сущность, но и сущность всей вселенной, которая раньше была для меня непонятным, серым нагромождением видимостей. Помнишь, несколько дней тому назад, с наступлением сумерек на террасе в Севране, ты сердилась: как мог я вблизи твоих глаз любоваться звездами и вблизи твоих теплых плеч смотреть на засыпающие холмы; ты не знала, и я не сумел тогда объяснить тебе, что это созерцание — лишь новый способ поклоняться тебе; поистине, во всем окружающем я вижу новую красоту, которую одна ты умеешь разливать на все, что тебя окружает; прежде чем я стал жить подле тебя, я никогда ее не замечал, как незаметен алый цвет розы и нежная зелень травы, пока не взойдет солнце. Это ты, любимая, осветила мне мир. Через твою любовь я воспринял таинство. Теперь я понял, теперь я знаю. И, как древний в миг посвящения, могу сказать: «И я был в Элевзисе; на долгом пути я возложил много цветов, но ненастоящих, на многие алтари, но ложные. Но вот я пришел в Элевзис, проник в Элевзис — и узрел, и почувствовал истину!..»

Мое мучение и мой восторг усугубляются тем, что твоя красота так восхитительна и так воздушна: она создана из неба и земли, это красота совершенная, тебе одной присущая. Я носил ее в себе как мечту и не верил, что встречу в жизни. Сколько раз я думал перед всегда удивительной и всегда безупречной Венерой Милосской: если бы в голове этой богини могли тесниться земные заботы; если бы ее гордые, бессловесные глаза могли затуманиться слезами; если бы ее уста, созданные для меда и лобзаний, дрогнули, смиренно шепча мольбу; если бы в этой груди, высочайшем вожделении богов и героев, когда-нибудь затрепетала любовь и с нею благость; если бы этот мрамор умел страдать — страдание одухотворило бы его; к великолепию гармонии прибавилось бы хрупкое изяще-

Переписка Фрадике Мендеса

ство; и если бы она жила в наше время, чувствовала бы наши горести и, оставаясь богиней наслаждения, сделалась бы владычицей страдания — тогда она стояла бы не в музее, но в святилище, потому что люди, видя в ней страстно-желанное, но невозможное соединение действительности и идеала, провозгласили бы ее in aeternam [1] конечным божеством. Но увы! Бедная Венера являет только холодное телесное совершенство. Ей не хватает внутреннего пламени, пылающего в душе. А несравненное создание моей мечты — Венера с душой, скорбящая Кифарея — ее нет, не было и никогда не будет! Так думал я, но вот ты явилась, и я узнал тебя. Ты — воплощение моей мечты, мечты всех людей. Но только один я тебя открыл, или, вернее, я был так счастлив, что одному мне ты пожелала открыться!

Суди же сама, выпущу ли я тебя когда-нибудь из своих объятий! Ты — мое божество, и это значит, что ты навсегда во власти моего поклонения. Карфагенские жрецы приковывали бронзовыми цепями к плитам храма статую Ваала. И я тоже хочу приковать тебя в храме, построенном для тебя жадным скупцом, чтобы ты была лишь моим божеством и всегда пребывала на алтаре, а я, повергшись ниц, буду постигать тебя душой и погружаться в твою сущность беспрестанно, чтобы даже на миг не прерывалось это невыразимое слияние. Для тебя это дело милосердия, для меня — спасение. Я бы желал, чтобы ты оставалась невидимой другим, не существовала бы для них, чтобы непроницаемый покров ограждал твое тело от посторонних взоров и строгая немота скрывала твой ум. И ты прошла бы в мире, как непонятое видение, и только для меня под темной одеждой сияло бы твое изумительное совершенство. Видишь, как я тебя люблю: мне бы хотелось, чтобы ты всегда носила грубое и бесформенное шерстяное одеяние, чтобы лицо твое было безжизненным и неподвижным... Тогда я лишился бы горделивой радости наблюдать, как блистает среди очарованной толпы та, что втайне любит меня. Все шептали бы с состраданием: «Бедняжка!» И только я один знал бы, как прекрасна эта «бедняжка» телом и душой!

А она прекрасна! Я не могу понять, как, сознавая собственную прелесть, ты не влюбилась в себя, подобно Нарциссу, прикрытому мхом и дрогнущему от холода на берегу ручья в Севране. Но я люблю тебя и за себя, и за тебя! Твоя красота, как добродетель, поистине возвышенна; чистая душа сделала

---

[1] Навеки *(лат.)*.

такими прекрасными линии твоего тела. И я постоянно корю себя за то, что не умею любить тебя так, как ты заслуживаешь (ведь ты спустилась с вышнего неба), что не умею обходиться, как должно, с дивной обитательницей моего сердца. Иногда мне хочется окружить тебя неземным блаженством, бесконечным, нерушимым, какое должно быть в раю,— и чтобы мы, обнявшись, в один и тот же час расстались с жизнью и вместе летели бы в безмолвном, сияющем пространстве, и в ином мире продолжали бы тот же восторженный сон. А иной раз я бы желал сгореть вместе с тобой в бурном, огненном счастье, погибнуть в этом великолепном пламени, и чтобы от нас обоих осталась только горсть безымянного, забытого пепла! У меня есть старинная гравюра: сатана, во всем блеске своей архангельской красоты, увлекает к пропасти святую монахиню, чьи последние покаянные покрывала рвутся об острия черных скал. На лице у святой ужас; но сквозь ужас сияют, неукротимее и сильнее, чем ужас, радость и страсть. Для тебя я желал бы такой радости и страсти, о моя похищенная святая! Ни одним из этих двух способов я не умею тебя любить, слишком слабо и неумело мое сердце. Но если любовь моя несовершенна, я удовлетворюсь тем, что она вечна. Ты грустно улыбаешься при слове «вечность». Вчера ты спросила меня: «Сколько дней длится вечность по календарю твоего сердца?» Но не забывай, что я был мертв, а ты меня воскресила. Новая кровь в моих жилах, новый дух, новые чувства и новое понимание. Вот что такое моя любовь к тебе. Если она уйдет от меня, я снова окоченею, онемею, вернусь в мою гробницу. Я перестану любить тебя, когда перестану существовать. Жизнь с тобой и для тебя — невыразимо прекрасна! Так живут боги. Может быть, и боги этого не испытали; и если бы я был язычником, каким ты меня считаешь, языческим пастухом из Лациума, и верил бы в Юпитера и Аполлона, я бы каждое мгновение боялся, что кто-нибудь из этих завистливых богов похитит тебя и унесет на Олимп, чтобы сделать полным свое бессмертное блаженство. А теперь я не боюсь: я знаю, что ты моя, навсегда моя, и весь мир — это рай, созданный для нас, и я сплю спокойно на твоей груди, спокойно и блаженно, о моя трижды благословенная царица благодати!

Не подумай, что я сочиняю тебе хвалебный гимн. Я просто даю излиться тому, что кипит у меня в душе... Да что! Вся поэзия всех веков бессильна выразить мой восторг. Я лепечу, как могу, мою нескончаемую молитву... Человеческое

слово прискорбно несовершенно. И вот, как деревенский неуч, я становлюсь перед тобой на колени и, воздев руки, твержу единственную, самую верную истину: я люблю тебя, люблю, люблю и люблю!

Фрадике.

XIV

Госпоже де Жуар.
(С франц.)

Лиссабон, июнь.

Дорогая крестная!

В меблированных комнатах на Соломенной улице, где томится на привязи у Истины мой кузен Прокопио, я познакомился после возвращения из Рефалдеса с одним священником, падре Салгейро. Вы, я знаю, любительница лукаво и кропотливо коллекционировать любопытные человеческие типы, и, может быть, сочтете этого падре занятным образчиком для вашей коллекции.

Мой рассеянный и хилый философ уверяет, пожимая плечами, что падре Салгейро не отличается ни телом, ни душой от всякого священника их епархии и что он, как добросовестно составленный перечень, соединяет в себе мысли, чувства, привычки и внешние черты всего португальского духовенства. Действительно, по внешнему виду падре Салгейро — ходячий тип португальского священника.

Родом он из крестьян; немного пообтесался в семинарии, усвоил приличные манеры в общении с местными начальниками и чиновниками из департамента духовных дел, понаторел в искусстве импонировать верующим дамам, особенно во время мессы и исповеди, а главное, приобрел некоторый столичный лоск в Лиссабоне, в семейных пансионах, зараженных литературой и политикой. Его выпуклая грудь дышит глубоко, как кузнечные мехи; руки у него до сих пор темные и жесткие, несмотря на то, что они уже столько лет прикасаются к белым, мягким облаткам. Кожа на лице точно дубленая, с синеватым отливом на щеках от тщательно выскобленной бороды; такая же синеватая тонзура среди черных, жестких, как лошадиная грива, волос; зубы ослепительной белизны. Все это черты, присущие крестьянскому сословию, из которого он вышел и которое ныне поставляет португальской церкви весь ее персонал, стремясь найти опору в союзе с единственной мо-

гущественной силой современного общества, которая ему понятна и не внушает недоверия.

Но изнутри, в нравственной своей основе, падре Салгейро являет поразительно живописное устройство, совершенно новое для человека вроде меня; ведь до сих пор я наблюдал португальское духовенство лишь снаружи: видел то спину в сутане, исчезающую в дверях ризницы, то заношенный платок со следами нюхательного табака на краю окошечка исповедальни, то белое пятно епитрахили в коляске, провожающей гроб на кладбище...

Как-то раз нам с падре Салгейро довелось поболтать о том, о сем, прогуливаясь вокруг Россио, и меня совершенно поразило то, как он понимает свое служение. Священство, которое он ценит и чтит как одну из самых важных основ общественной жизни, заключается, по его мнению, вовсе не в каких-нибудь духовных занятиях, но в исполнении чисто цивильных обязанностей. С тех пор как его прикрепили к приходу, он рассматривает себя как государственного служащего, чиновника, который носит свою форменную одежду — сутану — точно так, как таможенники носят положенный им мундир. Разница лишь в том, что он ходит каждое утро не в департамент на Террейро-до-Пасо, не пишет и не подшивает дел, а ежедневно, включая и праздники, служит мессу и исправляет требы в другом присутственном месте, где вместо конторки стоит алтарь. У падре Салгейро нет и не было никаких сношений с небом (небо его интересует только в смысле погоды: чистое оно или обещает дождь); сносится же он преимущественно с секретариатом Министерства юстиции и духовных дел. Ведь именно министерство поставило его на службу в приход — и отнюдь не для того, чтобы продолжать дело господне и вести паству по стезе спасения (подобная задача никак не входит в компетенцию секретариата означенного министерства), а чтобы выполнять известные функции, установленные законом для общественного блага и порядка, как-то: крестить, исповедовать, венчать и хоронить прихожан.

Следовательно, для нашего почтенного падре Салгейро таинства суть не что иное, как своего рода гражданские церемонии, необходимые для хода дел. И за все время, что он их совершает, он ни разу не задумался об их божественной природе, о благодати, которая через них сообщается душам, о той силе, что через их посредство связывает преходящую жизнь с ее непреходящим началом. Конечно, учась в семинарии, падре Салгейро зубрил по конспектам догматическую и пастырскую теологию, основы нравственности, писания святого Фомы

и сочинения Лигуори, но делал он это лишь для того, чтобы пройти учебную программу, быть посвященным в сан, а потом получить от министра юстиции приход. И в этом он ничуть не отличается от любого другого бакалавра, долбящего в Коимбре свои себенты по естественному и римскому праву, ибо без этого не пройдешь курса и не получишь докторской кисточки, а без кисточки не будет и легкой службы. Звание, и только звание как-то ценится и что-то значит, ибо именно оно дает право на должность. Наука, ведущая к диплому,— не более, чем нудная формальность, тягостный искус. Когда искус пройден, никому не приходит в голову вернуться к этой сухой материи с ее скучными параграфами. Падре Салгейро уже давно забыл, в чем состоит теологическое и духовное значение брака; но он венчает женихов и невест, и венчает искусно, с соблюдением всех правил, с сознанием честно исполненного гражданского долга. Он делает подробные записи в книге, вкладывает в жест благословения всю положенную благость, неподражаемо соединяет руки молодых под епитрахилью, безошибочно выговаривает все слова по-латыни, потому что государство платит ему деньги за то, что он женит граждан, как положено, а он усердный чиновник и не хочет дурно исполнять обязанности, за которые аккуратно получает плату.

Его невежество прелестно. Кроме отдельных эпизодов из земной жизни Христа: бегства в Египет на осле, умножения хлебов на свадьбе в Кане, избиения торгашей в храме, некоторых случаев изгнания беса, он ничего не знает из Евангелия, хотя согласен, что оно «очень красиво написано». Он так же далек от учения Христа, как от философии Гегеля. Из Библии ему тоже известны лишь отдельные места — наверно, по олеографиям: Ноев ковчег, разрушение Самсоном врат Газы, Юдифь, обезглавливающая Олоферна. Но больше всего я развлекаюсь по вечерам, когда мы дружески болтаем в номерах на Соломенной улице: его полное неведение происхождения церкви и ее истории просто умилительно. Падре Салгейро уверен, что христианство возникло вдруг, в один день (конечно, в воскресенье) по чудодейственной воле Иисуса Христа. Но после этого радостного часа все дальнейшее тонет для него в смутном тумане, в гуще которого там и сям поблескивают нимбы святых и тиары пап — вплоть до Пия IX. Но в деятельности Пия IX его не восхищает ни догмат непогрешимости, ни Силлабус: дело в том, что падре Салгейро считает себя либералом, стремится к прогрессу, стоит за просвещение и подписывается на «Первое января».

В чем еще он необычайно живописен — это в своих рассуждениях об обязанностях, возложенных на него как на пастыря душ, то есть о его обязанностях по отношению к душам прихожан. Попробуй скажи ему, что во исполнение высшей воли он должен утишать скорбь, умерять эгоизм... Для добрейшего падре Салгейро это будет самая странная и несуразная новость! И не потому, что он не видит нравственной красоты в подобной миссии. Напротив! Он даже считает, что это «очень поэтично». Но он ни за что не поверит, что столь прекрасная и возвышенная задача может быть возложена на него, на падре Салгейро! Не требуют же от таможенного ревизора, чтобы он морально очистил и одухотворил торговлю. Подвиги святости — удел святых. По мнению падре Салгейро, святые — это особое сословие, духовная аристократия; им и поручаются сверхъестественные дела, которые вознаграждаются небом. А обязанности приходского священника — нечто совсем другое. Он — чиновник по духовной части, он должен только исполнять положенные обряды от имени церкви и, значит, от имени государства, на чей счет существует церковь. Надо окрестить ребенка? Падре Салгейро надевает епитрахиль и крестит. Надо похоронить мертвеца? Падре Салгейро берет кропило и хоронит. В конце месяца он получает свои десять тысяч рейсов (не считая пожертвований), и епископ ценит его усердие.

Из этого представления падре Салгейро о миссии священника вытекает, с похвальной логикой, его поведение. Встает он в десять часов — обычное время, когда встают все государственные служащие. Молитвенник свой он никогда даже не открывает—разве только в присутствии епархиального начальства, да и то единственно из уважения, как лейтенант становится во фрунт перед своим генералом. Что же касается молитв, размышлений, умерщвления плоти, самоуглубления — всех кропотливых способов самосовершенствования и самоочищения,— то он даже не подозревает, что в этом есть какая-то необходимость или польза для него. К чему это? Падре Салгейро знает одно: будучи чиновником, он должен без отступлений и ошибок блюсти все приличия, которых требует достоинство его службы. Поэтому он всегда одевается в черное. Не курит. По постным дням ест рыбу. Никогда не переступает неправедного порога таверны. За целую зиму лишь один раз сходит в театр, а именно в Сан-Карлос, когда там дается «Полиевкт», опера религиозная и в высшей степени назидательная. Он без колебаний вырвал бы свой язык, если бы с него сорва-

лось хоть слово лжи. Он ведет весьма чистую жизнь, хотя не осуждает и не отталкивает с отвращением женщину, как водится у святых отцов. Он даже уважает ее, если она бережлива и добродетельна. Но церковный устав налагает на женщину запрет; он чиновник церкви, следовательно, женщина исключена из его жизни, он строжайше целомудрен. Нельзя быть почтеннее, чем падре Салгейро.

Поскольку он чиновник, то, по моим наблюдениям, уделяет известное время (остающееся после исполнения служебных обязанностей) изысканию способов продвинуться по служебной лестнице. Поэтому он вошел в политическую партию и три раза в неделю пьет чай у главы своей партии, угощая дам ячменным сахаром. Он ловко управляет голосами своих прихожан, исполняет сложные негласные поручения столоначальников департамента духовных дел, на своего епископа трудится без устали: не так давно я встретил его, расстроенного, всего в поту из-за двух поручений его преосвященства: надо было добыть какое-то особенное пирожное из Синтры и комплект «Правительственного вестника».

Я еще ничего не сказал о его уме. Ум у падре Салгейро — весьма методичного, практического склада. Я убедился в этом, прослушав его проповедь в день святого Венанция. Проповедь эту падре Салгейро написал по заказу, получил за нее двадцать тысяч рейсов и за эти деньги составил полноценную, документированную речь, заключавшую все, что следовало для прославления святого Венанция. Падре Салгейро осветил происхождение святого, изложил с полной точностью его чудеса (их мало), перечислил даты, процитировал источники, описал с усердием агиографа его мученичество, перечислил все посвященные ему церкви и указал даты их основания; искусно вставил похвалу начальнику департамента духовных дел, упомянул и королевскую семью, воздав ей должное соответственно конституции. В итоге получился превосходный реферат о святом Венанции.

Вечером я горячо поздравил падре Салгейро с успехом. Он пробормотал скромно и просто:

— К несчастью, святой Венанций — неблагодарная тема. Он даже не был епископом, никогда не занимал никакого поста. Как бы то ни было, я сделал все, что мог.

До меня дошли слухи, что падре Салгейро назначают каноником. Он этого вполне заслуживает. Вряд ли Христос найдет лучшего делопроизводителя. И я никогда не мог понять, почему другой мой приятель духовного звания, монах из Вара-

тожо, человек экстатической веры и беспредельного милосердия, печальник о мире в человеческих душах, истый христианин евангельского склада, называет этого усердного, пунктуального, деятельного и почтенного клирика «возмутительным падре Салгейро».

Так что вот, дорогая крестная! Требуется более тридцати или сорока тысяч лет, чтобы высокая гора выветрилась и распалась, дойдя до размеров невысокого холма, на который играючи взберется любой козленок. Но потребовалось всего около двух тысяч лет, чтобы низвести христианство с высоты отцов семи азиатских церквей до размеров комичного падре Салгейро, который представляет не семь церквей Азии и даже не одну какую-нибудь церковь, а только — скромно и преданно — секретариат департамента духовных дел. Это падение могло бы иллюстрировать непрочность всего божественного, если бы мы с вами не знали, что бог объемлет не только религии, но и горы, и Азию, и падре Салгейро, и игривого козленка, и все, что распадается, и все, что вновь создается, и даже вашего крестника, хотя он всего лишь простой человек, грешный с головы до пят,

Фрадике.

XV

Бенто де С.

Париж, октябрь.

Дорогой Бенто!

Если ты затеваешь новую газету — то затея это вредная и мерзопакостная. Выпускать в большом формате с телеграммами и хроникой один из этих «печатных листов, которые появляются каждое утро» (как боязливо и осторожно определяет газету архиепископ Парижский),— значит насаждать у себя на родине, среди своих и без того уже поверхностных современников, еще большее легкомыслие, тщеславие и нетерпимость. Легкомыслие, тщеславие и нетерпимость — три смертных греха, которые морально губят общество. А ты, ничтоже сумняшеся, собираешься их усугублять! Бессознательно, как чума, ты будешь сеять духовную смерть. И будь уверен: дьявол уже подкладывает дрова под котел со смолой, где ты будешь с воем вариться, мой милый, но погибший Бенто!

Не думай, что я озлобленный моралист, вроде Иоанна Златоуста, и все преувеличиваю. Пойми: именно печать, с ее взбалмошной, оголтелой манерой все утверждать и обо всем судить,

еще больше укореняет в нас пагубную легковесность мнений. Конечно, необоснованные суждения выносились во все времена: уже грек был опрометчив и болтлив; Моисей в пустыне немало натерпелся от изменчивого ропота евреев. Но никогда до нашего торопливого века бессовестное выдумыванье не было естественным умственным процессом. Ныне все мы, за исключением нескольких философов, порабощенных методом, и немногих верующих, которые боятся погрешить против совести, отвыкли или, лучше сказать, с легким сердцем отказались от кропотливой проверки фактов. Мы строим окончательные выводы на основе зыбких впечатлений. О самом сложном политическом событии мы составляем себе мнение, подхватив пущенный кем-то слух на перекрестке улицы в ветреный день. Самую серьезную книгу, полную новых мыслей, обдуманных и увязанных трудом многих лет, мы оцениваем, проглядев несколько страниц сквозь плавающий перед глазами дым сигары. В порицании наше легкомыслие особенно ошеломительно. С какой непринужденностью мы объявляем: «Этот—дурак!», «Тот—негодяй!» Правда, слова «Это гений» или «Это святой» мы выговариваем лишь после некоторого внутреннего сопротивления. Но если хорошее пищеварение или свет майского солнца настраивают нас на благожелательный лад, мы с той же поразительной самоуверенностью, едва бросив беглый взгляд на избранника, даруем ему венец или ореол. И вот уже у всех на устах украшенный лаврами или окруженный нимбом гороховый шут.

Так мы целый божий день навешиваем ярлыки на спины людей и на изнанку вещей. Нет поступка, дела рук человеческих, личности, о которых мы не были бы готовы с апломбом высказать свое решительное мнение. А между тем мнение это основано лишь на одной, далеко не самой существенной черте этого поступка, дела, личности, только потому что именно эта черта случайно попала в поле нашего скользящего мимо взгляда. По одному жесту мы судим о человеке. По одному человеку оцениваем народ. Помню, некий ученый англичанин, сотрудник многих обозрений, член нескольких академий, с которым мне пришлось путешествовать по Азии, считал всех французов — от сенаторов до дворников — «грязнулями и воришками»! Почему, как ты думаешь, Бенто? А потому, что в доме у его свекра служил лакей, родом предположительно из Дижона, который не менял воротничков и таскал сигары. Этот ученый англичанин — отличный образец нынешней позорной манеры делать обобщения.

И кто же укоренил в нас это прискорбное легкомыслие?

Газета. Каждое утро газета обрушивает на читателей со своих полос — начиная с хроники и кончая объявлениями — пенящийся каскад легковесных суждений, сымпровизированных накануне вечером или в полночь, под шип газа и аккомпанемент острот, пресимпатичными молодыми людьми, которые вбегают в редакцию, хватают лист бумаги и, даже не сняв шляпы, двумя росчерками пера выносят суждение по всем вопросам неба и земли. Идет ли речь о перевороте в государстве, о прочности банка, о цирковой феерии, о железнодорожном крушении — перо, брызнув чернилами, одним махом выносит приговор. Ничего не надо изучать, ничего не надо проверять, ни в чем не надо убеждаться. Не далее как в воскресенье, Бенто, осведомленная парижская газета в статье о политическом и экономическом положении Португалии авторитетно утверждала, что в Лиссабоне отпрыски самых знатных фамилий служат носильщиками в таможне и в конце каждого месяца посылают своих лакеев за получкой! Что скажешь? Наследники исторических домов Португалии таскают на спине бочки с маслом по платформе таможни и держат слуг, чтобы посылать их за своим жалованьем... Эти бочки, эти наследники, эти лакеи, прислуживающие носильщикам — не правда ли, прелестная фантастическая таможня, не столько из Тысяча и одной ночи, сколько из Тысяча и одной брехни. И такую информацию дает солидная, богатая газета, располагающая энциклопедиями, географическими картами, статистиками, телефонами, телеграфом, образованными и хорошо оплачиваемыми сотрудниками, которые знают Европу, состоят в академиях моральных и социальных наук, законодательствуют в Сенате! И ты, Бенто, со своей газетой, снабженной такими же энциклопедиями и телефонами, собираешься по их примеру низвергнуть, строча пером, на Францию, и на Китай, и на всю горемычную вселенную (которая отныне становится твоим сырьем и твоей добычей) веские суждения вроде тех, что так безапелляционно преподносит почтенная газета относительно нашей таможни и нашей аристократии.

Это первый грех, и грех очень черный. Перейдем ко второму, еще более черному. Через газету и ее главный отдел — репортаж — ты будешь распространять у себя на родине, среди своих современников, все недуги тщеславия. Знаю, репортаж — полезный поставщик истории. Согласен: важно знать, какой был нос у Клеопатры, вздернутый или с горбинкой, потому что от его формы в течение некоторого времени (между битвой при

Филиппах и битвой при Акциуме) зависели судьбы мира. Чем больше деталей обнаружат рыщущие повсюду репортеры о господине Ренане, о его белье и мебели, тем больше будет данных у XX века, чтобы со всей возможной точностью восстановить личность человека, создавшего «Происхождение христианства», и тем самым для понимания его сочинений. Но так как репортаж посвящается теперь не тем, кто влияет на судьбу земного шара, и не тем, кто направляет мысли человечества, а, по библейскому выражению, «судьбе и жизни пустых людей», всяких жокеев и даже убийц, то неразборчивая гласность мало способствует собиранию исторических документов и много, бесстыдно много,— распространению тщеславия.

В самом деле, газета, словно кузнечный мех, неутомимо раздувает человеческую суетность. Конечно, тщеславие существовало во все времена. Уже плаксивый Соломон жаловался на это. Из-за тщеславия погиб Алкивиад, может быть, величайший из греков. Однако, Бенто, никогда еще тщеславие не было столь универсальным двигателем мыслей и поступков, как в наш треклятый XIX век. В нынешнем шумном и пустом состоянии цивилизации все исходит из тщеславия, все ведет к тщеславию. И новая форма тщеславия у современного человека состоит в том, чтобы увидеть в газете упоминание своей славной персоны и свое имя, напечатанное без сокращений. Попасть в газету! Вот к чему стремятся люди в наши дни, вот в чем видят высшую награду! При аристократическом правлении они стремились заслужить милость короля или хотя бы его улыбку. В современных демократиях большинство смертных добиваются, чтобы их в семи строках пропечатала газета. Ради этих семи благословенных строчек люди совершают всякие деяния — даже добрые. Даже добрые, Бенто! Наш щедрый друг Z жертвует семь тысяч рейсов на детские ясли — единственно затем, чтобы газета прославила эти семь тысяч рейсов нашего щедрого друга Z. И даже не надо много меда и ладана в этих семи строках: достаточно, если имя напечатано на видном месте, жирным шрифтом, той черной газетной краской, которая влечет сильней, чем в прежние времена влек золотой ореол святости. Нет сословия, которое не было бы заражено жаждой рекламы. Хворь эта одинаково точит как тех, кто живет для светской суеты, так и тех, кто, казалось бы, ищет в жизни лишь уединения и тишины...

У нас теперь пост (среда первой недели поста — и, видимо, поэтому я взялся читать тебе нравоучения). Так вот, в эти

постные дни братья доминиканцы выходят из своих монастырей и читают проповеди со всех парижских кафедр. Спрашивается, к чему эти сенсационные проповеди, насквозь мирские, насквозь театральные, с изложением любовной психологии, с игрой в евангельский анархизм?.. Они настолько скандальны, что Париж охотнее бежит в собор Богоматери на проповедь доминиканца, чем во Французскую Комедию на спектакль с Кокленом. А дело в том, что монахи, сыны святого Доминика, желают заслужить семь строчек в бульварных газетах; слава лицедеев не дает им спать. Газета простирает над миром свои два крыла, испещренные черными значками и подобные тем черным крыльям, с которыми иконописцы XV века изображали Похоть или Обжорство. И человек кидается к газете и забирается под сень двух ее крыл, ибо эти крылья могут поднять его на вершины мелочной славы, разнести его имя в звучном воздухе. Ради этой мелочной славы мужчины губят себя, женщины теряют стыд, политики преступают законы, художники изощряются в экстравагантности, ученые выдвигают несуразные теории, и отовсюду, из всех щелей, лезет улюлюкающая свора шарлатанов... (Право, я ударяюсь в пафос и многоглаголание... Но все это так и есть, Бенто!) Посмотри сам, сколько на свете людей, которые предпочитают поношение безвестности (пишущая братия, поэтессы, дантисты и др.). Даже преступление жаждет семи строк, которые заклеймили бы его! Некоторые убийцы убивают, чтобы попасть в газету. Древний инстинкт самосохранения уступает новому инстинкту газетной славы; и иной дуралей, при виде пышных похорон с грудами венков, вереницей колясок и потоками ораторских слез, задумчиво облизывается и завидует покойнику!

Этим летом я как-то поутру зашел в таверну на Монмартре купить коробок спичек. У цинковой стойки, на которой уже были выставлены два стакана белого вина, поместился какой-то забулдыга; приплюснутый нос, висячие щетинистые усы, меховая шапчонка на голове — по всем признакам он казался (да и был в действительности) гунном, уцелевшим пережитком орд Алариха. Этот субъект с торжеством кричал, обращаясь к безбородому испитому бродяге и тыча ему в лицо газетный лист:

— Ей-богу, правда, вот гляди, здесь! Всеми буквами! Второй столбец, наверху! Вот: «Вчера некий бесстыжий и наглый негодяй...» Это про меня! Написано всеми буквами!

И при этом он победоносно озирался. Вот тебе, как принято теперь выражаться, «состояние духа». И ты, Бенто, будешь создавать такие состояния.

А теперь, последний, чернейший грех. Основывая новую газету, ты создаешь новый очаг нетерпимости. Вокруг себя, своей группки, своих единомышленников ты воздвигнешь стену из мелкого, крепко сцементированного камня; внутри этой небольшой крепости, на которой ты водрузишь свое знамя с неизменным девизом «Беспристрастие, бескорыстие» и т. д., заключены, если верить Бенто и его газете, все достоинства, весь разум, все знания, вся энергия и вся гражданственность мира. Вне этой стены — опять же если верить Бенто и его газете — обретается, естественно, только глупость, низость, инертность, эгоизм, торгашество. Того требует дух групповщины (в угождение тебе я понимаю групповщину в самом широком смысле, с включением литературы, философии и всего прочего). Дух групповщины по необходимости обязывает тебя проводить вышеуказанное смехотворное распределение пороков и добродетелей. С того момента, как ты вступишь в газетную битву, ты не сможешь допустить и мысли, что разум, или справедливость, или законность существуют в лагере тех, против кого ты выпускаешь свистящую шрапнель прилагательных и глаголов. В противном случае если не совесть, то простое чувство приличия вынудило бы тебя перескочить через стену и подать руку тем, кто прав, но кого ты обзываешь злодеями, лгунами, мерзавцами и про кого говоришь, что они заслуживают свинцовых пуль, которыми ты их убиваешь. И весь ты, Бенто,— от подошвы твоих башмаков до твоей лысеющей макушки,— увязнешь в болоте нетерпимости. Всякую возникшую за стеной мысль ты объявишь зловредной, даже не дав себе труда уразуметь ее, и это лишь потому, что она родилась по ту сторону стены, среди отверженных, а не по эту сторону стены, среди праведных. Начнут ли «они» воздвигать какое-нибудь сооружение, Бенто не пожалеет ни кулаков, ни прозы, чтобы оно рухнуло; и если, бросая туда камни, ты случайно увидишь, что сооружение это красиво и полезно, ты с еще большим жаром довершишь дело уничтожения, потому что твоим сторонникам было бы обидно, что прекрасное возникло у их врагов и живет. Все пребывающие за стеной будут для тебя грешниками, и только. И если ты вдруг увидишь среди них святого Франциска Ассизского, раздающего бедным последние оболы Порциункулы, ты зажмуришь глаза, чтобы дух твой не поколебался, и злобно закричишь: «Этот бродяга делит с другими попрошайками украденные деньги!»

Таков будешь ты, такова будет твоя газета. И всякий, кто ее купит, усвоит ту же мораль и станет подобен тебе. Газета

источает нетерпимость, как перегонный аппарат выделяет алкоголь, и каждое утро толпа отравляется этим соблазнительным ядом. Только из-за газет обостряются во всем мире застарелые конфликты, и души, отученные от евангельской кротости, делаются все непроницаемей для снисхождения. Общение смягчает и сглаживает все разногласия между людьми; так река сглаживает и обкатывает камни, влекущиеся по дну ее русла. Старея и делаясь культурней, человечество постепенно стало бы общительным и мягкосердечным и установило бы мир,— но газеты каждое утро вновь и вновь воскрешают ненависть между идеологиями, классами, нациями, науськивая их друг на друга, пока они не взбесятся и не начнут кусаться.

Ныне газета взяла на себя обязанности усопшего сатаны, унаследовав и его вездесущность. Она мать лжи, она мать раздора. Именно она в одних разжигает самые непомерные аппетиты, а другим поставляет кирпич и известку, чтобы воздвигнуть стену самого бессмысленного упорства. Заметь: когда возникает стачка рабочих, или спор между двумя нациями, или столкновение двух враждебных теорий, первое естественное движение людей, смягченных цивилизацией и долгим общением, воскликнуть: «Мир! Будем благоразумны!» — и протянуть друг другу руки тем древним жестом, который символизирует договор. Но на сцену является газета, свирепая, как адская фурия: она разъединяет тех, кто готов был примириться, впускает в их души яд нетерпимости, толкает их на драку, уродуя землю сутолокой и пылью сраженья.

Газета убила мир на земле. Она не только воскрешает уже забытые распри, подобные давно остывшему пеплу в очаге, но раздувает их в новое бешеное пламя ненависти и выдумывает новые причины для вражды и травли. Возьми для примера нарождающийся у нас на глазах антисемитизм. Поверь, раньше чем истечет нынешний век, антисемитизм возродит на земле жестокие, анахроничные преследования, какие бывали только в пору средневековья. Мало того: газета...

Но чу! Одиннадцать часов. Мои старые часы, сыграв менуэт Глюка, нежно бьют одиннадцать раз. Пусть это письмо останется неоконченным... Оно ужасно и многословно, как письмо Тиберия, verbosa et tremenda epistola. Пора с ним покончить, чтобы успеть до завтрака с наслаждением просмотреть сегодняшние газеты.

Твой *Фрадике.*

XVI

Кларе ...
(С франц.)

Париж, октябрь.

Моя горячо любимая Клара!

Полное жалоб, чуть ли не ворчливое, какое-то траурное, пришло ко мне с первыми октябрьскими холодами твое письмо. И чем, моя милая, ты недовольна? Тем, что я бессердечен, как Трастамара или Борджиа, и за последние пять дней (пять коротких осенних дней) не прислал тебе ни одной строчки в подтверждение истины и без того очевидной и известной тебе, как солнце на небе: что только о тебе я думаю, только тобой живу! Но разве ты сама не знаешь, о возлюбленная, что мысль о тебе бьется в моей душе так же естественно, как кровь в сердце? Что, как не твоя любовь, поддерживает во мне жизнь и управляет ею? Неужели тебе нужно каждое утро письменное удостоверение о том, что страсть моя живет, цветет и шлет тебе привет? Зачем это? Чтобы успокоить твои сомнения? Боже! Уж не для того ли, чтобы потешить твою гордость? Ты знаешь, что ты богиня, и требуешь от того, кто верит в тебя, непрестанного каждения и славословий! А ведь святая Клара, твоя патронесса, которая была великой святой, происходила из знатного рода, тоже была красавицей, дружила с Франциском Ассизским, пользовалась доверием Григория IX, основала не один монастырь, служила сладостным источником благодати и чудес,— даже она не требует, чтобы ее память праздновалась больше, чем один раз в году — двадцать седьмого августа!

Конечно, я шучу, о моя святая Клара, мое божество, в которое я верую! Нет! Я не послал тебе этих ненужных строк только потому, что на меня внезапно обрушились всевозможные беды: глупейший насморк, сопровождаемый отупелостью, меланхолией и чиханьем; дурацкая дуэль, на которой я с неизреченной скукой фигурировал в роли секунданта (окончилась она тем, что пострадала ветка багрянника, срезанная пулей); и в довершение зла, из Абиссинии вернулся один мой приятель, который дошел до такого эфиопства, что заставляет меня слушать с покорно-удивленным видом свои рассказы о караванах, опасных переделках, любовных приключениях и львах! Вот почему моя бедная Клара осталась в своем лесном уединении без исписанного моей рукой листка, столь же ненужного для спокойствия ее сердца, как листья окружаю-

щих ее деревьев — наверно, они уже увяли и пляшут на ветру.

Не знаю, как обстоит дело в твоих лесах, а здесь, в моем бедном садике, листья пожелтели и валяются на мокрой траве. Чтобы утешиться и забыть о погибшей зелени, я велел растопить камин и весь вчерашний вечер читал древнюю хронику Фернана Лопеса, средневекового летописца моей родины. В ней повествуется о короле, носившем женственное прозвище «Красивый». Из великой любви он презрел принцесс Кастилии и Арагона, растратил коронные сокровища, лишился вассальных земель и крепостей, претерпел нелюбовь своего народа, стал жертвой заговоров и мятежей и чуть не погубил вообще все королевство! Я и раньше знал эту хронику, но только теперь понял короля. И я от всей души завидую ему, моя прекрасная Клара! Кто любит, как он (или как я), должен чувствовать великое удовлетворение, когда может пожертвовать первыми принцессами христианского мира, коронными сокровищами, любовью народа и мощью своего королевства ради двух глаз, задумчивых и нежных, улыбающихся тому, чего ожидают, и еще тому, что сулят... Поистине, любить должен только король, потому что только он может доказать силу своей любви великолепием жертвы. Но простой вассал вроде меня, без замка и без дружины,— что у него есть благородного, роскошного, прекрасного, что можно было бы принести в жертву? Время, счастье, жизнь? Жалкие блага! Все равно что протянуть на ладони горстку праха. Такая жертва даже не увековечит в истории имя возлюбленной.

Кстати об истории. Я очень рад, моя прилежная Клара, что ты читаешь жизнь Будды. Ты с огорчением пишешь, что он очень похож на Иисуса, только менее понятен. Но, моя любовь, необходимо извлечь бедного Будду из-под слоя легенд и россказней, какими завалило его на протяжении веков воображение Азии. Если историю Будды освободить от мифологии и представить его жизнь в исторической наготе, такой, какою она была, то мы увидим: никогда более прекрасная душа не посещала нашу землю, и никакая героическая добродетель не сравнится с «ночью отречения». Иисус был пролетарием, нищим; он не владел ни полем, ни виноградником, не имел никакой земной привязанности и бродил по дорогам Галилеи, увещевая людей оставить свои очаги и свое имение, предаться одиночеству и нищете и уподобиться ему, Иисусу, чтобы в награду проникнуть в блаженное, сверхъестественное царство на небесах. Сам он ничем не жертвовал, а только других побуж-

дал к жертве, чтобы низвести их земное величие до уровня своего смирения. Будда же, напротив, был царь и, как принято в Азии, властелин с неограниченным могуществом, с безмерными богатствами; он женился по страстной любви, и в браке у него родился сын, отчего любовь его к жене стала еще сильнее. И вот, этот царь, этот супруг, этот отец, из любви к людям оставляет свой дворец, обожаемую супругу, малютку-сына в перламутровой колыбели и, надев власяницу, уходит в обличии нищего просить милостыню на дорогах и проповедовать отказ от желаний и наслаждений, нежную любовь ко всем живым тварям, неустанное самосовершенствование жалостью, презрение к аскетизму, напрасно мучающему себя, неиссякаемое, все искупающее милосердие и спокойное приятие смерти...

На мой взгляд (насколько можно судить о столь возвышенных предметах, сидя в Париже, в XIX веке, и с насморком), жизнь Будды более достойна восхищения. А теперь сравним то, чему учили эти два божественных учителя. Один, Иисус, говорит: «Я сын бога и требую от каждого из вас, смертных людей, чтобы вы творили добро, пока не кончится ваш недолгий земной путь. Тогда, в награду, я дам каждому из вас, в меру его личной заслуги, высшее существование в бесконечном времени и беспредельном блаженстве. Вы будете жить на небесах, в доме моего отца». Будда же говорит просто: «Я нищий монах и прошу вас: будьте добрыми при жизни; в награду за это от вас родятся другие, более добрые, а от них — еще более добрые и прекрасные люди, и так, с каждым поколением, все больше добродетели будет скапливаться в мире, и мало-помалу на земле установится всеобщая добродетель». Согласно учению Иисуса, праведность праведника приведет лишь к эгоистическому благу для него одного; по учению Будды, праведность праведника пойдет на пользу существу, которое сменит его на земле, потом другому, рожденному от него за время земного существования — и все это на благо всей земли. Иисус создает аристократию святых и забирает ее на небо, где он — бог, а они его свита. И нет от них прямой пользы для мира, ибо мир по-прежнему будет страдать от неуменьшающейся доли зла. А Будда, благодетельно накапливая добро, живущее в любой душе, творит новое человечество, которое с каждым поколением становится лучше и когда-нибудь придет к совершенству, и добродетель распространится на весь мир. Зло исчезнет с лица земли, а Будда останется все тем же нищим монахом, просящим милостыню на краю каменистой дороги. Я, моя прелесть, за Будду. Так или иначе, эти два Учителя со-

единили в себе, на благо человечеству, самую великую сумму божественного, какую может вместить человеческая душа. Впрочем, все это сложно, и ты поступила бы разумно, забыв Будду с его буддизмом. Раз твои леса так прекрасны, впитывай в себя их живительную силу и аромат. Будда — достояние города и Коллеж де Франс. В деревне же истинное познание должно падать к нам с деревьев, как во времена Евы. Один вязовый лист даст тебе больше мудрости, чем все бумажные листы, вместе взятые; и уж наверняка гораздо больше, чем я со своими поучениями и педантскими экскурсами в сопоставительное изучение религий, что совершенно неуместно под взглядом твоих прекрасных глаз, таких задумчивых и нежных.

Почти вся бумага исписана, а я еще ничего не рассказал тебе, милая моя изгнанница, о парижских новостях, acta Urbis. (Час от часу не легче, теперь пошла латынь!) Новостей мало, и интересного в них тоже мало. Идет дождь; госпожа де Жуар вернулась в Париж, менее седая, но более жестокая, и пригласила нескольких несчастных (самый несчастный из них — я) слушать, как барон Фернэ будет читать три главы из своего последнего покушения на Грецию. В газетах появилось новое предисловие господина Ренана, в котором нет ничего, кроме самого господина Ренана, и предстает он, как всегда, в образе чувствительного и ученого викария Всеблагого Разума; наконец, у всех на устах брак по страсти и по расчету статуеобразного виконта де Фонблан с барышней Деграв, которая до сих пор была носатенькой, костлявенькой и желтозубой, но вдруг, получив двухмиллионное наследство от пивовара, приятнейшим образом округлилась и улыбается вполне ослепительно. Вот и все, моя любимая... И пора послать тебе в последней строчке мою тоску по тебе, мою неутолимую жажду, и все то жгучее, нежное и безыменное, чем полно мое сердце и что никогда не оскудевает, сколько бы раз я ни повергал его к твоим ногам, целуя их с покорностью и верой.

Фрадике.

ПРИМЕЧАНИЯ

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПАДРЕ АМАРО

Первоначальный замысел «Преступления падре Амаро», по свидетельству друзей писателя, созрел еще в бытность Эсы де Кейроша студентом университета в Коимбре, то есть в 1863—1866 годах. Сюжет романа в его основных чертах не менялся на всем протяжении его длительного вынашивания; но интерпретация этого сюжета и сам текст книги претерпели ряд существенных переработок.

Первая версия романа появилась в феврале 1875 года в журнале «Ревиста де Осиденте», и сразу после ее опубликования автор приступил к серьезной переработке романа, подготовляя его к отдельному изданию. Издание это было отпечатано в Лиссабоне, в типографии Кастро Нунеса, на средства родителей Эсы де Кейроша, так как не нашлось издателя, который пошел бы на риск опубликования столь необычной книги, да еще малоизвестного автора.

Это отдельное издание, представлявшее собой вторую, значительно переработанную версию романа, вышло в свет в 1876 году и было, так же как и журнальное издание, встречено единодушным молчанием газет. Друг Эсы Рамальо Ортиган писал в своих фельетонах «Колючки» в январе 1877 года: «Молчание это было столь непроницаемым, что могло показаться результатом mot d'ordre [1]. Но мы печемся о добром имени нашей журналистики и потому предпочитаем думать, что кажущееся пренебрежение к роману объяснялось попросту тем, что наши португальские критики сознавали свою полную неспособность судить о нем».

---

[1] Приказа сверху, заговора *(франц.)*.

Несмотря на это, Эса де Кейрош продолжает работу в избранном им направлении. Находясь на консульской службе в Нью-Кастле, он приступает к новой переработке «Преступления падре Амаро», стремясь сделать этот роман образцом нового, «аналитического» или «научного» (то есть натуралистического), метода в литературе.

Эса сознавал, что вступил на неизведанный для португальской литературы путь. В письме из Нью-Кастля от 7 ноября 1877 года он пишет Рамальо Ортигану:

«Теперь еще одно дело, вернее, просьба. Возьми «Падре Амаро» и выскажи свое мнение — но только искреннее, нелицеприятное, беспощадное, продуманное и отрезвляющее. Я иду путем, которого сам не в состоянии оценить. Хорошо ли то, что я делаю? Грандиозно? Посредственно? Я сижу один в своей комнате, работаю безостановочно, не слыша ни единого слова критики, не зная чужого мнения, погрузясь в самого себя. Я то восхищаюсь собственным талантом, то впадаю в уныние от собственной бездарности и живу с постоянным ощущением опасности faire fausse route...[1]

...Но что сказать о наших критиках, так и не соизволивших написать ни слова о «Падре Амаро»? Какой срам! Не найдется ли у тебя палки покрепче, чтобы хорошенько отдубасить этих бессовестных бумагомарак? Сделай это, дружище, а не то следующему изданию моей книги я предпошлю предисловие, написанное динамитом, желчью, селитрой и слюной голодного тигра...»

«Заговор молчания», как определил его Рамальо Ортиган, был прерван голосом из-за океана: известный бразильский писатель Машадо де Ассиз выступил с чрезвычайно резким осуждением работы своего великого современника. 1 апреля 1878 года он напечатал в журнале «Крузейро» за подписью «Элеазар» большую критическую статью сразу о двух романах Эсы де Кейроша: «Преступлении падре Амаро» и «Кузене Базилио». Выступил он как ожесточенный противник реалистической школы Золя и Флобера, порицая ее за склонность «копаться в грязи» вместо того, чтобы изображать прекрасное и поучительное. Машадо де Ассиз упрекал Эсу де Кейроша в подражании иностранным образцам в угоду неразборчивой публике и даже намекал, что «Преступление падре Амаро» — не что иное, как плагиат с «Проступка аббата Муре» Эмиля Золя.

Статья эта была встречена бурей негодования в самой Бразилии. Эса должным образом ответил на критику Машадо де Ассиза в предисловии к изданию «Преступления падре Амаро» 1880 года, которое является окончательной версией романа. Текст этого предисловия приводится во всех последующих его переизданиях.

---

[1] Пойти по ложному пути... *(франц.)*

10 ноября 1878 года Эса де Кейрош пишет Рамальо Ортигану:

«Должен тебе сказать, что теперь «Преступление падре Амаро» — совершенно новый роман. От того, что ты когда-то читал, осталось одно заглавие. Все остальное — строка за строкой — было так основательно переработано, что новая версия не больше похожа на старую, чем «Дон-Кихот» на «Генриаду» (я имею в виду не жанр, а количество разночтений). Хорошо или плохо я поступил, переделав свой старый роман?..»

На русский язык «Преступление падре Амаро» переводилось дважды: в 1913 году в журнале «Современник» (№№ 2, 3, 4, 5, 6, 7) роман печатался с небольшими сокращениями в переводе с португальского, выполненном Т. Н. Герценштейн. В 1935 году роман вышел на русском языке в переводе М. И. Травчетова под редакцией Д. Выгодского. Этот перевод значительно сокращен, так как делался не с португальского подлинника, а с сокращенного перевода на испанский язык, принадлежащего перу Р. дель Валье-Инклана.

Стр. 37. *...образ того, кому предначертано было стать Марцеллом?* — намек на эпизод из «Энеиды» Вергилия: Эней, сойдя в Элизиум (обитель мертвых), беседовал с тенью своего отца Анхиза, который показал ему среди еще не родившихся душ Марцелла — будущего наследника императора Августа («Энеида», кн. VI, ст. 883).

Стр. 41. *Мигелист* — сторонник абсолютной монархии и дона Мигела (1802—1866). Вождь крайне правых, принц Мигел в 1828 г. отменил конституцию и объявил себя неограниченным монархом.

Стр. 42. *Жоан Шестой* (1765—1826) — король Португалии.

Стр. 43. *Сан-Жоан-де-Фос* — небольшой городок близ Лейрии.

Стр. 45. *Тостан* — старая португальская монета, равная 100 рейсам.

Стр. 47. *Макадам* — способ покрытия шоссейных дорог утрамбованным щебнем. Назван по имени изобретателя, английского инженера Мак-Адама.

Стр. 49. *Козидо* — мясной суп с рисом и картофелем.

Стр. 52. *Бокаже* Мануэл Мария Барбоза дю (1765—1805) — португальский поэт, переводчик Овидия, мастер сонета, автор многочисленных сатир, эпиграмм и непристойных стихов. Преследовался инквизицией.

Стр. 56. *Сан-Карлос* — оперный театр в Лиссабоне.

Стр. 61. *...бормотали тексты из «Подражания»...* — Имеется в виду сочинение немецкого богослова Фомы Кемпийского (1380—1471) «О подражании Христу».

Стр. 62. *Святой Бонавентура* — Джованни Фиданца (1221—1274), итальянский схоластик, отец мистической теологии.

Стр. 66. *...непоколебимым возрожденцем с самого пятьдесят пер-*

вого года...— В конце 40-х годов XIX в. в Португалии возникло движение за возрождение (или регенерацию) страны; духовным вождем возрожденцев был писатель и историк Алешандре Эркулано, мечтавший об экономическом обновлении и либерализации Португальского государства. Возрожденцы пришли к власти в 1851 г., на плечах леволиберального движения 1846—1849 годов. Однако победа возрожденцев означала передачу власти финансово-помещичьей олигархии, а либерализация выразилась в том, что на арену общественной жизни вышла клика продажных парламентских политиканов. Эркулано в отчаянии удалился в добровольное изгнание в деревню Вила-де-Лобос.

Буэнос-Айрес — аристократический квартал в Лиссабоне.

Стр. 67. *Синтра* — живописный городок в 28 км от Лиссабона, летняя резиденция португальских королей.

Росио — одна из центральных площадей Лиссабона, ныне именуется площадью дона Педро IV.

Стр. 73. *Tantum ergo* — начальные слова одной из строф католического гимна, авторство которого приписывается Фоме Аквинату:

Tantum ergo sacramentum
Veneremur cernui...

Столь великому дару
Поклонимся до земли... (лат.)

Стр. 75. *...которую поет в первом действии Франциск I, покидая праздник и прощаясь с госпожой де Креси...*— Автор по ошибке называет действующих лиц так, как они именуются в драме В. Гюго «Король забавляется», которая послужила основой для либретто оперы Верди.

Стр. 76. *Дон Динис* (1261—1325) — король Португалии. Его столицей была Лейрия.

Стр. 77. *Санта-Аполония* — название вокзала в Лиссабоне, куда прибывают поезда северного направления.

Стр. 80. *Жунта* — совет, собрание. Революционная Жунта, возглавившая народное движение Марии да Фонте (так называемую «мужицкую войну») и использовавшая его в борьбе против диктатуры Кабрала, образовалась в Порто в 1846 г. Во главе Жунты стояли братья Пассос, Мануэл и Жозе.

Пассос Мануэл (1801—1862) — один из выдающихся вождей леволиберального движения в Португалии в первой половине XIX в., ярый враг Хартии (см. прим. к стр. 241). В сентябре 1836 г. возглавил либеральную революцию (восстание сентябристов).

Стр. 85. *Винтен* — старая медная монета, равноценная 20 рейсам.

Стр. 91. *...с миньотским акцентом.*— На миньотском наречии до-

ныне говорят обитатели Миньо, самой северной и древней португальской провинции.

...из рода Тавора.— Тавора — одна из древнейших аристократических фамилий Португалии, ведущая начало от дона Рамиро II, короля Леона. Род Тавора прекратил свое существование в XVIII в. после покушения на короля Жозе I: маркиз де Помбал расправился с аристократической оппозицией, обвинив в покушении маркиза де Тавора и его жену. Все взрослые члены семейства Тавора были казнены, а потомки их лишены родового имени и титула.

Стр. 92. *Лунду́* — песня и танец африканского происхождения, ввезенные в Португалию из Бразилии.

Стр. 93. *Гарибальдийка* — красная блуза свободного покроя, вошедшая в 60-х годах XIX в. в моду у «свободомыслящих» женщин всей Европы, в честь Джузеппе Гарибальди, вождя освободительного движения в Италии, чьи бойцы носили такие блузы.

Стр. 94. *Пинто* (или новый крузадо) — португальская монета, приблизительно равноценная 400 рейсам.

Стр. 95. *«Трубадур»* — опера Джузеппе Верди.

Люлли Жан-Батист (1632—1687) — французский композитор, создатель французской оперы; писал также церковную музыку.

Мотет — жанр хоровой музыки на стихи из Библии; достиг наивысшего развития в XV—XVI вв.

Стр. 97. *Асорда* — похлебка из хлебного мякиша, растительного масла и чеснока.

Стр. 100. *Крузадо* — то же, что пинто (монета, равноценная 400 рейсам).

Стр. 102. *Конто* — миллион рейсов или тысяча милрейсов.

Стр. 105. *Сарсуэла* — испанская комическая опера, в которой пение перемежается с декламацией.

Стр. 107. *Эклоги* — пасторально-буколические стихи Вергилия, подражание эклогам греческого поэта Феокрита.

Стр. 108. *Introibo ad altare Dei. Ad Deum qui laetificat juventutem meam.*— Подойду я к жертвеннику божию. К богу радости и веселия моего (лат.) — стихи из псалма XVIII Давида.

Стр. 121. *Немейский лев* — мифическое чудовище. Уничтожение немейского льва — первый подвиг Геркулеса.

Стр. 128. *За Мученика!..*— Имеется в виду папа Пий IX, занимавший папский престол с 1846 по 1878 г. В 1870 г. итальянский король Виктор-Эммануил вступил в Рим и положил конец папскому государству, присоединив территорию Рима к Объединенному королевству. Пий IX объявил себя пленником «безбожного короля» и мучеником веры.

Стр. 146. *Торквемада* Томáс (1420—1498) — Великий инквизитор Испании, прославившийся своей жестокостью.

Стр. 158. *Целибат* — обет безбрачия, предписанного католическим священникам.

Стр. 164. *«Фадо корридо»* — одна из разновидностей португальского фадо, народной песни и танца. «Фадо корридо» исполнялось на гитаре соло, с вариациями, в отличие от «фадо шорадо», песни в сопровождении гитары, не допускавшей никаких вариаций, и «фадо батидо» — танца под аккомпанемент гитары и голоса.

Стр. 165. *Моурария* — так называемый «Мавританский квартал», один из самых старинных и живописных в Лиссабоне, некогда заселенный арабами, оставшимися в городе после взятия его христианами.

...«Фадо на смерть Софии».— Вероятно, речь идет о знаменитом «Фадо на смерть Северы». Красавица проститутка Севера была прославленной исполнительницей «фадо шорадо» и «фадо батидо». После смерти Северы (1846) ее постоянный аккомпаниатор гитарист Соуза до Казакон сочинил «Фадо на смерть Северы», которое еще долго распевали в харчевнях и притонах Моурарии.

Стр. 166. *«Силлабус»* — перечень тягчайших прегрешений против католической догмы, изданный папой Пием IX в 1864 г. В числе их: пантеизм, рационализм, социализм, либерализм, гражданский брак и прочее. Тому же папе Пию IX католический мир обязан догматом непогрешимости папы.

Стр. 168. *Осанна* — радостный клич, каким верующие встречали Иисуса Христа, въезжавшего в Иерусалим.

Стр. 175. *София* — улица в Коимбре.

Стр. 176. *Бастиá* Фредерик (1801—1850) — французский буржуазный экономист, сторонник свободного торгового обмена.

Я только что прочел книгу о поклонении Лурдской богоматери...— Культ Лурдской богоматери — одна из последних вспышек католического фанатизма в XIX в. В 1858 г. в Лурде, небольшом городке на юге Франции, крестьянская девушка Бернадетта Субиру якобы удостоилась явления девы Марии. Католическое духовенство подняло шумиху вокруг «чуда». Лурд стал местом паломничества, так как, по утверждениям католических прелатов, там будто бы совершались чудесные исцеления.

Стр. 178. *Кабрал* Бернардо да Коста, маркиз де Томар (1803—1899) — глава хартистов, то есть конституционных монархистов. В 1839 г., придя к власти, жестоко расправился с сентябристами, в 1842 г. установил диктаторский режим. Был свергнут в 1851 г., после победы возрожденцев (см. прим. к стр. 66).

Стр. 198. *Виктор-Эммануил, Пий IX* — см. прим. к стр. 128.

Стр. 206. *Sachets* (сашé, ф р а н ц.) — наполненная ароматическими веществами подушечка.

Стр. 208. *Misereatur.*— Речь идет о строфе из покаянного псалма:

Deus misereatur nostri
et benedicat nobis,
illuminet vultum suum super nos,
et misereatur nostri.

Господь да сжалится над нами,
и да благословит нас,
и да склонит к нам свой лик,
и да сжалится над нами (лат.).

Стр. 225. *...Мы проливали кровь в траншеях Порто именно за то, чтобы не было законов о печати.*— Законы о печати, то есть о введении цензуры,— одно из мероприятий диктатуры Кабрала, послуживших толчком для восстания либералов в Порто в 1846 г. (см. прим. к стр. 80).

Стр. 229. *...врага мракобесов, «Кавура здешних мест».*— Камилло Бензо, граф Кавур (1810—1861) — один из выдающихся борцов за объединение Италии, министр короля Виктора-Эммануила, прогрессивный деятель своего времени, основатель газеты «Рисорджименто».

Маркиз де Помбал — Себастиан Жозе де Карвальо-и-Мело (1699—1782), государственный деятель Португалии, министр короля дона Жозе I (1714—1777). Перестроил Лиссабон, разрушенный землетрясением 1755 г., расправился с аристократической оппозицией (см. прим. к стр. 91 о роде Тавора), добился изгнания иезуитов, пытался ослабить зависимость Португалии от Англии. После смерти короля Жозе I подвергся опале.

Стр. 241. *Хартия* — конституция, принятая королем доном Педро в 1826 г. и носившая дворянско-цензовый характер. Борьба против Хартии за либеральную конституцию составляла основное содержание деятельности португальских либералов на протяжении всего XIX в.

Стр. 243. *...Жаль, ты не видел Таборду в «Лондонской любви»!* — Франсиско Алвес да Силва Таборда (1824—1909) — выдающийся португальский актер-комик. «Лондонская любовь» — одноактная комедия Доминго̀са Монтейро, впервые поставленная в 1864 г.

Кампешевое дерево — употребляется для подкрашивания натуральных вин.

Стр. 244. *Все очень присматриваются к событиям в Испании...*— Речь идет о либеральной революции в Испании (осень 1868 г.), возглавленной генералом Примом-и-Пратс; в результате переворота последовало свержение королевы Изабеллы II и временное восстановление демократической конституции.

Стр. 250. *Ультрамонтаны* — сторонники папской власти; фанатичные реакционеры, мракобесы.

Стр. 266. *Лонгин* — по преданию, тот римский сотник, который пронзил копьем ребра распятого Иисуса Христа, чтобы убедиться, что он уже мертв (Евангелие от Иоанна, гл. 19, 34).

Стр. 278. *Introito* — вступление, то есть начало мессы, когда священник, поднимаясь по ступеням алтаря, читает строфы из того или иного псалма. Во время торжественной мессы эти тексты поет хор певчих.

Стр. 279. *Kyrie;* точнее: Kyrie eleison — господи помилуй (г р е ч.) — одна из часто повторяющихся формул в католической мессе.

Стр. 288. *Тридентский собор* — один из самых значительных соборов (то есть съездов, совещаний) католических прелатов (1545—1563). Главной задачей Тридентского собора была борьба с протестантством и принятие строжайших мер против ересей и вольнодумства.

Стр. 289. *Фунт* — английская золотая монета, имевшая хождение в Португалии по декрету 1846 г.

Стр. 293. *Benedicat* — окончание псалма LXVI: Benedicat nos Deus, Deus noster, benedicat nos Deus et metuant eum omnes fines terrae.— Да благословит нас бог, наш господь, да благословит нас бог и да устрашатся его все пределы земли (л а т.).

Стр. 319. *Соарес де Пассос* Антонио Аугусто (1826—1860) — популярнейший в свое время поэт-романтик.

Стр. 324. *...таких, как Лакордэр или Мальян!* — Жан-Батист-Анри Лакордэр (1802—1861) — французский монах-доминиканец, одаренный оратор. Франсиско Рафаэл да Силвейра Мальян (1831—1879) — португальский поэт и оратор религиозного толка.

Стр. 343. *Флагелланты* — члены изуверской секты, существовавшей в Западной Европе в XIII—XIV вв. Флагелланты публично бичевали себя в знак покаяния.

Miserere — первое слово покаянной молитвы: Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam.— Смилуйся надо мною, господи, ради твоего великого милосердия (Псалом L).

Стр. 352. *«In pace»* — С миром (л а т.).— Так назывались тягчайшие наказания, которым в средние века подвергали монахов за тяжелые проступки. Название это происходит от латинских слов «vade in pace» — «ступай с миром», которыми напутствовали виновного, заточая его в подземную темницу. Иногда in pace было равносильно смертной казни, так как темницу замуровывали.

Стр. 369. *Для этого нужна отвага Афонсо де Албукерке или дона Жоана де Кастро!* — Афонсо де Албукерке (1453—1515) — португальский мореплаватель, завоеватель Гоа и Малакки. Жоан де Кастро (1500—1548) — португальский мореплаватель и завоеватель, вице-король Индии.

Стр. 371. *Святой Франциск-Ксаверий* — Франсиско де Жассу (1506—

1552), один из ближайших учеников и друзей Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов. Был миссионером во многих странах Азии, прозван «Апостолом Индии». Причислен к лику святых в 1662 г.

Стр. 373. *Диу* — остров у южного берега Гоа. В 1538 г., когда губернатором острова был дон Жоан де Кастро, крепость Диу осаждали турецкие войска, но безуспешно.

Стр. 436. *Exultabunt Domino* — начальные слова антифона, которым завершаются все заупокойные молитвы:

Exultabunt Domino
ossa humiliata...

И восхвалят господа
погребенные кости (лат.).

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

Образ Карлоса Фрадике Мендеса был совместным детищем Эсы де Кейроша, Антеро де Кентала и Ж. Батальи Рейса. Молодые литераторы, входившие в так называемый «Лиссабонский сенакль», создали воображаемого «сатанического» поэта, придумали ему биографию и в 1869 году опубликовали в газете «Сентябрьская революция» несколько стихотворений, подписав их именем «К. Фрадике Мендес». Автором «Серенады Сатаны звездам» был сам Эса де Кейрош; это стихотворение воспроизведено полностью в предисловии Ж. Батальи Рейса к книге Эсы «Варварские рассказы», выпущенной в 1905 году. Другие стихотворения принадлежали перу Антеро де Кентала и были позднее опубликованы в его хронике «Уличные поэмы», напечатанной в газете «Первое января» 5 декабря 1869 года.

Фрадике Мендес этого периода был воплощением духа «Лиссабонского сенакля» со свойственной ему безудержной свободой мысли, анархической революционностью, сатанизмом, богемой, свирепым отрицанием мещанской ограниченности, которой была заражена Португалия.

Позднее, в совместном произведении Эсы де Кейроша и Рамальо Ортигана «Тайна дороги в Синтру» (1870—1871) вновь появляется Карлос Фрадике Мендес — но в несколько ином обличье: это денди и «аристократ духа».

Лишь значительно позже образ Фрадике Мендеса отливается в свою окончательную форму. 23 мая 1888 года Эса пишет Рамальо Ортигану из Бристоля, где находился на консульской службе:

«У меня тут есть для тебя, то есть для «Репортера», целая гора прозы. Собственно говоря, это готовая книга, но такая книга, которую можно печатать в виде еженедельных выпусков с продолжением, не нанося этим ущерба ее единству и интересу. Ты все поймешь, когда узнаешь, что она называется «Письма Фрадике Мендеса». Как ты уже догадался, я намерен сделать с Фрадике (надеюсь, ты не забыл этого старого приятеля?) то, что нынче принято делать со всеми великими людьми: напечатать его частные письма. Если помнишь, в наше время Фрадике был немного комичен. Новый Фрадике — совсем другое дело; это в полном смысле слова выдающаяся личность: мощный интеллект, деятельный темперамент, утонченная и восприимчивая душа... словом, демон!..»

В 1888 году в лиссабонском «Репортере», где сотрудничал Рамальо, печатались первые шесть глав «биографического очерка» о Фрадике Мендесе. Одновременно этот очерк и три письма появились в Бразилии, в «Газета де нотисиас», выходившей в Рио-де-Жанейро.

Дальнейшие публикации «Писем» Эса приберег для своего любимого детища — созданного им в Лиссабоне литературного и общественно-политического журнала «Ревиста де Португал», просуществовавшего с 1889 по 1892 год. Здесь появились еще девять писем, которые были приняты читателями с большим интересом. Эса писал жене: «Лиссабонские дамы в восторге от Фрадике. Можно сказать, он имеет огромный успех. Его имя у всех на устах; о нем толкуют и в кафе, и в модной лавке, и в фойе театра, и на углу улицы. Но все убеждены, что Фрадике действительно существовал, и всеобщие симпатии обращены, увы, не ко мне, а к нему».

После закрытия журнала «Ревиста де Португал», Эса печатает остальные письма Фрадике Мендеса в той же бразильской «Газета де нотисиас». В течение 1899 и 1900 годов писатель подготовил издание «Переписки Фрадике Мендеса» в виде целостной книги в двух частях: первая часть содержала биографический очерк из восьми глав, вторая часть — шестнадцать писем, отобранных из общего числа более двух десятков, которые публиковались в различных газетах Португалии и Бразилии. Однако Эсе де Кейрошу не суждено было увидеть свою новую книгу: она вышла в свет уже после его смерти.

Письма, не включенные автором в «Переписку Фрадике Мендеса», публиковались впоследствии в разных изданиях: в 1912 году в томе «Последние страницы» было напечатано письмо Фрадике Мендеса о Бразилии. Еще позже, в 1929 году, был опубликован том «Неизданные письма Фрадике Мендеса и забытые страницы». Сюда вошли еще шесть писем: 1 — портному Штурму, 2 — Полю де Варжет, молодому поэту-символисту, 3 — госпоже де Жуар, о любви, 4 — племяннику Мануэлу,

о поэзии, 5 — об «археологических» романах, 6 — о языке художественной литературы.

Первый и единственный перевод «Переписки Фрадике Мендеса» на русский язык вышел в свет в 1923 году. Он выполнен ленинградскими филологами-португалистами Г. Л. Лозинским и Е. Н. Лавровой. Составители сочли естественным, как они пишут, включить в свое издание письмо о Бразилии, появившееся в печати в 1912 году. О существовании остальных неизданных писем они в 1923 году не могли знать или не могли достать тексты, разбросанные по страницам газет. Переиздавая ныне в «Библиотеке всемирной литературы» перевод 1923 года в новой редакции, издательство «Художественная литература» считает целесообразным воспроизвести книгу в том составе, в каком ее подготовил к печати сам автор. Прочие же «Письма», не включенные в нее Эсой по тем или иным причинам, должны, по-видимому, найти себе место в других публикациях.

В примечаниях к настоящему изданию частично используется комментарий, сделанный для издания 1923 года Г. Л. Лозинским и Б. А. Кржевским.

Стр. 449. *«Сентябрьская революция»* — газета, основанная в 1840 г. и отстаивавшая принципы либерально-демократического движения 1836 г. (движение сентябристов). После 1852 г. перешла в руки «возрожденцев».

...я и мои товарищи по «Сенаклю»... — Речь идет о так называемом «Лиссабонском сенакле» — группе выдающихся молодых литераторов и философов, составлявших в конце 60-х и начале 70-х годов передовой отряд португальской интеллигенции. Наименование «сенакль» (то есть «содружество посвященных», «союз единоверцев») они присвоили своему кружку по образцу клуба французских поэтов-романтиков 1823—1828 гг. во главе с Шарлем Нодье и Виктором Гюго, которые впервые применили слово «сенакль» к литературной группировке. В «Лиссабонский сенакль» входили Эса де Кейрош, поэты Антеро де Кентал и А. Герра Жункейро, историк Оливейра Мартинс и другие.

...увлеченные эпическим лиризмом «Легенды веков» — «книги, принесенной к нам могучим порывом ветра с Гернсея»... — «Легенда веков» — цикл стихотворений Виктора Гюго, первая серия которого вышла в свет в 1859 г. В предисловии автор указывал, что «Легенда веков» должна отразить весь исторический путь нравственного совершенствования человечества от первобытной жестокости к доброте и милосердию. После переворота 1851 г. Гюго, непримиримый борец за республику и враг «Наполеона Малого», был изгнан из Франции и жил сначала в Брюсселе, затем на острове Джерси и, наконец, на острове Гернсее в Ла-Манше.

Стр. 450. *...увязавшись за ордами Аларихa...*— Имеется в виду Аларих II (376—410), вождь вестготов. Он завоевал часть Греции, осаждал Константинополь, дважды вторгался в Италию, в 410 г. захватил и разграбил Рим.

Парцифаль — один из героев бретонского, или Артуровского, цикла средневековых романов, слившегося с христианским преданием о святом Граале, то есть чаше, в которую Иосиф Аримафейский, похоронивший у себя в саду Иисуса Христа, собрал несколько капель его крови. Во искупление некоей мистической вины рыцарь Парцифаль должен был разыскать святой Грааль, однажды увиденный им в волшебном замке.

...начитанный в Спинозе и Лейбнице...— Барух Спиноза (1632—1677) — голландский философ, рационалист и пантеист. Готфрид Вильгельм Лейбниц (1646—1716) — немецкий философ-идеалист.

Леконт де Лиль Шарль (1818—1894) — французский поэт, глава Парнасской школы.

Бодлер Шарль (1822—1867) — французский поэт.

Стр. 451. *...Нынешняя позитивная, деловая молодежь, которая... следит за биржевым курсом и читает Жоржа Онэ...*— Жорж Онэ (1848—1918) — французский писатель и драматург, пользовавшийся большим успехом у среднего читателя. Был выразителем мещанской узости взглядов.

Вторая империя — режим Наполеона III, пришедшего к власти во Франции после путча в декабре 1851 г. Вторая империя просуществовала девятнадцать лет. Конец ей положила франко-прусская война, затеянная самим Наполеоном III.

Коппе Франсуа (1842—1908) — французский поэт-парнасец.

Дьеркс Леон (1838—1912) — французский поэт, принадлежавший к Парнасской школе.

Малларме Стефан (1842—1898) — французский поэт, один из основоположников символизма.

...которая... питается Спенсером и Тэном...— Герберт Спенсер (1820—1903) — английский философ, создатель теории эволюции. Ипполит Тэн (1828—1893) —французский философ, историк и критик, автор «Истории английской литературы», «Философии искусства» и других трудов.

Стр. 452. *Святой Симеон Столпник* (356—459) — христианский отшельник и аскет, родом из Киликии (в турецкой Азии). В 423 г. придумал столпничество, заключавшееся в том, что подвижник должен был стоять или сидеть на верхней площадке широкого столба, врытого в землю.

Хуан Понсе де Леон (1460—1521) — испанский конкистадор, открывший в 1512 г. Флориду. Умер он не в момент этого открытия (как сказано в романе), а девятью годами позже, на Кубе.

Стр. 453. *...Бодлер показывает своей возлюбленной гниющие останки собаки...* — Ошибка Эсы де Кейроша: в стихотворении «Падаль» не сказано, о каком именно животном идет речь.

Ламартин Альфонс (1791—1869) — французский поэт-романтик, историк, политический деятель.

Делавинь Казимир (1793—1843) — французский поэт и драматург.

«Памятный альманах» — Речь идет, по-видимому, о литературном «Португальско-бразильском памятном альманахе», который был основан в 1851 г. и долгое время служил прибежищем для португальских и бразильских рифмоплетов.

«Обручение в могиле» — баллада португальского поэта-романтика Антонио Аугусто Соареса де Пассос (1826—1860).

«Аве, Цезарь» — стихотворение португальского романтика Жозе да Силва Мендес Леала (1818—1886).

Стр. 454. *Сан-Карлос* — см. прим. к стр. 56.

Стр. 455. *...которую один поэт с Терсейры называл «Девой из Оссиана»...* — Терсейра — один из девяти островов Азорского архипелага. «Поэмы Оссиана» — сборник эпических песен, опубликованный в 1760 г. в Эдинбурге никому дотоле не известным шотландцем Джеймсом Макферсоном (1736—1796); в предисловии говорилось, что Оссиан — шотландский бард III в. и что его песни переведены Макферсоном с рукописи, написанной на гэльском языке. Подлинность «Поэм Оссиана» уже тогда подвергалась сомнению; тем не менее эти поэмы оказали огромное влияние на всю европейскую литературу конца XVIII и начала XIX в. благодаря их элегическому и сумрачному колориту в духе раннего романтизма.

Клопшток Фридрих (1724—1803) — немецкий поэт.

...якобинец, в 1830 году дравшийся на баррикадах Сен-Мерри... — Речь идет о баррикадных боях между республиканцами и жандармерией, имевших место в Париже на улицах Сен-Мерри, Сен-Мартен и Обри-ле-Бушон в июне 1832 г.

Филинто Элизио — псевдоним португальского поэта-аркадца Франсиско Мануэла до Насименто (1734—1819), известного своими переводами поэтов античной древности и французских классиков.

«Критика чистого разума» — произведение немецкого философа Иммануила Канта (1724—1804).

...к метафизическим ересям тюбингенских профессоров... — Университет в городе Тюбингене в Германии основан в 1477 г. В 1534 г. примкнул к Реформации. Меланхтон, теоретик протестантского вероучения и личный друг Мартина Лютера, читал в этом университете лекции. В XIX веке там учились Гегель и Шеллинг.

Стр. 456. *Пенедо де Саудадес* (Утес печали) — живописный холм

в восточном предместье Коимбры, любимое место прогулок местных жителей и студентов, обучающихся в университете в Коимбре.

...трудился во спасение человечества вместе с Персиньи, Морни и принцем Луи-Наполеоном...— Персиньи Жан-Жильбер-Виктор Фиален де (1808—1872) — французский политик, ярый бонапартист. Морни Шарль-Огюст-Луи-Жозеф (1811—1865) — внебрачный сын королевы Гортензии и, следовательно, единоутробный брат принца Луи-Наполеона. Способствовал бонапартистскому путчу 1851 г. и установлению империи Наполеона III. Эса де Кейрош иронически квалифицирует деятельность этих могильщиков французской демократии как «труд во спасение человечества».

Крузадо — см. прим. к стр. 100.

Королевство Обеих Сицилий — или Неаполитанское королевство, состояло из двух частей: материковой (южная оконечность Италии) и островной (Сицилия) — и существовало как самостоятельная политическая единица под властью королевской семьи из династии Бурбонов. Все попытки либерализации этого тиранического режима свирепо подавлялись. В 1860 г. Джузеппе Гарибальди со своими волонтерами высадился на острове Сицилия и предпринял завоевание Неаполитанского королевства с целью присоединения его к Италии. 20 марта 1861 г. эта кампания завершилась полной победой.

Он проделал всю абиссинскую кампанию при штабе старика Нэпира...— Роберт Корнелис, барон Нэпир (1810—1890) — английский генерал. В 1867 г. он возглавил армию, посланную в Абиссинию под предлогом освобождения нескольких англичан, содержавшихся в плену у негуса Теодора II в городе Магдале. В 1868 г. Нэпир после недолгой осады взял город и увез в Англию детей негуса, покончившего с собой.

Мадзини Джузеппе (1805—1872) — борец за объединение Италии, основатель тайного общества «Молодая Италия».

Стр. 457. *...вроде апостола Иоанна на острове Патмосе.*— Патмос — один из Спорадских островов в Эгейском море, место ссылки у древних римлян. Здесь, по преданию, апостол Иоанн создал Апокалипсис.

Алкивиад (451—404 гг. до н. э.) — афинский государственный деятель и военачальник, воспитанник Перикла, ученик Сократа, блестяще одаренный человек. Его триумфы вызвали ненависть завистников. Умер в изгнании от руки убийцы.

Новалис — псевдоним немецкого поэта-романтика Фридриха фон Гарденберга (1772—1801).

Синтра — см. прим. к стр. 67.

Стр. 458. *...между Афинами и Элевзисом...*— Элевзис — город в древней Аттике, где находился знаменитый храм Деметры и справлялись элевзинские мистерии.

Стр. 459. *Бэкон* Фрэнсис (1561—1626) — государственный деятель, ученый и писатель Англии. Занимал высшие государственные должности и нередко жертвовал своими научными занятиями во имя честолюбия. В известнейшем своем произведении «Новый Органон» Фрэнсис Бэкон обосновывает эмпирический метод научного исследования.

Белен — пригород Лиссабона, где находятся замечательные памятники португальской архитектуры: королевский дворец и монастырь иеронимитов.

Стр. 460. *Лукреций* (99—55 гг. до н. э.) — римский поэт, автор философской поэмы «О природе вещей», представляющей собою дидактическое и лирическое изложение философии Эпикура.

Стр. 461. *Эфеб.*— В древней Греции — юноша от 16 до 20 лет, питомец «эфебии», то есть учебного заведения, где воспитывали мальчиков, развивая в них ловкость, гибкость, гармонию движений.

...останки Рамзесова летописца.— Рамзес — имя многих фараонов Древнего Египта. Здесь речь идет о летописце Рамзеса II (1301—1235 гг. до н. э.). Мумия самого Рамзеса II также была обнаружена при раскопках 1881 г. и хранится в Каирском музее.

Стр. 462. *Возрожденцы* — см. прим. к стр. 66.

Стр. 463. *Себента* (буквально: «грязная», «засаленная»).— Так студенты называли черновые тетради и литографированные издания лекций.

Святая Цецилия — христианская мученица, непорочная девушка, казненная в 232 г. при римском императоре Александре Севере. Святая Цецилия считается покровительницей музыкантов и изображается с арфой в руках.

Стр. 464. *Падре Мануэл Бернардес* (1644—1710) — португальский поэт и философ, одна из выдающихся фигур португальской классики

Стр. 465. *Буало* Никола́ (1636—1711) — французский поэт, моралист и сатирик, провозглашавший основным требованием литературы вкус, меру, норму. В своем «Искусстве поэзии» Буало сформулировал принципы классицизма.

Стр. 466. *...сыграл бравурную партию из «Великой герцогини».*— Имеется в виду «Герцогиня Герольштейнская», оперетта французского композитора Жака Оффенбаха (1819—1880).

Стр. 467. *Мандови* — река в Гоа, бывшей португальской колонии на юге Индии.

Стр. 469. *Пракситель* — греческий скульптор IV в. до н. э. Статуи Афродиты его работы считались на протяжении всей античной древности непревзойденным образцом.

Стр. 471. *Лакония* — местность в юго-восточной части Пелопоннесского полуострова, на территории древней Спарты.

Стр. 472. *«Это было в Каире, в садах Шубре, когда кончался пост*

рамадана...» — Эса де Кейрош пародирует классический зачин «археологического» повествования, введенного в литературный обиход Г. Флобером. Роман Флобера «Саламбо» начинается словами: «C'était à Mégara, faubourg de Carthage, dans les jardins d'Hamilcar» («Это было в Мегаре, предместье Карфагена, в садах у Гамилькара»).

Стр. 473. *...с автором «Мадемуазель де Мопен», старым паладином «Эрнани»...*— Речь идет о Теофиле Готье (1811—1872), французском поэте и романисте. «Мадемуазель де Мопен» — роман Т. Готье, вышедший в свет в 1835 г. В молодости Т. Готье был страстным почитателем Виктора Гюго. На премьере драмы Гюго «Эрнани» в феврале 1830 г. в партере разыгралось настоящее сражение между приверженцами классического театра и сторонниками новой, романтической драмы, образчиком которой был «Эрнани». Теофиль Готье участвовал в схватке, ярко выделяясь в толпе своими длинными кудрями и красным шелковым жилетом.

Стр. 475. *Мушрабие* (а р а б с к.) — выдающееся наружу окно с решеткой.

Улема (а р а б с к.) — мудрец, ученый.

Стр. 476. *Моуджик* — восточный квартал Каира.

Стр. 478. *Альмея* (а р а б с к.) — танцовщица и певица.

Антар, или Антара — арабский рыцарь и поэт VI в., автор воинственных стихов, один из популярнейших героев доисламской старины. Об Антаре доныне поют песни, исполнители которых называются «антариями». Существует также «Роман об Антаре».

Стр. 479. *...когда столоначальники не спеша выходят из-под аркады...*— На площади Террейро-до-Пасо (Дворцовой площади) в Лиссабоне, окруженной аркадой для защиты от солнца, расположены главнейшие присутственные места.

Феллахи — оседлые земледельцы, крестьяне в странах Арабского Востока.

Магребинцы — жители Магреба, то есть Запада, Западной Африки.

Стр. 480. *...скатываясь... к самому жалкому парнассианству...*— Речь идет о поэтической теории и практике «парнасцев», группы французских поэтов второй половины XIX в., которые, в противовес романтической раскованности, стремились к отточенной, правильной форме и эмоциональной сдержанности. Самые известные из парнасцев — Леконт де Лиль, Жозе Мария Эредиа, Катюль Мендес, Франсуа Коппе, Сюлли-Прюдом.

И ибисы ... радостно взмахивали крыльями, словно посылая на крыши города свое вечернее благословение, как в те времена, когда еще были богами.— В Древнем Египте ибисы считались священной птицей; вблизи городов, где создавались некрополи для священных животных,

устраивались кладбища и для ибисов. Бог луны и мудрости, Тот, изображался в виде человека с головой ибиса.

...со времен диких пастухов, разрушивших Танис...— Танис, город Древнего Египта, находившийся в дельте Нила, был разрушен во времена нашествия гиксов, или царей-пастухов, захвативших Египет и владевших им около пяти столетий, до середины XVI в. до н. э.

...Амру, посланец Мухаммеда, и Людовик Святой, посланец Христа...— Амр ибн-аль-Асый — арабский полководец первых времен Ислама. Около 640 г. вторгся в Египет и с 658 по 663 г. был наместником халифа в этой стране и насаждал в ней мусульманскую веру. Людовик XI по прозвищу Святой (1215—1270) — король Франции. В 1270 г. предпринял восьмой, и последний, крестовый поход против мусульман, высадился в Тунисе, но вскоре умер от чумы.

...от словоохотливого Геродота до первого из романтиков, бледного позера, поведавшего миру о страданиях Рене...— Геродот (приблизительно 485—425 гг. до н. э.) — греческий историк, которого называют «отцом истории». Геродот много путешествовал, побывал в Египте. Франсуа-Рене де Шатобриан (1768—1848) — французский писатель, один из основоположников французского романтизма, автор романов «Атала», «Рене» и других.

Стр. 481. *Оливейра Мартинс* Жоакин Педро (1845—1894) — португальский публицист, историк, общественный деятель, участник «Лиссабонского сенакля», один из ближайших друзей Эсы де Кейроша, автор книг, составивших в свое время эпоху в изучении истории Португалии.

Стр. 482. *Рамальо Ортиган* Жозе Дуарте (1836—1915) — португальский писатель, близкий друг Эсы де Кейроша и его соавтор по роману «Тайна дороги в Синтру» и по фельетонам «Колючки». Эса высоко ценил Рамальо Ортигана как юмориста и сатирика.

Он фехтует, как кавалер ордена святого Георгия...— Орденом святого Георгия, или орденом Подвязки, назывался один из английских рыцарских орденов, учрежденный в 1347 или 1348 г. королем Эдуардом III и состоявший всего из двадцати шести кавалеров во главе с самим королем.

Автор «Смерти дон Жуана» и «Музы на каникулах» — Абилио Герра Жункейро (1850—1923), португальский поэт, друг Эсы де Кейроша.

Бруммель Джордж (1778—1840) — прославленный лондонский денди, которого называли «королем моды».

Стр. 483. *Карлос Майер* — один из друзей Эсы де Кейроша, его однокашник по университету.

«Современные оды» — сборник стихотворений Антеро де Кентала (1842—1891), португальского поэта, общественного и политического деятеля, близкого друга Эсы де Кейроша.

«Тан» — французская газета, основанная в 1861 г. и прекратившая свое существование в 1942 г., когда гитлеровская армия вступила в Лион, куда газета перебазировалась из оккупированного Парижа.

Стр. 485. *...гобеленами Луки Корнелия...*— По-видимому, речь идет о Мишеле Корнеле (1601—1664), родоначальнике целой династии французских художников, изготовлявших картоны для парижской гобеленовой мануфактуры.

Стр. 487. *«Аталия»* (или «Гофолия») — трагедия с хором Жана Расина (1639—1699).

Стр. 489. *...тех, кто, не питая ненависти к Диане, идет... поджигать ее храм в Эфесе...*— Храм Дианы (Артемиды) в Эфесе, греческом городе на берегу Эгейского моря, считался одним из семи чудес света. Легенда гласит, что он был сожжен в 356 г. до н. э. безвестным эфесским плебеем Геростратом, который совершил этот поступок из желания прославиться. Соотечественники Герострата запретили упоминать его имя, но оно все-таки стало достоянием истории.

Amicus Mundus, sed magis amica Veritas («Свет мне дорог, но истина дороже») — перефразировка известного латинского изречения: Amicus Plato, sed magis amica veritas («Платон мне дорог, но истина дороже»).

Стр. 491. *...которые в праздники контистского календаря возжигают ладан и мирру на алтаре Человечества и венчают розами бюст Огюста Конта.*— Огюст Конт (1798—1857) — французский философ, создатель позитивной философии, а также «позитивной религии». Предметом позитивного культа было «высшее существо», символизировавшее человечество. По контистскому календарю год разделялся на тринадцать лунных месяцев, и каждый месяц посвящался какому-нибудь великому человеку, которому подчинялись знаменитости меньшего значения, проявившие себя в той же сфере деятельности.

...он целое лето прожил в Сео-де-Урхель, католической цитадели карлизма...— Сео-де-Урхель — испанский город в провинции Лерида, один из центров карлизма в период второй Карлистской войны (1870—1876), последовавшей за революцией 1868 г. Карлисты — реакционная политическая партия, опиравшаяся на невежество и религиозный фанатизм северных провинций Испании.

Карлейль Томас (1795—1881) — английский писатель, историк, философ.

Стр. 492. *Бюффон* Жорж-Луи Леклерк, граф де (1707—1788) — французский натуралист и писатель. Его сочинения считаются образцом ясности и благородства слога.

Стр. 494. *Советник Акасио* — персонаж из романа Эсы де Кейроша «Кузен Базилио», тип тупого, самодовольного сановника.

Афанасьевский символ веры — основной догмат христианской

веры, сформулированный святым Афанасием (296—373), одним из отцов церкви. Афанасьевский символ веры выражен в молитве «Credo» («Верую»), первые слова которой, перефразированные Фрадике Мендесом, гласят: «Credo in Deum, patrem omnipotentem, creatorem coeli et terrae...» («Верую во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца неба и земли...»).

Стр. 495. *Сабизм* — древняя религия, упоминаемая в Коране и уделявшая большое место культу небесных светил.

...в школу ордена терциариев... — Орден терциариев (или «третий орден») святого Франциска — один из монашеских орденов, основанных Франциском Ассизским.

Велабр, Карины — торговые кварталы в древнем Риме, где были сосредоточены продовольственные лавки.

Стр. 496. *Пелопоннесская война* — война между древними Афинами и древней Спартой (431—404 гг. до н. э.).

Леонид I — царь Спарты (488—480 гг. до н. э.). Возглавил войну с персидским царем Ксерксом и погиб после героической борьбы в Фермопильском ущелье вместе с тремя сотнями своих воинов.

Ведическая Индия — Веды — священные песнопения древней Индии, собранные воедино в виде книг с комментариями около тысячи лет до н. э. Возникновение же самих этих гимнов относят к еще более глубокой древности — за две тысячи лет до н. э.

Себастианизм — движение, возникшее в Португалии после трагического финала экспедиции короля дона Себастиана в Африку в 1578 г. В битве при Алкасер-Кибире португальское войско было разгромлено, а сам король пропал без вести, вследствие чего в 1580 г. Португалия была присоединена к испанской короне, утратив национальную независимость на шестьдесят лет. Уязвленный в национальных чувствах народ не хотел верить, что дон Себастиан погиб. В стране распространился себастианизм, последователи которого утверждали, что дон Себастиан жив, скрывается на неизвестном острове и когда-нибудь вернется, чтобы потребовать свой трон у испанских захватчиков.

...о нашей Восточной империи... — Имеются в виду владения Португалии в Индии и Океании. К XIX в. в составе Португальской Восточной империи оставались Гоа, Даман, Диу, Макау и Тимор.

Маркиз де Помбал — см. прим. к стр. 229.

Стр. 499. *Рибатэжо* — португальская провинция, занимающая территорию по берегам среднего и нижнего течения реки Тэжо.

Стр. 500. *Сан-Бенто* — здание бывшего мужского монастыря в Лиссабоне, где после принятия конституции происходили заседания обеих палат португальских кортесов, а ныне размещается «Национальная ассамблея».

Стр. 501. *Дон Жоан IV* (1604—1656) — король Португалии, первый из династии Браганса. Взошел на престол в 1640 г. после свержения испанского владычества.

Карл II — английский король (1660—1685). Женился на доне Катарине де Браганса, дочери португальского короля дона Жоана IV.

...после того, как у нас завелся конституционализм и парламентаризм...— Парламентский строй возник в Португалии после революции 1820 г., провозгласившей либеральную конституцию по образцу испанской 1812 г. Но вопреки усилиям революционеров 20-х годов и их преемников — сентябристов парламентаризм после 1852 г., с приходом к власти банкирско-помещичьей олигархии и режима «регенераторов», выродился в псевдолиберальное красноречие модных ораторов, служившее прикрытием реакции.

Моурария — см. прим. к стр. 165.

Жоан V — король Португалии (1706—1750).

Стр. 502. *Дона Мария I* — королева Португалии (1777—1816).

Глоссы — стихотворный жанр, процветавший в испанской и португальской поэзии в XVII—XVIII вв.; в первом четверостишии содержалась тема, которую следовало развить, заканчивая каждую строфу одним из стихов темы.

Жоан VI — см. прим. к стр. 42.

Сапфические оды — оды, написанные сапфическим стихом. Так назывался у древних одиннадцатисложник, изобретение которого приписывалось греческой поэтессе Сафо (VI в. до н. э.).

Стр. 505. *Калино́* — персонаж из старинных французских водевилей (так в старину назывались народные сатирические песенки), тип наивного до глупости молодого человека.

Стр. 512. *Антология* (точнее: Греческая антология) — собрание афоризмов, стихов, эпиграмм на греческом языке, составленное в X в. Константином Кефалом и многократно переписывавшееся и переиздававшееся с комментариями на латинском языке.

Стр. 513. *«Любушин суд»* — памятник древнечешской литературы, который относят к X—XI вв. Содержание отрывка этой поэмы, найденного в 1818 г.,— распря двух братьев из-за наследства. Умирает старый князь Крок, и народ выбирает в правительницы его дочь Любушу, девицу мудрую и кроткую. «Воссев на золотом отчем престоле», Любуша рассудила братьев. Многие исследователи подвергают сомнению подлинность «Любушина суда».

...подобно дантовским влюбленным, «в тот день они уж больше не читали» — намек на эпизод из «Ада» Данте (Песнь 5, ст. 130—139): Франческа да Римини и ее возлюбленный Паоло осознали свою взаимную любовь, когда вместе читали книгу о Ланселоте, рыцаре Круглого стола, и его любви к королеве Джиневре.

Стр. 514. *Петрополис* — город в Бразилии, бывшая резиденция королевского двора и дипломатического корпуса.

Стр. 515. *«Это было в Вавилоне, в месяце Сиваню, после сбора бальзама»* — см. прим. к стр. 472.

Стр. 517. *Септа-Синду,* или Семиречие — область в северной Индии, где в глубокой древности, как предполагается, обитали «арийцы», говорившие на индо-иранском языке и создавшие один из древнейших памятников религиозной литературы — Веды.

Эколь Нормаль — высший педагогический институт в Париже.

Стр. 519. *Босвелл* Джеймс (1740—1795) — английский писатель. В 1763 г. Босвелл познакомился с доктором Сэмюэлем Джонсоном, автором «Словаря английского языка» и «Жизнеописаний английских поэтов», вел подробные записи своих с ним бесед, а после его смерти написал книгу «Жизнь Сэмюэля Джонсона».

Дудан Ксименес (1800—1872) — французский литератор и моралист, автор четырехтомной «Переписки».

Стр. 520. *Бигоррский пик* — вершина в гористой части Верхних Пиренеев.

Стр. 523. *Бертело́* Марселен (1827—1907) — французский ученый и политический деятель, автор многих трудов по органической химии и химии тепловых процессов.

Бонна́ Леон (1833—1922) — французский художник-портретист.

Фальгьер Александр (1831—1900) — французский скульптор.

«Происхождение христианства» — работа французского философа Эрнеста Ренана (1823—1892).

Стр. 524. *Мишле́* Жюль (1798—1874) — французский историк, автор «Истории Французской революции» и семнадцатитомной «Истории Франции». Антеро де Кентал в 1866 г. ездил в Париж и показывал Жюлю Мишле свои «Современные оды».

Стр. 526. *...эти покатые плечи, скорбные, ангельские... и совершенно вышедшие из моды во Франции со времен Карла X, «Лилии в долине» и непонятых сердец...*— Фрадике иронически характеризует романтический идеал женщины — бледной, печальной, непонятой людьми и страдающей от духовного одиночества. «Лилия в долине» — роман Бальзака, написанный в 1835 г., героиня которого воплощает этот романтический идеал. Карл X — король Франции (1824—1830); годы его царствования совпали с периодом расцвета романтизма во французской литературе.

Стр. 527. *Теннисон* Альфред (1809—1892) — английский поэт-романтик.

...ведь вина Трессанов восходят по мужской линии к ядам Бренвилье.— Мари-Мадлен д'Обри, маркиза де Бренвилье (1630—1676) — знаменитая отравительница, кончившая на эшафоте. Она отравила многих людей, в том числе своего отца и братьев.

Стр. 528. *Сезострис* — имя, которым античные историки, в их числе Геродот, называли некоего могущественного фараона Древнего Египта. Некоторые исследователи идентифицируют его с Рамзесом II, другие полагают, что это Сенусрит (или Сенусрет), царь XX династии.

Масперо́ Гастон (1846—1916) — французский ученый-египтолог, руководивший раскопками в Мемфисе и Фивах.

Стр. 531. *...más по-испански ц más по-португальски.*— Слово más в испанском и португальском языках имеет разное значение: más по-испански — прочее, еще, más по-португальски — плохие, дрянные. Поэтому замена испанского más португальским меняет смысл фразы. Вместо «и прочее, прочее» эти слова означают «и прочая дрянь».

Стр. 534. *Пуэрта-дель-Соль* — одна из главных площадей Мадрида.

Ласарильо — герой испанского плутовского романа XVI в. «Ласарильо с Тормеса».

Соррилья Хосе (1817—1893) — испанский поэт и драматург.

Кеведо-и-Вильегас Франсиско Гомес де (1580—1645) — испанский писатель, автор сатирического романа «Бускон».

Миньотское наречие — см. прим. к стр. 91.

Стр. 535. *Сома* — любимый напиток древнеиндийского бога Индры. Сома приготовлялась из сока растения, носившего то же название.

Стр. 537. *Flamen Dialis* (лат.) — так назывался в Древнем Риме верховный жрец Юпитера.

Гаруспекс — жрец в Древнем Риме, гадавший по внутренностям жертвенных животных.

«Старость вечного отца» — произведение португальского поэта А. Герра Жункейро (1850—1923).

Стр. 540. *Мальбранш* Никола́ (1638—1715) — французский философ-идеалист, последователь Декарта, автор «Исследования об истине».

Махадева — Великий бог у древних обитателей Индии — арийцев.

Стр. 556. *Кановас дель Кастильо* Антонио (1828—1897) — испанский политический деятель и писатель.

Стр. 559. *Ulyssipo pulcherrima* — «Прекрасный Лиссабон» (лат.). Ulysipo, или Olysipo — древнее наименование города; его ошибочно выводили от имени Улисса, героя гомеровского эпоса, приписывая ему основание городища на месте теперешнего Лиссабона.

Стр. 560. *Мен де Биран* Франсуа-Пьер-Гонтье (1766—1824) — французский философ-спиритуалист.

Quo te carmine dicam, Rethica? — Какими стихами воспеть тебя, вино Ретии? (лат.) — стих из «Георгик» Вергилия, поэмы в четырех песнях, посвященной труду земледельца.

Стр. 565. *Мы сейчас находимся целиком в стихе семнадцатом седьмой главы Книги Бытия...*— Семнадцатый стих этой главы из Библии

гласит: «И продолжалось на земле наводнение сорок дней, и умножилась вода, и подняла ковчег, и он возвысился над землею».

Стр. 566. *...погрузив ботфорты в прах Иосафата...*— Иосафат — царь и пророк Древней Иудеи. Одна из долин вблизи Иерусалима называется Иосафатовой, так как, по преданию, здесь покоится прах пророка.

...того самого храма, который рухнул от движения плеч объятого скорбью Самсона...— Самсон — библейский судья (то есть вождь) и герой борьбы с филистимлянами. Будучи назореем, то есть посвященным богу, Самсон, по обету, носил длинные волосы — символ союза с богом, источник богатырской силы. Однако страсть к вину и филистимлянским женщинам, строжайше запрещенная назореям, погубила Самсона. Он взял в жены филистимлянку Далилу (или Далиду), которая в угоду своим соплеменникам обстригла волосы спящему Самсону. Филистимляне схватили лишившегося силы богатыря, выкололи ему глаза и приковали к колоннам в капище Ваала. Но волосы у Самсона постепенно отросли, а с ними вернулась и дарованная богом сила. Когда в храме собрались филистимляне, Самсон сдвинул руками колонны, между которыми был прикован, и храм рухнул, похоронив под обломками и самого Самсона, и всех его врагов.

Стр. 567. *Маккавеи* — предводители восстания древних иудеев против Селевкидов, завладевших Сирией, родоначальники династии иудейских царей (160—140 гг. до н. э.).

...где бродил по берегу Давид, набирая камни для пращи, истребительницы чудовища...— Давид — библейский царь, пророк и поэт. Один из его подвигов — сражение с филистимлянским великаном Голиафом, которого он убил камнем из пращи.

Иеремия — один из четырех великих библейских пророков, создатель плачей о грядущей неминуемой гибели Иудейского царства.

Стр. 568. *...вальс из «Мадам Анго».*— Речь идет о вальсе из оперетты «Дочь мадам Анго» французского композитора Шарля Лекока (1832—1918).

Назорей.— У древних евреев так назывались люди, по обету посвященные богу; они не стригли волос, не пили вина, обязаны были блюсти целомудрие и избегать всякого осквернения. Назореями были Иисус Христос, Иоанн Креститель, библейский Самсон.

Стр. 571. *И с тех пор Рефальдес стал для меня островом лотофагов...*— Лотофаги («питающиеся лотосом») — легендарные жители острова Джерба в Средиземном море; в «Одиссее» о них говорится, что они питались плодами лотоса и приготовляли из них напиток, отведав которого путники забывали свою родину и навеки оставались на острове лотофагов.

Стр. 581. *...писания святого Фомы и сочинения Лигуори...*— Святой Фома Аквинский, или Аквинат (1225—1274) — итальянский богослов,

один из основоположников католической доктрины, автор «Основ теологии». Альфонсо Мария де Лигуори (1696—1787) — итальянский миссионер и богослов.

«Силлабус» — см. прим. к стр. 166.

«Первое января» — португальская газета, основанная в Порто в 1868 г. Своим названием обязана манифестации либералов на Праса Нова в Порто 1 января 1868 г.

Стр. 582. *«Полиевкт»* — опера итальянского композитора Доницетти (1797—1848).

Стр. 587. *Согласен, важно знать, какой нос был у Клеопатры... потому что от его формы в течение некоторого времени (между битвой при Филиппах и битвой при Акциуме) зависели судьбы мира...* — Эса де Кейрош ссылается здесь на фразу, сказанную французским писателем и философом XVII в. Блезом Паскалем: «Если бы нос у Клеопатры был немного короче, облик мира стал бы иным». В битве при Филиппах (42 г. до н. э.) объединенные силы Октавиана Августа, Марка Антония и Лепида разбили республиканцев, после чего поделили между собой владения Рима. Антонию достался восток, в том числе Египет. Увидев египетскую царицу Клеопатру, Антоний был ослеплен ее красотой, предался ей душою и телом, раздаривал ее детям владения Рима, возбудив негодование соотечественников. Октавиан объявил ему войну, и в битве при Акциуме (31 г. до н. э.) Антоний потерпел полное поражение и лишил себя жизни.

Стр. 588. *...чем во Французскую Комедию на спектакль с Кокленом...* — Братья Коклены — Бенуа-Констан, или Коклен Старший (1841—1909), и Эрнест, или Коклен Младший (1848—1909),— знаменитые французские актеры.

Стр. 589. *...увидишь... святого Франциска Ассизского, раздающего бедным последние оболы Порциункулы...* — Франциск Ассизский (1182—1226), основатель монашеского ордена францисканцев, проповедовал бедность и любовь ко всему живому. Первая обитель францисканцев, где святой Франциск жил со своей братией, находилась в Порциункуле, близ Ассизи. По уставу все приношения верующих раздавались бедным.

Стр. 591. *...бессердечен, как Трастáмара или Борджа...* — Энрике де Трастамара, или Энрике II (1333—1379),— король Кастилии по прозвищу «Бастард» или «Братоубийца». Будучи внебрачным сыном короля дона Альфонсо XI, он боролся за престол со своим единокровным братом Педро I Жестоким. Убив Педро I в битве при Монтьеле, он сам стал королем Кастилии. Борджа — семейство итальянских властителей XV—XVI вв., давших нескольких пап, государей и кардиналов. Цезарь Борджа, послуживший Макиавелли прототипом для его трактата «Государь», был хитрым политиком и отличался жестокостью. Его обвиняют

в убийстве своего брата и мужа своей сестры. Сестра его, Лукреция Борджа, также подозревается в убийствах, кровосмешении и других преступлениях, хотя, возможно, без должных оснований.

Стр. 594. *Коллеж де Франс* — высшее учебное заведение в Париже, основанное в 1529 г.

Acta Urbis — деяния Города (лат.).— «Городом» с большой буквы древние называли Рим. Фрадике переносит это почетное обозначение на Париж.

Н. Поляк

СОДЕРЖАНИЕ

М. Кораллов. Эса де Кейрош 5

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПАДРЕ АМАРО. *Перевод Н. Поляк* 35

ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

Перевод Г. Лозинского и Е. Лавровой
под редакцией Н. Поляк

Часть первая 449
Часть вторая. Письма 525

Примечания. *Н. Поляк* 597

БИБЛИОТЕКА ВСЕМИРНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

СЕРИЯ ВТОРАЯ

Том 127

Жозе Мария Эса де Кейрош

ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПАДРЕ АМАРО
ПЕРЕПИСКА ФРАДИКЕ МЕНДЕСА

*

Редактор Л. Бреверн

Оформление «Библиотеки»
Д. Бисти

Портрет
Антонио Карнейро

Художественный редактор
Л. Калитовская

Технический редактор
Л. Заселяева

Корректоры А. Юрьева и Р. Пунга

*

Сдано в набор 5/II 1970 г. Подписано к печати 14/IV 1970 г. Бумага типографская № 1 $60 \times 84^1/_{16}$. 39,0 печ. л. 36,39 усл. печ. л. 37,86 уч.-изд. л. + 8 накидок + 1 вкл. = 38,88 Тираж 300 000 экз. Заказ № 787.
Цена 1 р. 78 к.

Издательство «Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

*

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография имени
А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета по печати
при Совете Министров СССР
Москва, М-54, Валовая, 28